ШАРАФ РАШИДОВ

победители

сильнее бури

БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ШАРАФ РАШИДОВ

победители

сильнее бури

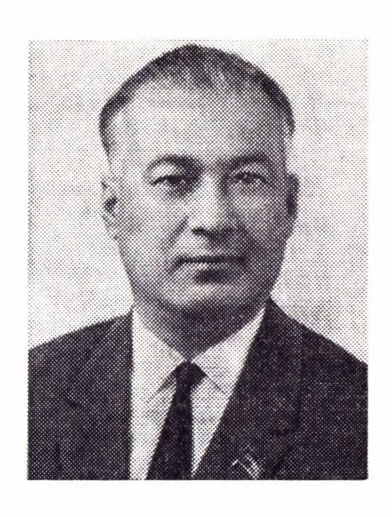
РОМАНЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1975

С (Узб.) 2
Р 28

Художник И. УРМАНЧЕ

Р $\frac{70302\text{-}043}{074(02)\text{-}75}$ 77-75



Шараф Рашидович РАШИДОВ ровесник Октября. Он родился 6 ноября 1917 г. в бедной крестьянской семье в г. Джизаке Самаркандской, ныне Джизакской, области. В 1935 г., по окончании Джизакского педагогического техникума, стал преподавателем в школе. Затем учился в Самаркандском Государственном университете и закончил его в 1941 г. Будучи еще студентом, Ш. Р. Рашидов вступил в кандидаты, а затем в члены КПСС. Сочетая работу с учебой в университете, он в 1937—1941 гг. работал ответственным секретарем, потом заместителем редактора и редактором самаркандской областной газеты «Ленин юлы».

С августа 1941 г. Ш. Р. Рашидов в Советской Армии. В 1942 г. после тяжелого ранения он вернулся в Самарканд и вскоре снова был назначен редактором областной газеты. В 1944—1947 гг. работал секретарем Самаркандского обкома КП Узбекистана, а в 1947—1949 гг. — редактором республиканской газеты «Кзыл Узбекистон». В 1948 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Во время работы Шарафа Рашидова в печати проявляется его незаурядное литературное дарование. Он пишет стихи, очерки, публицистические статьи. В 1937 г. выходит его первое крупное произведение — поэма «Пограничник», затем — сборник фронтовых стихов «Мой гнев». Ш. Р. Рашидова принимают в члены Союза писателей СССР. В 1949—1950 гг. он — председатель правления Союза советских писателей Узбекистана.

С 1950 г. в течение девяти лет Ш. Р. Рашидов Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. В 1959 г. он избирается первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана и на этом посту бессменно находится до настоящего времени.

На XX съезде партии Ш. Р. Рашидов был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, на XXII, XXIII и XXIV съездах — членом ЦК КПСС. С 1961 по 1966 г. он — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, а с апреля 1966 г.— кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. С 1947 г. Ш. Р. Рашидов депутат Верховного Совета Узбекской ССР, а с 1950 г.— депутат Верховного Совета СССР всех созывов. В 1970 г. на сессии Верховного Совета СССР он избран членом Президиума Верховного Совета СССР.

Наряду с большой партийной и государственной работой Ш. Р. Рашидов продолжает систематически заниматься литературным творчеством. Первое его значительное произведение в прозе — повесть «Победители» вышла в 1951 г. Она сразу привлекла внима-

ние читателей. Вначале это была небольшая по объему книга. Недавно Шараф Рашидов завершил переработку «Победителей». Теперь это многоплановый роман.

В центре романа «Победители», как и прежде, наш современник. События развертываются в узбекском кишлаке в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. В Узбекистане издревле говорят в народе: «Земля — хранилище, вода — сокровище». Развертывается трудная, упорная борьба за воду.

В 1958 г. выходит новый роман Шарафа Рашидова — «Сильнее бури»,— вторая книга задуманной эпопеи. В нем читатель снова встречается с героями «Победителей», но уже в иной ситуации.

События в этом романе еще драматичнее, ибо грандиознее и дерзновеннее свершения, о которых повествует писатель,— началось наступление на Голодную степь.

В 1964 г. вышел третий роман Шарафа Рашидова — «Могучая волна». В нем представлена широкая картина фронта и тыла во время войны, повествуется о становлении рабочего класса республики, созданы волнующие картины жестокой психологической битвы старого феодально-байского быта с новой жизнью.

Шараф Рашидов выступает также как поэт, сценарист, публицист и литературный критик. Он — автор поэтической легенды «Кашмирская песня», киноповести «Книга двух сердец», книги «Знамя дружбы» и многих публицистических статей.

Творчество Ш. Р. Рашидова снискало широкую популярность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Его книги переведены на многие языки мира и изданы в различных странах.

За большие заслуги перед родиной Ш. Р. Рашидов награжден шестью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и медалями СССР.

В декабре 1974 г. Ш. Р. Рашидову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

победители

Авторизованный перевод с узбекского
А. УДАЛОВА и Ю. КАРАСЕВА

Удивителен восход солнца в горах.

В Алтынсайской долине еще разлит предутренний сумрак, теснины и ущелья заполнены черной, сырой мглой, спят ветры, спят травы и цветы, зазябшие за ночь,— кажется, и солнце еще спит где-то за горизонтом, но его уже видят орлы, парящие в рассветной, начавшей золотиться вышине, они первыми встречают солнце, первыми плещутся в его лучах, в его сиянье, вечно молодом, торжествующем, как сама жизнь.

Золотое сиянье все увереннней растекается по краю неба, которое словно опирается на горы.

Орлов, летающих над горами, издалека трудно разглядеть, их крылья то вспыхивают в лучах солнца, то гаснут; порой величественные птицы обращаются в еле заметные точки: чудится, будто их поглощает небо, но тут же они вновь появляются, прянув вверх из ущелья или низринувшись с головокружительной высоты, и опять принимаются выписывать круги над вершиной Коктау, поднимаясь все выше и выше. И крылья их, подсвеченные солнцем, отливают золотом...

Внезапно небо над горами становится искристоалым, будто бьют оттуда тысячи молний.

И долина преображается. Все живое стряхивает с себя сон: на траве загораются капли росы — синими, фиолетовыми, красными огоньками; трава тянется к

свету, колокольчики, тюльпаны, желтые купальницы обретают яркие, нежные краски, кажется — они смеются, радуясь солнцу, радуясь новому наступающему дню; одетые в белое, умытые росой кусты шиповника выглядят празднично принаряженными, будто собрались в гости...

В каменных ущельях, где еще недавно было черным-черно, покачивается, жемчужно переливаясь, светясь на солнце, утренний туман.

Удивительное это зрелище — восход солнца в здешних горах! Есть в нем что-то волшебное, жизнеутверждающее, торжественное,— может быть, потому, что солнце здесь особенно щедрое, особенно ослепительное и в час восхода лучи его брызжут неиссякаемыми золотыми фонтанами.

Так, во всяком случае, кажется жителям Алтынсая. Так кажется и Айкиз Амурзаковой.

● ГЛАВА ПЕРВАЯ

Айкиз любила наблюдать за восходом солнца в Алтынсае, когда все вокруг сказочно преображалось — за какое-то мгновенье.

В это утро она тоже поспешила в горы. Она ехала верхом на коне, и, когда достигла перевала, конь, привыкший к тому, что здесь хозяйка обычно задерживается, остановился и, зафыркав, наклонил голову и потянулся губами к траве.

Нетерпеливость его почему-то рассердила девушку, она туго натянула маленькой, но сильной рукой новые ременные поводья:

— Байчибар! Ты не можешь постоять смирно?

Байчибар нехотя оторвался от травы. Она манила своей свежестью, медовым запахом, но конь, видно, хорошо знал характер своей хозяйки и помнил, что в правой руке у нее камча, а потому независимо вскинул голову, притворяясь, что трава его вовсе не интересует.

Айкиз, не слезая с седла, смотрела на вершину Коктау, искрящуюся под солнцем. На лице ее блуждала улыбка. Глубоко вздохнув, она негромко проговорила:

— До чего же тут хорошо, Байчибар!

Запрокинув голову, она завороженно следила за полетом орлов.

Еще в детстве она готова была часами смотреть, как гордые птицы медленно кружат в небе, то снижаясь, то снова устремляясь вверх. И когда она представляла себе, как далеко им видна земля оттуда, с крутой высоты, ее брала зависть. Ей по душе была высота. Потому-то она, еще босоногой девчонкой, так часто прибегала на перевал вместе со своими подругами. Перевал тоже был расположен достаточно высоко, и у девочек захватывало дух, когда они, стоя на краю обрыва, оглядывали родной кишлак и его окрестности. Какие необозримые просторы открывались с перевала!.. У Айкиз кружилась голова, а сердцу было сладко и тревожно...

Постепенно девочки привыкли к горной крутизне, чувствовали себя на перевале свободно, затевали там веселую беготню, валялись на траве, рвали ромашки и колокольчики.

Мать, Халбиби, ласково бранила Айкиз:

— Ну, что вы туда повадились? Не дай бог, еще сорветесь с такой кручи. Горы все ж таки, снизу глядеть — и то жутко. Я вот за всю свою жизнь ни разу не отважилась подняться на перевал. Ишь, нашли место для забав!.. А ежели вас унесет орел?

— Куда унесет, в гнездо?

— Может, и в гнездо.

— Как интересно-то! — звонко смеялась Айкиз.— Я бы там стала играть с орлятами!

— Ох, горе мое! — Мать сокрушенно качала головой.— Нашла чему радоваться! А если орел заклюет тебя или в пропасть сбросит?.. Не смей больше ходить туда!

Но чем сердитей предостерегала мать от опасности, которая могла ей грозить в горах, тем сильнее тянуло туда Айкиз.

Ночью, лежа во дворе на широкой сури [1] под теплым одеялом, она смотрела в небо, усеянное звездами, а мыслями была в горах, лицом к лицу с голубой заоблачной далью, и гордые, смелые птицы вязали над ней тугие петли... Да, возможно, мать и права и там опасно, но опасность как раз влекла к себе Айкиз. Ей хотелось испытать себя, узнать, хватит ли у нее сил и храбрости противостоять опасности.

---

[1] Сури — широкая деревянная кровать, нары.

И как-то ранним утром, когда мать доила корову, Айкиз украдкой покинула теплую постель и побежала в горы.

Сам подъем на перевал требовал немалых усилий, ловкости и мужества, но Айкиз это не пугало. Легкая, как мотылек, верткая, как ящерица, она то мчалась вскачь — будто летела по воздуху, то сноровисто пробиралась меж камней.

Внезапно какая-то тень пронеслась над ней, но ей некогда было поднять голову, она карабкалась на четвереньках по каменистому склону; при каждом ее движении шуршал и осыпался щебень, и вся ее энергия уходила на то, чтобы самой не сползти вниз.

Опять на нее словно ветром повеяло... Айкиз заторопилась. Ей не терпелось поскорей выбраться на горную лужайку и посмотреть, кто же это мечется над ней. Может, орел?.. Вот интересно-то! Надо спешить, а то он еще испугается и улетит.

Почти уже достигнув лужайки, она повернула голову — и обомлела от страха. Прямо перед собой, на расстоянии вытянутой руки, она увидела орла. Глаза его, круглые, желтые, с черными зрачками, смотрели на нее с угрозой, острые, крючковатые когти готовы были вот-вот вцепиться в Айкиз...

— Эй! — крикнула она.— Ты что? Гляди у меня!

Слова эти вырвались у нее бессознательно, и так же инстинктивно она перевернулась на спину — чтобы вступить в борьбу с орлом.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но Айкиз не удержалась на крутом склоне и покатилась вниз. Она судорожно хваталась руками за чахлые кустики тамариска, за камни, и камни, сорвавшись, тоже летели вниз, обгоняя девочку...

Она не помнила, как очутилась в цепких зарослях арчи. Плотная тень от кустов падала на Айкиз, и ей показалось, будто она попала в темную, прохладную пещеру.

Вокруг было тихо, лишь где-то неподалеку попискивала малиновка.

Все тело Айкиз было в ушибах и ссадинах, они ныли, но девочке было не до них, в эту минуту одно ее беспокоило — как скрыть эти синяки и царапины от матери и от старших братьев, Алишера и Тимура. Она

не боялась трепки — просто ей не хотелось волновать их.

Согнувшись, Айкиз выбралась из арчевника, оглядела себя и безнадежно вздохнула: платье на ней висело клочьями. Ничего ей не удастся утаить от своих родных...

И они больше не пустят ее на перевал...

Орлы все кружили в небе, один парил так высоко, что Айкиз все время теряла его из виду, а другой, матерый, могучий, скользил на широких крыльях по воздуху совсем близко от девушки.

— Эй! — озорно окликнула его Айкиз.— Это не ты на меня тогда напал?

Что ж, вполне возможно, что именно он так напугал ее в детстве, в ту памятную прогулку. Но Айкиз на него не сердилась. И, как это с ней часто случалось, позавидовала гордой, сильной, бесстрашной птице. Ведь каждое утро она первой встречала солнце...

Как это прекрасно — увидеть солнце, когда для других оно еще скрыто за горами!..

Погрозив орлу пальцем, Айкиз ловко спрыгнула с коня, ослабила подпругу, разнуздала Байчибара, закинула поводья на луку седла. Погладив спутанную ветром гриву, сказала:

— Ну, иди гуляй. Что стоишь? Обиделся, да? Нет, вы посмотрите, какая неженка, слова ему нельзя сказать!

Байчибар не двигался с места. Мягкими губами он теребил рукав ее платья, а потом прикусил его и потряс. Айкиз наблюдала за ним с веселым интересом. Розовые ноздри коня широко раздувались, и, чувствуя на руке его влажное, горячее дыхание, девушка проговорила с ласковой укоризной:

— Ах, вот в чем дело!.. Лакомка!.. Сахару захотел?

Достав из кармана жакетки кусок сахара, Айкиз протянула его Байчибару:

— На, баловник!

Сахар белел на ее смуглой ладони, как крохотный снежок. Конь осторожно взял его губами, помотал головой, словно благодарил хозяйку, и, похрустывая рафинадом, пошел на лужайку с зеленой травой.

Айкиз направилась к большому красному камню, вросшему в землю у самого края тропы. Прислонилась к нему плечом, задумчиво похлопывая плеткой по своим маленьким желтым сапожкам.

Солнце стояло уже довольно высоко над вершиной Коктау, лаская своими лучами арчу, листву ореховых, миндальных и фисташковых деревьев, устлавших темно-зеленым одеялом склоны гор. Казалось, оно расшивало это одеяло золотыми нитями...

Природа ликовала.

Птицы заливались вовсю, от высокой травы и цветов, успевших согреться, шел медовый запах, сереб-

ряно звенели, сверкали на солнце весенние ручьи, они стремительно мчались вниз по склонам, будто наперегонки, сплетались друг с другом, задорно перепрыгивали с камня на камень.

Айкиз, залюбовавшись окружающим пейзажем, опять вздохнула глубоко и свободно, всей грудью; потянулась, разведя руки в стороны, а потом быстро и решительно взобралась на валун. «Посижу немного,— сказала она себе, словно оправдываясь,— уж очень тут хорошо думается».

А ей было над чем подумать...

Только сначала надо было найти ответ на вопросы, которые беспокоили ее с самого утра. Утром ей никак не удавалось привести свои мысли в порядок, они то текли медленно и спокойно, словно равнинная речка, то неслись, обгоняя друг друга, наподобие горных ручьев.

Айкиз надеялась, что в горах, в тишине и одиночестве, она сможет поразмышлять обо всем неторопливо, обстоятельно... Но только она поудобней пристроилась на валуне, где отдыхала всякий раз, когда ехала через перевал, как взгляд ее упал на рукоятку камчи, которую она сжимала в ладони, и мысль побежала по неожиданному руслу...

Когда-то рукоятку смастерил ее отец, Умурзак-ата, из горного гребенщика. Она получилась прочной, твердой, как железо. Древесные волокна — мускулы ствола — упруго переплетались, как нити в стальном тросе.

«Какое крепкое это дерево,— подумала Айкиз.— Наверно, потому, что горное. В горах все прочно и сильно: скалы, орлы, деревья, люди... А я — сильная? — спросила себя девушка и понурилась:— Наверное, нет!» Ведь в детстве она подчас не могла сдержать слезы. Да и теперь не всегда способна была справиться с чувствами восторга и жалости, нежности и беспомощности. Совсем, совсем она обыкновенная!

И почему это именно ее выбрали председателем сельсовета? Ведь она так молода, и плечи у нее хрупкие. А на них вон какой груз взвалили! Но что поделаешь! Первые годы после войны. Трудно с кадрами... А Айкиз недавно приняли в партию. Коммунисты оказали ей доверие, которое она должна теперь оправдать. Она просто обязана совершить что-то особенное, необыкновенное!

Айкиз еще девчонкой, в дни войны, мечтала о подвиге. Она и сейчас, в мирное время, готова была на подвиг. Правда, она не знала, каким образом здесь, в глухом кишлаке, можно было проявить героизм. Задумываясь об этом, Айкиз тут же себя и обрывала: что же это за подвиг, если заранее о нем размышляешь? У тех, кто идет на героические дела, и в мыслях нет, что вот сейчас, через минуту они навек прославят свои имена. Подвиг — это нежданная вспышка!

Погоди, Айкиз! Не хочешь ли ты сказать, что подвиг бессознателен? Но разве внезапный бездумный порыв заставил Матросова грудью закрыть амбразуру вражеского дота, а Гастелло — пойти на гибель во имя победы? У их героизма была высокая, священная цель, и всей своей жизнью они были подготовлены к подвигу. Ты в одном права: они не ставили перед собой задачи — совершить подвиг. В душе они, верно, и не считали то, на что решились, чем-то исключительным. Просто они, верные сыны родины, воспитанные партией, комсомолом, не могли поступить иначе. А народ назвал их героями и содеянное ими — подвигом.

Живи, как живешь, Айкиз. Трудись не покладая рук. Отдавай все силы порученному тебе делу. Это и есть подвиг, естественный и каждодневный.

Ты ведь сознаешь: чтобы достичь общей великой цели, каждый должен видеть перед собой свою, конкретную цель. Вот ты и думаешь над тем, к чему же должна призвать и повести земляков — во имя счастья народного...

Разве нельзя сделать что-то сверх того, чем ты занимаешься постоянно, хотя и сейчас хватает у тебя забот?

Вон он, твой кишлак Алтынсай, широко и зелено раскинулся внизу, у подошвы Коктау. Он весь утопает в садах. Под свежим ветром, который сбегает тугими волнами со склона горы, изумрудная листва деревьев колышется, трепещет, кипит, и кажется, будто это и не сады вовсе, а зеленые, с бурлящей водой, озерца. И маленькими парусами белеют среди этой кипени дома колхозников.

Там, дальше, за центральной площадью кишлака, и твой дом, скрытый сейчас от тебя стеной тополей. Если бы не тополя, ты увидела бы родную крышу из

красного железа и небольшой дворик, где в эту минуту наверняка хлопочет над самоваром старый Умурзак-ата...

Он ждет дочь. Только долго придется ему ждать. Ей над многим надо еще подумать... Ведь он сам предупреждал ее: «Ты, дочка, совсем еще молодая, гляди, не сделай какой промашки, тебе народ большой пост доверил, не обмани его доверия, тщательно обдумывай каждый свой шаг». Это он сказал, когда Айкиз выбрали председателем сельсовета.

Впервые такой высокий пост в Алтынсае занял не белобородый старец, умудренный жизненным опытом, а девушка, еще даже не получившая диплома агронома.

Умурзак-ата гордился этим и тревожился за дочь.

Его, конечно, можно было понять, ведь за его плечами — три четверти века. Многое видно с этой высоты, и он вправе и беспокоиться, и советовать, и наставлять.

А у нее и правда еще молоко на губах не обсохло. Давно ли она, напуганная орлом, катилась вот по этому откосу вниз, угодив в зеленую пещеру, образованную ветвями арчи? Давно ли вприпрыжку бегала к чабанам, принося с собой газеты со свежими фронтовыми сводками, лепешки и сладкую толченую кукурузу? И старый Бабакул угощал ее таким вкусным курутом [1], какого не было ни у одного из чабанов.

Бабакулу, ее дяде, брату отца, было на четыре года меньше, чем Умурзаку-ата. Ему шел семьдесят второй... И чуть ли не все свое время он проводил в горах, бывало — годами не спускался в долину. Да и что ему было делать в кишлаке? Он давно потерял жену, тетушку Кундуз, и сынишку, Юнуса,— они погибли от рук басмачей. Самой близкой родней ему стали горы, среди них он не так чувствовал неизбывную горечь утраты, как в кишлаке. Правда, оставались еще у него брат и маленькая племянница, которых он очень любил. И Айкиз была к нему привязана. В детстве она часто наведывалась в горы к дядюшке Бабакулу, и он весь сиял от радости, когда видел ее.

Так ли уж давно это было?

[1] Курут — высушенное кислое молоко в шариках.

Давно ли вообще кончилось детство? Айкиз казалось — оно совсем рядом, как вот эти огненно-алые тюльпаны, которые ей так нравилось собирать — она приносила их домой целыми охапками.

Детство... Золотая, незабвенная пора!

Ты пока отдохни, Айкиз, поразмышляй, а я расскажу немного о твоем детстве и юности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Узкая тропинка змеилась по холмам, то круто взбираясь вверх, то легко, как мячик, скатываясь в лощину и прячась там ненадолго в густой траве, а потом вновь вползая на склон юркой ящерицей и опять стекая в траву и петляя там между больших валунов. А по тропинке весело семенила маленькая Айкиз, напевая песенку без слов. В руках у нее узелок. Платьице, когда-то ярко-малиновое, а теперь совсем выцветшее, развевалось на ветру, а загорелые ноги так и мелькали в траве, которой заросла тропка.

Впереди резво бежала собака, которую неизвестно почему Тимур, брат Айкиз, надумал назвать по-русски — Пиратом. Ничего пиратского не было в этой добродушной дворняге, к тому же и не слишком крупной,— если не считать того, что Пират был черный, как галка; правда, не сплошь черный — у него белел кончик хвоста и два пятна желтели над бровями. В общем, грозная кличка никак не соответствовала ни внешнему виду, ни характеру собачонки.

Время от времени Пират останавливался и оглядывался, чтобы убедиться, поспевает ли за ним хозяйка. Подождав, пока она нагонит его, Пират продолжал свой путь.

Задерживался он порой еще и потому, что его что-то привлекало в густой траве. Собака окунала в нее морду, принюхивалась, скребла землю лапой, и Айкиз замедляла шаг: ей интересно было, что там нашел Пират, она обшаривала взглядом траву, в которой он копался, но ничего любопытного не обнаруживала. Пират, чихнув, поднимал морду, принимался обнюхивать узелок, который несла Айкиз. Та толкала его босой ногой в черный мохнатый бок:

— Эй, отвяжись, это не для тебя. Пошли дальше, нам надо торопиться.

И они опять устремлялись вперед.

Но вот Айкиз замерла, осторожно положила узелок на землю и, крадучись, высоко поднимая ноги, чтобы не запутаться в траве, направилась к желтой купальнице, на которой примостилась большая бабочка с красными пятнышками на черных крыльях. Такой красивой бабочки Айкиз еще не доводилось видеть, ей ужасно захотелось поймать ее, но только она подобралась к цветку и протянула руку, как бабочка вспорхнула и перелетела на другой цветок. Долго охотилась Айкиз за бабочкой, несколько раз уже касалась пальцами крыльев, но в последний момент черная красавица ускользала от нее. И не то чтобы пыталась совсем улететь, нет, она просто перепархивала с цветка на цветок, словно поддразнивая девочку. Айкиз, однако, не занимать было упрямства, она начала злиться и решила во что бы то ни стало добиться своего. И добилась: поймала не только черную бабочку, но еще и зеленую и желтую. Потом, раскрыв тюбетейку, куда она прятала бабочек, Айкиз полюбовалась ими и выпустила всех на волю: «Летайте себе на здоровье, я добрая».

Она возвратилась на тропку, к тому месту, где оставила узелок, и растерянно заморгала ресницами: узелка не было. Беспомощно оглянувшись, она всхлипнула, дрожащим голоском позвала:

— Пират, Пират!

Айкиз надеялась, что Пират поможет ей найти узелок. Но и собаки нигде не было видно. Сопоставив обе пропажи, Айкиз догадалась, в чем дело, и крикнула уже строже:

— Пират! Ко мне!

Шагах в трех от нее из травы высунулась черная собачья морда с желтыми подпалинами над бровями. И тут же снова исчезла.

Девочка шагнула к Пирату и увидела возле него, в густой высокой траве, растерзанный узелок. Она всплеснула руками:

— Пират! Что же ты наделал? Где хасип? [1]. Съел, паршивец? Что же я теперь скажу чабанам?

Пират встал, виновато моргая и виляя хвостом. Убегать он и не думал: знал, что хозяйка скоро сменит

[1] Хасип — колбаски из бараньих кишок, начиненных мясным фаршем и рисом.

гнев на милость и отдаст ему остатки лакомства. Айкиз не умела долго сердиться.

Пират даже облизнулся с некоторой долей нахальства.

Айкиз улыбнулась сквозь слезы, вытерла кулаком глаза, вздохнула:

— Ладно уж, доедай. Что с тебя взять. Ты глупый пес, ты наглый пес!..

Через минуту от ее недавней досады не осталось и следа.

Но на этом злоключения, связанные с Пиратом, не закончились. Вскоре Айкиз пришлось плакать уже навзрыд...

Взобравшись на холм, за которым паслась отара, Айкиз остановилась, любуясь открывшейся перед ней картиной. Овцы сбились в кучу, и казалось, луг был накрыт огромной каракулевой буркой, перламутрово переливавшейся на солнце.

На другой стороне лощины, на склоне большого холма, стоял дядюшка Бабакул. Он смотрел из-под ладони на Айкиз, и, хотя их разделяло солидное расстояние, девочке почудилось, будто лицо старика, худощавое, дочерна обожженное ветрами и солнцем, обрамленное белой бородой, осветилось радостной улыбкой. Он помахал ей длинным пастушеским посохом: мол, беги сюда.

Айкиз хотела уже припуститься вниз, но в это время внимание ее привлек Пират, который вел себя как-то странно. Покинув хозяйку, он устремился в лощину и помчался, петляя меж кустов и камней, за большой серой собакой, удалявшейся от него с наглой ленцой. Девочка не поняла, почему вдруг переполошились овцы: в испуге шарахнулись к склону холма, где стоял Бабакул.

Пират и серая собака скрылись за кустами цветущего боярышника.

Чабаны кричали что-то, к кустам боярышника несся огромный белый волкодав.

Неожиданно из-за кустов послышался истошный визг Пирата, тут же оборвавшийся.

И старый Бабакул и молодой чабан Хасан уже бежали к боярышнику, за которым произошло что-то непонятное для Айкиз. Нагнав их, девочка крикнула:

— Что случилось, дядюшка Бабакул?

Тот на бегу коротко бросил:

— Волк.

— Волк? Где волк?

Бабакул не успел ответить: они уже достигли кустов, за которыми было тихо-тихо.

Зрелище, свидетелями которого все они стали, заставило Айкиз оцепенеть от недоумения и горя. Пират лежал на боку возле камня, на траве, с наискось распоротым брюхом... Желтые его глаза уже остекленели. И на камне и на траве темнела кровь, всюду виднелись клочья шерсти, черной и серой.

Айкиз спросила сквозь слезы:

— Кто это его, дядюшка Бабакул?

— Волк. Он, видно, к отаре подкрадывался, мы-то его даже не заметили, а твой пес увидел и погнался за ним. Храбрый пес!..

Айкиз уже не сдерживала рыданий.

— Не плачь,— сказал Хасан,— слезами горю не поможешь.

— Жа... жалко...

— И нам жалко твою собаку. Вон, даже волка не испугалась!.. Только что толку от слез-то?

— Как звали твоего пса? — спросил Бабакул.

— Пиратом...

— Хм... Что это за слово такое — пират?

— Это... были такие разбойники... морские...

— Вон оно что!.. Тогда зря ты так назвала свою собаку.

Айкиз все размазывала кулаком слезы по лицу, но глаза ее обидчиво сверкнули:

— Почему же зря? Сами сказали: он храбрый!

— Так-то оно так. Только какой же он разбойник? Вот волк — тот правда разбойник. Вот уж кто пират так пират. И напрасно твой пес за ним погнался. Видать, до сих пор просто не видел волков, не знал, какие это душегубы.

— Ведь ваш Куват тоже за волком бросился.

— Так для того мы его при отаре и держим. Он недаром зовется волкодав. Видала, какой он большой, могучий? Он сторожит отару от волков, и они его боятся.

— Так волк и от Пирата удирал. Тоже, значит, испугался?

— Ну, да. А потом заманил его в кусты да там с ним и расправился. С волками шутки плохи...

— Нет, дядюшка Бабакул,— вмешался Хасан,— он все-таки молодец, этот Пират. Помешал бандюге украсть овцу. Давайте похороним его с почестями.

— Разве собак так хоронят? — спросила Айкиз.

— Пират отогнал от отары серого разбойника. Почему ж нам не почтить его? Вот закопаем в землю, камень на могилу положим. Все честь по чести.

Когда, зарыв Пирата, они поднимались на холм, Айкиз сокрушенно проговорила:

— А я-то его ругала сегодня.

— За что это?

— Да я вам хасип несла в узелке. А он съел. Я и оглянуться не успела...

— Ничего, дочка,— сказал Бабакул,— хоть полакомился перед смертью.

Замедлив шаг, он достал из-под бельбога [1] тыквенную табакерку, кинул под язык щепоть жгучего зеленого табака — насвая, подержав во рту, сплюнул, строго и наставительно произнес:

— А ты, дочка, больше не ходи сюда одна. А то, не дай бог, и на тебя волки нападут.

— Не боюсь я их вовсе!

— А ты не храбрись понапрасну-то.— И Бабакул повторил: — С волками шутки плохи. Ты свою смелость прибереги для других дел.

Домой Айкиз вернулась лишь к вечеру. Братья налетели на нее, как коршуны, особено негодовал Тимур, он готов был даже пустить в ход кулаки:

— Где ты была? Где пропадала весь день? Ну, что молчишь? Мы тут переволновались...

Айкиз, глядя в пол, тихо, но твердо попросила:

— Не кричи на меня, пожалуйста.

— Ишь, она еще командует! — Тимур размахивал кулаком, в котором был зажат грецкий орех.— Куда тебя носило, говори?

— Да, сестренка, ты все-таки скажи, где была,— строго проговорил старший брат Алишер.— Ну?

— Если будете кричать... ни словечка не скажу! —

---

[1] Бельбог — поясной платок.

Голос у Айкиз дрожал, но в нем слышалось и упрямство.

Братья переглянулись, Тимур пригрозил:

— Вот как стукну сейчас орехом по лбу! Сразу заговоришь.

Алишер остановил его руку, отобрал орех, присел перед Айкиз на корточки.

— Ладно, мы не будем на тебя кричать.— Он ласково провел ладонью по ее длинным тонким косичкам, струившимся по спине.— Но ведь ты знаешь, скоро я уезжаю в Ленинград. Неужели тебе не хочется побыть со мною подольше? И так осталось мало времени, а ты исчезла куда-то на целый день.

Лицо девочки залила краска, она виновато сказала:

— Ой, Алишер-ака!..[1] Простите меня. Я совсем забыла...

В душе она бранила себя за то, что перед отъездом брата отлучилась из дома на целый день. Правда, она не виновата была в том, что задержалась в горах...

Алишер, окончивший в Алтынсае среднюю школу, собирался продолжать ученье в одном из ленинградских институтов. Начиная с зимы в семье только и разговоров было, что о его отъезде. Особенно переживала предстоящую разлуку с сыном старая Халбиби. Она часто вздыхала; стоя у очага, украдкой наблюдала за Алишером и рукавом платья вытирала глаза, делая вид, будто они слезятся от дыма. А когда по вечерам вся семья собиралась за ужином, вокруг низенькой хантахты[2], Халбиби вдруг забывала о еде и все глядела на Алишера.

А однажды Айкиз, подойдя к матери, хлопотавшей у тандыра[3], где пеклись лепешки, с удивлением услышала, как она разговаривал сама с собой:

— Ох, как же я выдержу такую долгую разлуку? Где мне набраться терпения? Ведь в какую даль он едет! А не дай бог, заболеет в чужом городе? Кто за ним будет ухаживать?

Айкиз с каким-то испугом прислушивалась к ее бормотанию. Прежде с матерью никогда такого не бывало... Девочка потянула ее за рукав:

---

[1] Ака — вежливое обращение к мужчине, старшему по возрасту. Буквально: старший брат.

[2] Хантахта — столик на низких ножках.

[3] Тандыр — глиняная печь для приготовления лепешек.

— Мама! У вас лепешки сгорят.

Халбиби вздрогнула от неожиданности и замахнулась на дочь тряпкой:

— Вай, чтоб тебя нелегкая взяла! Перепугала до смерти.

Умурзак-ата, с беспокойством следивший за женой, как-то, не вытерпев, твердо проговорил:

— Вот что, Халбиби. Ты брось свои вздохи да причитания. В семье у нас не горе, а радость. Подумай только: Алишер едет учиться в Ленинград, великий город. Джигит из Алтынсая станет инженером! А то и ученым! Это же большая честь и для нас и для всего кишлака.

Вспомнив все это, Айкиз крепко прильнула к Алишеру.

Вскоре с поля возвратились Умурзак-ата и Халбиби, и тогда Айкиз, немного успокоившись, рассказала своим родным обо всем, что произошло в горах. Сперва голос у нее срывался, в нем звучали слезы, а потом она вышла на середину комнаты и стала показывать, как Пират гнался за волком. Дойдя в своем рассказе до того места, когда она увидела погибшего Пирата, Айкиз, глотая слезы, сказала:

— Жалко... Пирата...

Все молчали, а Тимур вдруг взорвался:

— Что толку от твоей жалости! Это из-за тебя погиб Пират! Зачем тебе понадобилось брать его с собой? Ведь знала же, что его могут загрызть волки.

— Не знала я!..

— Погоди,— остановил брата Алишер.— Что ты напустился на бедняжку? Ведь и на нее волки могли напасть.

— Вот и пускай напали бы! — зло отрезал Тимур.— Поделом бы ей было.

— Аллах великий, сохрани ее и помилуй! — чуть не плача воскликнула Халбиби.— Что ты такое говоришь, сынок?!

Алишер глянул на Тимура со строгой укоризной, а Умурзак-ата незаметно от других протянул руку и больно дернул Тимура за ухо.

Тот, обидевшись на всех, выскочил из комнаты...

Тимур очень любил Пирата.

Появился он только перед самым ужином, когда

вся семья сидела за дастарханом[1] и Айкиз, позабыв о недавних горестях, весело щебетала, засыпая отца вопросами:

— Почему солнце светит только днем, когда и так светло? Вот если бы оно ночью всходило, то можно было бы играть на улице. Папа, а почему аист в гнезде всегда на одной ноге стоит? Другая у него больная, да?

Умурзак-ата морщил лоб, обдумывая ответ, а Айкиз уже задавала новый вопрос, мудреней предыдущих:

— Отец, а мулла очень жадный, да? Зачем он наматывает на голову такую большую чалму? Ведь из нее можно сшить десять платьев и всех моих подруг одеть.

— Жадный ли мулла, говоришь? — хмурился отец.— Уж жаднее быть не может. Да и всей нашей жизни он враг. Сказать по чести, он только головы морочит честным труженикам. Он нам, дочка, от прошлого достался.

Алишер же решил испытать сестренку. Улыбаясь, он спросил:

— А сколько у тебя подруг, Айкиз?

— Много.

— А все-таки?

Айкиз, хмурясь от напряжения, попробовала что-то подсчитать в уме, а потом брякнула наобум:

— Ну... двенадцать!

— Так. А платьиц, ты сказала, из чалмы можно сшить десять. Верно?

Чувствуя какой-то подвох, Айкиз в нерешительности протянула:

— Ну... верно.

— Тогда платьиц-то на всех не хватит.

— Почему?

— А вот смотри,— Алишер высыпал на скатерть спички из коробка.— Видишь, я беру двенадцать спичек. Посчитай, двенадцать, верно? Каждая из них — это твоя подружка.

Тимур, успевший уже остыть, разгадал замысел брата и поспешил вступить в игру.

— А теперь возьмем десять семечек,— он вытащил из кармана горсть белых тыквенных семян,— вот тут

---

[1] Дастархан — скатерть или стол с угощением.

у нас десять. Это будут платья. Ну-ка, подари эти платья своим подружкам. Положи-ка семечки возле спичек. Что получилось?

— Не хватает,— растерянно сказала Айкиз.

— Точно, на всех твоих подружек платьиц не хватило. А почему?

— Почему? — повторила Айкиз.

— Потому что подружек у тебя двенадцать, а платьиц всего десять, на два меньше, чем нужно. Поняла?

Так братья подготавливали Айкиз к поступлению в школу.

К осени она уже знала, что такое арифметика, и умела читать.

И вот наконец наступил день, когда Айкиз отправилась в школу. Вернулась она притихшая, чем-то недовольная.

— Ты что, дочка? — встревожилась Халбиби.— Уж не заболела ли?

— Нет, мама. Учиться очень трудно.

— Так уж и трудно! — насмешливо протянул Тимур.— Все учатся.

— А мне трудно! — На глаза Айкиз навернулись слезы.— Попробуй посиди на одном месте целый час, ведь даже пошевелиться нельзя.

— Я вон сижу.

— Ты привык.

— И ты привыкнешь. Когда учитель что-то новое объясняет, то и не замечаешь, как время летит.

— Да, если новое!.. А я все знаю, о чем учительница говорит. Вы с Алишером давно мне все растолковали.

— Ну, это беда небольшая! — улыбнулся Умурзак-ата, который прислушивался к разговору.

— Да, а еще нас заставляют читать по складам. А я букварь от начала до конца наизусть знаю. Отец ведь еще весной мне его купил.

Тимур усмехнулся:

— Мне бы твои заботы! Хорошо бы тоже так: новый материал объясняют, а ты все уже знаешь! Красота!

Халбиби, тоже еле сдерживая улыбку, утешала дочь:

— Не горюй, дочка. Все образуется.

Она оказалась права: все «образовалось», и вскоре школа стала для Айкиз вторым родным домом.

С годами Айкиз делалась все серьезней. Прежде непоседливая, говорливая, она теперь удивляла подруг своим терпением и усидчивостью. Книги она прямо-таки глотала, и к тому времени, когда перешла в седьмой класс, в алтынсайской библиотеке почти не осталось книг, которые она не прочла бы.

Все чаще задумывалась Айкиз о будущем. И оно представлялось ей в самых радужных красках. Закончив десятилетку, она поступит, как Тимур, в Ташкентский сельскохозяйственный институт, потом вернется домой, в родной Алтынсай, начнет работать в колхозе агрономом... Все свои знания она отдаст колхозу. И жизнь, наполненная трудом, простыми радостями бытия, будет светлой — как летнее утро в горах.

Война разрушила все ее мечты и планы.

● ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На дверях сельсовета появился приказ райвоенкомата о мобилизации. И хотя Айкиз он совершенно не касался, она часто наведывалась к сельсовету и перечитывала приказ, шевеля губами.

Однажды дверь распахнулась, и перед Айкиз выросла фигура секретаря сельсовета Алимджана. Смерив девочку насмешливым взглядом, он сказал:

— Я уж давно за тобой наблюдаю — ты что это так приказом интересуешься? Уж не на фронт ли собралась?

Айкиз спросила, смотря на него снизу вверх:

— А меня... взяли бы?

— Тебя? На фронт? Ты это серьезно?

— Ага. Серьезно.

— А я так думаю — совершенно несерьезно! — Неожиданно Алимджан положил руку ей на плечо.— Ты выбрось это из головы, понятно? Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

— Ну, вот видишь. Совсем взрослая. Пора уж разбираться в некоторых вещах.

Айкиз покраснела до слез.

— Вы сами... сами ничего не понимаете!

Заложив руки за спину, Алимджан с интересом смотрел на девочку.

— Нет, милая, я-то все понимаю. Ты душой болеешь за скорую победу, и тебе хочется помочь родине разгромить врага, поставить его на колени. Ты ради этого на все готова, верно?

— Верно...

— А говоришь: я ничего не понимаю. Только и ты пойми: твоя помощь нужна и здесь, в колхозе. Собери своих подруг-семиклассниц... или вы уже восьмиклассницы? Идите на богару, где колхозники убирают хлеб. Вы можете подбирать колоски, расчищать ток, отгребать от веялки солому. Работа для вас найдется! А хлеб сейчас — это большой вклад в дело победы. Вовремя и полностью собрать урожай — это все равно что обрушить на врага мощный артиллерийский залп!

— Хорошо, Алимджан-ака. Я сделаю, как вы говорите.— Айкиз нерешительно взглянула на Алимджана.— А вы... просились на фронт?

Тот вздохнул:

— И не раз!.. Пока не берут.

— Это почему же? — Лицо Айкиз пылало искренним возмущением.— Вы были бы хорошим воином! — Она восхищенным взглядом окинула его гимнастерку, сапоги.— Вам так идет форма!

— Не по праву я ее ношу,— с сожалением сказал Алимджан.— Но в ней я чувствую себя хоть чуточку поближе к фронту. Скажут: собирайся, а я уже готов! Ты, наверно, думаешь, что это мальчишество?

Он разговаривал с ней, как со взрослой. И она серьезно ответила:

— Нет, Алимджан-ака, вы правда в ней — как солдат...

— Ну, а с тобой, значит, договорились?

Айкиз утвердительно кивнула. И, почему-то снова покраснев, повернулась и убежала.

В этот же день она передала подругам свой разговор с Алимджаном, умолчав о его «неделовой» части... И они решили отправиться на богару помочь колхозникам.

За Айкиз увязались и девочки из младших классов, неразлучные подруги Лола и Михри. Они, как привя-

занные, ходили за ней по пятам. Где бы ни появлялась Айкиз — на улице, в школьном дворе, в библиотеке,— возле нее всегда крутились Лола и Михри.

Лола приходилась сестрой Алимджану и отличалась резвостью и общительностью. Ей не сиделось на месте, в любых обстоятельствах она находила себе занятие и с утра до вечера щебетала, как птица в лесу. Полная, с круглыми щеками, она выглядела этаким колобком.

А Михри была худенькая, длинноногая, с очень смуглым лицом. Сдержанность, застенчивость, серьезность сочетались в ней с упрямством, которое она, видимо, унаследовала от отца, колхозника Муратали, строптивого, чуть замкнутого и в то же время простодушного и прямого. Он не стеснялся говорить правду в глаза и славился удивительной доверчивостью.

Айкиз удивлялась: как могли дружить эти девочки, такие разные? И недоумевала, чем сама она смогла заслужить их любовь, по-детски безоглядную и преданную...

Как старшая, она опекала их, отвечала лаской и резвушке Лоле и молчаливой Михри, которая при встречах с Айкиз не отрывала от нее своих черных, жгучих глаз.

Лола и Михри пошли на богару вместе с недавними семиклассницами.

Богарные земли колхоза «Кызыл юлдуз» [1] начинались за горой Коктау, и чтобы добраться до них, надо было сперва одолеть перевал.

Подниматься туда было тяжело, солнце стояло уже высоко и жгло головы и плечи. А на перевале всегда гулял свежий ветерок, он овевал лица, и жара здесь не так чувствовалась. Девочки приободрились, послышался смех, беспечные возгласы, и в этом веселом гомоне выделялся звонкий голосок Лолы:

— Михри, погляди-ка, в колхозном саду уже и вишня и урюк отцвели, а тут еще цветут лютики и одуванчики!.. Чудно́, правда? Михри, а какие яблоки тебе больше нравятся — белый налив или красные скороспелки? Знаю, знаю, белый налив!.. Только он кислый,

---

[1] «Кызыл юлдуз» — «Красная звезда».

я больше люблю скороспелки, они красные-красные и сладкие, как парварда [1].

Лола задавала вопросы и сама отвечала на них, не давая подруге и рта раскрыть.

Айкиз, улыбаясь, сказала:

— Лола, а где ты колокольчик прячешь?

— Какой колокольчик? — не поняла Лола.

— А вот тот, что все звенит и звенит. И где ты — там и он. Может, он у тебя к шее привязан?

Лола догадалась, что ее разыгрывают, и громко рассмеялась:

— Сестрица Айкиз, да это у меня голос такой!

Айкиз недоверчиво покачала головой:

— Не может быть. Разве голос у человека звучит без перерыва? Человек поговорит-поговорит, да и устанет и замолчит. А ты почему-то не устаешь. Значит, это не голос, а колокольчик. Он ведь без конца способен звенеть...

Девочки прыснули со смеха, а Лола ненадолго примолкла.

Дорога и солнце утомили путниц, они присели на траву отдохнуть.

Айкиз задумчиво глядела вокруг. Это были места, знакомые с детства. Вон внизу заросли арчи, в которых она когда-то застряла. Вон глубокое каменистое ущелье. Айкиз любила стоять на самом краю пропасти, по спине у нее пробегал холодок, а она громко выкрикивала что-нибудь и слушала, как в таинственной мгле ущелья то гулко, то глухо перекатывалось эхо,— чудилось, это отзывался на ее оклик сказочный джинн... А вон в стороне, возле кустов боярышника, большущий гладкий валун. Он наполовину врос в землю, его почти и не видно за высокой травой... Айкиз когда-то подолгу на нем сидела.

Давно она здесь не была. Все время отнимали занятия — не до прогулок было. И она уже выросла... А на перевале, кажется, ничего не изменилось.

Постой-ка, Айкиз... Валун-то словно бы сдвинут с места. Чудно... Кому это понадобилось передвигать такую тяжесть? Он ведь никому не мешал, покоился себе поодаль от дороги...

---

[1] Парварда — сорт конфет.

Не говоря никому ни слова, Айкиз поднялась с места и направилась к камню.

Валун был не только сдвинут, кто-то оторвал его от земли и поставил на ребро, привалив к кустам боярышника. Издали это трудно было заметить, камень скрывала буйно разросшаяся трава.

Сколько помнила себя Айкиз, валун всегда лежал плашмя, прочно зарывшись основанием в землю. Ей даже думалось, что, возможно, под камнем кто-нибудь похоронен. Отец рассказывал, что в свое время на этом перевале разыгрывалось много драм... Сама история оставила здесь свои следы...

Что же тут произошло — судя по всему, совсем недавно? Ведь земля, которую прежде накрывал валун, была совсем свежая. Может, на это место обрушился обвал? Странный обвал, слишком уж аккуратный... Ничего вокруг не тронул, только переместил валун поближе к боярышнику, словно вознамерясь прикрыть им что-то... Нет, это дело человеческих рук. Только ради чего возился кто-то с этим камнем?

Айкиз шагнула к валуну и вздрогнула от неожиданности: из-за него с шумом взлетела стая скворцов. Откуда их тут столько? Что их привлекло?

Она сделала еще два шага да так и замерла: в траве светлели рассыпанные зерна пшеницы, приманившие птиц, а между камнем и кустами боярышника виднелись два мешка — тоже, видно, с зерном.

Теперь уже нетрудно было сообразить, зачем кто-то сдвинул валун: чтобы спрятать за ним пшеницу. А раз ее приходится прятать, значит, она украдена.

Кто-то похитил колхозный хлеб и припрятал его на перевале, подальше от людских глаз.

А хлеб сейчас — это весомый вклад в дело победы! Так говорил Алимджан.

Кто же это протянул хищную руку за колхозным зерном? Кто дерзнул уворовать у честных тружеников хлеб — хлеб победы?..

До Айкиз донесся смех одноклассниц,— наверно, их развеселила Лола.

Может, поговорить с ними о своей находке?

Нет, надо сначала самой во всем разобраться.

Пораскинь-ка как следует мозгами, Айкиз: кто бы это мог сделать, у кого разгорелись алчные глаза на народное добро? Кто бы ни украл зерно — он не про-

сто вор, он враг. Враг колхозников «Кызыл юлдуз». Враг всего народа. Враг победы...

Айкиз сдавила виски ладонями. Неужели у них в колхозе живет этот злодей? Ведь у своих воровать... в такое трудное время... это... это хуже фашизма!

Неожиданно ей вспомнился один разговор. Недавно дядя Гафур, родной брат матери, за обедом с каким-то веселым оживлением сказал отцу Айкиз: «С хлебом-то, братец Умурзак, в этом году туговато будет, наверняка он поднимется в цене!» — «Это спекулянты поднимут на него цену,— хмуро ответил Умурзак-ата.— Есть у нас еще такие негодяи, которые рады погреть руки на народной беде». Гафур тогда промолчал, выбирая из бороды в ладонь хлебные крошки...

Травка, которую в задумчивости жевала Айкиз, показалась ей вдруг горькой-прегорькой. Она выплюнула травинку, сосредоточенно наморщила лоб...

Погоди-ка, погоди-ка... А кто у них в колхозе имеет дело с зерном?

Айкиз! Не горячись, не руби сплеча, тщательней все обдумай.

Обмолоченное зерно с тока увозит дядя Гафур. И он же радовался тому, что теперь хлеб должен подорожать.

Дядя Гафур... Неужели он вор? Айкиз всегда его недолюбливала, ее коробило и от дядюшкиного смеха, хриплого, злорадного, и от его вкрадчивых речей, в которых чувствовалась фальшь; к тому же от Гафура часто несло винным перегаром... Но он все-таки близкий родственник, мамин брат!..

А разве родич не может быть врагом? Вспомни Павлика Морозова, Айкиз!.. Ведь ты еще девочкой читала о нем в «Пионерской правде». Павлику пришлось восстать против родного отца...

Ей все же не хотелось верить, что мешки с зерном спрятал за камнем дядя Гафур. Но ведь только он, он один занимается перевозкой зерна. И украсть пару мешков для него проще простого.

Правда, за руку он не схвачен. И пока у Айкиз были только подозрения. Однако факт оставался фактом: зерно украдено. И так или иначе, а надо кому-нибудь сообщить об этом.

Может, сперва поделиться своими сомнениями с

мамой? Ведь Гафур ей родной брат... Нет, мама не выдержит такого позора! Лучше поберечь ее — пока ничего еще не доказано...

Но Айкиз не в силах и не вправе молчать. Она расскажет все своей пионервожатой, учительнице Зухре, которой во всем доверяла. Если ей нужен был совет, она всегда шла к Зухре.

Крикнув подругам, чтобы они шли дальше без нее, а ей необходимо срочно сбегать в кишлак, Айкиз что есть сил припустилась вниз, к подножию горы. Скоро она очутилась в тенистом колхозном саду. Солнце все припекало. Ей захотелось пить, она подняла с земли крупное яблоко, впилась в него зубами. Правда, жевала она яблоко без особого удовольствия, мысли ее были заняты дядей Гафуром...

Зухру она дома не застала. Бабушка учительницы, маленькая, сухонькая, подвижная, веником чистила палас на айване[1]. Айкиз узнала от нее, что Зухру по телефону вызвали в райком и она обещала вернуться лишь к вечеру.

— Приходи вечером, дочка.

— Нет, бабушка, что вы! У меня срочное дело, до вечера я не могу ждать.

Ждать действительно было нельзя: ведь мешки, главная улика против вора, оставались за камнем, и дядя Гафур или кто другой наверняка заберет их, как только стемнеет.

Айкиз решительным шагом направилась в сельсовет.

Еще проходя мимо окна, она увидела в помещении Алимджана, который обнимал кого-то, не то прощаясь, не то здороваясь. У нее беспокойно забилось сердце: неужели Алимджан получил повестку и расстается с сослуживцами? Некоторое время она мялась у двери, потом распахнула ее, вошла в комнату.

— Здравствуйте, Алимджан-ака!..

Он, видно, не услышал ее приветствия, все похлопывал по плечам какого-то парня, которого Айкиз не могла узнать со спины.

Наконец Алимджан отпустил парня, бодрясь, проговорил:

---

[1] Айван — открытая веранда при доме.

— Что ж, Иргаш, мы теперь на фронте увидимся. Надеюсь, я тут долго не засижусь. Ну, желаю тебе как можно больше прикончить фашистов.

Айкиз хотела поздороваться и с Иргашем, но он, так и не заметив ее, быстро вышел из комнаты. Он жил уже своим армейским будущим, фронтом...

Алимджан повернулся к окну, поглядел вслед Иргашу, споро шагавшему по безлюдной кишлачной улице, и наконец обратил внимание на Айкиз,— вздохнув, сказал негромко:

— Вот так, милая, каждый день кого-нибудь провожаю... Скорей бы уж мне проводы устроили! — Он помолчал.— Повестку-то ему прямо на поле принесли.

— А я его знаю, это брат моей одноклассницы Кумрихон. Она мне рассказывала — Иргаш-ака собирался в Москву ехать, хотел поступить в Тимирязевскую академию. Это еще до войны...

— Да, он мне говорил.— Алимджан пристально посмотрел на Айкиз: — У тебя ко мне дело какое?

— Да. Срочное. Неотложное!

Не сдержав улыбки, Алимджан погладил ее по голове, как маленькую:

— Вот как! Неотложное?! Ну, ну, выкладывай.

Айкиз обидчиво отвела голову из-под его руки, сердито сказала:

— Вы сядьте, Алимджан-ака. Разговор серьезный.

И сама села на первый подвернувшийся стул.

Алимджан опять улыбнулся, но, когда Айкиз приступила к рассказу о своем утреннем приключении, улыбку с его лица словно ветром сдуло, он нахмурился, придвинул свой стул поближе к Айкиз и выслушал ее рассказ и предположения, не прерывая девочку.

Айкиз видела, что Алимджан хорошо ее понимает, и радовалась этому. Наверно, он и думал в эти минуты о том же, о чем и она сама... Ведь он только что простился с Иргашем, который скоро отправится на фронт бить фашистов, может, ему придется пролить кровь, отдать жизнь за родину. А в это самое время такие, как Гафур, растаскивают колхозное добро. Они воруют хлеб не только у колхоза, нет, а у фронтовиков и у того же Иргаша!.. Ведь если бы Айкиз не нашла зерно, то оно уже не попало бы к тем, кому главным образом предназначалось: к солдатам на передовой!..

По мере того как она рассказывала, у Алимджана

темнели глаза. Когда же она замолкла, он неторопливо проговорил:

— Спасибо, Айкиз. Ты молодец.

С уважением пожав ей руку, пообещал:

— Не беспокойся, вор от нас не уйдет. Кто бы он ни был, мы прищемим ему хвост.

В его голосе не было уже ни насмешки, ни снисходительности. И Айкиз, доверчиво глядя ему в глаза, неожиданно для себя сказала:

— Алимджан-ака... я спросить у вас хотела... Что бы вы посоветовали?

— Я слушаю тебя, спрашивай.

— Я раньше думала и дальше учиться, а потом поступить в сельскохозяйственный институт. Но, может, лучше пока оставить ученье?

— Это еще почему?

— Ну... война же. Надо помогать колхозу...

Айкиз говорила негромко, опустив голову, и все сплетала и расплетала концы своих длинных кос, переброшенных через плечо на колени. Еще совсем недавно, чтобы угодить матери, она ухаживала за сорока тонкими тугими косичками, но теперь на возню с ними ей просто не хватало времени, и она стала заплетать волосы в две большие косы, порой укладывая их венцом поверх тюбетейки.

Алимджан смотрел на нее выжидательно, и она продолжала:

— Мы... ну, старшеклассницы... хотим попросить у колхоза участок земли. И своими руками выращивать на нем пшеницу. Хлеб ведь нужен фронту, сами говорили...

— Что же, значит, вы все решили бросить школу?

— Нет, нет! Об этом у нас разговора еще не было.

— И не должно быть, понятно? Ишь что надумала: школу бросить! Нет, и ты, и все твои подруги должны продолжать ученье. А после ты обязательно подашь заявление в институт. Ты любишь свой колхоз, любишь землю, из тебя выйдет хороший агроном, а колхозу так нужны знающие специалисты!.. Я понимаю, ты хочешь помочь родине, верно?

— Да,— еле слышно ответила Айкиз.

— Что ж, идея насчет участка земли неплохая. Я думаю, колхоз выделит такой участок, а вы организуете для работы на нем школьную бригаду.

У Айкиз загорелись глаза:

— Правда?

— А зачем мне врать? Но мы поставим вам одно условие: работать, не бросая учебу! Учиться — ваш святой долг, понятно? И чем лучше вы будете учиться, тем больше пользы принесете и стране и колхозу. Видишь, ты заставила меня повторять прописные истины...

— Я все, все поняла!

— Значит, на том и порешили.

Ночью Айкиз долго не могла уснуть. Ей хотелось обдумать все не спеша, но мысли не слушались ее, и разгоряченное воображение рисовало причудливые картины. То она вспоминала, слово в слово, разговор с Алимджаном, то думала о своих братьях, Алишере и Тимуре, которые сообщили недавно номера своей полевой почты, то представляла себе дядю Гафура, который полз на четвереньках, воровато озираясь, к кустам боярышника...

Айкиз начала уже дремать, как вдруг услышала голос Алимджана. Она насторожилась... Почудилось ей это или действительно к ним пришел Алимджан? Она села на постели, прислушалась. Сомнений не было, во дворе Алимджан разговаривал с ее отцом.

— Да, да, Умурзак-ата, мы поймали его на месте преступления, когда он пытался увезти зерно.

Алимджан, видно, сильно волновался и то повышал голос, то переходил на шепот.

— Он что же, на арбе пожаловал? — Умурзак-ата с трудом сдерживал гнев.

— Нет, ишака привел. И только хотел взвалить на него мешки, как мы...

— Ах, мерзавец! Ах, негодяй!

— Тише, Умурзак-ата. Своих разбудите.

Айкиз вскочила с постели, набросила на себя платьице, неслышно, как тень, скользнула во двор. Там, возле старого урюкового дерева, темневшего на фоне густо-синего ночного неба, стояли отец и Алимджан. Подбежав к ним, Айкиз выпалила:

— Его арестовали, да?

Оба глянули на нее с удивлением, отец шикнул:

— Тебя тут не хватало! Марш в постель.

— Вы только скажите: кто это был?

— Кому сказано: спать!

По сердитому, негодующему голосу отца Айкиз догадалась, что речь между ним и Алимджаном шла о Гафуре.

Она поспешила к дому, от греха подальше.

Противоречивые чувства владели девочкой: и радость — оттого, что она выполнила свой долг и вора удалось поймать, и горький стыд, смешанный с жалостью,— ведь это все-таки был их родич...

Гафур получил по заслугам, и суровый приговор суда всеми в Алтынсае был встречен с одобрением. Лишь председатель колхоза Кадыров сказал Умурзаку-ата:

— Все же жаль человека. Пострадал из-за каких-то двух мешков пшеницы. Велика беда! Нынче мы целые города теряем.

— По-твоему, суд должен был оправдать негодяя?

— Не надо было вообще доводить дело до суда. Как-нибудь сами бы разобрались. Работник он был неплохой...

— Он прежде всего вор!

— Ну, ну!.. Просто проявил человек слабость... А ваша Айкиз шум подняла. Нет чтобы мне сперва обо всем доложить,— в сельсовет кинулась.

— Я горжусь своей дочкой...

— Умурзак, дорогой, неужто тебе-то совсем его не жалко? Ведь как-никак он из твоей родни.

— Нет, председатель, не жалко! Сказать по чести, мне жалко наших джигитов, которых забрала у нас война. Они кровь проливают, защищая от врага и нас с тобой и таких, как Гафур. Ему что? Отбарабанит свой срок и вернется домой. А вот возвратятся ли с фронта наши сыновья...

— Э, Умурзак, выше голову! Война скоро кончится.

— Твоими бы устами да мед пить! — вздохнул Умурзак-ата.

Айкиз чувствовала, что Кадыров после случая с Гафуром стал относиться к ней с какой-то опасливой настороженностью. Но ей тогда было не до Кадырова. Неясные, но сильные чувства полонили ее сердце: ка-

залось, будто в душе ее бушуют вихри, будто на нее обрушился снежный обвал, обдавая ее холодом и жаром, а что с ней творилось — она не понимала. То томила ее ноющая боль, то испытывала она непонятный восторг, когда все пело вокруг, то охватывала ее жажда действия... А порой ей хотелось позвать кого-нибудь на помощь.

Но в чем ей нужно было помочь, она и сама не знала.

Мысленно она часто беседовала с отцом и матерью, с братьями, которые были далеко-далеко, а чаще всего — с Алимджаном...

Вот кто мог бы ей помочь. Только как, в чем? Порой ей казалось, что и она могла бы быть нужной Алимджану. Она, Айкиз, способна на крепкую, верную дружбу, а разве Алимджан в эти тяжкие дни не нуждался в друзьях? Только зачем ему ее дружба и забота?.. Он словно и не замечал Айкиз, а если и разговаривал с ней, то как с маленькой девочкой...

Ей же шел шестнадцатый год. Она взрослая и полна нерастраченной силы!.

Айкиз, Айкиз!.. Ты действительно стала взрослой и сильной. Наверно, потому и ищешь трудной работы, такого дела, которому могла бы целиком себя посвятить, и спрашиваешь себя и родину: что сейчас нужнее всего и где ты нужнее всего? Но кроме сил в тебе еще накопилась и нежность, требующая выхода... Святая женская нежность и заботливость, так нужные кому-то, только неясно кому... Может, и Алимджану, хотя он пока и ведать об этом не ведает. Для него ты и правда всего лишь школьница с косичками, бойкая, смелая, решительная, но — школьница... Большего в тебе он еще не видит. А ты вспомни: ведь несколько лет назад и ты не думала об Алимджане. Впрочем, из других Алимджан тебя и сейчас выделяет. И недавно, благодарно пожимая тебе руку, он ощутил, какая она сильная, твоя рука... Он тогда поглядел на тебя с уважением. Нет, Айкиз, ты не права, полагая, что он совсем уж тебя не замечает!..

Когда начались занятия в школе, Айкиз приняли в комсомол. Это был памятный для нее день, она очень тогда волновалась, а мысли были торжественные, ясные, свободные от всего мелкого и будничного.

Собрание вел Алимджан, который наряду с рабо-

той в сельсовете возглавлял колхозную комсомольскую организацию.

Он первый поздравил Айкиз с вступлением в комсомол, а когда все начали расходиться, придержал ее за локоть:

— Останься. Садись, поговорим.

Айкиз покраснела.

— О чем, Алимджан-ака?

— Разве не найдется у нас темы для разговора? Ну, расскажи, что у вас в школе интересного.

— Я вам раньше рассказывала...

— Ну, может, тебе нужен мой совет, моя помощь?

Айкиз еще больше смутилась.

— Да нет... Все у меня в порядке.

— Значит, жизнь у тебя безоблачная? Завидую. И тайн никаких нет? А то поделилась бы со мной — как со старшим товарищем.

Не поднимая глаз на Алимджана, Айкиз пробормотала, совсем смешавшись:

— Тайны? Какие тайны? У меня нет никаких тайн. Все хорошо, Алимджан-ака.

Потом она долго допытывалась у самой себя: соврала она Алимджану или нет насчет тайны? И не могла ответить на этот вопрос. Потому что сама не понимала, что с ней творится, и боялась предположить, что смятение, которое она испытывала, думая об Алимджане, встречаясь с ним,— это и есть самая большая и сокровенная ее тайна...

После вступления в комсомол забот у нее прибавилось. Ей поручили редактировать школьную стенную газету; она руководила звеном школьной полеводческой бригады, которая выращивала пшеницу на богарном участке.

Было время сева озимых. Алимджан частенько наведывался верхом на этот участок; спрыгнув с коня, отводил Айкиз в сторону, интересовался, как идут у них дела, не нуждаются ли юные хлеборобы в какой помощи, не трудно ли им совмещать ученье с полевыми работами.

Порой она сама заходила к Алимджану в сельсовет, узнать, о чем говорится в последних сводках, что пишут односельчане с фронта.

Вести и в сводках и в письмах были неутешительные: на всех фронтах продолжались изнурительные

бои с фашистами, наши войска отступали, немцы рвались к Москве.

Однажды, в очередном разговоре с Алимджаном, Айкиз, набравшись духа, спросила:

— Алимджан-ака, а почему вы все еще не на фронте?

— А тебе хочется поскорей меня туда спровадить? — невесело улыбнулся Алимджан.

Айкиз хотелось сказать, что она и правда желала бы видеть его на передовой, ведь он такой сильный, отважный, он непременно совершил бы какой-нибудь удивительный подвиг, повел бы своих товарищей вперед, на врага... И вернулся бы с победой.

Но вместо этого она тихо проговорила:

— Нет, отчего же. Вы здесь тоже нужны.

— Там я нужней, Айкиз, я это знаю, и ты права.

— В чем я права?

Он не ответил, а она с испугом подумала: неужели он догадался о затаенных ее мыслях?

Как-то в начале января, когда в классе шел урок алгебры и Айкиз с подругами склонились над тетрадями, решая задачи, дверь неожиданно распахнулась и вошел с газетой в руке сияющий Алимджан. Помахав над собой газетой, он возбужденно, торжествующе проговорил:

— Друзья мои! Я к вам с добрыми вестями. Вот послушайте.

И начал громко читать:

— От Советского Информбюро. Контрнаступление советских войск под Москвой к концу декабря превратилось в общее наступление Красной Армии на всем фронте...

Класс встретил эти слова неистовым «ур-ра!», и несколько минут длилось шумное ликование.

Айкиз вместе со всеми кричала, хлопала в ладоши, подбрасывая вверх свою тюбетейку.

Лишь двое в классе оставались внешне спокойными: Алимджан, который только улыбался во все лицо, и старый учитель — он снял свои простенькие очки и платком вытирал глаза.

По просьбе класса Алимджан зачитал сводку еще раз, а потом сказал:

— Вы знаете, газет в Алтынсай приходит мало. Поэтому поручаю вам переписать сводку в нескольких экземплярах и пойти с ней по дворам, прочитать ее каждому алтынсайцу — чтобы все радовались, чтобы у всех стало светлей на сердце!

Да, в это время Айкиз часто приходилось и видеться и разговаривать с Алимджаном.

И все ей казалось, что он не обращает на нее никакого внимания, хотя на самом деле он уделял ей больше времени, чем кому-либо другому.

Сердце у нее замирало, падало при этих встречах, она старалась не смотреть на Алимджана, но против своей воли поднимала глаза и уже не могла отвести их от дорогого лица...

От дорогого? Когда же это Алимджан стал для нее дорогим?.. Он ей такой же товарищ, как и все. Старший товарищ. Не больше.

Так одергивала себя Айкиз, а наваждение продолжалось. Смутные вихри все бушевали у нее в душе, и она спрашивала себя: что с ней происходит, почему она перестала владеть своими чувствами? Уверяет себя, что относится к Алимджану так же, как ко всем, но при одной мысли о нем у нее начинает сильнее биться сердце, а когда она видит его, то вообще не знает, что ей делать, куда деваться — от стыда, радости, смятения...

Слово «любовь» она даже мысленно страшилась произнести... И в конце концов заставила себя думать: да, ее тянет к Алимджану, но только потому, что рядом с ней нет ее старшего брата Алишера. Алимджан и заменил ей брата, к нему, как когда-то к Алишеру, всегда можно обратиться за советом, за поддержкой, и ему, как и Алишеру, хочется во всем подражать... Для него Айкиз тоже вроде младшей сестренки, и ни капли это не обидно, и при чем тут какие-то вихри в душе?..

Вот на какую уловку пошла Айкиз, чтобы хоть как-то сдержаться, успокоиться...

Вихри в ее душе вроде бы улеглись, но принесенные ими новые ощущения, мысли, настроение — все это осталось, и она жила теперь и в прежнем и в изменившемся мире.

То новое, что прочно утвердилось в ее сознании и в сердце, странным образом влияло на Айкиз, застав-

ляя ее удивляться самой себе. Она знала: за тысячи километров от Алтынсая, за горами, морями, пустынями, лесами и реками, шло великое сражение за свободу и независимость родины, за все дорогое, что добыто было в послереволюционные годы, за честь и жизнь советских людей... Там лилась кровь, витала смерть, гибли сограждане Айкиз, славные воины, незнакомые, но такие родные и близкие... Там бились с врагом и ее братья. Когда она думала о них, то у нее сердце готово было разорваться от сочувствия и боли... А между этими черными минутами были другие, непонятно светлые, трепетные, когда чудилось, будто то ли вокруг, то ли в ней самой разливается соловьиная песня... Айкиз удивляло, как это могло совмещаться: война, кровь, смерть — и соловьиная песня... Но, незаметно для себя, и сама она начинала тихонько напевать вслух. Песня была с ней, когда она садилась за уроки, когда помогала матери по хозяйству, разжигая очаг, ставя самовар, накрывая скудный дастархан...

Особенно самозабвенно пела Айкиз, вторя соловьиной песне собственного сердца, когда спешила в горы, к чабанам, к дядюшке Бабакулу, с едой и газетами. Вокруг — ни души, только скалы и пропасти, и голубой простор неба, и не от кого таить свои чувства — даже от самой себя. В эти минуты Айкиз казалось, будто она одна в целом мире со своей песней и нет войны, крови и смерти, все дурное, горькое, страшное словно растворялось в ее песне, звонкой, как ручей, заполнявшей всю душу, песне без названия и слов...

Подчас, когда Айкиз тихо напевала ее для себя, взрослые косились на нее неодобрительно, но она не замечала этих взглядов...

Ее не понимали, она и сама не понимала себя, да больше и не пыталась понять.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подходила к концу долгая-долгая зима. В долинах сошел снег, на богаре, на холмах и увалах, близ гор, уже засверкала на солнце изумрудная озимь.

На южных склонах гор, успевших прогреться, зацвел миндаль.

Айкиз, ехавшая ясным февральским утром на иша-

ке в горы, к чабанам, первая увидела на небольшой скале облитое розовым цветом миндальное деревце. Оно чуть свисало вниз над крутым каменистым склоном, и снизу казалось, будто у скалы задержалось легкое прозрачное облачко.

Айкиз, оставив ослика на тропе, стала карабкаться вверх по красноватым камням, ей очень хотелось сорвать душистую цветущую веточку. Несколько раз она соскальзывала с гладких валунов, больно ударяясь о них коленями, чуть не в кровь изодрала руки, но наконец все-таки ей удалось дотянуться до нижней хрупкой ветки, она обломила ее, и вдруг снизу до нее донесся громкий оклик:

— Э-эй, Айкиз! Что ты там делаешь?

Это был голос Алимджана, и Айкиз от неожиданности, радости и испуга не удержалась и поползла вниз, цепляясь пальцами за камни, с последнего же валуна вообще сорвалась и упала на землю. Алимджан подскакал к ней на коне, спешился, взяв ее за руку, помог подняться, участливо спросил:

— Ушиблась?

— И вовсе нет. Только немного поцарапалась.

Он не поверил ей, с легким укором покачал головой:

— Дались тебе эти цветы! Надо же, куда полезла.

— Это же миндаль, Алимджан-ака. Первый миндаль...

— Ну, миндаль от тюльпанов я могу отличить,— улыбнулся Алимджан.— Может, нарвать тебе еще?

— А вы достанете? Вон как высоко он растет!

— Ты ведь достала...

Айкиз, как это часто с ней бывало, почему-то покраснела, но не отводила от Алимджана глаз, опушенных темными ресницами.

Усмехнувшись, Алимджан подвел коня к самому склону скалы, поставил его боком к ней, упершись ногой в стремя, ловко вспрыгнул на седло и, балансируя, вытянувшись во весь рост, ухватился за ближнюю ветку миндального деревца, подтянул его к себе и стал отламывать и кидать Айкиз пушистые, как дым, веточки,— она едва успевала ловить их. Когда веточек набралась полная охапка, Айкиз крикнула:

— Хватит, Алимджан-ака! Куда столько! Это же миндаль, он еще даст плоды.

— А кому их собирать? Они всегда даром пропадают.

Все же Алимджан спрыгнул с коня на землю, приблизился к Айкиз:

— Вон как много у тебя теперь веток! Может, они будут напоминать тебе обо мне...

В голосе его зазвучала грусть, и Айкиз обеспокоенно спросила:

— Почему — напоминать, Алимджан-ака? Вы так говорите, будто куда уезжаете.

— Да, Айкиз. Уезжаю. Пришла и моя пора отправляться на фронт.

— На фронт?..

Ветки посыпались из рук Айкиз, а она и не попыталась даже нагнуться и подобрать их, словно и не замечала, как они падают. Еще недавно она все допытывалась у Алимджана, почему он до сих пор не на фронте, и в воображении рисовала его себе бесстрашным, мужественным воином, а теперь, когда она услышала, что его забирают в армию, сердце у нее защемило...

— Это правда, Алимджан-ака?

— А зачем мне врать? На, посмотри.

Он протянул ей синюю бумажку.

— «Повестка»,— прочла она вслух, изо всех сил стараясь не показать, как дрожат у нее руки.

Повеселевшим тоном Алимджан проговорил:

— Завтра к девяти утра явиться в военкомат. Вот так, Айкиз. Настал и мой черед.— И добавил усмешливо: — А ты боялась...

Айкиз, словно окаменевшая, стояла перед Алимджаном, подняв на него растерянные глаза, а он все так же бодро продолжал:

— Вот езжу, прощаюсь со всеми. Заглянул к тебе домой, мне сказали, что ты пошла к чабанам. Слава богу, нагнал. До свидания, Айкиз. Вспоминай обо мне иногда. Я тоже буду о тебе вспоминать, ты славная девочка... Воюй тут за хлеб, за пятерки. Поднимай своих комсомольцев на большие дела — на фронте это скажется. Будь счастлива, Айкиз!

— До свидания, Алимджан-ака,— чуть слышно произнесла Айкиз,— пусть минуют вас пули.

Он пожал ее руку, холодную, как лед, вскочил на коня и поскакал к кишлаку.

Айкиз не помнила, как она села на своего ослика, как добралась до отар, о чем говорила с дядюшкой Бабакулом...

На обратном пути, уже приближаясь к кишлаку, она вспомнила о цветущих ветках миндаля, которые выронила возле скалы, и долго смотрела на свои пустые руки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Проводив Алимджана, Айкиз жила надеждой, что он пришлет письмо прежде всего ей. Айкиз хотелось, чтобы это было именно так! А Алимджан писал своим родителям, сестренке Лоле, председателю колхоза Кадырову, а о ней словно забыл. И Айкиз с обидой и печалью повторяла про себя последние слова Алимджана: «Я тоже буду о тебе вспоминать...» Оказалось, пустые это были слова,— так, дань обычному прощальному ритуалу... А она-то возомнила бог весть что!..

Соловьиная песня в сердце у Айкиз умолкла... И сама она больше не пела. Дел у нее было сверх головы, они отвлекали Айкиз от грустных мыслей, но как только выпадала свободная минутка, ее охватывала тоска...

От Алишера и Тимура вести приходили, но редко. Обычно это были письма очень короткие, они умещались на одной стороне тетрадного листа, потому что на другой надо было вывести адрес. Писали братья, видно, наспех, химический карандаш торопливо бегал по бумаге.

Айкиз, которая вызвалась развозить письма, потому что работников на почте не хватало, сама являлась домой с заветными треугольниками — и тогда в семье наступал праздник. Письмо, которое Айкиз первой успевала прочесть на почте, в районном центре, дома читалось множество раз. В таких случаях у Умурзаковых собирались и соседи, они тоже жаждали послушать, что пишут с фронта Алишер и Тимур. Иные, посидев немного, пережив про себя каждую строчку, молча уходили, другие засиживались допоздна, и разговор вращался вокруг одной темы: когда же кончится война?

Айкиз казалось, что у каждого письма, полученного с передовой, как у людей, своя судьба, свой облик и

нрав... От одного письма пахло порохом и лесными дождями, от другого пылью дорог, от третьего горьковато веяло йодоформом... Они вмещали в себя и кровь, и гул батарей, и сухие степные грозы, и сырость окопов...

Письма, фронтовые письма! Как долог и труден их путь!.. Он начинался за тысячи километров от мест, куда письма были адресованы, тянулся сквозь разрывы снарядов и пулеметный огонь, дым пожаров и грохот бомб... Потом скромные треугольники писем, уложенные в пеньковые мешки, везли в грузовиках по тряским ухабистым дорогам, то заснеженным, то размытым, через степи и леса, на станциях их перегружали в почтовые вагоны, и поезда шли тоже под бомбежками, одолевая не только немыслимые расстояния, но и половодья и снежные бураны, одолевая войну. Дальше эти письма, изведав всю меру трудностей, которые несла с собой война, снова подрагивали в машинах и, наконец, попадали в сумки почтальонов.

А некоторые — в шерстяной полосатый хурджун, перекинутый через спину ослика, на котором разъезжала Айкиз.

Первое время Айкиз охотно исполняла роль почтальона, ей нравилось радовать людей весточками с фронта.

Однажды поздней осенью, в сильный дождь, Айкиз постучала в дверь дома своей одноклассницы Кумрихон. Когда ей открыли, она, держа руку с письмом за спиной, весело и звонко проговорила:

— Кумрихон! С тебя суюнчи [1]!.. Я жду!

Долго она испытывала терпение подруги, но наконец сжалилась над ней и протянула письмо.

Письмо выглядело несколько необычно: это был не треугольник, а конверт, причем такой тонкий, словно внутри он был пуст.

— Ну, где же твое суюнчи? — все подзадоривала подругу Айкиз.— Ведь письмо наверняка от Иргаша!

Кумрихон обычно быстро, нетерпеливо разворачивала солдатский треугольник и, едва успев пробежать глазами первые строчки, начинала плясать и петь от радости, звала мать, отца, младшего братишку и, пританцовывая, прочитывала им письмо.

---

[1] Суюнчи — подарок за радостную весть.

Но на этот раз Кумрихон осторожно взяла в руки письмо и медлила его распечатывать. Ее пугало, что оно было в конверте и адрес на нем был выведен незнакомой рукой. Она глянула на Айкиз, словно ища у нее совета и поддержки, та ободряюще кивнула подруге: ну, что же ты, вскрывай! Кумрихон нерешительно надорвала краешек конверта, достала из него аккуратно сложенный листок и когда развернула его, то побледнела, лицо у нее сделалось какого-то серого, пепельного цвета, с пронзительным криком вцепилась она руками в волосы, а потом стала бить себя кулаками по голове, странно раскачиваться из стороны в сторону, ничего не слыша и не видя вокруг.

Листок, который она выпустила из рук, упал на пол. Айкиз подняла его, вгляделась и побледнела. Это была «похоронка», извещавшая о гибели Иргаша...

Растерянная, ошеломленная, Айкиз стояла посреди комнаты, не зная, что делать, что сказать подруге, чем утешить ее... Она чувствовала себя так, будто сама была виновата в смерти Иргаша,— ведь это она принесла в дом Кумрихон страшную весть...

После этого Айкиз отказалась разносить письма, и ее обязанности целиком приняла на себя Елена Никитична Горышева, работавшая почтальоном,— ей по должности полагалось ходить от дома к дому с письмами, независимо от того, какие вести в них содержались...

Айкиз ей довелось порадовать, и это случилось спустя год после памятной встречи Айкиз и Алимджана у скалы с цветущим миндалем. Теперь деревце расцвело снова.

Айкиз возвращалась в кишлак с богары, где она осматривала озимые, посеянные школьной бригадой.

Когда она миновала колхозный сад, еще голый, сквозной, просматривавшийся из конца в конец, то увидела на дороге, ведущей к кишлаку, Елену Никитичну Горышеву. У Айкиз замерло сердце: с некоторых пор она боялась встреч с почтальоншей. Но Горышева улыбалась, издалека она поманила Айкиз пальцем, потом достала из сумки белый треугольник и помахала им в воздухе — Айкиз показалось, будто это голубь взлетел вверх. Она со всех ног припустилась к почтальонше, потянулась за письмом, уверенная в

том, что это весточка от Алишера или Тимура. Горышева спрятала треугольник за спину:

— Э, дочка, ты хочешь просто так его получить? Не выйдет. Сначала — суюнчи!

— Тетя Лена, у меня с собой нет ничего! Пойдемте к нам, я вам что хотите подарю.

— Да я шучу. Недосуг мне по гостям-то расхаживать. И без суюнчи обойдусь, только, дочка, сплясать тебе все-таки придется. Ну, пляши!

Ради того, чтоб поскорей получить в руки заветное письмо, Айкиз готова была на все. Она пустилась вокруг Елены Никитичны в веселый пляс, прищелкивая пальцами и прихлопывая в ладоши.

— Ладно уж, хватит,— смилостивилась Елена Никитична.— Забирай свое письмо.

Как только Айкиз взглянула на обратный адрес, у нее все поплыло перед глазами, строчки на конверте словно подернулись туманом, а когда она наконец пришла в себя и хотела поблагодарить Елену Никитичну, той уже рядом не было... Айкиз прижала письмо к груди, еле слышно прошептала:

— Ой!.. Алимджан-ака...

Ей сейчас же, немедленно хотелось вскрыть письмо, но она сдержала себя. Нельзя такое письмо читать прямо на дороге! Надо найти укромный уголок, где ее никто бы не мог увидеть, потревожить. Ведь самое сокровенное переживают наедине с собой...

Она долго думала, куда бы ей укрыться, а потом вспомнила о скале с цветущим миндалем,— это было самое подходящее место, ведь там она прощалась с Алимджаном. Сейчас же Айкиз чувствовала себя так, будто ей предстояло новое свидание с ним... Где ж им еще и встретиться, как не под памятным миндальным деревцем!..

Но до него было так далеко! А письмо жгло ей пальцы... И Айкиз, пробежав в глубь сада, прислонилась спиной к стволу яблони, развернула треугольник и впилась глазами в строчки письма...

«Здравствуй, Айкиз! — так оно начиналось.— Помнишь ли ты своего односельчанина, старшего товарища по комсомольским делам Алимджана?

Я сейчас далеко-далеко от нашего родного Алтынсая. Так далеко, что даже не верится, будто есть на земле такой райский уголок, тихий, солнечный, мир-

ный... Может, мне вообще только приснилось, что когда-то я жил, работал там и не было войны, не было кровавых боев?..

От Алтынсая меня отделяют тысячи километров. Между нами лежат глубокие снега, необозримые равнины, широкие реки, дремучие непроходимые леса. Я в такой дали от родных мест, что порой мне кажется, будто все обо мне там забыли. И славная девочка Айкиз — тоже...

Тут ведь совсем другой мир. С грохотом падают бомбы, ухает артиллерия, трещат пулеметы, кричат, стонут раненые... Как поверить в этом нечеловеческом шуме и грохоте, что где-то есть тишина... И дорогой моему сердцу Алтынсай. И спокойное небо. И розовое миндальное деревце на скале, возле которой я разговаривал с маленькой неутомимой труженицей, с Айкиз.

Я часто вспоминаю об этом, и воспоминания придают мне силы, помогают выдержать немыслимое напряжение войны. Впрочем, как это ни странно, я привык к своей ратной жизни, и от тишины, наверно, просто оглох бы...

Айкиз, а то деревце, наверно, опять расцвело? Навещаешь ли ты его? Напиши мне об этом. И в планы свои посвяти. Собираешься ли ты все-таки после школы идти в институт? Или останешься работать в колхозе? Как бывший секретарь и сельсовета и колхозной комсомольской организации, я бы без колебаний посоветовал: готовь себя к институту. И учись на агронома. Учиться ведь можно и заочно, продолжая помогать колхозу. Война кончится, и колхоз будет остро нуждаться в специалистах, да и во время войны в них ощущается особая нехватка. Учись, Айкиз, учись!.. Ради того мы ведь и воюем — чтобы такие шустрые девочки, как ты, могли учиться...

Подробнее пиши мне обо всем, что происходит в Алтынсае. Как вы все живете, трудитесь? Я давно не получал писем из дома, и мне все интересно. Весточки из Алтынсая приближают меня к нему...»

Дальше Алимджан просил передать привет всем землякам и заключал письмо коротким, скупым «до свидания».

Дочитав письмо, Айкиз повертела его в руках, словно ища продолжения, но больше в нем не было ни

слова. Она чуть огорчилась, но чувство это тут же исчезло, как роса под лучами солнца. Сердце ее до краев переполняла радость. Алимджан написал ей! Алимджан вспомнил о ней!..

Вновь зазвенела соловьиная песня, поднявшись откуда-то из глубины души и растворив в себе все звуки мира. Только эту песню и слышала Айкиз и невольно зашевелила губами, подпевая...

Необходимо было немедленно ответить Алимджану. Ей не хотелось терять ни минуты, ведь он просил Айкиз написать ему.

Днем, однако, у нее не нашлось свободного времени, и Айкиз еле дождалась вечера.

После ужина она уединилась в своей комнатке, подлила в лампу керосина, пристроилась за столом, возле незанавешенного окна, выходившего в темный двор, и принялась за письмо...

Каждая строчка давалась ей с трудом, потому что она никак не могла справиться с чувствами, теснившимися в груди. Ее бросало то в жар, то в холод. Лицо горело, а руки были ледяные, она прикладывала их к пылавшим щекам, желая унять жар, но щеки остывали сами по себе, и Айкиз начинал бить озноб. Тогда она вставала, надевала черную бархатную безрукавку, постепенно согревалась, и вскоре ее опять будто пламя охватывало, приходилось даже открывать окно.

Среди ночи ее напугал петух. Он спал на урюковом дереве и вдруг хрипло закукарекал спросонья, захлопал крыльями, задевая ветки. В разных концах кишлака откликнулись другие петухи. Большей частью ночные «солисты» надрывались кто во что горазд и перебивали друг друга, но иные, словно объединившись в хоры, голосили слаженно и дружно. Другим животным тоже, видно, показалось, что они прозевали урочное время, и в кишлаке поднялся страшный шум. Залаяли собаки, и ишаки возопили так истошно, надрывно, словно их резали.

«А Алимджан мечтает о тишине! — с легкой улыбкой подумала Айкиз.— Вот тебе и тишина!» Но тут же она с полной серьезностью рассудила, что ведь и шум бывает разный. Гомон, который учинила домашняя живность, был естественный, благодатный; наверно, Алимджан рад был бы услышать и рев алтынсайских

ишаков и петушиное пенье... Все это часть мирной жизни кишлака, голоса самой природы... А бомбы, пушки, пулеметы придуманы людьми, чтобы убивать друг друга...

Неожиданно нарушители ночного спокойствия все разом замолчали, и кишлак окутала тишина, мягкая, таинственная и такая чуткая, что Айкиз даже почудилось, будто она слышит, как на тополях, росших на улице, лопаются почки... Она поднялась, вышла во двор и, затаив дыхание, боясь пошелохнуться, стала прислушиваться к тишине.

С урючины с шелестом полетел вниз, касаясь ветвей, сухой лист, оставшийся еще с прошлого года. Стоя возле сарая, ишак почесался боком о стену. Лениво залаяла собака в соседнем кишлаке...

Тишина была живая, она словно дышала...

Вернувшись в комнату, Айкиз перечитала написанное и недовольно поморщилась: нет, не то!.. Как-то все сухо, словно это отчет, а не письмо, и нескладно...

Она вырвала из тетради свежий листок, задумалась... Может, написать ему, что сейчас ночь и в Алтынсае такая тишина, что слышно, как лопаются почки?.. Или поведать про миндальное дерево на скале,— ведь Алимджан спрашивал о нем. Хоть они год назад изрядно его обломали, но оно расцвело пышнее прежнего. И пустило новые веточки. А может, рассказать, как она встретила Елену Никитичну и как обрадовалась письму Алимджана? И как хотелось ей побежать к заветному миндальному деревцу, чтобы там прочитать это письмо?

Пока Айкиз раздумывала, лампа стала гаснуть. Пришлось сходить в маленькую переднюю, где стоял бидон с керосином. Торопясь, Айкиз ухватила ламповое стекло голыми пальцами, успела вынуть его, но обожглась и кинула стекло на пол... Она дула себе на пальцы, а проснувшаяся мать ворчала: стекло-то теперь приобрести не так просто, надо ехать за ним в район, на базар, и потратить немалые деньги... Понимая, что мать права, Айкиз помалкивала... Будет теперь хлопот с этим стеклом. Как это она не удержала его. Подумаешь, горячее — можно было и потерпеть. Тихонько подобрав с пола осколки, Айкиз выбросила их, засветила коптилку и снова уселась за стол. Писала она долго, в окне уже забрезжил синий

рассвет, а она все водила пером по тетрадным страницам...

Возможно, из-за того, что она была расстроена историей с лампой и недовольна собой, письмо получилось все-таки суховатым, деловым—для лирических излияний в нем не нашлось места. Айкиз подробно доложила Алимджану о том, что делается у них в колхозе: виды на урожай хорошие, в отарах получен большой приплод, колхозники заложили новый виноградник, построили птицеферму, правление приняло также решение разводить свиней, но никто не захотел возиться с ними, и Кадыров махнул рукой на это важное дело... Он вообще равнодушен ко всему новому, а может, просто не знает, как за это новое взяться. Тут Айкиз даже порассуждала немного: Кадырову ведь не хватает образования, он больше полагается на свой опыт и, как всякий практик, держится за то, к чему уже привык, в чем преуспел.

В конце письма Айкиз поблагодарила Алимджана за его заботу о ней и за совет учиться. Она и сама понимает, что учиться необходимо, и ей очень хочется поступить в институт, но сейчас в колхозе каждый человек на учете, она здесь нужней, и, видимо, придется ей все-таки заниматься в институте заочно. Многие говорят, что нелегко это будет — одновременно и учиться в институте и трудиться в колхозе. Но ее это не пугает, ей к такому «совмещению» не привыкать: ведь все последнее время она и работала и училась. Да, нелегко это, но разве на фронте легче?.. Сейчас каждый должен чувствовать себя бойцом и все свои силы отдавать делу победы. Ведь так?..

Все же она не удержалась и, прощаясь с Алимджаном, передала ему привет от миндального деревца...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Айкиз в очередной раз отправилась в горы, к чабанам. Ишак, как всегда, то и дело останавливался ни с того ни с сего, оглядывался, прислушивался к чему-то, чуть шевеля длинными прямыми ушами с серыми кисточками на концах, и внезапно разражался оглушительным ревом, похожим на прерывистые рыдания. Эти его неожиданные остановки и истошный

рев выводили Айкиз из себя. Противный упрямец! Во всем мире не было такой упрямой, своенравной скотины!

Когда на ишака, непонятно почему, находило упрямство, то никакими силами нельзя было сдвинуть его с места. Айкиз сердилась, называла его лентяем, хлестала что есть мочи хворостиной, подталкивала руками сзади, а он все торчал на дороге, словно каменный, и рыдал неизвестно над чем до тех пор, пока сам не уставал от своего крика. Опять-таки непонятно, отчего он вдруг успокаивался и мелкой, нетряской рысцой бежал дальше.

И Айкиз тогда жалела своего ослика, поражаясь терпеливости и безропотности, с какими он семенил по горным тропам с тяжелой ношей на спине.

Вот они и на перевале. Сколько раз в детстве Айкиз босиком пробегала по этой тропе, сколько раз в последние годы проезжала здесь на своем длинноухом!.. Наверно, если бы даже никто больше тут и не проходил и не ездил, то и одной Айкиз удалось бы вытоптать узкую тропинку через перевал. Ей все здесь было знакомо, каждый крутой поворот тропы, каждый камень, каждый куст... Казалось, вечно, из года в год, зеленел вон тот боярышник, а вон там желтела душистая полынь... А вот и валун, под которым она нашла краденое зерно...

Дорога убаюкивала, в голову лезли праздные мысли. Интересно, сколько километров прошла и проехала Айкиз по этой тропе? Наверно, несколько тысяч. Ведь она часто навещала дядюшку Бабакула да и просто так наведывалась в горы...

А сколько времени минуло с тех пор, как она отправила письмо Алимджану? Ну-ка, посчитай на пальцах, Айкиз. Что получилось?.. Ровно двадцать два дня. Пересчитай-ка еще раз, не ошиблась ли ты... Раз, два, три...

Привычно покачиваясь в такт мягким шагам ишака, Айкиз принялась снова загибать пальцы на руках. Нет, точно, двадцать два. На скале тогда цвел наш миндаль...

Произнеся про себя это «наш», Айкиз вдруг почувствовала, как жарко вспыхнули у нее щеки.

Чтобы отвлечься от этих смущающих ее мыслей, она слегка вытянула ослика хворостиной и крикнула:

— Но-о, негодный! Что плетешься, как черепаха? Поторопись, лодырь несчастный!

И, чуть нагнувшись к длинным торчащим ушам ослика, принялась проникновенно увещевать его:

— Ты пойми, упрямец, в хурджуне у нас еще теплые лепешки, хасип, сладкая кукуруза. Всю эту вкусноту ждут чабаны, а ты еле ногами перебираешь. Поспешим, а?

Неожиданно капля дождя упала ей на смуглую руку. Айкиз подняла голову, взглянула на небо и озабоченно сдвинула брови.

За раздумьями да подсчетами она и не заметила, как в горах собралась гроза. Вершина Коктау сплошь была окутана густыми темными тучами. Они мрачно клубились, ворочались, их рваные космы сползали вниз по склонам, цепляясь за жесткие колючие кустарники. Не прошло и минуты, как все окрестные горы и холмы утонули в хмуром, свинцово-сером тумане.

Уже недалеко было до лощины, где паслись отары, но Айкиз ничего не видела перед собой. Она прислушалась — не донесется ли до нее блеяние овец, но вокруг стояла тяжкая тишина, и только дождь шелестел, пока еще редкий...

И вдруг в небе над ней словно прорвало плотину, и на Айкиз разом обрушились потоки воды. Дождь шел на нее плотной стеной, и, захлебываясь, она крикнула:

— Но-о, дурень! Боже, ему и дождь нипочем, плетется как ни в чем не бывало!..

Ливень низвергался с такой силой, что под ударами тугих струй мелкие камни на косогоре разлетались во все стороны, а по тропе уже бежал с шипением мутный ручей. От ровного шума, переходящего в грозный гул, заложило уши...

Айкиз вмиг промокла насквозь. Легкое зеленое платье прилипло к телу.

А осел, как назло, остановился. Бог весть, что у него было в голове,— может, он ждал, что Айкиз повернет назад, а может, его охватила безнадежность. Так или иначе, но Айкиз, которая чуть не заплакала от досады, долго пришлось кричать, дергать уздечку, размахивать хворостиной, пока наконец упрямец не сдвинулся с места.

Несколько раз он вот так упирался, и Айкиз гнала его вперед, выбиваясь из сил.

Ее начало знобить, она вся дрожала.

Ишак, скользя по размытой тропе копытами, с трудом взобрался на один холм, потом на другой,— отары нигде не было видно.

Спереди, сзади, с боков отвесной стеной падал дождь.

Ослабевшим голосом Айкиз позвала:

— Дядя Бабакул!.. Где вы?..

Тихий оклик ее растворился в шуме ливня.

Она спустилась в ложбину, снова закричала,— ни звука в ответ.

Ее уже так трясло и зубы так стучали, что она не могла больше кричать, только всхлипывала изредка.

Наконец впереди, на склоне холма, словно из тумана, возникла фигура дядюшки Бабакула и тут же исчезла. «Померещилось,— подумала Айкиз со странным безразличием.— Я, наверно, заблудилась...»

Но дядюшка Бабакул уже бежал ей навстречу, всплескивая руками...

К вечеру он привез Айкиз, которую закутал в свой тулуп, домой и быстро, с тревогой сказал, обращаясь к Умурзаку-ата:

— Скорей бери коня, Умурзак, самого резвого, и скачи в район за доктором. Айкиз наша... совсем плоха...

— Доченька... Открой глазки, доченька... Погляди на меня. Не убивай нас...

Так, полушепотом причитала Халбиби, стоя над Айкиз. Стянув с головы платок, она вытирала им слезы, которые ручьем лились из покрасневших глаз.

Умурзак-ата молчал, только морщился, словно от невыносимой боли.

Халбиби готова была разрыдаться в голос, но присутствие мужа сдерживало ее, и как только рыдания подкатывали к самому горлу, она платком крепко зажимала рот.

Айкиз била лихорадка. На бледных щеках пылал жаркий, кирпичного цвета румянец, кожа сделалась тонкая и сухая, запекшиеся губы были полуоткрыты, и виднелась белая ниточка зубов.

Она болела вот уже вторую неделю.

Умурзак-ата сразу же привез к ней врача, пожилую женщину-узбечку, грустную, неразговорчивую, с редкой серебристой сединой в черных волосах, выбивавшихся из-под белой шапочки и вившихся на висках. Осмотрев Айкиз, она печально покачала головой:

— Воспаление легких. И в очень тяжелой форме...

Больше она ничего не сказала, вернее, не захотела сказать, и тут же стала уверять совсем потерявшихся Халбиби и Умурзака-ата, что нет причин для особого беспокойства: молодой организм сумеет справиться с болезнью, как бы ни была она опасна, однако при этом так смотрела на стариков своими внимательными, грустными глазами, что они без труда прочитали в них то страшное, что докторша старалась утаить.

Правда, и они боялись говорить и думать об этом страшном... И только когда каждый оставался наедине с собой, то мысли, не высказанные вслух, обдавали ледяным холодом, и страх простирал в их душах черные крылья и гнал к постели дочери...

Айкиз по нескольку раз в день навещали ее подруги, они входили в комнату на цыпочках, осторожно присаживались возле больной на краешек стула и молчали, втайне страшась за Айкиз, но тоже не решаясь хоть словом обмолвиться о своих тревогах...

Халбиби, та вообще почти не отходила от дочери. Вторую неделю не смыкала она воспаленных глаз, и все текли, текли слезы по ее морщинистым щекам. Порой Умурзак-ата ласково брал ее за плечи, уводил в другую комнату, просил охрипшим голосом:

— Ляг, поспи хоть немного. Нельзя же так, ты совсем себя изведешь. Поспи, а я посижу возле нее...

Она смотрела на него непонимающе, словно и не слышала, что он ей говорил. Глаза ее медленно наполнялись слезами, и, уронив голову на грудь мужа, Халбиби шептала прерывисто, сотрясаясь от беззвучных рыданий:

— Я должна быть там, с ней... Я боюсь...

Умурзак-ата гладил ее по плечам, по спутанным волосам своей жесткой, в сухих мозолях, ладонью:

— Не бойся за нее, она сильная и скоро выздоровеет.

— А вдруг... когда я буду спать... она...

Плечи Халбиби так и ходили у него под ладонью,

она уже всхлипывала не переставая... Умурзак-ата и сам готов был расплакаться, как малый ребенок, к горлу подкатывал горький комок, и трудно было и говорить и дышать, и все же он превозмогал себя, хрипло кашлял и строго, каким-то чужим, глухим голосом внушал жене:

— Ты брось это. Слышишь? Выкинь эти мысли из головы! Тебе надо соснуть хоть часок. А с дочкой я посижу.

Но на Халбиби не действовали никакие уговоры. Она стелила возле постели Айкиз курпачу [1], пристраивалась на ней и ненадолго затихала, а через некоторое время поднималась и, устремив на больную взгляд, полный страха и муки, опять принималась за свои причитания. Уж, кажется, она все глаза выплакала, а слезы все бороздили ее щеки, совсем запавшие от горя.

Однажды под вечер Умурзак-ата пришел домой возбужденный, он с шумом распахнул дверь и с порога окликнул жену:

— Халбиби!..

Она не отзывалась, и Умурзак-ата, не снимая своего черного стеганого халата, направился было в комнату, где лежала Айкиз, но оттуда появилась Халбиби, проговорила остерегающим шепотом:

— Ты что это раскричался, отец? Или позабыл, что в доме больная?

— Так я тихо тебя позвал... Уж очень хотелось поскорей порадовать.

Халбиби так и вскинулась:

— Ох, отец, не томи! Что за радость такая?

— Письмо пришло от нашего Алишера!..

Комната поплыла перед глазами Халбиби.

— От сыночка?

— Да. И еще — от Алимджана.— Умурзак-ата поднес конверт к глазам.— Тут написано: «Для Айкиз». Ишь ты, нашей дочке отдельно пишет!

— Где же письмо Алишера?

Старик протянул ей белый треугольник:

— Вот.

— Такое маленькое? От Алимджана-то вроде побольше.

---

[1] Курпача — узкое ватное одеяло для сидения.

— Да нет, одинаковые они. Солдатские письма, мать, да еще с фронта, длинными не бывают.

Халбиби поцеловала письмо Алишера, прижала его к прикрытым векам, а потом к груди.

— От сыночка...— прошептала она счастливо и пытливо глянула на мужа.— А точно ли от него?

— От него, мать, от него!

— Ох, если бы дочка могла его нам прочитать!

И вдруг до них донесся слабый голос:

— Мама, отец, о чем вы тут? Письма пришли, да?

Ошеломленные старики обернулись и увидели Айкиз, которая стояла на пороге своей комнаты в одной рубашке, босиком, с распущенными черными волосами. Сейчас, когда она поднялась с постели, было особенно заметно, как же она похудела.

На лицах Халбиби и Умурзака-ата отразились радость, испуг, тревога. Халбиби чувствовала, как от счастья и страха у нее слабеют и подкашиваются ноги.

— Дочка! Ты встала?.. Зачем же ты это сделала, рано тебе еще. Идем, идем, тебе полежать надо, ты совсем еще слабенькая, вай, да от тебя одна тень осталась!..

Халбиби уговаривала дочь, словно малое дитя. Обхватив ее рукой за талию, тонкую-тонкую, она увела Айкиз в комнату и уложила в постель.

За ними, то блаженно улыбаясь, то хмурясь обеспокоенно, проследовал на цыпочках Умурзак-ата. Он так и забыл разуться и старался не греметь своими большими неуклюжими сапогами.

Айкиз, устроившись в постели, протянула руку за письмами:

— Давайте я почитаю. Это от братьев?

— Вот это от Алишера,— мать отдала ей один из треугольников.— А это от Алимджана.

Бледное лицо Айкиз вдруг стало пунцовым, как мак; она выхватила из рук матери второй треугольник, спрятала его под подушку, а письмо от Алишера развернула и приготовилась к чтению.

— Только не утомляй себя, дочка,— предупредила ее мать.— Как хуже себя почувствуешь, так скажи нам. Письма-то и после можно дочитать.

— Мне хорошо, мама. Мама, мне так хорошо!..— Айкиз приняла позу поудобней.— Ну, слушайте.

Она прочла письмо Алишера не останавливаясь.

Старики слушали ее стоя, затаив дыхание, боясь пошевелиться. У Умурзака-ата вскоре затекли ноги, но он не решался переступить ими, чтобы не громыхнуть своими сапогами, замер, всем телом подавшись к Айкиз, и только изредка почесывал в бороде указательным пальцем. Халбиби держалась одной рукой за спинку кровати, а в другой зажимала конец головного платка, которым зачем-то прикрывала рот. Она чутко вслушивалась в каждое слово, а когда письмо было дочитано, встрепенулась, словно птица в гнезде после крепкого долгого сна, бросилась к стулу, подставила его мужу, а сама опустилась рядом на курпачу и попросила:

— Дочка, прочти-ка еще раз. Только помедленней, а то я половины не поняла.

Айкиз принялась читать письмо снова, теперь уже неторопливо, с выражением, делая паузу после каждой фразы.

От письма Алишера веяло бодростью, весельем. Видно было, что он доволен собой. Он подробно описывал, как три раза ходил в разведку, за «языком».

— За каким таким языком? — переспросила Халбиби.

— Мама, язык — это фашист, которого наши разведчики берут в плен. Ну, а тот рассказывает, что делается в его части, какие планы у командования.

Халбиби поморщила лоб, вздохнув, сказала:

— Ладно, дочка, читай дальше.

«Первый раз,— писал Алишер,— нас постигла неудача: группа разведчиков, среди которых был и я, наткнулась на немцев, приняла бой и с потерями вернулась назад».

— Что же они там потеряли,— опять прервала дочку Халбиби.— Ружья свои, что ли?

— «С потерями» — это значит, они потеряли людей,— строго пояснил Умурзак-ата.— Поубивали фашисты наших разведчиков.

— Вай-вай! — Халбиби всплеснула руками.— А Алишера-то нашего не убили?

— Раз письмо написал,— значит, живой. Не мешай, мать, пусть читает. Продолжай, дочка.

Далее Алишер сообщал, что во время второй вылазки ему самому удалось взять «языка», но когда он

сбил немца с ног и набросил на него плащ-палатку, то проклятый фашист так завопил, что переполошил всю округу. «Мне бы надо было заткнуть ему рот тряпкой, которой я специально запасся, сунув ее в карман, но я сгоряча забыл про нее. Немец барахтается у меня под брезентом, я зажимаю ему рот ладонью и все не могу никак вспомнить про эту тряпку. Тут поднялась пальба, я еле дотащил фашиста до наших окопов, да только уже мертвого: по пути осколок мины угодил ему в затылок».

Халбиби опять засыпала дочь вопросами: что такое плащ-палатка, зачем надо было набрасывать ее на фашиста, почему Алишер волок его на себе, а не заставил немца идти впереди, пригрозив ему «ружьем»... Много неясного было для нее в письме Алишера, одно она понимала: что ее сын — храбрый воин... И гордость за Алишера переполняла ее сердце.

В третий раз Алишеру повезло. Он доставил на наш командный пункт не кого-нибудь — фашистского офицера!

Только нелегко далась разведчикам эта операция. Метров двести им пришлось ползти к немцам по-пластунски, в белых халатах, увязая в снегу. Они благополучно миновали минное поле, преодолели проволочные заграждения. Трудная дорога заняла всю ночь, лишь под утро они подобрались вплотную к фашистскому блиндажу, ворвались в него, устроили там переполох. Воспользовавшись шумом и паникой, когда кругом трещали автоматы, гремели взрывы гранат, истошно, как ишаки, орали немцы, Алишер успел взять «языка» и уволок его довольно далеко от немецких позиций. Там он дождался своих товарищей, которые, к счастью, все вернулись целыми и невредимыми.

Трое участников этой успешной операции, в том числе и Алишер, были представлены к правительственным наградам.

Халбиби, слушая Айкиз, все качала головой:

— Товба!..[1] Надо же, такой страх пережить. Это что же, значит, наш Алишер схватил немецкого басмача голыми руками?

Умурзак-ата посмотрел на нее с досадой.

---

[1] Товба — междометие, выражающее удивление.

— Мать, ты, видно, самое главное прослушала. Ведь наш Алишер представлен к правительственной награде. К ордену!

— Товба! К ордену? — Халбиби важно кивнула.— Это правильно. Сынок заслужил награду. Наш Алишер — герой!

Халбиби повернулась к мужу и невольно залюбовалась им. Он сидел на своем стуле, горделиво выпрямившись, и стал словно выше ростом, шире в плечах, а глаза светились счастливо и молодо.

«Как же им не быть героями, моим орлятам,— тепло подумала Халбиби,— если у них такой отец. Орел, прямо орел!»

— Почему я не рядом с ними, отец? — с какой-то тоской проговорила Халбиби.

— Вай! Женушке моей на фронт захотелось! — улыбнулся Умурзак-ата.— Что бы ты там делала, старая?

Однако и Халбиби в этот миг не выглядела старой. Помолчав, она пожала плечами, грустно сказала:

— Право, не знаю...— А потом задорно вскинула голову, и глаза ее сверкнули, и голос прозвучал по-молодому твердо, бодро: — Я бы... сама за этим басмачом отправилась. И раз уж так надо, притащила бы его на закорках к нашим бойцам. А они отдохнули бы малость...

Умурзак-ата и Айкиз от души расхохотались. Старик смеялся громко, заливисто, вытирая мокрые глаза скрюченным указательным пальцем, а у Айкиз, которая сидела в постели с вытянутыми ногами, плечи тряслись от смеха, голоса же почти не было слышно, болезнь все-таки сильно ее скрутила...

И все поглядывала она на другой треугольник, торчавший из-под подушки. Адрес на нем был написан чернильным карандашом, буквы были крупные, неуклюжие — их вывела, видно, уставшая, натруженная рука. Скромная приписка «Для Айкиз», чуть размытая каплями дождя, невесть где и как упавшими на письмо, давно уже приковала к себе внимание больной, но она почему-то медлила вскрывать письмо...

— Дочка, а теперь почитай письмо от Алимджана,— напомнил ей Умурзак-ата.

Айкиз быстро взглянула на него, зардевшись, опустила ресницы.

— Можно, я его потом почитаю?

— Что, дочка, опять занедужилось? — встревоженно спросила Халбиби.— Ты приляг, отдохни.

— Нет, мама, мне хорошо.

Судя по живому блеску глаз, Айкиз действительно чувствовала себя неплохо, но все же она провела ладонью по лбу и, потупясь, тихо сказала:

— Голова вот только немного закружилась... Я после его прочту, ладно?

Старики непонимающе переглянулись: с чего это дочка так смешалась?.. Умурзак-ата, сдержанно кашлянув в кулак, разгладил пальцами усы и потянул жену за рукав:

— Пойдем, мать, Айкиз, видно, устала. Пойдем.

И они ушли, оставив дочь наедине с заветным письмом...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дождь лил вторые сутки.

И вторые сутки батальон, в котором воевал Алимджан, бился за деревню Глуховку, занятую немцами. Их надо было вышибить из деревни любой ценой, во что бы то ни стало — таков был приказ, да и сами бойцы жаждали поскорее попасть в теплые избы, обогреться и обсушиться.

Но как только батальон поднимался в атаку, два немецких дзота, затаившиеся в перелеске перед деревней, обрушивали на него огненный смерч, и бойцы откатывались назад, в свои окопы и траншеи, размытые дождем, залитые мутной холодной водой.

Уже больше не верилось, что где-то на земле сухо, тихо, тепло, и светит солнце, и пули не рвут воздух...

«Неужели же существует где-то райский уголок — Алтынсай? — спрашивал себя Алимджан, глядя, как с раскисшего земляного бруствера струйками стекает в окоп желтая вода.— И там живет Айкиз? Неужели это правда? Что-то она сейчас делает? Может, разжигает в тандыре огонь, чтобы испечь лепешки, и думает обо мне?»

Да, горячие лепешки... Алимджан втянул в себя носом сырой холодный воздух и зажмурился. Его лицо, поднятое кверху, мокрое и серое, словно высеченное из гранита, с минуту оставалось неподвижным. Казалось, он не чувствовал, как по лицу хлестал

дождь, только чуть вздрагивали влажные сомкнутые ресницы.

— Алимджан! — позвал боец из соседнего окопа.— Смотри! Четвертый пополз.

Алимджан быстро открыл глаза, высунулся было из окопа, но тут же снова присел, почти касаясь бруствера подбородком.

Как всегда, когда ему случалось подолгу торчать в окопах, Алимджан проделал в бруствере небольшую канавку, чтобы удобно было вести наблюдение за всем, что происходило впереди, а также стрелять из автомата, который он укладывал дулом в эту канавку. Это была своеобразная бойница, незаметная для постороннего глаза.

Вот и теперь он сквозь эту бойницу зорко и напряженно смотрел вперед, не чувствуя ни холода, ни дождя, ни промозглой сырости.

— А кто это, Гриша? — спросил он соседа, не поворачивая к нему головы и не отрываясь от своей бойницы.— Ты его знаешь?

— Знаю. Младший сержант Галчонков. Из первой роты.

На миг они оба инстинктивно пригнули головы и тотчас опять выглянули.

Из перелеска сразу в несколько очередей застрочили пулеметы. Они прошивали свинцом все пространство, отделявшее сейчас перелесок от бойца, приникшего к земле среди этого вихря смерти. Чудилось, он даже готов был уйти в землю, лишь бы спастись от пуль, чтобы потом добежать до дзотов, уничтожить их, заставить замолчать. Только так можно было открыть путь для новых атак батальона. И вот уже четвертый боец вступал в поединок со смертью, которую изрыгали дзоты. Подобно молниям, раскаленные струи скрещивались над головой сержанта, полосуя землю вокруг него с непрестанным свистом.

А он лежал недвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

— Хоть бы холмик, хоть бы бугорок какой на пути,— с тоской сказал Григорий.

Алимджан молчал.

Галчонков уже слишком долго лежал не шевелясь.

— Слушай, Гриша,— приподнялся Алимджан,— если Галчонков...

Он не успел договорить. Пулеметный треск оборвался, и Алимджан увидел, как младший сержант встал и побежал, сильно пригибаясь, словно под тяжелой ношей и прижимая руки к животу.

— Может, он в живот ранен? Гляди, как бежит...

— Так у него ведь сумка с противотанковыми гранатами,— отозвался Григорий.

— Нет, не дойти ему,— сокрушенно сказал Алимджан.— Значит, теперь моя очередь.

Он стал ожесточенно, рывками сбрасывать с себя шинель, приговаривая при этом:

— Врешь, фашист! Мы до тебя доберемся! Не я, так Григорий. Гриша, слышишь? Ты должен обязательно дойти!

Григорий что-то ответил, но уже за спиной Алимджана, который ящерицей выскользнул из окопа.

Притаившись, он прополз немного и снова замер. Он продвигался вперед осторожно, медленно, расчетливо расходуя силы и больше всего опасаясь, как бы его не заметили из перелеска.

Свинцовые молнии все кромсали землю вокруг Галчонкова, опять неподвижно распростертого в липкой грязи. Алимджан сейчас хорошо понимал, как трудно ему было ползти по скользкой, мокрой почве.

Дождь хлестал с еще большим неистовством. Когда Алимджан коленями и локтями отталкивался от земли, в ней оставались лунки, тут же заполнявшиеся водой. Ох, какой тяжелый это был путь! Во время коротких передышек Алимджан шумно, хрипло отдувался, роняя голову на руки, облепленные грязью.

В одну из таких минут он обернулся — посмотреть, далеко ли ушел от своего окопа. Ого, далеко!.. Поправив на спине автомат, он снова устремился вперед.

Внезапно и на него налетел огненный шквал. Алимджан застыл как вкопанный, прильнув щекой к холодной мокрой земле и обхватив обеими руками голову, словно это могло спасти его от пуль. «Увидели, сволочи»,— подумал он с какой-то злой досадой и тут же, стиснув зубы, приказал себе: «Ну!» И, не поднимая головы, все так же по-пластунски, стараясь вжаться в землю, слиться с ней, двинулся дальше.

Алимджан слышал, как горячие сабли пулеметного огня звенели и свистели над ним, но продолжал ползти, уже задыхаясь, изнемогая.

Наткнувшись на что-то мягкое, податливое, Алимджан вскинул голову. Путь ему преграждало тело Галчонкова. Он лежал ничком, разбросав руки в стороны, словно обнимая землю,— жарко и широко, посыновьи, в последний раз.

— Галчонков,— сказал Алимджан, хотя и знал, что тот уже не слышит его.— Галчонков, я вместо тебя Я доберусь до них, я убью их!

Прихватив с собой брезентовую сумку Галчонкова с гранатами, Алимджан быстро заскользил к перелеску, который был уже совсем близко.

Одна мысль владела им, стучала в сердце и виски: доползти! Доползти во что бы то ни стало! Или — добежать! И разнести в клочья проклятые дзоты! Пусть даже полумертвый, но он должен это сделать. Только бы хватило сил взмахнуть рукой, отягощенной гранатами, в тот момент, когда смерть ударит в сердце. Надо вырвать у смерти этот миг — для последнего, решающего броска. А потом — будь что будет. Ему не страшно умереть. Страшно — не доползти. И особенно страшно сейчас, когда до цели осталось... ох как еще много! Метров шестьдесят, нет, целых семьдесят!

— Погодите... погодите еще малость,— шепотом уговаривал Алимджан пули, которые несли с собой смерть.— Самую малость... Потом — я ваш.

Он шептал не переставая, все быстрее и быстрее, и все быстрее полз, с каждой секундой, с каждым вздохом приближаясь к перелеску.

— Не боюсь я тебя, безглазая, видишь — не боюсь!.. Только погоди, гадина, повремени хоть несколько секунд. Еще немного — и я их взорву, и тогда тебе меня уже не достать, нет, не достать!

Каждая секунда тянулась, как вечность. Алимджан приостановился, оторвал от земли голову, прислушался. Громко, торжествующе проговорил:

— А, гады, замолкли!.. Уже не можете до меня дотянуться!

И, вскочив, выхватил гранаты и закричал что было сил:

— Ура-а!.. Ура-а!..

«Ура-а!..» — эхом отдалось далеко позади, и в этот миг Алимджан бросил одну гранату, другую и тут же упал, прикрыв голову руками.

Земля под ним качнулась, заходила ходуном. Ему показалось, будто он лежит в плывущей лодке. Гул, грохот, треск взметнулись вверх, рванули воздух, потом словно ушли в землю, и землю зазнобило, как больную, чудилось, что она даже застонала тихо...

Алимджан медленно поднял голову, осмотрелся. Мимо промелькнуло несколько солдат из его батальона. Они что-то кричали, победно, яростно. Следом за ними по направлению к перелеску двумя ломаными цепями шел в атаку батальон.

Один из бойцов с разбегу остановился, присел возле Алимджана на корточки, взяв его за плечи, спросил:

— Алимджан, браток... Ты ранен?

Это был Григорий. Алимджан не расслышал его слов, но радостно проговорил:

— Гриша... Гриша, победа?

Вместо ответа Григорий, выпрямившись, крикнул: «Ура-а!» — и помчался за товарищами вперед, туда, где ухали взрывы, заливались пулеметы и автоматы.

Алимджан тоже хотел было подняться и побежать, но ноги подкашивались от ватной слабости, а руки так дрожали, что не могли удержать автомат. Тогда Алимджан сел, поглядел мутными, усталыми глазами на солдат, уже вступивших в бой с немцами, и тихо засмеялся от счастья.

Навсегда осталась у него в памяти эта минута — минута, когда он ясно и отчетливо ощутил, что жив, что победил и теперь счастлив оттого, что жив и победил...

Он сидел среди поля, на мокрой, раскисшей земле, под дождем, глядел на своих товарищей и беззвучно смеялся.

Бой кончился. Стрельба затихла. Глуховка была отбита у немцев.

Алимджан шел по деревенской улице, заглядывал через низенькие плетни и заборы в каждый двор, спрашивал солдат:

— Григория нигде не видел?

— Петрова Гришу не встречал?

— Эй, пулеметчики, вам Петров Гриша не попадался?

Все только мотали головами: нет, не видели, не встречали.

Алимджан свернул в узкий проулок. На крыльце третьего от угла деревянного дома сидел пожилой усатый солдат. Размотав на одной ноге черную, заляпанную грязью обмотку, задрав штанину, он пальцем что-то выковыривал из коленки.

— Что там у тебя? — спросил Алимджан.

— Да осколок от мины.

— Фашистский подарочек?! И глубоко засел?

— Да нет. Только под кожу забился, проклятый. Никак его оттуда не выдавлю.— Солдат не глядел на Алимджана.— Всего-то с горошину, а вот ведь, никак не поддается.

— Дай-ка я попробую.

— Да нет. Я уж сам, помаленьку.

Алимджан постоял, посмотрел, как солдат, морщась и шевеля усами, нажимал большими пальцами на кровоточащий бугорок на коленке, сам поморщился от сочувствия, предложил:

— Давай я тебя в медпункт отведу. Там его мигом у тебя вынут. Чего самому-то мучиться.

— Еще чего! С занозой — и в медпункт. Там у них серьезных дел хватает.

— А я вот к медикам иду,— вздохнул Алимджан.— Друга ищу. Брата. Может, он там?

Солдат наконец посмотрел на Алимджана.

— Как фамилия друга-то?

— Да фамилия у него, каких много: Петров, Григорий Петров.

— Что ж, наведайся в медпункт. А то слетай-ка вон к тому ветряку: там нынче жарко было, много наших ребят полегло.

Солдат пристально вгляделся в Алимджана.

— Постой-ка, браток, это не ты пятым пошел к перелеску? Ты не узбек? Тебя не Алимджаном зовут?

— Узбек. Алимджан.

— Так что же ты? — Солдат, радостно осклабясь, вскочил, одернул штанину на раненой ноге.— Тебя же ищут, чудак человек!

Алимджан в недоумении поднял брови:

— Кто ищет?

— Комбат ищет. Все ищут. Ты же герой!

— А, какой там герой,— отмахнулся Алимджан и пошел по лужам через двор, через огороды.

— Погоди! Куда же ты? — закричал ему вслед солдат.— Комбат тут, рядом, через два дома. Я тебя провожу.

Он нагнулся, торопливо, кое-как закрутил обмотку, а когда распрямил спину и огляделся, Алимджана уже и след простыл.

Путаясь ногами в полусгнившей ботве, Алимджан в это время шагал через картофельное поле, к ветряку с единственным крылом, поломанным, медленно раскачивавшимся на ветру. Он сиротливо маячил в сырой холодной мгле, неподалеку от двух старых ракит, которые торчали в конце поля, на краю перелеска.

Алимджан направился прямо к ветряку, потом увидел санитаров, шедших к перелеску, и кинулся им наперерез. Но санитары, не дойдя до перелеска, остановились, положили кого-то на брезентовые носилки, осторожно подняли их и двинулись обратно.

— Подождите! — закричал Алимджан. — Ребята, подождите!

Он устремился за ними вдогонку, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрой земле. Санитары даже не оглянулись, им было не до Алимджана. А он все кричал:

— Ребята, слышите? Обождите! Кого вы несете?

Внезапно, словно натолкнувшись на какое-то препятствие, он оборвал свой бег, замер, не веря своим глазам. Перед ним на бурой прошлогодней траве, между мокрых кустов краснотала, лежал Григорий Петров. Он лежал на боку, дождь смывал кровь с его виска, с небритой щеки, но кровь все текла, заливая ухо и шею. Железная каска Григория, в двух местах пробитая пулями, валялась далеко позади.

Алимджан, склонившись над ним, сказал:

— Гриша, друг, это я. Я, Алимджан. Ты слышишь меня?

Григорий не двигался, его бледные губы были плотно сомкнуты.

Алимджан взял его автомат, повесил себе на грудь, потом с трудом поднял Григория на руки, осмотрелся, прикидывая, как быстрее пройти к деревне, и зашагал прямо через перелесок, мимо старых ракит, к крайней избе. Там, видно, помещалась санчасть, потому что

в дверях появились санитары, заспешили навстречу Алимджану.

В санчасти Петров пришел в себя. Друзья перебросились несколькими словами, а когда Алимджан, боясь утомить Григория, стал прощаться с ним, тот сказал:

— Алимджан... О чем я хочу тебя попросить...

— Говори, Гриша, я слушаю и все исполню. Только ты поскорее выздоравливай.

Григорий немного помолчал. С забинтованной головой, умытый, отогревшийся, он мало походил на того солдата, которого Алимджан видел в окопах, в бою и, совсем недавно, раненого — на мокрой траве.

— Понимаешь... у меня в гимнастерке есть письмо. Для Вали. Я тебе про нее рассказывал. Помнишь?

— Помню.

— Ты возьми письмо. Я, правда, не успел его закончить. Так ты допиши, за меня. И отправь.

— Хорошо, друг.

Григорий через силу улыбнулся:

— И своей Айкиз тоже напиши!

Смутившись, Алимджан пробормотал:

— Она не моя...

— Так будет твоя. Я в этом уверен. Только ты пиши ей. Чаще пиши. Слышишь?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Мамочка! Мама! — громко позвала Айкиз и прислушалась.

В доме стояла тишина.

Айкиз посмотрела на темное, незанавешенное окно, на зажженную лампу, стоявшую у изголовья на табуретке, и удивилась: «Разве на улице уже темно? А я и не заметила, как наступил вечер. Или ночь? Когда же это мама успела зажечь лампу?»

Письмо от Алимджана лежало у нее на груди, поверх одеяла. Она поглядела на тетрадный густо исписанный листок, такой дорогой, и невольно потянулась к нему руками. Но читать не стала — она уже выучила его наизусть, а принялась складывать письмо, придавая ему такой вид, в каком оно и пришло к ней. И когда у нее получился аккуратный треугольник, она с радостью подумала: вот так же и Алимджан сложил

письмо, дописав его. В который уж раз она перечла адрес и фиолетовые штампы, строгие и лаконичные, как приказ: «Красноармейское», «Бесплатно».

«Как же ему там трудно! — подумала она с болью и нежностью.— Пройти через такое, все время жить рядом со смертью!»

— Мама! Мамочка! — снова позвала она.

Халбиби неслышно появилась за-за занавески, закрывавшей вход в соседнюю комнату.

— Что, доченька?

Айкиз сжала пылавшее лицо холодными ладонями, сквозь слезы сказала:

— Мамочка... Как же они там выдерживают? Ведь так тяжко...

— Тяжко, доченька,— со вздохом согласилась Халбиби.— А что поделаешь? Надо терпеть...

— Это мы тут терпим трудности, нужду. А они воюют! Как им помочь, мама?

Халбиби мягко сказала:

— Нашим солдатам, дочка, нужны ласка, забота. И наверно, дороже всего в этом пекле весточки с родины... Ты напиши письма своим односельчанам. Все теплей им станет... А я посылочки приготовлю. Урюк сахарный, кишмиш, орехи, лепешки сдобные, на сале. Соскучились они, видно, по домашней-то снеди...

— Мамочка! — Айкиз отбросила одеяло, рванулась к матери, порывисто обняла ее за шею.— Вы у меня такая добрая, такая мудрая!

— Ну, ну,— остановила ее Халбиби,— ложись-ка в постель. И письма, о которых я говорила, ты потом напишешь. Когда поправишься. А пока отдыхай, ты у нас еще больная... Я принесу тебе горячего молока с медом, попьешь — и спать.

Халбиби вышла, а когда снова появилась, неся пиалу, накрытую лепешкой, то от изумления охнула:

— Товба! Ей и слова нельзя сказать, она уже пишет! Ох, торопыга!..

— Мама,— перебила ее Айкиз,— а кто из Алтынсая сейчас на фронте? Ну, Алишер, Тимур...

— Алимджан.

— А еще?

— Чабан Хасан. Бедняга, так и ушел неженатым. Все сватался к одной хохотушке, а она нос от него воротила. Так, еще Тахир, Умар...

— Это какой Умар, сын кладовщика?

— Он самый. А еще Хайдар, Кузыбай, Кенжа — весельчак, песенник. Уж так он любил петь! Бывало, идет с поля, кетмень на плече, еле ноги волочит, а все поет, поет... Я в это время всегда корову доила либо ужин готовила... А как заслышу Кенжу, так про все позабуду — и про дойку и про ужин. Он разливается соловьем, а я сижу с подойником, а мечты мои далеко, где-то за горой Кактау. Раз как-то замечталась вот так, а корова как двинет копытом по ведру, молоко все и разлилось. На земле прямо белое озеро. А я как раз задумала сготовить на ужин рисовый молочный суп...

Халбиби, видно, уже забыла, зачем пришла к дочери. Присев возле нее на край постели, держа на коленях пиалу и лепешку, она продолжала вспоминать, кто из односельчан находился в действующей армии:

— От Муратали пришло письмо. Помнишь Муратали?.. Он в этом лежит... как его... госпитале.

Айкиз и слушала и не слушала мать. Подложив под спину подушку, чтобы удобнее было сидеть в постели, подобрав колени, пристроив на них еще одну подушку, а на ней папку и тетрадь, она уже выводила первые строчки письма Алишеру.

— Я, мама, всем напишу письма,— пообещала она.— Всем!

Халбиби поглядела на нее и только тут спохватилась:

— Дочка! Да что же это я...— голос ее звучал виновато и растерянно,— тебе ведь лежать надо, силенок набираться. Я, старая, заболталась тут с тобой, а молоко-то и остыло. Выпей скорее, пока оно еще теплое. И лепешки поешь.

— Я молоко выпью, а лепешку потом съем. Ладно?

— И ложись!.. С письмами-то успеется. Не то свалишься опять, уж совсем будет не до писем...

— Мама, я еще немножко попишу, совсем немножко...

Халбиби ушла, неодобрительно качая головой.

После ужина Халбиби и Умурзак-ата несколько раз на цыпочках подходили к двери, осторожно отворачивали край занавески, заглядывали в комнату дочери. Она все так же сидела в постели, с папкой и тетрадью на коленях, укрытых ватным одеялом. Халбиби

наконец не выдержала, вошла в комнату, чтобы отчитать дочь и отобрать у нее тетрадку, но тут же вернулась обратно смущенная и шепотом сообщила мужу:

— Отец, а она спит.

— Как спит? Лампа-то вон светится...

— Ну, да, а дочка спит. Сидя. Устала, видно, бедняжка: как писала, так и заснула. Обождем ее будить, я после ее уложу. Пока-то даже свет в лампе побоялась убавить. Не дай бог, не проснулась бы... Она ведь чуткая, как горная козочка.

...Погода у нас в Алтынсае переменчивая: то весело, ослепительно светит горное солнце, так и брызжет лучами, то дует с гор ровный восточный ветер, неся с собой запахи талых снегов, сырой разбуженной земли, цветущих тюльпанов, миндаля... И радостно идти навстречу этому ветру, чувствуя свою руку в твоей руке. Только вот диво: руку твою я чувствую, а тебя не вижу. Где ты, Алимджан?..

Айкиз открыла глаза. Наполовину исписанный листок лежал перед ней на коленях, но карандаша в пальцах не было. А ведь она была уверена, что только что держала его в руках, сочиняя письмо Алимджану. Оглянувшись с удивлением, Айкиз принялась искать карандаш, она шарила под одеялом, под подушкой, а он оказался на полу. Странно, когда же он упал?.. Еще больше удивилась Айкиз, перечитав написанное. В письме ни слова не говорилось ни об ослепительном солнце, ни о ветре, навстречу которому она шла вместе с Алимджаном... Неужели это был сон? А ей-то казалось, будто она писала обо всем этом Алимджану... Сон!.. Ну и чудесно. Она расскажет Алимджану о своем сне.

Карандаш резво побежал по бумаге...

...Только ветер дул уже не с гор, а из степи, с запада, из «гнилого угла», как говорят в народе, и подгонял в спину Айкиз и Алимджана. Вдали гнулись, словно кланяясь в пояс, молодые тополя. Во дворе хлопала о косяк дверь сарая, молоденькая черешенка, которую отец посадил в прошлом году, вся дрожала, будто от страха, куры, словно на чей-то зов, бежали из огорода во двор пестрой стайкой ветер смешно заламывал им хвосты набок, и они сами тоже бежали боч-

ком, спеша спрятаться под навес. «Откуда они взялись, куры? — удивилась Айкиз.— Ведь ночь, и вокруг темным-темно». А ветер уже несся по степи, где очутилась и Айкиз, завывал, словно какое чудовище, вырывал с корнем и кружил в воздухе прошлогодний сухой бурьян. Степь загудела, застонала, завертелась, словно граммофонная пластинка, и ринулась неведомо куда, увлекая за собой Айкиз. Но рука ее снова оказалась в руке Алимджана, и они вместе летели над степью, и уже не было видно ни родного двора, ни гибких тополей, и Айкиз хотела сказать об этом Алимджану, но ветер, словно ватой, забивал ей рот, и она была не в силах пошевелить языком. Тьма вокруг все сгущалась, вихрь все усиливался, и, превозмогая ветер, она закричала: «Алимджан!.. Как ты можешь выдержать эту тьму, этот вихрь?.. Мне-то хорошо в теплой постели, а ты не знаешь ни отдыха, ни передышки!.. Алимджан! Родной!..» Последние слова она не то простонала, не то прошептала и удивилась тому, что уже не надо было напрягать голос, удивилась внезапно наступившей тишине и... опять проснулась.

Над ней стояла Халбиби и ласково увещевала ее:

— Доченька, ляг как следует. Неловко ведь так спать... Ложись. А то вон бредить начала...

— Я, значит, спала? — с недоумением, виновато спросила Айкиз.

Она покорно позволила матери убрать на стол тетрадь, карандаш, откинулась на подушку, укрылась с головой одеялом, проворковала:

— Я уже сплю.

Мать поправила на ней одеяло, погасила лампу, шепнула что-то — то ли себе, то ли Айкиз.

Наконец ее шепот стих — она, видно, удалилась в свою комнату, но об этом можно было только догадаться, потому что Халбиби бесшумно ступала по кошме босыми ногами.

Айкиз еще с минуту лежала неподвижно, потом высунула из-под одеяла голову, осторожно прислушиваясь к тишине. «Уснула или нет? — подумала она о матери.— Наверно, уснула. Но подожду еще немного...»

Сама она не собиралась спать — надо было написать Алимджану про удивительный сон. Странно, он ведь прерывался, а потом продолжился так, будто она

и не просыпалась, и не искала карандаш, и не принималась за письмо... Как причудливо сменяли друг друга сон и явь!.. Она все, все должна описать Алимджану: как гнулись молодые тополя, и кувыркался в воздухе сухой бурьян, и кружилась, неслась куда-то вместе с ними гудящая в темноте степь, а ей не было страшно, потому что рядом был Алимджан и держал ее за руку. Нет, ей не было страшно только за себя, а за Алимджана она тревожилась и пугалась того, что он с ней — и далеко от нее и она с ним — а одна...

Осторожно встав с постели, Айкиз зажгла лампу, надела отцовский халат, который Халбиби накинула на постель поверх одеяла, оглядев себя, усмехнулась: халат был ей слишком уж велик, длинные рукава болтались, широкие полы свисали ниже щиколоток, целиком скрывая голые ноги. «В него можно поместить пять или шесть таких девушек, как я,— улыбаясь, подумала Айкиз и решительно запахнулась.— Зато тепло».

Она села за стол, пододвинула к себе тетрадь тонкой, исхудавшей рукой. «Напишу ему и про халат. А что, смешно. Пусть и он посмеется. Но это все не самое главное...— Она посмотрела в темное окно и спросила себя: — А что же самое главное? И как, какими словами рассказать об этом главном?»

Тьма за окном молчала.

● ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Елена Никитична Горышева шла по обочине дороги, хмуро смотря себе под ноги. Сумка ее была уже пуста, а на плечи все давила неимоверная тяжесть.

Всего одно письмо оставалось в сумке, но оно-то и рождало ощущение страшной тяжести.

Это письмо, пришедшее с фронта, адресовано было Умурзаку-ата. Несколько раз Елена Никитична доставала его из сумки, вертела в руках, рассматривала на свет, перечитывала адрес... Конверт был синий, тонкий, таких конвертов Елена Никитична боялась больше всего на свете. С тоской и страхом думала она, как-то войдет в дом Умурзака-ата. Уже два раза прошла Горышева мимо этого дома, не решаясь вступить во двор. Только вчера она принесла сюда радостные вести — два солдатских треугольника... И вот сегодня еще

одна весть, только страшная. «Нет, не пойду я к ним,— думала она со щемящей болью в сердце.— Не пойду. Пусть оно полежит пока у меня в сумке».

Но беда, видно, гонится за человеком, когда он бежит от нее. Неожиданно, как из-под земли, перед Еленой Никитичной появился Умурзак-ата. Загородив ей дорогу, сказал ласково:

— Здравствуй, ласточка! В чей дом спешишь? Почему мимо нашего пролетела?

Елена Никитична молча глядела на него, медленно бледнея.

— Что молчишь? Или провинилась в чем? — весело продолжал Умурзак-ата.— Ну-ка, идем к нам, чайку попьем с горячими кукурузными лепешками. Сказать по чести, нехорошо обходить дом друга... Сумка-то твоя все равно уже пустая. Пустая, верно?

Умурзак-ата потянулся к брезентовой сумке, словно намереваясь в нее заглянуть, но Елена Никитична испуганно прижала ее к себе.

— Пустая, пустая! — воскликнула она поспешно, все крепче обнимая сумку обеими руками.

Умурзак-ата посмотрел на нее недоуменно и подозрительно:

— Что так перепугалась? Денег, что ли, там куча? А может, похоронная? — Он помрачнел.— Кому несешь ее, ласточка?

— Да нет, какая там похоронная, какие деньги! — ответила она, бодрясь, и даже сделала вид, будто хочет показать ему сумку.— А и правда, пойдемте к вам чай пить.

Халбиби встретила их во дворе. Увидев Елену Никитичну, она заохала, запричитала, провела ее к Айкиз и, показывая на груду конвертов, лежавших на столе, жалуясь, сказала:

— Глянь-ка, это она за одну ночь столько бумаги исписала. А теперь на нее погляди — на кого похожа? Ну, можно ли больной не спать всю ночь? Нет, она хочет, чтобы у меня сердце разорвалось!

— Мамочка, ну зачем вы так? — Айкиз откинула одеяло, поднимаясь с постели.— Вы же сами мне подсказали, что надо фронтовикам письма написать. Я и написала. А тетя Лена отнесет их на почту.

Она взяла со стола письма, открыла сумку Елены Никитичны, чтобы положить их туда, обрадованно воскликнула:

— Ой, письмо! Это кому, тетя Лена, уж не мне ли?

В мгновение ока она выхватила из сумки синий конверт. Елена Никитична, испуганно вскрикнув, метнулась к ней, но Айкиз успела вскочить на кровать и высоко над собой подняла руку с конвертом:

— Не отдам, не отдам!

Вдруг и на ее лице отразился испуг:

— Тетя Лена, что с вами?

Елена Никитична стояла, опустив руки, не двигаясь, словно окаменелая. Вязаный старый платок упал ей на плечи, и стало видно, какие седые у нее волосы. А сейчас и лицо у нее было серое, цвета земли, враз постаревшее, и губы побелели...

Халбиби и Умурзак-ата уставились на нее тревожно, выжидательно, а Айкиз, начавшая уже о чем-то догадываться, спустилась на пол, поднесла конверт к глазам, произнесла еле слышно:

— Так это — нам...

Она вскрыла конверт, и Умурзак-ата сначала не понял, что же произошло,— в комнате, с дочерью, с ним самим. Только Айкиз вдруг закричала, страшно, пронзительно, и Умурзак-ата почувствовал, как у него внезапно стала мерзнуть спина, словно кто швырнул ему под халат горсть жесткого, колючего снега. Потом он увидел, как из рук дочери выпали конверт и листки — один был белый, исписанный мелким почерком, другой синий, с траурной черной каймой. Некоторое время Умурзаку-ата чудилось, что это продолжалось долго-долго — листки реяли в воздухе, потом не спеша коснулись пола. А Айкиз повалилась на постель, продолжая кричать. Халбиби бросилась было к дочери, но на полпути остановилась и принялась подбирать с пола листки. Умурзак-ата взял у нее синий, с черной каймой. Халбиби доверчиво, как-то очень спокойно отдала ему этот листок, не отрывая глаз от мужа. Ему же все казалось, что кто-то сыплет и сыплет под халат морозный колючий снег, и уже всему телу было зябко, и сердце начал сжимать отчаянный холод...

Леденящее горе сковало Умурзака-ата так, что он не мог пошевелиться, оглушило его, словно гром, и больше он уже ничего не видел и не слышал...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Место Айкиз на постели теперь занимала Халбиби. Еще недавно она бесновалась от горя: то безжалостно рвала на себе седые волосы, то порывалась бежать куда-то из дома, то падала на колени и начинала биться головой о пол.

Но вот уже четвертый день она лежала молча, недвижно, устремив немигающий взгляд в потолок. Она замолчала с той минуты, когда ее удалось наконец уложить в постель, и больше уже не проронила ни слова.

Айкиз же чувствовала себя окрепшей, даже сильной, будто никогда и не болела. Теперь уже она боялась отойти от постели матери. Но приходилось часто отлучаться, потому что все хозяйство лежало на ее плечах. Айкиз, правда, старалась не оставлять мать одну, пока в доме не появлялся отец. Первые день или два он никуда не выходил из дому, а потом, видно, решил, что лучше быть среди людей, чем вместе с женой всего себя отдавать скорби...

Когда Айкиз, завидев в окно отца, выбегала во двор, Умурзак-ата с беспокойством спрашивал:

— Ну, как она?

— Все так же.

— Молчит?

— Молчит.

— И ничего не ест?

— Ох, отец — вздыхала Айкиз,— прямо не знаю, что с ней делать...

Умурзак-ата спешил в дом, садился у постели Халбиби на низенькую табуретку и, стараясь согнать с лица тревогу и скорбь, ласково и озабоченно спрашивал:

— Ну, что, мать? Хоть бы поела чего-нибудь, а? Ведь изведешь себя так...

Недвижное лицо Халбиби чуть светлело, но губы оставались сомкнутыми, а в глазах, прикованных к мужу, таилась неизбывная боль.

Как-то после очередной попытки растормошить жену Умурзак-ата сказал:

— Ты не забывай, мать,— ведь он умер как герой. Ты должна гордиться им. Так и командир написал: вы, мол, должны гордиться своим сыном. Слы-

шишь? Хватит себя мучить, Тимура все равно этим не воскресишь...

Морщины на лбу Халбиби потемнели, под нижним веком, а потом над верхней губой чуть заметно дернулись мускулы, из глаз покатились слезы.

— Ну вот,— сокрушенно произнес Умурзак-ата,— сказать по чести, совсем ты себя не жалеешь. Ведь у нас есть еще Алишер, живой и здоровый, я его письмо все время с собой ношу...— Для убедительности он достал из-под халата солдатский треугольник, показал его жене.— А про Айкиз забыла? Поберегла бы себя для них...— Опустив голову, он пожевал губами, без особой уверенности предположил: — Как знать, может, и Тимур еще вернется. Мало ли какие бывают случаи. Пришлют родне черную бумагу, а человек-то живой...

Неожиданно Халбиби еле слышно прошептала что-то. Невольно подавшись к ней, Умурзак-ата торопливо и обрадованно переспросил:

— Что, мать?

Халбиби с трудом шевелила губами:

— Письмо...

— Какое письмо?

— Письмо... От командира...

Умурзак понял, что она хотела сказать, и замялся. Речь шла о письме командира роты, которое было вложено в конверт вместе с похоронной. «Я знаю,— писал командир,— нелегко принять весть о гибели сына. Такая утрата невосполнима для отца и матери. Но ваш сын Тимур погиб геройской смертью, и вы должны им гордиться, а не проливать слезы. Родина гордится такими сыновьями». Эти слова Умурзак-ата знал наизусть, они часто ему вспоминались, и он шептал их про себя... Сейчас о письме вспомнила Халбиби, но Умурзак-ата побоялся повторить вслух то, что написал командир. Халбиби только бы расстроилась и снова начала плакать, потому что письмо командира подтверждало гибель Тимура. Да Умурзак-ата и сам хорошо понимал, что надеяться им не на что и Тимур не вернется, а если и попытался утешить жену, то лишь потому, что ему хотелось хоть ненадолго облегчить ее страдания.

Осторожно кашлянув в кулак, он посмотрел на нее с жалостью, бережно отер слезы на ее щеках и, так

ничего и не ответив ей, перевел разговор на другое:

— Я, мать, нынче с Кадыровым беседовал и с нашим партийным секретарем. Вся страна, говорю, каждый человек стремится сейчас помочь фронту. Фронту нужны хлеб, мясо. Так разве не может наш колхоз послать в подарок солдатам два-три десятка баранов, ну и еще что-нибудь?

Взгляд Халбиби сделался напряженным, а Умурзак-ата продолжал:

— Сказать по чести, не всякому под силу бараном пожертвовать... Так ведь на фронте, наверно, рады будут и кишмишу, и урюку сушеному, и рису, и муке. Все пригодится.

— А мы? — одними глазами спросила Халбиби.

— Мы, конечно, барана отдадим, от этого у нас не убудет, а солдаты на передовой смогут полакомиться шурпой или жарким.

Не поднимая головы с подушки, Халбиби удовлетворенно кивнула, глаза ее потеплели, иссохшей ладонью она погладила большую, жесткую руку мужа, натруженную, в крупных мозолях, с вздутыми узлами вен, и вдруг попыталась встать...

Умурзак-ата всполошился:

— Ты куда?

— Я сама... своими руками... посылку хочу собрать...

— К чему спешить, время терпит. Надо еще обмозговать все сообща. Я уверен, никто не откажется подсобить фронтовикам. Но все же следует сперва потолковать, посоветоваться с людьми. Чтобы все было... — он сцепил пальцы обеих рук, — вот так! Чтобы мы взялись за дело всем миром и никто не остался в стороне. Вот завтра-послезавтра проведем собрание, там все и порешим.

Халбиби слушала его, а сама все пыталась подняться. Наконец она встала на ноги, но сильно качнулась. Умурзак-ата подхватил ее, укоризненно покачал головой:

— Ну, что ты надумала? Гляди, ноги тебя не держат.

— Я все-таки приготовлю все для посылки. Муки отсыплю, кишмишу, орехов.

— Да успеется еще. Мы с Айкиз можем все сделать. А ты полежи, вон как ослабела-то... И поешь,

мать, поешь хоть немного, не то силы-то совсем тебя покинут.

Халбиби присела на табуретку, а Умурзак-ата кликнул Айкиз и велел ей покормить мать. И он и Айкиз не скрывали радости, им казалось, что раз уж Халбиби встала с постели, то здоровье ее пойдет на поправку.

Однако едва Халбиби поела немного кислого молока с горячей лепешкой, как у нее закружилась голова, и она еле добралась до кровати.

Она пролежала не двигаясь, отказываясь от пищи, еще два дня.

За это время в колхозе произошли важные события, и Умурзак-ата, придя домой поздно вечером, примостившись, как всегда, возле жены на маленькой табуретке, возбужденно проговорил:

— Ну, мать, предложение мое колхозники приняли да еще похлопали мне в ладоши.

— Ты о чем? — слабым голосом спросила Халбиби.

— Как это о чем? О помощи фронтовикам. Я ведь уже толковал тебе — надо послать на фронт побольше продуктов. Кто мясо выделит, кто муку, кто фрукты сушеные...

— Это хорошо... Я помню...

Умурзак-ата в нерешительности погладил ладонью бороду.

— Только вот беда... Назначили меня старшим приемщиком. Так что домой я теперь буду приходить поздновато. Ты уж крепись... Как, сможешь иногда одна-то побыть?

Халбиби согласно прикрыла веки, прошептала громче, чем обычно:

— Ты обо мне не беспокойся. Мне лучше. Скоро совсем поправлюсь, я чувствую... А ты позаботься о наших воинах, уж расстарайся для них.

— Ладно, мать. Постараюсь.

Спустя некоторое время среди бела дня, задолго до обеда, Умурзак-ата заявился домой необычно взволнованный. Не садясь на табуретку, он молча прошелся из угла в угол по комнате в распахнутом халате, потом круто остановился, поглядел на Халбиби, на Айкиз, дежурившую возле матери.

— Такое дело, родные мои, старого Умурзака на фронт посылают, представителем от нашего колхоза. Да не только от колхоза, а от всего узбекского народа,

от всей республики!.. Оказывается, не одни мы решили бойцам помочь...

— Так вы едете? — спросила Айкиз.

— Сперва я отказывался: как, думаю, вы тут без меня останетесь? Мать-то еще хворая...

Халбиби приподнялась на локтях.

— Поезжай, отец. Грех отказываться... Дело-то ведь святое!

— Святое,— согласился Умурзак-ата и вздохнул,— да как же я тебя-то одну брошу?

— Со мной дочка. Да я и сама скоро на ноги встану. И так залежалась... Дочка, помоги-ка, дай я попробую подняться...

Она спустила ноги с постели, опираясь на Айкиз, выпрямилась. Хватаясь за стены и стулья, прошла в соседнюю комнату и принялась накрывать дастархан к обеду. Айкиз, обняв мать, усадила ее на мягкое одеяло перед хантахтой.

— Мама, я сама со всем управлюсь. Вы отдыхайте... Нельзя же так: с постели — и сразу за дела...

На следующий день Умурзак-ата пожаловал домой опять с новостью.

— Дочка, готовь меня в дорогу. Велено поскорей закончить и сборы и погрузку продуктов — сроку нам дали три дня, а там наш вагон прицепят к эшелону. Начальником эшелона и главой нашей делегации отправляется на фронт сам товарищ Ахунбабаев.

Айкиз очень хотелось проводить отца на станцию, посмотреть на эшелон, нагруженный подарками, которые посылали фронту колхозники, побывать на митинге,— по словам отца, он должен был состояться прямо на перроне,— послушать Ахунбабаева, президента республики, самого уважаемого аксакала, уж он-то наверняка выступит. И махнуть прощально рукой удаляющемуся эшелону...

Умурзак-ата ничего не имел против того, чтобы Айкиз поехала на станцию. Сам он поспешил туда дня за два до отправки эшелона, чтобы наблюдать за погрузкой. Айкиз же могла воспользоваться арбой, увозившей остатки продовольствия. Но на поездку ушли бы целые сутки, если не больше: ведь от Алтынсая до станции было далеко, а арба не автомашина... И Айкиз не решилась оставить мать одну на такое долгое время.

Умурзак-ата, готовясь в путь, пообещал:

— Пожалуй, я еще загляну попрощаться.

Айкиз невесело усмехнулась... «Загляну!» Будто он намеревался наведаться домой с богары...

И еще он сказал, обнадеживая дочь:

— Тогда и тебя с собой заберу. Поедем верхом на одной лошади. На ней и обратно поскачешь, быстро обернешься. Согласна?

Айкиз грустно кивнула, заранее уверенная в том, что обещание отца так и останется обещанием.

И точно, отец, занятый нелегкими хлопотами, так и не сумел выбрать время, чтобы «заглянуть» домой.

Вечером к ним пожаловал Кадыров, вернувшийся со станции; не слезая с коня, он сказал Айкиз, которая выбежала из дому:

— Отец велел привет передать.

— Он уже уехал?

— Да, проводили мы их.

— Ой, вы бы зашли к нам, рассказали все подробно,— засуетилась Айкиз.

— Спасибо, но я устал как собака. Поеду домой. Кадыров хлестнул коня камчой и уже на скаку, полуобернувшись, крикнул:

— Как мать-то, здорова?

Бессмысленно было ему отвечать — не кричать же тоже вдогонку, что матери лучше.

Уже в тот день, когда Умурзак-ата заявил, что поедет на фронт сопровождать эшелон с подарками, Халбиби встала на ноги. И с тех пор все реже находилась в постели,— бродила по комнатам, по двору, пробовала даже хлопотать по хозяйству. Айкиз опережала мать, не давала ей ничего делать, все уговаривала посидеть, отдохнуть, ведь Халбиби была еще очень слаба. У нее все валилось из рук: то веник, которым она хотела замести сор у порога, выскальзывал из непослушных пальцев, то маленькая атласная подушка скатывалась на пол, когда Халбиби пыталась перестелить постель по-своему.

А однажды пиала с горячим чаем вдруг сорвалась с ладони, упала и разлетелась вдребезги.

Глядя на осколки, Халбиби виновато и растерянно проговорила:

— Вай, доченька, что же я наделала!

— Ничего, мамочка. Говорят, посуду бить — к счастью. Сами-то не обожглись?

— Вроде нет...

Она, нагнувшись, принялась подбирать черепки. Айкиз остановила ее:

— Зачем вы, мамочка, я и сама уберу. Вот я вам уже чай налила в другую пиалу. Пейте, отдыхайте.

Халбиби отрадны были и ласковый голос дочери, и ее забота, и то, что Айкиз такая хозяйственная и расторопная.

Едва она отхлебнула несколько глотков горячего чая, как мягкая теплота разлилась в груди. Сидя на полу, на курпаче, перед хантахтой, рядом с дочерью, закрыв ноги широким подолом выцветшего, стиранного-перестиранного платья, Халбиби медленно попивала чай. Порой, взяв со скатерти пиалу дрожащей рукой, привычно пристроив ее на колене, она долго смотрела на нее, думая о чем-то своем...

Чай остывал, из золотисто-каштанового он становился темно-коричневым, а Халбиби все не отрывала от пиалы немигающего, как во время болезни, взгляда. Айкиз, которая то неслышно уходила из комнаты, то опять возвращалась, в такие минуты осторожно касалась плеча матери:

— Мамочка, не надо. Слышите?

— Ох, дочка, я все вижу его... маленького...

Губы Халбиби еле шевелились. Айкиз, хмуря брови, смотрела на мать и думала: «Как изменчивы губы у матерей. Когда мы счастливы, они улыбаются и делаются девически свежими, но из-за нас же они бывают сухими, солеными от слез, черными от горя и скорби...»

У Халбиби, когда она начала вспоминать о Тимуре, губы стали морщинистыми, как все ее лицо.

— Бешик[1] его я летом всегда под урючину уносила... Прибегаю как-то, а он стоит в бешике, крохотный такой, а уже стоит на слабых ножонках. Я так и обмерла — от радости и страха. Только страх тут же прошел, осталась одна радость: вот он, думаю, мой Тимур — уже большой, уже встал на ноги!..

Она замолчала. Крупная слеза косо побежала по щеке к мочке уха. Тыльной стороной ладони Халбиби

[1] Бешик — люлька, колыбель.

вытерла щеку и продолжала все тем же прерывистым шепотом:

— Никогда мне не забыть, как он впервые сел на коня. Не сам, конечно, отец его посадил. Я закричала: «Сними, он же маленький, убьется!..» Конь у нас был сердитый, с норовом...

Внезапно она прервала свой рассказ, спросила:

— Дочка, а где же наша сестрица? Что-то давно ее не видать.

— Какая сестрица?

— Лена-апа.

— Елена Никитична?

— Ну да. Что же это она глаз к нам не кажет?.. Она-то ведь ни в чем не виноватая...

— Заболела она, мама. В тот самый день и слегла...

Когда Халбиби слышала о чужой беде, то забывала о своей. Она заговорила уже не шепотом, а в полный голос:

— Что с ней? Надо ее навестить.

— Я навещаю ее, мамочка, не беспокойтесь. И все, что надо, у нее есть.

— Она ведь совсем одна...

— Я знаю, мама. И не забываю о ней. Она ведь нам как родная...

Елена Никитична Горышева приехала в Алтынсай осенью 1941 года. Муж ее погиб в первые же дни войны. Сама она была эвакуирована из-под Воронежа вместе с восьмилетней дочуркой Сашей сначала в Саратов, а потом в Узбекистан. Долго они добирались до нового жилья, много дней провели в вагонной тесноте, сутолоке, среди слез, шума и ругани... В дороге девочка заболела брюшным тифом. Чтобы спасти ее, добыть для нее еду, Елена Никитична распродала последние вещи: оренбургский пуховый платок, шерстяное синее платье, обручальное кольцо. Но ни материнская забота и нежность, ни белые сухарики и творог, которые мать с трудом доставала на станциях у торговок,— ничто не в силах было вернуть Сашу к жизни. Елена Никитична похоронила ее на безлюдном степном полустанке, в горячих сыпучих песках, и через неделю прибыла в Алтынсай совсем седая...

— Ты мне напомни, доченька,— попросила Халби-

би,— чтобы я завтра проведала ее. А ты самсы[1] напеки.

— Ладно, мама,— Айкиз вздохнула,— Только, говорят, ей уже не подняться.

— Вай, бедняжка! То-то я думаю: что это от отца вестей нет? Уж пора бы... А письма-то, оказывается, и разносить некому...

— Почему некому? У нас почтальоном теперь ваш племянник, сын дяди Гафура, Азамат.

— Азамат? — На лице Халбиби отразилась тревога.

— Чего вы так испугались, мама?

— Да нет, ничего. Не люблю я его. Сама не знаю почему, а не люблю, и все тут. Впору бы его пожалеть, ведь отец-то в тюрьме...

— Там ему и место! — вырвалось у Айкиз.

— Нельзя так, дочка. Ожесточишь свое сердце — никто и тебя любить не будет.

— А мне и не надо любви таких, как дядя Гафур и Азамат. Слышали бы вы, что мне на днях сказал этот Азамат...

— Что, дочка?

Но Айкиз прикусила язык. Поспешно удалившись в соседнюю комнату, она принялась там греметь посудой в шкафу. Халбиби ждала ее, сидя на курпаче, обняв руками колено. Потом, не выдержав, поднялась и пошла к дочери.

— Так что он тебе сказал?

Айкиз приняла удивленный вид:

— Вы о ком, мамочка?

— Да племянник, Азамат?

— Ах, Азамат!.. А я уж давно о нем забыла.

— Дочка, не лукавь!.. Ты же сама начала мне рассказывать...

— Не помню, мама, о чем.

— Об Азамате. Будто он что-то сказал тебе такое... Может, угрожал? С него станется.

— У-гро-жал? Мне? Пусть сперва нос вытирать научится!

В голосе Айкиз звучало презрение.

Она так ничего и не рассказала матери о своей недавней встрече с Азаматом. Но у самой из головы все

---

[1] Самса — треугольные пирожки, обычно с мясом.

не выходила эта встреча и разговор, который она вспоминала с суеверным страхом...

...С Азаматом она столкнулась на улице.

— А, сестренка! Салам, салам,— проговорил он развязно,— давненько мы не виделись. А мне надо сказать тебе кое-что...

Он сдвинул за спину брезентовую сумку, помолчал, мрачно потупясь.

— Что же ты запнулся? Говори, не бойся.

— А я и так не боюсь. Скажу, все скажу.

Они стояли на узкой тропке, с краю дороги. Ночью, перед самым рассветом, пробушевала гроза, пролился дождь, и дорога еще не просохла, а тропку на обочине ветерок успел подсушить.

Азамат, четырнадцатилетний подросток с густыми сросшимися бровями, был моложе Айкиз, но выше ее на целую голову. Руки у него хоть и неуклюжие, но длинные, сильные, а над верхней губой чернел пушок.

Раздувая ноздри, Азамат проговорил:

— Мы с мамой все ждали, что ты и тетушка Халбиби навестите нас. Ведь это ты отца в тюрьму посадила, из-за тебя мы кормильца лишились!

— А я к вам заглядывала,— спокойно сказала Айкиз,— только все дома никого не застабала.

Слова Азамата насчет отца она пропустила мимо ушей, только чуть побледнела...

— Кстати, мог бы и ты нас проведать. Ведь у нас горе...

— Горе? — Глаза его горели.— Нет, аллах мало вас покарал!.. Тебе еще не то будет за твою подлость!

— Ты что, начал в аллаха верить? — как-то деревянно рассмеялась Айкиз.— Тогда мне тебя жалко...

— Ты нас однажды уже пожалела. Себя лучше пожалей. Вот получишь еще похоронную...

Айкиз, оцепенев, молча смотрела на Азамата, наконец у нее вырвалось с хрипом:

— Что?.. Что ты сказал?

Но Азамат уже торопливо шагал прочь. И проворно шмыгнул в первый же проулок.

Придя в себя, Айкиз бросилась за ним, но парень словно сквозь землю провалился.

Айкиз не знала, что она сделала бы, если бы догнала Азамата. Может, задушила бы собственными руками. Или надавала звонких пощечин, чтоб больше

неповадно ему было распускать язык, сама она и врагу не могла бы пожелать такое!..

«Ну, попадись мне только! — думала она с угрозой.— Только попадись...»

Но с Азаматом ей в ближайшее время так и не довелось встретиться. Он явно избегал Айкиз, а письмо Алимджана, которое пришло на ее имя дней через пять. после их разговора, передал ей через Лолу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У Халбиби сил прибавлялось с каждым днем. Она могла уже сама управляться по дому, и Айкиз стала выходить на работу в поле. Мать старалась забыть о своем горе, но часто ни с того ни с сего у нее начинал предательски дрожать подбородок и по щекам катились обильные слезы. Халбиби вытирала их ладонями, рукавом, прижимала к лицу, сняв с головы, ситцевый платок, а слезы все лились, их невозможно было унять...

Она разражалась рыданьями в самые неожиданные моменты: обметая веником ковер или начищая самовар.

Как-то она надумала подштопать домотканую рубаху, которую Умурзак-ата носил еще парнем, до свадьбы. С тех пор он ни разу не надевал ее, и все сорок лет она пролежала на дне сундука, под грудой разноцветного тряпья.

В этот сундук, массивный, зеленый, обитый узкими полосками оранжевой и черной жести, Халбиби прежде не заглядывала месяцами. Там хранилось белье, новые и старые бельбоги, шерстяной яхтак[1] Умурзака-ата, три ситцевых платья Айкиз, одно праздничное, из полосатого атласа, бархатные безрукавки, тюбетейки, красивая ковровая тесьма для шальвар и еще кое-какая мелочь, в которой не было срочной надобности.

Халбиби полезла в сундук за рубахой Умурзака-ата и с этих пор стала рыться в нем чуть не каждый день, а иногда даже и по ночам.

Подняв крышку сундука, она садилась перед ним на корточки либо на маленькую табуретку, вынимала

---

[1] Яхтак — легкий халат.

все вещи, а потом по одной укладывала их обратно, подолгу рассматривая какую-нибудь пуговицу или старый бельбог, напоминавшие ей о прошлом...

И принималась плакать навзрыд, потому что всякий раз находила не замеченную раньше вещь, когда-то принадлежавшую Тимуру: то тюбетейку, которую она сама ему сшила из красного бархата, то исписанную школьную тетрадку, то ашички [1], в которые он играл, когда был маленький.

Однажды она обнаружила зеленый сапожок — его сапожок! — из мягкого сафьяна и долго, мучительно припоминала, когда же, в какой знаменательный день отец купил Тимуру такие приглядные сапожки? Слезы застилали глаза... Ей так и не удалось ничего вспомнить. Тогда она стала искать второй сапожок, перетрясла весь сундук,— сапожка почему-то там не было...

От этого она заплакала еще горше.

Неожиданно ей попался на глаза кокон, обыкновенный шелковичный кокон, невесть как оказавшийся в сундуке. Возможно, она сама сунула его туда вместе с тряпьем, а может, дети запрятали — они ведь были такие непоседы... И чем только не занимались! Вон недавно из тетрадки, которую Халбиби извлекла из сундука, выпал урюковый листок, гладкий, пунцовый, пожелтевший возле корешка. Видно, кто-то из сыновей подобрал его осенью, в листопад, и засушил. Как знать, может быть, и Тимур...

Еле сдерживая слезы, Халбиби вертела в руках белый кокон, и внезапно ей вспомнилось, что ведь когда-то она выращивала и сдавала колхозу шелковичные коконы — и шла впереди всех, молодые не могли за ней угнаться.

В червоводнях у нее был образцовый порядок: стены побелены, чисто, опрятно, как в больнице, и тутовые ветки, объеденные шелкопрядами, не валялись где попало — она вовремя их убирала и не уходила обедать или ужинать, не нарезав свежих веток с сочными, разлапистыми, зелеными листьями. Эти ветки она раскладывала по деревянным — в несколько этажей — нарам, где находились толстые, бархатистые шелкопряды, которые густо усеивали ветви и точили, точили листья, ели, ели их без перерыва.

[1] Ашички — альчики, бараньи косточки для игры.

У Халбиби раньше, чем у других, завивались в червоводне первые коконы.

Вполне возможно, что кокон, который она держала в руках, был из этих первых. В какой-то из сезонов она увидела его в червоводне и принесла домой показать мужу и детям. Полюбуйтесь, мол, у меня уже первый кокон завился!..

Коконы в колхозе считались ценным сырьем.

А ведь нынче в шелке нужда еще бо́льшая. Шелк нужен фронту... Так что же она сидит сложа руки дома, возле своего сундука? Ах, беда, собственное-то несчастье совсем ей глаза застило, сколько дней потеряно даром!.. Хотя нет, за доброе дело никогда не поздно взяться, она еще подсобит, в меру своих сил, фронтовикам-джигитам!..

Решительно запихав тряпье обратно в сундук, Халбиби встала, захлопнула крышку.

Надо было спешить в червоводни.

На улице Халбиби бодро поздоровалась с Айбуви, которая когда-то слыла в Алтынсае первой красавицей, а теперь сгорбилась от старости. Но задерживаться не стала, бросила на ходу:

— Извините, тетушка, некогда мне, тороплюсь.

И не успела даже поведать, куда торопится.

Кто-то окликнул ее сзади:

— Тетя Халбиби! Тетя Халбиби!

Она сделала вид, будто не слышит, не оглянулась даже и ускорила шаг, чтобы побыстрее свернуть за угол. Там, в самом конце тихого переулка, как бы замыкая его, белели длинные постройки под золотистыми камышовыми крышами — новые червоводни, сооруженные колхозом перед самой войной. За ними курчавилась листва молодой тутовой рощи — единственного источника корма для шелкопрядов.

Халбиби не терпелось зайти в червоводни, навести порядок,— без нее-то уж какой там порядок! — а также поглядеть, что делается в роще: окопаны ли деревья, правильно ли производится обрезка веток. За рощей необходим тщательный, постоянный уход, только тогда у шелкопрядов будет в достатке корма.

Голос, звавший ее, послышался прямо за спиной:

— Тетя Халбиби!

Она обернулась и увидела Азамата. Он стоял, широко расставив ноги, держась обеими руками за лямку своей сумки и тяжело отдуваясь:

— Уф! Еле догнал вас. Кричу, кричу, а вы не слышите. Куда это вы так торопитесь? Мне говорили, вы больная...

Халбиби, не отвечая, с тревогой переводила взгляд с брезентовой сумки подростка на его лицо, словно желая определить, зачем она понадобилась юному почтальону. Ведь он бежал за ней,— значит, хотел что-то сказать...

Ох, не к добру эта встреча...

Азамат, которому не по себе сделалось от ее испуганного взгляда и оттого, что лицо ее стало серым, а лоб начал вдруг покрываться испариной, сам слегка побледнел. Сняв с головы тюбетейку, он вывернул ее наизнанку, вытер вспотевшие виски:

— Фу, жарища!

Хлопнув тюбетейкой о ладонь, он вновь ее надел.

Халбиби, испытывая все большее беспокойство, внутренне холодея, напряженно спросила:

— Ну, зачем я тебе?

Азамат, заглянув в сумку, достал оттуда письмо:

— Вот. Это вам.

У Халбиби враз пересохли губы, с них сорвался не шепот даже, а шелест:

— Погляди, от кого письмо-то...

Азамат повертел в руках конверт:

— Тут не написано. Может, прочесть вам письмо?

— Прочти, сынок, прочти.

Старуху уже била дрожь...

Азамат вскрыл конверт, извлек из него небольшой листок и стал вслух читать:

— «Ваш сын, старший сержант Алишер Умурзаков, в бою за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, пал смертью храбрых на поле боя. Похоронен с отданием воинских почестей».

— Что? — тихо сказала Халбиби. И тут же голос ее перешел в крик: — Нет, нет!.. Сыночек!.. Сыночек мой!..

Она махала перед лицом руками, будто отгоняя что-то, глаза ее остекленели.

Азамат сложил вдвое листок, сунул его в конверт, вздохнув, сказал:

— Война! Ничего не поделаешь.

А Халбиби вдруг начала ловить ртом воздух и медленно валиться вперед и на бок.

— Тетушка! — бросился к ней Азамат.— Тетя Халбиби, что с вами?

Он успел подхватить ее и слегка встряхнул, с трудом удерживая обмякшее, отяжелевшее тело.

— Да скажите же хоть слово, тетя Халбиби!.. Что это вы?.. Погодите, я сейчас воды вам дам.

Осторожно опустив Халбиби на землю, он метнулся к арыку, зачерпнул тюбетейкой воды, кинулся назад, встал возле старухи на колени, трясущимися руками поднес к ее губам тюбетейку... Халбиби лежала неподвижно, не размыкая губ, вода текла по подбородку на шею, за ворот платья...

Азамат внимательно посмотрел на нее и тут же в страхе отпрянул, вскочил на ноги и пустился бежать по пустынной улице, ярко освещенной солнцем. Промчавшись шагов десять, он резко остановился и почему-то на цыпочках двинулся назад.

Голова Халбиби покоилась на зеленой траве, а тело вытянулось; казалось, она спала...

Приглядевшись к ней, Азамат закричал:

— Люди!.. Эй, люди, слышите?! Тетя Халбиби умерла!

● ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Фигура Азамата надвигается на Айкиз, глаза у него пылают, как у молодого дива, брови сдвинуты. Вот он остановился, сумрачно озираясь, и Айкиз с ужасом сказала себе: «Он меня, меня ищет! Неужели же он опять с похоронной? И в сумке его — горе, смерть?.. Нет, нет!.. Это невозможно, немыслимо, чтобы убили еще и Алимджана! Зачем тогда небо, птицы, цветы, деревья? Зачем тогда всё?»

Азамат все ближе; Айкиз, прячась от него, плотнее прижимается к стволу старой шелковицы и явственно слышит стук своего сердца. Объятое страхом, словно пламенем, оно бьется часто, тревожно и гулко, как колокол. Осторожно выглядывает она из-за дерева и видит, как Азамат роется в брезентовой сумке. И почему-то вспоминает о большом фиолетовом чернильном пятне на дне этой сумки,— оно бросилось

Айкиз в глаза, когда она полезла в сумку и нашла там «похоронку» на Тимура. Сейчас оно, наверно, прикрыто новой «похоронкой»... Недаром же Азамат ищет ее, Айкиз! Он направляется к дереву, и Айкиз падает на колени, а потом ничком ложится на землю, затаившись, спрятав лицо в траве, стараясь не дышать и больше всего на свете боясь, как бы Азамат не обнаружил ее.

Почему же так страшит ее встреча с Азаматом? Почему так боится она этого верзилу и его сумки? А как же не бояться? Ведь однажды он уже принес похоронную — на Алишера, и тогда умерла мать. Он может принести «похоронку» и на Алимджана. Теперь осталось только на Алимджана... И у Айкиз разорвется сердце.

Нет, она не должна этого допустить, вот сейчас Азамат подойдет к ней, и она бросится на него и придушит, и уж он не сумеет вручить ей страшный конверт... Ой, какая чушь лезет ей в голову! При чем тут Азамат? Сумка-то его останется... А в сумке...

Все равно, она должна его проучить, он негодяй, подлец, иначе разве решился бы угрожать ей смертью близких?.. Злобный пес, весь в отца!.. Еще и молоко на губах не обсохло, а сколько злобы в душе!..

Пес, пес!.. Таких надо уничтожать!

Неожиданно кто-то произносит над ней:

— Айкиз! С кем это ты разговариваешь?

«Разве я вслух говорила? — удивляется Айкиз.— Ведь я это все про себя...» Она тихонько поднимает голову и вскрикивает, обомлев от радости:

— Ой! Алимджан-ака! Это вы?

Чувство радости все ширится, переполняет до краев сердце, рвется из груди наружу...

«Что же я лежу? — спохватывается Айкиз.— Надо встать!» Она вскакивает на ноги, и щеки ее горят от смущения и счастья — огромного, как небо над ней.

— Алимджан-ака,— шепчет она, не веря своим глазам.— А где же Азамат? Он только что стоял вон там, он принес на вас похоронную, а я спряталась от него. Вы живы, Алимджан-ака?

— Как же ты выросла, Айкиз! — слышит она голос Алимджана.

Он в гимнастерке, которая ему так к лицу, в хромовых сапогах и в черной чустской тюбетейке с бе-

лыми узорами. Но через плечо у него перекинута брезентовая сумка Азамата, и Айкиз снова делается страшно, потому что ведь в этой сумке — похоронная на Алимджана!..

Но он-то об этом не знает и говорит ласково, обращаясь к Айкиз:

— Когда я уезжал на фронт, ты была совсем еще девочкой. Помнишь, как мы прощались?

— Помню.

— А цветущий миндаль помнишь? Я нарвал тогда целую охапку. Я бы весь его оборвал, только бы ты помнила обо мне.

— Я помню. Я все время о вас помню! Но вы скорее возвращайтесь с войны, я боюсь за вас, у меня на сердце тревога, вы так далеко.

Алимджан кивает ей, потом, повернувшись, начинает удаляться.

— Алимджан-ака! — в отчаянии кричит Айкиз.— Куда же вы? Постойте! Возьмите меня! Я хочу с вами, слышите, я хочу с вами!..

Алимджана почти не видно, и она пускается бегом, пытаясь догнать его, она бежит, бежит изо всей мочи и вдруг с ужасом замечает, что не продвинулась ни на шаг, и рядом с ней шелковица, за которой она пряталась от Азамата, и Алимджан уже далеко-далеко!..

Все-таки она рвется за ним, и все топчется на месте, и силы ее оставляют, и она, задыхаясь, кричит что-то, не слыша собственного голоса...

...Но тут до нее доносится из темноты родной, глуховатый голос отца:

— Айкиз!.. Что ты так кричишь, дочка? Проснись!

Отец легонько тормошит ее за плечо, и она просыпается и видит над собой согбенную отцовскую фигуру, но все еще не может различить — где сон, где явь? Она вся еще во власти ночных сновидений, и ей чудится, что и отец тоже ей снится...

Но чувствует она себя уже спокойней, потому что в голосе отца — ласка, участие. И от этого ей тепло и уютно.

Она уже не спит. Медленно возвращается к действительности... Ладонями ощупывает во тьме свое лицо: на лбу холодная испарина, а уши и щеки в огне...

— Что тебе приснилось, дочка? — Умурзак-ата ос-

торожно присаживается на самый краешек постели.— Видно, что-нибудь страшное?

— Ох, отец, такой страх...

И Айкиз вздыхает с облегчением: слава богу, это был всего лишь сон!..

Со дня смерти Халбиби прошло уже много времени, Умурзак-ата давно вернулся домой после поездки на фронт.

Как его встречали в колхозе!..

Летний день клонился к вечеру. И хотя у каждого были свои неотложные дела — во дворах мычали еще не доенные коровы, беспризорно слонялись овцы и телята, а в казанах остывал недоваренный ужин,— все алтынсайцы, от мала до велика, высыпали на улицу. Тут были и белобородые старцы, аксакалы с посохами в руках, и женщины, и дети.

Люди стояли плотной стеной по обе стороны улицы. Старики, опираясь о свои посохи, чинно беседовали о чем-то и поглядывали на дорогу, в сторону большого карагача, высившегося на повороте,— оттуда и должен был показаться Умурзак-ата. Женщины судачили о домашних делах и солидно обсуждали последние сводки Совинформбюро. Дети вели себя как дети: то устраивали на дороге веселую возню, то затевали ссору, доходившую чуть ли не до драки, и тогда матери унимали не в меру расшалившихся забияк и награждали их шлепками, и, как это часто бывает, больше всех доставалось тихоням, а заводилы оставались в стороне...

Внезапно все зашумели, заволновались, ребятишки бросились вперед, к карагачу.

— Едут, едут!

Первым на гнедом иноходце появился Умурзак-ата. Это был любимый конь Кадырова, и то, что сейчас на этом коне восседал не председатель колхоза, а Умурзак-ата, вызвало в толпе веселое оживление. Кадыров же трусил на сером усталом мерине о обвисшим брюхом, который чувствовал себя под седлом неуверенно, ему привычней было тянуть плуг или телегу. Чтобы мерин не отставал от иноходца, Кадыров то и дело нахлестывал его камчой. Коню это, видно, не нравилось, он недовольно тряс мордой, позвякивая уздечкой.

Въехав в родной кишлак, Умурзак-ата натянул повод, заставив коня идти шагом. Гнедой, как все иноходцы, обычно передвигался быстрой, спорой побежкой и теперь, сдерживаемый тугим поводом, шагал с напряженной медлительностью, высоко поднимая копыта, как цирковая лошадь на манеже.

Всем бросилось в глаза, как хмур и мрачен Умурзак-ата.

Еще в поезде он встретился случайно с сердобольным дехканином из соседнего кишлака, и тот сообщил ему о гибели старшего сына и смерти Халбиби. Весть была настолько нежданной и чудовищной, что Умурзак-ата долго не мог в нее поверить. В первую минуту он ужаснулся, а потом засомневался, начал терзаться самыми противоречивыми предположениями. Однако чем ближе подходил поезд к родным местам, тем больше попадалось сердобольных знакомых. Наконец на станции, куда приехали встретить своего посланца первый секретарь райкома Джурабаев и председатель колхоза, Умурзак-ата уже достоверно узнал, что его не обманывали, и, уронив голову на грудь, весь отдался черным думам...

Всю дорогу от станции до Алтынсая он молчал. Кадыров засыпал его вопросами: как встретили колхозных представителей на фронте, по душе ли пришлись бойцам подарки, как там вообще, на войне, и верно ли, что немцы бегут без оглядки?.. Им двигало и простое любопытство и желание отвлечь Умурзака-ата от мрачных мыслей. Старик отвечал ему неохотно, односложно. И опять надолго замолкал...

В Алтынсае его горячо приветствовали земляки, он едва успевал раскланиваться с ними, приложив ладони к сердцу, с некоторыми мужчинами обменивался рукопожатиями, не слезая с седла.

Но уже все заметили его угрюмость, и шум стал стихать.

К дому Умурзак-ата подъехал в полной тишине, хотя по-прежнему был окружен народом.

Айкиз заранее начала готовить себя к встрече с отцом,— главное было — не расплакаться,— и, поджидая его дома, крепилась изо всех сил.

Но едва отец очутился во дворе, как она с криком бросилась к нему, прижалась щекой к стремени и заголосила не по-девичьи, а по-бабьи: громко, с недры-

вом, безудержно. Она так крепко вцепилась в стремя, касаясь волосами пыльного отцовского сапога, что ее долго не могли оттащить. А Умурзак-ата словно застыл в седле, не в силах пошевелиться. Когда он наконец спрыгнул на землю, Айкиз припала к его груди, продолжая рыдать...

Обняв дочь за плечи, он вошел в пустую комнату, постоял немного, оглядываясь в какой-то растерянности, а потом тяжело опустился на курпачу возле тахты и закрыл лицо руками. Между его натруженными, узловатыми пальцами проступили скупые слезы...

Умурзак-ата еще не успел оправиться от горя, которое обрушилось на него так неожиданно, а ему уже пришлось выступать перед колхозниками с отчетом о поездке. И он все силы напряг, чтобы перебороть скорбь, говорил почти спокойно, чуть приподнято:

— Отечество наше ведет священную войну с лютым врагом — немецкими фашистами. Войну тяжкую, кровопролитную... Сказать по чести, даже Тамерлан или Искандер Двурогий не могли бы сравниться с гитлеровскими извергами своей мощью и своим злодейством. Многие наши сыновья...— тут у него запершило в горле, он натужно откашлялся,— многие не вернутся домой, в родной Алтынсай... Но враг отступает!..— Он услышал в разных концах помещения, где собрались колхозники, женские всхлипы и причитания, сдвинув брови, сдавленным голосом сказал: — И не надо плакать, дорогие матери, сестры мои дорогие! Нынче у нас есть чему и порадоваться. Наши сыновья гонят врага! Враг бежит, хотя нам еще далеко до фашистского логова, Берлина. И немало придется повоевать нашим джигитам, пока они добудут победу. Тут, друзья, и от нас многое зависит. Мы должны удесятерить свои усилия в труде во имя победы! Да, удесятерить! Слышите, алтынсайцы?.. Знаю, вы и так себя не жалеете, но стране, фронту требуется все больше хлеба. Вы спросите: откуда же его взять? Я думал над этим... Еще когда ехал сюда, все ломал голову: как же нам вырастить побольше пшеницы?.. У нас имеются такие возможности, надо лишь распахать целину по эту сторону гор. Ведь сколько земли еще не тронуто плугом!..

В зале раздались нестройные голоса:

— Про целину мы и сами знаем! Давно знаем!

Только рядом-то Кызылкумы, пустыня, с ней шутки плохи!

— Посеем пшеницу, налетит суховей — все погубит!

Умурзак-ата поднял руку, призывая собравшихся к тишине:

— Спокойней, друзья!.. Преградить путь суховею — это в наших силах.

— Как мы его обуздаем?

— Его ничем не удержишь!..

— Как это ничем?..— Умурзак-ата махнул рукой куда-то в сторону запада.— А если мы на границе пустыни поставим зеленый заслон? Высадим карагач, джиду?

— Когда еще вырастет этот карагач?

— Сказать по чести, карагач долго растет,— согласился Умурзак-ата.— Ну, а джида? Растет, где ни посадишь. Глядишь, уже через три-четыре года на краю пустыни вымахнет зеленая стена и не пустит к нам кызылкумский песок. А может, мы и еще до чего-нибудь додумаемся, всем-то миром. Вот и давайте обмозгуем, посоветуемся: что нам надо сделать, чтобы приблизить день победы?!

Горячие аплодисменты и дружные одобрительные возгласы были ему ответом.

Умурзак-ата с жаром взялся за работу.

Айкиз понимала: отец всем своим чистым и честным сердцем жаждет помочь фронту, все силы отдать делу победы и в то же время хочет забыться в работе, уйти, спрятаться от гнетущей скорби.

Порой все же он не мог с ней совладать, тяжкая тоска накатывала на него черной волной, он бродил по двору, сгорбленный, молчаливый, рассеянный... Постучит сапогом в подгнивший столб под сараем, а потом долго стоит, словно вспоминая, что же он намеревался сделать. Или снимет с гвоздя уздечку, будто собираясь куда-то ехать, задумается о чем-то и повесит уздечку на прежнее место.

Чаще всего, заложив руки за спину, низко опустив голову, он направлялся в дом, стоял, понурясь, возле пустых сыновних постелей. Потом подходил к маленькой этажерке с книгами, доставал одну, другую и, по-

держав в руках, даже не раскрывая, ставил опять на этажерку.

Айкиз в такие минуты больно было глядеть на отца. Сама с трудом сдерживая слезы, она старалась увести Умурзака-ата из комнаты и все делала, чтобы рассеять его.

Как-то она заварила для отца любимый его зеленый чай, а он вышагивал по комнате сыновей. Айкиз слышала его шаги и думала: пусть погрустит в одиночестве, наверно, ему хочется поплакать, и не надо мешать этому, слезы ведь облегчают душу...

Вдруг она насторожилась — до нее донесся голос отца. Айкиз перепугалась: что это с ним, неужели он разговаривает сам с собой?.. Она метнулась было к комнате братьев, но у порога задержалась, словно споткнувшись, и, нахмурясь, прикусила губу, потому что в комнате звучал еще один голос — голос ненавистного Азамата...

Притаившись за косяком, Айкиз стала слушать, о чем говорят Азамат и отец.

— Зачем же ты ходил в милицию? — строго спросил Умурзак-ата.— Ну, что молчишь? Или корова тебе язык отжевала?

— Пускай... пускай меня арестуют... и в тюрьму посадят,— сказал Азамат так тихо, что Айкиз еле разобрала.— Кругом я виноват.

Айкиз замерла, потом, не утерпев, выглянула из-за косяка, чуть отодвинула занавеску. Азамат стоял перед отцом, спиной к Айкиз, с понуренной головой. Умурзак-ата, пожевав губами, внимательно посмотрел на Азамата, неторопливо проговорил:

— Чепуху ты мелешь, парень.

Айкиз еле сдерживалась, чтобы не ворваться в комнату и не крикнуть: «Ты такой же негодяй, как твой отец! Убирайся отсюда!»

— Нет, не чепуху,— упрямо произнес Азамат.— Если бы я тогда не догнал ее... и не отдал ей похоронную...

— А ты разве знал, что там, в конверте?

— Откуда же, дядюшка Умурзак!.. Письмо-то было запечатанное. Я даже думал — может, порадую ее...

Айкиз все-таки не выдержала и вбежала в комнату, крича:

— Не верьте ему, отец. Он все врет! Он знал! Он

давно мне грозил! — Она повернулась к Азамату, глаза у нее горели беспощадным блеском.— Зачем ты пришел? Уходи! Убирайся!

Азамат не двигался с места, глядел на Айкиз виновато и растерянно. Она топнула ногой:

— Слышал, что я сказала?

— Погоди, дочка, не шуми,— мягко остановил ее отец.— Сказать по чести, чем он мог тебе грозить? Разве он распоряжается человеческими судьбами?.. Он разносит по домам радость и горе — такая уж у него должность, но в чем его-то вина?.. Это все война, дочка...

— Все равно я не хочу его видеть!

— Сестрица Айкиз,— пробормотал Азамат.— Не сердись на меня. Я правда ни в чем не виноват.

— А зачем в милицию ходил? Да ведь ты же только что сказал отцу, что виновен!

— Ну... Это я сам себя виноватым чувствую... Я ведь и верно угрожал тогда... со зла... Но я столько пережил за последнее время... А что я тетушке Халбиби письмо прочитал, так она меня сама попросила. Не серчай, сестрица Айкиз. Я сам себе места не нахожу... Так все получилось...

— Ладно, племянник, успокойся, никто тебя ни в чем и не винит. Пошли чай пить.— Умурзак-ата обнял Азамата за плечи.— Пошли, Айкиз у нас умница и уже простила тебя. Правда, дочка?.. В такую-то пору грех друг на друга сердиться... Всем тяжело.

Вот после этого Айкиз и приснился Азамат.

Присутствие отца успокоило ее, она нашла в темноте его руку, погладила ее, спросила ласково:

— Я разбудила вас?..

— Нет, дочка, я еще не ложился спать. Да и сплю я теперь, как перепел: вздремнул, встряхнулся — и готов, выспался.

Айкиз села в постели, вытянув ноги:

— Знаете, кто мне приснился? Азамат. И я боялась его во сне, боялась, что он еще принесет мне похоронную. И все старалась от него спрятаться. Мне казалось, что если я спрячусь и он меня не найдет, то никакой похоронной и не будет. А он шел прямо на меня, тогда мне совсем стало страшно...

— Ты кричала во сне. Все звала кого-то, только я не разобрал кого.

Айкиз почувствовала, как у нее запылали уши, и в то же время вздохнула облегченно: слава богу, отец не слышал, чье имя она произносила... Справившись со смущением, она как можно беззаботней сказала:

— А так бывает во сне: зовешь кого-то, а кого — и сама не знаешь.

Отец помолчал, погладил Айкиз по голове.

— И в поле устаешь, и во сне тебе нет покоя. Ох-хо, до утра-то еще далеко. Надо пойти соснуть хоть немного.— Он поднялся, но все не уходил.— И ты спи. И не думай ни о чем дурном... Какие еще похоронные? Не могут же на фронте всех до одного перебить, вернутся домой наши джигиты... С нас-то хватит, двоих потеряли... Нет, троих... Больше уж и некого...— Спохватившись, что только нагоняет на дочь тоску, он торопливо сказал: — Ты спи, спи. И пускай мысли у тебя будут не черные, а светлые — тогда и сны приснятся хорошие. И на Азамата не гневайся, за что ты его, в самом деле, невзлюбила? Знал бы он, что письмо убьет нашу мать, так припрятал бы его подальше. Он ведь не злодей какой. Ну, отец его вор, а он-то при чем? Надо с ним мягче... Мы все должны сделать, чтобы он вырос честным, добрым человеком. Ну, спи, дочка. Спи...

После его ухода Айкиз долго еще сидела, подобрав колени к подбородку и обняв их руками, и с нежностью думала: «Какой ты славный, отец!.. Ведь догадываешься обо всем, но не хочешь меня ни смущать, ни тревожить... Все бы были такими — мудрыми и чуткими...»

● ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Айкиз смеялась — звонко, весело. Она стояла у скалы, под отцветающим миндальным деревом, словно под розовым облачком. Алимджан, добравшийся до деревца и уцепившийся за него, изо всех сил тряс миндаль, лепестки густо сыпались на нее сверху, как снег, пушистый и теплый... И Айкиз смеялась.

— Хватит, Алимджан-ака! — кричала она радостно.— Хватит!..

А цветы миндаля все летели на нее, и Айкиз то

широко раскидывала руки, подставляя ладони розовому снегу, то запрокидывала голову, чтобы цветы падали на ее счастливое лицо, словно чистый «слепой» дождик при ярком солнце.

Внезапно, то ли устав, то ли чувствуя себя недостойной того счастья, которое дарил ей Алимджан, она присмирела, опустила и руки и голову.

Алимджан, не переставая трясти деревце, крикнул ей сверху:

— Айкиз, что случилось? Почему примолкли? Я не слышу вашего смеха!..

И она опять засмеялась:

— Пожалейте дерево, Алимджан-ака!.. Вы уж совсем его осыпали! Довольно, хватит!..

Алимджан по-солдатски ловко, легко спрыгнул на тропинку.

— Посидим здесь, Айкиз? Жаль уходить, уж больно славный уголок.

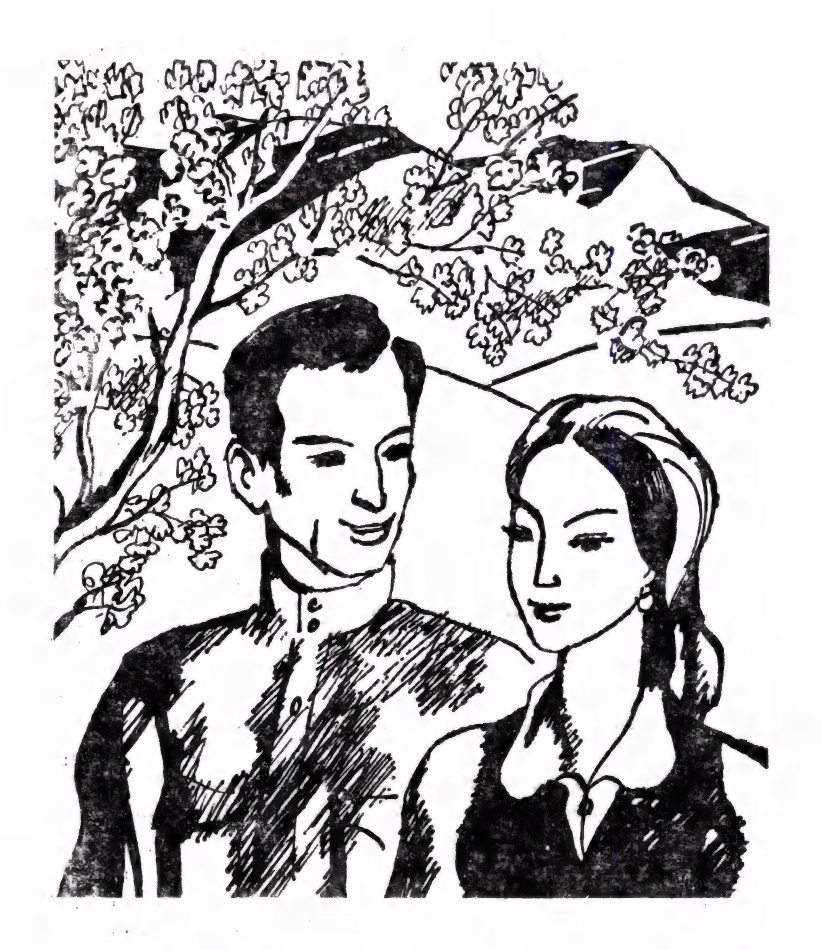
— Посидим...

Лепестки миндаля устилали землю вокруг пушистым розовым ковром. Айкиз присела на круглый камень, тоже усеянный цветами. Алимджан пристроился чуть поодаль. Они долго молчали, испытывая чувство неловкости, не зная, о чем говорить. Наконец Айкиз молвила задумчиво:

— Вот и окончилась война, Алимджан-ака. И вы дома... Как же ждала я этих счастливых дней!.. Порой казалось — и не дождусь никогда... И война будет длиться, длиться бесконечно... А я ведь, послушавшись вас, учиться поступила, на заочный. Ох, как трудно было, Алимджан-ака!.. Я думала — не выдержу. Институт. Работа в колхозе. Заботы, тревоги... Никогда мне не забыть, как пришло извещение о гибели Алишера. Мама умерла... Отец на фронт поехал. Я — одна... А надо и учиться и помогать колхозу... — Она сжала щеки ладонями.— Ну, ничего, теперь все позади... И война позади... — Взяв горсть лепестков, она стала пересыпать их из руки в руку.— Алимджан-ака, а почему вы так долго не приезжали?

Она чуть щурилась, и Алимджан, заглянув ей в глаза, строгие, внимательные, спрашивающие, ласково улыбнулся:

— Ведь война была, Айкиз.



— Когда она кончилась-то? А вы приехали только вчера... Что вы делали все это время?

— Я ведь вам писал, Айкиз.

— То письма...

— А рассказывать я не мастер. Ну, служил в Берлине. Нельзя же было всех солдат сразу домой отпустить. Только сейчас они начинают возвращаться.

— Как же вы жили там, в Берлине, после войны?

— Айкиз, я вам когда-нибудь подробно обо всем доложу, ладно?.. Да вы и из моих писем многое должны знать. Я ведь вам отправил за последнее время уйму писем!

— И я — уйму! — улыбнулась наконец Айкиз.— И в каждом письме спрашивала, когда же вы вернетесь. Помните?

— Еще бы. Я все ваши письма наизусть знаю...

— И я ваши...

Они опять замолчали. Айкиз губами взяла с ладони цветок миндаля, пожевала его. Попробуйте. Знаете, какие они вкусные. Терпкие такие и душистые...

Алимджан захватил в пригоршню целую кучу цветков, Айкиз рассмеялась:

— Что вы делаете? Это же не еда!.. Надо взять один лишь цветок, и обязательно губами... И вы почувствуете, какой он прохладный, влажный... и вкусный!

Он тоже пожевал цветок, не отрывая взгляда от Айкиз, а она заговорила задумчиво, опустив голову и перебирая на ладони розовые лепестки:

— Чудно́... Никогда не думала, что можно глядеть на эти цветы... толковать о них... сдувать их с ладони... и не желать больше ничего на свете!..

Алимджан кивнул:

— И у меня в душе сейчас — рай!.. А все потому... — Он запнулся, пристально глянул на Айкиз.— Потому что вы — рядом. Больше и правда нечего желать. Я хочу, чтобы мы... всегда были вместе!..

Айкиз, казалось, пропустила мимо ушей это признание.

— Пусть всегда на земле будут мир и тишина! — воскликнула она горячо.— Алимджан-ака, а вы не заметили, что время сейчас бежит куда быстрее, чем в войну. Тогда оно тянулось медленно-медленно, и я подгоняла его: скорей бы кончался день, скорей бы была победа!.. Так хотелось сократить путь до нее!.. А теперь... я прямо ничего не успеваю сделать, дни мелькают, как птицы!.. Надо к экзаменам готовиться, а времени не хватает... Ну и ладно, что не хватает! Лишь бы были мир и тишина... Это самое большое счастье, правда, Алимджан-ака?

— Правда, Айкиз. И мне даже не верится, что я снова в Алтынсае.

— Вы боитесь проснуться, да? — тихо спросила Айкиз.

— То есть?..

— Ну... А вдруг все это сон? И мир, и тишина, и то, что мы сидим с вами рядом, под нашим миндалем...

Алимджан отметил про себя это «под нашим», с улыбкой пожал плечами:

— Сон?.. Нет, Айкиз, к счастью, это все-таки явь!

— Ох, а мне порой не терпится ущипнуть себя и проверить, сплю я или нет. И мне страшно: а вдруг я проснусь, и все исчезнет!.. И не будет ни вас, ни цветущего миндаля, ни весны, ни мира, ни счастья, и время опять потянется медленно-медленно!..

— А я боюсь засыпать,— помрачнев, сказал Алимджан.— Все, что было, мне подчас кажется тяжелым, кошмарным сном. Война... атаки... бомбежки... пожары... И ты бежишь, спотыкаясь о трупы, или отдыхаешь в молодом вишеннике, а на листьях — кровь... Багровая, как вишневый сок... Все это противоестественно, Айкиз, этого не должно быть, ведь люди рождаются не для войны, а для мирного труда, для счастья... Но это было, я видел все наяву, а теперь часто вижу во сне. Потому и ложусь спать с опаской: как бы мне все это опять не приснилось...

— Не надо об этом... Напрасно я затеяла этот разговор... Поглядите вокруг, Алимджан-ака, хорошо, правда? Вы писали, что представляете себе Алтынсай райским уголком. Значит, мы с вами в раю!.. Сидим себе в облаках из розовых лепестков!.. Над нами — миндаль, и кругом — миндаль, и под нами — мягкий пушистый ковер! Это вы расстелили его, Алимджан-ака! — Айкиз повела рукой вокруг, широкий рукав атласного платья скользнул к плечу, обнажив смуглую нежную кожу.— Это и есть счастье, правда?

— Да,— сказал Алимджан, любуясь ее рукой.— И ничего другого мне не нужно. А вам, Айкиз?

Она притворилась, что не слышала вопроса, и стала глядеть в высокое, предвечерне-синее небо.

— Когда-то я любила наблюдать за полетом орлов...

— А сейчас?

— И сейчас люблю. Только в детстве все это было интереснее. И небо и орлы казались огромными...

Наклонившись, Айкиз принялась ладонями подгребать к себе цветы миндаля и по щиколотку зарыла ноги в розовом ворохе. Алимджан некоторое время молча следил за ней, а потом кинулся помогать. Передви-

гаясь на коленях, он широко захватывал обеими руками мягко шелестевшие цветы и лепестки и отгребал их к ногам Айкиз.

— Ой, Алимджан-ака, не надо! — запротестовала Айкиз, заливаясь краской.— Спасибо, не надо больше!

Но Алимджан не слушал ее и еще энергичнее мел к ней охапки лепестков, легких, как пена.

Словно испугавшись чего-то,— может, той решимости, с какой катил на нее Алимджан эту шуршащую пену,— Айкиз вскочила и отбежала в сторону. И не успел он разогнуться, как она набрала целый ворох цветов и высыпала ему на спину и на голову. Смеясь и вовремя отскакивая от него с детской резвостью, Айкиз все хватала горстями с земли цветы и кидала их в Алимджана.

Он, уже выпрямившись, смотрел на нее, добродушно улыбаясь, и не знал, что делать. Ему так хотелось обнять и расцеловать ее, только он не решался... А может, сейчас самое время взять ее за руки и спросить, согласна ли она выйти за него замуж?!

Вздохнув глубоко, он чуть хрипловато проговорил:

— Вот возьму тебя на руки... и унесу далеко-далеко... на край света!

Впервые сегодня он обратился к ней на «ты». И Айкиз, отпрянув от него, задорно, дразняще крикнула:

— Унесите!..

Она отбежала еще дальше.

— Ну, унесите меня, Алимджан-ака!..

Сорвавшись с места, Алимджан настиг ее несколькими большими прыжками и, подняв на руки, поцеловал...

Айкиз притихла, закрыла глаза... Но это длилось всего мгновение. Опомнившись, она торопливо освободилась из его объятий и, ступив на землю, нахмурилась,— видно рассердившись не на шутку.

— Вот что, Алимджан-ака,— сказала она твердо,— стойте здесь и не двигайтесь до тех пор, пока я не приду в Алтынсай.

— В Алтынсай?

— Да. Пока я не окажусь дома.

Круто повернувшись, Айкиз быстро зашагала по тропе в направлении кишлака.

Алимджан, опешив, с минуту молча смотрел ей вслед, потом нерешительно окликнул:

— Айкиз!..

Она не отозвалась и не оглянулась. Он позвал ее погромче, но она даже не повернула головы.

Алимджан постоял немного, пока Айкиз не скрылась из виду, а потом опустился на траву в некоторой растерянности. Сорвав зеленую былинку, он задумчиво покусывал ее, ощущая во рту горьковатый вяжущий привкус...

На душе было и радостно и чуть тревожно.

● ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сидя у перевала на своем любимом большом камне, раздумывая о том, что ей нужно сделать, чтобы ее землякам жилось лучше, размышляя о прошлом, Айкиз вспомнила и о своей встрече с Алимджаном под заветным миндальным деревцем... Они тогда впервые увиделись после возвращения Алимджана из армии, и сейчас в ее памяти ярко и свежо всплывали подробности этого свидания: падающие на нее теплым розовым снегом цветы миндаля, и признание Алимджана, и его поцелуй, и ее бегство... С какой решительностью вырвалась она из его объятий и какой у него был растерянный, виноватый вид!.. Айкиз всегда улыбалась, вспоминая об этом...

Больше он уже не отваживался ее поцеловать, только иногда робко брал за руку и спрашивал:

— Айкиз... Ну, скажите мне наконец... Вы согласны?

А она до сих пор не дала ему ясного ответа. И сама не понимала, почему медлит с этим ответом, мучая и Алимджана и себя. Ведь она любит Алимджана, давно любит, еще с девчоночьей поры. Что же мешает ей признаться в этом? Стеснительность? Страх перед крутым поворотом судьбы? Неуверенность в себе, в прочности чувств — своих и Алимджана? Ведь их любовь зрела на расстоянии и не прошла еще проверки самой жизнью. А может, она не решается думать о своем счастье, потому что слишком свежи душевные раны, нанесенные смертью матери и братьев?..

Задумчиво похлопав плеткой по сапожку, Айкиз спрыгнула с камня и позвала:

— Байчибар!

Конь, позвякивая уздечкой, щипал неподалеку тра-

ву. Когда Айкиз приблизилась к нему, он поднял морду, и с мягких его губ на желтый сапожок девушки упала зеленая пена. С укоризной покачав головой, Айкиз наклонилась и пучком травы почистила сапожок. Потом, ведя Байчибара в поводу, направилась по лужайке к узкой тропе, с которой у нее связано было столько воспоминаний... Тропа эта походила на переброшенную через перевал ленту, один конец которой доставал до Алтынсая, а другой терялся в богарных пшеничных полях, расположенных за перевалом.

К кишлаку тропинка сбегала по крутому горному склону, то прыгая с уступа на уступ, то огибая громоздкие валуны. Словно дерзкий ручеек, пробивалась она к подножию Коктау сквозь плотную гущину ореховой рощи и алое пожарище распустившихся по весне маков и резво устремлялась к садам Алтынсая, вливаясь в его главную улицу.

Многие алтынсайцы предпочитали эту горную тропинку добротной грунтовой дороге, по которой идти или ехать на богару было, может, и удобней, но куда дольше. Дорогой пользовались в основном во время уборки пшеницы да в сенокосную страду,— травы в здешних местах росли сочные, душистые, и сено из них было для скота слаще хлеба.

Идя к тропинке, Айкиз не отрывала глаз от раскинувшейся внизу долины.

Все подножие Коктау, начиная от окраины кишлака, будто охвачено пламенем — это цвели полевые маки. Пламя взбиралось и выше по склону горы, а потом гасло: маковые луга сменялись зарослями дикого винограда, а ближе к перевалу ореховыми и фисташковыми рощами.

В первые же весенние дни на горы, на холмы, на окрестности Алтынсая словно опрокидывалась с неба многоцветная, переливчатая радуга, опоясывая все изумрудными, алыми, синими полосами: это тянулись к солнцу тюльпаны, фиалки, маки, буйная трава.

А за радугой, обнимавшей и кишлак, к западу от Алтынсая морем, играющим яркими красками, разливалась степь, терявшаяся в далекой серебристой дымке. И посреди этого моря, словно сказочный обетованный остров, снежно белел Алтынсай, утопавший в пышных цветущих садах.

Но так бывало только весной...

А когда кончались дожди и наступало знойное лето, окрестный пейзаж резко менялся, краски его блекли, красота увядала... Нещадно палящее солнце высасывало из цветов и травы все соки, выжигало все вокруг, и недавняя радуга словно линяла, и море, радовавшее глаз богатством оттенков, становилось желто-бурым...

Дехкане, заслоняя ладонями глаза от солнца, глядели сквозь жаркое струящееся марево на выжженную, бесплодную землю и вздыхали: ох, много у нас земли, да что от нее толку, вот если бы напоить ее вволю, тогда отдарила бы она людей добрыми урожаями и хлеба и хлопка...

О хлопке в Алтынсае мечтали все, от мала до велика,— ведь Узбекистан — это край «белого золота». Но как его вырастишь без воды? Солнца, которое так любит хлопок, здесь хватало, а вот воды не было. Не было в Алтынсае поливных земель. Кормила дехкан лишь пшеница, вызревавшая на богаре теперь уже по обе стороны Коктау, а урожаи ее целиком зависели от дождей: прольются они в какую-то счастливую весну обильно и щедро — и заколосится тогда на холмах пшеница, а не повезет с дождями, что чаще всего и случалось, и на пшеницу больно смотреть — такая она хилая, низкорослая...

Однако даже в удачную пору, когда на богаре перекатывались под ветром сизые тяжелые волны пшеницы, тревога не оставляла алтынсайцев и они часто поглядывали на запад, туда, где степь сливалась с пустыней, носившей имя Кызылкумы — Красные пески. Мертвые, страшные это были места, каждую минуту оттуда мог подуть сухой, знойный, гибельный ветер гармсиль и сжечь, уничтожить весь урожай, добытый тяжким трудом.

Айкиз, вступив на тропинку, остановилась и долго глядела вдаль, в сторону пустыни.

Красные пески... Почему их так назвали: красные? Наверно, потому, что красный цвет — это цвет огня. А пустыня как раз и насылала на алтынсайские сады, поля, луга огонь, нестерпимую, иссушающую жару, грозные, все испепеляющие на своем пути суховеи.

Ох и натерпелись же алтынсайцы от Кызылкумов! От пустыни можно было ждать только беды.

Правда, несколько лет назад, по инициативе Умур-

зака-ата, дехкане воздвигли меж степью и пустыней зеленую стену — полезащитную лесную полосу. Они высадили здесь карагачи и джиду — деревья крепкие, выносливые, способные вытерпеть и зной и жажду,— чтобы навсегда преградить дорогу извечному врагу земледельцев — огненному гармсилю.

Саженцы уже заметно подросли и шумели густой листвой. Их хорошо было видно с перевала.

Неожиданно Айкиз почувствовала, что кто-то осторожно стягивает косынку у нее с головы. Она обернулась и не удержалась от смеха. Тонкую шелковую косынку уже держал в губах Байчибар, держал бережно, за самый кончик — он ведь только хотел обратить на себя внимание хозяйки.

— Ну, озорник! — с веселым упреком сказала Айкиз.— Значит, решил, что я о тебе забыла? Плохого же ты обо мне мнения. В наказание стой теперь с косынкой, а я пока косы уложу — растрепал ты мне их, негодник.

Но только она взялась за свои косы, как Байчибар выронил косынку, и она упала на траву. Айкиз подняла ее, перебросила через плечо и ладонью легонько шлепнула коня по мягким губам:

— Ну, до чего ты нетерпеливый! Вот тебе. Получил? Стой смирно. А я попробую красоту навести.— Айкиз вздохнула.— Мне так хочется быть красивой, Байчибар!..

Уложив венцом вокруг головы заплетенные черные косы и повязав их шелковой косынкой, Айкиз достала из кармана жакетки маленькое круглое зеркало, критически вглядываясь в свое лицо, нахмурилась недовольно, но тут же улыбнулась, поправила косынку и спрятала зеркальце обратно.

Байчибар, казалось, с любопытством наблюдал за ней, Айкиз ласково погладила его по гриве... Байчибар, Байчибар, ничего-то ты не понимаешь в наших людских заботах, только и знаешь что фыркать... Верно, удивляешься, что я наедине с собой начала прихорашиваться? А я, дружище, ни в чем не терплю беспорядка. Вот сейчас еще раз сапожки почищу... Мало ли, что меня никто тут не видит!.. Все равно надо следить за собой. Человек всегда и во всем должен быть строгим к себе — строгим и требовательным. И на людях и когда один остается. Положим, прическа и сапожки — пустяк...

Так из пустяков, из мелочей облик человеческий складывается... И если мы заметим какой непорядок — в себе ли, вокруг ли,— так обязаны тут же его устранить. Разве не так, Байчибар?.. Только взыскательность и строгость и помогут нам избавиться от недостатков. Понял?.. А недостатков кругом еще хватает... Люди часто попадают в силки мелочных обид, зависти, сплетен, предрассудков... Иные до преступления доходят, вот как дядя Гафур... А ведь человеку и дышать стало бы свободней и работать легче, если бы вырвал он с корнем из своей души все сорняки!.. Гора с плеч! Вот, значит, и нужно бороться со всяческими недостатками — в себе и в других. Ох, что-то я расфилософствовалась... Пошли домой, Байчибар!

И Айкиз двинулась по тропинке вниз, к кишлаку.

Проходя мимо памятного места, где в войну прятал колхозное зерно дядюшка Гафур, она подумала о его сыне, Азамате. Айкиз и Умурзаку-ата так и не привелось взять парня под свою опеку: Азамат неожиданно покинул кишлак, подался в Голодную степь. По слухам, он работал там не за страх, а за совесть, словно стремясь искупить грехи отца.

За ореховой рощей Айкиз вышла на берег Янгаксая — Орехового ручья. Его мелкие волны весело звенели, перескакивая с камня на камень, пенистые брызги горели под солнцем. Он казался бурным, задиристым, этот горный ручей, а на самом деле его еле хватало на то, чтобы насытить землю под садами и огородами. От Янгаксая шел вниз, к кишлаку, арык, летом забиравший всю воду. Лишь весной воды в ручье было вдосталь, и Янгаксай нес ее к глубокой каменной котловине, где сливался с Узумсаем — Виноградным ручьем.

Словно обрадовавшись встрече, обе речки с бесшабашной удалью срывались в узкое ущелье и образовывали новую реку, Алтынсай, Золотой ручей, давший название и кишлаку. Вырвавшись из ущелья, Алтынсай бежал по низине, левее кишлака, и терялся в Кызылкумах.

Напоив коня в Янгаксае, Айкиз подтянула подпругу и ловко вскочила в седло.

Не доехав до кишлака, она свернула в сторону, к целине, которая начиналась у подножия гор и тянулась далеко-далеко, чуть не до самого горизонта... Айкиз хотелось, в который уж раз, глянуть на землю, таившую

в себе жизнь, но веками спавшую, наподобие сказочной красавицы, которую можно было пробудить, лишь брызнув на нее живой водой.

Земли этой еще не касался дехканский плуг, и за долгие годы ни зернышка не упало в ее тучное лоно.

Проезжая целиной, Айкиз, сдвинув брови, думала: напоить бы водой эту землю, и она подарила бы колхозу неслыханные урожаи, и выросли бы на хирманах горы хлопка — «белого золота». Только где взять эту воду?

С грустью смотрела Айкиз на пламенеющие маки, обступавшие ее со всех сторон. Она знала: еще немного — и потухнет этот пожар, останется лишь бурое пепелище... Лава солнечных лучей выжжет здесь все живое.

Но ведь совсем недавно и Голодная степь лежала мертвая, бесплодная, изнывая от жары и жажды. Пришли люди — и оживили ее, они привели воду, оросили растрескавшуюся землю, и она пышно вспенилась хлопчатником, зазеленели на ней сады и виноградники, а еще, говорят, там нынче созревают самые сладкие дыни...

Стоило только приложить руки...

А чем они, алтынсайцы, хуже мирзачульцев? Разве не жаждут они лучшей жизни, достатка, и не умеют трудиться, и не хотят дать родине и хлопок и больше пшеницы и фруктов?..

Где бы раздобыть воду для целинных земель?

Вся во власти этой думы, Айкиз уже не раз наведывалась и в горы, где журчали пока не слишком щедрые Янгаксай и Узумсай, и на целину, прикидывала что-то про себя, ломала голову над одним и тем же вопросом, внимательно разглядывала окрестности...

Казалось, она выезжала на разведку. Только проку от этого пока не было.

Вот и сейчас, труся по целине на верном Байчибаре, она зорко посматривала по сторонам.

Неожиданно ее внимание привлек один из холмов, высившийся неподалеку от подножия Коктау. Под холмом что-то ослепительно сверкало на солнце — словно стекло.

Но откуда тут взяться стеклу?..

Айкиз натянула повод, глянула на холм из-под ладони, но так ничего и не смогла разобрать.

Пустив коня рысью, она помчалась к холму. И увидела нечто загадочное и непонятное: в неглубокой промоине голубовато блестела вода.

Если бы дело было ранней весной, Айкиз не удивилась бы. В такую пору в горах обычно разражались грозы и ливни, и мутные дождевые потоки, шипя и пенясь, устремлялись вниз,— после этого в предгорьях, в образовавшихся глубоких и мелких промоинах, по нескольку дней держалась вода.

Но дождей давно уже не было. Каким же образом у холма появилась вода?..

Да не мутная, а чистая, прозрачная.

Родник... Откуда он здесь? В этих местах сроду не было никаких родников,— во всяком случае, Айкиз о них никогда не слышала.

Она спрыгнула на землю, чуть топкую, пропитанную влагой, и приблизилась к голубому озерцу.

Воды в нем было совсем немного, она вытекала из озерца тихим невзрачным ручейком и тут же исчезала,— ее жадно всасывала земля.

Айкиз несколько раз обошла озерцо, потом опустилась на колени у самого его края, погрузила руки в студеную воду и принялась разгребать на дне мелкий щебень, затянутый илом. Родник забил сильней, озерцо замутилось. Но все равно было видно, как пульсирует тугая водяная струя. Понаблюдав с минуту за ее движением, Айкиз плотно прижала ладонь ко дну, прикрыв место выхода родника. Струя упруго билась под ладонью, силясь вырваться из-под нее. «Как будто сердце стучит,— с волнением подумала Айкиз.— Ох, как гулко!..»

Казалось, она ощущала рукой живой ток крови — крови земли... И это было отрадное ощущение.

Руки у нее заледенели, она вынула их из озерца, поднялась, не сводя глаз с воды.

Так откуда же все-таки взялся тут родник? Помнится, и в прошлом году и еще раньше она проезжала мимо этого места, и никакого родника не было, она готова была поручиться за это. Он словно только-только вырвался из недр земли. Загадочное явление!..

Холм, возле которого образовалось озерцо, был небольшой, весь поросший дикими каперсами и синими колокольчиками. Имя он носил зловещее — Холм рабов. Возможно, с этим холмом связана какая-нибудь легенда, и Айкиз пожалела, что до сих пор не удосужилась спросить у отца, почему у холма такое название. Ей вдруг вспомнилось, что еще прошлым летом, проезжая вдали от холма, она подивилась, отчего это он такой зеленый. Вся земля вокруг выгорела, а Холм рабов выделялся ярким пятном, напоминая издали верхушку карагача. Почему-то она не задумалась тогда над этой странностью. А ведь, верно, уже в то время холм питала вода родника...

Айкиз обвела взглядом необычное озерцо, и на глаза ей попалось что-то темное, выступавшее из-под земли на другой стороне: камень не камень, коряга не коря-

га... Айкиз прошла к этой «коряге», ударила по ней каблуком. От нее отвалился слой почвы, упал в озерцо, взбаламутив воду.

И Айкиз снова пришлось изумиться, потому что перед ней был обнажившийся край старого, большого пня.

Значит, когда-то здесь росли деревья?..

Айкиз шагнула к холму и наткнулась еще на один пень, походивший, под толстым слоем земли, на шляпку огромного гриба. И чуть поодаль тоже горбатился пень, напоминающий каменную глыбу...

Полусгнившие пни остались от могучих чинар. Да, сомнений больше не было, прежде вокруг холма высились чинары, целая роща чинар. Они толпились возле источника — ведь чинарам нужна вода, много воды.

И тут было много воды.

Только вот когда — сто, двести лет назад? И почему иссяк родник, куда он подевался? И кто и зачем срубил чинары?

Сколько вопросов, а ответа нет ни на один.

В глубокой задумчивости Айкиз поднялась на вершину холма, огляделась...

И ахнула: да как же до сих пор никто ничего не замечал? Или земляки ее ни разу не взбирались на этот холм?

Впрочем, чему она удивляется? Ведь сама она девчонкой не раз сюда прибегала, и подолгу стояла на вершине холма, и ничегошеньки-то не видела; земля, окружавшая холм, казалась однообразной, и Айкиз, всласть надышавшись воздухом, который был тут вроде свежей, чем внизу, и сорвав два-три цветка, тоже вроде бы особенно сочных и ярких, широко раскинув руки, птицей слетала вниз... Да, она тогда была беспечной, как птица, и дивилась и радовалась красоте мира во всей его необъятности, не замечая необычности мелочей и деталей...

Все было удивительным!

Теперь же она поражалась, как могла пройти мимо того, что так и бросалось в глаза.

Правда, тогда она здесь ничего не искала и не одолевали ее нынешние мысли и заботы.

Лишь ищущий взгляд по-особому пристален и внимателен... И только большая озабоченность приводит к большим открытиям.

Айкиз сперва даже не поверила своим глазам. Но нет, она ясно видела тянувшуюся невдалеке от промоины, в которой скопилась вода родника, длинную ровную впадину, и это не могло быть не чем иным, кроме как высохшим руслом небольшого оросительного канала.

Как же она прежде-то не обратила на него внимания? Ну, озерца-то здесь просто не было, иначе она наверняка бы его приметила.

А впадина была.

Правда, берега канала давно обрушились, земля заровнялась и заросла травой, и все же старое русло прослеживалось довольно отчетливо.

Видно, раньше, когда она смотрела с холма вниз, мысли ее были заняты совсем другим.

Канал... Тут, возле Алтынсая, когда-то проходил канал. И по нему со звоном бежала вода. Вода, которой так не хватало алтынсайцам!

Айкиз испытывала радость, изумление, замешательство. Она еще не представляла, к чему может привести ее открытие и обернется ли оно пользой для ее земляков, и все же думала с трепетной надеждой: а вдруг она нашла то, что искала?..

Надо было спешить в Алтынсай.

Вскочив на коня, Айкиз галопом понеслась по долине, сплошь поросшей красными тюльпанами.

Она пригнулась почти к самой гриве Байчибара, смотрела не вперед, а вниз, и чудилось ей, будто она недвижно висит в воздухе, а под ней, вся в цветах, мчится земля ярким, веселым потоком. И все вместе — это многоцветье летящей назад земли, и захватывающая дух скорость, и сознание того, что она вот только что сделала удивительное открытие,— все наполняло ее душу восторгом, ликованием, ощущением собственной силы. Казалось, нет таких преград, которые она, Айкиз, не могла бы преодолеть, нет таких трудностей, с какими она не справилась бы, и все возможно, все достижимо, она в состоянии добиться всего, что задумано, загадано, осуществить самые заветные свои мечты и желания...

А она о многом мечтает и многого хочет!..

Ей хочется счастья. Хочется быть вместе с Алимджаном. Хочется поскорей порадовать земляков своим

открытием... Ведь ей уже ясно, как можно добыть воду, и это сейчас важнее всего.

«Вода, вода, вода!» — свистел в ушах встречный ветер.

«Вода, вода, вода!» — отстукивали копыта Байчибара.

«Вода, вода, вода!» — пело сердце в груди.

Айкиз казалось, что Байчибар не скачет, а еле плетется. Не обойтись, видно, без камчи. Она хлестнула коня плеткой, он по-волчьи поджал уши, вытянул шею и ускорил бег, распластавшись над самой землей...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Умурзак-ата, как всегда, поднялся с рассветом. Ведь сон у стариков короткий — с воробьиный клюв. Привычно подпоясавшись бельбогом, он вышел на айван. Белая бязевая рубаха, даже перехваченная бельбогом, доходила ему почти до колен, широкий вырез открывал грудь, почерневшую от загара, поросшую редкими седыми волосами.

Высокий, широкоплечий, Умурзак-ата все еще отличался немалой силой, хотя и слегка ссутулился под тяжестью прожитых лет, под гнетом горя и невзгод, которые обрушились на него в войну.

Но он не сдавался, и живые огоньки сверкали в его глазах.

Не глядя, Умурзак-ата сунул ноги в остроносые калоши, стоявшие у порога, неторопливо спустился во двор, озабоченно посмотрел на восток, где темнела вершина Коктау, оглядел все небо, и лицо у него прояснилось: слава богу, и нынешний денек обещал быть погожим.

Старик принялся хлопотать по хозяйству: прежде всего разжег самовар, купленный еще при жизни Халбиби, но и сейчас совсем новый, зеркально отливающий своими гранями. Халбиби, бывало, всякий раз, ставя самовар, протирала его мягкой фланелевой тряпкой, теперь это делал Умурзак-ата, — как тут самовару не блестеть?

Под навесом блеял единственный в хозяйстве баран, привязанный к колышку. Старик напоил его из помятой алюминиевой миски, подложил ему сухого клевера. Курам и петуху, которые следовали за хозяином по

пятам, кинул несколько горстей кукурузы, только тогда они отстали. С минуту он постоял посреди двора, припоминая, что же еще надо сделать, и тут на глаза ему попался большой рыжий пес, уже немолодой, смирный и добродушный, с приставшими к бокам репьями; он выжидающе смотрел на хозяина и вилял хвостом.

— Ну вот, про тебя-то я и забыл,— сокрушенно пробормотал Умурзак-ата и направился было за черствой лепешкой для собаки, но на полдороге остановился и сказал, повернувшись к псу: — Ладно, потерпишь. Вот буду чай пить, тогда и тебя накормлю.

Подбросив в самовар сухих чурок, которые он специально колол каждый день, старик взялся за веник. Он тщательно следил за своим двором, подметал его утром и вечером, и соседи, проходя мимо двора Умурзака-ата, задерживались, любуясь царившими там чистотой и порядком.

Солнце поднялось уже над вершиной Коктау, и в его лучах двор выглядел еще нарядней и уютней. Повеселели цветы на грядке; анютины глазки и незабудки, росшие возле айвана, еще не обронив слезинок росы, потянулись к солнцу, словно улыбаясь ему...

Земля во дворе, гладкая и твердая, как гончарное блюдо, зарозовела, подрумянилась... Подметая двор, Умурзак-ата то и дело выпрямлялся и поглядывал в сторону Коктау. Если кто-нибудь, пешком или на коне, поднимался на перевал или спускался с него, то отсюда, со двора, его хорошо было видно. Старику, впрочем, нужен был не «кто-нибудь», а Айкиз — вот уже третий день, как она уехала на богару, где сейчас сеяли яровую пшеницу, горох и ячмень.

Эти три дня, проведенные в одиночестве, казались Умурзаку-ата долгими, как три года. Ведь Айкиз была единственной его радостью. И когда она отлучалась по делам, а это происходило все чаще, старик места себе не находил, беспокоясь за дочь.

Вот и сейчас он думал с тревогой: что ж это дочка так долго не возвращается? Может, не ладится что на богаре? Или в дороге с ней что-нибудь случилось? Правда, она могла заглянуть и на ферму, и к пастухам, и в соседний колхоз,— забот у нее хватало...

Старик все глаза проглядел, но на горной тропе так и не появилось ни души.

Внезапно спохватившись, Умурзак-ата отбросил в сторону веник и кинулся к самовару,— вода бурно клокотала под крышкой, шипя, выплескивалась горячими брызгами. Сняв черную жестяную трубу, старик поспешил в дом и вынес оттуда фарфоровый чайник, на ходу заглядывая в него и прикидывая, достанет ли для заварки зеленого чая, который он насыпал туда второпях.

Присев перед кипящим самоваром, старик ждал, пока чайник наполнится кипятком.

Блаженная минута!.. Терпкий запах свежезаваренного чая проникает, кажется, в самую душу, лаская и согревая ее, струйка кипятка горит на солнце, и все существо твое переполнено предвкушением чаепития...

Но только Умурзак-ата успел прикрыть кран, как за его спиной стукнула калитка. Старик обернулся и увидел Алимджана, который стоял у калитки, приветливо улыбаясь, но не решаясь без приглашения войти во двор. Поднявшись с чайником в руках, Умурзак-ата заговорил обрадованно:

— О, Алимджан! Заходи, сынок, заходи. Здравствуй, дорогой. Все ли благополучно в твоем доме, все ли здоровы?.. Как твоя сестренка Лола? Все прыгает как козочка? Куда сам-то собрался в такую рань?

Он с удовольствием оглядывал ладную фигуру гостя. Ему все нравилось в Алимджане: и скромность, соединенная с чувством собственного достоинства, и твердая солдатская поступь, и даже то, как он был одет,— сапоги начищены, военная гимнастерка, порядком полинявшая, плотно облегает плечи и грудь, тонкая белая полоска подворотничка — снежной белизны и особенно выделяется на загорелой шее, широкий офицерский ремень туго перехватывает талию.

«Бережет свою военную форму,— с одобрением подумал Умурзак-ата,— дорожит ею. Она, пожалуй, больше ему идет, чем халат или рубаха. Из одежды-то домашняя у него только тюбетейка. Но и она ему к лицу».

Алимджан меж тем, подойдя к старику, произнес с прежней улыбкой:

— Салам, дорогой Умурзак-ата. Дома у нас все в порядке, все живы-здоровы, и Лола весела, как всегда, что ей сделается? А я вот решил вас проведать да узнать, не вернулась ли Айкиз.

Умурзак-ата вздохнул.

— Нет, сынок, она до сих пор не возвратилась. Уж не знаю, что и думать. Не дай бог, стряслось что с ней...

— Вы только не тревожьтесь, Умурзак-ата. Причин для паники нет — не впервые она так долго пропадает. Сами знаете, сколько у нее дел. Я, кстати, сегодня тоже собираюсь ехать на богару. Увижу там Айкиз — немедля отправлю ее домой.

— Спасибо, сынок. Уж ты ее прогони оттуда. Надо же все-таки иногда и дома бывать.

Старик смотрел на Алимджана потеплевшим взглядом и мысленно хвалил его: «Ох сынок, вырос ты на радость своим родителям: и красив, и смел, и душа добрая... Вот если бы...» Но он не додумал своей мысли, поглядел на чайник, который все еще держал в руках, и торопливо признес:

— Сынок, а не выпить ли тебе чаю перед дорогой? Успеешь еще на богару... Нет, нет, и не думай отказываться! Без завтрака я тебя не отпущу. Время еще раннее, твоя богара никуда от тебя не уйдет.

Поставив чайник на самовар, старик направился в дом за скатертью, но перед самым айваном остановился, прислушиваясь к чему-то. Алимджан тоже напряг слух. С улицы доносился быстрый стук лошадиных копыт, он становился все явственней... Умурзак-ата с какой-то радостной суетливостью кинулся к воротам. И едва он успел распахнуть их, как во двор въехала на Байчибаре Айкиз. Да не въехала — почти влетела и лишь посреди двора оторвалась от лошадиной гривы, выпрямилась и с ходу властно осадила коня.

На землю она спрыгнула легко, весело, и улыбка бродила на ее лице, но Умурзак-ата и Алимджан, поспешившие к ней, заметили, как она устала: губы сухие, обветренные, на смуглом лбу — бисеринки пота, одежда в пыли. Видно было, что она не жалела ни коня, ни себя: ветер сбил у нее с головы косынку, волосы растрепались...

Алимджану, однако, показалось, что с ее появлением во дворе стало светлей и все вокруг ожило от ее улыбки.

Приняв у нее из рук повод, Алимджан отвел коня под навес. Там он разнуздал Байчибара, ослабил подпругу, положил ему в колоду охапку душистого горного сена.

А Умурзак-ата, совсем потерявшись от счастья, сто-

ял возле дочери и, не в силах вымолвить ни слова, с нежностью гладил ее по плечам, спутанным волосам.

Айкиз уж и не помнила, когда он был с ней так ласков,— пожалуй, лишь во времена ее детства. По мере же того, как она подрастала, он обходился с ней все строже, и хотя и не наказывал, но Айкиз порой начинала его даже побаиваться.

И вот прошли годы,— для Умурзака-ата годы утрат и горя,— и он опять начал относиться к дочке, как в былые, давние времена, когда она была совсем маленькой. Ведь теперь она одна у него. И он трясся над ней, как скупец над остатками своих сокровищ... Стоило Айкиз уехать куда-нибудь, и старика снедала тревога, он ходил по двору сам не свой; когда же она возвращалась, он был на седьмом небе от радости.

Конечно, его тяготило одиночество, и, когда Айкиз исчезала надолго, он скучал о ней, но еще больше — боялся за нее. Загружена она была сверх меры: то ей приходилось мчаться на богару, к чабанам или на фермы, то вызывали ее в район или область, то она была занята строительством новой школы, клуба. Случалось, что она по нескольку дней не бывала дома. И Умурзака-ата мучали страх и тревога, ему начинало казаться, что дочь в своих поездках не ест и не спит и вот-вот свалится с ног...

Он и сейчас принялся ласково укорять ее, как корил уже не раз:

— Ну, слыханное ли это дело — работать без сна и отдыха? Птица вон и то опускается на землю отдохнуть. Нельзя так, дочка, совсем ты себя не жалеешь. Ну, ладно, пошли чай пить. Ты, верно, совсем голодная, вот и позавтракаешь не торопясь... Самовар-то у меня давно кипит, уж убегал несколько раз,— видно, отчаявшись тебя дождаться.— В голосе старика прозвучали шутливые нотки, но тут же он со вздохом добавил: — Ишь, трое суток пропадала, я извелся тут...

Когда Умурзак-ата скрылся в доме, Алимджан подошел к Айкиз, а она вдруг наклонилась и стала пальцем затирать на сапожке белую царапину. Две черные косы коснулись земли... Алимджан смотрел на эти косы, и ему хотелось поднять их и долго, бережно держать на ладонях; он следил за тем, как Айкиз старательно замазывает царапину на мягком голенище, и ему хотелось самому нагнуться и помочь ей...

Айкиз, видно, почувствовала на себе его взгляд: посмотрев на Алимджана снизу вверх, сказала:

— Алимджан-ака, отец завтракать нас зовет. Вы идите, а я пока умоюсь с дороги.

— Во-первых, где же ваш «салам», Айкиз? — тихо, с нарочитой обидой спросил Алимджан.

Айкиз выпрямилась, отбросила косы за спину, молвила смущенно:

— Салам, Алимджан-ака.

— Во-вторых,— продолжал Алимджан,— я вчера получил письмо. И очень прошу вас прочесть его...

— Но оно же вам прислано.

— Оно касается нас обоих.— Он расстегнул карман гимнастерки, достал сложенный вдвое листок, протянул его Айкиз.— Пожалуйста, прочтите его внимательно.

Но Айкиз не успела взять письмо, как их окликнул Умурзак-ата:

— Эй, молодежь, сколько можно вас звать? Дастархан накрыт, идите завтракать!

Пришлось Алимджану спрятать письмо обратно в карман.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Айкиз, предупредив отца, что скоро вернется, убежала в свою комнату, а Алимджан взял самовар, все еще сердито пофыркивающий, и следом за стариком поднялся на супу [1].

Супу эту Умурзак-ата сладил давно, еще до войны, он лепил ее из глины вместе с сыновьями, Тимуром и Алишером, а после каждую весну лишь слегка подправлял. Такую супу, застланную ярким ковром или шерстяным паласом, можно увидеть в каждом узбекском дворике. На ней, нежась в тени старого карагача или развесистой шелковицы, пьют чай, обедают, ведут неторопливые беседы, а порой, когда никто не мешает, пристраиваются подремать.

Поставив самовар на поднос, Алимджан огляделся, выбирая себе место, и опустился на ковер возле Умурзака-ата, привычно поджав под себя ноги.

---

[1] Супа — прямоугольное глиняное возвышение, на котором спят, отдыхают, обедают, принимают гостей.

Как мечтал он на фронте посидеть вот так на супе, под старой шелковицей, в уютном дворе... Тогда эти мечты казались несбыточными. И все-таки они осуществились, и над Алимджаном шелестят листья шелковицы, которая летом роняет белые ягоды прямо на скатерть. А на хантахте — чуть зачерствевшие лепешки из грубой крестьянской муки, вчерашние пирожки с головками молодой мяты, которыми минувшим вечером угостила Умурзака-ата соседка, кусок холодной отварной баранины, свежие сливки в большой пиале с утонувшей в них деревянной ложкой...

Казалось, и хантахта накрыта, и завтрак приготовлен умелыми женскими руками. Однако хозяйство в доме вел Умурзак-ата, и Алимджан подивился его рачительности... Завтрак получился отменный, гость украдкой глотал слюну, но ни к чему не притрагивался, терпеливо дожидаясь появления хозяйки. У него было время подумать над недавней сценой, когда он сунулся к Айкиз с письмом. Сейчас Алимджан досадовал на себя: как нескладно, некстати все это вышло. ведь должен же он был видеть, что Айкиз утомилась с дороги и ей не до письма... У него было такое ощущение, будто он, мчась на коне к заветному рубежу, почти уже достиг его, но в последнее мгновенье конь споткнулся и всадник вылетел из седла и теперь потирал синяки, сгорая от стыда и злясь на самого себя. А может, он все преувеличивал, потому что придавал слишком большое значение всему, что было связано с Айкиз.

Но вот и она — умытая, посвежевшая, с аккуратно уложенными волосами, в нарядном платье. Умурзак-ата, глядя на нее, посветлел лицом: «Счастье ты мое, зорька утренняя!» Присев за хантахту напротив Алимджана, Айкиз несмело подняла на него глаза, словно желая сказать: ты уж не хмурься, не сердись на меня за то, что я не взяла письмо, моей вины тут нет, мне правда надо было привести себя в порядок... Алимджан, казалось, понял ее, по губам его скользнула улыбка. Айкиз тут же потупилась и принялась разливать чай.

Умурзак-ата, словно оправдываясь, произнес:

— Уж извини, дочка, что стол такой скудный... Была бы жива твоя мать...— Замолчав, он провел пальцами сперва по одной брови, потом по другой и

с горьким вздохом закончил: — Уж тогда все было бы по-другому. Да, не хватает нам ее...

Айкиз тоже вздохнула. Каждый раз, когда отец за дастарханом вспоминал о матери, у нее сжималось сердце, но она старалась и виду не подать, как ей больно, и все делала, чтобы утешить отца, отвлечь его от скорбных мыслей.

Сейчас ей не терпелось рассказать и отцу и Алимджану о роднике, который она нынче «открыла»; подавая Умурзаку-ата пиалу с горячим чаем, она сказала:

— Отец, послушайте, какое чудо я сегодня видела...

— Так уж и чудо?

— Ну да!.. Нет, вы послушайте. Возвращаюсь я с богары домой, надумала поглядеть предгорные земли. Проезжаю мимо Холма рабов, вижу — возле него блестит что-то. Подъехала поближе, а там родник.

— Родник? А ты не ошиблась? Может, это дождевая вода застоялась?

— Да ведь последний дождь был недели полторы назад. Нет, это родник! Возможно, дожди и помогли ему выйти наружу: размыли, углубили промоину, открыли дорогу ключевой воде. Но это еще не самое главное... У самого родника я обнаружила большущие пни. Выходит, там когда-то росли деревья? Пни-то от чинар. А чинары любят воду... У меня прямо сердце зашлось от волнения. Но удивительней всего другое. Когда я взошла на холм, то увидела ложе старого канала. С холма он хорошо просматривается — вроде как след, оставленный прошлым. И след довольно отчетливый, я поразилась, как мы раньше его не замечали.

Айкиз вопросительно глянула на отца, но тот молчал, погруженный в раздумья.

— Значит,— продолжала она,— в этих местах когда-то существовала оросительная сеть, были поля, и вода бежала к ним по арыкам... Я права, отец? Вы ведь не можете не знать, что там было... уж не представляю, сколько лет назад. Расскажите же нам про родник, про канал...

— Поскольку почтенный Умурзак-ата,— шутливо сказал Алимджан, пододвигая старику подушку,— один из организаторов нашего колхоза, ему действи-

тельно многое должно быть известно. И мы надеемся, Умурзак-ата, что вы поведаете нам нечто интересное...

Взбив кулаком подушку, старик подсунул ее себе под бок, задумчиво проговорил:

— Да, немало довелось мне повидать на своем веку и услышать о многом.— Он сдвинул седые брови.— Вы спрашиваете о Холме рабов? С ним связана страшная история, и я был ее очевидцем. Правда, давно уж не приходила она мне на память: как говорится, что было — быльем поросло... Но ты говоришь, дочка, родник там пробился?.. Выходит, прошлое постучалось в наш сегодняшний день. Ладно, расскажу я вам, как все было...

Умурзак-ата помедлил, как будто вызывая в памяти картины былого, провел ладонью по белой бороде.

— Случилось это лет сорок назад. Тогда у Холма рабов, как народ испокон веку зовет это место, действительно пролегал канал и по нему текла вода. Но народ так и не успел ей воспользоваться — злодеи отняли у него воду.

— Кто же посмел это сделать? — одновременно воскликнули Айкиз и Алимджан.

— Я ведь сказал: злодеи. Преступники. Им прищемили хвост, и они сорвали зло на дехканах. Они отомстили людям за то, что те наконец добились свободы и справедливости.

— Но так мстить... это же чудовищно, отец!..

— Тираны на все способны. Тиран страшней самого лютого зверя. Ведь зверь или побеждает в открытой схватке, или погибает, но никогда не мстит. А тиран ненавидит людей, и для него наслаждение — причинить им зло.

— Отец, вы ведь говорите о каком-то определенном человеке?

— Да, дочка, речь идет о прежнем властителе этих мест. Пока в руках у него была власть, он выжимал из дехкан все соки, пил их кровь, а когда у народа иссякло терпение и он поднялся на тирана, тот пошел на злодейское преступление...— Умурзак-ата усмехнулся.— Но, я вижу, любопытство ваше возбуждено, а смысл того, о чем я говорю, вам неясен... Что ж,

придется рассказать все по порядку. Только вот Алимджан — он же спешит на богару...

— Нет, ата [1], богара и правда никуда от меня не уйдет. Я готов слушать вас хоть весь день.

Алимджан, чуть покраснев, посмотрел на Айкиз и торопливо перевел взгляд на Умурзака-ата.

Тот откашлялся, готовясь к долгому рассказу, и начал:

— Так вот, произошло все перед самой революцией. В то время Холм рабов считался священным местом. У подножия холма бил родник, и воды его хватало на то, чтобы орошать расположенные вокруг сады. А сады эти, как и все плодородные земли, принадлежали ишану Кабулходже. И никто не роптал,— ведь он считался святым человеком, угодным пророку Мухаммеду. Кому еще и владеть священной водой родника и землей, как не ишану — высокому духовному лицу?.. А дехкане, ютившиеся ближе к горам, в глиняных мазанках или землянках, были, по существу, рабами ишана, им приходилось гнуть спину на своего духовного владыку, потому что не имели они ни земли, ни воды. У любого сжалось бы сердце от жалости при виде этих людей, живших в нужде, терпевших голод, высохших под тяжестью подневольного труда. Но только не у ишана!.. Он никого не жалел, жадно пользовался плодами нечеловеческих усилий своих рабов... Не выдержав жалкого существования в землянках и пещерах, дехкане переселились на новое место — вот сюда, где нынче раскинулся Алтынсай. Но от рабства не избавились. Работали по-прежнему на ишана...

Ты, дочка, видела пни от чинар? Верно, у родника высились тогда могучие чинары. Люди говорили, что им лет по триста, не меньше. Две самые старые чинары, как и родник, тоже были объявлены священными — об этом твердили из поколения в поколение все ишаны, предки Кабулходжи, а темный, забитый народ верил этим сказкам. Сам Кабулходжа усердно распространял слух, будто священное место у Холма рабов обладает исцеляющей силой: стоит только бесплодной женщине преподнести щедрый дар ишану и

---

[1] Ата — отец, почтительное обращение к пожилым мужчинам, приставка к их имени.

провести несколько ночей в худжре [1], возле родника, под священными чинарами, и она, мол, избавится от недуга. Сказать по чести, многие женщины попадались на эту приманку, приезжали к роднику из дальних кишлаков. Правда, потом они являлись к ишану со слезами и робкими упреками: ведь исцеления так и не наступало... Ишан сердился, говорил, что они неисправимые блудницы, погрязшие в грехах, потому аллах и отказал им в своей милости. И выпроваживал недовольных женщин с такой брезгливостью, словно они были прокаженные. Число простодушных, однако, не уменьшалось, что помогало ишану приумножать свои богатства. Бессовестный, он только посмеивался над теми, кого удавалось ему одурачить...

Сказать по чести, богатства он копил не столько для себя — сам-то он уже состарился и не мог ими пользоваться в полное свое удовольствие,— сколько для единственного сына, Азимбая, в котором души не чаял. Сын был весь в ишана, не уступал отцу ни в жадности, ни в жестокости. И чем старше становился, тем все больше и жаднел и лютел. Скаредность его до того доходила, что он жалел и ячменной лепешки для своих работников. Как две пиявки, сосали они кровь из народа — белобородый, благочестивый с виду ишан и разжиревший Азимбай. Сынок, разбогатев, решил, что ему все позволено, он держался этаким ханом и творил с людьми все, что хотел: мог цепями приковать своего работника к дереву, или на кол посадить, или кинуть со скалы в пропасть...

— За что? — вырвалось у Айкиз.

— А за малейшую провинность, пусть самую пустяковую. Да вот хоть бы такой случай. Как-то ночью один наш односельчанин, Джура, бедняк из бедняков, тайком пустил воду на свой огород... Так Азимбай, прознав об этом, прикрутил несчастного волосяной веревкой к шелковице, росшей у него же во дворе.

— И вы все это терпели? — не выдержав, возмущенно спросил Алимджан.

— А что делать? Я ведь говорил — народ был темный, верующий, ну, ишан и запугивал всех кара-

[1] Худжра — маленькая комната, келья.

ми, которые мог обрушить на них аллах. Люди боялись...

— Боялись... Уж, кажется, ничего страшней их жизни и придумать-то нельзя!..

Айкиз украдкой покосилась на Алимджана — от гнева у него потемнело лицо, никогда еще не видела она его таким...

— Твоя правда, сынок,— согласился Умурзак-ата,— плохо жили дехкане — хуже некуда. И все же имя аллаха повергало их в трепет. А ишан и его сынок извлекали из этого выгоду для себя. Они только и помышляли, что о выгоде. И алчность их не знала предела, они гребли добро и все не могли насытиться. Я вот пиявками их назвал. Но пиявка, насосавшись крови, отваливается от тела, а эти, богатеи, только раззадоривались и все искали возможностей за короткий срок разбогатеть еще больше. Уже незадолго до революции надумали они оросить земли у подножия гор и засеять их пшеницей.

И вот ранней весной ишан Кабулходжа и Азимбай повелели всем своим должникам собраться у священных чинар. А в должниках у него ходили все алтынсайцы, не было в округе человека, которого ишан и его сын не опутали бы долгами. И рассчитаться с ними дехкане были не в силах: если и имелись у бедняг какие запасы, так до весны они не сохранялись, за зиму все подчищалось под метелку... Ну, собрался народ у Холма рабов. Ждут люди, что-то им ишан скажет. А тот, к общему удивлению, взял да объявил, что он и его сын Азимбай намереваются простить правоверным их долги. Мол, самим аллахом, всемилостивейшим и милосердным, сказано: люби ближнего, как самого себя. И пусть слышат священные чинары и священный родник: он, ишан, и его сын готовы, следуя воле аллаха, освободить братьев-мусульман, живущих в Алтынсае и окрестных кишлаках, от бремени долгов. Только за это дехкане должны, не жалея сил, потрудиться для святого дела: прорыть в предгорье канал, который вобрал бы в себя воду Янгаксайского арыка и родника у Холма рабов. Разве это не святое, угодное аллаху дело — превратить доселе мертвую землю в плодородную? Духи предков и пророк Мухаммед будут покровительствовать тем, кто возьмется за сооружение канала, и души этих усердных слуг аллаха

попадут прямо в рай. Так говорил ишан, а Азимбай со своей стороны пообещал, что будет кормить строителей канала ежедневно маставой [1] и пшеничными лепешками, а раз в неделю пловом.

Сказать по чести, первые дни Азимбай еще помнил о своем обещании,— ему важно было втянуть дехкан в работу да к тому же хотелось прослыть добрым мусульманином. Правда, маставу для строителей канала стряпали не с бараниной, а с козлятиной,— ну да кто тогда разбирался в таких мелочах!.. Но шло время, и жадность Азимбая свела на нет все его посулы: в конце концов он перестал посылать дехканам даже черные ячменные лепешки. Людей мучил голод, они были измождены до предела, да и рубахи на них превратились в лохмотья, и домотканые штаны порвались, а работать приходилось порой на пронизывающем ветру. Ну, не выдержали дехкане, поднялся среди них ропот, побросали они свои кетмени, ломы, кирки. Канал, однако, был уже почти готов, только до Янгаксайского арыка его не успели довести.

— Его-то я и видела, отец?

— Да, дочка. Но слушайте дальше... Ишан, узнав, что люди прекратили работу, пришел в ярость. Сам он не мог поехать к ослушникам, лежал дома с больной поясницей и ждал табиба [2]. Отправился туда Азимбай. Он пустил в ход всю свою хитрость, стараясь умаслить непокорных дехкан, не скупился на обещания, взывал к их религиозным чувствам, но люди, доведенные до отчаяния, и слушать его не хотели. В Азимбая полетели камни, он кинулся бежать, но разъяренные дехкане настигли его и убили, а труп сбросили в Алтынсай.

Вы думаете, это чему-нибудь научило ишана Кабулходжу? Как бы не так. Правда, расправа с сыном нагнала на него страху, но вместе с тем он и озверел еще больше. Сам напуганный, он хотел и дехкан запугать,— морил их голодом, казнил правых и виноватых... Он мстил народу за смерть сына. Но удивительное дело: несмотря на бесчинства, народ становился все смелее, решительней. Он давал отпор недавнему своему владыке. А тут — революция разразилась,

---

[1] Мастава — рисовый суп с мясом, заправленный кислым молоком.

[2] Табиб — лекарь.

трон белого царя рухнул, вскоре простой люд взял власть в свои руки. Ну, у наших богатеев затряслись поджилки. Ишан Кабулходжа, понимая, что теперь ему не уйти от народного гнева, скрылся. Он боялся разделить участь сына,— ведь его тоже могли забить камнями, как ядовитую змею. Долго его разыскивали, так и не нашли. Однако змея, даже раздавленная, норовит ужалить. И ишан, перед тем как исчезнуть, ужалил народ в самое сердце: родник у Холма рабов пропал!

— Высох? — удивленно спросил Алимджан.— Как же ишану удалось добиться этого?

Умурзак-ата отхлебнул из пиалы уже остывший чай, медленно поставил ее на место. Он не спешил с ответом,— видно, размышлял о чем-то. Наконец хмуро проговорил:

— Пытались люди доведаться, куда делась вода. Я думаю, родник иссяк потому, что ишан вырубил всю чинаровую рощу, кроме двух, священных деревьев. Так вполне могло быть... В общем, воды в роднике не стало. Тогда алтынсайцы в гневе разметали дом ишана Кабулходжи, как буря стог сена, и снесли последние, священные чинары. Сказать по чести, они уже начинали сохнуть. И листьев-то нельзя было разглядеть за тряпицами да лоскутьями, которыми верующие обвешивали ветви деревьев. Лоскутья эти назывались алямы, они тоже считались священными, но дехкан это не испугало. Об одном они жалели: что исчез родник... Да, дети мои, вот какая история произошла у Холма рабов, вот как страшно отомстил народу ишан Кабулходжа...

Умурзак-ата снова потянулся к пиале, допил чай. Айкиз и Алимджан сидели молча, не двигаясь, потрясенные его рассказом.

После долгой паузы Айкиз спросила:

— Отец, неужели же никто так и не попробовал расчистить родник?

Увидев, как озабочена дочь, Умурзак-ата довольно улыбнулся:

— Как же не пробовали? Пробовали. Ведь вода — это жизнь. Мы не могли примириться с тем, что она пропала, искали ее. Я сам тайком наведывался в те места, все ломал голову: как же снова заполучить украденную воду? Сказать по чести, мне даже не ве-

рилось, что родник умерщвлен... Это казалось невозможным. Нашлись среди нас такие, кто посчитал исчезновение родника чудом. Начали поговаривать: а не был ли ишан и вправду святым, не волшебник ли он?.. Большинство, однако, проклинало ишана Кабулходжу, я тоже проклинал его и проклинаю, чтоб сгорела могила его отца!..

Умурзак-ата пожевал губами, вспомнив еще что-то.

— Да разве только этот родник был украден у народа? А Кокбулак? Его тоже завалили, а он куда мощней, чем родник у Холма рабов.

— Я слышал об этом,— вступил в разговор Алимджан.— Говорят, это сделали басмачи. Действительно Кокбулак был такой многоводный?

— О, воды в нем было — не исчерпать...— Умурзак-ата произнес это восхищенно и с сожалением.— И какой воды — чистой, сладкой, как сахар. Я до сих пор помню ее вкус... А перестала она бить не так уж давно, как раз, дочка, перед самым твоим рождением. Не сама, конечно, перестала, а опять-таки по воле злых людей... В округе тогда разбойничали басмачи, они не раз налетали и на наш кишлак, только не давали мы его разграбить, алтынсайцы что есть сил защищались от бандитов. Ну, а зато красноармейцев мы встречали, как самых дорогих гостей. Многие из моих земляков ушли вместе с красноармейскими отрядами — добивать басмаческие шайки. Разбойничьих главарей, разных там курбаши, выводили из себя и наша стойкость и братская дружба с русскими. Ну, в отместку они и отняли у нас Кокбулак и многие другие источники. Они взорвали скалы, меж которых вода Кокбулака бежала к Янгаксаю. Знаете большую излучину Янгаксая?

Алимджан утвердительно кивнул:

— Знаем.

— Кокбулак похоронен там. Он бил из гранитной скалы. Теперь этот ее склон скрыт взорванной породой, все окрест завалено камнем, щебнем, осколками скал.

— Странно, я только от вас узнал подробности этой истории.

— Дело прошлое, приятно ли о бедах вспоминать?.. Да и что толку от воспоминаний? Сказать по

чести, родник-то уже не воскресишь... В горах их немало было, но одни засыпаны, другие сами по себе заросли. Вот ведь дело какое, среди воды живем, а воды — нет...

Наступила тишина. Старик пригорюнился, Алимджан думал о чем-то, Айкиз тоже задумчиво водила пальцем по скатерти. Самовар давно уже заглох, присмирел. Недопитый чай остывал в пиалах. Холодная баранина, топленые сливки в фарфоровой миске — касе, черный, как агат, кишмиш, лепешки — все оставалось нетронутым.

Большая коричневая бабочка порхала во дворе то над цветником, то под шелковицей, потом мелькнула над самой скатертью и улетела. Айкиз проследила за ней взглядом. И с решительным видом повернулась к Алимджану:

— Алимджан-ака!.. Мы должны отыскать все родники, отыскать и расчистить!.. Нельзя же, в самом деле, допустить, чтобы такие богатства лежали под спудом! Отец правильно сказал: вода — это жизнь. Что же мы жизнь-то под землей держим? Ну, я понимаю, прежде дехканам было не до родников. С басмачами сражались, после колхозы создавали, а там — война. Но теперь-то руки у нас ничем не связаны, страна восстанавливает разрушенное хозяйство, и мы просто обязаны помочь ей в этом! Да люди вообще хотят жить лучше! И наш колхоз процветал бы, если бы не нехватка воды. Но отец вот о родниках рассказал... Это же выход из положения! А еще можно перекрыть плотиной Алтынсай и всю его воду пустить на земли Алтынсайского массива. Они же плодородные! Я давно уж об этом думаю, прикинула кое-что про себя — дело трудное, но возможное. И насчет родников стоит подумать. Нет, это недопустимо: знать, что где-то рядом есть вода,— и не использовать ее. Она вон сама пробивается у Холма рабов.

Алимджан невольно залюбовался Айкиз. Голос ее звучал напряженно, взволнованно, глаза горели,— она, видно, целиком была захвачена своей идеей. Да, уж если что увлечет ее, подумал Алимджан, то она от своего не отступится. Как удивительно в ней сочетались женственность, пылкость и упорство!..

А Айкиз продолжала все так же горячо:

— Отец, Алимджан-ака, выслушайте меня внимательно. Если бы нам удалось построить на Алтынсае плотину и водохранилище, мы могли бы освоить все предгорные земли — они же совсем близко от кишлака. И не только те, которыми владел ишан, а большие массивы, веками томившиеся без воды и не приносившие пользы людям. А польза от них может быть великая — стоит напоить их водой, распахать, и они дадут обильные урожаи хлопка. Хлопка!.. Нет, вы только подумайте, у нас будет расти хлопчатник — мечта и гордость каждого узбека. У нас же хлопкосеющая республика, и довольно нам, алтынсайцам, сидеть сложа руки в стороне от общего дела. Ведь это позор!.. И все мы в ответе за то, что примирились с нынешним нашим положением. Ведь мы пока берем от природы лишь то, что она сама нам дарит, а не ищем, не используем скрытые ресурсы. Говорят, под лежачий камень вода не течет. Надо обнаружить, вскрыть родники — все, какие тут когда-то действовали. Они вольются в горные реки, и Узумсай и Янгаксай, а значит, и Алтынсай уже не будут пересыхать летом. И мы направим на поля их живительную влагу. Удивляюсь, как до сих пор никто до этого не додумался... Ведь все просто, как дважды два. Отец, Алимджан-ака, что же вы молчите?

Умурзак-ата, озадаченный горячностью и решительностью дочери, сидел с опущенной головой, покусывая усы. Он не любил спешки в серьезных делах и думал с осуждением: «Ишь, для нее все ясно и просто!.. Но зерно, прежде чем дать всходы, созревает в земле, наливаясь соками. Так и мысль — она сперва должна вызреть, обрести силу, а уж потом с ней можно и к людям идти. А дочка торопится... Мысли-то у нее еще не поспели, а ей уже не терпится поделиться ими да тут же начать и в жизнь проводить. Ох, дочка, так-то и голову можно расшибить...»

Но Алимджан, внимательно слушавший Айкиз, согласился с ней:

— А ведь это и правда хорошая идея, Айкиз.— Он стукнул кулаком по ковру.— Пора, пора нам браться за дело. А то мы все болтаем о преобразовании природы, а у себя, в Алтынсае, не спешим ее преобразовывать, а только ждем от нее милостей,— тут вы, Айкиз, совершенно правы. Нам давно уже надо было

бы извлечь воду из-под земли и заставить Алтынсай служить народу.

— Ну да, кому же за это и взяться, как не нам? — перебила его Айкиз.

— Возьмемся, Айкиз, возьмемся. Сейчас самое время... Такое нельзя откладывать на будущее, в будущем-то наверняка родятся новые идеи, новые замыслы, какие сама жизнь подскажет. Сейчас же она подсказывает: мы достаточно сильны, чтобы вступить в схватку с природой. Я вот недавно читал Мичурина, кое-что постарался запомнить — выучил наизусть, как стихи. Он писал, что в лице колхозника история земли всех времен и народов имеет совершенно новую фигуру земледельца, вступившего с чудесным техническим вооружением в борьбу со стихиями. Слышите? В борьбу со стихиями. Это словно для нас сказано, Айкиз!

— Замечательные слова! — восторженно откликнулась Айкиз.— И ведь когда это написано? А сейчас колхозы технически оснащены еще лучше.

— Да, и русские колхозники уже идут путем, о котором писал Мичурин. Вот тот же Гриша, мой фронтовой друг. Сейчас он живет в Поволжье, агрономом работает. Мы с ним переписываемся, и вчера пришло от него очередное письмо.— Алимджан со значением глянул на Айкиз.— Оно прямо на тему нашего разговора. Григорий сообщает, что они высаживают полезащитные лесные полосы, которые оградят их от суховеев и будут задерживать снег на полях, сооружают в степях водоемы и водохранилища. В общем, они бьются за то, чтобы урожаи становились все богаче. И я уверен, подчинят себе природу!

— Вот и мы,— вскинулась Айкиз,— должны последовать их примеру!..

— Должны и последуем! — твердо сказал Алимджан.— Вот вам моя рука, Айкиз. Партбюро вас поддержит.

Он протянул девушке руку, но та сгоряча даже не заметила этого движения. Устремив вдаль сияющий взгляд, она увлеченно продолжала:

— Вот видите: и в Поволжье и в Голодной степи — всюду воюют со стихиями!.. Страна победила фашизм — сколько же сил освободилось у нас для преобразования земли! И наш долг — внести свою долю в общее дело. Мы добудем воду, освоим целину, за-

сеем ее хлопчатником! Ведь родине нужно все больше хлопка. Мы дадим его! От нас одно требуется — смелость. Алимджан-ака, вы ведь смелый? Вы готовы взяться за освоение новых земель? — Не дожидаясь ответа, Айкиз обратилась к Умурзаку-ата: — А вы, отец, вы разве нам не поможете?

Умурзак-ата смотрел на дочь с обидным спокойствием. Старика, судя по всему, не зажгла ее проникновенная речь. Пожевав губами, он медленно опустил голову, и его белую, распластавшуюся на груди бороду пошевелил легкий ветерок, пролетевший через двор. Айкиз почему-то стало жалко отца... А он заговорил сердито и назидательно:

— Не надо торопиться, дочка. Торопливый подобен слепцу. Он может споткнуться на ровной дороге... В народе недаром говорят: семь раз отмерь, один раз отрежь. Подумай хорошенько, дочка: стоит ли будоражить людей, отрывать их от посевной ради поисков воды, которую вы то ли обнаружите, то ли нет. А если вам не удастся ни родники раскопать, ни Алтынсай перегородить? Что ж ты думаешь, прежде-то не пытались люди добыть воду? Пытались, да ничего из этого не вышло...

— Другое было время, отец.

— Люди-то те же.

— Нет, и люди за войну переменились. Почувствовали себя более сильными! Они... они способны горы передвинуть!

— Ох, дочка, легко ты словами бросаешься. Но сколько ни тверди: халва, халва,— во рту слаще не станет. Гляди, как бы не опозориться...

— За меня не бойтесь, отец.

— Да кому ж еще за тебя и тревожиться, как не мне? Твой позор — мой позор... Ведь если вы не найдете воду...

— Раз вода есть, то мы ее найдем.

— А о Кадырове ты подумала? Он ни за что не примет твое предложение.

— Кадыров...— Айкиз пренебрежительно махнула рукой.— Мы ведь сперва с народом посоветуемся, привлечем его на свою сторону, пусть-ка Кадыров попробует с нами не посчитаться.

— Привлечете ли? Народ-то, он мудрый. На явный риск вряд ли пойдет.

— Так вы полагаете, ата, что искать у нас воду — дело безнадежное? — спросил Алимджан.

— Сказать по чести — рискованное. Если уж отрывать людей от работы на богаре, так надо быть полностью уверенным, что нас ждет победа. Я вот в этом сомневаюсь. И ты, дочка, не горячись. Твои предположения и планы поспешны. Потому и рискованны.

Лицо у старика было хмурое, глаза потемнели. Поднявшись, он спустился с супы, направился к цветникам.

Алимджан тоже встал, вопросительно поглядел на Айкиз:

— Что это с ним? Странно, что он не хочет нас понять...

— Да он все понимает, только за меня боится.— Голос Айкиз звучал тихо, мягко.— Мы ведь на природу замахиваемся — доля риска тут и правда есть. Вот отец и тревожится, как бы я не оступилась и не подорвала свой авторитет.— Последние слова она произнесла с улыбкой.— Случись неудача, мне ведь пришлось бы краснеть перед народом. Это-то больше всего отца и пугает. Ох, он ведь меня все за маленькую принимает.

— Ушел он все-таки как-то неожиданно...

— Видно, не хотел спорить со мной при постороннем человеке.

— Это я, значит, посторонний?

Айкиз не ответила, отвела глаза. Принялась прибирать на хантахте. И, уже слезая с супы с полными руками посуды, чуть лукаво сказала:

— Н-ну... не совсем. Но пока все же посторонний.

Она понесла посуду в дом, с айвана крикнула:

— Я в сельсовет иду. А вы на богару собрались?

— Нет, мне сперва надо заглянуть в правление.

— Тогда нам по пути. Обождите меня.

Вскоре они уже шли к калитке.

Умурзак-ата, склонившись над цветником, сосредоточенно осматривал тугие бутоны на кустах роз. Проходя мимо, Айкиз произнесла чуть виновато:

— До свидания, отец.

— Будьте здоровы, Умурзак-ата,— попрощался и Алимджан.

Старик не разогнул спины, не оглянулся, только пробурчал что-то себе под нос.

Как только они очутились за калиткой, Алимджан достал из кармана письмо и протянул его Айкиз:

— Почитайте хоть теперь.

Айкиз, не останавливаясь, лишь немного замедлив шаг, принялась читать письмо.

«Алимджан, дорогой, здравствуй! Знал бы, как я радуюсь твоим письмам. Сразу вскрываю, читаю сначала про себя, потом вслух, потом еще раз про себя. Пожалуй, лишь на фронте мы радовались так весточкам от наших друзей и подруг. Помнишь?.. Я-то часто вспоминаю наше фронтовое житье-бытье. В каких только переделках не довелось нам побывать... Позабудешь разве ту деревню, где ты взорвал вражеские дзоты, а потом нашел меня на поле боя раненого, истекающего кровью... Что там ни говори, а это я тебе обязан своей жизнью. Ну ладно, ладно, не буду. Помнишь, денек тогда стоял серый, промозглый, и лил, как из ведра, холодный дождь. Да, нам есть что вспомнить.

Повидаться бы да наговориться вволю. Уж я бы обнял тебя крепко, по-гвардейски, так, что у тебя кости затрещали бы. Не раз я собирался к тебе поехать, да все недосуг. Мы сейчас ведем наступление на засуху, на суховеи, атакуем саму мать-природу...»

Подробно рассказав о борьбе с засухой, которую они начали у себя в районе, Григорий дальше переходил к «личным делам»:

«Дома у меня — праздник. Можешь поздравить меня с сыном, Алимджан!.. Мальчишка — настоящий богатырь, палван по-вашему. Представляешь себе, весит четыре килограмма! Рождение его мы торжественно отметили всем колхозом.

Ну, а тебя с чем поздравлять? Сыграл ли ты наконец свадьбу со своей Айкиз?»

Тут Айкиз чуть не споткнулась на ходу, листок задрожал у нее в руках. Алимджан заметил, как порозовели ее щеки... Он ждал, что она взглянет на него, но Айкиз, не отрываясь от письма, продолжала читать:

«Большой ей привет — и от меня и от Вали. Было бы славно, дорогой друг, если бы собрались вы с ней да махнули к нам в гости. Почему бы, в самом деле, осенью, после уборки урожая, не наведаться вам на Волгу — этак на месяц, на полтора? Нет, правда, при-

езжайте. Мы будем вас ждать. А пока мы с моей половиной дружески обнимаем тебя и Айкиз. Бывай, друг. Твой Григорий».

Айкиз наконец подняла глаза от письма и обнаружила, что стоит посреди дороги на самом солнцепеке. Она и не заметила, когда остановилась.

Молча возвратив письмо Алимджану, она шагнула в тень чинары.

Алимджан сильно волновался, он долго расстегивал карман гимнастерки, маленькая медная пуговица не повиновалась сильным его пальцам. Когда же он наконец справился с ней, то возникло новое препятствие: он никак не мог засунуть письмо в карман, оно то одним, то другим углом цеплялось за край кармана.

— Давайте я помогу,— тихо сказала Айкиз.

Стоило ей коснуться кармана, как письмо тут же исчезло в нем.

Алимджан глянул на нее нежно и благодарно и тут же насупился:

— Гриша в каждом письме спрашивает меня о свадьбе. Что же мне ему ответить?

Айкиз, отвернувшись, следила за муравьями, облепившими ствол чинары: черные цепочки ползли вверх-вниз.

— Айкиз! Когда же мне приглашать Валю и Григория?

Ни требовательности, ни настойчивости не было в голосе Алимджана,— только просьба.

— Вы слышите, Айкиз?

— О чем вы, Алимджан-ака?

— Когда наша свадьба?

Айкиз приставила палец к стволу, преградив путь муравьям, они суетливо побежали по ее обнаженной руке. Стряхнув их, она смущенно глянула на Алимджана.

— Алимджан-ака, о таких вещах не говорят посреди улицы. Ой, мне надо торопиться, глядите, сколько народу ждет меня у сельсовета. До свидания, Алимджан-ака!

Девушка быстрыми шагами направилась к зданию сельсовета. Алимджан долго еще потерянно топтался на месте.

Опять она ускользнула от ответа...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Через полчаса должно было начаться заседание колхозного партбюро.

Алимджан сидел за столом в светлой, с окнами на восток, небольшой комнате, отведенной для него в правлении колхоза, и внимательно, с карандашом в руках просматривал тезисы своего выступления.

Вопрос предстояло обсудить серьезный: об освоении и орошении предгорных земель в колхозе «Кызыл юлдуз». Предложение это внесла на партбюро Айкиз, но Алимджан и сам уже успел загореться ее идеей. Он убежден был в своевременности и правильности смелых замыслов Айкиз и глубоко верил в возможность их осуществления. Это чувство уверенности и горячей сопричастности к предложению Айкиз рождало в нем и сознание своей силы, бодрость и вместе с тем сознание ответственности.

Айкиз призывала воплотить заветные чаяния и мечты алтынсайцев. Расчистив родники, соорудив большое водохранилище, прорыв канал, они смогут пустить воду на доселе безжизненную землю и вплотную займутся хлопководством. Это счастье для дехканина, и Алимджан не сомневался, что большинство колхозников и прежде всего коммунисты поддержат Айкиз,— кто же будет отказываться от своего счастья?.. Однако он понимал также, что найдутся у Айкиз и противники и кое-кто встретит ее предложение в штыки.

Дело затеяно новое, масштабное, иных может напугать и размах и новизна задуманного. Топтаться-то на месте безопасней, чем шагать в неведомое.

Значит, надо тщательно подготовиться к защите своих позиций, к защите правого, но рискованного дела.

И Алимджан все это время, предшествовавшее заседанию бюро, не сидел сложа руки — он объехал, осмотрел, изучил и места с предполагаемыми выходами родников, и старые родники, затерянные в горах, и земли, подлежавшие орошению. Ночи он проводил за книгами по мелиорации предгорных земель, перечитал все, что только смог разыскать в районной библиотеке.

И сейчас ему не терпелось поскорей ринуться в бой с возможным противником.

Он чувствовал себя подготовленным к этой борьбе.

Правда, не мешало лишний раз проверить свои аргументы. И, ероша левой рукой черные волосы, Алимджан водил карандашом по строчкам конспекта, зачеркивая одни из них, четче выделяя другие и занося на бумагу приходившие ему в голову новые, более убедительные мысли и доводы.

Он давно взял себе за правило всякий раз, готовясь к выступлению, особенно на партбюро или партийном собрании, придирчиво, в деталях, обдумывать, глубоко «пропахивать» вопросы, включенные в повестку дня, тщательно взвешивая каждую мелочь, пытаясь угадать возможные возражения, чтобы потом, в ходе обсуждения того или иного вопроса, ничто не могло сбить его с толку. Являясь на собрание во всеоружии, Алимджан умел направить разговор в верное русло, не давал сворачивать в сторону, на окольные пути.

Так он действовал еще с комсомольских лет. Но тогда маловато у него было жизненного опыта, порой ему не хватало выдержки, подводила юношеская запальчивость, категоричность суждений, не подкрепленная весомыми доводами.

Фронт закалил Алимджана. Нет, он не утратил былой горячности, натура у него осталась пылкой, увлекающейся, однако теперь он уже не терялся ни при каких обстоятельствах, научился владеть собой и, что бы ни случилось, сохранял завидное хладнокровие, даже не хладнокровие, а способность четко и трезво оценить возникшую обстановку и предпринять необходимые шаги.

Несмотря на молодость, Алимджан обладал и житейской мудростью — в смысле умения разбираться в людях. Доводилось ему, конечно, и ошибаться, но в общем-то он довольно быстро угадывал в человеке лодыря, бесчестного подлеца, тщеславного карьериста, самовлюбленного пустозвона, которому дай только покичиться, покрасоваться перед окружающими, или, наоборот, преданного своему делу труженика, с чистой, как родниковая вода, душой, патриота-энтузиаста, с пылающим, словно факел, сердцем, которое освещает другим дорогу вперед, к новой жизни, прекрасной, как сама мечта.

Коммунисты колхоза уважали его за принципиаль-

ность, твердость убеждений, прямоту и стойкость. Они знали: уж если он «зажжется» какой-либо идеей, так будет, как воин, отважно, до конца, отстаивать свою позицию.

Как-то, в порыве откровенности, первый секретарь райкома Джурабаев, выдвинувший в свое время Алимджана на должность секретаря колхозной партийной организации, сказал своему воспитаннику:

— Веришь ли, я радуюсь за тебя, как за родного сына. Ты здорово вырос на фронте. Честное слово, тебе можно доверить любое дело. Ты справишься. Что тебя сделало таким, Алимджан?

Алимджан тогда пожал плечами:

— Не знаю. Я просто хорошо помню один ваш совет: побольше читать Ленина. Что бы ни затевалось в колхозе, какой бы вопрос ни решался, я всегда ищу опору в ленинских произведениях. Он видел на много лет вперед. Его мудрому взору все было открыто, даже будущее такого маленького предгорного кишлака, как наш Алтынсай. Да, да, он предвидел, по какому пути пойдет жизнь Алтынсая,— это-то меня и удивляет и восхищает больше всего. Вот я и стараюсь прислушиваться к Ленину...

Алимджан не только у коммунистов — у всех колхозников пользовался авторитетом. Бывало, соберутся алтынсайцы поговорить о том о сем, зайдет речь об Алимджане, и кто-нибудь обязательно заявит:

— Повезло нам с партийным секретарем. Уж если ты хочешь добиться правды, иди к Алимджану.

— Верно. Он-то поймет тебя скорее, чем наш раис [1], Кадыров.

— К нему можно с любым делом обратиться,— вступит в разговор еще кто-либо из колхозников.— Надо тебе получить аванс под строительство дома или там мешок муки, риса — ступай к Алимджану, он поможет. А кому пожаловаться, если, к примеру, дочка надумает ехать учиться в Ташкент? Опять же—Алимджану...

— Ну, тут-то он тебя не поддержит!

— Сам знаю, что не поддержит. Но уж наверняка даст дельный совет, переубедит. И ты пошлешь дочку в Ташкент и будешь думать, что сам так решил...

---

[1] Раис — председатель.

Иногда какой-нибудь местный скептик вставлял с усмешкой:

— Чему ж тут удивляться-то, Алимджан у нас грамотей, газетки почитывает...

Его тотчас дружно одергивали:

— А ты не скаль зубы. Газеты-то, мы видели, ты и сам читаешь. Только за советом к тебе почему-то никто не идет. С чего бы это, приятель?

Обычно эти слова встречались веселым смехом.

Сам Алимджан относился к себе весьма критично и вечно был недоволен собой. Однако же он знал не только слабые свои, но и сильные стороны, знал, что может положиться на свою выдержку, терпение, упорство.

Вот и теперь, просмотрев тезисы, он удовлетворенно откинулся на спинку стула,— все вроде было в порядке, доводы он подобрал веские и мог любому доказать, что, приняв предложение Айкиз, они пойдут по правильному пути. Потянувшись, он поднялся со стула и еще раз потянулся, расправив плечи, широко раскинув сильные руки. Так... С тезисами покончено. Ну, а сам-то он в порядке? Одернув на себе гимнастерку, Алимджан провел пальцами по щекам, по подбородку. Черт, колючие. Ведь брился недавно, и вот уже опять появилась щетина. «Неужто,— подумал он весело,— когда мало спишь, то борода растет быстрее?...»

В это время дверь за его спиной распахнулась. Алимджан обернулся и увидел Айкиз — она вся сияла, словно пожаловала к нему с радостной вестью.

— Салам, Алимджан-ака!

— Салам, Айкиз!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Алимджана приятно удивило, что Айкиз такая оживленная, уверенная в себе. Ведь только вчера в кабинете Кадырова у нее произошла стычка с председателем колхоза, далеко не первая, но, пожалуй, самая резкая за последнее время. Тот, как и следовало ожидать, сразу же ополчился на предложение Айкиз и вчера возражал ей особенно яростно. Огорчительней всего было то, что Кадырова поддержал Умурзак-ата, присутствовавший при споре дочери и раиса. Видно, права была Айкиз, когда говорила, что отец боится, как бы она не опозорилась... Да, им, судя по всему,

руководила только эта боязнь, потому что свои выпады против предложения Айкиз он ничем не мог подкрепить.

Сегодня — это Алимджану было ясно — Айкиз придется отбиваться не только от Кадырова. И Алимджан готов был и утешить ее и подбодрить. Однако, кажется, Айкиз не нуждалась в утешениях, вид у нее был веселый и решительный. И Алимджан, почувствовав облегчение, сказал, пододвигая гостье стул:

— Садитесь, Айкиз. Рассказывайте, что у вас нового. Я вижу, вы после вчерашнего не пали духом и не собираетесь сдаваться.

— Нет, не собираюсь! — тряхнула головой Айкиз.— Интересы дела не позволяют мне выкидывать белый флаг.

— Молодчина, Айкиз. Впрочем, я в вас и не сомневался. Меня ваш отец тревожит... Ну как он снова начнет упрямиться?

— Что ж, без борьбы нет движения вперед. Вы и сами это отлично знаете. Вот и будем бороться, убеждать, доказывать. И отца тоже вынудим признать нашу правоту. Он ведь не такой уж упрямый, каким кажется. И глаза у него хоть старые, но зоркие...

Айкиз достала из сумочки общую тетрадь в коричневой обложке, положила ее на стол:

— Вот, целый роман написала. Уж постаралась хорошенько подготовиться к бюро. Просмотрите, если у вас есть время.

Алимджан взял тетрадь, начал ее перелистывать, но не успел проглядеть и первых страниц, как в комнату вошли Кадыров и бригадир Бекбута.

На Кадырове, как всегда, был шерстяной полувоенный китель защитного цвета, синие галифе, хромовые сапоги. А на Бекбуте — черный стеганый халат, подпоясанный темно-коричневым бельбогом, а сапоги старые, порыжелые. Однако в этой простой крестьянской одежде бригадир выглядел молодым, статным, а Кадырова не спасала и щегольская форма: он погрузнел в последнее время, устало сутулился, словно под бременем тяжких забот, отчего руки, висевшие вдоль отяжелевшего тела, казались непропорционально длинными.

Видно, перед тем, как появиться у Алимджана, раис спорил о чем-то с Бекбутой. Ни на кого не глядя,

по-бычьи наклонив голову, он хмуро бросил, обращаясь к бригадиру:

— Так могут думать лишь несерьезные люди. Или зеленые юнцы.

Придвинув к себе стул, он медленно опустился на него, по-прежнему не поднимая головы.

Бекбута спокойно возразил:

— Я ведь почти твой ровесник, раис. Стало быть тоже уже не мальчишка. Но я на стороне этих «зеленых юнцов», потому что они предлагают идти вперед. Некоторые же руководители,— он выразительно посмотрел на Кадырова,— предпочитают иной вид движения: шаг на месте. Удобно и необременительно: вроде и маршируешь, и руками размахиваешь, и ничем не рискуешь. Земля-то под ногами все та же, утоптанная, прочная, а дальше двинешься — так бог весть, что тебя там ждет. Их подталкивают, сама жизнь тянет вперед, а они ни в какую. Мне таких руководителей от души жалко.

Насмешливо-назидательный тон бригадира привел Кадырова в ярость, он кинул на Бекбуту испепеляющий взгляд и хотел было осадить его, но в комнате уже начали собираться члены партбюро, и начальственный окрик застрял у раиса в горле. Он только клокотал от гнева, как кипящий самовар,— ведь последнее слово осталось за Бекбутой, который всегда возмущал Кадырова своей непочтительностью и независимым поведением.

Когда все расселись, Алимджан постучал по столу карандашом, призывая собравшихся к тишине, и открыл заседание коротким вступительным словом:

— Сегодня нам предстоит обсудить вопрос, включающий в себя, по существу, три важнейшие проблемы. Это, во-первых, очистка родников. Во-вторых, строительство плотины, канала и водохранилища. И, в-третьих, подъем целины под посевы хлопчатника. Все члены бюро в общих чертах уже знакомы с планом этих широких мероприятий. Все же, прежде чем перейти к обмену мнениями, давайте послушаем члена бюро товарища Умурзакову. Пожалуйста, Айкиз, прошу вас.

Айкиз встала. Раскрыв свою тетрадь, положила ее на краешек стола. Не спеша окинула взглядом присутствующих. И побледнела, заметив, как тяжело, хмуро,

исподлобья смотрит на нее Кадыров. Казалось, в глазах его таится чуть ли не ненависть. Сердце Айкиз обдало неприятным холодком, но она постаралась не выдать своего волнения, отвернувшись от председателя, заглянула в свою тетрадь и, окончательно взяв себя в руки, спокойно заговорила:

— Вы знаете, товарищи, что из года в год наш колхоз сеет только пшеницу на богарных землях. Трудимся мы не покладая рук, постоянно волнуемся, на небо смотрим, потому что целиком зависим от погоды, а урожаи собираем не бог весть какие.

— В районе нас хвалят! — с места сказал Кадыров.

Айкиз ждала его реплик и потому не смутилась:

— Да, хвалят, потому что мы все, что возможно, выжимаем из богары. Но сами-то мы разве вправе

смириться с тем, чего удалось пока достигнуть? Позавчера — богара, сегодня — богара. Не надоело?.. Ведь наш Узбекистан — это край «белого золота». Хлопок — наше богатство, наша гордость. Почему же мы-то не участвуем в общей борьбе за хлопок? Мы что же, не узбеки? Ведь тоже можем внести свой вклад в хлопковую сокровищницу страны. Колхоз наш владеет огромными массивами плодородной земли. Только до сих пор она пропадала без пользы. И у кого не щемило сердце, когда он глядел на эту землю, способную родить горы хлопка, но пребывающую в вынужденной праздности. Мы обладатели сказочных богатств!.. Чтобы прибрать их к рукам, нужна вода. Вода, которая разбудила бы спящую землю.

— В общем, не хватает самой малости,— ироничe-

ски заметил Кадыров.— Дом есть, пока только стен недостает.

— Да, без воды земля, какой бы она ни была плодородной,— это дом без стен. Но воды у нас — в избытке.— Айкиз хлопнула ладонью по раскрытой тетради.— Да, в избытке.

— Что-то мы этого не замечали,— опять вставил Кадыров.— Не то уж давно бы освоили все земли.

— Мы прежде на многое закрывали глаза, руководствуясь пословицей: от добра добра не ищут. У нас была богара — это нас удовлетворяло, она не только нас, но и фронт кормила. Но нельзя же весь век лишь на нее и надеяться, нельзя ждать у моря погоды. Нынче повсюду идет наступление на природу, на стихии, и не пристало нам, алтынсайцам, оставаться в стороне, идти не по общему пути, а по обочине. Стыдно быть у воды — и без воды!

Увидев, что Кадыров снова собирается что-то возразить, Айкиз досадливо махнула рукой:

— Погодите, товарищ председатель, я знаю, что вы хотите сказать. Вы все время твердите: воды нет. А я утверждаю: вода есть. Надо только дотянуться до нее и черпать полной чашей! Почему бы нам не копить ее, построив плотину и водохранилище? А вода родников? Что мешает нам расчистить родники? Вода есть, и мы в силах ее добыть!

— Болтовня! — раздраженно бросил Кадыров.— Товарищ Умурзакова переоценивает наши силы и возможности. Не нам, маленьким людям, замахиваться на великана — природу.

Карандаш Алимджана запрыгал по столу.

— Товарищ Кадыров! Вы не у себя дома, а на партбюро. В свое время вам будет предоставлено слово, тогда вы и выскажете все, что сочтете нужным.

Кадыров, насупясь, низко опустил голову, и всем стала видна его побагровевшая шея.

— Продолжайте, Умурзакова,— предложил Алимджан.

Айкиз, помолчав еще немного, сказала задиристо:

— Вы напрасно прибедняетесь, товарищ Кадыров. На слабосилье свое обычно жалуются лодыри. Вы извините, я не вас имела в виду. Но это, правда, отговорка тех, кому просто не хочется браться за дело: нас, мол, призывают широко шагнуть, а мы к этому не при-

выкли, мы люди маленькие, уж лучше постоим на месте, сложив на животе руки,— так сказать, от греха подальше. Нет, товарищи, давайте уж шагать вперед, по-большевистски смело и решительно! Пора стряхнуть с себя спячку! Попробуем-ка разобраться в наших возможностях...

Айкиз развернула на столе принесенный с собой большой, шуршащий лист ватмана, прижала ладонями его края.

— Подойдите-ка сюда, товарищи. Вот, взгляните. Это земельные угодья колхоза «Кызыл юлдуз».

В наступившей тишине члены бюро склонились над планом.

Айкиз одной трудно было удерживать бумагу, которая все норовила свернуться в трубку. Ей на помощь пришел Алимджан, тоже положил ладонь на ватманский лист.

Вместе со всеми приблизился к столу и Кадыров. Айкиз дала себе слово не отвечать на его язвительные, брюзгливые замечания, но он молча, заложив руки за спину и хмурясь, разглядывал синие, зеленые, коричневые линии, жирно, извилисто бежавшие по бумаге.

Айкиз, не отнимая рук от листа, принялась объяснять:

— На этом плане ясно видно, какие земли можно оросить, откуда взять для них воду. Видите синие линии? Это Янгаксай и Узумсай. Вот здесь они соединяются, образуя наш Алтынсай. В долинах этих речек много запущенных родников. Особенно там, где протекает Янгаксай. Их мы и должны расчистить. Вы вспомните, как поступают чабаны, когда в горах иссякает вода. Они тут же берутся за расчистку старых родников. Один, два родника — это, конечно, капля в море. А если найти, вернуть к жизни все? И наполнить их водой обе речки?

Айкиз говорила все более увлеченно, щеки ее разрумянились, в черных глазах светилось вдохновение.

— Мы тут не теряли времени даром, обследовали родники в долинах Янгаксая и Узумсая, произвели предварительные расчеты, и оказалось, что если наш колхоз расчистит самые сильные из них и подведет к Алтынсайскому массиву воду хотя бы одного Янгаксая, и то уже сделается не только зерновым, но и хлопкосеющим. Я уж не говорю о той воде, которую

сможет дать Алтынсай, если на его пути соорудить плотину, водохранилище и прорыть канал. Мы получим тогда обширные пространства освоенной земли, богатые урожаи хлопка. Вы понимаете, хлопок, «белое золото», станет основой нашей колхозной экономики — наряду с зерноводством и животноводством. Колхоз наберется сил, разбогатеет, в каждый дом придет достаток. А главное, мы родину нашу одарим лишними тоннами хлопка, которые никогда не лишние... Разве это не заманчивая перспектива?

Она обвела испытующим взглядом членов партбюро, которые рассматривали план, внимательно слушая Айкиз, и на душе у нее стало легко и спокойно. Кажется, ей всех удалось заразить своей увлеченностью. Даже лицо Кадырова утратило хмурое выражение, в его глазах читался живой интерес. Пожалуй, это была только искорка интереса. Но Айкиз с надеждой подумала: вот бы разжечь эту искорку! Насколько все было бы проще, если бы Кадыров из противника превратился в сторонника ее предложения. А почему бы нет? Что ему, не дорого благо колхоза?

И она заговорила с еще большим жаром:

— Сейчас все это богатство, природный капитал, вода пропадает впустую. А мы жалуемся на безводье. Это ли, товарищи, не леность, не расточительство? Может ли позволить себе такое настоящий, рачительный хозяин? Ведь вода, таящаяся в земле, проносящаяся мимо нас, способна оросить не только наши поля, но и земли соседних колхозов. Сколько же тогда хлопка мы снимем с этих земель!..

Кадыров терпел, терпел, но не удержался, оторвавшись от плана, произнес с нескрываемой усмешкой:

— Красиво все это звучит: родники, каналы, плотины... Получается, что все мы тут жили дураки дураками, а вот пришла товарищ Умурзакова и открыла нам глаза.

Айкиз покраснела:

— Зачем вы так, раис? Моя роль тут небольшая. Просто... надо же было кому-нибудь, когда-нибудь начать этот разговор.

— Нет, товарищ Умурзакова, не так уж все просто. Мы ведь тоже не слепые были. И про родники знали, и про саи. Но знали еще, что мало протянуть

руку за сокровищами, о которых вы тут распространялись, так-то легко они не дадутся, нет, не дадутся!.. С помощью одних речей воду не добудешь. Она от нас за семью замками.

— Вот и попытаемся их взломать!.. Конечно же сделать это будет нелегко, тут я с вами согласна, раис. Но разве возможные трудности — достаточная причина для того, чтобы отступиться от борьбы за воду, за процветание нашего колхоза? Что ж заранее-то пугаться трудностей? Вы лучше скажите, раис: в принципе-то наши планы реальны?

— Риск слишком велик.

— Любой риск можно свести на нет точными расчетами, упорным трудом. Вот, смотрите.

Айкиз разложила на столе второй лист ватмана.

— Чертеж этот выполнен не так искусно, но все же дает четкое представление о будущей оросительной системе.— Она провела пальцем по толстой синей черте.— Вот тут должна пройти трасса канала. А начало он возьмет вот отсюда, из ущелья, где сливаются Янгаксай и Узумсай. Это ущелье, расположенное выше кишлака и Алтынсайского массива, мы превратим в естественное водохранилище. В нем будет собираться и вода родников, после того как мы расчистим их и они устремятся в Янгаскай и Узумсай. Так что воды мы получим столько, сколько нам потребуется для того, чтобы выращивать и хлопчатник, и люцерну, и овощи. И скоро алтынсайцы забудут, что когда-то их колхоз считался середнячком, занимавшимся только богарным земледелием. «Кызыл юлдуз» умножит свои доходы, его хозяйство будет крепнуть из года в год. Больше того: мы сможем взяться за орошение всего предгорья, то есть и земель, принадлежащих другим колхозам нашего сельсовета. Думаю, соседи уже и сейчас не откажутся нам помочь. Об этом мы поговорим в райкоме... В общем, я убеждена: народ нас поддержит. Все зависит только от нас, от нашей энергии, решительности, смелости!

Айкиз вытерла лоб, покрывшийся легкой испариной, белым батистовым платочком.

Члены бюро молчали, разглядывая чертежи. Лишь Алимджан что-то торопливо писал в блокноте. Первым заговорил Бекбута. В его голосе слышались и сомнение и надежда.

— Умурзакова, а ты не ошибаешься насчет родников? Хватит ли нам их воды?

— Мы ведь станем накапливать ее в водохранилище! Должна вам также сказать, что подсчетами и разработкой планов занималась не я одна, а райводхоз. Точнее, Иван Никитич Смирнов. Ему-то вы верите?

Бекбута кивнул:

— Знающий мужик.

— Ну вот. Он, как вам известно, не бросает слов на ветер, и уж если пришел к выводу, что воды в родниках достаточно,— значит, так оно и есть. В планах несколько даже занижен объем возможных водных ресурсов. Мало ли какие могут быть неожиданности! На самом деле воды, видимо, больше, чем мы предполагаем. Но и плановые данные вселяют самые радужные надежды.

Тут Айкиз выдержала паузу, а потом, повысив голос, сказала:

— Товарищи! Колхоз «Кызыл юлдуз» сможет посеять хлопок уже этой весной, не дожидаясь завершения всего оросительного комплекса! Мы ведь сейчас берем воду из Янгаксая. И воды этой летом и осенью кот наплакал. Но стоит нам расчистить родники в Янгаксайской долине, и ручей превратится в реку! Вот что предлагает Иван Никитич: расширить, углубить Янгаксайский арык и продолжить его до ближайших целинных земель. А также заменить сипаи [1], которые прежде задерживали воду Янгаксая, набросом из камней. И тогда Янгаксай, уже полноводный, потечет по арыку на поля в самом скором времени! Да, да, если мы немедля примемся за дело, то в этом году вырастим хлопок. Нет, вы только подумайте,— хлопок!.. Кстати, в плане ничего не говорится о Кокбулаке, засыпанном басмачами. А вы, верно, слышали, какой это мощный был родник. Если бы нам удалось найти, раскопать его, то только он один дал бы воды не меньше, чем сейчас дает Янгаксай!

— Здорово! — Бекбута азартно потер ладони.— А ведь я помню этот родник. Бывало, подойдешь к нему — слышно, как скала гудит! Неужто нам не под силу вырвать его из плена?

— Его еще раскопать надо,— буркнул Кадыров.

---

[1] Сипаи — «ежи» из бревен, связанных проволокой.

— Овчинка стоит выделки. Поднатужимся, так и раскопаем. Зря его в план не вставили.

— Мы вынесли план на обсуждение партбюро как раз для того, чтобы вы сделали свои поправки,— сказала Айкиз.— И если вы проголосуете за возрождение Кокбулака, то мы займемся и этим родником.

— Кокбулак...— раздумчиво пробормотал Бекбута.— Нет, это дело. Я первый пошел бы на него в атаку.

Кадыров покосился на него с осуждением, потом медленно повернул голову к Айкиз. У него уже не только шея, все лицо было багровое от гнева.

— Не понимаю — тут партбюро или детский сад? Ей-богу, нашли место в игрушки играть. Да, да, все, что тут говорится, по меньшей мере несерьезно. Речи-то произносятся длинные, но в длинных речах — короткий смысл. Вы бахвальством да радужными прожектами, именно прожектами, а не проектами, пытаетесь заслонить правду, истинное положение дел. Затвердили, как попугаи: Кокбулак, Кокбулак!.. А где он, ваш Кокбулак? Родник ведь не просто засыпан — он взорван, и сделал это не сам курбаши,— им руководил ближайший его советник, английский офицер, хитрая лиса, доложу я вам. Он-то и подсказал, как навечно похоронить родник под скалами. Слышите — навечно! А вы: раскопать, возродить. Да для этого надо там все камни перекинуть с места на место. А перекидывать их можно и полгода, и год, и больше. И ведь сами они передвигаться не умеют, ног у них нет, хе-хе... Потребуется немалая рабочая сила. А где вы людей возьмете? А? Рабочие руки — вот в какую проблему вы сразу же упретесь. Вы ведь не станете утверждать, что это пустячная проблема? Вон ведь как вы размахнулись: родники, канал, плотина... Преображение земли!.. А у нас сейчас страдная пора, весенний сев. И надо брать от земли то, что она дает, кормилица, а не заниматься пустыми фантазиями...

Алимджан слушал Кадырова заинтересованно и, когда тот сделал паузу, вежливо попросил:

— Продолжайте, продолжайте, товарищ Кадыров.

Кадыров усмехнулся:

— Да я не мастер воду-то лить...

— Все же ознакомьте нас поподробней с вашей точкой зрения. В спорах, говорят, рождается истина.

— В спорах? А я не собираюсь ни с кем спорить: слишком уж несерьезный ведется разговор...

Но видно было, что Кадыров приготовился к обстоятельному выступлению. Он уперся в стол кулаками, в глазах уже не светились искорки, которые недавно так обрадовали Айкиз, весь он налился мрачной тяжестью.

— Вы, может, думаете, товарищи, что я против воды? Что же я, последний идиот, что ли? Да если бы имелась хоть малейшая возможность добыть ее, так я отправился бы за ней босиком, без рубашки через все Кызылкумы, под палящим солнцем, под знойным ветром!.. Я бы без оглядки пошел за Умурзаковой! Уж поверьте,— я вам не лгу. Но...— он приложил к груди тяжелый кулак,— но в данном случае я отказываюсь за ней идти. Она плохой лаучи[1] и не знает, куда вести караван. Планы ее составлены непродуманно, второпях... Я-то могу ее понять: молодости свойственно пороть горячку... Но ведь недаром молвится: коль утка спешит, так и головой, и хвостом ныряет. Зачем же нам, людям, умудренным жизненным опытом, уподобляться такой утке?.. Я уж не говорю, что Умурзакова слишком разбрасывается: предлагает и родники расчищать, и сооружать канал и водохранилище...

— Проблему и надо решать в комплексе,— заметила Айкиз.

— Комплекс, по-вашему,— это когда под мышкой пытаются удержать два арбуза?.. Ну да ладно. Комплекс так комплекс. Да ведь только, если разобраться в каждой части этого комплекса, то что получится? А получится, что товарищ Умурзакова толкает нас на весьма рискованное дело. Любое блюдо сперва ведь на вкус пробуют, а потом едят. А тут нас зовут, зажмурив глаза, нырять в омут. Возьмем Алтынсай... Да летом его воду верблюд может выпить в один глоток. Скажете, не так?

— Пока — так,— спокойно отозвалась Айкиз.— Я ведь и сама говорила об этом. Но вы почему-то прослушали все остальное. После расчистки родников воды в реках станет больше. И не забывайте о водохранилище! У нас ведь, уважаемый раис, на руках

---

[1] Лаучи — начальник каравана.

цифры. А вам, простите, приходится прибегать лишь к сравнениям. И повторять доводы, уже опровергнутые!

— А вы не кипятитесь, товарищ Умурзакова. Мы вас слушали, дайте и другим высказаться. Хм... Родники... Слишком это рискованно, на родники надеяться. А вдруг они иссякнут?

— Запасы родниковой воды высчитаны райводхозом. Их хватит надолго.

— Райводхоз предполагает, а аллах располагает. Подумайте сами, ведь если бы возможно было использовать для полива воду родников, так она давно была бы использована. Нам ученые сказали бы: действуйте, это по науке! И государство выделило бы нужные средства. Но никто до сих пор ничего нам не говорил...

— Руки до этого пока не доходили,— опять вскинулась Айкиз.

— Может, оно и так. Только зачем же нам-то заниматься опасной самодеятельностью? Уж в крайнем случае подождем, пока кто другой за это возьмется, у кого побольше сил и возможностей. А мы поглядим, что из этого выйдет...

На этот раз Бекбута не удержался от насмешливой реплики:

— По-вашему, пусть другие идут в атаку, а мы пока в кустах будем отсиживаться да поджидать, чем эта атака кончится?

Кадырова бесило, что никто не желает его понять, что ему в одиночку приходится отстаивать интересы колхоза. И от ярости, от внутреннего напряжения багровость на его лице сгустилась до свекольного цвета...

— А хоть бы и так! — сказал он с вызовом.— В бессмысленную атаку бросаются только дураки. Любая атака требует тщательной подготовки. А я что-то не уверен, что мы готовы к бою. Предположим даже, что все запасы воды вы подсчитали верно, хотя цифры всегда обманчивы и, возможно, из ваших родников нельзя будет выжать и капли влаги. А людские ресурсы? О них Умурзакова подумала? Повторяю: проблема рабочих рук — главная проблема. Ведь придется скалы ворочать, долбить камень. Это вам не волосок из теста вытягивать! Кто же этим будет заниматься? Святой дух? Людей-то у нас мало. И я не позволю отрывать их от текущих работ. Лучше синица в руках,

чем журавль в небе. Да, и не смотрите на меня так, товарищ Умурзакова, ничего крамольного я не сказал. Если мы и сев сорвем и из вашей затеи пшик получится, так кого к ответу притянут? Председателя колхоза. Кадырова! А я не согласен страдать за чужие грехи. Нет, не согласен! Я — против предложения Умурзаковой. Оно не учитывает реального положения вещей. Надо глядеть на все глазами опыта.

Отдуваясь, Кадыров грузно опустился на стул, уставился в пол хмурым взглядом.

Слово взял Бекбута.

— Ну, товарищи, раис совсем запугал нас трудностями... Нет, доля правды в его словах есть: нужны четкие расчеты, тщательная подготовка... Кто ж с этим спорит? Для того мы тут и собрались, чтобы хорошенько все взвесить, продумать. Но, в общем-то, Айкиз стоящее дело предлагает, ей-богу! А у председателя — одни возражения. К чему он, по сути, нас зовет? А вот к чему: ничего не предпринимать, оставить все таким, как было, и не пытаться даже пальцем пошевелить, чтоб двинуть наш колхоз вперед! А ведь известно: стоять на месте — значит отстать от других. От тех, кто ищет, пробует, борется за лучшую жизнь. Согласен, путь перед нами лежит нелегкий. Но ведь не зря говорится: дорогу осилит идущий. И чем скорее мы сделаем первые шаги, тем скорее выйдем на передовые рубежи преобразования природы. Трудностей тут не миновать. Это ясно. Но если ты смел, решителен и уверен в своих силах, так никакое дело не покажется тебе тяжелым. Председатель наш плачется: людей у нас мало. Так и из этого есть выход: каждый должен работать за двоих, за троих. Вспомните войну: солдаты наши били врага не числом, а уменьем, мощью духа, и колхозы, где оставались лишь старики, женщины да дети, крепко помогали фронту, прославили себя героическим трудом. Надо было — человек шел на подвиг. И порой не предполагал, какой он сильный. Да, перед нами была святая цель: поскорей разбить фашистов. А разве нынче у нас цель не менее высокая — крепить экономику страны, коммунизм строить? Стоя на месте, к нему не приблизишься...

— Вот, вот, еще зачисли меня в противники коммунизма! — выдавил из себя Кадыров.

— Ну, это ты уж хватил, раис. Но я так скажу:

тебе спокойней жить сегодняшним днем. Лучше, как говорится, сидеть, чем идти, а еще лучше лежать, чем сидеть... Оттого-то ты и отмахиваешься и от всякого риска и от лишних хлопот.

Кадыров надулся, замолчал. Он отошел к окну, встал там спиной к собравшимся, заложив руки за спину. В дальнейших прениях он уже не участвовал...

Все члены партийного бюро горячо поддержали Бекбуту. И единогласно приняли решение: немедленно приступить к осуществлению плана, который они обсуждали, с учетом внесенных в него поправок и уточнений.

Кадыров, воздержавшийся при голосовании, остался в одиночестве. Он все торчал у окна, мрачно насупясь, и лишь когда все начали с шумом вставать с мест, оживленно переговариваясь, повернулся к ним лицом и вкрадчиво, с тайным злорадством спросил:

— Значит, порешили все вопросы? Баракалля, баракалля [1]...

— У вас есть еще что сказать? Что же вы до сих пор молчали? — в голосе Алимджана звучало раздражение.

— Думал, секретарь. Кому-то надо же подумать над некоторыми вещами. Весьма, между прочим, важными.

— Мы слушаем вас.

— Мне хотелось бы знать,— уже с откровенной издевкой продолжал Кадыров,— откуда вы возьмете средства на свои «мероприятия»? На какие деньги собираетесь природу преобразовывать?

— При чем тут деньги? — нахмурился Бекбута.— Мы сделаем все своими руками.

— Ах, своими руками? Ну, ну. И деньги, значит, вам не потребуются? Я гляжу, здорово вы во всем разбираетесь. Ну, а ежели копнуть поглубже? — Злость и торжество были написаны на лице Кадырова.— Вы что, думаете обойтись вот этой бумажкой? — Он взял со стола свернувшийся лист ватмана, сильно тряхнул им в воздухе. Лист с хрустом раскрутился, на мгновенье сверкнули красные и синие линии, а когда он снова сложился в трубку, Кадыров швырнул его обратно, на стол.— Это кустарщина. Детская мазня. Ну-

---

[1] Баракалля — одобрительный возглас.

жен настоящий проект, составленный специалистами. А за него придется выложить денежки... Ну, а взрывные работы? За них тоже надо платить. И за механизмы. И за арматуру, цемент, без которых плотину не построишь. Так что раскрывай шире карман! Прежде чем вы воду добудете, вам понадобится раздобыть средства, и немалые. Так откуда вы их возьмете, а?.. Или вы намереваетесь строить плотину и водохранилище из речей, а заместо взрывчатки заложить собственный энтузиазм?

Воцарилось неловкое молчание. Все были смущены — ведь они и правда не подумали о деньгах, требующихся на оплату строительных материалов, механизмов, взрывных работ. Как-то само собой разумелось, что государство не откажет им в средствах на такое важное дело, как ирригационное строительство и освоение новых земель. Они и сейчас были уверены: не откажет. Но сколько пройдет времени, пока будут рассматриваться, утверждаться их заявки? А им немедленно хотелось взяться за работу, на этом, собственно, и основывались их планы.

Кадыров переводил победный взгляд с одного на другого. Молчание затягивалось. Наконец Алимджан сказал:

— О деньгах мы хотели поговорить отдельно. В общем-то, мы рассчитываем на помощь государства...

— В иждивенцы напрашиваетесь? Как будто у государства нет сейчас других забот. Хозяйство-то еще не восстановлено... Просителей и без нас хватает.

Бекбута вздохнул.

— Председатель прав. Негоже нам теребить государственную казну...— Поперек его лба легли глубокие морщины.— Никуда не денешься — надобно искать нужные средства у себя в колхозе.

У Кадырова в усмешке дрогнули усы.

— Ишь какой прыткий! В колхозе... С огорчением вынужден доложить: свободных денег у нас ни гроша. Мы ведь пшеничку растим, а не хлопок...

— Да, растили бы хлопок, были бы побогаче,— усмехнулась и Айкиз.— Вы, раис, только подтверждаете своевременность и правильность намеченных нами мероприятий.

— Да разве ж я против них? Я только трезвей, чем вы, смотрю на вещи. Хлопка у нас пока нет. И денег

лишних нет. Если бы были, так я не спрашивал бы у вас, где их взять. С превеликим удовольствием выложил бы на стол.

Судя по выражению лица Кадырова, удовольствие он испытывал как раз в эту минуту, припёрев к стене слишком уж ретивых «добытчиков» воды.

Бекбута хмуро, осуждающе взглянул на него, отошел к двери, зачем-то развязал свой бельбог, встряхнул его, снова им подпоясался. Все следили за ним, ожидая, что он предложит что-нибудь конкретное. Но бригадир молчал... Тогда Алимджан, решительным движением расправив у ремня гимнастерку, твердо заявил:

— Бекбута верно сказал — грешно сейчас тянуть деньги с государства. И раис нас не обманывает: свободных денег в колхозе действительно нет. Но и мы не имеем права откладывать на неопределенное время реализацию наших планов. Они продиктованы самой жизнью, и откажись мы от них, так колхоз вечно будет сидеть без денег. Заколдованный круг получается, а? Денег нет, потому что нет у нас земель под хлопком, а освоить их мы не в силах, потому что денег нет. А если подумать хорошенько, деньги, может, найдутся?.. Ведь у нас имеется неделимый фонд. Скажите, товарищ Кадыров, какое назначение у неделимого фонда колхоза?

Кадыров насторожился:

— У неделимого фонда?.. Он предназначен для особо важных колхозных нужд.

— Расплывчато. Вы не договариваете, Кадыров. Уточню: неделимый фонд используется на расширение общественного хозяйства. То есть на приобретение сельскохозяйственного оборудования, на капитальное строительство, на освоение новых посевных площадей. А у нас ведь и запланировано поднятие целины. И если часть неделимого фонда пойдет на расчистку родников, сооружение плотины, канала и водохранилища, то это будет и разумно и законно. Ведь, засеяв вновь освоенные земли хлопком, сняв богатый урожай, мы сможем существенно пополнить тот же неделимый фонд.

— Верно! — с облегчением воскликнул Бекбута и в радостном порыве чуть не забил в ладоши, но, огля-

нувшись и увидев, как серьезны присутствующие, примолк и заложил руки за бельбог.

Всем было не до восторгов, потому что Кадыров снова заартачился. Набычившись, он жестко проговорил:

— Нет, неверно. И неразумно. Я этот неделимый фонд копил годами, не досыпая ночей, себя не жалел... За каждой крохой дохода охотился, приобщая ее к неделимому фонду. Что ж, по-вашему, я собирал его, чтобы нынче потратить на рискованные затеи? Нет, любезные, я не дам вам из него ни копейки. Слышите — ни копейки!

— А ради чего ты его так бережешь, раис? — спросил Бекбута.

— Ради чего? А ну как беда какая случится? Нашлет на нас небо град или засуху? Пока ведь не мы стихиями распоряжаемся, а они нами. Чем я тогда кормить колхозников буду, а? Вот тут-то неделимый фонд и пригодится, еще как пригодится. Теперь поняли, почему я над ним так трясусь?

— А если не будет ни града, ни засухи? — спокойно сказал Алимджан.— Тогда вы уподобитесь скупцу, сидящему на мешке с золотом: мол, ни мне, ни другим. Кстати, мы ведь не собираемся тратить весь неделимый фонд, оставшегося хватит на всякие неожиданности...

Но Кадыров не слушал его. Напуганный страшной, им же самим нарисованной картиной возможных бедствий, ослепленный собственным упрямством и яростью, он сейчас никого не желал слушать. Лицо и шея у него опять побагровели, трудно стало дышать; он долго непослушными пальцами расстегивал ворот кителя, потом рванул его в сердцах, хрипло выкрикнул:

— Я сказал: не дам ни копейки! Не позволю растранжиривать неделимый фонд, пускать его на ветер! Хоть режьте, ничего от меня не получите!

— Товарищ Кадыров, возьмите себя в руки,— с каким-то сожалением, строго произнес Алимджан.— И что вы все «якаете»? Создание неделимого фонда не только ваша заслуга. И не вы его единоличный хозяин. Это деньги не ваши и не наши, они — народные. Вот мы и попросим их у народа. Созовем общее колхозное собрание, посоветуемся с дехканами, обсудим этот во-

прос всем миром... Разрешат нам колхозники взять деньги из неделимого фонда — возьмем, не разрешат — что ж, тогда считайте, ваш верх. Будем искать другой выход...

Кадырова вовсе не прельщала перспектива предложенного Алимджаном колхозного «референдума», он привык сам решать все важные вопросы, своей рукой ставить жирную точку. Однако ему нечего было возразить Алимджану: еще, не дай бог, обвинят в пренебрежении внутриколхозной демократией. Некоторое время он тупо смотрел на Алимджана, не замечая, как с бритой головы из-под тюбетейки текут по щекам струйки пота, потом выругался про себя, повернулся и вышел из комнаты.

Спиной он чувствовал осуждающие взгляды, которыми проводили его члены партбюро, но ему было безразлично, что о нем подумают или скажут. Он весь кипел от злости и обиды. С ним не посчитались! Всем плевать на его опыт, на то, что он столько лет стоял у колхозного руля. Он брел по улице и ему вспоминалось, как кричал он в бешенстве, что не даст растранжиривать колхозный фонд, а Алимджан спокойно возражал: деньги это не твои — народные. И все смотрели на него, на Кадырова, с укором и жалостью. Почему с жалостью? А Айкиз вообще отвернулась к окну — ишь, еще и молоко на губах не обсохло, а уже нос задирает. Что ей Кадыров? Так, коряга на пути в «светлое будущее». А Бекбута почему-то уставился на его хромовые сапоги с высокими твердыми голенищами. «Шайтан его знает, что он нашел в моих сапогах?» — с недоумением подумал Кадыров и остановился, разглядывая сапоги — прочные, добротные, с округлыми носками, высокими каблуками... Он пожал плечами: сапоги как сапоги, ничего в них особенного. А хороши — сносу им не будет! Они, любезный Бекбута, еще и тебя переживут. И все ваши кустарные планы!..

Эта невольная задержка на дороге несколько охладила Кадырова, и когда он снова зашагал по направлению к дому, мысли его, которые еще минуту назад кружились, как опавшие листья, подхваченные ветром, приняли более спокойное направление. Чувство ярости отпустило Кадырова, хотя он все еще испытывал возмущение, смешанное теперь с каким-то мстительным торжеством. Ничего... Эти молокососы

еще пожалеют о своих решениях. Принять решение легче всего. А дальше? Ох, расшибут они себе головы!.. Как пить дать — расшибут. Ведь что надумали: добыть воду, поднять предгорные земли!.. Будто это так же просто, как опорожнить миску шурпы. Конечно, куда как лестно прослыть новаторами, инициаторами, застрельщиками!.. Ну, а он, Кадыров, в их глазах замшелый консерватор. Еще бы, все «за», а он «против»!.. Значит, трус, противник всего нового, человек, отставший от жизни. Нет, любезные, он, Кадыров, просто более опытен и потому осторожен, предусмотрителен. Он отвечает за благополучие колхоза. И в случае неудачи с него снимут голову!.. Вот потому он и не желает идти за вами тропой, которая тянется по краю пропасти. Пускай сперва другие испробуют этот путь... Да, да, вот если бы ваши «новаторские» идеи, любезные, прошли уже необходимую проверку и были взвешены на точных весах, и измерены опытным глазом, и одобрены знающими людьми,— тогда бы и он, Кадыров, проголосовал за них обеими руками. А пока — извините... Он вам не попутчик. И это не от перестраховки, а от житейской мудрости. И пусть его обвиняют в том, что он будто бы не хочет добра своим колхозникам. Кто этому поверит? Как раз он-то и болеет по-настоящему за свой колхоз, потому что это он, Кадыров, и создавал и крепил его.

И тут Кадыров чуть не споткнулся на ровной дороге. Ба, ба, ба! Как же это он сразу-то не сообразил!.. Уж не метит ли Алимджан на его место?.. И все эти проекты — лишь повод для того, чтобы смешать Кадырова с грязью, выставить его перед всем народом упрямым тупицей, «консерватором», восстановить против него сперва партбюро, а потом и всех колхозников. Ну да, это Алимджан и подбил Айкиз на рискованную затею. С нее какой спрос? Молодо-зелено. Она-то еще девчонка. А Алимджан, видно, тертый калач, карьерист и хитрый... Войну-то он закончил офицером, вот и нынче хочет командовать. «Новаторская» инициатива — это недурная возможность покрасоваться перед людьми, заработать себе дешевый авторитет да заодно свалить Кадырова,— ведь Алимджан заранее знал, что Кадыров не пойдет у него на поводу и всеми силами будет сопротивляться опасным «начинаниям»... Мало ему, что он возглавляет партийную ор-

ганизацию колхоза, теперь весь колхоз решил прибрать к рукам. Ну уж, дудки!.. Свой колхоз Кадыров тебе без боя не отдаст. Да, да, свой! Он заслужил это право — называть колхоз «своим». С первого дня организации колхоза Кадыров его бессменный председатель. И колхозники ни разу на него не жаловались. Худо ли, бедно ли, а колхоз прочно стоит на ногах. И пусть не сеет хлопок — и без этого Кадырова хвалят и в районе и в области. Дался им этот хлопок!.. От добра, говорят, добра не ищут. У колхоза весомый неделимый фонд, колхозники живут хоть и небогато, но без страха перед завтрашним днем. Вспомнить, что довелось пережить в войну, так обеими руками ухватишься за сегодняшние блага... Еще неизвестно, что таят в себе дальние-то дали. Печенка, которая варится в котле, лучше курдюка, болтающегося на баране! Да, да, разлюбезный Алимджан, не думай, что я так легко сдамся, подо мной твердая земля, трезвые люди поймут, кто из нас прав. Председательское место — это конь не про тебя, Алимджан. Каждый ходит под своей тюбетейкой...

Эти мысли и будоражили и успокаивали Кадырова. Он не замечал пути. И удивился, увидев себя стоящим уже перед калиткой собственного дома. Ну и ну, вон ведь как быстро дошел...

Стукнув кулаком в калитку, он подождал с минуту, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Взгляд его упал на носки сапог, он снова вспомнил Бекбуту, усмехаясь, покачал головой: «Ишь, сапоги мои ему не понравились... Да вы все и меня самого рады бы вышвырнуть из председательского кабинета, вместе с сапогами. Ох, велики ваши аппетиты, да глядите, как бы вам зубы не обломать о Кадырова, кость у меня крепкая!..»

Он еще раз постучался, уже более сердито, и опять помедлил, прислушиваясь. Со двора не доносилось ни звука. Тогда он в ярости замолотил по калитке сразу двумя кулаками. И угодил по острию гвоздика, торчавшего из доски. Взвыв от боли и чертыхнувшись, он высосал кровь из ранки и принялся бешено колотить в калитку сапогами, стараясь наносить удары не носком, а всей подошвой. Вышибленная особенно сильным ударом, одна половинка калитки с грохотом повалилась на землю вместе с оторванной цепочкой, а

другая, стукнувшись со стороны двора о дувал[1], отскочила и ушибла Кадырову плечо — он в это время как раз шагнул вперед. Кадыров света невзвидел, весь двор огласили его ругательства. И когда перед ним появилась жена, выскочившая из дома и на ходу вытиравшая руки и лицо, которые были в тесте и в муке, он заорал, вымещая на ней накопившуюся злость:

— Ты что, оглохла? А ну, прочь! Прочь с моих глаз!

Оттолкнув жену, он метнулся к дому, поднялся на айван, прошел через него быстрым шагом, ворвался в комнату и запер за собой дверь на крючок. Ему никого не хотелось видеть. Он присел на кровать, застланную поверх стеганого одеяла тонким атласным покрывалом, бормоча проклятья, с трудом стащил с себя сапоги, в сердцах зашвырнул их далеко под кровать. Только после этого он почувствовал некоторое облегчение.

Но его в этот день прямо-таки преследовал злой рок. Вещи отказывались ему подчиняться.

Стоя босиком на мягком багрово-красном ковре, Кадыров извлек из кармана кителя изящную наскады — табакерку из маленькой тыквы-горлянки, откупорил ее и, держа в правой руке, несколько раз стукнул горлышком о левую ладонь. Из табакерки не высыпалось ни крошки насвая. Он переложил ее в левую руку и стал трясти над правой ладонью. Табакерка была пуста. Тогда, совсем уже выйдя из себя, Кадыров хватил табакеркой о дверь — наскады разлетелась вдребезги, мелкие кусочки рассыпались по ковру, упали на холодный сандал[2], покрытый желтой скатертью и служивший хантахтой, на белые подушки и атласное покрывало, лежавшие на кровати.

Некоторое время Кадыров бессмысленно смотрел на рассеянные всюду жалкие остатки любимой своей табакерки, потом тяжело вздохнул, снял китель, небрежно кинул его на радиоприемник, набросил на плечи плотный стеганый халат, прошелся по комнате, опять вздохнул, шагнул к кровати, сграбастал подушки, швырнул их на ковер да так прямо на ковре и улег-

---

[1] Дувал — глиняная ограда.

[2] Сандал — низенький столик, покрытый одеялами и установленный над углублением в земле, куда кладут горячие угли.

ся, заложив руки за голову и упершись недвижным взглядом в холодный сандал...

На душе у него тоже было холодно и пусто.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Айкиз рассказала отцу о заседании партбюро, вынесшем решение о расчистке родников и строительстве плотины, канала и водохранилища. А вечером Умурзак-ата, сидя в переполненном клубе на колхозном собрании, сам стал свидетелем того, с каким единодушием и жаром одобрили алтынсайцы это решение. Они как будто только и ждали, когда же поднимут их, позовут на этот трудовой подвиг. Во время выступлений Айкиз, Алимджана, Бекбуты с мест то и дело раздавались выкрики:

— Правильно! Давно уж пора!

— Молодец, Айкиз!

— Не надо с этим тянуть — время дорого!

Противников предложения Айкиз на собрании не оказалось, если не считать Кадырова, но он почему-то помалкивал и восседал за столом президиума с таким видом, будто хотел сказать: ладно, разоряйтесь пока, а мы посмотрим, что выйдет из вашей затеи, погодим, пока вы лоб себе расшибете, нам-то что, с нас взятки гладки.

Он один воздержался при голосовании. И это было не только выражением его мнения, но и житейской осторожностью — он страховал себя на случай провала принятых планов.

А Умурзак-ата тревожно удивлялся, слушая взволнованные, но все же дышавшие уверенностью речи, восторженные реплики, шумные аплодисменты. Да что они, с ума все посходили? Ишь, на какое дело дочку толкают! Старика так и подмывало выступить, сказать своим разгоряченным землякам: поостыньте малость, образумьтесь да вместо того, чтоб потакать затеям Айкиз, одерните ее, поправьте,— она ведь еще молодая, неопытная, сама не ведает, на какой риск идет, ей не по плечам груз, который она надумала на себя взвалить, еще, того гляди, оступится, надорвется... А потом ей краснеть придется перед людьми. Однако подобным выступлением он только опозорил бы дочь раньше времени. А позора-то он больше всего и боял-

ся... Да и что греха таить, Умурзаку-ата было приятно, что колхозники так дружно поддерживают его дочь, хвалят ее, верят ей... И в глубине души его шевелился червячок сомнения: а может, напрасны все его страхи и дочь права — иначе ее предложение не прошло бы на «ура»?.. Народ-то убежден, что будут в Алтынсае и вода и хлопок, а народ — это сила, народ — это мудрость.

После собрания Умурзак-ата говорил с дочерью о чем угодно, только не о том, что творилось у него на душе. Ему не хотелось омрачать Айкиз, портить ей настроение. Вон ведь какая она веселая, воодушевленная.

Но ночью он не мог сомкнуть глаз, постель казалась ему жесткой, одеяло жарким, он беспокойно ворочался с боку на бок, взбивал и поправлял подушки, стараясь улечься поудобней. Сомнения и страхи навалились на него с новой силой. Если Айкиз права, так почему Кадыров не соглашается с ней? Ведь ему не занимать ни мудрости, ни опыта. Слава богу, он знает землю и знает цену воде. Что же он так противится замыслам Айкиз? Ладно, за ней готово пойти большинство колхозников, и партбюро — за нее, но ведь и мнение Кадырова нельзя скинуть со счетов. Его слово весомо, как камень. А он считает, что планы Айкиз и ее сторонников построены на песке и могут только отвлечь колхозников от неотложных дел. Что тут возразишь? Сейчас и правда самое горячее время, когда для дехканина не то что день — каждый час дорог. Упустишь драгоценные эти часы — после их не наверстаешь...

Умурзак-ата поднялся утром с постели хмурый, разбитый. Но Айкиз, занятая своими мыслями, не заметила его состояния. Даже не позавтракав, она убежала в сельсовет.

И опять остался старик наедине со своими сомнениями. Все валилось у него из рук. Несколько раз он принимался подметать двор, вдруг застывал на месте, отбрасывал веник и шел в дом. Он осторожно толкал дверь в комнату, принадлежавшую когда-то Алишеру и Тимуру. Обычно она была закрыта, туда не принято было заходить, Умурзак-ата ревностно сохранял все таким, как при Алишере и Тимуре, словно сыновья могли вернуться в эту комнату. Однако сегодня он трижды сюда заглядывал, бесшумно ступая по кошме,

как будто боясь разбудить спящих сыновей, приближался к их портретам, висевшим над кроватями, и долго смотрел на них.

Он спрашивал старшего, Алишера: что ты, сынок, думаешь обо всем этом? В чуть помятой солдатской гимнастерке, в пилотке, лихо сдвинутой набекрень, Алишер выглядел бесшабашно смелым, он открыто улыбался отцу, и тому чудилось, будто Алишер доволен поступками своей сестры. Тогда он переводил взгляд на портрет Тимура, тоже заключенный в простенькую деревянную рамку, и его спрашивал: ну, а ты, сынок, тоже за сестренку? С фронта Тимур не успел прислать ни одной фотографии, поэтому в рамку была вделана старая, довоенная, где заснят он был совсем мальчишкой — в летней рубашке-тенниске, в новенькой чустской тюбетейке, из-под которой выбивалась смоляная прядка. Лицо его дышало задором — ну, конечно, он непременно поддержал бы сестру. Такой же неуемный...

Вздохнув, старик покидал комнату, плотно прикрывая за собой дверь.

Снова взявшись за веник, он заметил, что двор давно уже чисто подметен. Злясь на себя, на свою рассеянность, он швырнул веник под навес, уселся на супе, подобрав под себя ноги. Надо было немного успокоиться, привести в порядок мысли и чувства... Долго сидеть без дела он, однако, не мог и решил заняться починкой сапог. Работа эта всегда доставляла ему удовольствие и спорилась в его руках, но сейчас и она не клеилась. Он терял то дратву, то иглу, то вар и после долгих поисков обнаруживал их под кошмой или лоскутом кожи. Потом куда-то запропастилось шило. Старик долго шарил под кошмой, слез даже с супы на землю, оглядывая все вокруг, потом снова на нее взобрался, плюнул в отчаянии: куда же оно, треклятое, могло подеваться?

И опять привязались к нему мысли об Айкиз. Вот он сейчас мучается, а ведь сам во всем виноват. Надо было мягко, по-отцовски объяснить ей, что она, по молодости, просто не вправе замахиваться на большие дела, к тому ж еще и рискованные. Ведь если она потерпит неудачу, то как будет смотреть в глаза людям? Получится, что она обманула их. И тогда стыда не оберешься, а стыд страшнее смерти... Она и себя опо-

зорит и отца. А ведь Айкиз у него единственная, один свет в окошке... Может, сходить к Кадырову, с ним посоветоваться?

Умурзак-ата засунул в недочиненный сапог иглу, клубок дратвы, кусок черного вара. В сапоге оказалось и проклятое шило — старик даже выругался с досады. Спрятав сапог под кошмой, он поспешил в дом.

Он не стал менять халат, лишь потуже подпоясал его бельбогом да вместо калош надел рабочие сапоги. И зашагал к центру кишлака, где находилось здание колхозного правления.

На главной кишлачной улице царило необычное оживление. Старик нахмурился: с чего это в страдную пору люди шатаются по кишлаку? И у всех рты до ушей, все улыбаются, как будто нынче праздник какой...

Встречные почтительно кланялись ему, прикладывая руку к сердцу, некоторые останавливались, пытаясь заговорить, но Умурзак-ата не склонен был ни с кем беседовать, вид у него был хмурый, рассеянный, он порой даже не отвечал на приветствия. Односельчане недоумевающе пожимали плечами: что это с ним?..

Неожиданно старик остановился. Через улицу, полыхая, как заря, тянулось широкое малиновое полотнище, на котором было выведено крупными белыми буквами: «Преобразуем природу родной земли! Все на борьбу за воду! Все на борьбу за высокие урожаи хлопка!»

Умурзак-ата, вскинув голову, прочитал лозунг, в растерянности поморгал ресницами... Вот оно что. Уж и лозунги успели повесить. Спешит, спешит дочка. А спешка до добра не доводит.

Полотнище было прикреплено к зеленым ветвям тополей, стоявших друг против друга по обеим сторонам улицы. Ветви чуть покачивались под ветром, и полотнище колыхалось, переливаясь алыми оттенками. В этом было что-то не только красивое, но и торжественное, величественное. Люди здесь замедляли шаги, задирали вверх головы; прочитав лозунг, задумывались...

Умурзаку-ата буквы казались огромными, они на весь кишлак вещали о сумасбродной идее Айкиз.

Но почему лишь Айкиз? Тут ведь не обошлось и

без Алимджана, с готовностью подставившего ей плечо. Да, да, это дело и его рук. Вроде ведь неглупый парень... Умурзак-ата в последнее время относился к нему, как к сыну. С любовью и уважением. Да, он достоин уважения. Бывший фронтовик. Вожак колхозных коммунистов. А вот поди ж ты, вместо того чтобы остановить Айкиз, он горячо поддержал ее.

Старик в каком-то недоумении покачал головой и продолжил свой путь.

Он шел и вспоминал недавнее утро, когда Алимджан заглянул к нему и они мирно беседовали, поджидая Айкиз. Алимджан тогда беспокоился об Айкиз... Уж его, Умурзака, не обманешь: неравнодушен секретарь партбюро к его дочери... Вот бы и предостерег ее от рискованного, необдуманного шага. Так нет, он с ней заодно!.. Надо бы потолковать с ним по-свойски, откровенно. Он, наверно, сейчас в правлении. И он должен понять Умурзака-ата... И ему и Айкиз еще не поздно одуматься.

Новый лозунг огнем полыхнул в глаза старика: «Товарищи алтынсайцы! Приведем воду с гор на наши поля! Все на борьбу за воду! Мы победим!»

Лозунг — большой, чуть не во всю стену — рдел на доме Бекбуты. Старик задержался перед ним, долго в него вчитывался и все покачивал головой. Что ж это делается? На своем доме лозунг мог укрепить только сам Бекбута. Он, значит, тоже с Айкиз. Да он и на собрании выступил в ее поддержку... А ведь Бекбута — лучший бригадир в колхозе. Вот и выходит, что передовые люди колхоза — и Алимджан и Бекбута — все на стороне Айкиз! А противостоят ей лишь Кадыров да он, Умурзак-ата... Что-то тут не так. Не может же быть, чтобы все ошибались и лишь двое видели опасность. А вдруг нет никакой опасности, и Айкиз права, и осуществление давней мечты алтынсайцев о воде — вполне реальное дело?

В который уж раз старик перечитал: «Приведем воду с гор на наши поля!» И, как воочию, возникла перед его глазами отрадная картина: по дну широкого канала с шипеньем мчится струя воды, первая струя, а впереди бежит Бекбута, приплясывая и хлопая в ладоши, и струя настигает его, оплетает прохладой его босые ноги, и Бекбута, обезумев от счастья, кричит: «Ое-ой! Вот она, водичка! Вот она, дорогая!» А следом

за водой и бригадиром по обоим берегам канала льется поток колхозников: все в белых рубахах, подпоясанных нарядными бельбогами, и все тоже кричат что-то восторженное, некоторые пытаются даже запеть, и песня то тонет в общем радостном шуме, то выплескивается к небу. Шлепая пятками по воде и перекрывая и песню и беспорядочный гам, Бекбута вопит: «Эй, кто там сомневался в нашей победе? Кто был против нас?»

Умурзак-ата в испуге оглянулся и с усмешкой покачал головой. Привидится же такое, да не во сне, а наяву!.. Видать, не очень-то он уверен в своей правоте. Бекбута зря не вывесил бы лозунг на своем доме, он всегда знает, на что идет. Но тогда, значит, напрасно Умурзак-ата тревожится за Айкиз? Ох, если бы вышло по-ихнему и на заброшенной целине зацвели бы сады, вырос хлопчатник! Приманчиво все это, ох, приманчиво!..

От дум и мечтаний Умурзака-ата пробудил густой бас, раздавшийся над самым ухом:

— Салам, атаджан! [1]

Умурзак-ата, вздрогнув от неожиданности, обернулся и увидел рядом с собой своего соседа Суванкула с большим — по его богатырскому росту — кетменем на плече.

— Салам,— сухо отозвался старик, недовольный тем, что Суванкул помешал его мыслям.— Куда это ты собрался?

— Как куда? Вы разве ничего не слышали? Мы всем колхозом готовимся в поход за водой.

— Значит, вода у нас появилась неведомо откуда?— Умурзак-ата не скрывал иронии.

— Не появилась, так появится. Мы достанем ее хоть из-под земли!

— Разлетелись!.. Что-то до вас никто не мог ее достать.

— Да вы, ата, будто с луны свалились. Вчера же собрание решило...

— Был я на этом собрании,— прервал его Умурзак-ата.— Пошуметь-то вы мастера.

— Да наше решение всеми одобрено. Вы Смирнова из райводхоза знаете?

[1] Атаджан — ласковое обращение к пожилому человеку.

— Знаю. Толковый специалист.

— То-то. Толковый. Так он все подсчитал и сказал, что если мы расчистим родники да Кокбулак вернем к жизни, так зальемся водой! И сам товарищ Джурабаев, секретарь райкома, дал нам «добро». Вы, говорит, великое дело начинаете.

— Великое? Это доподлинные его слова? Ты сам слышал?

— Ну, я при этом не присутствовал, но мне передавали, будто он так и заявил: великое.— Суванкул легко перекинул кетмень с левого плеча на правое.— А вы что, ата, сомневаетесь в этом?

Умурзак-ата промолчал, сделав вид, что не слышал вопроса.

— Не сомневайтесь, все будет в порядке. Товарищ Джурабаев сказал: вы только начните, а там и соседи на подмогу придут. Мы, говорит, затеем большой хашар! [1]

— Хашар? Он так и сказал? — снова переспросил Умурзак-ата, и непонятно было, то ли его обрадовали слова Джурабаева, то ли он усомнился в них.

Неожиданно старик повернулся и, даже не попрощавшись с Суванкулом, заложив руки за спину, быстро зашагал по улице Ленина к правлению колхоза.

— Эй, Умурзак-ата! Куда же вы? — крикнул вслед ему Суванкул.— Нам по пути! Погодите!

Старик даже не оглянулся.

Умурзаку-ата было не до Суванкула, его вновь охватили сомнения. Что ж это делается на белом свете? Его дочка взбудоражила весь кишлак, всех дехкан увлекла своими планами, даже таких опытных, расчетливых, как Бекбута и Суванкул. По словам Суванкула, и инженер Смирнов на ее стороне. Тут остается только руками развести... Ведь столько уж лет знает Умурзак-ата инженера — с тех пор, как тот мальчишкой пришел работать в райводхоз. Потом он уехал учиться в Москву, оттуда попал на фронт... Воротился с войны уже с белыми висками. «Жизнь-то бежит, Иван-ака, ты успел за эти годы опыта поднабраться, и мысль у тебя стала зрелая. И ты Айкиз поддержи-

---

[1] Хашар — коллективная работа, взаимопомощь соседей.

ваешь? Да если бы только ты один, а то вон и Джурабаев поверил в ее затею. Джурабаев, секретарь райкома, уважаемый человек, тоже бывший фронтовик. Это что же получается? Все верят дочке, кроме родного отца! Может, глаза у меня уже слабые, и я не в силах разглядеть то, что увидела Айкиз? Как же мне теперь быть-то? Грех это, против всех-то идти. Да ведь и дочку толкать на такое рискованное дело тоже грешно. Ну-ка споткнется? Совсем ведь еще девчонка, боязно за нее...»

Здание, где размещалось правление колхоза, находилось на перекрестке двух улиц. Сливаясь, они образовывали площадь, где обычно проходили многолюдные митинги и собрания. Приближаясь к этой площади, Умурзак-ата все больше удивлялся: и улица, по которой он шел, и площадь были запружены народом. Старик придержал шаг, присматриваясь и прислушиваясь, и вдруг заспешил вперед, шаркая по дороге тяжелыми сапогами, бесцеремонно расталкивая толпившихся на улице дехкан.

На низком каменном крыльце колхозного правления, рядом с Айкиз и Алимджаном, стоял инженер Смирнов, он говорил что-то, обращаясь к толпе, но из-за шума голосов старик не слышал его и еще усиленней заработал локтями, настойчиво пробиваясь поближе к крыльцу.

Внезапно он вздрогнул, оглушенный взрывом дружного хохота. Спустя минуту дехкане снова захохотали, еще веселей и раскатистей. Умурзака-ата грызли зависть и досада: как он ни напрягал слух, ему не удавалось поймать ни словечка из речи Смирнова. А тот, видимо, сыпал шутками, потому что площадь снова грохнула смехом и люди долго не могли успокоиться.

Иван Никитич Смирнов, и родившийся и закончивший школу в Самарканде, отлично владел узбекским языком, знал много острых пословиц, веселых аский[1] мудрого Насреддина Афанди и любил сдабривать ими свои выступления.

Умурзаку-ата так хотелось послушать Смирнова, что он принялся всем корпусом таранить толпу. Раздались голоса:

— Эй, кто там сзади толкается?

---

[1] Аския — шутка, острота.

— Нормат! Ты что, мусалласа[1] с утра глотнул?

— Я уж давно его не пробовал.

— С чего же ты на меня навалился?

— Да я не виноват, это старик какой-то прет напролом, словно бешеный верблюд.

— Эй, молодежь!.. Нельзя так о старом человеке...

— Прошу прощения... А толкаться — можно?

— Вай, братцы, да это Умурзак-ата!

— Точно, он. Куда ж это он так торопится?

Умурзак-ата не обращал внимания на эти шутливые реплики и продолжал прорываться к крыльцу. Когда он наконец очутился в первых рядах толпы, кто-то положил ему руку на плечо:

— О-о, почтенный ровесник! Ассалом алейкум. Постой-ка со мной, не то ты, словно танк, людей передавишь.

Это был садовод Халим-бобо. Умурзак-ата как-то ошалело глянул на него, но остановился, буркнул не слишком-то приветливо:

— Здравствуй, уважаемый. А ты, гляжу, раньше всех сюда поспел?

— А как же. Мы с тобой всюду должны быть первыми — молодежи пример подавать.

— Не больно она с нами считается, молодежь-то.

— Это ты о ком?

— Неважно.

— Что-то ты нынче не в духе, почтенный ровесник.

На них зашикали:

— Аксакалы, можно потише? Мешаете слушать.

Старики примолкли, и до Умурзака-ата донесся задорный голос Смирнова, который рассказывал очередную историю:

— Как-то у Афанди разболелось ухо. Покраснело, распухло. Увидел его ишан, спросил с издевкой: ты что, мол, Афанди, у ишака ухо-то занял?.. А тот спокойно так отвечает: что делать, святой отец, вам от ишака ум достался, а мне пришлось ухом довольствоваться...

Казалось, над площадью прокатился пушечный залп, эхом откликнувшись в горах.

Халим-бобо, вдоволь нахохотавшийся над прежними шутками Смирнова, видно, уже обессилел и смеял-

[1] Мусаллас — сорт вина.

ся беззвучно, схватившись руками за тощий живот и тряся головой, словно кому-то кланяясь. Не удержался от смеха и Умурзак-ата, хотя он и не слышал, о чем до этого толковал инженер.

Смирнов поднял руку, призывая дехкан к тишине, и заговорил уже серьезно:

— Вот как умел осадить Афанди своих противников. Будем же и мы мудрыми, как наш Афанди. И скажем тем, кто сомневается в успехе нашего дела, в реальности планов, которые мы разработали по инициативе Айкиз: да, Айкиз молода, но молодость — это смелость! И не случайно именно в молодую голову пришла дерзкая идея — найти, добыть воду и освоить Алтынсайский массив. Дерзкая, но осуществимая!

Голос у Смирнова был по-мальчишески звонкий.

— Кто-то, возможно, и прежде об этом задумывался. Но до революции не под силу было дехканам претворить подобные идеи в жизнь. Да и куда бы пошла вода? На поля ишана Кабулходжи и его алчного сынка Азимбая. Нынче же вы — хозяева земли и воды! И сил у вас хватит, чтобы горы свернуть. Вы, правда, как-то привыкли к тому, что, мол, воды здесь нет и взять ее неоткуда. Заслуга Айкиз в том, что она смогла перешагнуть через привычные представления! И заявила: вода есть! Прямо скажу — на слово мы ей не поверили. Но, обсудив ее идею, все подсчитав и перепроверив, пришли к выводу, что она права. Опираясь на составленный нами проект, можно смело утверждать: вода будет. Дело за вами, товарищи! Надо дружно, энергично, засучив рукава взяться за работу!

Из толпы послышались возгласы:

— Сколько же ее все-таки будет, воды-то?

— Верно, инженер: мы должны знать, стоит ли овчинка выделки?

— А то как бы не вышло, как с тем ослом: холостили его — пятак потратили, а мыла, чтоб руки вымыть, купили на гривенник!

Смирнов рассмеялся:

— Понятно, друзья, к чему вы клоните. Ну, если я назову вам такую цифру — воды хватит для четырех-пяти тысяч гектаров земли,— вас это удовлетворит?

— Цифру руками не потрогаешь!

— Ты подоходчивей, инженер.

— Подоходчивей так подоходчивей,— согласился

Смирнов.— Тогда я так скажу: воды вы получите столько, сколько необходимо для орошения Алтынсайского массива.

— Значит, все предгорные земли можно будет поднять? Вот это здорово!

— Инженер! — надтреснутым, сорвавшимся голосом выкрикнул Халим-бобо.— А если новые сады разбить, так для них воды хватит?

— Хватит, хватит!

— Вот это славно!..— Халим-бобо, откашлявшись, вытер тыльной стороной ладони усы, повернулся к Умурзаку-ата.— Ну, что скажешь, почтенный?

Тот недовольно нахмурился: не мешай, мол, послушаем еще инженера.

Но Смирнов уже сходил с крыльца. Толпа пришла в движение, дехкане окружили инженера, Алимджана, Айкиз, те едва успевали отвечать на вопросы.

Халим-бобо снова обратился к Умурзаку-ата:

— Так как, почтенный? Выходит, скоро расцветет наш Алтынсай?

Лицо у него так и сияло.

И Умурзак-ата, неожиданно для самого себя, кивнул утвердительно:

— Пожалуй, что и так.

— То-то! — почему-то торжествующе проговорил Халим-бобо, словно ему удалось победить старого друга в тяжком споре.

Он тут же исчез куда-то, а Умурзак-ата некоторое время стоял, заложив руки за спину, морща лоб... Он с удивлением чувствовал, как рассеиваются последние его сомнения. Ведь и правда неплохо это было бы, если б земля алтынсайская вспенилась хлопком, зацвела новыми садами... Ради этого он сам готов трудиться не покладая рук.

Ему хотелось подойти к дочери, Алимджану, Смирнову, послушать, о чем они там говорят, но он передумал и медленно побрел через площадь обратно, по направлению к дому. Он шел, уставясь взглядом в землю, и все боялся, что кто-нибудь его окликнет, остановит, начнет приставать с докучными, бередящими душу вопросами, а когда он свернул за угол, то ему вдруг стало обидно, что никто его так и не задержал...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В полдень к зданию райкома партии подкатила серая, какого-то пыльного цвета, но совершенно еще новенькая «Победа». Из нее вылез Кадыров. Встретившись на крыльце со Смирновым, он затеял с ним разговор, выжидательно поглядывая на дорогу.

Спустя минут десять на ней показалась «эмка», старая, доживавшая уже, видно, свой век, с помятой крышей и залатанными крыльями.

По правую сторону от крыльца скромненько стоял чей-то «Москвич», и «эмка», казалось, должна была остановиться возле него, поскольку там было попросторней, но она, затормозив, пристроилась рядом с «Победой» — так сказать, на добрососедских правах.

Из «эмки» вышли Айкиз, Алимджан и Умурзак-ата.

Когда они вступили на крыльцо, Кадыров сказал насмешливо:

— Опаздываете, дорогие. Уже теперь опаздываете. А что будет дальше? С такими-то темпами вам курицу не поймать, не то что целину осваивать!

— А мы умышленно старались держаться от вас на почтительном расстоянии,— не остался в долгу Алимджан. Он снял тюбетейку, хлопнул ею о ладонь, стряхивая дорожную пыль, и добавил: — Вы же такую пылищу подняли, что мы ослепнуть могли.

Смирнов с еле заметной иронией заметил, косясь на Кадырова:

— Плохо это — пускать людям пыль в глаза.

Кадыров насупился, соображая, как ему реагировать на эти слова, но так ни до чего и не додумался и хмуро бросил:

— Усманов из «Октября» уже здесь,— он показал головой на «Москвич».

— Вот видите, председатель! — улыбнулся Алимджан.

— Что я должен видеть?

— Вы все твердите, что, мы, мол, взваливаем на себя груз не по плечам.

— Ну?..

— А Усманов-то, сами сказали, уже здесь.

— При чем тут Усманов?

— А при том, что он, видно, хочет и свои плечи под этот груз подставить. Добровольно!..

Кадыров исподлобья метнул на Алимджана злой взгляд и ничего не ответил. Гулко потопав по каменному крыльцу запыленными сапогами, он взялся было за ручку двери, чтобы войти в помещение райкома, но в это время за дверью раздались голоса, она отворилась, и на крыльцо высыпала группа людей, с ними был и секретарь райкома Джурабаев.

— О! Алтынсайцы приехали! — воскликнул он обрадованно.— Вовремя, вовремя. Хотя жаль, что не прибыли чуть раньше, я тут с учителями беседовал, не мешало бы и вам принять участие в этой встрече. Умурзаковой — в особенности... То, о чем мы толковали, всех вас касается. Правильно, товарищи? — он обращался уже к учителям.

Айкиз удивляло, как это Джурабаев успевает сразу делать несколько дел; вот и сейчас с одними он здоровался, с другими прощался и одновременно разговаривал и с приехавшими и с уходившими.

Он вообще был не по возрасту подвижным, общительным, энергичным, — полная противоположность Кадырову!

Сегодня на нем была светло-серая офицерская гимнастерка из тонкой шерсти, подпоясанная ремнем,— она очень шла к его ладной фигуре и гармонировала со всем его обликом: седеющими, но все еще волнистыми волосами, открытым, ясным, спокойным взглядом, ровным, матовым цветом лица.

На лице этом особенно выделялись и привлекали мелкие лучистые морщинки вокруг карих глаз. Тем, кто хорошо знал Джурабаева, трудно было представить его без этих морщинок: казалось, они появились у него еще в юности... Однако со временем их становилось все больше и больше, но они не старили Джурабаева; как и сам, они были подвижные, изменчивые и, в зависимости от того, о чем и с кем он разговаривал, то смеялись, то темнели, обретая резкость и глубину, то опять начинали словно бы светиться. А может, это смеялись, темнели, светлели глаза Джурабаева, таившие — нет, не таившие, а, наоборот, излучавшие ум, доброту, житейскую мудрость. Даже когда они темнели, в них все-таки дрожал свет.

Джурабаев был невысок, но плотен и плечист, от него веяло скрытой силой. По особой походке, по устоявшейся привычке держать голову склоненной немно-

го вперед и вправо, как будто он летел на коне в сабельную атаку, все, кому тоже довелось повоевать, безошибочно угадывали в Джурабаеве бывшего кавалериста.

Войдя вместе с секретарем райкома в его кабинет, алтынсайцы увидели там не только Усманова, председателя колхоза «Октябрь», но и представителей еще двух колхозов — «Победы» и «Первого мая».

— Рассаживайтесь,— радушно предложил Джурабаев и поглядел на Айкиз.

Айкиз почувствовала беспокойство, потому что морщинки вокруг глаз Джурабаева, еще недавно светлые, сделались глубже, строже, темней.

И он заговорил озабоченно:

— Вам, Айкиз, надо бы обратить внимание на положение в школах вашего сельсовета. Мы порой слишком увлекаемся хозяйственными вопросами, а школы остаются вне поля нашего зрения. А ведь заботиться о подрастающем поколении — важнейшая наша обязанность! Школа — это кузница людей будущего, строителей коммунизма! Тут малейшее упущение грозит серьезной бедой. Вы забыли про школы, и вот к чему это привело: в прошлом году в алтынсайской средней школе было восемь второгодников, в нынешнем, по всем признакам, их будет еще больше. Тревожные симптомы, товарищи! Рост подобных «показателей» нам совсем ни к чему, а несут за это ответственность и сельсовет, и председатель колхоза, и колхозная партийная организация. Что вы намереваетесь предпринять, товарищи?

Айкиз, понимая всю справедливость упрека, опустила глаза, некоторое время молчала, потом, собравшись с духом, твердо заявила:

— Вы правы, товарищ Джурабаев, школу мы както упустили из вида. Будем исправлять положение. Честное слово, больше я этой ошибки не повторю.

Джурабаев перевел вопросительный взгляд на Алимджана. Тот, видно, тоже был сильно смущен, но глаз не отвел.

— Моя вина, товарищ Джурабаев. Мы, правда, недавно на бюро обсуждали вопрос о посещаемости школы... С этим тоже не все ладно. А вот успеваемости как-то не придали значения...

— Ну да, забота об успеваемости — это, мол, де-

ло самой школы. Ну и органов народного образования. Для партийной же организации это слишком мелкий, частный вопрос... Хорошо еще, хоть о посещаемости поговорили... Только как можно разделять эти проблемы: посещаемость и успеваемость. Не успевать в школе — это все равно, что не посещать школу. Вам, товарищи, известна установка партии на всеобщее обучение. Установка эта в районе в общем выполняется. Но не успокаивают ли нас количественные данные, не забываем ли мы при этом о качественной стороне дела? Хорошо, что за парты садится все больше детей. Но важно еще — как мы их воспитываем, как учим?

Джурабаев неожиданно повернулся к Умурзаку-ата:

— Я верно говорю, отец?

Застигнутый врасплох, старик вскинул свои лохматые брови, пожевал губами, неторопливо произнес, поглаживая бороду:

— Верно, сынок, верно. Неучей-то нам растить не расчет. Ведь это им, ребятишкам, суждено продолжать дело отцов, новую жизнь строить. А даже я и то теперь вижу: без науки ее не построишь. Без науки нынче и шагу не ступишь. И в нашем, крестьянском деле без нее не обойтись. Ни урожаев добрых не вырастишь, ни канал не пророешь.— Старик почему-то поглядел на Смирнова и с каким-то значением добавил: — Воду вот добывать тоже надо по науке...

Он замолчал, наступила пауза...

В кабинете было чуть душновато. Джурабаев расстегнул воротник гимнастерки, вытер платком шею. От шеи тянулся к плечу и прятался под гимнастеркой темный, давно зарубцевавшийся шрам.

Алимджан скользнул по нему взглядом, задумался...

Впервые он увидел этот шрам еще в детстве, перед войной. Была тогда уборочная страда, и Алимджан наблюдал, как один из колхозников, Юлчи, работал на лобогрейке. Что-то у него не ладилось. Джурабаев, приехавший в Алтынсай и заглянувший на богару, подозвал к себе Юлчи, поговорил с ним и, видно, решил показать, как надо управляться с лобогрейкой. Сняв рубашку и майку, он кинул их на сухую стерню и направился к машине.

Алимджан так и замер, приметив у него на шее глубокий длинный шрам — след сабельного удара. А Алимджан и не знал, что Джурабаев сражался в

гражданскую. Он видел перед собой живого героя войны. Мальчика охватил благоговейный трепет. Он, помнится, хотел спросить у Джурабаева, как и где его ранило, но тот уже взбирался на круглое железное сиденье лобогрейки. И тут в глаза Алимджану бросился второй шрам, темневший на спине, под последним ребром — рваный, бугристый... «А это, наверное, осколочное ранение»,— подумал потрясенный Алимджан. Он чуть не побежал следом за лобогрейкой...

Голый по пояс, Джурабаев повел машину вдоль желтой стены несжатой пшеницы. На него сыпались колючие колосья, нагретые солнцем, он отбивался от них, ловко орудуя вилами. Юлчи, смущенный, обескураженный, стоял рядом с Алимджаном, не зная, что ему делать: то ли догнать лобогрейку, то ли терпеливо ждать, пока Джурабаев объедет круг.

Алимджан не отрывал глаз от Джурабаева.

Ныне и сам он, пройдя огонь сражений, носил на теле знаки солдатской доблести — затянувшиеся шрамы от ранений, полученных на фронте. Невольно он пощупал свою руку повыше локтя и, почувствовав под гимнастеркой твердый рубец, подумал с удовлетворением и гордостью: вот и у него теперь боевое прошлое, и это роднит его с Джурабаевым, старшим товарищем по партии.

Алимджан считал себя воспитанником Джурабаева.

Еще тогда, на богаре, восхищаясь Джурабаевым и завидуя его ранам, Алимджан сказал себе: вот с кого он должен брать пример. Позднее он более подробно познакомился с биографией секретаря райкома, и это укрепило его в решении: во всем быть на него похожим!

Незадолго до войны Джурабаев баллотировался по Алтынсайскому избирательному округу в состав Верховного Совета республики. Комсомолец Алимджан был его доверенным лицом. С увлечением рассказывал он избирателям о жизни Джурабаева. Это была трудная, яркая жизнь... Еще в молодости получил он первое боевое крещение. В двадцатые годы по приказу Михаила Васильевича Фрунзе курсанты Ташкентского военного училища, в их числе и Джурабаев, были направлены в восточную Бухару, на борьбу с басмачеством. Долго служил Джурабаев в красной кавалерии, о

его храбрости ходили легенды, немало басмаческих голов слетело под ударами его быстрой сверкающей сабли, одно его имя наводило страх на бандитов... В то время и сам он был не однажды ранен...

Когда с басмачами было покончено, Джурабаева послали учиться в Ташкент, в Комвуз, и после пяти лет занятий он целиком отдался партийной работе.

В первые же дни Великой Отечественной войны испытанный фрунзевец вновь сел в боевое седло. Он познал и горечь отступления и радость первых побед — под Москвой и Сталинградом. Долгий путь он проделал, завершившийся в начале сорок пятого года наступлением на Кенигсберг. Там его ранило, многие месяцы кочевал он по госпиталям, пока наконец не вернулся в родной Алтынсай и снова не принял руководство районом.

Об этом Алимджану стало известно уже тогда, когда сам он демобилизовался из армии и приехал в Алтынсай.

Природное здоровье и железная воля помогли Джурабаеву справиться с последствиями тяжелых ранений, и выглядел он сейчас свежо и молодо, несмотря на седину и густую сеть морщинок вокруг глаз. Пожалуй, никто не дал бы ему больше сорока лет, хотя он был уже на подступах к пятидесятилетию.

Алимджан смотрел на его, такие знакомые, морщинки — они стянулись в веселые лучики. Обращаясь к Умурзаку-ата, Джурабаев сказал шутливо:

— Ловко же вы подвели нас к повестке дня. Что ж, поговорим о самом главном, самом заветном — о воде...

Алимджан провел ладонью по лицу, словно сгоняя воспоминания, и весь превратился в слух.

— Проблема воды всех нас волнует,— продолжал Джурабаев.— Вода — наша извечная мечта и забота, С водой у нас радость, без воды горе. Впрочем, вы это и без меня хорошо знаете...

— Ага, знаем,— совсем по-детски отозвалась Айкиз.

Морщинки вокруг глаз Джурабаева задрожали — он смеялся.

— В вас, Умурзакова, я и не сомневался. И сразу скажу: вы затеяли доброе дело, и очень хорошо, что так пылко его отстаиваете. Но вот поди ж ты,— Джурабаев развел руками, и в глазах его засветилось лу-

кавство,— вы еще не успели приступить к осуществлению своих планов, а на вас уже жалуются.

— Кто жалуется? — вырвалось у Айкиз, но она тут же, кляня себя за несдержанность, прикусила язык. И почему-то оглянулась на Кадырова.

— Да вот соседи ваши.— Джурабаев показал рукой на представителей колхозов «Октябрь», «Победа» и «Первое мая».— Они заявились сюда с утра пораньше, чтоб выразить свое недовольство.

Все взгляды устремились на «жалобщиков». Айкиз, Алимджан и Смирнов смотрели на них чуть настороженно и недоуменно, Кадыров — с некоторым высокомерием и скрытым злорадством (не я, мол, один не в восторге от планов Умурзаковой!), а Умурзак-ата с тревогой и затаенным страхом. Джурабаев, взглянув на него, даже удивился: что это со стариком?

Айкиз тихо спросила:

— Чем же они недовольны?

— А вы спросите их, они сами вам доложат.

Теперь уже в каждой джурабаевской морщинке отражалось лукавство.

С места поднялся Усманов, председатель колхоза «Октябрь». Лицо у него было хмурое:

— Товарищ Джурабаев, лучше уж вы... Умурзакова-то, может, и поймет все. Да боюсь, Кадыров меня и слушать не станет... Да... Вы ведь знаете его характер. Что ему другие? Он только о себе и печется. Да... Всегда норовит свою лепешку поближе к огню подвинуть.

Тут уж пришла очередь недоумевать Кадырову. Он тяжело, исподлобья поглядел на Усманова:

— Что ты несешь? Какую еще лепешку?

— Я в том смысле, что для тебя превыше всего — собственное благополучие, собственные интересы!

Кадыров уже наливался яростью, еще не понимая, собственно, куда клонит Усманов.

— Легче на поворотах, дорогой! Какие у тебя факты, чтоб предъявлять мне подобные обвинения?

— Какие тебе еще факты? Что ты на меня взъелся? Всем в районе известно, что только о своем колхозе ты и думаешь, а до других тебе дела нет. Да.

Кадыров внезапно успокоился.

— Вот ты о чем. Ну, это верно, думаю я о своем

колхозе, забочусь. Вот и ты заботься о своем на здоровье.

Усманов, тоже поостыв, буркнул:

— С тем и приехал.

— Товарищи, без излишних эмоций! — прекращая их перепалку, сказал Джурабаев.— Дорогие друзья-алтынсайцы, я попробую изложить главные претензии ваших соседей. Они жалуются, что вы хотите забрать себе всю воду, которую найдете. Это раз. Что водохранилище собираетесь строить только для своего колхоза. Это два. И также своими силами намерены сооружать канал и плотину, дабы потом никто не имел права посягнуть на вашу воду. Это три. Вот и получается, что все вы печетесь только об интересах колхоза «Кызыл юлдуз».

Айкиз и Алимджан весело переглянулись.

Подняв руку, как в школе, Айкиз спросила:

— Разрешите, я отвечу?

— Говорите, Айкиз,— поощрительно кивнул Джурабаев.

— Ну, так вот, соседи напрасно беспокоятся. Алтынсайцы как раз очень рассчитывают на их помощь. И, естественно, если они помогут, то вода будет распределяться поровну между всеми.

— Уж не сомневайтесь — поможем! — горячо заверил ее Усманов.— Для такого дела не пожалеем сил,— все бросим на расчистку родников, на стройку. Да... Говорят, если двое за валун возьмутся, так сдвинут его, а если трое, то перенесут на другое место.

Айкиз между тем достала из сумочки, лежавшей у нее на коленях, блокнот и, заглянув в него, подождав, пока Усманов закончит говорить, медленно произнесла:

— Мы были уверены, что соседи подключатся. И в связи с этим внесли некоторые изменения в первоначальные планы и расчеты. В этом нам очень помог Иван Никитич, мы глубоко ему признательны. Он принял самое активное участие в разработке проекта. Но пусть лучше он сам скажет о своих соображениях и выводах.

Джурабаев взглянул на Смирнова:

— Вам слово, Иван-ака.

«Иван-ака» — так любовно называли Смирнова все колхозники. Во всем районе, включая самые отдален-

ные кишлаки, не нашлось бы, пожалуй, никого, кто не знал бы и не уважал Ивана Никитича. Высокий, сухощавый, со светлыми волосами, синими глазами и крупной, величиной с горошину, родинкой на подбородке, он при первом знакомстве казался воплощением спокойствия и доброты. Но стоило ему начать говорить, как это впечатление пропадало. Он не говорил, а словно спорил с кем-то, ершисто, задиристо, и глаза у него из добродушно-синих становились серо-стальными, а родинка будто бледнела...

Как и Джурабаеву, Ивану Никитичу было уже под пятьдесят, но и он выглядел моложаво, сохранил удивительную подвижность, не чувствовал своего возраста и любил шутливо повторять: «Стареть нам некогда, дел еще сверх головы, а пятьдесят лет — для мужчины пора расцвета!»

Как всегда, одет он был сейчас в косоворотку с закатанными по локоть рукавами, с расстегнутыми верхними пуговицами, на ногах — сапоги с узкими аккуратными голенищами. Не расставался он и с армейскими брюками, застиранными до белесого цвета,— в них было удобно и ездить верхом и ходить по полям и горным тропам.

Раскрыв старую полевую сумку, сохранившуюся еще с фронтовой поры, Смирнов вынул из нее очки, протер их платком, надел, потом из той же сумки извлек большой блокнот и чуть надтреснутым, словно простуженным голосом, какой обычно бывает у людей, часто и много разговаривающих на открытом воздухе, начал, вскинув голову:

— Хвала алтынсайцам, почин их поистине неоценим! Против этого, думаю, никто не станет возражать.— Он немного помолчал, оглядывая всех так, словно как раз и ожидал возражений.— Для начала мы осуществим идею алтынсайцев в масштабах лишь одного, нашего района. Но я уверен, у нее найдется масса последователей. Да, да, она, несомненно, увлечет всех передовых людей республики!.. Вот увидите, стоит нам добиться успеха, как многие колхозы горных долин тотчас же, по нашему примеру, бросятся искать воду. Думаете, преувеличиваю? Ничуть! И смело заявляю: на этом пути их ждет удача!

Еще раз окинув собравшихся пытливым взглядом:

как-то встретили они это его заявление, Смирнов полистал блокнот, произнес уже спокойней:

— Да, алтынсайцы, прямо скажу, молодцы. Но и они учли еще не все свои возможности! Они ведь полагаются в основном на водные ресурсы двух горных речек, Янгаксая и Узумсая, ну и родников, которые находятся в их долинах и пока запущены, забиты горными породами, затянуты илом. Но запасы воды в них солидные. Это уж подсчитано, ведь так? Я вчера в долине Янгаксая набрел еще на один родник, безымянный, как десятки других. Никто на него до этого и внимания-то не обращал, вода его бежала еле заметной струйкой. А когда я копнул его саперной лопаткой, которую иногда беру с собой, так из его недр вырвалась струя настолько сильная, что уже сама себе начала расчищать путь, раскидывая ил и камни. Поверите ли, у меня сердце забилось, как у юноши. Давно я не испытывал такой радости. Эта струя, чудилось, вместе со щебнем отбрасывала в сторону и все сомнения, какие у нас могли еще быть. Ведь кое-кто сомневается в реальности наших планов, разве не так? Так вот, я готов повторять и повторять: и родники и обе речки богаты водой! Но это еще не все. Основная масса влаги сосредоточивается в реках весной — в пору ливней и интенсивного таяния снега. И это, так сказать, вода «преходящая»: сегодня ее в избытке, завтра — ни капли. Но в наших силах, друзья, задержать ее, собрав в одно место. Мы предполагали строить водохранилище, чтобы копить в нем, как в огромной чаше, воду Янгаксая и Узумсая. А нам еще можно рассчитывать и на паводки и на весенние дожди. Сколько, вы думаете, мы сумеем в этом случае оросить земли? Не менее четырех тысяч гектаров! Заманчиво, не правда ли?

— А полмиллиона гектаров оросить — еще заманчивей! — с насмешкой бросил Кадыров.— Я-то полагал, Иван-ака, что вы трезвый реалист, а вы в фантазию ударились...

— Нет, это не фантазия! Я как раз исхожу из трезвого взгляда на положение вещей. И лишний раз убедился в реальности наших планов вот сегодня, когда товарищи из других колхозов с такой охотой предложили алтынсайцам свою помощь. Им тоже нужна вода, и они верят, что мы в силах ее добыть, если возь-

мемся за дело всем, так сказать, миром. Работа по объединению всех наших водных ресурсов одному колхозу, возможно, и не по плечу. Но коль скоро у алтынсайцев объявились добровольные помощники, то теперь ясно: мы добудем воду!

— Иван Никитич,— спросил Джурабаев,— а что вы думаете о Кокбулаке?

— Я пока не включал его в свои расчеты. Правда, все говорят, что это был мощный родник. Но удастся ли его отрыть? Он ведь взорван и основательно завален горными породами.

— Партийное бюро,— сказал Алимджан, —поручило мне возглавить бригаду, которая будет работать на Кокбулаке.

— Ну, значит, за Кокбулак мы можем быть спокойны,— с улыбкой промолвил Джурабаев.— Алимджан у нас закаленный фронтовик и уж добьется своего — разыщет и раскопает этот клад.— Он повернулся к Смирнову.— Иван Никитич, как я понимаю, вы водами Алтынсая хотите оросить весь предгорный массив. Но каким образом вы заставите Алтынсай изменить направление, «податься» к целинным землям? Ведь он течет по очень глубокому ущелью.

— Верно, ущелье глубокое, но пусть это никого не пугает — оно ведь в то же время узкое, с устойчивыми гранитными берегами. Тут удобно поставить плотину. А это поможет нам «поднять» воду Алтынсая на должную, так сказать, высоту. Вот посмотрите...

На этот раз Смирнов достал из полевой сумки чертеж и принялся его разворачивать. Чертеж был исполнен на довольно обширном листе толстой ватманской бумаги, но поскольку этот лист инженер предварительно аккуратно разрезал по сгибам, а потом подклеил узкими полосками белой бязи, то бумага легко складывалась и умещалась в сумке. Разложив на столе перед Джурабаевым ватман, весь испещренный цифрами, синими линиями, красными кружками, Смирнов ткнул пальцем в место, отмеченное красным крестом:

— Видите, тут сходятся в узел голубые жилы — это Янгаксай и Узумсай. Ущелье, в которое они вливаются, мы перегородим плотиной — вот здесь, где крестик. Сооружение плотины позволит нам собрать воду двух горных речек, пополненных расчищенными родниками, в естественном резервуаре, то есть в Алтынсайском

ущелье, которое мы превратим в большое водохранилище.

Смирнов показал на голубой кружок. Увлекшись, он не замечал, что уже все столпились вокруг стола и напряженно следят за каждым его движением.

— Отсюда, от плотины,— он провел по чертежу пальцем,— под прямым углом к реке возьмет начало канал, который мы поведем вниз, к землям Алтынсайского массива.— Тут Смирнов сделал паузу и почему-то сердито оглядел присутствующих.— На создание этого крупного оросительного комплекса уйдут год-полтора. А вы ведь хотите собрать первый хлопок уже в этом году, не так ли?

Можно было подумать, что сейчас инженер начнет доказывать нереальность этих намерений. А он сказал:

— Что ж, это вполне возможно. Вот, глядите. От Янгаксая тянется к кишлаку и предгорным землям старый арык. Если мы его реконструируем — углубим, расширим, удлиним, то сможем использовать воду Янгаксая, объем которой увеличится в связи с расчисткой родников в Янгаксайской долине уже нынешними весной и летом. Этой воды вполне хватит для того, чтобы оросить несколько хлопковых участков. Устраивает вас это?

Послышался одобрительный шум. Джурабаев пристально посмотрел на Смирнова.

— Вы, Иван Никитич, говорите так, как будто абсолютно уверены в исходе битвы за воду. И уже видите чертеж воплощенным в жизнь даже в деталях.— Заметив, как воинственно нахмурился инженер, он поднял вверх руки.— Нет, нет, это я не в хулу вам, а в хвалу! Мне как раз по душе ваш оптимизм. Но представляете, какие нас ждут трудности? Одна плотина чего стоит. Достанет ли у нас сил и средств для сооружения этакой махины? А тут еще и другие работы. Справимся ли мы и с тем, и с другим, и с третьим?

Щурясь, Джурабаев обратился к собравшимся:

— Как вы считаете, друзья?

Ему никто не ответил, но у всех на лицах написано было: справимся! Лишь Кадыров улыбался скептически; впрочем, он тут же погасил усмешку и принял отсутствующий вид: мол, меня все это не касается, и уж во всяком случае я не намерен отвечать за чужие грехи.

Пронзительно-синие глаза Смирнова потемнели, он твердо проговорил:

— Не беспокойтесь, мы обо всем подумали. В тело плотины мы, например, заложим серый и красный гранит, эти горные породы у нас под рукой. И взрывников нам дадут, я уже договорился. Ну, а все остальное будет зависеть от непосредственных строителей — от колхозников. Не скрою, им придется приложить немало труда, чтобы и родники расчистить, и реконструировать Янгаксайский арык, и построить плотину, канал, водохранилище...

Представители колхозов-соседей зашумели, перебивая друг друга:

— Чего-чего, а камни-то мы таскать сможем!

— Работой наших богатырей не испугаешь!

К ним присоединила свой голос и Айкиз:

— К труду нашим колхозникам не привыкать!.. Не забывайте еще, что за годы войны у них прибавилось и опыта и сил, вернее — сознания своей силы.

Джурабаев снова обратился к Смирнову:

— Значит, по вашим подсчетам, мы получим по Алтынсайскому сельсовету четыре-пять тысяч гектаров орошенных земель? Что ж, овчинка, как говорится, стоит выделки. Это дело государственной важности. Иван Никитич, как по-вашему, в чем у нас будут главные трудности?

— Вся загвоздка в грунте. Это и впрямь твердый орешек: скалы, камень, гранит. Одними кетменями да лопатами тут не обойтись, строителям придется орудовать и кирками и ломами. Естественно, от всех потребуется предельное напряжение сил.

— Ничего! — сказал Усманов.— Вода, которая придет на наши поля, все окупит.

— Почти все работы, по-видимому, будут выполняться вручную? Так, Айкиз? — спросил Джурабаев.

Айкиз почему-то смутилась, словно чувствуя себя в чем-то виноватой:

— Да, вручную. А что делать, товарищ Джурабаев?

Морщинки вокруг глаз Джурабаева сплелись в густую сетку — он задумался...

Смирнов, считая разговор законченным, сложил чертеж, спрятал его вместе с блокнотом в свою полевую сумку.

Все молчали.

И тогда Джурабаев всем корпусом повернулся к Умурзаку-ата, который сидел, опустив голову, разглядывая свои сухие, в узловатых жилах руки:

— Отец, хотелось бы, чтоб и вы высказались. Для нас много значит ваше мудрое слово.

Умурзак-ата встал с места, направился было к столу, но остановился на полдороге и, прижав обе ладони к груди, проговорил:

— Сынок, я вижу, вы все твердо решили добыть воду. Понаблюдал я и за колхозниками нашими, они так и рвутся в бой... Что ж, дело благое. Уж и не помню, когда бы наш народ не мечтал о воде. Вода для нас — это жизнь.— Он замялся.— Только вот что я хочу сказать...

— У вас есть какое-то пожелание, отец?

— Нет, сынок...

— Может, посоветовать что хотите?

— Да нет... — Старик оглянулся в растерянности, словно ища поддержки, но все смотрели на него выжидающе, не понимая, что его смущает.— Сомнение одно у меня...

— Вот как? Так поделитесь с нами, отец. Может, у вас и есть основания в чем-то усомниться. В таком деле, за которое мы беремся, нужна полная ясность, все должно быть подробно обговорено.

— Сынок... — Взгляд старика был устремлен уже на одного Джурабаева.— Проект-то ведь составляла моя дочка, Айкиз... А она совсем еще молодая. Я вот и сомневаюсь: не допустила ли она какой оплошки?

Джурабаев заулыбался добродушно и дружелюбно:

— Ай-яй, ата, что же это вы сомневаетесь в собственной дочери?

— Боюсь я за нее. Молодость-то под ноги себе не смотрит, а ну оступится?

— Да, отец, молодость смотрит вперед, и это отлично! Вам надо не бояться за свою дочь, а гордиться ею. Ну, а оступиться мы ей не дадим. Ведь все ее расчеты проверял Иван-ака. Проект составлен под его руководством. Уж в его-то знаниях и опыте вы, надеюсь, не сомневаетесь?

— Что ты, сынок, как можно!.. Ивану-ака я доверяю больше, чем самому себе, он человек ученый, да

и повидал на своем веку многое.— Умурзак-ата заметно повеселел.— Спасибо, сынок, снял ты камень у меня с души. С Иваном-ака мы в огонь и в воду...

— За водой,— шутливо поправил Джурабаев.

— Ну да...

Старик шагнул к своему месту, но тут же обернулся, с жаром добавил:

— А на колхозников наших, сынок, спокойно можешь положиться. Народ у нас дружный, работящий, в грязь лицом не ударит. Надо будет вручную потрудиться — эка важность, подналяжем, руки-то у нас не отсохнут, мы ведь с детских лет с кетменем дружбу водим. И с киркой тоже совладаем. Вспомни-ка, сынок, как строил наш народ Большой Ферганский канал?.. Все руками, руками... А вон, гляди ж, прямо-таки реку через степь протянули!

Джурабаев кивнул:

— Помню, помню, отец. Был я там. Труд народа совершил чудо!

— А мы — не народ? Ей-ей, наши алтынсайцы тоже чудо сотворят, вы уж не сомневайтесь.

— Я рад, отец, что ваши сомнения рассеялись. И хочу попросить у вас совета...

— Э, какой из меня советчик,— отмахнулся Умурзак-ака.— Я человек старый, неграмотный. Ты за советами-то обращайся к нашим инженерам, вот к Ивану-ака.

— А мы прислушиваемся к мнению и инженеров и ученых. Только ведь не грех посоветоваться и с такими бывалыми людьми, как вы, отец. Вы прошли большую жизненную школу, и все, чему вы научились, может теперь и другим пойти впрок. Вот, к примеру, как вы думаете поднимать наверх вырытый грунт?

— А на собственных спинах, сынок. И на носилках. Нагрузимся — и вверх по тропкам. А потом вниз. И опять вверх. Не впервой нам навьюченными-то шагать по горным тропинкам.

— Так-то оно так...

— Ведь землю из Ферганского канала люди тоже всю на себе перетаскали.

— Не то сейчас время, отец. Нет, надо как-то облегчить труд колхозников. И вместе с тем ускорить темпы расчистки родников и строительства плотины. Работая только вручную, бог весть сколько мы прово-

зимся и с плотиной и со всем остальным. А перед нами какая стоит задача? Чтобы первая вода пришла на поля не позднее чем через полтора месяца. Только в этом случае колхозники успеют уже в нынешнем году посеять хлопчатник хотя бы на некоторых, пусть небольших, участках. Ведь такая у нас цель, верно? А значит, занимаясь созданием Алтынсайской оросительной системы и прежде всего готовя котлован для плотины, мы в то же время должны приналечь и как можно скорее закончить расчистку родников и реконструкцию Янгаксайского арыка. Руками все это за короткий срок не выроешь, да мы и не вправе допускать, чтобы колхозники выдыхались на этой работе. Труд должен радовать, а не изнурять человека!

— Товарищ Джурабаев,— вмешался Алимджан.— А что, если использовать на переноске грунта наших ишачков? Они ведь незаменимы в горных условиях, пройдут по самой крутой, самой узкой тропинке. Взвалишь на ишака мешки с породой — он и потопает в гору...

— Уже лучше...

В разговор вступил и Смирнов:

— Товарищ Джурабаев, в нашем проекте учтен опыт народных строек, в том числе Большого Ферганского канала. Там, конечно, преобладал ручной труд...

— Опираться на опыт прошлого нужно. Но лишь для того, чтоб двигаться вперед. Новое время — новый подход к труду, новые темпы. Как вы говорили, строительство водохранилища, плотины и канала рассчитано года на полтора? А все остальное?

— Дней на сорок, если не больше.

— Больше? Нет, так не пойдет. Меньше — вот это другое дело. И плотину-то нам хорошо бы иметь уже через год, до весенних ливней и селей. Как вы полагаете, мы можем добиться такого вот сокращения сроков?

— Можем, но для этого часть работ необходимо механизировать.

— Вот! — Джурабаев удовлетворенно откинулся на спинку стула.— К этому я и вел. Да, без механизмов нам никак не обойтись. Мы просто не имеем права вести строительство теми же темпами и способами, как десять лет назад. И без механизации всех работ мы не уложимся в нужные нам сроки.

— Раздобыть бы хоть один экскаватор! — вздохнул Алимджан.

Джурабаев рассмеялся:

— Ну, ну!.. То вы готовы были перетаскать на собственных спинах да на ишаках весь грунт, а теперь уже подавай вам экскаватор! Товарищ Усманов!.. Вы, по-моему, согласны и гору на себя взвалить, лишь бы была вода?..

— А что? Надо, так взвалю. Да.

— Нет, товарищи, героически трудиться не значит надрываться. Надо разумно использовать свои силы и возможности. Мы знаем, что колхозники будут работать не покладая рук, не жалея себя. Честь им и слава!.. Но и мы, со своей стороны, обязаны оказать им необходимую помощь. Я уже привлек к этому районные организации — всю технику, какая имеется в районе, они на сорок дней передадут в ваше распоряжение. Будут у вас автомашины, бульдозеры, четыре транспортера. С экскаватором, правда, придется немного обождать, но и его вам пришлют дней через десять. Как, устраивает вас это?

Все зашевелились оживленно, Смирнов удовлетворенно кивнул:

— Вполне, товарищ Джурабаев! Экскаватор приспеет как раз ко времени: он понадобится нам, когда мы начнем рыть котлован для плотины. В первую же очередь придется расчищать родники — тут мы будем работать вручную, а грунт наверх потащат транспортеры.

— Значит, уложитесь в сорок дней?

— С техникой, возможно, и в месяц.

Алимджан попросил:

— Дали бы нам один транспортер на Кокбулак?

— Дадим,— пообещал Джурабаев.— И самый мощный. Ну что ж, друзья, я вижу, вы достаточно подготовлены к тому, чтобы уже в ближайшее время приступить к работе. Медлить не будем. Сегодня же вечером мы обсудим вопрос об орошении Алтынсайского массива на бюро райкома. Уверен в положительной резолюции. Мы обяжем все районные организации помогать вам чем можно. Вам же надо позаботиться о правильной организации труда, о рациональной очередности работ — в этом ключ к успеху. Сейчас ра-

зумней всего бросить главные силы на расчистку родников и реконструкцию арыка.

— Я уже говорила с Керимом, секретарем комсомольской организации нашего колхоза,— вставила Айкиз.— Комсомольцы берут арык на себя.

— Отлично. А как только прибудет экскаватор, приметесь за котлован. Далее... Вы наметили, Айкиз, какие земли будут орошены в первую очередь?

— Да. Два участка в колхозе «Кызыл юлдуз». Они ближе всего к арыку.

— Так, хорошо.

Джурабаев потянулся за пачкой папирос,— он никогда не курил во время совещаний, заседаний, и если, наконец, закуривал, то это означало, что разговор подходит к концу.

— Вы знаете, товарищи, нехватка воды не позволяла колхозам нашего района выращивать хлопок, и мы поневоле довольствовались зерном, оставаясь в стороне от главного дела, которым занимается республика. Горные же кишлаки обходились лишь животноводством. Все это тормозило развитие колхозного хозяйства. Вода, которую вы добудете, всем принесет счастье. Жители горных кишлаков тоже станут хлопкоробами и смогут переселиться в долины, поближе к поливным землям. Пусть сознание этого вдохновляет вас! Алтынсайцы первыми вступили в борьбу за воду для предгорных массивов. Уверен, у них найдется много последователей. Желаю вам удачи, товарищи! И помните. нельзя запаздывать с севом хлопка, от того, когда и в какие сроки мы его посеем, зависит будущий урожай. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь... За работу, друзья!

Кадыров скривил губы и тяжко вздохнул...

● ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Смирнов был назначен начальником строительства плотины и водохранилища, Айкиз его заместителем.

Накануне знаменательного, волнующего события — массового выхода колхозников на расчистку родников и реконструкцию Янгаксайского арыка — Айкиз допоздна засиделась в сельсовете. Надо было подписать уйму бумаг, переданных ей секретарем сельсовета, еще раз просмотреть расчеты и чертежи, относящиеся к

освоению Алтынсайского массива. А главное — хотелось просто посидеть одной, в тишине, над многим подумать.

Мысли ее, конечно, были заняты предстоящим строительством, и когда она в воображении рисовала всю панораму стройки, то от грандиозности, значительности этой картины у нее захватывало дух, как когда-то в детстве, когда она с вершины Коктау смотрела вниз, на родной Алтынсай, и сердце замирало от восторга и боязни, а за спиной, казалось, вырастали крылья. В эти минуты она чувствовала в себе столько сил, что могла бы прорубить скалы, как Фархад, или поднять на руках всю землю. Во всяком случае, ей хотелось сделать что-то необыкновенное. Порой, правда, на смену этим просторным, как небо, желаниям приходили более обычные, земные, и ее тянуло побежать к Алимджану, поделиться с ним своими мыслями и чувствами, а потом обхватить руками его шею и шепнуть: «Я люблю тебя, дорогой! Люблю!..»

Иногда же ее одолевали сомнения: да такая ли уж она сильная и верны ли их расчеты? А вдруг они переоценили свои возможности, и Кадыров прав: вода — за семью замками, и из их затеи ничего не получится?

Однажды она не выдержала и чуть ли не среди ночи поспешила к Алимджану. Айкиз и сама не знала, что она ему скажет, ей просто вдруг захотелось побыть рядом с ним, и казалось: вот увидит она Алимджана, услышит его голос — и тревог и сомнений как не бывало...

Она постучала в темное окно. Алимджан, видно, спал, он вышел в наспех натянутой гимнастерке, забыв или не успев застегнуть воротник, и при виде Айкиз удивился и сам встревожился: «Айкиз? Так поздно? Что-нибудь случилось?» Айкиз молчала. Алимджан повторил свой вопрос: «Что стряслось, Айкиз?!» Тогда она, прислушиваясь к чему-то, сказала задумчиво, со скрытым значением: «Слышите, как поют соловьи у вас во дворе? Послушаем соловьев, Алимджан-ака, они поют для нас...» Она подняла голову, глаза ее горели в ночи яркими, таинственными звездами... Алимджан как-то неуклюже засуетился, пробормотал смущенно: «Хотите, присядем вот тут, за домом? А может, пройдем в комнату? Вы ведь никогда не были у меня, Айкиз. Ну, прошу... Там и поговорим»

Он и верил и не верил, что Айкиз согласится войти в его дом...

Девушка отрицательно покачала головой: «Нет, Алимджан-ака, час уже поздний. Я ведь к вам так, на минуточку...» — «Но вы ведь, наверно, хотели о чем-то посоветоваться?» — «Нет, я просто так... Не сердитесь. И спасибо вам...» — «За что же сердиться? И за что же спасибо, Айкиз?» — «Ну... за то, что мне всегда есть к кому заглянуть... в трудную минуту».— «А вам сейчас трудно? Да, да, я знаю, забот у вас хватает. Я могу чем-нибудь помочь?» — «Уже помогли... До свидания, я пошла».

Когда они прощались, Алимджан задержал ладонь девушки в своей руке, а она опять покачала головой: «Не надо... И не провожайте меня. На душе у меня теперь легче, надо побыть одной, подумать... Вон звезд сколько, и ночь такая светлая... Под звездами хорошо идти и хорошо думать...»

Алимджан понимал Айкиз, понимал, как нелегко ей сейчас приходится. Большая ответственность легла на ее плечи... А скоро массовый выход... Начало работы, начало борьбы за воду...

...Теперь до этого «начала» оставалась одна ночь, и Айкиз, задержавшаяся в сельсовете, мысленно проверяла себя: все ли сделано так, как надо.

Вроде они как следует подготовились к завтрашнему дню. Организованы бригады, назначены бригадиры, которые должны были тщательно изучить свои участки. Три транспортера уже находились на своих местах.

Нет, кажется, ничего не упущено.

На заре колхозники соберутся на площади перед правлением «Кызыл юлдуз» и бригадами отправятся в горы.

Айкиз думала об этом пути, как о пути в будущее, и ее чуть даже зазнобило при мысли об огромности задач, которые предстояло решить, о риске, на который они отважились: как ни вымеряй, ни рассчитывай будущее, все же оно остается неведомым и таит в себе всяческие сюрпризы...

Когда уже в полночь Айкиз вышла из сельсовета, с площади доносился шум, голоса людей, рев верблюдов, звон железа... Видно, начали съезжаться дехкане из дальних кишлаков...

Айкиз хотелось пройти на площадь, посмотреть, кто приехал, что вообще там делается. Но она подавила в себе это желание: надо было спешить домой и хорошенько выспаться перед завтрашним, решающим и ответственным днем.

Тихонько, чтобы не разбудить отца, прошмыгнула Айкиз во двор, осторожно закрыла за собой калитку, неслышно скользнула в свою комнату...

И едва успела положить голову на подушку, как тотчас же и уснула.

Она поднялась, когда над Коктау уже начало розоветь небо. Умурзак-ата стоял во дворе возле клокотавшего самовара.

— Доброе утро, отец! — весело приветствовала его Айкиз.

— Доброе утро, доченька.— Старик смотрел на нее ласково и сочувственно.— Не выспалась, поди? Вон в какую рань встала. А легла, видать, поздно... Да, не ведут между собой дружбу заботы и сон. Ладно, умывайся, и будем завтракать. Самовар уже вскипел. Байчибара твоего я напоил и накормил ячменем. Поторопись, дочка, народ-то на площади давно шумит.

Позавтракав на скорую руку, Айкиз выехала из ворот на своем верном Байчибаре.

На крыше правления колхоза «Кызыл юлдуз», как в дни больших праздников, трепетал на свежем утреннем ветерке алый флаг с золотыми серпом и молотом.

А площадь перед правлением походила на взбаламученное море: огромная толпа людей колыхалась, шевелилась, все пространство было забито машинами, арбами, в глазах рябило от множества букетов, составленных из красных и желтых тюльпанов, от кумача лозунгов и знамен, от пестрых, нарядных платьев и халатов...

Заглушая людской гомон, загрохотали бубны, запели сурнаи. Дехкане потеснились, образовав несколько широких кругов, в них поочередно входили лихие танцоры из «Кызыл юлдуз» и соседних колхозов; подбадриваемые музыкой, поощряемые дружными, ритмичными хлопками зрителей, они состязались друг с другом в ловкости, в красоте танца и двигались то плавно, медленно, то четко, быстро.

Айкиз привязала Байчибара к стволу тополя у обочины дороги, торопливо прошла к зданию колхозного правления. Ей очень хотелось задержаться, полюбоваться танцами, но нельзя было терять дорогое время. Только она поднялась на крыльцо, как столкнулась с Алимджаном, вышедшим из дверей. Он был весел, возбужден и, увидев Айкиз, шумно обрадовался:

— Салам, Айкиз!.. Видали, что творится? А солнце-то еще и не взошло. Ох, здорово все получается... Поверите ли, даже в нашем Кадырове совесть вроде проснулась — расщедрился и выделил в мою бригаду еще трех человек. В колхозе, говорит, как-нибудь и без них управимся.

От него так и веяло бодростью, энергией.

Айкиз, с теплотой глядя на Алимджана, спросила:

— Значит, Кокбулак вы раскопаете?

— Да по одному вашему слову я сам перерыл бы весь Коктау!

— Очень прошу: сделайте все, что можно, Алимджан...

Они шутили, но последние слова Айкиз произнесла тихо, как-то значительно.

Они вошли в правление. Айкиз направилась в помещение сельсовета, а Алимджан в свой кабинет.

Секретарь сельсовета, молодой, но уже полнеющий, сидел за столом, закатав по локоть рукава желтого чесучового кителя, и просматривал списки, которые подавали ему бригадиры, регистрируя количество прибывших от каждого колхоза.

— Все уже собрались? — спросила Айкиз.

— Зарегистрирована одна тысяча сто восемьдесят человек! — отрапортовал секретарь.— По колхозу «Первое мая» я еще не закончил подсчеты.

Со стула, притулившегося у стены, грузно поднялся широкоплечий богатырь в стеганом черном халате и киргизском белом войлочном, с черной оторочкой тельпаке[1],— это был сам председатель колхоза «Первое мая», Норматов. Он прогудел густым простуженным басом:

— Пиши, секретарь: первомайцев прибыло триста семьдесят шесть человек. Колхоз выделил на стройку

[1] Тельпак — головной убор, защищающий от солнца.

лучших работников! Отборные кадры! Можешь так и написать, парень.

Удовлетворенно кивнув, Айкиз прошла в кабинет Алимджана.

Там тоже теснились люди. Алимджан, склонившись над столом, подписывал социалистический договор: его бригада вызвала на соревнование строителей из колхоза «Октябрь», возглавляемых самим председателем, Усмановым.

Присутствующий тут же Смирнов, поздоровавшись с Айкиз, проговорил:

— Четвертый транспортер, который мы решили на-

править на Кокбулак, прибудет сегодня же. Нам обещают и экскаватор доставить раньше срока.

Айкиз шутливо обратилась к Алимджану:

— А нынче, значит, вашей бригаде, Алимджан-ака, придется таскать камни на спинах? Не надорветесь?

— Я же сказал, что готов перетаскать хоть весь Коктау! — Алимджан тоже улыбнулся.— Да не дадут, пожалуй. Вон транспортер грозятся прислать.

— Ох уж эта техника! Лишает вас возможности проявить свою силу.

— А вы поверьте мне на слово, Айкиз.

— Верю, Алимджан-ака!

В словах, в тоне друг друга оба улавливали то, что не слышали остальные...

Вскоре все вышли на площадь.

Солнце уже стояло над вершиной Коктау, окатывая золотом весело и грозно рокотавшее, переливающееся самыми разнообразными красками людское море.

Пора было трогаться в путь.

Бригадиры построили своих людей в колонны.

Грянули медные карнаи. Громовые раскаты музыки поплыли к горам. В мощную трубную мелодию вплели свои нежные голоса сурнаи. Бубны вторили им своим стуком и звоном.

Шелковые знамена рдяно пылали под солнцем.

Айкиз, Алимджан и Смирнов, сев на коней, выехали перед головной колонной.

Полуторатысячная армия колхозников с музыкой, песнями, ликующими возгласами двинулась вперед — на штурм Коктау.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Погода становилась все более жаркой. Правда, склоны гор, политые редкими дождями, были пестрые от множества цветов: желтой и розовой ромашки, синих колокольчиков, алых полевых маков. И степь до самого горизонта, где она сливалась с жаркими Кызылкумами, тоже не утеряла еще буйной окраски: по утрам она зеленела свежо, изумрудно, в полдень затягивалась знойным серебристым маревом, а перед заходом солнца, в последний раз просияв мягким малахитом густой травы, начинала темнеть, опоясываясь по линии горизонта все более широким фиолетовым кушаком...

И, однако, уже чувствовалось приближение лета.

В горах близ Янгаксая, у крутой скалы, склон которой был завален взорванной породой, работала бригада Алимджана. Ни на минуту не смолкал грохот ломов, кирок, лопат, кетменей. Голые спины дехкан лоснились от пота...

Длинная лента мощного транспортера с сердитым скрежетом тащила битый камень, мелкий и крупный: среди щебня попадались порой булыжники величиной с добрый арбуз.

Люди, стоявшие по обеим сторонам транспортера, все подбрасывали новые порции камня на движущую-

ся ленту; казалось, конца не будет этому каменному ручью.

Все упрямей, все глубже вгрызалась бригада Алимджана в каменный грунт в надежде выжать из него хоть слезинку влаги, а скала, из которой когда-то бил родник, все хранила свою тайну.

На помощь призвали подрывников, и в ущелье трижды прогрохотали взрывы, но и после этого не открылось ни одного влажного камня, ни горстки сырого песка.

Правда, в результате третьего взрыва под скалистой породой обнаружился наконец галечник. Люди оживились, принялись за дело с не меньшим энтузиазмом, чем в первые дни работы на Кокбулаке. Галька, однако, была сухая, она горячо блестела на солнце.

Ветер, до сих пор немного освежавший загорелые, потные лица, стих, жара стала ощутимей, дехкане все чаще вытирали бельбогами мокрые шеи и лбы.

Все были уверены: Кокбулак похоронен басмачами где-то здесь. Алимджан дотошно расспрашивал о местоположении Кокбулака всех, на чьей памяти действовал еще этот родник, водил к заваленной скале старых чабанов, которые знали горы лучше, чем свой родной двор, сопоставлял их рассказы с собственными наблюдениями, накопившимися за долгие дни, — по всему выходило, что район предполагаемого «захоронения» Кокбулака можно было сузить. И вот-вот должна была показаться первая родниковая влага... А она все не показывалась.

Алимджану порой вспоминался фронт, когда не раз и не два приходилось водить солдат в атаку на, казалось бы, неприступные вражеские позиции. И добывать победу ценой неимоверных усилий, ценой крови. Здесь, в горах, кровь, к счастью, не лилась, но от бригады Алимджана требовались, как от солдат на войне, и мужество и упорство. И вместе со своей бригадой он упрямо продолжал поиски пропавшего родника.

С каждым днем работа спорилась все быстрее. Дехкане научились ловко орудовать ломами, кирками, лопатами, приноровились так загружать ленту транспортера, что ни один камень с нее не сваливался на землю и не оставалось на ней ни одного пустого ме-

ста. Алимджан разделил бригаду на звенья, с максимальной пользой для дела распределив рабочую силу.

А результат был все тот же, и казалось — люди даром тратят время.

Уже слабо веря в успех, Алимджан мрачно пожаловался Ивану Никитичу:

— Партийную работу я, может, и умею вести, а вот геолог из меня — никакой. Ни опыта, ни интуиции. Нет, я убежден: родник здесь, а что проку?

В ответ Смирнов рассказал ему случай с Насреддином:

— Как-то пришел к ходже один приятель и говорит: напиши мне письмо, я хочу послать его своему другу в Багдад. Насреддин только головой замотал: и не проси, говорит, недосуг мне сейчас идти в Багдад. Приятель удивился: да зачем тебе в Багдад-то идти, надо ведь всего лишь письмо написать. А ходжа объяснил: понимаешь, у меня почерк плохой, только я сам его и разбираю. Поэтому, если я напишу письмо, то сам и должен буду его прочесть, без меня твой друг ничего не поймет.

Алимджан рассмеялся:

— Здорово!.. А на что вы намекаете, Иван Никитич?

— Да ни на что. Просто хотел тебя немного развеселить.

— И на том спасибо. А то и правда все мы малость приуныли. Вон Бекбута и то голову повесил.

— Хорошо, руки пока не опустил! — живо откликнулся Бекбута.— Нет, Иван-ака, вы только подумайте: какой уж день мы атакуем Кокбулак и до сих пор не смогли взять эту высоту!

— Глубину,— усмехнувшись, поправил Алимджан.

— Я — по-фронтовому.

Бекбута отставил в сторону кетмень, снял с бритой головы темный от пота бельбог, защищавший от солнца, отыскав сухой уголок, вытер им лоб и шею. Лицо его, обычно дышавшее энергией, весельем, сейчас было злое и усталое. Но Бекбута не был бы Бекбутой, если бы совсем раскис. Оглядев молчаливо работающих дехкан, он неожиданно улыбнулся:

— А славная штука этот транспортер — верно, братцы? Мы от усталости с ног валимся, а ему хоть бы что, не требует ни отдыха, ни чаю, ни маставы,

крутится и крутится. Нас вон тридцать человек на него работает, и то еле за ним поспеваем. С Суванкула, я гляжу, он уже десять потов согнал. Или двадцать, а, Суванкул?..

Суванкул даже не взглянул на Бекбуту, будто не слышал его вопроса. Поддевая лопатой-грабаркой камни, он сыпал и сыпал их на ползущую ленту транспортера.

А Бекбута все не унимался:

— Что ж ты молчишь, друг? Или тебе совсем уж невмоготу? Молви хоть словечко!

Молодой колхозник, который руками таскал огромные камни, осторожно опуская их на широкую ленту, поддержал Бекбуту:

— Ай, не отвлекай его, все равно ты от него ни слова не дождешься. Наш Суванкул еще с утра набрал в рот молока, чтобы его заквасить. Все польза!

Тут уж Суванкул не стерпел, пробасил сердито:

— Слышу грохот жернова, но не вижу муки.

Парень растерянно заморгал глазами, а Бекбута добродушно проговорил:

— Ты не серчай на него, Суванкул. Язык у него острый, но трудодни он зарабатывает не языком, а руками. Однако, братец, без шутки тоже жить скучно. Тебе-то, конечно, не до шуток... Ишь, совсем из сил выбился.— Он сочувственно покачал головой.— Так ты отдохни, если притомился. А я, как друг, тебя выручу, поработаю пока за двоих.

На этот раз Суванкул принял вызов; опершись о лопату, сказал с усмешкой:

— Гляди-ка, какой ты у нас богатырь! Послушать тебя, так ты один способен откопать Кокбулак!.. Только боюсь, горазд ты больше на болтовню, чем на дело. Все мы — богатыри, но вон какой уж день тут потеем, а воды все не видать...

Бекбута не нашелся, что возразить Суванкулу, нахмурился, вздохнув, взялся за кетмень.

Последние слова Суванкула задели Алимджана, он с горечью подумал: «Вот уж и народ заговорил о неудаче... И верно, на других-то участках родниковая влага так и брызжет из-под кетменей, а мы тут сколько камня переворочали, и все без толку. Но все равно мы добьемся своего! Вода здесь должна быть, уж это точно».

— Друзья! — сказал он громко и упрямо.— Отчаиваться — это последнее дело. Безвыходных положений нет! У мира, говорят, четыре стороны, и хоть одна из них всегда остается открытой. То, что мы пока не обнаружили воду, еще не значит, что ее тут нет. Все говорит за то, что мы на верном пути. И возможно, прошли бóльшую его часть. Скала-то уже почти вся отрыта! Так что рано вешать нос, рано складывать оружие! Вперед, друзья!

Он так размашисто и глубоко вонзил лом в расщелину между двух каменных глыб, что они с треском отвалились в стороны. И вся бригада с новыми силами принялась за работу. Слышалось тяжелое дыхание людей, звон стали, грохот камней.

Сам Алимджан старался что было мочи, ворочал камни, дробил их ломом, и думал уже не удрученно, а зло: «Стыдно, секретарь! Стыдно!.. Другие бригады каждый вечер рапортуют о новых отрытых родниках, а ты докладываешь лишь о кубометрах вынутого грунта. Позор!.. Как людям-то в глаза смотреть? Нет, и нам недалеко до победного рапорта, надо только приналечь как следует. И ты будешь нашим, проклятый Кокбулак!..»

Он усмехнулся: что же это он родник-то бранит, когда виноваты басмачи?

И ему уже стало казаться, что он не только ищет воду, а сражается с басмачами, заклятыми врагами дехкан.

Бригада в первые же дни работы порешила, что, пока не появится вода Кокбулака, никто не должен отлучаться домой. И скоро дехканам стали приходить весточки от родных, от близких. Михри, которая когда-то, словно тень, бродила за Айкиз вместе со своей подругой Лолой, сестрой Алимджана, а ныне исполняла в правлении колхоза должность секретаря, каждый день на ишачке привозила в горы, где трудились покорители Кокбулака, свежие газеты и письма.

Алимджан чаще всего получал письма от председателя «Кызыл юлдуз» Кадырова. Тот аккуратно перечислял все, что Алимджану и так было известно: сообщал о прибытии долгожданного экскаватора, о работе других бригад, в каждом письме задавал один и

тот же вопрос, отдававший и насмешкой и упреком,— откопал ли наконец Алимджан клад, на розыски которого так неосмотрительно пустился? — и с неизменным постоянством жаловался: «Уж кому, братец, сейчас трудней всех приходится, так это мне. Лучшие работники — в горах, я командую старыми да малыми, а с ними каши не сваришь...» Писал Алимджану и старый его приятель Иван Борисович Погодин, демобилизованный вместе с ним из армии, где был механиком-танкистом, а сейчас руководивший тракторной бригадой. Тон его посланий был более веселым: «Нам дали новые трактора, так что теперь — держись, целина! Мы очистим землю и от гребенщика, и от пальчатки, приведем ее в полный порядок — только сей хлопок! Дело за вами! Поскорей откапывайте Кокбулак».

Письма Погодина и радовали и огорчали Алимджана. Огорчали — потому что пока нечего было ответить Ивану Борисовичу. Не докладывать же и ему, сколько вынуто земли и щебенки? Цифры были внушительные, но не утешали... Что хвастаться объемом работы, когда нет результата?

Пряча в карман письма, которые жгли ему душу, Алимджан вздыхал и принимался еще яростней, неутомимей долбить ломом или киркой каменные глыбы, закрывавшие склон гранитной скалы. Дехкане, увлеченные примером бригадира, старались не отставать от него.

Однажды утром они услышали, как их окликнул кто-то со скалы, которая уже высоко поднималась над участком.

— Хорманг, друзья! Эге, да я вижу, дело у вас продвигается. За вами и Фархаду не угнаться! Каждый из вас — Фархад!

На скале стоял начальник строительства Смирнов, успевший сильно загореть за последние дни. Вид у него был бодрый, жизнерадостный.

Первым приветствовал его Бекбута:

— Бор булинг[1], Иван-ака! Вы верно заметили: изо дня в день мы продвигаемся вперед. И в то же время

[1] Бор булинг — «живите», «здравствуйте», употребляется чаще всего как ответ на приветствие «хорманг» («не уставать вам!»).

стоим на месте! Чудеса, а? Но у каждой песни есть свой конец. Вот увидите, докопаемся мы до Кокбулака, и вода таким фонтаном забьет, что дай бог не утонуть!..

Алимджан молча смотрел снизу вверх на инженера, судя по всему, намеревавшегося спрыгнуть со скалы. Смирнов кинул камень, проследил за его полетом и, решившись, махнул следом за ним.

— Эгей, эй! — испуганно закричал Суванкул и бросился к скале, чтобы вовремя на лету подхватить инженера, не дать ему разбиться.

Но тот уже успел «приземлиться» и, посмеиваясь, похлопывал брензентовой фуражкой по бокам и коленям, стряхивая пыль.

Суванкул с укоризной покачал головой:

— Ай-яй, Иван-ака, так ведь недолго и беде случиться.

— А я, Суванкул, человек натренированный. И не с такой высоты доводилось прыгать.

В разговор вмешался Бекбута:

— Наш инженер, Суванкул, не тебе чета. Это ты не в силах ни вниз спрыгнуть, ни вверх подпрыгнуть: хоть и молод, да тяжел на подъем, ишь сколько мяса-то нагулял!.. А Иван-ака может скакать, как архар. Всю жизнь не сидел он на месте. Вот уж тридцать лет занимается ирригацией, орошает земли. И фронт у него за плечами. Много он на своем веку повидал, многому научился, а теперь ты у него поучись.

Поплевав на ладони, Бекбута снова взялся за кетмень.

Алимджан повел Смирнова по участку. Здесь недавно был произведен взрыв, и все вокруг загромождали еще не убранные камни. Вдоль участка, который расчищала бригада Алимджана, тянулась серая монолитная скальная стена, изборожденная трещинами.

Инженер внимательно все осмотрел, нахмурился. Хоть бы один влажный камешек! Щебень всюду был сухой и горячий...

Усевшись в тени под скалой на два валуна, друг против друга, Иван Никитич и Алимджан помолчали. Смирнов закурил; глядя вниз, под ноги, и все еще хмурясь, произнес:

— Сам-то я в действии Кокбулака не видел... Но

я все здесь излазил, можно сказать — каждый камень знаю.— Он обвел рукой горы, окружавшие участок.— Видишь? Они словно сторожат зарытый здесь клад. Где-то глубоко под нами, в толщах земли, находится огромный резервуар воды! Он и питал Кокбулак, самый мощный водосток в ущелье. Кокбулак извергался из этой вот скалы. И мы обязательно его найдем, но когда?

— И неизвестно, сколько еще кубометров грунта придется вынуть...

— В конечном-то результате я уверен. Но как приблизить его? — Смирнов покусал губы.— Вы пока продолжайте пробиваться к Кокбулаку. Возможно, придется произвести еще один взрыв. Правда, это дело рискованное; то ли мы откроем выход воде Кокбулака, то ли совсем его завалим. Представляешь: вдруг он уже рядом, а мы обрушим на него груды камня... М-да, рискованно.

Смирнов как-то просительно посмотрел на Алимджана, тот сказал:

— Иван Никитич, а нельзя предположить, что когда басмачи взорвали Кокбулак, то произошли необратимые сдвиги породы, и выход воды не просто засыпан, а начисто ликвидирован?

Иван Никитич поднялся с камня, скользнул взглядом по гранитной стене, похлопал по ней ладонью:

— Нет, это исключено. Чтобы вызвать подобные сдвиги, басмачам нужно было бы взорвать и эту стену. А она, как видишь, на месте. Стоит, как стояла сотни тысяч лет назад... Только растрескалась... Нет, нет, Алимджан, водосток где-то здесь. А раз так,— значит, его можно отрыть. Нельзя отыскать только несуществующее. Вы ищете спрятанное. Ведь так?

Слова Смирнова несколько подбодрили Алимджана. Он сказал повеселевшим тоном, махнув рукой в сторону долины:

— А как там, внизу, идут дела? Вас ведь не спросишь, так вы и будете помалкивать. Как плотина?

— Котлован почти уже готов. Так что и плотина скоро начнет подниматься. И с Янгаксайским арыком все в порядке. Айкиз говорила, что бригада стариков во главе с Умурзаком-ата начала уже осваивать целинный массив возле Холма рабов. Нам нужна вода, Алимджан, очень много воды!

Смирнов подошел к Суванкулу, который вроде бы и неуклюже, а на самом деле сноровисто орудовал киркой, положил ему руку на твердое, как наковальня, плечо:

— Как полагаешь, Суванкул, отроете вы Кокбулак?

— Без победы домой не вернемся, Иван-ака! — пробасил Суванкул и хотел еще что-то добавить, но его перебил вездесущий Бекбута:

— Коль уж мы схватили за хвост тигра, так теперь его не отпустим! Как говорили на фронте — ни шагу назад! Позор падет на наши головы, если мы возвратимся в колхоз с пустыми руками.

— Да, я вижу, вы взяли быка за рога,— сказал Смирнов.

— Бык — это Кокбулак? — весело переспросил Бекбута.— Ну, тогда он скоро побежит к Янгаксаю, взбрыкивая копытами!..

Все засмеялись. Иван Никитич надвинул поглубже свою фуражку, чтоб не сорвал ее шальной ветер и не швырнул в пропасть, сказал, обращаясь к дехканам:

— Мне пора, друзья. А вам от души желаю удачи. Когда вы будете возвращаться домой, я соберу всех жителей долины и скомандую: смирно! Идут богатыри, покорившие Кокбулак!

И он приложил руку к козырьку фуражки, словно уже приветствуя победителей...

Бригада Алимджана наконец добралась до лессовой почвы, перемешанной с круглым речным галечником.

Это значило одно: когда-то тут бежала бившая из скалы светлая, чистая родниковая вода. Дехкане, следовательно, достигли уже глубины, где прятался Кокбулак — «ворота» подземного озера.

Убедившись в этом, Алимджан оставил возле транспортера лишь семь человек, а остальных разбил на мелкие звенья, распределив их так, чтобы уж хоть одно из них да обнаружило эти «ворота».

День клонился к вечеру, солнце скрылось за скалами, в ущелье сразу сделалось сумрачно, прохладно. И все заволокло тишиной, в которой отчетливо слышались удары кетменей, врезавшихся в мягкий

грунт, и ритмичные, свистящие придыхания людей: ых, ых!..

Алимджан выворачивал кетменем комья земли и перебрасывал их Бекбуте, который, тоже с помощью кетменя, ловко подхватывал землю и кидал ее на ленту транспортера.

Вскоре Алимджан стоял уже по пояс в вырытой им обширной яме. Кетмень, серебристо сверкая в темноте, все чаще и чаще взлетал над его головой.

— Бригадир! — окликнул его Бекбута. — Может, поменяемся местами? Замаялся, поди.

Алимджан ничего не ответил. Он вдруг почему-то отставил кетмень в сторону и, присев на корточки, начал разрывать землю руками.

Бекбута с недоумением спросил:

— Что ты там нашел, бригадир?

Алимджан, выпрямившись, повернулся к нему, протянул руки, в которых держал какие-то черепки, толстые, темно-коричневые.

Бекбута некоторое время удивленно смотрел на них, потом спрыгнул в яму:

— Что это, бригадир?

Алимджан головой показал на что-то темное, выступавшее из земли на дне ямы:

— Не видишь? Кувшин.

— Кувшин?

— Ну, да. Гляди: вот ручка, вот горлышко... Он раскололся, но черепки лежат неподалеку друг от друга.

— Откуда же он тут взялся?

— А ты подумай — откуда?..

Бекбута, морща лоб, вынимал из земли коричневые осколки, очищал их, зачем-то осторожно складывал в кучу. Да, это был кувшин. Почесав в затылке, Бекбута неуверенно протянул:

— Кажется, я начинаю понимать...

— Да тут и понимать нечего, все ясней ясного! Кто-то, еще до взрыва, оставил кувшин у ручья. Во время взрыва кувшин разбился, его завалило землей и камнем.

— Значит...— все еще не веря себе, затаив дыхание, проговорил Бекбута,— мы нашли Кокбулак? — И, не сдержавшись, радостно завопил: — Нашли, нашли!

На его голос прибежал Суванкул, заглянул в яму:

— Что вы тут нашли?

— Кокбулак!

— Что же вы молчите?

— Это я молчу? — изумился Бекбута.— Да я орал во всю глотку.

— Ты пищал, как комар,— пренебрежительно бросил Суванкул, и тотчас все ущелье огласилось его зычным, раскатистым басом: — Эй, эгей, сюда! Все сюда! Скорее! Мы нашли Кокбулак!

Не прошло и минуты, как уже вся бригада сгрудилась вокруг ямы.

— Копайте здесь,— распорядился Алимджан.— Еще немного — и Кокбулак наш!

У дехкан, казалось, прибавилось сил: ведь Кокбулак был совсем рядом...

Это были минуты поистине вдохновенного труда.

Неугомонный Бекбута, оглянувшись на товарищей, обливавшихся потом, несмотря на вечернюю прохладу, и копавших землю с радостным азартом, с улыбкой заметил:

— Вы так сияете, будто уже хлебнули живой воды Кокбулака!

Шутку его встретили молчанием, все были заняты делом, и лента транспортера без перерыва несла вверх вырытый грунт, поскрипывая и скрежеща под его тяжестью.

Но вода все не появлялась.

Алимджана это удивляло и тревожило: ведь все говорило за то, что родник найден. А воды не было.

Он тщательно обследовал обнажившуюся часть гранитной стены. По ней ползла вверх широкая трещина. У Алимджана просветлело лицо, он повернулся к дехканам, показал рукой на серую, монолитную стену:

— Друзья! Вот тут место выхода родника. До взрыва эта сторона скалы была видимой. В течение долгих веков жгучее солнце, ветры, морозы, дожди не могли разрушить гранит. Взрыв тем более не в силах был причинить ему вреда, но скалу чуть не доверху завалило камнями. И эту вот трещину наглухо забило щебнем и землей. Они слежались и тоже сделались твердыми, как гранит. Ну-ка, Бекбута, дай мне кирку.

Яростно взмахивая киркой, Алимджан принялся

долбить трещину, как бы зацементированную взорванной породой. Сованкул, внимательно следивший за ним, спросил:

— Ты думаешь, бригадир, это и есть Кокбулак?

— Не думаю, а уверен.

Алимджан выдернул из трещины жесткий куст, мешавший ему работать, кирка еще быстрее замелькала в воздухе.

Вся бригада, столпившись вокруг Алимджана, молча, с тревогой и надеждой, наблюдала за его действиями.

Удар. Еще удар... Каждый из этих ударов мог оказаться последним, решающим. И тогда долгожданная родниковая влага вырвалась бы из каменного плена.

Еще удар...

Казалось, в эти минуты сердце у каждого билось в такт этим ударам: тук... тук... тук...

Закусив нижнюю губу, Алимджан все взмахивал киркой, из трещины на дно ямы сыпались камни, щебенка. Эта трещина пересекала по вертикали лишь часть скалы, вверху и внизу заметно сужалась, а в том месте, по которому Алимджан наносил удары, была такая широкая, что даже богатырь Суванкул не смог бы загородить ее своей могучей спиной.

Выворотив киркой большой красный блестящий камень, Алимджан оглядел его внимательно, потом пошарил ладонью в образовавшемся чуть влажном углублении, сказал удовлетворенно:

— Кокбулак — здесь. Голову даю на отсечение!

Видно было, что он очень устал. И тогда Бекбута отнял у него кирку, занял его место.

Алимджан присел на камень, провел рукой по разгоряченному лицу... Впору было не рассиживаться тут, а плясать от радости: ведь заветная цель была близка!.. Все могли решить несколько ударов кирки. Но плясать что-то не тянуло: то ли он слишком утомился, то ли все-таки грызло его сомнение.

Неужели же он еще сомневается в успехе?

Алимджан поднял голову, оглянулся вокруг, удивленно сказал самому себе:

— Гляди-ка, совсем уже стемнело, а я и не заметил. Значит, еще один день миновал. А воды все нет...

В это время с дальнего конца ущелья донеслось:

— Алимджан-ака! Эй, Алимджан-ака!..

Алимджан узнал голос Михри. Встав с камня, он выбрался из ямы, крикнул, сложив ладони рупором:

— Слышу!.. В чем дело, Михри?

Сквозь сизую мглу он еле различал Михри: рядом с высокой отвесной скалой она казалась совсем еще девочкой, маленькой и хрупкой.

— Скорее идите на совещание! Там только вас и ждут!

Михри исчезла в темноте, и Алимджан сказал, обращаясь к бригаде:

— Кончайте работу, друзья. Вы сегодня славно потрудились. Отдыхайте.

Ему было немного совестно перед дехканами: на других-то участках люди, наверно, давно уж сидели за ужином.

С трудом разыскав на одном из валунов свою гимнастерку и ремень, оставленные там еще утром, он торопливо зашагал по ущелью к долине.

● ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Штаб строительства размещался в большом шатре, раскинутом на холме у подножия Коктау. Когда Алимджан поднимался на холм, горы уже окутал плотный черный мрак.

В чистом небе горели крупные, яркие звезды. В горной местности небо — чудится — простирается над самой землей и звезды кажутся такими близкими, что можно добросить до них камень...

В ущельях и на холмах земными звездами пылали костры. В низинах, среди скал, где мрак был гуще, огонь костров отбрасывал на скалы алые отблески, слепил глаза. Это были маленькие мохнатые пожарища... На холмах, хотя пламя там раздувал ветер, костры выглядели более бледными и не такими большими. Все эти костры издалека можно было принять за расцветшие махровые розы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-желтого.

Вокруг костров мелькали силуэты людей, причудливая игра пламени делала одних крохотными, наподобие сказочных гномов, а других огромными, как великаны.

Алимджан, глядя на горы, думал: тысячи лет спали они каменным сном, никому и в голову не приходило

будить их. Но вот явились мы, советские люди, и нарушили вековой сон этих гранитных громад, нарушили давний покой этих мест, чтобы добыть воду. И рядом с человеком горы стали словно ниже ростом... Мы сильней, могучей, потому что перед нами великая цель: благо народное, процветание любимой отчизны...

Шатер был совсем уже рядом. «Кто же это сидит за столиком перед шатром? Иван Никитич, Айкиз... А кто между ними? Да это же Джурабаев, секретарь райкома! Совещание значит важное».

Алимджан ускорил шаг. Он досадовал на себя за опоздание, в котором, правда, не был виноват; но ему вообще не по душе было, когда он сам или еще кто-нибудь заставляли других ждать.

Участники совещания расположились на траве перед самым столиком. Алимджан, стараясь быть незамеченным, пристроился позади всех.

Но его уже увидели, люди оборачивались к нему, посыпались вопросы, шутки:

— Эй, бригадир, ты, говорят, уже схватил тигра за хвост? Верно это?

— А может, тебе помочь нужно? Отрыть Кокбулак — это тебе не орех расколоть.

— Ты слышал пословицу: не говори «виноград», пока не положил его в свою корзину?

— Ладно, что́ вы на него напали? Он у нас джигит смелый. А смелый, говорят, и из камня хлеб добудет. Погодите, он вам еще себя покажет!

— Алимджан, а ты приложи ухо к земле да слушай. Услышишь журчанье да бульканье — тут и копай.

— Э, нашему партийному секретарю трудно распознать, где там булькает, он человек непьющий. Лучше, Бабаджан, тебя самого послать к Кокбулаку. Уж ты-то бульканье сразу услышишь...

Последние слова были заглушены громким хохотом.

Джурабаев, Айкиз и Иван Никитич, о чем-то разговаривавшие, подняли головы, вглядываясь в темноту и тоже улыбаясь. Фонарь «летучая мышь», стоявший перед ними, освещал только стол, лица, и фигуры собравшихся терялись в густом мраке.

Смирнов, встав, громко сказал:

— Товарищи, начинаем совещание! Алимджан здесь? Значит, явились все, кого приглашали. В первую

очередь послушаем сообщение секретаря райкома партии товарища Джурабаева.

Джурабаев, откашлявшись, заговорил взволнованным голосом:

— Дорогие друзья! Я привез вам радостную весть. Мы недавно доложили правительству о наших планах, рассказали, как будем осваивать Алтынсайский массив, где намереваемся брать воду для этого, к каким работам уже приступили. Ну, попросили о кое-какой помощи, причем просьбы наши были очень скромными. Но мы, оказывается, и сами не представляли, какое огромное дело затеяли. Руководство республики оценило нашу инициативу лишь как часть решительного, масштабного наступления на целину. Мы — пионеры, авангард этого наступления, широкого освоения предгорных земель. Понимаете, друзья? Нам сказали: мыслить надо крупнее, смотреть далеко вперед. Шагайте смело и ведите за собой других. Так что на нас, получается, возложили большую ответственность. Но в то же время и нам пошли навстречу, не только сполна удовлетворив все наши просьбы, но и выделив дополнительные средства и технику. В пределах возможного, конечно. Вот, товарищи, постановление правительства...

Джурабаев достал из кармана гимнастерки сложенный вчетверо лист бумаги, принялся бережно его разворачивать. Все молчали, и в этой напряженной тишине слышно было, как шуршит бумага.

Но Айкиз не выдержала, и над горами взвился ее звонкий голос:

— Спасибо, товарищ Джурабаев! Ой, спасибо!

И все зааплодировали, раздались возгласы:

— Да здравствует наша родная партия!

— Слава нашему правительству!

Захваченный общим энтузиазмом, Алимджан порывисто встал с места, прошел к столу президиума, крепко пожал руку Джурабаеву:

— И от наших коммунистов большое спасибо вам. Такая весть!..

Джурабаев, улыбаясь, пожал плечами:

— Меня-то за что же благодарите? Это вам и Айкиз мы должны сказать спасибо. Или лучше так: Айкиз и вам. Освоение Алтынсайского массива — это ее идея.

Айкиз покраснела:

— Идея, как говорится, носилась в воздухе...

— Не скромничайте, а то мы подумаем, что вы бежите от ответственности.

У Джурабаева было хорошее настроение, он шутил, и среди собравшихся царило веселое возбуждение.

Подождав, пока все успокоятся, Джурабаев зачитал постановление. В нем была определена площадь вновь осваиваемых земель, установлены очередность и сроки выполнения всех работ — от расчистки родников до сооружения канала, плотины, водохранилища, а впоследствии и электростанции на этом водохранилище. В заключительной части указывалось, что существует реальная возможность уже в скором времени частично засеять хлопчатником земли Алтынсайского массива.

Джурабаев закончил чтение в полном безмолвии. Собравшихся, казалось, охватило какое-то оцепенение. Все сидели молча, недвижно, и опять слышался лишь шелест бумаги, сворачиваемой секретарем райкома.

Заветная это была бумага: давние чаяния алтынсайцев обрели форму закона. И выполнить этот закон значило осуществить самые затаенные мечты каждого дехканина о воде, о хлопке. С этого мгновенья мечта и закон как бы сливались воедино и борьба за воду становилась и долгом алтынсайских тружеников и велением, зовом их сердец. И, как когда-то Умурзак-ата, каждый сейчас мысленно видел поля в сахарной белизне созревшего хлопчатника, высокую плотину, за которой плескались волны неиссякающего голубого озера, и канал, несущий — могуче и неустанно — живительную влагу, способную воскресить мертвую степь, одеть ее, как невесту, в праздничный, веселый наряд.

Мечта, сказка... Но об этой сказке деловито говорилось в постановлении правительства. Мечта приняла очертания конкретного плана.

Словно угадав мысли собравшихся, Джурабаев сказал:

— Друзья мои, когда-то в народе нашем бытовало такое выражение: «хом хаёл» — «сырая мечта». Сырая, то есть неосуществимая. Родила это выражение сама жизнь, сама действительность того времени. Ведь когда полновластными хозяевами Алтынсая были ишан Кабулходжа и его сын Азимбай, могла ли осуществиться хоть самая скромная мечта народа? А ныне эти слова —

«хом хаёл» — навсегда исчезли из нашего обихода. Под руководством партии мы превращаем в явь самые смелые мечты, самые дерзкие замыслы!.. Такова уж природа нашего строя, что насущные нужды народа находят удовлетворение и заветные народные чаяния планомерно претворяются в жизнь. Все, о чем мы мечтали вчера, уже стало реальностью. Следующая наша цель — покорить Кызылкумы. И она тоже достижима, потому что неутомимы золотые ваши руки, строящие новую жизнь!

Джурабаев поднял высоко над головой сложенный лист бумаги:

— Друзья, этот документ открывает перед нами невиданные просторы. Это наша путевка в коммунизм. Обеспечить же надежность этой путевки мы можем лишь одним — самоотверженным трудом. Что от нас требуется сегодня? Прежде всего — в установленные сроки завершить работы первой очереди. И тогда колхоз «Кызыл юлдуз» сможет уже в этом году посеять хлопчатник на участках хотя бы двух бригад. Завидная возможность... Так за дело, друзья! Мы с вами люди удачливые: ведь жить в Советской стране — это уже счастье. А говорят, если удачливый человек подойдет к голым скалам, то и те зазеленеют.

Смирнов и Джурабаев пригласили к столу президиума бригадиров, попросили их рассказать о ходе работ. Тесно сгрудившись вокруг стола, все принялись оживленно подсчитывать, что уже сделано, что еще предстоит сделать. И тут неожиданно выяснилось, что на завершение очистки родников понадобится всего дней девять-десять.

Синие глаза Смирнова так и засияли:

— Здорово! Значит, управитесь за декаду?

— Может, и скорее!

Один Усманов, председатель колхоза «Октябрь», молчал, что-то прикидывая в уме. Закончив подсчеты, он хмуро, жалующимся тоном сказал:

— Десять дней... Навряд ли мы успеем. Людей у меня маловато. Нет, я не хочу бросать слова на ветер. Обещать-то можно что угодно, но я человек дела.

Ему не дали договорить, со всех сторон полетели насмешливые реплики:

— Не нойте, Усманов! Вам ли немощным-то прикидываться?

— Ты на Кокбулак наведайся. Погляди, сколько камня перекидывает каждый день Алимджан! Поставить бы тебя на его участок, ты бы в голос завыл!..

— Да что вы, не знаете Усманова? Этого ловкача не перехитрить самому Афанди! Он сейчас при всех слезы проливает, а глядишь, первым отрапортует об окончании работ!

Усманов только молча развел руками: что, мол, с вами спорить. Потом задумался, как будто снова одолеваемый сомнениями. И словно нехотя, через силу уступая требованиям окружающих, как-то лениво объявил:

— Ну, первым не первым... Но, возможно, дня через три-четыре и отрапортую.

Слова его вызвали одобрительный шумок:

— Вот это дело! Молодчина, Усманов!

— Так мы и думали.

— Эй, а где же Керим? Почему молчит бригадир комсомольцев?

— Ха, разве вы не знаете, что молчащая кошка опасней мяукающей?

Керим подошел к столу, проговорил шутливо:

— Ну, я хитрить не умею, молчу или мяукаю — до Усманова мне все равно далеко. Скажу прямо: на арыке работы тоже хватает. Но то, о чем сообщил товарищ Джурабаев, наверняка вдохновит моих ребят. Я посоветуюсь с ними и убежден, что и мы не отстанем от других бригад. Если мобилизовать все силы, то можно уложиться в самые сжатые сроки.

— Только не за счет качества работ,— вставила Айкиз.

— Уж это само собой. Товарищ Джурабаев как-то говорил, что темпы и качество должны не враждовать, а дружить.

У Керима голос был глуховатый, мягкий, а когда он волновался, то голос его не звенел, а, наоборот, становился еще тише. Сейчас Керим, видимо, испытывал волнение, потому что добавил совсем глухо:

— И вот еще что... Комсомольцы поручили мне вызвать на соревнование кокбулакскую бригаду. Если, конечно, они примут наш вызов. Как, Алимджан-ака?

Алимджан тут же отозвался — громко, задорно, горячо:

— Согласен! Боевые орлы готовы потягаться силами с молодыми орлятами! Хотя мы уже и соревнуемся с Усмановым.

Айкиз смотрела на него и думала с нежным восхищением: «Вон как у него глаза сверкают... Словно у мальчишки. Душа у него юная, хоть и опалена фронтом. Да, да, он сильный — и юный!»

Все разошлись. Уехал и Джурабаев. На холме, возле шатра, остались только Смирнов, Айкиз и Алимджан.

Костры в ущельях постепенно гасли. Потух и фонарь, стоявший на столе. Лишь призрачное сияние звезд разливалось вокруг...

— Алимджан-ака, а вы не боитесь проиграть Кериму? — спросила Айкиз.

— Поднатужимся... И разве дело в том, кто выиграет соревнование? Керим прав: главное — мобилизовать все силы. Моя бригада будет еще упорней сражаться за воду Кокбулака. И мы добудем ее, сколько бы дней на это ни понадобилось!

— А по-моему, как раз важно,— возразила Айкиз,— чтобы вы, именно вы, Алимджан-ака, освободились как можно скорей. Ведь если в ближайшее время придется сеять хлопчатник, то кто этим займется?

— У нас есть председатель колхоза — Кадыров. Он и начнет сев.

— Кадыров... Как будто вы не знаете нашего раиса! Он как огня боится ответственности, потому и переложил на наши плечи всю работу по освоению целины. Вот увидите, он будет кричать, что с него хватит и богары, что и так он совершил подвиг, отдав нам людей и все-таки вырастив на богаре пшеницу. Он найдет тысячи отговорок, чтоб только не связываться с целиной, поскольку,— Айкиз надула щеки и важно проговорила, подражая Кадырову,— это дело непроверенное, рискованное, и он, человек с практическим опытом, никогда не пойдет на опасные эксперименты. Он не верит в наш успех, а я перестала доверять Кадырову. Если даже с гор хлынет сель, он исхитрится не замочить щиколоток. Нет, нет, на Кадырова нельзя положиться...

— Не круто ли ты забираешь, Айкиз? — осторожно заметил Смирнов.

— Я сейчас говорю только об одном — о первом севе хлопчатника. Кадыров может его провалить. А вас же не надо убеждать в том, как это важно — успешно провести этот сев!.. Пусть пока только на участках двух бригад. Важен почин. И у меня будет неспокойно на душе, пока вы сами, Алимджан-ака, не возьметесь за это. Вы должны вернуться в колхоз в ближайшее же время, независимо от того, даст Кокбулак воду или нет.

Алимджан улыбнулся:

— Вы же слышали, Айкиз, что говорят люди: мы, дескать, уже держим тигра за хвост. И, уверяю, не собираемся его отпускать. Мы нашли место выхода Кокбулака и домой вернемся только с победой! Так решила бригада. А вы предлагаете бригадиру дезертировать в самый напряженный момент.

— Не дезертировать, а возглавить другое, не менее важное дело.

— Нет, Айкиз, пока я не попробую на вкус, какая она, кокбулакская вода, я бригаду не оставлю.

— Ты, значит, не сомневаешься в успехе? — спросил Смирнов.

— Не сомневаюсь!

— Поднажмите, Алимджан! Ты же фронтовик, тебе приходилось брать и укрепленные города и высоты, с которых обрушивался на вас огненный шквал. Считай, что время — это та же крепость, та же высота. В атаку — на время! Не подводи Айкиз, Алимджан.

Алимджан взглянул на Айкиз, она опустила голову, но даже в темноте было видно, как заалели ее щеки.

— Иван Никитич, мы сделаем все, что в наших силах.

— Вот, вот. Держись, Алимджан! Не вешай носа. Завтра я наведаюсь к тебе в бригаду. А пока спокойной ночи. Я лично намереваюсь как следует поспать.

Взяв со стола свою полевую сумку, Смирнов ушел.

Айкиз временно жила в одной из «девичьих» палаток, расположенных в арчевой роще,— чтобы сэкономить время, которое потребовалось бы на дорогу до дома и обратно.

Алимджан вызвался проводить ее до рощи, и они медленно спустились с холма.

Было уже далеко за полночь. Над Коктау висела ущербная луна. Арчевые деревья, в эти весенние ночи терпко пахнущие хвоей, кусты терновника, огромные

валуны и даже трава под ногами — все, казалось, замерло, притаившись, но жило в эти минуты какой-то своей, таинственной жизнью. Или это луна окутывала все тайной?..

Айкиз ласково тронула Алимджана за руку:

— Может, я что не так сказала? Вы не обиделись?

— На что же обижаться? Вы были правы. И я зря с вами спорил.

Айкиз, неожиданно остановившись, прижала к его губам свою маленькую ладошку:

— Ладно. Не будем об этом.

Алимджан, задохнувшись от счастья, некоторое время стоял в сладком оцепенении, не отрывая от Айкиз покорных глаз, а потом схватил ее ладонь обеими руками, словно пытаясь удержать у своих губ навеки. Айкиз же, подчиняясь неведомому порыву, положила голову ему на грудь. У Алимджана совсем перехватило дыхание. Он даже глаза закрыл на мгновение... И вдруг, уже не владея собой, принялся нежно и жадно целовать ее косы, шею, лицо. Айкиз чувствовала, что слабеет все больше и больше, у нее не было сил сопротивляться его поцелуям.

Какая-то большая птица, с шумом вырвавшаяся из густого орешника, пронеслась над ними, шелестя сильными крыльями, и скрылась в ночи.

— Сова,— тихо сказала Айкиз.— Она все видела.

— Ну и пусть. Нам нечего стыдиться. Ведь мы любим друг друга, да?

Алимджан попытался снова поцеловать Айкиз, но она мягко отстранилась:

— Не надо, Алимджан-ака.

— Вы сердитесь на меня?

— За что?

— Тогда...

Он взял ее за плечи, она покачала головой:

— Потом, Алимджан-ака...

Тут уже в голосе Алимджана прозвучали сердитые нотки:

— «Потом»!.. Сколько раз я это уже слышал. Вы все откладываете на «потом». Но когда же оно настанет, это «потом»? Честное слово, добиться от вас одного короткого слова «да» труднее, чем получить воду Кок-булака.

Он привлек Айкиз к себе.

— Вот не отпущу вас, пока вы не скажете, когда же наша свадьба.

— Скоро, Алимджан-ака.

— «Скоро» — это все то же «потом».

— Ну, хорошо. Я скажу. Но дайте мне сперва хоть вздохнуть!..

Алимджан позволил ей высвободиться из своих объятий, она отступила на шаг; не отводя глаз от его требовательного, выжидающего взгляда, сказала:

— Вот найдете живую воду, за которой я вас послала... Потом минет еще... ну, две недели. И тогда вы услышите короткое слово...

— Правда, Айкиз?

Вместо ответа она быстро наклонилась, сорвала пучок травы, приблизясь к Алимджану, расстегнула ворот его гимнастерки и сунула траву ему за пазуху.

— Это сонная трава, Алимджан-ака! Отправляйтесь спать, завтра у вас важное свидание: с Кокбулаком!

Она повернулась и, взмахнув руками, как крыльями, резво и бесшумно, словно паря над землей, побежала к арчевым деревьям, за которыми белели в лунном свете палатки.

Алимджан долго смотрел ей вслед...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Как уже говорилось, местом слияния двух горных рек, Янгаксая и Узумсая, служило глубокое каменное ущелье. По нему они текли как одна река — Алтынсай.

Ранней весной, в пору ливней и таяния снегов, Алтынсай отличался буйным нравом. Сжатый высокими скалами, он бесновался, гудел протестующе, ему было тесно в узкой расщелине, он походил на пленника, рвущегося на волю.

Выбравшись наконец из ущелья, Алтынсай бежал дальше уже веселей, раскованней, хотя его по-прежнему окружали голые скалы. Подскакивая на камнях, река взметала ввысь густые брызги. В ее праздничном плеске и шуме слышались трубный рев карная, удары звонкого бубна, нежная песня зурны.

К лету в Алтынсае оставалось так мало воды, что она еле прикрывала дно и не пенилась, не перемахивала через камни, а прозрачно сочилась меж ними.

В Алтынсайском ущелье почти всегда висела мрачная, сырая мгла. Лишь в полдень, когда солнце стояло в зените, его лучи ненадолго проникали в каменную теснину, каким-то зловещим светом озаряя отвесные склоны скал — то черные, как уголь, то желтые, со слюдяным блеском или с темно-красными потеками, напоминающими запекшуюся кровь.

Испокон веку тут было пустынно, безлюдно. Лишь птицы гнездились на скалах,— их, видимо, привлекала дикость этих мест. Человеку же грозная, суровая красота Алтынсайского ущелья внушала страх.

Но нашлись смельчаки, надумавшие поставить в ущелье плотину, перегородить путь Алтынсаю, направить его в новое, искусственное русло.

Сначала сюда явились ученые люди, специалисты: геологи, геодезисты, гидрогеологи. Они тщательно осмотрели местность, взяли образцы скальных пород, промерили глубину ущелья, определили скорость течения Алтынсая и составили проект строительства плотины.

Следом за ними пришли колхозники. Они возвели перед ущельем временную перемычку из суглинка. Натолкнувшись на эту преграду, река заметалась, ища выход. Люди указали ей выход, пробив аммоналом в скальном откосе тоже временное русло. По нему и устремился Алтынсай, начавший уже мелеть, с глухим, негодующим рокотом. Вскоре он, однако, стихал, словно примирившись со своей участью, и покорно огибал место сооружения плотины.

Первым делом строители принялись готовить котлован под плотину. Горы, привыкшие к молчанию, огласились громкими голосами, песнями, скрежетом машин, стуком и звоном ломов, лопат, кетменей, взрывами, грохотом рушившихся скал.

К котловану тянулись вереницы грузовиков и арб, они везли скальный камень, раздробленный аммоналом,— агатово-черный, гранитно-серый и красный, словно раскаленное железо. Камень этот, теперь уже «стройматериал», сверкая на солнце, грудами высился вокруг строительной площадки.

После совещания у «штабного» шатра Айкиз Умурзакова, заместитель начальника строительства, решила: если уж все стремятся закончить работу раньше

срока, то не след отставать и строителям плотины. Надо завтра же приступить к закладке ее основания.

Над вершиной Коктау только еще занимался рассвет, а Айкиз была уже на ногах. Она спешила. Но время, казалось, обгоняло ее, утро разгоралось с молниеносной быстротой, и, седлая Байчибара, пасшегося возле ее палатки, Айкиз увидела в его глазах розовый отблеск уже окрепшей зари и мысленно упрекнула себя: надо было встать еще раньше.

— Поехали, Байчибар,— сказала она вслух.— Впереди сегодня столько дел...

Она поскакала в кишлак, отправила секретаря сельсовета с приказом о закладке плотины на стройплощадку, к прорабу Джалалову, потом позвонила в райком. Услышав знакомый голос Джурабаева, Айкиз с радостным волнением доложила ему, что котлован уже готов и нынче в полдень начнется сооружение плотины.

— Поздравляю, Айкиз! — сказал Джурабаев.— От души поздравляю!..

— Вы приедете к нам?

— К сожалению, не смогу.

— Такое событие, товарищ Джурабаев...

— Знаю. И желаю вам успеха! Но... не всегда я сам распоряжаюсь своим временем.

Айкиз спросила упавшим тоном:

— Может, отложим на завтра?

— Ну, нет! Зачем же откладывать? Если у вас все готово... то малейшая задержка — это преступление. Начинайте без меня. Поменьше торжественности, побольше ответственности. Это ведь наши будни, Айкиз. Вот завершим полностью строительство, тогда устроим праздник.

Айкиз, покраснев, положила трубку. С минуту она сидела, справляясь со смущением, потом решительно сказала себе: «Что ж, начинать так начинать».

Выйдя на улицу, она вскочила на Байчибара, ожгла его камчой и понеслась в горы.

Такие поездки были для нее делом обычным, и она привыкла размышлять на скаку, в седле. Вот и теперь она раздумывала над тем, действительно ли все подготовлено для закладки плотины. Вроде все... Работы проводились согласно указаниям Ивана Никитича. Правда, сам Смирнов в последнее время наблюдал за расчисткой родников, реконструкцией Янгаксайского

арыка и почти не занимался «плотинным» участком, целиком полагаясь на Джалалова. Но Айкиз помнила все его советы и наставления, знала наизусть все чертежи. «Все в порядке, все в порядке,— убеждала она себя.— А Иван Никитич сегодня, наверно, у нас появится. Побывает у Алимджана — и к нам. И все встанет на свое место. Он одобрит мое решение».

Дело в том, что Айкиз намеревалась несколько отступить от ранее намеченного плана. Это намерение укрепилось сегодня ночью.

Неделю назад, когда она и Смирнов, в который уж раз, сидели над чертежами, инженер разъяснял: «Оба бока плотины должны будут войти в эти выемки в скалах. Поняла? Вот гляди: это левый, это правый фланг плотины. Здесь, в скалах, сверху донизу вы вырубите длинные, глубокие выемки. И камень, который вы при этом добудете, тоже вам пригодится».— «Еще бы,— кивнула Айкиз,— это намного облегчит нам работу. Нам не придется возить камень из дальних карьеров».

Однако за неделю колхозники навезли к строительному участку столько камня и гравия, что нужда в дополнительных запасах отпала.

И Айкиз подумала: «Зачем же, при таких обстоятельствах, вынимать камень еще и из стен ущелья? На это ведь потребуется столько лишнего труда, а главное, столько лишнего времени... Разве нельзя оставить скалы нетронутыми? Плотина и без выемок плотно сомкнется с ними, как бы обопрется на них богатырскими своими плечами, и ничто не сможет сдвинуть с места эту махину. Зато сколько дней мы сэкономим! А каждый день на вес золота. Нам во что бы то ни стало надо засеять хлопчатником будущей весной весь Алтынсайский массив».

Охваченная молодым нетерпением, Айкиз уговаривала себя, что, мол, если имеется возможность сократить объем и сроки работы, то просто грешно от этого отказываться.

Зеленая, бугрившаяся холмами земля вся была в пестрых цветах, но это цветенье не радовало Айкиз. Скорей бы зацвел здесь хлопок... Да ждать-то уж недолго: в будущем же году потянутся тут к солнцу не трава, не гребенщик, а кустики хлопчатника. А на полях, орошенных водой Янгаксайского арыка, хлопковые всходы появятся уже этой весной... «Славно-то как!.. Все-

таки удивительный человек Иван Никитич. Он на лету подхватил нашу инициативу да еще такой размах ей придал!.. И народ у нас — богатырь: надо — горы свернет! Дехкане все наши наметки ломают: чуть не со всеми работами управились раньше срока. Это-то и надо принимать в расчет, внося в проекты необходимые изменения. Плотину мы можем построить быстрее, чем предполагали. Еще немного, и она поднимется в ущелье, вровень со скалами. Скорей бы!..»

Айкиз на все была готова, только бы приблизить заветный день, когда завершится весь комплекс строительства. И она чувствовала в себе столько сил... «Как это верно сказано: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. А у нас три точки опоры: мечта, и план, и мощь народа. Поэтому наши возможности безбрежны...» Так думала Айкиз, и мысли эти бодрили, будоражили душу. Ей вдруг показалось, что Байчибар еле плетется, хотя он бежал по дороге резвой иноходью. Она прикрикнула на коня:

— Ты что, заснул, что ли? А ну, прибавь шагу!

Хлестнув Байчибара камчой, она пустила его в намет. Ветер парусом надул ее косынку, подвязанную под подбородком.

Айкиз любила мчаться вот так по горным дорогам, когда ветер свистел в ушах, трепал ее волосы, развевал платье, теплой волной бил в лицо.

Сквозь свист ветра она все же расслышала доносившийся из котлована грохот машин.

Свернув с наезженной дороги, Айкиз перевела Байчибара на шаг и направила его к обрыву, откуда вся строительная площадка видна была как на ладони. Айкиз увидела котлован, уже освобожденный от машин и людей, и вокруг него горы камня и гравия, увидела снующие грузовики, казавшиеся отсюда совсем маленькими, и экскаватор, выползающий из ущелья и тоже словно бы игрушечный: с ковшом величиной не больше спичечного коробка, с ажурной, хрупкой стрелой... У противоположной стены ущелья стояла группа людей, уж и вовсе крохотных, а поближе к Айкиз, посередине котлована, двое мужчин о чем-то спорили, энергично жестикулируя. Айкиз узнала в одном из них Рахмата, а в другом прораба Джалалова. У Джалалова, кряжистого, коренастого, тюбетейка была сдвинута на самый

затылок — верный признак того, что прораб горячился.

Рахмат первым заметил Айкиз на краю обрыва. Он дернул своего собеседника за рукав. Джалалов вскинул голову, помахал рукой, стал что-то кричать всаднице, то рупором прикладывая ладони ко рту, то снова размахивая рукой. Но голос его не долетал до Айкиз, и как она ни напрягала слух — не разобрала ни слова. Ладно, она еще сюда заглянет. А пока надо бы съездить на каменный и гравийный карьеры. Айкиз посмотрела на часы. Да, время у нее еще есть.

На гравийном карьере Айкиз задерживаться не стала, она даже не слезла с коня. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: работа тут шла слаженно, ритмично. Мимо Айкиз спокойно, с некоторой медлительностью двигались тяжело нагруженные машины и арбы, а навстречу им, по направлению к карьеру, громыхал порожняк — шоферы и возчики торопились, бесцеремонно обгоняли друг друга, слышались смех, шутки, беззлобная ругань. В самом карьере дехкане, добывавшие гравий, без устали взмахивали лопатами-грабарками.

Айкиз едва успевала отвечать на приветствия земляков: «Хорманг, хорманг!» — и в душе радовалась, что тут не надо давать никаких советов и указаний — люди и сами понимали значение своего труда, старались поскорей загружать и отправлять к котловану последние машины и арбы.

Обстановка на каменном карьере поразила Айкиз — настолько все там изменилось по сравнению со вчерашним днем. Куда только девались черные скалы, громоздившиеся еще вчера? Какая сила смела их и размолола?

Это было делом рук подрывников, они, выходит, не спали всю ночь, бурили шурфы, возились с аммоналом. Айкиз вспомнила, как перед самым рассветом ее разбудил гулкий взрыв, от которого задрожала земля вокруг. Она не сразу сообразила, что же это происходит, а когда догадалась, то улыбнулась удовлетворенно, радостно и подумала про себя: «Чудно́ — люди скалы взрывают, и гудят горы, трясется земля, а у меня от этого на душе хорошо и спокойно. Все идет, как надо!» Тогда же она и решила наведаться в каменный

карьер, посмотреть, что «натворили» подрывники, пожать им руки, поговорить об их работе, нелегкой и опасной.

Взрывы в горах в последнее время грохотали часто, и Айкиз не раз встречалась с подрывниками и не раз пыталась с ними заговорить, но все безрезультатно, потому что это были люди замкнутые, молчаливые. Особой хмуростью отличался бригадир подрывников — высокий, худой, с рябым лицом. Айкиз никак не могла определить, каков же его возраст, и как-то сказала Смирнову: «То мне кажется, что ему лет двадцать, то — что все сорок». Иван Никитич только усмехнулся...

Бригадир был русский, звали его Николаем, и бригада его состояла всего из трех человек, словно бы состязавшихся с ним в молчаливости. Смирнову, правда, удавалось их расшевелить, а когда в беседу вступала Айкиз, они даже не удостаивали ее ответом и поглядывали на нее — нет, не сердито, а с той обидной снисходительностью, с какой обычно смотрят взрослые, занятые своими важными делами, на крутящуюся вокруг детвору. А ведь Айкиз не лезла к ним с какими-то «руководящими» указаниями, это было бы просто глупо по отношению к таким мастерам, как эти молчуны. Ей всего лишь хотелось узнать, что это за люди — подрывники, что движет ими, почему они выбрали именно эту профессию? Ведь каждый день они шли на риск, и Айкиз интересно было разобраться, что стояло за этим: любовь к своему делу, романтическое к нему отношение или обыкновенное желание подзаработать побольше денег,— труд подрывников хорошо оплачивался.

Но стоило Айкиз завести с ними об этом речь, как они замыкались в себе, а бригадир, слушая ее, кивал головой, словно во всем с ней соглашаясь, хотя она и не утверждала ничего, а, наоборот, обращалась к подрывникам с вопросами.

И, как ни странно, но она не испытывала досады ни на Николая, ни на его ребят. Что-то ей нравилось в них, особенно в Николае. И даже их неприветливость не обижала: люди дела и не должны много болтать да рассыпаться в любезностях. Она сразу же отмела мысль о «стяжательстве» подрывников, они казались ей сказочными богатырями — батырами, крушащими

горы, вздымающими к небу тонны земли и камня, способными на любой подвиг!

Все же она жалела, что так ни разу и не довелось ей вызвать их на откровенный разговор.

Сегодня у нее не было такого намерения, она хотела просто поблагодарить их за ту помощь, которую они оказывали алтынсайцам, пожать им руки... У одного парня она спросила, где сможет найти подрывников; тот ответил, что после ночной работы они сильно устали и, наверно, спят сейчас в какой-нибудь палатке.

«Не буду их тревожить, пусть хорошенько выспятся,— с каким-то благоговением подумала Айкиз.— Вон сколько они наворочали за ночь, только поспевай нагружать машины!»

Тут люди работали еще более споро, чем на гравийном карьере,— споро и в то же время как-то по-особому сосредоточенно. Молча, с явным напряжением, поднимали они с земли тяжелые камни, кидали их в кузова грузовиков и на арбы. Возчики и шоферы здесь тоже помалкивали — не перебрасывались шутками, не оглушали окружающих озорным свистом. Машины не обгоняли одна другую, а въезжали в карьер и выезжали из него осторожно, ловко лавируя между грудами камня, стараясь не зацепить встречный грузовик бортом.

Айкиз собралась уже было покинуть карьер, как вдруг увидела Кадырова: тот стоял за большущим валуном. Позади высившейся поодаль горы битого гранита происходило, судя по всему, что-то тревожившее Кадырова, потому что он смотрел туда недовольно и, как показалось Айкиз, испуганно. Она подъехала к нему сзади и только тогда поняла, что так занимало Кадырова. Два подростка пытались взвалить на арбу серую гранитную глыбину. Им удалось приподнять ее на уровень арбы, но не хватало сил уложить ее туда. И бросить глыбу на землю ребята не отваживались: она могла упасть им на ноги.

Айкиз, ахнув, соскочила с коня, крикнула Кадырову:

— Что же вы стоите? Ребят же раздавит!

И метнулась к подросткам, подставив под глыбину плечо.

Только тогда к ним подошел и Кадыров, подпер глыбу снизу широкими ладонями. Общими усилиями ее водворили наконец на арбу,— глыба легла так тяж-

ко, что толстые оглобли подскочили вверх, потянув за собой и хомут.

Отряхнув ладони, Кадыров внимательно осмотрел свою одежду: не запачкался ли ненароком.

— Ах, вот оно в чем дело! — насмешливо протянула Айкиз.— Вы боялись замарать свой новый китель!.. Да и сапоги, я гляжу, на вас тоже новые. Что ж, человек должен следить за своим внешним видом. И одеваться красиво. Но красиво ли наблюдать со стороны, как ребята мучаются?

— Никто не заставлял этих сопляков хвататься за такую громадину,— Кадыров кивнул в сторону гранитной глыбы, уже покоящейся в арбе.

— Так они же дети! А детям всегда хочется выглядеть героями.

— Ха!.. Им захотелось в героев поиграть, а я-то тут при чем? Не мое это дело — камни вместе с ними ворочать. Да и не ваше, товарищ Умурзакова. У нас с вами иные функции и обязанности. Не забывайте: вы заместитель начальника строительства.

— Я и не забываю.

— Тогда зачем же нам с вами ронять свой авторитет — выступая в роли грузчиков?

— А если бы ребята камень уронили себе на ноги, было бы лучше? Нет, уж я предпочитаю помочь им.

Немного пожурив подростков, Айкиз принялась вместе с ними кидать камни на арбу. Кадыров стоял рядом, презрительно морщась. Айкиз, не разгибаясь и не глядя на него, сказала:

— Помогли бы и вы нам. Поза стороннего наблюдателя не прибавляет авторитета. Покажите своим колхозникам, как надо работать!

Кадыров нехотя приблизился к арбе, швырнул в нее несколько небольших камней.

— Смелей, смелей, товарищ Кадыров! Не стесняйтесь. Это и для здоровья полезно.

Дехкане с улыбками следили за действиями председателя: он поднимал камни с земли и бросал их на арбу с какой-то брезгливостью, тут же отряхивая ладони и оглядывая свой китель.

Ему и неловко было перед колхозниками заниматься не свойственным его положению делом, и в то же время он опасался, как бы они не подумали, что он чурается «черной» работы.

Выручил раиса прораб Джалалов, появившийся в карьере; остановившись возле Айкиз, он сказал с облегчением:

— Уф!.. Вот вы где, оказывается. Насилу разыскал вас, товарищ Умурзакова.

Он, видно, шел сюда быстро, лицо было красное, высокий лоб с большими залысинами блестел от пота. Обмахиваясь тюбетейкой, Джалалов продолжал:

— Вы, значит, велите нынче же в полдень начинать закладку оснований плотины?

— А что вас смущает?

— Товарищ Умурзакова, а как же проект? Ведь согласно проекту...

Айкиз перебила его:

— Необходимо вырубить выемки в стенах ущелья? Вы это хотите сказать?

— Именно это.

— Так вот, необходимость в этой дополнительной работе отпала.

— Как так отпала?

— А так. Нам не нужен камень из выемок. Хватит и того, который доставлен из карьеров.

— Разве дело только в камне?

— А в чем же еще? Проблема стройматериалов решена. Это главное. Камня у нас будет даже с избытком: видите, его все везут и везут.

Джалалов пожал плечами:

— Простите, товарищ Умурзакова, но вы рассуждаете по меньшей мере наивно.

Айкиз вспыхнула:

— Я следую указаниям инженера Смирнова. Что ж, по-вашему, он тоже не прав?

— Иван Никитич не мог отдать такого глупого распоряжения! — вспылил и Джалалов.— Я знаком и с проектом и с указаниями Ивана Никитича. Для меня они закон. А вот вы с ними почему-то не желаете считаться. Вы самовольно отступаете от проекта!

— Значит, я... самовольничаю?

Айкиз незаметно покосилась на Кадырова: тот и не пытался скрыть злорадную усмешку. Он явно наслаждался тем, что Айкиз при нем отчитывали, как несмышленую девчонку. Вот это-то больше всего ее и угнетало. И ей захотелось осадить Джалалова, дать ему достойный отпор.

— А вы что же — слепой раб проекта? Для коммунистов план — не догма. И в проект мы вправе вносить коррективы, подсказанные самой жизнью. Тем более если это поможет нам быстрей построить плотину.

— Сроки строительства надо сокращать другим путем. Не перечеркивая важнейшие детали проекта. Одним словом...

Джалалов стиснул зубы, на его бронзово загорелых щеках перекатывались желваки. Словно через силу, он резко закончил:

— Я бы попросил вас, товарищ Умурзакова, не вмешиваться не в свое дело.

Айкиз оторопела от неожиданности, лицо ее вмиг сделалось бледным и как бы даже осунулось. Преодолев минутное замешательство, она тихо сказала:

— Я вас не понимаю, товарищ Джалалов.

Тот, уже успокоившись, пожал плечами:

— Что же тут не понимать? Если человек в чем-то не разбирается, ему надо отойти в сторону и не мешать другим.

— Вы, кажется, забыли, что я заместитель начальника строительства?

У Айкиз уже и губы стали серыми.

— Да. Вы заместитель. И у вас свой круг вопросов. Но конкретно за плотину отвечаю я.

— Только вы?

— Нет, еще и инженер Смирнов — как начальник строительства. На нас двоих и лежит вся ответственность за сооружение плотины.

— А я, значит, никакой ответственности не несу?

— За плотину — нет.

Оглянувшись, Айкиз увидела, что вокруг них начали собираться колхозники. Они, хмурясь, прислушивались к спору прораба и Айкиз. Что ж, тем лучше. Земляки всегда ее поддерживали и знали цену ее словам. Часто с гордостью говорили: «У нашей Айкиз слово идет за мыслью».

Она встала на гранитный камень, похожий на мельничный жернов, сказала, обращаясь к колхозникам:

— Товарищи! Здесь работу можно пока закончить. Готовьтесь к переходу в котлован.— Айкиз посмотрела на ручные часики.— Через сорок минут мы начнем закладку основания плотины.

Она была уверена, что и на этот раз найдет поддержку у колхозников и после ее слов народ разойдется и все направятся на строительную площадку.

Но она ошиблась: люди оставались стоять на месте и молчали, ожидая завершения спора между ней и Джалаловым. Внутреннее чутье работника, близкого к народным массам, подсказало Айкиз, что колхозники не на ее стороне. «Что же это такое? — подумала она в растерянности и тревоге.— Неужели я не права?»

В настороженности земляков ей чудилось осуждение. Она соскочила с камня и почувствовала на своем плече чью-то тяжелую ладонь. Айкиз быстро обернулась и встретилась глазами с взглядом Кадырова, вроде бы сочувственным, серьезным. И тон, которым он заговорил, тоже был серьезный и искренний:

— Умурзакова, послушайтесь моего доброго совета: отмените приказ, пока не поздно. Не забывайте: вы заместитель начальника строительства.

Сколько уж раз звучала сегодня эта злосчастная фраза, произносимая то Кадыровым, то самой Айкиз.

Кадыров многозначительно добавил:

— Вы за все в ответе.

— Ах, значит, и за плотину отвечаю все-таки я?

— И вы. И прораб. И Смирнов. Потому я и советую вам не торопиться.

В глазах раиса мелькнули насмешливые огоньки.

— Правда, и я, как и вы, не слишком-то большой специалист в строительном деле. Но мне кажется, Джалалов прав. Вы малость поспешили, товарищ Умурзакова, а спешка до добра не доводит.— Теперь уже в голосе Кадырова слышалась откровенная издевка.— Что ж, и вас можно понять: молодо-зелено, на месте-то не сидится, хочется весь мир удивить — неважно чем. Но опыта-то у вас маловато, а неопытность всегда приводит к ошибкам.— Кадыров развел руками.— Впрочем, у кого их не бывает.

Каждое слово Кадырова камнем падало в душу Айкиз. Кадыров говорил громко, чтоб все могли его слышать. Айкиз понимала: он рад случаю унизить ее перед колхозниками. Он готов подорвать чужой авторитет, чтоб поднять свой.

Ей стоило немалых усилий взять себя в руки. Выдержав паузу, необходимую для того, чтобы речь ее, даже после всего происшедшего, прозвучала веско и значи-

тельно, Айкиз подняла спокойный взгляд на Джалалова, твердо сказала:

— Товарищ Джалалов, неужели же вы полагаете, что, прежде чем отдать приказ, я не обдумала его хорошенько? Я ведь одного хочу: чтоб на всем Алтынсайском массиве уже через год можно было посеять хлопок...

— По-моему, это наша общая забота.

— Вот. Значит, если у нас есть возможность сжать сроки строительства плотины, мы просто обязаны, да, обязаны это сделать!.. Мне бы не хотелось опираться на чужой авторитет... Но сегодня утром я разговаривала по телефону с товарищем Джурабаевым. И он сказал, что уж коли котлован готов...

— В том-то и дело, что не готов! — прервал ее Джалалов.— Ведь еще нет выемок в стенах ущелья!

Айкиз досадливо сдвинула брови:

— Дались вам эти выемки! Я думаю, они внесены в проект лишь для подстраховки. И с тем, чтобы у вас появился добавочный камень. Но я уже говорила: камня и гравия и без того достаточно. Разве не так? — Айкиз снова посмотрела на часы.— Мы не имеем права задерживать закладку плотины ни на одну минуту. Как заместитель начальника строительства, приказываю вам, товарищ прораб, ровно через двадцать пять минут приступить к закладке.

Джалалов смотрел на Айкиз словно с каким-то сожалением. В глазах его не было ни гнева, ни враждебности. Вздохнув, он махнул рукой:

— Ладно, будь по-вашему. Мы начнем закладку плотины. Но на всякий случай я поищу Ивана Никитича. Как знать, может, он и даст нам «добро». Но так или иначе, а мы должны поставить его в известность о вашем приказе.

Кадыров с преувеличенным испугом воскликнул:

— Нет, нет, товарищ Джалалов, вам никак нельзя отсюда уходить! Кто знает, что еще взбредет в голову нашей уважаемой новаторше! Горяча она больно, и тороплива, и прямо-таки переполнена идеями!.. Ох, молодость, молодость! Завидки берут...

Непонятно было, старался ли Кадыров оправдать Айкиз или побольней уколоть ее.

— Вы, прораб, идите лучше к котловану. А я уж не сочту за труд — сам съезжу к Смирнову, поскольку

у меня есть машина. Объясню ему все, пусть сам судит, кто тут прав, а кто... хм... по молодости заблуждается.

Заложив руки за спину, Кадыров тяжелым, неспешным шагом направился к своей машине, стоявшей неподалеку.

Колхозники в молчании разбрелись по всему карьеру, чтобы взять свой инструмент.

«Не похоже, чтобы они одобрили мое решение,— с горечью подумала Айкиз.— Впервые я осталась в одиночестве». Сердце у нее защемило, и неожиданно для себя она крикнула вслед Кадырову:

— Постойте, товарищ Кадыров! Ведь Иван Никитич сейчас скорее всего в долине Янгаксая. На машине вы туда не доберетесь. И на коне вам ехать неловко — можете помять китель. Давайте я уж лучше сама поищу инженера. Не бойтесь, я все ему доложу как есть.— Айкиз повернулась к Джалалову.— А вы приступайте к закладке, как мы и договорились. И не разводите особой торжественности.— Ей вспомнились слова Джурабаева, и она повторила их: — Поменьше торжественности, побольше ответственности.

Она подошла к Байчибару, который жевал, потряхивая головой и позвякивая удилами, раздобытый где-то зеленый кустик тамариска, легко, уверенно вскочила в седло. Конь, почувствовав взволнованность и нетерпение хозяйки, с места взял в галоп, только огненные брызги полетели из-под копыт, загремевших по осколкам гранита, которые устилали карьер.

Колхозники, работавшие в долине Янгаксая, сказали Айкиз, что инженер Смирнов только что был здесь, а потом направился в бригаду Алимджана. Какой-то молодой незнакомый парень в красной майке и тюбетейке, почему-то вывернутой наизнанку, принялся объяснять Айкиз, как проехать к Кокбулаку. Та нетерпеливо оборвала его:

— Ладно, ладно. Уж где Кокбулак, я как-нибудь и сама знаю.

Она хлестнула коня. Подпрыгивая в седле, думала с иронией: «Теперь все меня взялись учить, давать советы, объяснять то, что мне и самой известно. Вон сколько советчиков: Джалалов, Кадыров, даже этот

неоперившийся птенец... Что-то я прежде его не видела — наверно, не из нашего колхоза».

Байчибар вступил на узкую горную тропу с крутыми поворотами. Айкиз торопила его, подстегивая камчой, но конь ее не слушался и шел мелкой рысью. Он словно понимал, на какой риск толкала его хозяйка. Здесь, среди скал, опасно было мчаться галопом: споткнешься с ходу, налетишь на неожиданное препятствие — конец и коню и седоку. Как ни размахивала Айкиз камчой, как ни пришпоривала Байчибара, он только остервенело поводил глазами, поджимая уши, но ничто не могло заставить его перейти с рыси на галоп.

— Ну, погоди,— злилась Айкиз,— ты у меня побежишь, трус несчастный! Ишь какие все медлительные!

Неожиданно ей пришлось так резко осадить Байчибара, что он даже присел на круп.

В нескольких шагах от Айкиз под нависшей темной скалой стоял Смирнов. Он смотрел на Айкиз, добродушно улыбаясь:

— Салам, заместительница! А я слышу — гул идет по ущелью. Ну, думаю, не иначе, как это Айкиз скачет: другой такой лихой наездницы у нас вроде нет. Вот остановился, решил тебя подождать.

Айкиз, спешиваясь, сказала с явным облегчением:

— Ох, как хорошо, что я вас встретила, Иван Никитич! Здравствуйте. Я ведь как раз вас и разыскиваю. Мне сказали, что вы пошли к Кокбулаку.

— Верно, я туда путь держал.

Смирнов пригляделся к девушке: на ней лица не было, в глазах метались боль и тревога.

— А ты вроде не в себе, Айкиз,— озабоченно сказал он.— Стряслось что-нибудь?

— Да ничего особенного не случилось, Иван Никитич.— Айкиз старалась говорить спокойно, но в голосе ее звучали сердитые, упрямые и опять-таки тревожные нотки.— Видите ли... я отдала приказ о закладке плотины, а Джалалов отказался его выполнять.

— Вот так «ничего особенного»!.. Налицо серьезный конфликт. Объясни-ка мне потолковей, почему Джалалов воспротивился твоему приказу. Он ведь дельный прораб.

— Ну... он считает, что к закладке приступать рано: котлован, мол, еще не готов.

Смирнов насторожился:

— А твое мнение — котлован готов? Вот уж не предполагал, что ты так стремительно со всем управитесь.

— Котлован готов! — горячо сказала Айкиз.— Не сделаны только выемки в стенах ущелья, но они сейчас и ни к чему. А Джалалов уцепился за эти выемки...

— Погоди, погоди,— остановил ее Смирнов. Он насупился, синие его глаза потемнели, голос приобрел необычную для инженера строгость.— Так ты говоришь — выемки ни к чему?

— А зачем они, Иван Никитич, когда камня у нас и так много?

— Так разве дело только в камне?

Айкиз вспомнила, что такой же вопрос задавал ей и Джалалов, и краска смущения залила ей щеки.

А инженер еще строже переспросил:

— Так, значит, выемок нет?

— Нет, Иван Никитич...

— А ты отдала приказ начать закладку плотины?

— Да, Иван Никитич.

Сердцем Айкиз уже чуяла беду, и голос у нее был тихий, виноватый.

— Так. И вы уже приступили к закладке?

Айкиз только кивнула утвердительно.

— Нет, ты мне ответь: приступили?

— Да...

Смирнов некоторое время молчал, словно не веря своим ушам, и вдруг сухо, зло произнес:

— Так знай, товарищ Умурзакова: без выемок наша плотина уже через месяц полетит к чертовой матери!.. Вода размоет ее, сотрет в порошок, опрокинет! И как тебе пришло в голову отдать такой непродуманный приказ?! Почему ты мне ни о чем не доложила?

— Я... полагала...— Айкиз чуть не плакала,— чем мы скорей...

— Скорей!.. Из-за тебя мы уже потеряли целый день. Одна надежда — что строители выполняют твой приказ без особого энтузиазма. Чем меньше они уложат камня в тело плотины, тем меньше придется его вынимать.

Айкиз стояла понурясь, глаза ее были полны слез. Смирнов понял, что переборщил, сказал утешающе:

— Ну-ну... Вот слезы действительно ни к чему —

в отличие от выемок. Ладно, не переживай. Все еще можно поправить. Ты давай вместо меня отправляйся на Кокбулак — погляди, как там и что. А я, с твоего разрешения, возьму Байчибара и потороплюсь на стройплощадку.

Айкиз молча передала ему повод и камчу. Иван Никитич, едва коснувшись ногой стремени, вскочил в седло, повернул коня, и в тот же миг по ущелью словно гром прокатился: это грохотали камни, летевшие из-под копыт Байчибара.

Топот копыт быстро удалялся и вскоре совсем затих.

Айкиз долго еще стояла на тропинке, устремив недвижный затуманенный взор в сумрак ущелья, поглотивший Байчибара и Смирнова. Казалось, все тело у нее было налито свинцовой тяжестью, и сил не хватило даже на то, чтобы откинуть за спину толстые косы, упавшие на грудь. Айкиз только вытерла мокрые глаза рукавом платья, как вытирала их давно, в далеком детстве, и опустилась на камень, положив на колени вялые ладони.

Что же все-таки произошло?

Айкиз не поняла — сама ли себя она об этом спросила, или вопрос прозвучал со стороны...

Но в ущелье было безлюдно, тихо, лишь Янгаксай звенел внизу, перепрыгивая с камня на камень.

Айкиз вспомнила сегодняшнее утро, такое светлое, обнадеживающее, счастливое. Ей чудилось тогда, что конца не будет ни этому свежему, ясному утру, ни счастью — огромному, бездонному, как небосвод.

А сейчас она внушала себе, что уже никогда больше не будет счастливой и чудесное утро ушло в прошлое, стало невозвратимым, как детство, такое же легкое, полное надежд...

Все вокруг было каким-то чужим, горьким, от синего неба веяло холодом, и шум Янгаксая рождал в душе томительную тоску...

Что же все-таки случилось? В чем ее ошибка?

Айкиз представила себе котлован, стиснутый гранитными стенами. Там по ее приказу началась закладка основания плотины: уже пошла в рост махина из гравия и камня, схваченных цементом. И люди не зна-

ют, что занимаются напрасным трудом,— ведь Иван Никитич еще не успел туда прибыть.

Скорей бы уж он оказался на строительной площадке и исправил ее промах!..

Всем тогда станет ясно, что она натворила... Как теперь смотреть в глаза людям? Ведь они доверяли Айкиз и гордились ею. А она обманула их, обрекла на бессмысленные, бесполезные действия. Ох, если бы только бесполезные,— нет, вредные!

И нет ей оправдания. Какой прок объяснять, что она хотела, как лучше, что у нее была одна цель: как можно скорей возвести плотину и пустить воду на истомившуюся от жажды целину... Ее приказ не приблизил эту цель, а, наоборот, отдалил. И Айкиз кляла себя за самоуверенность, торопливость, горячность. Кадыров сказал: молодо-зелено... Ах, при чем здесь молодость! Просто она переоценила свои силы. Прав Кадыров, прав Джалалов: она действительно не понимает в строительном деле, так нет, сунулась в воду, не зная броду...

Свинцовая тяжесть все ощутимей наваливалась на ее плечи, и Айкиз почувствовала, какие же они на самом-то деле слабые.

Или это Кадыров положил ей на плечо свою железную ладонь? На минуту Айкиз показалось, что Кадыров и впрямь стоит рядом и поглядывает на нее с притворным сочувствием и торжествующей усмешкой.

Нелегко признать, что на этот раз правда на его, а не на ее стороне. Больно и горько сознавать, что ты виновата.

Но наберись мужества, Айкиз!.. Ты ведь судишь сама себя — судом разума и совести. Не прибегай же к недостойным уловкам, не ищи лазеек, чтобы уйти от сурового приговора. Ты вот думаешь: а не причастен ли к происшедшему Кадыров? Мол, не будь его возле, ты бы не стала так горячо и упрямо настаивать на своем. Мол, это именно перед ним тебе не хотелось ударить лицом в грязь, потому ты и приказала Джалалову выполнять свой приказ.

При чем здесь Кадыров, Айкиз? Ведь приказ тобой был уже подписан. И ты уверила себя в том, что твое решение не принимать в расчет такой пустяк, как какие-то выемки, подсказано самой жизнью.

Но не опытом, не знаниями!

Ты торопилась и легкомысленно отметала все разумные доводы Джалалова.

Вот и получила от жизни хороший урок.

Кадыров, конечно, сейчас злорадствует. Ты ведь знаешь, он тебя недолюбливает за то, что ты мешаешь ему отдохнуть, насладиться достигнутым, удобно расположившись на долгий привал.

Айкиз прикусила губу... Да бог с ним, с Кадыровым, пусть злорадствует!.. Это для нее не самое страшное. Страшно, что она причинила ущерб делу, в которое сама же вкладывала всю душу. И стыдно, очень стыдно перед Джалаловым. О Смирнове уж нечего и говорить: как, наверно, упала она в его глазах!.. И навсегда, бесповоротно потеряла его доверие.

Айкиз стиснула виски ладонями.

Как все уравновешенные, спокойные люди, Смирнов в гневе становился сухим и жестким. Правда, довести его до такого состояния было не так-то легко! А она вот довела. Какой резкий у него был голос, когда он отчитывал ее. И острый как нож.

Айкиз стало жалко себя, она снова заплакала. И снова принялась вытирать слезы рукавом и ладонями, запамятовав, что как раз в рукаве у нее спрятан носовой платок.

Как тут не плакать, если она подвела Ивана Никитича, человека, который всегда был с ней по-отечески ласков и верил в нее... Ведь это он настаивал в райкоме, чтобы именно Айкиз назначили его заместителем. А Айкиз не оправдала его надежд. Она замахнулась на проект, составленный Смирновым, хотя и благоговела перед инженером. Как же это она осмелилась поставить себя выше такого специалиста, как Иван Никитич?

Видно, закружилась у нее голова от постоянных успехов, от того доверия, которое ей было оказано, от полного презрения к риску...

А рисковать-то надо умеючи, полагаясь на знания, а не подчиняясь всецело пусть благородным, но чисто душевным порывам!..

Кадыров, выходит, и прежде был прав, предупреждая всех, что Айкиз молода и неопытна. Теперь он будет потирать руки: «А что я говорил? Умурзакова, по молодости, подвела нас всех: и меня, и Джурабаева, и Смирнова, и всех колхозников».

Он не преминет опорочить Айкиз и перед Алимджаном...

Айкиз вдруг улыбнулась сквозь слезы. А Алимджан и слушать его не захочет, он не поверит ни одному его слову! Ведь он любит ее, Айкиз...

Она сейчас сама пойдет к нему и расскажет все, все, без утайки, поведает обо всем, что она натворила, и обо всем, что потом передумала. И он поймет ее, только он и способен понять ее по-настоящему! Алимджан, родной! Ведь так? А может, и он накричит на нее, как Иван Никитич?.. Что ж, так ей и надо. Все равно она должна с ним поговорить, излить душу... И принять безропотно любой его укор. Потому что нет на свете человека родней Алимджана!..

Айкиз торопливо заплела концы распустившихся кос, откинула их за спину, поднялась с камня и чуть не бегом припустилась по горной тропе, ведущей к Кокбулаку.

Желтые ее сапожки скользили на гладких камнях, она часто оступалась, но все бежала и бежала, и сердце у нее билось взволнованно, радостно. Скоро она увидит Алимджана. И он снимет тяжесть с ее души. Он у нее молодец, Алимджан! Она вправе им гордиться. Он обещал ей во что бы ни стало отыскать Кокбулак и возродить его к жизни, и она уверена: так и будет!.. Ведь он трудится на своем участке не жалея сил, с раннего утра и до позднего вечера не выпуская из рук кирку или лом. Ох, и нелегко же ему, бедняге...

Айкиз невольно замедлила шаг.

Да, нелегко сейчас приходится Алимджану... А она с чем прибежит к нему? Со своим горем, со своими слезами? Вряд ли это прибавит ему бодрости... Вместо того чтобы поддержать любимого, она сама спешит к нему за поддержкой. И только расстроит его. Нет, этого делать нельзя!..

Айкиз остановилась. Голова у нее раскалывалась от боли. Она устала от тяжких покаянных мыслей, от путаных чувств, разрывающих сердце...

Нет, к Алимджану ей путь заказан. Только ее излияний ему и не хватает!..

Но она не могла и оставаться наедине со своими горькими думами.

Айкиз решительно сдвинула брови. Вот что: она пойдет в сельсовет и оттуда позвонит Джурабаеву. Ему

все и расскажет. И пусть коммунисты судят ее без жалости.

Сама себя она уже безоговорочно осудила.

Круто повернувшись, Айкиз побрела по каменистой тропе, тянувшейся вдоль пропасти, на дне которой тускло поблескивал Янгаксай. Когда она выбралась из ущелья на наезженную дорогу, то снова вспомнила о нынешнем утре, таком светлом и радостном. Ведь утром она ехала по такой же дороге, и небо было просторным, как мир, а воздух чистым и свежим, и вокруг все цвело, благоухало, и на холмах буйно пламенел мак, словно тут и рождались алые утренние зори, и птицы пели весело и беззаботно...

Как все изменилось за несколько часов!.. Небо казалось Айкиз блеклым, будто выцветшим, и маки на холмах побледнели, и цветы привяли, и не слышно было пения птиц...

Она видела все словно сквозь темные очки, на душе у нее было пусто и сумрачно.

Айкиз не помнила, как добрела до Алтынсая... Когда она уже приближалась к кишлаку, позади послышался стук копыт. Она хотела было оглянуться, посмотреть, кто это скачет, но передумала и только посторонилась, сойдя с дороги на обочину.

Копыта гремели уже совсем рядом, и Айкиз не выдержала, подняла голову, обернулась.

Смирнов и Джалалов ехали по дороге верхом на конях, в одном из которых она узнала Байчибара. При виде их у Айкиз радостно встрепенулось сердце, встрепенулось — и опять упало... Лица всадников, покрытые пылью, были утомленные, хмурые.

Куда же они держат путь? Наверно, в Алтынсай. А может, и в район. И скоро все узнают о позоре Айкиз... Бедный отец, как он боялся за нее!.. Как предостерегал от неверного шага! Он изведется теперь, переживая за дочь...

Айкиз остановилась, пропуская всадников мимо себя, но и они, немного не доехав до нее, спешились и, перекинувшись несколькими словами, уселись в сторонке под деревом, словно бы намереваясь передохнуть после долгого пути.

Айкиз не знала, что ей делать. Шагать дальше как ни в чем не бывало? Неудобно. Подойти к инженеру и прорабу? А что она сможет им сказать?

Видя, что она мнется в нерешительности, Иван Никитич сам позвал ее:

— Иди сюда, Айкиз. Потолкуем.

Он достал из кармана помятую пачку «Беломора», предложил папиросу Джалалову; оба закурили, выжидательно глядя на Айкиз. Сгорая от стыда, она несмело приблизилась к ним и встала позади, обняв рукой ствол дерева и по-детски прижавшись к нему щекой.

Смирнов и Джалалов некоторое время молча дымили своими папиросами, потом Иван Никитич, вытирая лоб тыльной стороной ладони, сказал:

— Здорово нынче печет.

— Да,— откликнулся Джалалов, скрывая улыбку.— Солнце жаркое. И работа у нас горячая. И некоторые товарищи слишком горячие. Оттого, наверно, так знойно в Алтынсае.

Иван Никитич повернулся к Айкиз:

— Что ты к дереву-то приклеилась? Все переживаешь душевную трагедию?

Айкиз не приняла шутки.

— Не надо так, Иван Никитич.— У нее дрожали губы.— Мне и без того свет не мил. А тут вы... смеетесь. Я знаю, надо мной, конечно, не грех посмеяться... Вон ведь что наделала... Как дурочка какая...

Она вдруг громко, судорожно всхлипнула и еще крепче прильнула щекой к шершавому стволу дерева.

— Пойди-ка к лошадям, прораб, поправь седла,— сказал Смирнов, а сам, поднявшись, шагнул к Айкиз и ласково, как маленькую, потрепал ее по руке, обнимавшей дерево.— Ну, ну, Айкиз. Довольно сырость-то разводить: ты уж вроде вышла из детского возраста. Да и не из-за чего реветь. И напраслину на себя не возводи, ты у нас умница. Ты вообще чудесная девушка, Айкиз! Ну ладно, ошиблась. И ошибку допустила серьезную. Так ведь это впервые в жизни, разве не так? Точнее, впервые за годы самостоятельной работы. А кто из нас не ошибался, Айкиз? Недаром молвится: кто не падает, тот и не поднимается. Зачем же так отчаиваться из-за первой же ошибки? Выше голову, Айкиз! Не казнить себя ты должна, а собраться с силами для новых дел. Да отлепись ты от дерева, наконец!..

Смирнов легонько тряхнул Айкиз за плечи, она повернула к нему заплаканное лицо.

— Как мне не казниться, Иван Никитич? Такие ошибки не прощаются. Я сама себе никогда не прощу!

— Ну и хорошо. Хорошо, что ты все поняла, осознала, это уже залог того, что ты впредь меньше станешь ошибаться.

— Чтоб я... когда-нибудь еще...

— А ты не зарекайся. Вот как ты думаешь, я — неглупый человек?..

Айкиз невольно улыбнулась:

— Вы — мудрый.

— Скажем, неглупый. Так как, по-твоему, у меня никогда не было промахов?

— Не знаю...

— Да целый ворох!.. Говорят: нет дров, которые не дымят, нет людей, которые не ошибаются. А если сложить все ошибки умного человека, так получится гора. Так что у тебя все еще впереди: и успехи и ошибки. В этом плане ты еще начинающая.— Смирнов засмеялся, но тут же глаза его посерьезнели.— Главное — не унывай! Сильным не к лицу уныние. А ты сильная, я в этом убежден. И сумеешь переломить себя. Ты не обижайся, но есть в тебе и упрямство, и заносчивость, и болезненное самолюбие. Хуже всего вот эта заносчивость, самонадеянность, когда ты считаешь себя гроздью винограда, а других — опавшими виноградинами. Самомнение может привести тебя к таким просчетам, перед которыми сегодняшний твой промах покажется пустяком. Вот это и старайся в себе побороть. А что касается плотины, так это дело поправимое. Собственно, и поправлять-то тут нечего. Джалалов — специалист грамотный, его трудно сбить с толку. Он без меня и не думал приступать к закладке. Правда, не начал делать и выемки. Так что какое-то время мы упустили... А ты, наверно, была о Джалалове невысокого мнения, ведь так?

— Неправда!.. Я с ним очень считаюсь.

— Что ж ты тогда на него так навалилась со своим приказом?.. Тебе бы прислушаться к его словам, с другими посоветоваться, спокойно во всем разобраться, а ты вгорячах принялась командовать... Теперь вот расплачиваешься за это.

— Иван Никитич, вы верно сказали: самолюбие мое легко уязвить. Если б не вмешался Кадыров и не

поставил меня в неловкое положение перед колхозниками... А, о чем это я? Я одна во всем виновата.

— Что ж, я вижу, урок пошел тебе на пользу. Больше подобной ошибки ты не допустишь. Говорят, только слепец может угодить дважды в один и тот же колодец. От других просчетов ты, конечно, не гарантирована, но то, что произошло нынче, я уверен, не повторится. Конечно, я имею в виду не закладку плотины, а всю ситуацию. И помни, Айкиз: у тебя много искренних, верных друзей, на которых ты можешь положиться. Любой из них в трудную минуту с готовностью придет тебе на помощь. И не позволит тебе зря проливать слезы...

Смирнов усмехнулся уголком губ, тронул Айкиз за плечо:

— Поняла? А с плотиной все в порядке. Строители уже вырубают выемки. Через пять дней мы начнем закладку. Не раньше, Айкиз!.. Ты сама убедилась, какие плоды приносит горячность и торопливость.

У Айкиз на ресницах еще дрожали капельки слез, но черные глаза были привычно ясными и лучистыми:

— Спасибо, Иван Никитич...

Она произнесла эти слова тихо, но с такой проникновенностью, что сразу было видно: они шли из самой глубины души.

Боясь, как бы она снова не расплакалась, Смирнов суховато проговорил:

— Возвращайся на стройплощадку. Тебя там ждут. Садись на своего Байчибара — и к котловану. Погляди, как идет работа.

● ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в свой шалаш, Алимджан присел на топчан, застланный курпачой, снял сапоги, освободился от ремня, расстегнул медные пуговицы на воротнике гимнастерки и, не раздеваясь, бухнулся на курпачу... Расслабившись, чувствуя, как ноет в уставшем теле каждый мускул, он закинул руки за голову, с наслаждением вздохнул... Наконец-то можно заснуть...

Но, как ни странно, сон не шел к Алимджану. Его продолжали одолевать дневные заботы. И было о чем подумать.

Вся бригада слышала, как Алимджан обещал, что буквально на днях родник вырвется наружу из каменного плена. Но все оставалось по-прежнему.

Какой уж тут сон!..

Алимджан вскочил, стал шарить руками возле топчана, ища сапоги. Уже спустя минуту он вышел из шалаша и по горной, змеившейся в ущелье тропинке направился в ореховую рощу, где последнее время в маленькой брезентовой палатке ночевал Смирнов.

Выбравшись из ущелья, Алимджан увидел огонек, светившийся сквозь кустарник. Неужели же и Ивану Никитичу не спится? Слава богу, не придется его будить.

Но инженер сладко спал в глубине палатки, на ворохе мягкого сена. Фонарь же с привернутым фитилем он оставил у входа, на низком столике, сколоченном из двух сосновых горбылей,— должно быть, для того, чтобы каждый, кому мог вдруг понадобиться начальник строительства, легко нашел бы его по мерцающему огоньку.

От сена исходил такой пряный запах, что Алимджан, остановившись, глубоко вдохнул воздух и только потом негромко окликнул Смирнова:

— Иван Никитич! Слышите, Иван Никитич?! Прошу вас, проснитесь.

Смирнов с трудом открыл тяжелые веки. Некоторое время он тупо смотрел на Алимджана, загородившего собой свет фонаря, не понимая спросонья, кто это торчит в палатке, а узнав наконец бригадира, лениво протянул:

— А, это ты...

Чуть приподнявшись, но все еще сидя с вытянутыми ногами на сене, с которым ему, видно, очень не хотелось расставаться, Иван Никитич спросил уже своим обычным тоном:

— Что это ты как снег на голову? Стряслось что-нибудь на участке?

— Пока нет.

— Хм... Пока?

— Но может стрястись!

— Чепуху ты какую-то несешь.— Иван Никитич не спеша сладко потянулся, потом энергично потер сухими ладонями лицо, чтобы окончательно прогнать сон.— Объясни толково, почему будишь людей по но-

чам? Может, Кокбулак сбежал? — Смирнов пришел уже в веселое расположение духа.— Выходит, не удержали вы тигра за хвост. Надо было его цепью приковать к скале.

— Все наоборот, Иван Никитич. Кокбулак до сих пор в этой скале от нас прячется, и никак мы его оттуда не вырвем. Я всех заверил, что вода вот-вот появится, а ее все нет. Как мне теперь в глаза глядеть ребятам? Родник словно заколдованный. Черт, заклинило его, что ли?

— Может, и заклинило. Это теперь уже не так важно. Ведь главную задачу вы выполнили: нашли место, откуда бил Кокбулак. Остается проложить ему путь на волю. И раз уж вы сами не в силах его вызволить, пригласим подрывников.

— Иван Никитич! — умоляюще проговорил Алимджан.— Может, без взрыва обойдемся? Я все-таки в данной ситуации больше доверяю киркам да ломам. Но вы должны пойти со мной на участок, посмотреть, в чем там дело. Идемте, Иван Никитич! Вы ведь обещали наведаться к нам.

— А я и шел, да не дошел. А после столько дел навалилось, вздохнуть было некогда. Ладно, ладно, встаю.

Давно уже Смирнову никак не удавалось выспаться всласть. Только сегодняшней ночью выпал наконец счастливый случай безмятежно понежиться в роскошной постели из душистого сена. И вот надо подниматься, тащиться километра полтора по темному сырому ущелью... Б-р-р... Но ничего не попишешь, придется заглянуть на участок Алимджана. Зря тот не стал бы тревожить его среди ночи.

Смирнов зябко поежился, затем решительно сказал:

— Пошли.

По ущелью гуляли сквозные холодные ветры, Смирнов сгорбился, засунул ладони в рукава пиджака. Алимджан шагал впереди, освещая дорогу тусклым фонарем. Оба молчали...

Минут через пятнадцать они вышли на просторную площадку, защищенную от ветров высокими скалами. На площадке в два ряда темнели шалаши, сооруженные из зеленых ветвей арчи. И было здесь так тепло,

что обрадованному Смирнову захотелось даже снять пиджак.

— Ну и теплынь! — сказал он тихо, боясь разбудить колхозников, спавших в шалашах.

— Тут всегда так: ночью теплей, чем утром,— так же тихо отозвался Алимджан.

Он подошел к одному из шалашей, чтобы поднять Бекбуту и Суванкула, но передумал: за день они намаялись, пусть отоспятся. Ведь впереди еще более тяжелый день. На минуту он задержался у шалаша. Оттуда не доносилось ни звука, и это было подозрительно: ведь Суванкул обычно издавал богатырский храп. А, верно, он так устал, что и храпеть не в силах... Тепло улыбнувшись, Алимджан вернулся к Смирнову, и они направились к скале, за которой шли раскопки Кокбулака. Неожиданно оба остановились, прислушались. До них доносился глухой стук, людские голоса, приглушенные шумом реки. А на противоположной, ребристой стене ущелья плясали отблески пламени.

— Что за чудеса?! — удивился Смирнов.— Что там происходит?

Они ускорили шаги, завернули за скалу, и Алимджан от изумления выронил из рук фонарь. Язычок пламени дернулся — и погас. Поднимая фонарь, Алимджан посмотрел на Смирнова, восхищенно проговорил:

— Вся бригада на участке!..

— Вижу, вижу,— весело рассмеялся Иван Никитич.— И теперь верю, что подрывники не нужны. С такими людьми можно рушить скалы и без взрывов! Взрывная сила — в их энтузиазме, в их труде!

Перед гранитной скалой, в недрах которой затаился Кокбулак, на краю широкой ямы пылал большой костер. В его ярком свете трудились колхозники: одни, стоя в яме, долбили скалу, другие загружали разбитой породой скрипящий, скрежещущий транспортер.

Алимджан не стал никого ни о чем спрашивать, и так было ясно: его бригада, отказавшись от отдыха, от сна, ринулась на решительный штурм Кокбулака. И превратила ночь в день.

Это была фантастическая картина: на скалах метались багровые зарницы и черные тени, сверкали стальные кетмени, взлетавшие над головами работаю-

щих, а сами люди в причудливых отсветах костра казались огромными и размеренные их движения — медлительными.

Смирнов и Алимджан поспешили к месту выхода Кокбулака. Здесь молчаливо и сосредоточенно орудовал тяжелым ломом Бекбута, расширяя щель в скале. Рядом, дожидаясь своей очереди, сидел на камне Суванкул.

Водосток, казалось, уже весь был очищен, но явных признаков близкой воды все еще не было.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Алимджан.

— Порядочек,— по-фронтовому бодро ответил неунывающий Бекбута.— Вон сколько камня набили, скоро скалу насквозь пройдем, а толку никакого. Будто дьявол засел в этой щели. Теперь вот и лом не берет породу — упирается во что-то мягкое, черт его знает, что это такое...

Иван Никитич, присев возле него на корточки, напряг слух, стараясь угадать, почему удары лома звучат так глухо, словно бьет он не по камню, а по вате... Неожиданно лицо инженера прояснилось, он глянул на груду щебня, вынутого из щели Бекбутой и Суванкулом, попросил у Алимджана фонарь, зажег его, поставил рядом с собой, взял из груды какой-то темный комок, произнес с загадочным выражением:

— Та-ак...

Потом поднес комок к фонарю и уже уверенней, но все с той же загадочностью в голосе заявил:

— Понимаете, братцы, в чем тут дело... Вы добрались до весьма любопытной породы. Это и не земля и не камень.

— А что же? — быстро спросил Алимджан.

Он подсел к Смирнову и тоже принялся разминать в ладони и внимательно рассматривать комок необычной породы.

Иван Никитич, оставив его вопрос без ответа, продолжал:

— Мне уже приходилось сталкиваться с подобными фокусами...

— Фокусами?

— Да, с фокусами, которые устраивали басмачи.— Смирнов подбросил комок на ладони.— Это войлок. Обыкновенная отсыревшая и сгнившая кошма. Ну-ка, Бекбута, дай мне лом.

Минут десять он методично наносил удары пудовым ломом по широкому пятну, темневшему в щели, потом, возвратив лом Бекбуте, отступил в сторону.

— Все ясно. Придется, все-таки произвести взрыв.

— Иван Никитич, вы бы нам рассказали, откуда тут войлок, что вообще произошло,— попросил Алимджан.

— Пошли к костру.

У костра Смирнов примостился на гладком камне, закурил. Вокруг начали собираться колхозники. Попыхивая папиросой, Иван Никитич сказал:

— Знаете, в чем дело, товарищи? Кокбулак забит пробкой.

Посыпались недоуменные вопросы:

— Какой такой пробкой?

— Как она здесь появилась?

— Кто заткнул ею наш Кокбулак?

Смирнов глубоко затянулся, бросил папиросу в костер, неторопливо заговорил:

— Ну, кто украл у вас Кокбулак, вам и без меня хорошо известно. Это сделали басмачи, совсем озверевшие от ненависти к народу и от отчаяния. А подстрекали их к этому и научили всяким черным фокусам английские империалисты, которые вообще раздували басмаческое движение. Мастера они были на всякие пакости. В пустынях отравляли колодцы, лишая население воды. А в горных долинах засыпали с помощью взрывов самые сильные источники, поившие водой окрестные кишлаки!.. Обычно басмачи и их «учителя» прибегали к такому методу: брали короткое крепкое бревно из карагача или ореха, обматывали его просмоленной кошмой и забивали эту пробку в родник. В это место вгоняли еще войлок, образуя двойной пыж, и взрывали скалы, заваливая их осколками всю площадь перед выходом родника. Так был уничтожен и Кокбулак.

Послышался возмущенный ропот, кто-то даже громко зацокал языком, поражаясь коварству и хитрости врага.

— Что же нам теперь делать? — спросил пожилой колхозник.

— А ничего. Надо вызывать подрывников.

На лице Алимджана отразилось беспокойство:

— Сколько же времени уйдет, пока они приедут да все подготовят?

— Уж не меньше двух дней.

— Потерять два дня!.. Нет, меня лично это не устраивает. Уверен, и бригада на это не согласится. Что же нам, два дня сидеть сложа руки? Так не пойдет...

Подняв с земли лом, Алимджан зашагал к месту выхода родника. За ним последовали Иван Никитич, Бекбута и Суванкул. Не сговариваясь, они плотной группой обступили Алимджана, а тот принялся с ожесточением всаживать лом в задубевший кляп, которым много лет назад басмачи заткнули горло Кокбулаку. Алимджана сменил Суванкул, Суванкула Бекбута, Бекбуту Иван Никитич. Здесь, у самого водостока, работать было неудобно, мешала теснота, даже Суванкул и тот быстро выдыхался, сменять друг друга приходилось все чаще, но лом без перерыва обрушивался на темное пятно.

Так, молча, с неимоверным напряжением, они работали несколько часов. Приближалось утро. Иван Никитич, самый старший из четверых, совсем выбился из сил и присел отдохнуть прямо на щебень, привалившись к холодной скале ноющей спиной. Но сидел он так недолго — ему пришла в голову счастливая мысль. Он поднялся, показав рукой на лом, который Бекбута передавал Суванкулу, спросил:

— Сколько у нас таких вот, длинных ломов?

— Три.

— Отлично! Положите их остриями в костер, пусть накалятся добела.

Алимджан с восхищением посмотрел на Смирнова: «А он прав. Так дело пойдет быстрее».

Все оживились, повеселели. Теперь четверка, опять посменно, орудовала уже раскаленными ломами. Пока два лома «поджаривались» на огне, накалившийся прожигал пробку. Горячий металл вонзался в нее с размаху, проникал все глубже. Яма окуталась едким дымом, из щели густо шел запах горелого войлока и дерева. Но пробка и не думала поддаваться.

Когда стало светать, Смирнов объявил перекур. Бекбута и Суванкул остались у водостока, а Иван Никитич и Алимджан примостились у костра. Смирнов закурил.

— Долго мы еще будем тут возиться? — спросил он то ли Алимджана, то ли самого себя.— Сюда бы шашку тола, хоть одну. Так, Алимджан?

— Или — противотанковое орудие! Влепил бы я по проклятой пробке прямой наводкой бронебойным снарядом — только бы ее и видели!

— Ну, нет,— усомнился Смирнов.— Пожалуй, снаряд только бы заклинил выход родника — почище этой пробки...— Он провел рукой по щекам, обросшим колючей щетиной, после некоторого раздумья продолжил: — Мы ведь успели уже прожечь войлок, дошли до самого бревна да и в нем проделали большую дыру... Как думаешь, Алимджан, очень оно было длинное? По-моему, навряд ли...

Но от Алимджана он ответа не дождался, бригадира в одно мгновение сморил сон. Голова Алимджана упала на грудь, руки бессильно висели между коленями.

«Здорово же он устал,— как-то лениво подумал Иван Никитич.— А я вроде еще ничего, держусь. Крепкий, выходит, мужик-то. Вот докурю папиросу... А потом...» Голова его клонилась все ниже, ниже, папироса выскользнула из пальцев, веки закрылись сами собой...

Алимджану приснилась Айкиз.

Она читала какую-то книгу, очень знакомую, и Алимджан слышал ее голос, но не видел самой Айкиз, и все искал ее взглядом, и не мог найти, и недоумевал: где же она, ведь она должна быть рядом, раз он ее слышит.

А Айкиз сказала с упреком: «Я ведь для вас читаю, Алимджан-ака. А вы не слушаете, только головой крутите».

«Нет, я слушаю, слушаю»,— торопливо заверил ее Алимджан и стал оглядываться уже украдкой: где все-таки она затаилась?

А она все читала, и слова были такие знакомые, о том, что самое ценное у человека — это жизнь и прожить ее надо так, чтобы, умирая, ты мог сказать: все силы я отдал на борьбу за счастье человечества...

«Так это же «Как закалялась сталь»!» — во сне подумал Алимджан и тут же увидел обложку книги, за которой и прятала лицо Айкиз. Он протянул руку, чтобы взять книгу и увидеть наконец Айкиз, но

что-то тяжелое налегло на него, он попытался высвободиться — и проснулся.

Крепкие руки Бекбуты тормошили его за плечи, и голос Бекбуты, радостный, восторженный, гремел, чудилось, на всю округу:

— Победа, Алимджан! Победа!

Отпустив Алимджана, уже открывшего глаза, Бекбута пустился перед ним в пляс, не переставая кричать:

— Победа! Победа!

Алимджан вскочил на ноги, за ним и Смирнов. Тут только они заметили, что Бекбута весь, с головы до пят, мокрый, а на лбу у него красуется большущий синяк.

— Кто это тебя? — спросил Алимджан, все еще ничего не понимая.

— Это он, Алимджан! Он!

— Кто он?

Бекбута через плечо ткнул большим пальцем в сторону Кокбулака, откуда доносился плещущий шум, и расхохотался:

— Понимаешь, ведь ему пришлось столько лет протомиться в плену! Под крепким запором! И когда его выпустили на свободу, он первым делом бросился на шею своему освободителю.

Алимджан на миг испугался: уж не задремал ли он снова и не снится ли ему все это? Он уже понимал, о чем идет речь, но известие было настолько ошеломляющее, что ему просто не верилось в свершившееся... На всякий случай он переспросил Бекбуту:

— О ком ты?

Бекбута, словно не расслышав вопроса, возбужденно, торжествующе продолжал:

— Он бросился и повалил меня на землю! Мы барахтались с ним в обнимку и оба ревели от радости!.. Он вон и сейчас ревет, слышишь? Пошли, пошли к нему!

Он потащил Алимджана к краю ямы, и только отсюда открылась бригадиру сказочная картина: сверкая на солнце, из гранитной скалы с ревом вырывался освобожденный Кокбулак. Вода его наполнила яму, мощным гудящим потоком помчалась мимо столпившихся колхозников к ущелью, по которому бежал Янгаксай.

Вместе с чистой родниковой водой из глубокого жерла в гранитной скале летели камни. Остатки войлока и бревна были вымыты в первую же минуту.

— Ой, молодец! — весело пробасил Суванкул.— Теперь он сам расчистит себе дорогу! Он уже пробивается к Янгаксаю!..

— Да, Кокбулак — богатырь, — поддержал товарища Бекбута.— Гляди, как кидается камнями. Он и всю дрянь сразу же вышвырнул вон. Так и надо! Вода Кокбулака должна быть чистой, как серебро.

Алимджан молча, зачарованно смотрел на живой хрусталь воды Кокбулака, сверкающей у его ног. Иван Никитич издали наблюдал за ним, хорошо представляя, что творилось в душе бригадира, потом подошел к нему, обнял за плечи, негромко проговорил:

— Видал, как он устремился к Янгаксаю — словно на встречу с другом, с которым был в долгой разлуке. Наверно, его воды уже докатились до Алтынсайской долины... За ним теперь не угнаться.— Он снова сжал плечи Алимджана.— Какие же вы все молодцы, бригадир!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Последний месяц весны подарил Алтынсайской целине, где уже сеяли хлопчатник, жаркие дни и теплые ночи, богарной земле с зеленеющей пшеницей — ветерок и прохладу, а крутым горным склонам — холодные утренние росы и свежую яркость запоздалых цветов.

Над предгорной степью полуденное небо дышало зноем. Трава под горячими лучами солнца пожухла, пожелтела.

Здесь пас колхозную отару брат Умурзака-ата, старый чабан Бабакул, к которому еще девчонкой бегала в горы Айкиз.

Зной был таким нестерпимым, что подпасок Джура и два ослика укрылись в спасительной тени столетнего карагача. Лишь сам Бабакул, все еще крепкий, как этот степной карагач, стоял на солнцепеке и, опершись обеими руками на пастуший посох, смотрел вдаль, где раскинулись целинные земли. Там, как слышал старик, уже соорудили полевой стан, просторный, прохладный, со столами и скамейками, с огибающим

этот стан журчащим арыком. Надо бы поглядеть на него. Вон Джура успел уже туда слетать. Но Бабакул стар, он дорожит временем, а ведь даже на то, чтобы проехать к целине на осле, и то ушел бы чуть не целый день. И отару теперь туда не погонишь. Там будет расти хлопок — извечная мечта всех алтынсайцев, гордость республики.

Старик стоял долго, недвижный как изваяние.

Вдали, у самой линии горизонта, показались тракторы, до Бабакула донесся шум моторов. Машины, повернув обратно, исчезли в солнечном мареве. А что им делать здесь, в безводной степи? Им любо пахать землю, уже распланированную, изрезанную арыками. Возможно, когда-нибудь они придут и сюда, распашут под хлопок и эту степь. Не все сразу...

Вздохнув, Бабакул оторвал взгляд от линии горизонта, перевел его на небо, потом осмотрелся вокруг.

Сколько видел он на своем веку чудесных весен, но нынешняя светлей, прекрасней всех!.. Никогда еще прежде жаворонки не разливались так звонко, и цикады, кузнечики не стрекотали с такой неутомимостью, вовсю орудуя своими крохотными молоточками и пилками, и не порхали бабочки таких удивительных расцветок...

А может, все это уже было и Бабакулу только кажется, будто он впервые видит и слышит весну?

Ах, хороша жизнь!.. И каждая новая весна краше прежней. И кто любит жизнь, тот с каждой новой весной чувствует себя помолодевшим.

Алимджан по новой полевой дороге шел к новому бригадному стану. Распаханная земля простиралась до самого горизонта, и на душе было легко, отрадно. Справа и слева от дороги звенела вода в арыках, к ней клонились гибкие тополевые саженцы... Хорошо!.. Целина наконец поднята, в нее любовно зарыты белые семена в мягком пушке, зарыты неглубоко, чтобы они прогрелись в теплой земле под солнечными лучами. И скоро они прорастут нежными, изумрудными всходами. Хорошо, славно!..

Да, Алимджану было отчего радоваться. Расчистка родников закончена. Заодно алтынсайцы привели в порядок старый, дорогой для Айкиз родник Ширин-

булак, самый близкий к кишлаку. Силами комсомольской бригады Керима расширен, углублен, дотянут до целины Янгаксайский арык. Правда, воды в нем все еще маловато, поэтому хлопок посеяли лишь в двух бригадах. Ничего, зато будущей весной, когда достроят плотину и водохранилище, площади под хлопком солидно возрастут.

В общем, во всем полный порядок!

А вот Джурабаев, когда сегодня утром Алимджан был в райкоме, не похвалил его, а отчитал, да так крепко, что Алимджан растерялся и долго потом не мог прийти в себя.

Он ждал от секретаря райкома заслуженных поздравлений, а тот накинулся на него с сердитыми упреками:

— Я гляжу, победа над Кокбулаком вскружила тебе голову. Ты так увлекся борьбой за воду, что забыл о людях! А ведь забота о людях — первейший долг коммуниста!

— Что же я... упустил? — ошеломленно пробормотал Алимджан.

— А возьми хотя бы историю с Айкиз. Ты, как секретарь колхозной парторганизации, первый должен был прийти ей на помощь! Плохо, что ты не предупредил ее ошибку. Ладно, понимаю, занят был на участке. Но и после ее не поддержал. А ведь это первый серьезный промах в ее жизни, она тяжело его переживала... Кому же было помочь ей в эту трудную минуту, как не тебе?

— Я не видел ее... Она тогда на Кокбулак не заглядывала.

— А ты бы разыскал ее сам. Ведь слышал, наверно, что произошло?

— Я слишком поздно обо всем узнал.

— Потому что ничем не интересовался, кроме своего Кокбулака. Знаешь, как называется это на партийном языке? Бездушием, черствостью. Ну, пока это результат всего лишь некоторой беспечности. Но не позволяй укорениться в себе этим качествам. Больше всего этого бойся!.. Всегда помни, как Ильич относился к людям.

Да, в кабинете Джурабаева Алимджан растерялся. А сейчас понимал, что секретарь райкома был прав. И хотя Алимджан получил нагоняй, тяжести в сердце

он не чувствовал. Конечно, ему было горько, что не он, а другие утешили, приободрили Айкиз в тяжкий для нее час. Но сама она почему-то на него не обижалась... И, вспоминая резкие слова секретаря райкома, Алимджан с улыбкой качал головой. Знал бы Джурабаев, что значит для него Айкиз! Уж тогда наверняка ему досталось бы сильнее. Джурабаев сказал бы: «Если уж ты любимую бросил в беде, так что ждать от тебя другим?» И опять же был бы прав, хотя действительно Алимджан узнал о происшедшем с опозданием. Потому что охотился за тигром — добывал воду Кокбулака, ради нее же, ради Айкиз...

— Ладно,— проговорил он вслух, словно отвечая Джурабаеву.— Больше такого никогда не повторится.

Да, его святой долг всегда помнить о людях.

А об Айкиз он и не забывал ни на миг...

Позади послышались чьи-то шаги. Алимджан обернулся — его догонял Керим, колхозный комсорг и звеньевой.

— Алимджан-ака! — Керим совсем запыхался.— Ну и быстро же вы шагаете. Я уж бежал, бежал за вами...

— Мог бы давно окликнуть.

— А ничего, у меня ноги тоже быстрые.

— Ну, как дела в бригаде?

— Мое звено завершает сев. Другие комсомольские звенья тоже от нас не отстают.

— Молодцы. А откуда ты? Почему не в поле?

— Мне в нашу кузницу надо было сходить. Деталь одна вышла из строя, а ремонтная передвижка из МТС прибудет, говорят, только к вечеру. Да, Алимджан-ака, секретарь сельсовета передал для вас письмо. Он сказал, что вы в бригаду пошли. А к нему я по пути забежал, хотел взять сводку, но она еще не готова, он сам попозднее ее доставит.

Алимджан взял письмо, взглянул на конверт и почувствовал укор совести... Письмо было от фронтового друга, Гриши Петрова. Уже второе за последнее время. А Алимджан не удосужился еще ответить на первое... Хорош друг!..

Он сунул письмо в карман, решив прочитать его после, когда останется один. А сейчас рядом шагал Керим и говорил без умолку... Керим был паренек горячий и бойкий на язык. Старики порой выговари-

вали ему: «Керим, известно, что язык — виновник всех бед человека». Керим не лез за словом в карман: «Нет, аксакалы, неправда, язык — это ключ к человеческим сердцам!» Парень, хоть и считали его излишне многословным, отличался и умом и находчивостью. А горячность свою умел переплавить в энергичность.

Ступая по мягкой пыли, он тараторил:

— Я все поверить не могу, Алимджан-ака, неужто все это мы сделали? За одну весну прямо горы своротили! Недаром говорится: нет на свете ничего, что не подчинилось бы труду, упорству и мужеству.

— Хорошие слова, Керим. Молодец!

— А это не мои, я их где-то вычитал.

— Хорошо, что именно их запомнил. Только вот еще что запомни: все, свершенное нами,— это лишь скромный наш вклад в общенародное дело. Ясно?

— Ясно.

— И что же тебе ясно?

— А то, что и дальше мы должны трудиться, не жалея сил. Упорней прежнего!

— Точно. Опять-таки — молодец.

— Э, какой я молодец... Вот вам я по-настоящему завидую! Еще бы: вы кровь пролили за родину. А это для мужчины — высшая награда. Это счастье! Вы счастливый, Алимджан-ака. Вам есть чем гордиться. Где вы только не воевали: освобождали Брест, Варшаву, брали Берлин! Да, Алимджан-ака, почему вы ордена не носите? Вам родина их дала, а вы не носите...— Не дождавшись ответа, Керим перевел дыхание, с сожалением добавил: — А мне вот нигде не удалось побывать...

— Ну, о том, что на войне не был, не жалей.

— А мне обидно!

Алимджан, усмехнувшись, легонько пожал ему руку выше локтя. И вспомнился ему далекий летний день на богаре, когда он сам с благоговейной завистью смотрел на затянувшиеся сизые рубцы, оставленные гражданской войной на теле Джурабаева.

— Ничего, Керим. Не горюй! И мирное время богато горячими делами. И это хорошо, что теперь родина будет отмечать наградами только тружеников, а не фронтовиков.

За разговором они и не заметили, как дошли до полевого стана. Алимджан одобрительно сказал:

— Порядок тут у вас.

— А как же!.. На наш стан и другие приходят поглядеть. Первый полевой стан на целине! Сегодня вон Джура прибегал, говорит, Бабакулу-ата тоже хочется сюда наведаться, да не решается он пуститься в дальний путь.

— А где сейчас его отара?

— Да во-он, видите верхушку карагача? Дерево-великан!.. Ему уже за сотню перевалило. Так Бабакул-ата там.

— Это же совсем недалеко.

— Для нас с вами недалеко. А ему на своем ишаке трястись да трястись.

— Тоже верно.

Полевой стан на освоенной земле, сколоченный из легких досок и фанеры, крытый шифером и выкрашенный в зеленый цвет, высился на холме и был виден издалека. Он выглядел удивительно нарядно и, словно райский уголок, манил к себе уставшего земледельца и притомившегося путника. Даже в знойный, душный полдень под крышей царила ласкающая прохлада, в помещении и на айване можно было вздремнуть на курпаче или циновке, напиться зеленого чая, почитать газеты.

А возле стана в хаузе, вырытом комсомольцами, плескалась родниковая вода. Вот этим-то ни один из других колхозных станов не мог похвалиться.

Вокруг хауза покачивались на ветру молодые саженцы, глядясь в прозрачно-голубую воду.

Комсомольцы уже решили разбить за хаузом сад, и никто не сомневался, что так оно и будет.

Керим посидел немного у хауза, рядом с Алимджаном, все-таки не утерпевшим и распечатавшим письмо Григория, полюбовался, как льется, журчит вода, которую он черпал ладонями и сливал обратно, потом поднялся, с видимым сожалением сказал:

— Ну, я пошел, Алимджан-ака. До свидания.

— Иди, иди,— машинально отозвался Алимджан и даже головы не поднял — так был поглощен чтением.

Письмо было короткое, оно уместилось на страничке тетрадного листа и состояло из шутливых упреков: Алимджан, мол, или зазнался и потому молчит,

или просто ленится черкнуть пару строк. У Алимджана от этих шуток щеки залило краской...

К письму была приложена фотография. Алимджан долго ее рассматривал, то поднося к самым глазам, то отводя руку подальше. Фотограф запечатлел семью Григория, и Алимджан внимательно вглядывался в лицо Вали, которая сидела на стуле и держала на коленях пухлого малыша, чем-то похожего на пушистого цыпленка. Сам Григорий стоял позади жены, положив руку ей на плечо. Он был в своей старой солдатской гимнастерке, при всех боевых орденах и медалях.

Алимджану было стыдно за свою неаккуратность, и он решил немедленно ответить Григорию. Войдя в помещение полевого стана, он присел за стол, вырвал листок из большого блокнота и принялся за письмо. Оно получилось длинным. «А, ничего,— подумал Алимджан,— зато отчитался сразу во всем!» Он порылся в полевой сумке, ища конверт, но конверта там не оказалось. Алимджан начал было складывать исписанные листки в полевую сумку и вдруг вскочил со скамейки, забыв обо всем на свете: из-за фанерной стены до него донесся голос Айкиз, которая говорила кому-то:

— Вот приехала посмотреть новый бригадный стан. Все его так расхваливают...

Алимджан выбежал на айван, чуть не сбив с ног Айкиз.

— Ой, Алимджан-ака! — воскликнула она с испугом и радостью.— Так и ушибить недолго... Здравствуйте.

— Здравствуйте, Айкиз...

Взгляд ее упал на исписанные листки, которые Алимджан так и не успел упрятать в сумку и все еще держал в руках.

— Что это вы тут сочиняли?

Погодин, бригадир тракторной бригады, стоявший у Айкиз за спиной, приветственно махнул Алимджану рукой и направился к хаузу.

Алимджан протянул Айкиз листки:

— Это я Григорию писал письмо. Вот здесь свободное место осталось. Очень прошу вас, добавьте что-нибудь от себя. Хотя бы два-три слова. Григорий будет доволен...

— А вы не уговаривайте, Алимджан-ака, я и так с удовольствием напишу.

Она взяла последний листок письма, примостилась на скамеечке, быстро, не задумываясь, стала писать. Возвращая листок Алимджану, сказала:

— Прочтите.

Он так и впился глазами в аккуратные строчки: «Дорогой Григорий-ака! Вы, конечно, знаете, что означает слово «ака». Хотя лично я с вами еще не знакома, но считаю вас старшим братом. И пользуюсь счастливым случаем передать вам от себя самый искренний, дружеский привет. Прошу вас, передайте такой же сердечный привет Вале и поцелуйте вашего малыша. Айкиз».

Дочитав эту приписку, Алимджан покраснел от удовольствия, как мальчишка. Вытянув из конверта фотографию, он передал ее Айкиз:

— Вот поглядите, какие счастливые. Потому что — семья...

Почувствовав в его голосе укор, Айкиз тихо сказала:

— Не сердитесь на меня. Все будет хорошо, Алимджан-ака.

Некоторое время она разглядывала фотографию, потом отдала ее Алимджану, повернулась к хаузу. Там сидел на корточках Погодин; он черпал полными пригоршнями воду и, фыркая от наслаждения, плескал ее себе на лицо, на шею, на открытую грудь.

— Как все рады этой воде! — проговорила Айкиз.

Но Алимджан даже не взглянул на Погодина. Наклонившись над Айкиз, он шепнул:

— Айкиз... Я уже устал ждать. Когда же наконец мы будем вместе?

— А помните, что я однажды вам обещала?

— Что, Айкиз?

— Нет, повторять не стану. Вы должны это помнить!

Алимджан медленно проговорил:

— Когда я найду живую воду, за которой вы меня послали... Потом еще две недели.

— Вот видите, вы все отлично помните! Можете не продолжать.

Она, как уже было когда-то, прикрыла ему рот узкой ладошкой, и опять он замер от счастья и с тру-

дом подавил в себе желание схватить Айкиз за руку и прижать к губам ее тонкие, теплые пальцы. Айкиз поспешила отнять руку, а Алимджан взволнованно воскликнул:

— Но осталось меньше недели!

— Я знаю.

— Так надо готовиться...

— Потерпите еще немного, Алимджан-ака. А подарок к свадьбе вы мне уже сделали — самый прекрасный, самый дорогой!

— Кокбулак?

— Да.— Она показала рукой на хауз: — Ведь там и его вода, верно?

— Это подарок для всех. Для всего Алтынсая!

— И для меня — тоже. О большем я не могла и мечтать.

Айкиз поднялась с места.

— Пойдемте к хаузу. А то Иван Борисыч выльет на себя всю воду.

Они подошли к Погодину. Тот поднял голову, вытер ладонью мокрое лицо.

— Уф! Душно становится. Не к дождю ли так парит?

— Нет, дождя вроде не должно быть,— сказал Алимджан.

— Да и ни к чему он! — с легким беспокойством воскликнула Айкиз.— Дождь сейчас только повредил бы посевам.

— Да, это уже лишняя влага,— подтвердил и Алимджан.

Погодин вдруг насторожился, в глазах у него мелькнула тревога:

— Опять, видно, с «НАТИ» что-то случилось. Пойду подлечу.

Айкиз и Алимджан с недоумением переглянулись: они-то ничего и не заметили. Трактора работали далеко, и только чуткий слух опытного механика помог Погодину безошибочно определить, что мотор одного из тракторов, распахивавших целину, внезапно замолк, и это был самый ближний к полевому стану «НАТИ».

Погодин встал, взял с земли кожанку и фуражку; поднялись и Айкиз и Алимджаном.

— Мы с вами,— сказала Айкиз.

— Что у тебя стряслось? — еще издали закричал трактористу Погодин, размашисто шагая по свежей борозде.— Почему трактор остановился?

Тракторист и прицепщик, до этого копавшиеся возле плуга, вскочили на ноги.

— Ну, в чем дело?

Тракторист молча протянул Погодину большой, узловатый корень гребенщика.

— Ну и что ты хочешь этим сказать? — прогремел Погодин.

— Вот... гребенщик...

— Сам вижу, что гребенщик, нечего мне его под нос совать.

— Так ведь из-за него полетел лемех.

— Возможно. Только вы-то что сидите?

— А что нам делать?

— Давно надо было сбегать к трактористам, у которых есть запасные лемеха.

— К ним Суванкул пошел. Да вон он и сам! С лемехом!

Погодин покачал головой:

— А вы, я гляжу, хороши гуси. Греетесь себе на солнышке, а чужой дядя вас обслуживает...

— Да что ты к нам прицепился? — обиделся тракторист.— Мы хотели сами пойти, а Суванкул оказался поблизости и вызвался принести лемех. А мы тоже тут не бездельничали, болты раскручивали. Остаток-то старого лемеха надо с корпуса снять.

Запыхавшийся Суванкул, приблизившись к ним, весело сказал:

— Что за шум, а драки нет? Получайте.

Тяжелый сверкающий лемех с глухим звоном упал на землю к ногам тракториста.

Тотчас Погодин и тракторист принялись прилаживать его к стальному корпусу пятилемешного плуга, а Суванкул, взяв валявшийся возле трактора кетмень, стал выкорчевывать перекрученный, словно трос, остаток корня, глубоко и прочно сидевший в земле.

Это был уже не первый случай, когда, наскочив на крепкий корень гребенщика или тамариска, плуги приходили в негодность. У каждого тракториста в кабине лежали кетмень или топор. И часто, завидев впереди большой куст, тракторист останавливал машину, спры-

гивал на землю и с трудом вырубал толстый длинный корень.

Когда Суванкулу наконец удалось разделаться с упрямым корневищем, он выпрямился, хотел было рукавом рубашки вытереть пот со лба и тут только увидел Алимджана и Айкиз, молча стоявших рядом. Смутившись, он почтительно поздоровался, потом, так и забыв отереть пот, ткнул сапогом в обрубок корня:

— Видали гадюку? Если б не эти корни, тут бы вспашку еще вчера закончили. Мне тоже пришлось с ними повозиться.

— А на участке Бекбуты было много корней? — спросила Айкиз.

— Поменьше, чем у других. Но и там лемеха летели из-за таких вот загогулин.

Суванкул и Бекбута, вернувшись с Янгаксайской излучины, возглавили хлопкосеющие бригады. Вспашку своих участков они завершили одновременно, теперь проводили сев. У Суванкула, однако, была душа тракториста, и он часто забредал туда, где еще поднимали целину. Особенно влекли его к себе мощные «НАТИ».

Подзадоривая Суванкула, Алимджан сказал:

— Ты соревнуешься с Бекбутой? Я думаю, первое место за ним. Хватка у него фронтовая, гвардейская.

— Ну, это мы еще посмотрим,— с ленивой усмешкой отозвался Суванкул.— Цыплят по осени считают.

Он прислушался к гулу тракторов, доносившемуся из-за холма, лицо его потемнело, глаза сузились, в них вспыхнул недобрый, ревнивый огонек. Обращаясь к Погодину, который все еще занимался плугом, Суванкул сердито проговорил:

— Послушай, что же это получается? Что получается, я спрашиваю?

Погодин повернул к нему голову, с недоумением посмотрел на него снизу вверх.

— Ты, значит, вместе с Бекбутой решил обвести меня вокруг пальца? — все более накаляясь, продолжал Суванкул.— Я же слышу, на его участке три «Универсала» работают. А на моем — два. Разве участок у него больше? Где справедливость? Когда люди соревнуются, всего у них должно быть поровну!

— Ты прямо как младенец, Суванкул. Если у меня всего пять «Универсалов», то как же я распределю их поровну? Пять вроде пополам не делится.

— Тогда дал бы ему два, а мне три.

— Ишь какой прыткий! А разве это было бы по справедливости?

— Ну, тогда пусть три трактора работают то у него, то у меня.

— Вот это другое дело. Сегодня же я пришлю тебе еще один трактор. Тем более что к концу дня Бекбута обещал завершить сев.

Суванкул опять усмехнулся с какой-то снисходительной ленцой:

— Ну, это мы еще посмотрим.

Кажется, он снова вознамерился привести поговорку насчет цыплят, которых считают по осени, но в это время трактор, возле которого все теснились, взревел и двинулся вперед, увлекая за собой плуг.

Суванкул рванулся следом, он шел по борозде, отливавшей черным глянцем, и время от времени нагибался, измеряя, видимо, глубину вспашки.

— Да, загорелся народ,— сказал Погодин.— Особенно эти двое усердствуют: Суванкул и Бекбута. Вчера Суванкул даже ночевать домой не пошел, все бродил за тракторами, следил, как бы они не наделали огрехов. Он чуть не все участки взял под свою опеку.

— Всегда он был такой неповоротливый,— вставила Айкиз,— а теперь прямо не узнать парня.

Алимджан глянул на нее нежно, пристально.

— Тут не обошлось без вас, Айкиз. Это вы народ взбудоражили...

Айкиз покраснела.

— Как вы неуклюже льстите, Алимджан-ака. Поверьте, вам это не идет.

— Льстить я действительно не умею. Но это не лесть. Я искренне говорю: люди загорелись, потому что вы их зажгли...

Айкиз, начиная сердиться, сверкнула на него черными глазами:

— А вы? А Джурабаев? А Смирнов? Не надо умалять ничьих заслуг. А самые добрые слова заслужили сами алтынсайцы, такие вот энтузиасты, как Суванкул и Бекбута!

— Не спорьте, друзья,— примирительно предложил Погодин.— Пойдемте лучше поглядим, как идут дела у Бекбуты.

Он широко зашагал прямиком через вспаханное поле, на ходу обернулся, шутливо крикнул приотставшим спутникам:

— Поживей, друзья! За мной! Негоже руководству плестись в хвосте!

Алимджан в это время нагнулся, взял горсть земли и стал мять ее в ладонях, разглядывать, даже поднес землю к самому носу. Все это он проделывал, не убавляя шага, и, когда нагнал Погодина, тот, посмеиваясь, произнес:

— Осталось землицу только на вкус попробовать, а, Алимджан?

Алимджан сбросил с ладони землю, вытер руку о гимнастерку. Погодин уже серьезно добавил:

— А земля и правда удивительная. Даже запах особый. Сколько лет на тракторе работаю, а такой земли еще не встречал. Даром пропадало бесценное сокровище!..

— Теперь у него нашелся хозяин! — горячо откликнулась Айкиз.— Я уверена, мы будем снимать здесь добрые урожаи. Ведь испокон веку эту землю ничем не засевали, она не знала ни омача, ни кетменя. Такая почва, богатая азотистыми веществами, очень плодородна! — В Айкиз уже заговорил агроном.— И если мы приложим все силы и знания, то получим хлопка куда больше, чем намечено в плане.

— Это вы правильно подчеркнули, Айкиз: без знаний тут не обойтись,— одобрительно заметил Алимджан.

Они шли по еще не распаханной земле, поросшей гребенщиком, дикими каперсами, цветущим маком. Эта пока не освоенная полоса целины тянулась посреди черных пашен длинной ало-зеленой лентой и становилась все у́же и у́же: с обеих сторон ее словно обкусывали «НАТИ». «Пройдет еще немного времени,— с удовлетворением подумала Айкиз,— исчезнет и эта последняя целинная межа».

По мягкой пашне во владениях Бекбуты бодро шныряли три юрких «Универсала», закладывая в землю семена хлопчатника.

— Смотрите, кто сидит на ближней сеялке,— сказал Погодин.— Узнаете?

— Кажется, Бекбута, — предположила Айкиз, вглядываясь из-под ладони в фигуру человека на сеялке, которую тащил трактор.— Угадала?

— Да, это именно он.

Они подошли поближе, так, что уже можно было различить лицо бригадира, покрытое пылью, усталое, счастливое. Бекбута, улыбаясь, поднял в приветствии руку, что-то прокричал, но рокот трактора заглушал его голос. В ответ все трое тоже помахали ему руками. Алимджан с каким-то добрым удивлением проговорил:

— И этот радуется, как ребенок!..

— Еще бы ему не радоваться,— сказал Погодин.— Ведь уже заканчивает сев. Пожалуй, он и правда обгонит Суванкула.

— Ну,— усомнилась Айкиз,— Суванкул не из тех, кто позволит себя опередить. Хотя у него только два «Универсала»...

Они были так увлечены разговором и возбуждены, что даже не заметили, как к ним верхом на коне подъехал секретарь сельсовета. Увидев его уже рядом с собой, Айкиз удивленно воскликнула:

— Рахмат-ака! Вы как здесь очутились? Свалились с неба или появились из-под земли?

Рахмат, словно боясь растрясти свой ранний жирок, не спеша слез с коня, поздоровался со всеми, произнес, обращаясь к Айкиз:

— Еле разыскал вас, товарищ Умурзакова. Был и на стройплощадке, и в бригадном стане. Уж очень обширное у вас рабочее место: от богары до Кызылкумов!.. Тут вот кое-что подписать надо...

Он протянул Айкиз пачку бумаг, она внимательно просмотрела их, порой справляясь о чем-то у Рахмата, вернула ему уже подписанные листки; секретарь с прежней неторопливостью взобрался на коня и затрусил по нераспаханной полосе.

Алимджан и Айкиз решили наведаться на плотину, Погодин остался в поле.

Алимджан молча шагал рядом с Айкиз, потом, не поворачивая к ней головы, спросил:

— Айкиз... а как на все смотрит Умурзак-ата?

— На что на «все»?

— Ну... сами понимаете. Может, мне следует уже поговорить с ним?

Айкиз потупилась; казалось, она с интересом разглядывала свой сапожок, к которому пристала черная земля.

— Так как, Айкиз? Умурзак-ата не будет противиться нашей свадьбе?

— По-моему... нет. Отец потерял в эту войну обоих сыновей... Алишера и Тимура... Вы будете ему вместо сына. Он скучает, когда долго вас не видит. Он любит вас...

В напряженные дни сева хлопчатника Погодин, чтобы дать возможность трактористам отдохнуть, часто сам садился за руль трактора.

Вот и теперь, застряв на участке Бекбуты, он приметил, как у молодого водителя «Универсала» голова клонится на грудь, а руки то и дело соскальзывают с баранки. Чертыхнувшись, Погодин кинулся к трактору, чуть не силой стащил с него совсем сонного паренька, велел ему вздремнуть, а сам, сменив тракториста, часов пять колесил по вспаханному полю, засевая последние борозды.

Наконец он вывел трактор на зеленую кромку еще не поднятой целины, заглушил мотор и несколько минут сидел не двигаясь, наслаждаясь наступившей тишиной. А перед его глазами качалось, плыло раздольное, засеянное хлопчатником поле, и вместе со смертельной усталостью он чувствовал успокоительную радость... Закинув руки за голову, он потянулся, не вставая с места, произнес вслух:

— Все-таки справились!..

Наверное, и сеяльщик, совсем еще мальчишка, испытывал подобные же чувства, он тоже не покидал сеялки, и какое-то блаженство было написано на его утомленном лице.

Вокруг лежала земля, распаханная, разбуженная человеком. Земля древняя, как сам мир. Древняя и в то же время неузнаваемо помолодевшая, преображенная человеческим трудом. Люди свершили чудо: превратили дикую, истомленную жаждой, заросшую травами и кустарником целинную степь в плодород-

ную пашню, лелеющую белые семена, в которых таится будущее богатство колхозов.

И даже самые близкие соседи целины — высокие горы с заснеженными вершинами, гордые, сияющие вечно юной, чистой красотой,— словно бы утеряли что-то на фоне необозримых просторов земли, возделанной человеком, теперь уже не спящей, а молодо бодрствующей, готовой исполнить отрадный долг перед людьми — сотворить «белое золото».

Спрыгнув наконец с трактора, Погодин сказал:

— Здóрово!..

Сеяльщик, тотчас очутившийся рядом, переспросил:

— Вы о чем, Иван Борисыч?

— Здóрово, говорю, люди тут поработали.

— И мы?

— А как же. И мы с тобой тоже. Молодцы мы, а?

Погодин принялся осматривать трактор, постукивая гаечным ключом то там, то тут, ощупывая взглядом колеса, радиатор. Сеяльщик, следивший за его действиями, широко улыбнулся:

— Вы его обследуете, как врач допризывника.

— Допризывника, говоришь? Нет, братец, это солдат.

Паренек, сбив тюбетейку на лоб, потер ладонью затылок, словно раздумывая над словами Погодина, и с восхищением воззрился на трактор.

Понимающе прищурившись, Погодин спросил:

— А ты, наверное, хочешь быть трактористом?

— Еще как хочу!

— Тогда запомни первую заповедь механизатора: трактор надо любить — ну, как танкист любит свою машину. Ведь танк — его надежное боевое оружие. Ясно? Хотя ты ведь еще не служил в армии.

— Скоро призовут.

— Тогда скажу проще... Ты коней любишь?

— Ага.

— Так вот, трактор нуждается в еще более тщательном уходе, чем конь. Он вроде как живой. Его надо беречь, холить. Вовремя смазать, почистить, подремонтировать, заправить горючим. И если машина почувствует твою заботу и ласку, то она тебя никогда не подведет. Да, да, машине нужна человеческая ласка, только в руках рачительного хозяина она работает

безотказно. Вот если запомнишь и будешь выполнять все, что я тебе сказал, то из тебя выйдет не просто тракторист, а мастер своего дела, герой, покоритель полей!

Погодин положил руку с зажатым в ней гаечным ключом на плечо сеяльщику, тепло проговорил:

— Ладно, иди-ка отдохни.

— А вы, Иван Борисович? Вы устали не меньше меня...

— Иди, иди.

Погодин бросил гаечный ключ в ящик с инструментом, стоявший на траве возле тракторного колеса, взял свою кожаную тужурку, которую во время работы пристроил около сиденья, перекинул ее через плечо и направился к Холму рабов, чтобы освежиться прохладной водой родника.

Все сейчас радовало его взор: и солнце, которое уже спускалось к горизонту, и горы, подпиравшие небо сахарно-белыми, искристыми вершинами, и густая трава под ногами, вся в мелких и крупных цветах, и зеленая, величиной с молодой тополевый листок бабочка, присевшая на ромашку...

Еще недавно он и не замечал всей этой красоты, которую щедро дарила человеку природа. Им владела только одна забота — поскорей управиться с посевной.

Теперь посевная позади, и можно немножко передохнуть, позволить и зрению и слуху неторопко насладиться окружающей природой.

Правда, посевная — это всего лишь начальный этап долгой дехканской страды. Скоро на смену сеялкам надо будет выводить на поля культиваторы, окучники, опрыскиватели, а там, глядишь, надвинется и пора уборки урожая.

Уже этой осенью в колхозе будет работать хлопкоуборочная машина. И ему, Погодину, это прибавит новых хлопот: нужно срочно готовить водителей.

Так, размышляя над тем, что предстояло ему сделать, поглядывая на желтых лупоглазых стрекоз, гонявшихся друг за другом, прислушиваясь к звонкой песне жаворонка, повисшего высоко в небе, к дробному речитативу щурков, прятавшихся в густом кустарнике, Погодин и не заметил, как дошел до Холма рабов.

Вот он, родник Айкиз... Пожалуй, он правда заслуживает такого названия. Кто знал о нем два месяца назад? Он тогда пробивался на волю сквозь ил слабой, почти безжизненной струйкой. Айкиз первая обратила на него внимание, по существу, «открыла» его, и теперь он тоже очищен, вызволен из темницы, в которую загнал его ишан Кабулходжа, и, вырываясь из голубой чаши, журчит победно и весело,— кажется, будто это гремят, звенят тугие бубны с бубенцами на чьей-то свадьбе. Течение его такое быстрое, словно он торопится влиться в Янгаксайский арык, а потом по ок-арыкам [1] и бороздкам выбежать на колхозные поля.

На краю прозрачного озерца большой серый камень отбрасывал на воду колеблющуюся тень.

Тут, у этого камня, и осенила Айкиз смелая мысль: расчистить и этот и другие родники, затерявшиеся в горах, и, собрав в реках всю их воду, оросить целинную предгорную степь.

Поистине — великое начинается с малого. От зачахшего родника возле Холма рабов как бы потянулась крохотная узкая тропка, которая вывела Алтынсай на широкую дорогу, устремленную в солнечные дали.

Вон какую благодать сотворили люди за одну весну!.. Алтынсайский массив почти весь распахан, часть его засеяна хлопком. Найден и возвращен народу могучий Кокбулак. Строятся плотина и водохранилище...

Сама Айкиз, наверно, не ожидала, какой поток родит открытый ею родник и в какое плодоносное дерево вымахнет росток ее дерзкой идеи...

Все-таки молодец Айкиз!

Погодин швырнул на камень свою кожанку, как привык швырять ее на трактор, сказал сам себе:

— Вот сейчас напьюсь родниковой водички, умоюсь да завалюсь прямо тут на траву и задам храпака...

Только он нагнулся над озерцем, собираясь утолить жажду, как ему почудился легкий шум за спиной. Он хотел было обернуться, но глянул на зыбкую гладь озерца и замер, не веря своим глазам. Рядом с отражением камня он увидел еще одно — белое, как облачко. Облачко это, чуть дрожащее, словно венчало собой камень. С минуту Погодин с непонятным волнением

[1] Ок-арык — небольшой полевой арык.

всматривался в светлую тень на глади озерца, потом неуверенно произнес:

— Лола?!

Ответа он не услышал, и тень на воде не шелохнулась.

Погодин пристальней вгляделся в белое облачко и сказал весело:

— Нет, Лола, это все-таки вы! А ну, выходите из-за камня! Я ведь даже вижу, как вы улыбаетесь.

Лола продолжала хранить молчание, но отражение ее чуть качнулось на воде, и Погодин, следя за этим отражением, заговорил тоном факира, угадывающего мысли на расстоянии:

— Вот... Вы поправили на голове тюбетейку. А теперь зачем-то теребите свою косу. И губу прикусили, чтоб не рассмеяться...

Он наконец встал, повернулся к Лоле — она все еще пряталась за камнем и действительно еле сдерживала смех.

Лола для Погодина всегда была просто сестрой Алимджана. Он порой встречал ее на улице, в правлении колхоза или в поле, они вскользь обменивались несколькими обычными, ничего не значащими фразами, этим их отношения и ограничивались.

Но однажды, когда Погодин, прощаясь с Лолой, пожал ей руку, он заметил, как у нее вдруг зарделись щеки. Он и сам почему-то смутился, поспешно, словно обжегшись, выпустил ее ладонь из своей, но после этого целый день пребывал в каком-то отрешенном состоянии, не мог ни на чем сосредоточиться, и сердце его билось непривычно часто, беспокойно, как зашалившший мотор трактора...

Лола, не выходя из-за камня, кивнула головой на озерцо:

— Иван Борисыч, как по-вашему, на что похожа тень на воде?

Погодин смешался — так неожиданно прозвучал этот вопрос — и, не придумав ничего лучшего, пробормотал:

— На облачко... На легкое белое облачко.

— На облачко? Тень от камня — на облачко?

— Нет... То есть...— Погодин совсем растерялся.— Я про другую тень. Вон то отражение — видите? Разве не напоминает оно белое облачко?

Теперь уже настала очередь смутиться Лоле.

— Так это... мое отражение...

— Я о нем и говорю.

Лола, видно, чувствовала себя неловко; покраснев, она сказала:

— А я вас спрашивала про тень от камня.— Она с трудом придала своему голосу беспечность.— Вот подумайте, на что она похожа?

Погодин пожал плечами:

— Ну... на верблюда?

— Немножко — да. А еще больше на африканского носорога. Ведь правда?

— А верно — вылитый носорог!

— Я его на картинках видела.

— Ну, с живым-то носорогом я тоже не встречался.

Некоторое время оба молчали, потом Лола спросила:

— Я слышала, Иван Борисыч, вы уже закончили сев?

— Вот только-только.

— Значит, вас можно поздравить?

Погодин немного подумал, в глазах его мелькнула лукавинка, он решительно проговорил:

— От вас, Лола, я приму поздравление с особым удовольствием.

— Тогда... поздравляю. От всей души!

Погодин покачал головой:

— Э, нет! Так не поздравляют.

— А как же надо?

— А надо подойти к тому, кого вы хотите поздравить, руку ему пожать...

Лола, вместо того чтобы приблизиться к Погодину, подалась назад.

— Зачем же... подходить?

— Я же сказал: чтоб пожать руку.

Видя озадаченность Лолы, Погодин сам шагнул к ней.

— И вообще мы с вами еще и не поздоровались.— Он протянул ей ладонь: — Здравствуйте, Лола!

Лоле ничего не оставалось, как вложить в его сильную руку свою маленькую ладошку и ответить на приветствие:

— Здравствуйте, Иван Борисыч. Поздравляю вас от всего сердца!

— Вот это другое дело. Э, что же вы руку-то спешите убрать? Я тоже должен вас поздравить.

— Меня-то с чем?

— Так ведь освоение целины — наше общее дело. В него каждый внес свой вклад, так что и завершение сева — это успех каждого... С успехом вас, Лола!

Только после этой тирады Погодин отпустил руку девушки. Выдержав паузу, она спросила:

— Вы, наверно, пришли сюда отдохнуть, освежиться родниковой водой?

— Разве я не заслужил хоть короткой передышки?

— Ой, что вы!.. Вы ведь сутками работали... Отдыхайте. А я пойду, не буду вам мешать.

Погодин даже побледнел от одной мысли, что Лола сейчас его покинет.

— Нет, не уходите! Беседовать с вами — это для меня лучший отдых! То, что вы тут, такая счастливая неожиданность...

Лоле вовсе и не хотелось уходить, она покорно кивнула:

— Ладно, я останусь. Вы пока умывайтесь, не обращайте на меня внимания.

Но Погодин не отрывал от нее взгляда. Никогда прежде он не видел так близко ее лица, мягко-округлого, с нежным румянцем на полных щеках, с большими черными как уголь глазами с искорками смеха в глубине, с полумесяцами — бровями, густо подведенными усьмой... А пухлые губы влекли своей свежестью, нетронутостью...

Или прежде Погодин просто не замечал, как красива Лола?

Лолу и радовало и тяготило, что Погодин, которого уважали все в Алтынсае, сильный, хотя чуть неуклюжий, совсем взрослый, так смотрит на нее. Она повернулась к нему спиной:

— Умывайтесь же.

Погодин, словно очнувшись от сладкого сна, с боязнью спросил:

— А вы правда не уйдете?

— Я же сказала — нет...

К своему собственному удивлению, Иван Борисович чувствовал, что готов исполнить все, что бы ни приказала ему Лола. Присев над водой, он стал усердно мыть, тереть песком ладони и пальцы, в которые въел-

ся мазут. «Ну и грязные у меня лапищи,— подумал он с запоздалым раскаянием.— Как это только Лола... не побрезговала моим рукопожатием... Медведь я все-таки, прямо медведь!» Но тут же мысли его приняли другое направление. Вот он смоет с себя грязь и усталость и продолжит беседу с Лолой. О чем же с ней говорить, что рассказать ей, про что спросить?.. Не посвящать же ее в свои производственные заботы! Смешно, если он начнет вдруг жаловаться на то, что вот тракторам нужен профилактический ремонт, а МТС по чьей-то халатности или преступному равнодушию осталась без запчастей, без свинца и баббита... Его-то все это сейчас больше всего волнует, да разве Лоле интересно слушать про какие-то запчасти к тракторам.

Растирая руки желтым, наждачно-жестким песком, Погодин, не оборачиваясь, спросил:

— Лола, как Халим-бобо поживает?

— Трудится. Сегодня мы целый день с саженцами возились. Разбивали на целине новый сад.

— Что сажали?

— Яблони, абрикосы, персики, кашмирскую черешню. Сейчас все садоводы разошлись, Халим-бобо тоже пошел домой отдохнуть, а мне захотелось поглядеть на родник... Это ведь родник Айкиз.

Погодин вздрогнул, поразившись тому, как совпали желания и мысли его и Лолы. Сама судьба свела их у этого родника!..

А Лола продолжала:

— Я люблю здесь бывать. И всегда думаю об Айкиз... Ох, если бы быть хоть чуточку на нее похожей! Она и умная, и смелая, и красивая...

— Ну...— Погодин замялся, а потом, неожиданно для самого себя, брякнул: — В Алтынсае есть девушки и покрасивей Айкиз!

Лола сделала вид, будто не поняла, кого подразумевает Иван Борисович. Ее брови сердито сдвинулись.

— Не спорьте со мной, Иван Борисыч, я Айкиз давно знаю. Я и раньше, еще в школе, во всем старалась ей подражать. Лучше ее никого нет!

Погодин, глядясь в воду, как в зеркало, и причесывая волосы, спросил:

— А что вы скажете об Алимджане?

— Он ведь мой брат, мне трудно о нем говорить. А почему вы вдруг о нем?

— Потому что Айкиз и Алимджан, по-моему, чудесная пара! — Погодин, успевший привести себя в порядок, уже снова стоял возле Лолы, но косился на нее теперь украдкой.— Знаете, кого напоминает мне ваш брат? Молодой крепкий дубок.

— А Айкиз — стройная, тонкая чинара, да? — подхватила Лола.— Ой, подождите меня, я сейчас...

Она побежала вдоль ручья, вытекающего из озерца, по направлению к целине. Ее фигурка в белом легком платье, все уменьшаясь, исчезла вдали, а Погодин все смотрел и смотрел в ту сторону, где растаяло белое облачко. Не прошло и минуты, как оно снова зареяло над землей, словно это действительно было облако, летевшее по воздуху. Оно быстро приближалось, и вскоре Лола с двумя саженцами и лопатой в руках опять очутилась возле Погодина, запыхавшаяся, улыбающаяся, довольная.

— Иван Борисыч! Видите — вот это дубок. А это чинара. Они от посадок остались. Я все думала, какое бы место получше для них найти. А когда вы сказали про Алимджана и Айкиз... Вот, пусть растут рядом, у родника Айкиз. Берите лопату, копайте вот тут, поближе к воде.

Она уже приказывала Погодину, а Ивана Борисовича это только радовало. Он вонзил лопату в землю, а Лола внезапно спросила:

— Иван Борисыч, а вы думаете учиться дальше?

— Поздновато уже,— сказал Погодин, орудуя лопатой.— Танковое-то училище я когда закончил...

— Что вы, вы еще молодой!

— Спасибо, Лола.— Погодин засмеялся.— Я обмозгую вашу идею.

— А я обязательно буду учиться! Хотя тоже немного опоздала — все помогала Халим-бобо. И знаете, куда я хочу поступить?

— В сельскохозяйственный, как Айкиз?

— Да, на факультет садоводства и виноградарства. Я хочу быть садоводом-селекционером, продолжать дело Мичурина.

«Какая она все-таки еще юная,— с легкой завистью подумал Погодин.— И все у нее впереди! Зачем ей такой медвежище, как я?»

Чтобы заглушить чувство грусти, он еще энергичней заработал лопатой.

Он не видел, каким ласковым, любовным взглядом смотрела на него Лола.

● ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Всю ночь в горах грохотал гром: казалось, сказочный див-великан ворочал горами, сшибая их друг с другом, обрушивая в ущелья...

Алтынсайцы с тревогой прислушивались к тяжким, гулким раскатам. Умурзак-ата несколько раз за ночь поднимался с постели, распахивал окно, высовывал наружу руку: не пришла ли и сюда, в долину, гроза с ливнем или, того хуже, с градом? Не дай-то бог — ведь на полях уже зазеленели первые всходы хлопчатника. Но ладонь оставалась сухой, и старик ненадолго успокаивался.

Рассвет над Алтынсаем занялся серый, хмурый. Перевалив горные хребты, по небу медленно ползли грязно-черные тучи. Раза два сквозь них проглянуло солнце и тут же снова скрылось, словно его поглотила надвигавшаяся гроза. Вскоре поднялся ветер, он сразу же набрал силу, бешено заметался над долиной Алтынсая, раскачивая верхушки могучих карагачей, клоня к самой земле неокрепшие саженцы в колхозных садах, ломая ветви на тополях, взметая пыль на улицах.

Алимджан, который, как и Умурзак-ата, почти не спал в эту ночь, утром встал с тяжелой головой, подойдя к закрытому окну, долго, насупившись, смотрел на улицу.

И откуда только взялся этот проклятый ураган? Еще вчера был такой погожий денек: ни ветерка, ни облачка. Правда, под вечер, когда Алимджан и Кадыров осматривали хлопковые поля, они обратили внимание на закат: солнце было грузное, багровое, и космы туч над горизонтом были окрашены в багровый цвет. Закат походил на пожар, бушевавший на сильном ветру.

Алимджана, правда, это не особенно насторожило, оглядывая поле, он сказал председателю:

— Завтра, пожалуй, можно приступить к прореживанию. Уже видно, какой росток хилый, а какой потянется к солнцу.

— Не знаю, не знаю,— с сомнением покачал головой Кадыров.— Ты погляди-ка на закат.

— А что, надо ветра ждать?

— Ладно бы только ветра. Это еще полбеды. Как бы погода не преподнесла нам что-нибудь пострашнее.

— В таких случаях,— Алимджан улыбнулся как можно мягче, чтобы своей шуткой не обидеть Кадырова,— мой фронтовой дружок Григорий Петров говорил: «Типун тебе на язык».

И теперь, стоя у окна, он угрюмо думал: «Прав оказался председатель. Накаркал...»

Воздух за окном казался каким-то тяжелым, мертвым. Все птицы, чуя непогоду, попрятались кто куда: ласточки — в свои теплые гнезда, воробьи — под стрехи крыш.

Алимджан без аппетита позавтракал, задумался: отправиться ли ему сразу в поле, или сперва зайти за Айкиз? Если она, конечно, дома...

Повод повидаться с ней у него был...

Вчера областная газета опубликовала очерк об алтынсайских колхозах, добившихся больших успехов в освоении целины, о коммунистах этих колхозов, поднявших народ на борьбу с безводьем, о продолжающемся строительстве плотины и водохранилища. Очерк — интересный, красочный, с живыми наблюдениями — понравился Алимджану. Он сознавал силу печатного слова — разумеется, яркого, идущего из души. Такое слово, как считал Алимджан, способно зажечь людей, повести их на подвиг. Сам он внимательно просматривал газеты, старался читать побольше книг, это помогало ему в партийной работе.

В очерке немало добрых слов было сказано и по адресу Айкиз: автор писал о ней как об умелом организаторе, настоящем вожаке, постоянно думающем о благе народа и потому-то и выступившем с благодатным предложением — найти, добыть воду и освоить Алтынсайский массив.

Газету с очерком колхозный почтальон наверняка уже доставил в дом Умурзака-ата. Но старик малограмотен да и зрение ослабело, вряд ли он сможет разобрать мелкий шрифт. Сама же Айкиз, если даже она дома, не стала бы читать отцу очерк, в котором ее же хвалят.

Что ж, значит, он, Алимджан, должен познакомить Умурзака-ата с газетным материалом, порадовать старика...

А еще Алимджану надо было выяснить, почему Айкиз последнее время ведет себя непонятно. Вот уже больше недели она не появлялась дома, не показывалась на полях колхоза «Кызыл юлдуз». И на строительстве плотины Алимджану никак не удавалось ее застать. Правда, у нее хватало и других дел. Как председатель сельсовета, опекающего большую территорию, она обязана была интересоваться положением в соседних колхозах, навещать чабанов, наблюдать за ходом полевых работ на богарных землях,— она ведь будущий агроном.

Все же обидно, что она словно позабыла о родном колхозе. Ведь «Кызыл юлдуз» закончил сев, и на всех освоенных участках начали уже пробиваться дружные всходы хлопчатника. Неужели это ее не волнует?

А может, она просто не хочет встречаться с ним, с Алимджаном? Ведь его-то она легко могла бы разыскать. Если бы соскучилась, так они давно бы уже повидались. Выходит — не скучает... Это он тут извелся за долгие, тянущиеся, как вечность, дни разлуки. А ей хоть бы что!

Да полно, любит ли она его вообще? Разве это любовь, если нет желания увидеться, поговорить с любимым? А сроки, которые она ему назначала? Он-то хорошо помнит ее слова: вот добудете живую воду Кокбулака, потом минет еще две недели... И тогда — свадьба. Две недели уже прошли. А Айкиз пропадает где-то. Вот и получается, что она только смеется над ним, ей доставляет удовольствие водить его за нос... «Айкиз, Айкиз!.. Знала бы ты, как велика моя любовь!.. Как я хочу, чтобы мы наконец были вместе. Всегда вместе, на всю жизнь!..»

Его истомило ожидание... Сколько же можно ждать? Нет, надо добиться от Айкиз определенного, твердого, окончательного ответа!..

С этими мыслями Алимджан вышел из дома.

Ветер чуть не сбил его с ног. Ох, сколько бед успел уже натворить ураган!.. Какой крепкий тополь высился возле двора Бекбуты — и гляди ты, переломлен пополам, словно снарядом срезан. Ну и силища!

Почти у каждой калитки стояли колхозники, с тревогой смотрели в сторону хлопковых полей. Да, их беспокоила судьба первых всходов хлопчатника...

И ему, Алимджану, надо бы прежде всего беспокоиться о хлопке, а не разбираться в своих отношениях с Айкиз. Нашел время для обид и подозрений!..

Но ведь он с ней и правда не виделся целый век. Страшно подумать — неделю, семь дней, почти две сотни часов... С той поры, когда они ходили вместе с Погодиным по участкам Суванкула и Бекбуты и Айкиз, прощаясь с Алимджаном, сказала, что Умурзак-ата любит его и скучает без него и Алимджан будет ему вместо сына...

Что же она — лгала ему? Нет. Айкиз не умеет ни лгать, ни притворяться. И все его подозрения — чушь, вздор. Если бы она его не любила, то не посылала бы на фронт письма, в которых каждая строчка дышала девичьей чистотой и нежностью, не страшилась бы так, что он может погибнуть и не вернуться в кишлак, и не признавалась бы в этих письмах, робко, но и откровенно, что живет мечтой о скорой встрече... Хотя Алимджан и знал письма Айкиз наизусть, но до сих пор перечитывал их, затаив дыхание... А первые их свидания на родной алтынсайской земле, под цветущим миндальным деревцем?.. Правда, в последнее время они встречались реже и больше говорили о делах, чем о любви,— так ведь и забот у каждого было сверх головы. И к чему слова? Айкиз не из тех, кто способен изменить первому чувству или несерьезно к нему отнестись.

Очутившись перед калиткой, ведущей во двор Айкиз, Алимджан взялся за кольцо и с минуту стоял не шевелясь, прислушиваясь к частому, взволнованному биению сердца...

Почему каждый раз, задерживаясь перед этой калиткой, он волнуется как мальчишка, и сердце то сжимается, то начинает бешено колотиться в груди?

И в мыслях — полная сумятица... А дома ли Айкиз? А как она его встретит, что ему скажет?

Уж пора бы, кажется, научиться сдержанности, да никак ему это не удается, сердце не подчиняется приказам разума.

Алимджан посмотрел на кольцо, за которое держался... Это было плоское железное кольцо, выкован-

ное для Умурзака-ата молодым колхозным кузнецом Юлдашем, со следами вмятин от молотка. Алимджану знакома была каждая вмятина; однажды, не решаясь войти во двор, он даже пересчитал их. За это кольцо часто бралась и Айкиз — оно словно хранило тепло ее пальцев...

Нет, сейчас оно было холодное,— ветер остудил все вокруг. Алимджан чувствовал, как тугие его волны бьют ему в спину.

Дернув за кольцо, он открыл калитку, и для него словно солнце взошло: Айкиз дома!

Держа под уздцы Байчибара, она разговаривала с отцом. Алимджан подошел к ним, лицо его сияло:

— Здравствуйте, пропащая!.. Здравствуйте, Умурзак-ата.

Айкиз, торопливо ответив на приветствие, сказала озабоченным тоном:

— Вы очень кстати, Алимджан-ака. Я как раз собиралась заехать за вами. Видите, что творится? — она показала рукой на небо, уже сплошь затянутое свинцово-тяжелыми, холодными тучами.

— Да, погода какая-то угрожающая... Как будто на тебя идут вражеские полчища. Но на фронте я оборонялся от врага, шел на него в атаку. А тут, когда на тебя обрушивается стихия, как, каким оружием с ней биться?

— Не отчаивайтесь, дети мои,— сказал Умурзак-ата.— Может, еще пронесет...

— А если нет? Что тогда делать? Самое страшное — это ощущение собственного бессилия. Ведь для всходов сейчас опасны и ветер, и дождь, и град, а нам остается только глядеть на небо да гадать: пронесет — не пронесет... Вот вам и цари природы.

— Не расстраивайся, сынок, делу этим не поможешь. Пройдемте-ка лучше в дом, я вас чаем напою.

— Сейчас, только Байчибара отведу,— сказала Айкиз.

Алимджан с готовностью вызвался ей помочь, они препроводили Байчибара в сарай, держа его с обеих сторон под уздцы; конь вышагивал, высоко вскинув голову, словно гордясь оказанной ему честью.

Пока Айкиз разнуздывала Байчибара, разглаживала ладонью черную волнистую гриву, ворошила сухой клевер в колоде, пододвигая его поближе к коню,

Алимджан все пытался заглянуть ей в лицо, но Айкиз избегала его взгляда, и Алимджану казалось, что она делает это умышленно. Она просто не хотела на него смотреть. Это и пугало, и сердило его; он проговорил, скрывая за полушутливым тоном тревогу и досаду:

— Нехорошо, нехорошо, Айкиз. Совсем вы нас забросили.

— Мое отсутствие было так заметно?

— Еще бы! Ведь целая неделя прошла, как вы исчезли куда-то.

— Неделя?! Как быстро время летит!..

— Для меня оно ползло, как черепаха... Впрочем, дело не во мне. Про родной-то колхоз грешно забывать.

— А в колхозе какие-нибудь неурядицы? Что-то не ладится?

— Как раз наоборот, за нас-то вам не пришлось бы краснеть, дела у нас идут отлично.

— А я в этом и не сомневалась. Потому и не докучала вам.

Алимджан, которого успокоил искренний, доброжелательный тон Айкиз, не удержался от улыбки:

— Учитесь у Джурабаева? Это его стиль работы: самое большое внимание уделять не передовым, а отстающим колхозам.

— У него можно поучиться и многому другому.

Они шли уже через двор, направляясь к дому. Алимджан все же решил продолжить начатую тему:

— И все-таки вам не мешало бы побывать и на наших полях. Ведь появились первые всходы. Первые всходы, Айкиз!

— Мне об этом сказали, я потому вчера и примчалась в кишлак. Считайте, что я свою вину уже искупила, ошибку исправила. И не сердитесь на меня, ладно?

Айкиз ласковым, извиняющимся жестом коснулась локтя Алимджана, повернула к нему лицо; глаза ее, казалось, что-то искали в его глазах, она спросила:

— Не сердитесь?

Алимджан почувствовал такое облегчение, будто гора свалилась с плеч. Губы его снова тронула улыбка:

— На вас нельзя сердиться, Айкиз.

— А вы ведь сердились. Правда?

— И приму за это любой приговор!

— Ограничимся условным сроком.., Вы ведь перевоспитаетесь?

— Клянусь!

— Ладно, шутки в сторону. Мне правда надо поглядеть на хлопковые участки, я ведь о них все время думала, душой изболелась.

— Увидите, хлопчатник взошел на загляденье!

На айване их поджидал Умурзак-ата. Тут только Алимджан вспомнил о газете. Обращаясь к Айкиз, он сказал:

— Нас ведь в областной печати похвалили. Вы читали?

Жар бросился в лицо Айкиз; с трудом преодолев смущение, она ответила, нахмурив брови:

— Читала. Вы ведь говорите о вчерашнем очерке? Так вот, неправильно там все. Приукрашено. Разве работа у нас шла так гладко, как пишет газета, и не было недостатков, ошибок? Люди-то в Алтынсае разные, одни трудились не за страх, а за совесть, а другие гоняли лодыря. И руководители не все оказались на высоте. Я сама допустила оплошность при закладке основания плотины — за что же меня-то хвалить? Нет, нет, газетчик не должен смотреть на жизнь сквозь розовые очки.

— Сквозь черные-то тоже нельзя,— заметил Алимджан.

— Нужно говорить людям правду и описывать все, как есть.— Во взоре Айкиз вдруг появилась настороженность и отчужденность.— Алимджан-ака, а не вздумали ли вы надо мной посмеяться?

— Что вы, Айкиз!..

— А с чего тогда напомнили об этом очерке? Я, когда прочла его, чуть со стыда не сгорела.

До сих пор молчавший Умурзак-ата решил положить конец спору:

— Дочка, ты только не горячись. Сказать по чести, я газету не читал и не знаю, что там написано про наш колхоз. Но если алтынсайцев похвалили, так есть за что. Колхозники потрудились на славу, почему ж не сказать о них доброе слово? Когда человека поощришь, приободришь, оценишь по заслугам его дела, так у него сил прибавляется, он тебе горы своротит! Что там говорить, нашему колхозу пришлось потяжелей, чем другим. У соседей земля не такая засоренная. А у нас

на целине и тамариск, и гребенщик, и янтак, и пальчатка. У пальчатки-то вон какие корни, всю почву ими опутала. Попробуй распахать такие участки... Спасибо Ивану Борисычу, крепко он нам подмог своими конями железными. Но и дехкане в бригадах Суванкула и Бекбуты тоже не подкачали, воевали с сорняками, не жалея сил. Сказать по чести, земляки мои достойны самой высокой похвалы. Ведь два участка и вспаханы и засеяны хлопком — это ли не великое дело? А нынче мы готовим новые земли — под хлопок будущего года.

— Да,— подтвердил Алимджан,— пахота продолжается. Уже много земли очищено от кустарника и сорняка.— И тут же сокрушенно покачал головой: — Но сколько еще осталось этой пальчатки!.. Придется порядком с ней повозиться.

— Ничего, Алимджан-ака,— вмешалась Айкиз.— Мы ведь осваиваем целину не голыми руками. На смену омачу да кетменю пришла техника. Правительство дополнительно выделяет нам мощные тракторы.

Айкиз уже забыла, с чего начался этот разговор. И надо же было Умурзаку-ата вернуться к неприятной для нее теме. Заявив, что земля, о которой говорила Айкиз, и правда добрая, он обратился к Алимджану:

— А теперь, сынок, почитай-ка мне газетку. Все-таки любопытно, что там про нас написано.

— Охотно, отец,— Алимджан достал из кармана свернутую вчетверо газету.— Тем более что главная героиня очерка — ваша дочь.

Он начал было разворачивать газетный лист, но ветер, залетевший на айван, мешал ему, рвал газету из рук. Айкиз молча, сдерживая улыбку, наблюдала за Алимджаном, потом отобрала у него газету, спокойно сложила ее:

— Видите, даже ветер против того, чтобы вы читали этот очерк. Пойдемте-ка лучше пить чай. Отцу я газету после прочту...

В комнате на хантахте их уже ждал кипящий самовар; он, казалось, сердился на них за опоздание, недовольно фыркал, брызгаясь кипятком.

Алимджан устроился перед хантахтой на мягкой курпаче, удобно скрестив ноги. Айкиз разломила лепешку, пододвинула Алимджану синюю фарфоровую касу с дымящей шурпой, а он смотрел на ее тонкие

смуглые руки, и сердце у него ныло сладко и тревожно...

Едва они обмакнули в шурпу первые ломтики лепешки, как сильный порыв ветра с треском распахнул окно — так, что зазвенели стекла. Умурзак-ата поспешил к окну, выглянул во двор. От гор на Алтынсай, закрыв собой все небо, надвигалась иссиня-черная туча. Закрыв окно, старик медленно вернулся к дастархану, опускаясь на место, сказал безнадежно:

— Ну, вот, дети мои, и пришла к нам беда.

В комнате быстро темнело, внезапно дом вздрогнул от громового раската: казалось, над самой крышей разорвалось пушечное ядро. Айкиз побледнела.

— Ох, страшно подумать, что сейчас на плотине творится. Надо ехать туда...

Она рывком поднялась из-за дастархана, Алимджан удержал ее за руку:

— Сидите, Айкиз. За плотину не беспокойтесь, гроза бушует не в горах, а здесь, в предгорье.

У Умурзака-ата был совсем потерянный вид, он тяжело вздохнул:

— А и правда, хуже нет — пережидать беду, а не сражаться с ней. И когда только наша наука научится управлять стихией? Ну что мы сейчас можем сделать?..

Он не успел договорить, как над кишлаком прокатился новый залп грома, и тут же по железной крыше, по сухой земле во дворе забарабанили первые капли дождя. Дождевая дробь становилась все более торопливой, частой, густой, внезапно она перешла в какой-то шуршащий треск, словно снаружи кто-то рвал, распарывал крепкую холстину.

В глазах Умурзака-ата мелькнул ужас, он снова бросился к окну, бормоча с отчаянием:

— Град!.. Только этого не хватало... Град!

Открыв окно, он подставил ладони под холодные градины и, показывая Айкиз и Алимджану крупные белые льдистые шарики, все повторял, чуть не плача и словно не веря в свершившееся:

— Град!.. Поглядите — град!.. Какая беда, какая беда!..

Он скинул градины с ладони на пол, закричал как помешанный:

— Что же вы сидите, сложа руки? Ведь хлопок гибнет!.. Я не дам... не дам его убить!

Как был, босой, в одной рубахе, старик выбежал во двор; там он на мгновенье остановился, взглянул на небо, погрозил ему обоими кулаками:

— У, вражина!.. Но ничего... ничего... Я хлопок собой заслоню... Я его защищу...

Айкиз и Алимджан и опомниться не успели, как Умурзак-ата очутился за калиткой. Спохватившись, они кинулись вдогонку, но сквозь белую шуршащую муть ничего нельзя было различить. Уверенные, что Умурзак-ата мог устремиться только к хлопковым участкам, Айкиз и Алимджан, миновав окраинные дома, споро зашагали по тропе, ведущей к полям, и через поля — к целинному бригадному стану.

Именно эту дорогу выбрал и Умурзак-ата, опередивший дочку и Алимджана. Крупные градины хлестали его по лицу, плечам, спине, было больно, как от свистящих ударов кнута, но старик не обращал внимания на боль, он бежал, бежал, бормоча молитвы и проклятья, поскальзываясь на льдистых шариках, усеявших тропу, падая, снова поднимаясь, задыхаясь от быстрого бега, от нехватки воздуха. Казалось, весь мир был сплошь окутан мутной плотной пеленой.

Когда Умурзак-ата уже приближался к полевому стану, его увидели колхозники, которые толпились на айване, пережидая грозу. Они не сразу узнали своего звеньевого в человеке, одиноко бегущем по тропе, тревожно переговаривались, всматриваясь в фигуру, как бы размытую белым потоком, который обрушивался с неба:

— Кого это понесло в поле в такую погоду?

— Глядите, да он в одной рубахе. И босиком, ей-богу, босиком!

— Братцы, да никак это наш Умурзак-ата?

— Точно он. Бедняга, град по нему так и рубит.

— Что ему тут понадобилось?

— Наверно, хлопок стало жалко, вот он дома-то и не усидел.

— Жалостью делу не поможешь. Не закроет же он собой все поля...

— Так-то оно так, да ведь когда душа болит, на любое решишься.

— Ой, глядите, он вроде упал...

Все голоса перекрыл мощный бас Суванкула:

— А вы что стоите? Мастера языками-то молоть. Нет чтоб помочь человеку...

Он шагнул из-под навеса наружу, словно нырнув в белый, грозно шумящий хаос, и, давя сапогами градины, неровным слоем покрывшие землю, заторопился к Умурзаку-ата.

Колхозникам только почудилось, что старик упал, он сам опустился на колени перед крохотными зелеными росточками, которые тянулись вдоль тропы длинными, ровными рядами. Все поле было будто присыпано крупной серой солью. Веселая, еще вчера купавшаяся в солнце земля лежала теперь какая-то притихшая, озябшая, жалкая. Многие ростки хлопка, израненные градом, печально поникли, прильнув к самой земле, некоторые еще держались, не сгибаясь перед бедой. Умурзак-ата гладил эти всходы негнущимися, заледеневшими пальцами и что-то шептал, ласково, сострадающе, как будто возле постели больного...

Он и не заметил, как рядом с ним оказались Суванкул и подоспевшие Айкиз и Алимджан.

— Отец! — со слезами в голосе сказала Айкиз.— Ну, зачем вам было сюда бежать? Смотрите: вымокли до нитки. И весь в грязи...

— Меня хлопок позвал на помощь...

— В самый град-то что вы могли для него сделать? Только сами намучились...

Алимджан протянул ему халат и калоши, которые не забыл прихватить с собой, заботливо проговорил:

— Встаньте, отец. Простудитесь. Вот, одевайтесь.

Умурзак-ата покорно поднялся, смущенно оглядел свою вымокшую, покрытую грязью рубаху, испачканные землей колени, надел калоши и халат, окинул поле глазами, полными слез.

— Что град-то натворил!.. Сколько мы времени потратили, труда положили, засевая землю хлопчатником, ухаживая за ним, как за малым ребенком... И за какие-то полчаса все пошло прахом...

— Не падайте духом, отец,— попытался утешить его Алимджан.— Град-то прошел полосой, задел только часть всходов. Да он уже и кончается. Видите — небо светлеет!..

Словно в подтверждение слов Алимджана, град внезапно совсем прекратился.

— Вот, отец,— повеселевшим тоном сказала Айкиз,— града-то и нет!

— Нет, говоришь? — с горечью выкрикнул Умурзак-ата.— А это что? — Он нагнулся, зачерпнул с земли целую пригоршню уже чуть размокших круглых льдинок.— Это не град?

— Сейчас выглянет солнце, он и растает, словно его и не было. Смотрите — небо над горами совсем ясное. А вот и солнышко!

Туча, принесшая беду, уже уходила на запад, к линии горизонта, открыв солнце, которое затопило все вокруг золотистым светом.

Но Умурзака-ата ничего не радовало, он все глядел с болью на прибитые градом всходы хлопчатника.

— Какой прок от того, что град растает. Он свое черное дело уже сделал. Хлопок-то не воскресишь...

— Говорят, отец, что у мира четыре стороны и уж хоть одна всегда остается открытой,— произнес Алимджан.

Умурзак-ата согласно кивнул головой:

— Это мудрые слова.

— А раз так, то не надо отчаиваться!.. Я слышал, в колхозах, где давно выращивают хлопок, опытные хлопкоробы выхаживают всходы, пострадавшие от града. Ну, потрудиться-то приходится здорово: где подкормить ростки, где подсадить новые. И заботиться о них денно и нощно. Но зато осенью хлопок отплачивает за заботу о нем отменными урожаями.

— Сеяли-то мы хлопок слишком поздно,— вздохнул Умурзак-ата.

— Ничего! — бодро воскликнул Суванкул.— Что мы, хуже других? Уж не пожалеем ни сил, ни времени, чтобы подлечить раненые всходы. «Белое золото» даром в руки не дается... На то оно и золото, добывать его нелегко.

От всего пережитого Умурзак-ата чувствовал себя совсем ослабевшим. Солнце немного согрело его, но лицо было бледное, он ежился, как от озноба. Бережно поддерживая старика с обеих сторон под локти, Алимджан и Суванкул повели его к полевому стану.

Айкиз шла рядом, поглядывая на отца с беспокойством, лаской и в то же время чуть виновато. Когда они очутились возле хауза, вода которого помутнела от

града, Айкиз, взяв отца за рукава халата, с какой-то нерешительностью проговорила:

— Отец... Вы не сердитесь, но я должна вас оставить. Надо и на плотине побывать и в других колхозах. Град-то, наверно, не только на наших полях поразбойничал. Не у нас одних несчастье.

Она на мгновенье приникла щекой к отцовскому плечу, спросила:

— Так я пойду?

— Иди, дочка, иди. Выполняй свой долг...

Айкиз, попрощавшись со всеми, двинулась по раскисшей тропе к кишлаку, чтобы дома оседлать Байчибара и отправиться в путь.

Она уже скрылась из виду, когда к полевому стану подкатил по уже наезженной «целинной» дороге райкомовский газик.

Не успел Джурабаев выйти из машины, как его окружили колхозники. Но он, заметив Умурзака-ата, скромно стоявшего позади всех, прошел к нему, обнял его за плечи и только после этого начал здороваться с остальными, каждому тепло пожимая руку.

Все ждали от секретаря райкома каких-то особых слов. А он, с улыбкой оглядев колхозников, заговорил просто, чуть шутливо:

— Я гляжу, вы тут приуныли. Вот-вот с ресниц снег начнет падать. Но, по-моему, рано еще нос вешать. Стихия, конечно, нанесла нам серьезный урон, но дело можно поправить, и есть у нас для этого одно могучее, надежное средство...

Люди невольно ближе придвинулись к Джурабаеву, а Умурзак-ата спросил:

— Какое же это средство, сынок?

— А самое обыкновенное: усердие и труд.

Умурзак-ата с сомнением покачал головой:

— Я полагаю, одного усердия маловато. Работы-то мы не боимся. Но хлопок мы посеяли впервые, еще не умеем по-настоящему-то за ним ухаживать.

— И умение рождается усердием.

— Что ж,— медленно проговорил Умурзак-ата, поглаживая свою белую бороду,— пожалуй, что и так. Старательный, говорят, может и горы свернуть и оборвать стальной трос.— Он задумался, глядя на поле.— Все же, сынок, не возьму я пока в толк, как можно оживить это мертвое поле?

— Не такое уж оно мертвое. Корни-то у растений целы. Надо, не теряя ни минуты, произвести подкормку хлопчатника, глубокую окучку, провести лишний полив. Тогда устоявшие стебельки выбросят новые листья. А там, где хлопчатник так и не выправится, придется сделать подсадку. Районный агроном у нас опытный, он вам поможет. Хотя... надо все-таки поглядеть, какой вам причинен ущерб.

Джурабаев направился к полю, он медленно прошелся по борозде, вдоль рядов хлопчатника, время от времени стряхивая с сапог налипшую мокрую землю, наклоняясь к самым всходам, трогая их руками... Солнце светило уже вовсю, град, усыпавший поле, таял на глазах, над землей струился легкий парок...

Когда Джурабаев вернулся к колхозникам, лучики-морщинки в уголках его глаз были темные, он сказал задумчиво:

— Все-таки надо будет прислать к вам людей из Госстраха.

— Из Госстраха? — с тревожным недоумением переспросил Умурзак-ата.— А зачем?

— Они обмерят пострадавшие участки, составят акт. Ведь ваш хлопчатник застрахован. По акту колхоз получит страховые деньги.

На лицо Умурзака-ата словно тень набежала.

— От кого получит? За что получит?

— Как от кого? От государства,— спокойно пояснил Джурабаев.— Государство сполна возмещает колхозам ущерб, причиненный стихийными бедствиями.

Умурзак-ата, взявшись руками за бельбог, устремил на Джурабаева взгляд, полный удивления и укоризны:

— И не стыдно тебе говорить такое, сынок? По-твоему получается, что государство у нас в долгу?

— В данном случае оно должно дать вам деньги...

Тон у Джурабаева был по-прежнему спокойный, разъясняющий, но в лучиках-морщинках светились и одобрение и лукавство.

— Нет, сынок,— как-то и твердо и взволнованно в то же время проговорил Умурзак-ата,— это мы вечные его должники. Я вот уже сорок с лишним лет думаю: как мне достойней расплатиться с советской властью за все добро, которое я от нее видел? Моего долга ничем не измеришь... Ведь советская власть освободила нас от рабства и нужды, сделала хозяевами земли, да-

ла нам достаток, счастье. А мы еще будем требовать у нее деньги за то, что наши поля градом побило? Государство-то тут при чем?

Джурабаев долго, пристально смотрел на старика, потом благодарно наклонил голову:

— Спасибо вам, отец. Мне отрадно было вас слушать — вашими устами говорила сама мудрость... Только я все-таки должен вас немного поправить. Это вы сами и такие же труженики, как вы, завоевали себе счастье. И оплатили его дорогой ценой. В революцию, в гражданскую войну — ценой собственной крови. В Отечественную — ценой крови и жизней ваших сыновей и младших братьев. Да вы все и есть советская власть!..

Умурзак-ата шагнул к Джурабаеву, взял его руку, приложил ее к своим глазам, которые на минуту прикрыл, и тихо, растроганно сказал:

— Это тебе спасибо, сынок. Твои слова более мудрые, чем мои. Сказать по чести, так оно и должно быть: ведь ты — партия. А партия и подняла нас на борьбу за счастье народа.— Он выпрямился, просветленно улыбнулся.— Но раз мы — советская власть, так что же нам у самих себя деньги-то брать? Нет, моему звену никаких денег не надо. Пусть они остаются в общей копилке, а с бедой мы как-нибудь управимся сами. Так и передай своему Госстраху.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Джурабаев вместе с Алимджаном до полудня объезжал предгорные поля, пострадавшие от града. Потом он завернул в Алтынсай, зашел к Кадырову, попросил его позвать других членов правления колхоза «Кызыл юлдуз» и, когда все собрались, повел с ними непринужденную беседу — о колхозных делах, об освоении целины, о планах на будущее...

Когда Кадыров начал распространяться на свою любимую тему — о том, что важнее всего жизненный опыт, умение смотреть на все «глазами опыта», мыслить трезво и реалистически, Джурабаев возразил:

— Опыт — и только?.. Нет, я согласен, коммунисты должны не витать в облаках, а учитывать реальное положение вещей. И роль опыта отрицать глупо. И вы вправе гордиться тем, что вами накоплен большой и

жизненный и хозяйственный опыт. Только напрасно вы с такой настойчивостью твердите все время, что вы практик, а не мечтатель. Разве можно жить без мечты? Нет, Кадыров, нельзя!.. В этом году ваш колхоз добился немалых успехов. А кто подсказал вам идею освоить Алтынсайский массив под посевы хлопчатника, кто позвал в горы — искать, добывать воду?..

— Ну... Умурзакова,— с неохотой буркнул Кадыров.

Джурабаев выдержал продолжительную паузу и тихо, проникновенно сказал:

— Нет, не Умурзакова. А мечта!.. Мечта о лучшем будущем! Мечта о счастье, богатстве, могуществе Родины. А Айкиз — честь ей и хвала! — подхватила эту мечту многих и облекла ее в плоть реального замысла, конкретного плана... Потому что и сама умеет мечтать. Потому что она верная ученица Ленина. Вот у вас на столе, товарищ Кадыров, лежит том из собрания сочинений Ленина. А внимательно ли вы читали его?

Кадыров только крякнул, а Джурабаев, положив ладонь на книгу в алом переплете с ленинским силуэтом, продолжал:

— Тот, кому дорога каждая строка вождя, знает: Ленин был великим реалистом и великим мечтателем. Он и стремился и умел претворить в действительность самые дерзновенные мечты. И наша нынешняя жизнь — это исполнившаяся мечта Ленина... Но Ленин зовет нас идти дальше! Мы должны учиться у него и реально мыслить и смело мечтать. Трезво оценивать наши сегодняшние возможности и смотреть в завтрашний день. Вам, Кадыров, надо почаще заглядывать в ленинские тома. Вы ведь колхозный вожак. Советуясь с Лениным, вы и путь своего колхоза сможете увидеть в перспективе: на что «Кызыл юлдуз» способен сегодня, на данном этапе, а на что — завтра и послезавтра. Вот скажите, вы довольны тем, что ваш колхоз электрифицирован?

Кадыров самодовольно усмехнулся:

— Еще бы!.. Это моя самая большая гордость. Сколько я сил ухлопал, чтоб осветить колхоз!..— Он кивнул на лампочку, свисавшую с потолка: — Видали? Двухсотсвечовая. Могу включить...

Видя, что Кадыров готов сорваться с места, Джурабаев остановил его жестом руки:

— Не надо, не надо, раис. Это уже было бы ненужным расточительством. На дворе-то день.

— Эта лампочка светлее солнца!..

Алимджан и Бекбута рассмеялись, а Джурабаев почему-то досадливо поморщился и принялся мять папиросу, которую достал из алюминиевого портсигара.

Он думал о чем-то своем. Кадыров смотрел на него настороженно, непонимающе; на какое-то время в кабинете воцарилось молчание.

Те, кому часто доводилось сталкиваться с секретарем райкома и кто был понаблюдательнее, стали в последнее время замечать за ним такую привычку: разговаривая с работниками, которыми он был недоволен, или слушая чье-нибудь неумное выступление, Джурабаев раскрывал портсигар, брал папиросу и начинал с силой разминать ее. Гильза лопалась, табак рассыпался, тогда каким-то механическим движением Джурабаев вынимал и тискал в пальцах вторую папиросу, затем третью, а потом, спохватившись, торопливо защелкивал портсигар и прятал его в карман, так и не закурив. И взгляд его и морщинки у глаз становились в такие моменты жесткими, меж бровями пролегала суровая складка.

Вот и теперь он мучил уже вторую папиросу; бросив ее в пепельницу, потянулся было за третьей, но так и не извлек ее из портсигара: заметив, что все выжидающе наблюдают за ним, закрыл портсигар, положил его на стол.

Кадырову стало не по себе, он не мог понять, чем рассердил секретаря райкома.

А тот строго, словно и стыдясь за Кадырова и жалея его, проговорил:

— Любите вы все-таки показуху, раис. Ишь, великое достижение: лампочка в двести свечей в кабинете председателя колхоза! И как вам не терпелось зажечь ее, чтобы пустить нам пыль в глаза.

— Товарищ Джурабаев! — не вытерпел Кадыров.— Я не заслужил таких обвинений. Электростанция у нас хоть и маленькая, а работает бесперебойно. Я просто хотел продемонстрировать...

— Ну, извините, если был слишком резок... Но эта ваша лампочка... Ненужную вы затеяли демонстрацию, Кадыров. Я ведь не случайно спросил вас, довольны ли вы тем, что ваш колхоз электрифицирован. Вы, прости-

те, расхвастались, начали «якать» — злоупотребляете вы, между прочим, собственным местоимением. А я немного знаю положение в колхозе, знаком с мнением ваших коммунистов. Их не удовлетворяет достигнутое. Они думают о завтрашнем дне — по-большевистски, по-ленински. Алимджан, вот вас устраивают нынешние масштабы электрификации в «Кызыл юлдуз»?

Алимджан поднялся, по солдатской привычке одергивая гимнастерку:

— Как они могут нас устраивать? Это наш вчерашний день. До полной электрификации нам еще далеко. Да, электричество есть во всех домах. И на центральной улице стоят столбы с лампочками. Червоводни освещены.

— Разве этого мало? — багровея, выкрикнул Кадыров.

— Да, мало! Сегодня — мало! Коров у нас доят все еще вручную. Соломорезки колхозники тоже руками крутят. Мехи в кузнице раздуваются дедовским способом. Какая же это электрификация?

— Народ говорит: по одежке протягивай ножки,— заметил Кадыров.— Откуда возьмем лишнюю электроэнергию?

— Вот об этом нам и надо подумать!.. Да мы уже не раз заводили с вами разговор о дальнейшей электрификации в колхозе, только вы даже не пожелали обсудить этот вопрос на правлении. Ведь вы привыкли все решать единолично.

— Точно! — с каким-то даже воодушевлением подтвердил Бекбута.— Наш председатель хоть и говорит иногда: подумаем, посоветуемся, обсудим, но советуется только сам с собой.

Кадыров сидел мрачный, насупленный, бритый его затылок и мясистая шея стали помидорного цвета, он ссутулился, зажав под столом между коленями длинные руки, а глаза его, впившиеся в Алимджана, недобро поблескивали.

— А что вы предлагаете, Алимджан? — спросил Джурабаев.

— Наши предложения исходят из решений правительства. В них ведь предусмотрено строительство гидроэлектростанции на Алтынсае..

— Вы еще плотину-то не построили! — бросил Кадыров.

— Почему это — «вы»? Мы все ее возводим, это общее наше дело. Так вот, наше партийное бюро, за исключением товарища Кадырова, считает, что уже сейчас мы должны вплотную заняться вопросом о сооружении Алтынсайской ГЭС.

Кадыров, казалось, вот-вот лопнет от переполнявшей его ярости. Да что, в самом деле, с ума все посходили!.. То целину им подавай, то электростанцию. Ведь великое дело сделано, хлопок растет на двух участках Алтынсайского массива, а в будущем году бело-зеленый ковер покроет все предгорные земли. Неужто мало этого тому же Алимджану?

Еще больше набычившись, Кадыров сказал:

— Ты, товарищ секретарь партбюро, я гляжу, хочешь отвлечь нас от главной задачи — выращивания хлопка?

Алимджан усмехнулся:

— Быстро же у вас меняются «главные задачи». Ведь еще недавно, несколько месяцев назад, вы утверждали, что самое главное — собрать урожай пшеницы с богарных полей? А теперь перестраиваетесь на ходу, благо целину нам удалось освоить?

— А что ж? — заметил Джурабаев.— Бытие определяет сознание.

— Тогда можно надеяться, что, когда станут ощутимыми все выгоды от сооружения ГЭС, наш раис это возведет в ранг главной задачи? А мы вот уже сейчас полагаем, что ждать нельзя. Ведь Алтынсайская ГЭС сможет обеспечить необходимой электроэнергией не только «Кызыл юлдуз», но и все колхозы нашего сельсовета.

Это заявление совсем доконало Кадырова, он взорвался:

— Хватит с них того, что я воду им даю!.. А теперь еще должен снабжать их электричеством? Нет уж, дудки! Развелось, понимаете, иждивенцев... Надо и о себе думать, а не только о дядьях да племянниках.

— Ну, о себе-то вы никогда не забываете,— сказал Алимджан.

— Не о себе — о своем колхозе! Я вот уже двадцать лет о нем пекусь! Может, вы это в вину мне поставите? Может, не надо было так заботиться о собственном колхозе, а только и делать, что помогать со-

седям? Ну, нет, я лично горжусь тем, что поднял на ноги «Кызыл юлдуз»!

— Ваших заслуг перед колхозом никто и не собирается перечеркивать,— успокоил его Алимджан.— Но времена изменились, раис, а вы, судя по всему, продолжаете мыслить так же, как двадцать лет назад. И прямо скажу, несколько преувеличиваете свою роль. Товарищ Джурабаев прав: слишком часто вы повторяете слово «я». А надо и думать, и решать вопросы, и поступать по-коллективистски, по-коммунистически.

— Ну, дожил! — Кадыров тяжело отдувался, у него уже все лицо, даже белки глаз сделались багровыми.— Я, выходит, действовал не по-коммунистически? Да если бы у меня и в годы коллективизации и после голова болела не о своем, а о других колхозах, так «Кызыл юлдуз» прозябал бы в нищете, а не числился в передовиках. Ты вот вцепился в меня, как куриный клещ... А скажи-ка, положа руку на сердце: кто создал наш колхоз, кто вывел его в передовые?

— Вы, вы, Кадыров,— морщась, как от зубной боли, сказал Алимджан.— Повторяю, никто не стремится умалять ваши заслуги. Но надо отдать должное и другим — тем, на чей энтузиазм, опыт, труд вы опирались. И от соседей вы зря отмахиваетесь: в безвоздушном пространстве наш колхоз просто не мог бы существовать. А по нынешним временам особенно важно помогать друг другу, объединять силы, как это было при поисках воды, освоении целины... И Алтынсайскую ГЭС, как и плотину и водохранилище, мы будем строить общими усилиями, одному нашему колхозу с этим не справиться.

Казалось, все доводы Алимджана отлетали от Кадырова, как горох от стены, он улавливал лишь то, что уязвляло его самолюбие, и распалялся все пуще:

— Ничего, до сих пор справлялись!.. Без чужой подмоги сделались зажиточными. А в войну я не только своих колхозников хлебом кормил, но хлебушек-то и на фронт посылал...

Алимджан безнадежно махнул рукой, но тут, не выдержав, в разговор вмешался Бекбута; обвиняюще тыча в Кадырова указательным пальцем, он закричал:

— Да что ты, правда, заладил: «я» да «я». Ишь, это, оказывается, только ты и колхоз наш крепил и

фронт поддерживал... Ты готов и все нынешние успехи себе приписать: гляди-ка, и соседей облагодетельствовал, воду им подарил!.. Да они сами ее добывали! А ты вспомни-ка, раис, кто был против того, чтобы расчищать родники, копать канал, строить плотину и водохранилище? Кто нам мешал? Кто денег не хотел давать на великое дело? Ну-ка, скажи при всех — «я», «я», «я», раз уж так полюбилось тебе это словечко?!

Кадыров остолбенел от неожиданности; в первое мгновенье он даже задохнулся, только обводил присутствующих тяжелым взглядом, словно не понимая, что произошло, а потом, опираясь кулаками о стол, медленно поднимаясь со стула, угрожающе протянул:

— Это я мешал? Я не давал денег?

— Да что у тебя, раис, память отшибло? — Бекбута заморгал глазами.— Или, думаешь, мы забыли, как ты разорялся, когда Айкиз и Смирнов выступили со своими планами? А что про неделимый фонд кричал? Ни копейки, мол, не получите. Разве не было этого?

— Ах, вот оно что!.. Хотите теперь все былые грехи мне припомнить?.. Ну, ну, валите на меня все, что было и чего не было! Я ведь понимаю, чего вы добиваетесь!

Джурабаев, который до сих пор только прислушивался к спору, увещевающе произнес:

— Успокойтесь, Кадыров. Сядьте. Где ваша выдержка?

Но раиса уже, что называется, «занесло», он будто и не слушал, что ему говорили, и гнул свое:

— Я знаю, куда вы клоните! Кадыров, мол, свое дело сделал, теперь можно от него и избавиться. Что ж, снимайте меня с председательского поста! Кто желает его занять? Ты, Алимджан, или ты, Бекбута?.. На готовенькое-то прийти каждый рад-радешенек.

Дрожащими пальцами он пытался застегнуть воротник своего щегольского кителя, но крючок никак не поддавался.

К нему подошел Джурабаев.

— Возьмите себя в руки, раис. Одумайтесь. Вы коммунист, руководитель, негоже вам так себя вести.

Ему, видимо, не хотелось обострять конфликта, и, повернувшись к остальным, он сказал:

— А не кажется вам, друзья мои, что мы тут засиделись?.. Земля-то после града, наверно, уже отошла. И солнышко ее обогрело, и ветерок обласкал. Пора браться за работу...

Все с готовностью и чувством облегчения поспешили покинуть кадыровский кабинет.

Сам Кадыров тоже недолго пробыл в правлении колхоза: сев на коня, он отправился осматривать участки, где всходы были изранены градом.

То, что он увидел, заставило его не только поостыть, но и пасть духом.

Нет, все, что происходило на полях, могло лишь радовать: работа спорилась, в бригады Суванкула и Бекбуты было уже завезено удобрение, колхозники успели подпушить землю вокруг поврежденных ростков; Алимджан и другие бригадиры продолжали вспашку, готовя целину к будущим посевам.

Но все это делалось помимо Кадырова, без его участия, ему оставалось только удивляться тому, как быстро, своевременно были приняты меры по спасению хлопчатника.

И пока он объезжал поля, с лица его не сходила печать угрюмости. Ведь еще недавно Кадыров хвастливо, самоуверенно заявлял, что он полновластный хозяин колхоза, что колхоз и окреп только благодаря его неусыпным заботам и стараниям. А вот поди ж ты — колхозники прекрасно управляются и без него. Да он и не смог бы им ничем помочь: хлопок для него культура новая, незнакомая... Кто его знает, как с ним обращаться, как выхаживать после градобития. М-да, свалилась же обуза на его плечи...

Все это удручало Кадырова, он смотрел вокруг хмуро, рассеянно.

Из-за этой рассеянности с ним приключился небольшой конфуз.

Еще на участке Суванкула он приметил двух мужчин, которые вышагивали то вдоль, то поперек рядков хлопчатника, что-то вымеряя рулеткой. Тогда он не обратил на них внимания. А позднее, выехав на своем сером иноходце из-за Холма рабов, он снова столкнулся с ними, на этот раз лицом к лицу. И тут они что-то измеряли... Не слезая с коня, даже не поздоро-

вавшись с незнакомцами, Кадыров мрачно, властно спросил:

— Кто такие? Откуда?

Мужчины воззрились на него с удивлением: в колхозе уже все знали, зачем они здесь. Один из них, высокий, худой, в коломенковой фуражке, сдвинутой чуть не на самый затылок, с брезентовым потрепанным портфелем, сложенным вдвое и зажатым под мышкой, пояснил:

— Я из Госстраха. А этот товарищ — из МТС,— он кивнул на своего спутника, в котором по гимнастерке, армейским брюкам и кирзовым сапогам легко было угадать недавнего фронтовика.— Мы приехали обмерить пострадавшие от градобития участки и составить акт.

— А вы ведь председатель колхоза, товарищ Кадыров? — поинтересовался эмтээсовец.

Кадыров скользнул невнимательным взглядом по его новенькой ферганской тюбетейке, по лицу с черными веселыми глазами и крепкими скулами, хмыкнул и, не попрощавшись, двинулся прочь.

А часа через два, уже на участке Бекбуты, он опять наткнулся на каких-то двух, показавшихся ему незнакомыми, мужчин, тоже орудовавших рулеткой, и спросил, кто они такие. Мужчины недоуменно переглянулись и громко, от души рассмеялись. Тут только Кадырову бросилась в глаза новенькая ферганская тюбетейка на одном из них и потрепанный портфель под мышкой у другого. Злясь на свой промах, он, насупившись, с неприязнью бросил:

— Что зубы скалите? Одни вы тут, что ли, бродите со своими рулетками? Всех не запомнишь, вас много, а я один.

Кадыров побывал еще в саду, разбитом на целине. И здесь его не оставляли угрюмость и рассеянность. Старый Халим-бобо рассказал ему, что будущей весной собирается раздобыть для нового сада саженцы знаменитых яблочных сортов — кандиля и розмарина, а также персика луччак, осторожно попрекнул Кадырова за равнодушие к такой благородной и прибыльной отрасли хозяйства, как садоводство. Кадыров отмахнулся от него, как от назойливой мухи:

— Ладно, ладно, отец, мы потолкуем о ваших садах как-нибудь в другой раз. Сейчас есть дела поважнее.

И уехал.

В колхозе действительно накопилось немало не просто важных, а неотложнейших дел, но Кадыров не в силах был сосредоточить на них свои мысли. Злость, обида, недоумение все собой заслонили. Он мог сейчас думать лишь о том, что произошло утром в его кабинете.

Да нет, все началось раньше. Когда он потерпел поражение в конфликте с Умурзаковой, то заметил, что колхозники поглядывают на него с какой-то настороженностью и немой укоризной, порой ему чудилась даже скрытая насмешка в глазах земляков. А такие, как Бекбута и Суванкул, все чаще стали поднимать против него голос.

Кадыров чувствовал, что теряет авторитет, он исподволь наблюдал, как идут работы на расчистке родников, на сооружении канала и плотины, заняв, по его разумению, самую надежную — выжидательную позицию. Дело там ладилось, и Кадыров уже подумывал, не придется ли ему, в создавшейся обстановке, оставить председательский пост. Может, уйти самому, пока не сняли? Но не такой у него был характер, чтобы примириться с поражением и, признав свои ошибки, добровольно сложить с себя председательские полномочия.

Уйти? Да все только и ждут, когда он сам во всем покается и уйдет!.. Только не бывать этому. Он, Кадыров, еще покажет, на что способен. Колхозники еще убедятся, какой у них толковый, опытный руководитель. Ведь опыта, практической сметки ему не занимать стать!..

И в самый разгар освоения целины Кадыров из стороннего наблюдателя, уделявшего внимание только богаре, превратился в яростного энтузиаста хлопкосеяния. И это не было с его стороны притворством, приспособленчеством,— «глазами опыта», как он любил выражаться, он увидел, какие выгоды сулит выращивание хлопчатника на орошенных землях, увидел, правда, лишь после того, как была добыта первая вода для этих земель.

Он не жалел ни сил, ни времени, заботясь и об успешном проведении сева хлопчатника и о пшенице на богарных участках. Целыми днями он пропадал в полях...

И радовался, ловя на себе потеплевшие, одобрительные взгляды колхозников.

Он, Кадыров, снова был в седле!

Потому-то сегодняшний разговор, когда он опять нарвался на упреки, был для него как гром среди ясного неба.

Что там ему наговорили? «Надо уметь мечтать»,— это Джурабаев. «Времена изменились»,— это Алимджан. «Вы не умеете смотреть в завтра», «вы преувеличиваете свою роль», «вы «якаете», «вы мешали поднимать целину»,— это уж все на него навалились. Придрались даже к лампочке в его кабинете, будь она неладна. Ишь, понадобилось им большое электричество. Да та же самая двухсотсвечовка — это вам не большое электричество? Что там еще ему припомнили? Кузницу, коровники, соломорезку... Да разве он сам обо всем этом не знает, ему-то разве приятно, что работают там кустарно, по старинке? Да он обеими руками за электростанцию! Только не все сразу, дорогие. Пока и с хлопком хлопот немало. Культура-то капризная, надо еще научиться растить этот хлопок, оберегать его от всяческих бед. В общем, забот надолго хватит, новые к ним добавлять — значит брать на себя непосильную ответственность.

Каждому овощу свое время. Всему своя очередь. Так говорил ему долголетний опыт хозяйственника-практика.

Но ведь теперь насядут на него с этой электростанцией, насядут и не отвяжутся. Что же делать Кадырову? И возразить-то он и Алимджану и Бекбуте толком не смог, хуже того — не стерпел, сорвался, и сам секретарь райкома строго попенял ему за невыдержанность.

Теперь жди вызова в райком.

Нет, надо, видно, все-таки убираться отсюда, пока не поздно, от греха подальше... Не то совсем заклюют — и руководство и свой же брат колхозник.

Ну и времена настали!..

Несколько дней Кадыров ходил сам не свой, туча тучей, все ждал, когда его вызовут в райком.

Но о нем словно забыли...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В райком был приглашен Алимджан. Джурабаев попросил его приехать к двенадцати часам или позднее, в любое удобное для Алимджана время.

Алимджан рассудил по-своему и решил явиться пораньше, чтобы к двенадцати уже вернуться в Алтынсай.

Однако в райкоме ему сказали, что Джурабаев еще вчера отправился в один из отдаленных колхозов («Конечно же отстающих»,— с улыбкой подумал Алимджан) и будет на месте ровно к двенадцати.

Алимджана приятно поразила четкость в работе секретаря райкома, его умение строго распоряжаться своим временем. «Айкиз права, у него многому можно поучиться. Посмотрим, успеет ли он в райком к двенадцати. Это было бы здорово...»

Дел у Алимджана в районе было достаточно, он побывал в парткабинете, в райсельхозотделе, в библиотеке, и когда в начале первого вновь появился в приемной Джурабаева, то немного даже растерялся от слов, которыми его встретила молоденькая секретарша:

— А я уж все учреждения обзвонила — вас разыскивала. Товарищ Джурабаев вас ждет. Входите, пожалуйста.

В кабинете Джурабаев был не один, у стола рядом с ним стоял Смирнов, он свертывал в трубку листы белой плотной бумаги.

Джурабаев, приветливо поздоровавшись с Алимджаном, сказал с шутливым укором:

— Опоздал, опоздал...

— Вы же сами сказали: можно после двенадцати...

— Да я знаю, ты даже раньше пожаловал. А насчет опоздания — это я к тому, что мы вот вместе с Иваном Никитичем хотели ознакомить тебя с чертежами строительства Алтынсайской ГЭС. Только инженер наш торопится; видишь, уже прячет свои чертежи.

— Прости, Алимджан, мне правда некогда. Ты ко мне после зайди, я тебе все покажу.

Смирнов поспешно ушел, а Джурабаев, заняв свое место за столом, показал Алимджану рукой на стул:

— Присаживайся. И рассказывай, как там у вас в колхозе. Хлопок выправился?

— Хлопчатник ведет себя молодцом. Прямо геройски. Окреп, пошел в рост.

— Значит, помогла подкормка?

— Можно сказать, она и спасла хлопок.

— Люди его спасли, Алимджан.

— Ну, ясно. Все работали до седьмого пота. Кадыров и тот себя не жалел, все эти дни по полям мотался. Вид у него, правда, неважный. Все думает о чем-то...

— Ему есть над чем поразмыслить. Думать вообще никогда не вредно. Так, значит, осенью, когда «белое золото» ляжет на хирманы, вам краснеть не придется?

— А вы приезжайте, посмотрите на наши поля. А то вы у нас с самого градобития не были.

— Потому что был спокоен за вас. Ладно, Алимджан, приеду, непременно приеду.

Секретарь райкома потянулся к своему портсигару, лежавшему на столе. Алимджан с тревогой взглянул на него, но морщинки у глаз Джурабаева оставались светлыми, а в глазах даже пряталось лукавство.

— Значит, ты хочешь показать мне поля. А какого-нибудь торжества у вас не ожидается?

— Торжества? — Алимджан недоумевающе пожал плечами.— Какого? До уборки урожая далеко. А плотина и канал будут готовы лишь в следующем году...

— Ну, торжества бывают разные. Различных, так сказать, масштабов. И общественного плана и личного...

Джурабаев закурил. Алимджан вопросительно глядел на него, не понимая, куда клонит секретарь. Он все еще напряженно морщил лоб, когда Джурабаев неожиданно спросил:

— Послушай, Алимджан, сколько тебе лет?

— Двадцать шесть,— помедлив, с некоторой растерянностью ответил Алимджан, а сам подумал: не собирается ли секретарь послать его в Ташкент на партийную учебу?.. Ох, не ко времени это сейчас. И хлоп-

чатником колхоз только в этом году начал заниматься, и с Айкиз все по-прежнему неопределенно...

Джурабаев медленно повторил:

— Двадцать шесть... Хороший возраст. Только в этом возрасте другие-то уже детьми обзаводятся. А ты все в холостяках ходишь, плохой пример подаешь молодежи. Или не знаешь мудрой народной поговорки?

— Какой?

— Семья — это путь к счастью.

Алимджан опустил голову, смущенно пробормотал:

— Да так как-то все складывалось, что не до семьи было. Война, армия... Теперь работа все время отнимает. Ни о чем другом просто некогда думать.

— Некогда, говоришь? Выходит, это я виноват, что ты до сих пор не женат.

У Алимджана брови так и подпрыгнули:

— Вы? Товарищ Джурабаев, вы-то тут при чем?

— А я всюду и всегда — «при чем». Должность у меня такая.

— Ну, тут-то... какая может быть ваша вина?

— А такая, что если ты сам не находишь времени позаботиться о своей судьбе, так я, как твой старший товарищ, обязан о тебе подумать. Постараться, чтоб у наших коммунистов хватало времени и на личную жизнь. Работа у нас, конечно, нелегкая: строить коммунизм, воспитывать созидателей коммунизма. Настоящий большевик все силы отдает этому великому делу и счастлив этим. Но разве это должно исключать счастье в личной жизни, а, как ты думаешь?.. Мы ведь сами говорим, что у нас личное не противостоит общественному, а, наоборот, одно дополняет другое. А у тебя вот, оказывается, на личное счастье времени нет!..

Алимджан совсем смутился.

— Да тут дело даже не во времени...

— А в чем же?

— Я и сам не знаю...

— Может, просто не хочешь отвечать? Считаешь, что я не вправе вмешиваться в твою личную жизнь, лезть, так сказать, в чужую душу? Тогда я, конечно, пасую...

— Нет, я так не считаю.

Джурабаев, с удовлетворением кивнув, продолжал проникновенно:

— Возможно, как секретарь райкома, я действительно не имею права требовать, чтобы ты посвящал меня в свои личные тайны. Но поверь, Алимджан, я люблю тебя, как сына... Ну — как младшего братишку. Потому-то мне так хочется, чтобы ты был счастливым... Погоди, я знаю, что ты собираешься мне возразить: мол, ты и так счастлив. Верно? Но я сейчас о другом... Мне не нравится, что ты застрял в холостяках, честное слово, не нравится.

Алимджан наконец улыбнулся:

— А мне, думаете, нравится?

— Ну вот! Молодец!.. У холостого, говорят, на глазах шоры, он может и на окольную дорожку свернуть, это точно, уж ты со мной не спорь.

— А я и не спорю.

— Слушай, Алимджан, а если откровенно — счастье-то вот уже теперь не стучится к тебе в сердце? — Джурабаев прищурился, то ли от папиросного дыма, то ли довольный своей догадкой.

Алимджан перестал улыбаться, снова покраснел.

— Н-не знаю...

— Зато я знаю! Я ведь не слепой и не глухой. Я, Алимджан, человек оч-чень наблюдательный. И не зря вызвал тебя на этот разговор. Стучится к тебе счастье, стучится!.. Только гляди, не проморгай его. Оно ведь капризно: постучится раз, постучится другой, не откроешь ему вовремя дверь — только его и видел!..

Алимджан, усмехнувшись чему-то, сказал:

— У меня-то для него дверь всегда открыта.

— За чем же дело стало? Ведь ты любишь, так?

— Да.

— А тебя?

— Не знаю.

— Ну вот, опять «не знаю»!.. Может, тебе, чтоб добыть счастье, не времени, а смелости не хватает? Не верится... Вон за воду Кокбулака ты бился, как лев!..

Алимджан при упоминании о Кокбулаке только вздохнул. И, решившись уж во всем открыться Джурабаеву, переборов смущение, проговорил:

— Мне она как раз и обещала сказать «да» спустя

две недели после того, как в Алтынсай прибежит вода Кокбулака. Все сроки уж прошли...

— А она так ничего и не сказала?

— Нет. Да я ее и не вижу совсем.

— Ох, Алимджан, Алимджан,— Джурабаев то ли сочувственно, то ли осуждающе покачал головой.— Говорят, смелость — постоянная спутница джигита. И ты всегда вел себя, как джигит. На фронте-то, верно, доводилось и под пули грудь подставлять и ходить в рукопашную... А вот перед девушкой оробел.— Джурабаев выдержал паузу, глядя на Алимджана лукаво прищуренными глазами.— Что ж, придется, видно, тебе помочь. Не возражаешь?

Алимджан ничего не ответил.

— Молчишь? Тогда примем молчание за знак согласия. Значит, вместе начнем бороться за твое счастье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Обычно Айкиз, наведываясь на участки, засеянные хлопком, оставляла Байчибара возле бригадного стана, подбросив коню охапку зеленого клевера или травы, а сама шла в поле. Она не любила, чтобы ее кто-нибудь сопровождал, осматривала участки в одиночестве — так ей было удобней определять, кто за хлопком ухаживал старательно, с любовью, а кто небрежно, спустя рукава.

Разведение хлопка для алтынсайцев было делом новым, а оно требовало не только знаний и навыка, но и особо тщательного, бережного, любовного ухода за каждым растением. И тут нужен был труд, труд и труд.

Большинство колхозников это понимало, но находились и нерадивые работники и лодыри, которые равнодушно выслушивали нарекания бригадиров и охотно прибегали к удобной отговорке: мол, хлопок мы растим первый год, вот поднакопим опыт, подучимся, тогда и спрашивайте с нас по большому счету. На некоторых эти отговорки действовали, но Айкиз не прощала промахов «начинающим» хлопкоробам,— наверно потому, что хлопчатник был ее любимым детищем, главной ее заботой.

Часто, медленно бредя вдоль рядов уже окрепшего хлопчатника, она на ходу, чуть наклоняясь к кустам, проводила ладошкой по нежным, шелковым листьям, тихо, ласково приговаривая: «Ух, как вы выросли, скоро уж начнете цвести». Или опускалась на корточки перед слабым, хилым кустиком, ощупывала пальцами, внимательно разглядывала его и обращалась к нему мысленно: «Бедняжка, с чего ж это ты зачах? Может, тля на тебя напала? Или приболел?.. Ну-ка, посмотрим, что с тобой приключилось. Так, листочки чистые. Почему же они такие вялые? Ах, вот в чем дело: тебя жажда мучает! Забыли водой напоить. Вай, и твои соседи тоже хотят пить. Вы все тут, оказывается, несчастные, заброшенные...»

Айкиз поднималась, долго из-под ладони оглядывала поле, хмурилась. Так и есть, целый участок остался без воды! Хлопок рос на небольшом взгорье, вода по арыкам поднималась сюда с трудом, вот хлопок и захирел, а звеньевому и горя мало! Зато в низине разлилось целое озеро, кусты хлопка чуть не целиком ушли под воду.

На прощанье опять погладив ладошкой кустики, она вслух обещала:

— Потерпите еще немного, бедняги, я сейчас спрошу у звеньевого, почему он вас не напоил. Влетит же ему от меня!..

В подобных случаях Айкиз тут же отправлялась на розыски виновника, и тот получал добрый нагоняй.

Айкиз безошибочно устанавливала, какие участки нуждаются в дополнительной подкормке, где не хватает воды, а где она в избытке.

Она строгой мерой взыскивала с бригадиров и звеньевых за всякое упущение. А тех, у кого хлопок был ухоженный, хвалила от души и делала это с особым удовольствием.

Как-то ранним июньским утром Айкиз приехала на целинный бригадный стан; спрыгнув на землю, она привязала Байчибара к колоде с травой, а сама подошла к хаузу. Каждый раз, когда Айкиз приезжала сюда, она спешила к тихому водоему, немому свидетелю ее памятной встречи с Алимджаном, и любовалась светлой родниковой водой, золотистым песком, который был насыпан вокруг хауза.

Когда-то — сейчас Айкиз казалось, что давным-давно,— она сидела здесь, у хауза, вместе с Алимджаном и Погодиным, а до этого читала на айване письмо Гриши Петрова, и был у нее разговор с Алимджаном, которого она заверила, что «все будет хорошо».

Не так-то уж все хорошо, и лишь она сама в этом виновата.

Ей хотелось постоять у хауза, повспоминать, поразмышлять, спросить у себя, почему она до сих пор мучает Алимджана.

Но помешал Бекбута, подошедший сзади:

— Здравствуй, товарищ Умурзакова!

Она обернулась, недовольно сдвинув брови. Выражение ее лица обеспокоило бригадира, он осторожно спросил:

— Решила проинспектировать нас, председательница?.. Ты для нас всегда желанная гостья. Какой участок тебе показать?

— Не надо мне ничего показывать,— почему-то сердито проговорила Айкиз.— Я одна пройдусь по полям и постараюсь побывать во всех звеньях. А ты занимайся своими делами.

Не дав Бекбуте опомниться, она зашагала к полю, вошла в хлопок, как в зеленое море, утонув в нем до самых колен.

Бекбута проводил ее тревожным, недоумевающим взглядом. Почему она не обрадовалась ему, как обычно, чем так недовольна? Уж не допустила ли его бригада какую промашку? Так ни до чего и не додумавшись, он подошел к Байчибару, подкинул ему свежей травы, похлопал по упругой шее:

— Так-то, брат, чего-то серчает на нас твоя хозяйка. А ты хоть и умный, да не можешь мне объяснить, какая муха ее укусила. Ладно, ешь свою траву.

Айкиз вернулась к бригадному стану только после полудня, и если бы Бекбута увидел ее в этот момент, то у него сразу же отлегло бы от души.

Лицо у нее, правда, было усталое, припорошенное пылью и оттого серое, над верхней губой и на лбу блестел мелкий бисер пота, но вся Айкиз словно светилась, и глаза были ясные, счастливые.

Она пожалела, что не застала на стане Бекбуту. Ей так хотелось поблагодарить бригадира за его заботу о хлопке. Пожалуй, ни на одном другом участке

не встречала Айкиз такого крепкого, раздобревшего, кустистого хлопчатника. Молодчина Бекбута!..

Она готова была поделиться своей радостью с первым встречным, но на стане, несмотря на то что уже наступило время обеда, не было ни души.

Впрочем, Айкиз ошибалась. Когда она, притопывая по твердой земле желтыми сапожками, чтобы сбить с них пыль, направилась к хаузу, из помещения стана вышел Джурабаев. Ворот его гимнастерки был широко расстегнут, он улыбался, глядя на Айкиз, а у нее невольно вырвалось:

— Вай! Товарищ Джурабаев...

— Здравствуйте, Айкиз. Чему вы так удивились?

— Здравствуйте. Как вы сюда попали, товарищ Джурабаев? Я не вижу вашего «вездехода».

Айкиз говорила это, быстрыми шагами приближаясь к Джурабаеву. Когда они пожали друг другу руки, Джурабаев объяснил:

— А я его за станом оставил, в тени. А тут, между прочим, вас поджидаю.

— Меня? — удивилась Айкиз.— Какое же дело у вас ко мне?

— Первостепенной важности. Но давайте присядем у хауза. В такую жару приятно отдохнуть у воды. Усталость как рукой снимает.

Они пристроились прямо на песке, возле хауза. Айкиз торопливо произнесла:

— Но я нисколечко не устала, товарищ Джурабаев!

— Ну, ну. С самого утра мотаетесь по полям — и не устали?

— Нет. Я устаю, когда хожу по плохим полям. А бродить по такому полю — одно удовольствие.

— Что, хорош у Бекбуты хлопок?

— Удивительный!.. Я такого нигде еще не видала. Хотите, покажу?

— Да я уже, когда ехал сюда, успел прогуляться по владениям Бекбуты. И тебя видел — издалека. Ты права: хлопок у него удался.

Джурабаев называл Айкиз то на «вы», то на «ты», и ее это радовало: значит, секретарь райкома был в добром расположении духа.

Зачем же она все-таки ему понадобилась?

Помедлив, Айкиз напомнила:

— Вы сказали, что специально меня ждали.

— Да, ты мне очень нужна. Необходимо обсудить серьезнейший вопрос.

Айкиз посмотрела на Джурабаева с некоторым недоверием. Он сидел рядом с ней на песке, обняв руками колени, и какая-то хитринка была в его глазах. Ни поза, ни выражение лица никак не свидетельствовали о важности и серьезности его намерений.

Словно угадав ее мысли, Джурабаев проговорил:

— Я понимаю, серьезные разговоры ведутся обычно в более официальной обстановке. Но для нашего вот эта,— он обвел вокруг себя рукой,— самая подходящая.

Айкиз снова глянула на него с сомнением. Уж больно не соответствовали той солидной обстоятельности, с которой Джурабаев готовил ее к «важному» разговору, светлые, смеющиеся лучики морщинок в уголках его глаз. И Айкиз весело подумала: «Вы меня пугаете, товарищ Джурабаев, а я не боюсь. Вас выдают ваши морщинки... Интересно, какой же все-таки вопрос вы собираетесь со мной обсудить?»

Но тут ее взгляд как-то машинально скользнул к расстегнутому воротнику Джурабаева, и в глазах мелькнули боль и испуг, она даже чуть подалась в сторону...

Впервые Джурабаев сидел с ней в такой непринужденной позе, так близко, и впервые Айкиз увидела на его шее тяжелый, свинцового оттенка шрам, который выползал из-под ворота и тянулся к затылку.

Чувство страха быстро растаяло, теплая волна обдала сердце Айкиз. Какой удивительный человек! Ведь она знает Джурабаева давно, но, оказывается, ничего о нем не знает. Откуда у него этот шрам?.. В каком бою он его получил?.. Спросить об этом?.. Неудобно. А сам Джурабаев, конечно, не станет рассказывать о своих ратных заслугах. Как и Алимджан... Он ведь тоже был ранен, но с ней до сих пор об этом и словом не обмолвился. Алимджан!.. Смелый, скромный, терпеливый...

И в этот момент Айкиз услышала голос Джурабаева:

— Скажите, Айкиз, вы давно знаете Алимджана?

Она даже вздрогнула от неожиданности.

— Алимджана-ака? Очень давно, с детских лет.

— Вы ему верите? Нет, пожалуй, поставим вопрос по-другому: вы в него верите?

Айкиз вдруг испугалась за Алимджана. Она не понимала, почему Джурабаев так настойчиво, пристрастно допытывается о нем. Но что бы там ни было, а ее долг — защитить любимого.

— Алимджан-ака — честнейший человек! У него душа как горный родник — такой же кристальной чистоты. Да вы сами знаете, как он воевал, как работал на Кокбулаке. А наша парторганизация? Она прямо ожила с тех пор, как его выбрали секретарем. Если вы сомневаетесь в Алимджане-ака...

— Я? — Джурабаев с деланным изумлением поднял брови.— Я в нем никогда не сомневался. И не сомневаюсь.

— Зачем же вы тогда спросили о нем?

— Понимаешь, Айкиз,— Джурабаев смотрел на нее с отеческой лаской,— я думал, это мне придется убеждать тебя в том, что Алимджан достоин и доверия, и уважения, и... любви... Мне надо было кое-что выяснить, не столько насчет Алимджана, сколько насчет тебя, твоего отношения к нему... И я выяснил. Ты с таким жаром говорила об Алимджане... Так говорят только о тех, кого любят. Ты любишь его, Айкиз?

Он спросил об этом так просто, и в голосе его звучала такая искренняя забота, что у Айкиз выступили слезы на глазах. Она не увидела ничего особенного, неестественного в том, что Джурабаев, как отец, волновался за ее судьбу. Больше того, она вдруг почувствовала, что только ему и может поверить все свои тайны.

— Ведь любишь? — повторил Джурабаев.— Айкиз, вы ведь мужественная девушка. Найдите в себе силы сказать «да» или «нет».

Потупившись, Айкиз еле слышно проговорила:

— Люблю.

— Ну вот! — Джурабаев вздохнул с облегчением и тут же напустил на себя строгость.— А почему же тогда я до сих пор не получил приглашения на свадебный той? Кто виноват — ты или Алимджан?

— Нет, не Алимджан-ака! — вскинулась Айкиз.— Он любит меня.

— Так... Ты любишь его, он любит тебя, а свадьбы все нет и нет. Что же все-таки мешает вашему счастью?

— Я сама не знаю...

— Может, Умурзак-ата противится?

— Я отцу еще ничего не говорила... Но, думаю, он не будет возражать...

— В чем же тогда дело? — Джурабаев лукаво прищурился.— Ведь с тех пор, как вода Кокбулака добежала до Алтынсая, прошло больше двух недель. Так-то ты умеешь держать слово, Айкиз? Смотри, не прозевай свое счастье. В народе говорят: время уходит — счастье уходит.

— Значит... Алимджан-ака вам все рассказал?

— Ты уж только не гневайся на него. Он ни при чем. Я сам вызвал его к себе, ну и заставил кое в чем признаться. Наверно, мне это не удалось бы, если бы я не догадывался о том, что вы любите друг друга.

— Это так заметно? — с испугом спросила Айкиз.

— Нет, просто я человек бывалый, и глаз у меня наметанный. И я все должен знать о своих коммунистах.

Айкиз, отведя взгляд, нерешительно произнесла:

— Раз уж вы все знаете... Может, посоветуете что-нибудь, товарищ Джурабаев!

— Вот те на!.. А мне показалось, что вам уже не нужна моя помощь, сами прекрасно во всем разберетесь. Ведь все ясней ясного, и остается только назначить день свадьбы.

— Ничего не ясно, и ничего у нас не получается! — в отчаянии воскликнула Айкиз.— А почему, не знаю. Наверно, я во всем виновата.

Лицо Джурабаева сделалось серьезным, он полез в карман за портсигаром, закурил, ободряюще кивнул Айкиз:

— А ну-ка, рассказывай все по порядку. Попробуем выяснить, в чем же у вас все-таки загвоздка.

После паузы Айкиз, усердно разглаживая ладонями косынку, расстеленную на коленях, медленно заговорила:

— Мы еще во время войны начали переписываться, когда Алимджан-ака на фронт уехал. Ну... и полю-

били друг друга. После того как Алимджан-ака вернулся домой, мы стали встречаться, и вскоре он сделал мне предложение... Я так растерялась... Я ведь до этого совсем не думала о замужестве...

— Ничего удивительного. И многие другие до поры до времени об этом не думают.

— Тут другое... У меня ведь в войну мама и братья умерли. Не до свадьбы было. В общем, я попросила Алимджана обождать. А потом мне начало казаться, что я его не стою. Он много видел, многое пережил... Какая я ему пара? Он требовал от меня ответа, а я все колебалась и не говорила ни «да», ни «нет». И произнести «да» я не решалась — мне хотелось на чем-то серьезном проверить и свое и его чувство,— и сказать «нет» у меня язык не поворачивался — я так боялась потерять Алимджана!.. В общем, время шло, я все тянула... А тут — Кокбулак. Я была просто поражена упорством, мужеством Алимджана-ака и полюбила его еще больше... Он ведь подвиг совершил, правда?

— И я думаю, что на этот подвиг вдохновляла его и любовь. Любовь к вам, Айкиз. Уверен — ради вас он способен и на большее. Любовь ведь придает сил человеку.

— Ох, он и сам говорил, что ради меня горы свернет... И я чувствовала себя такой счастливой. Я тоже для Алимджана на все была готова. Когда, отчаявшись найти родник, он пал духом, я его постаралась подбодрить и дала ему обещание — вы знаете какое. А потом произошла эта история с плотиной... Настроение у меня было такое отвратительное. И я опять решила, что я не пара Алимджану, что он не любит меня, потерял ко мне уважение...

— Он что, упрекал тебя в чем-нибудь?

— В том-то и дело, что нет!.. Он избегал говорить со мной на эту тему. Словно ему все равно: ошиблась я, не ошиблась. Вон Иван Никитич, тот нашел нужные слова... А Алимджан-ака...

— Стыдно, Айкиз. Стыдно! — строго сказал Джурабаев.— Он щадил твое самолюбие, боялся бередить твои раны. За это ты должна ему быть только благодарна. Теперь я уверен, что он по-настоящему тебя любит. Ладно, рассказывай дальше.

— Дальше?.. А я все вам рассказала.

— То есть как все? — изумился Джурабаев.— Ты

ведь так и не ответила на мой вопрос: что же все-таки мешает вашему счастью?

Айкиз молчала, ей просто нечего было сказать Джурабаеву. Тот поднялся, весело щурясь. Айкиз тоже встала.

— Ну, тогда послушай, что я тебе скажу,— твердо и решительно произнес Джурабаев.— Все-то ты навыдумывала. И, прости меня за откровенность, твои переживания не стоят выеденного яйца. Я понимаю, бывает в жизни и так, что люди словно бы боятся собственного счастья. Оно само дается им в руки, а они его отталкивают и убеждают себя в существовании преград, которых на самом-то деле нет и в помине. Не страдаешь ли и ты подобной мнительностью?

— Может быть...

— Не прячься от счастья, Айкиз!.. И уж, во всяком случае, не годится нарушать свое слово. Вода Кокбулака давно в Алтынсайской долине. И ты просто обязана выполнить обещание, которое дала Алимджану. Как, выполнишь?

— Выполню...

Голос у Айкиз был тихий, но Джурабаев уловил в нем нотки и радости и облегчения.

Глаза у него подобрели, он шутливо пригрозил Айкиз:

— Ну, смотри, не подводи свата!.. Правда, в этой роли мне еще не доводилось выступать, но попробую. На что не пойдешь ради своих неразумных детей!.. Сегодня же я загляну к вам, поговорю с твоим отцом. Не возражаешь?

— Отец будет рад вам...

Айкиз проглотила комок, подступивший к горлу. Лишь после того, как Джурабаев, попрощавшись с ней, зашагал к газику, ей удалось справиться с волнением.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Легкий дымок вился над холмом, где еще стоял «штабной» шатер. Дымок то взлетал маленькими облачками, то таял, то мелькал в воздухе синими спиральками.

Издалека могло показаться, что это курится небольшой вулкан.

На самом же деле дым вырывался из-под котла, пристроенного над очагом, в котором жарко пылал хворост.

Дымилось и раскаленное масло в котле.

А у котла, засучив рукава гимнастерки, стоял с длинной шумовкой в руке раскрасневшийся от огня Бекбута. Подождав, пока масло закипит еще пуще, он кинул в него косточку, которая мгновенно превратилась в темно-коричневый сухой огрызок. Спустя минуту, ловко поддев косточку шумовкой, Бекбута отшвырнул ее в сторону и кинул в котел соли. Тотчас послышалось громкое шипенье, потрескиванье, масло начало стрелять горячими брызгами.

Лицо Бекбуты расплылось в довольную улыбку. Настала пора закладывать в котел лук, уже нарезанный Суванкулом, который сидел на траве, в тени шатра, поджав под себя ноги, и тонко-тонко настругивал сочную морковь.

Перед Суванкулом на разостланном бельбоге, который он снял с себя, красовалось большое глазурованное блюдо гончарного производства, ляган, в котором подают это удивительное, никогда не надоедающее яство — узбекский плов. Пока ляган был занят уже приготовленными бараниной и морковью. Тут же, под руками у Суванкула находились эмалированная миска с рисом, два пучка зеленого лука и кулек с сушеным барбарисом, зирой и другими специями, придающими плову неповторимый вкус.

Плов не просто варят — над ним священнодействуют. Приготовление плова требует не только определенного навыка, но и таланта. Считается, что каждый узбек умеет или, во всяком случае, должен уметь готовить плов. Однако далеко не все берутся за это дело. Тут важна каждая мелочь: и рис, и мясо, и специи надо заложить в котел вовремя, в соответствующей дозировке и жарить, парить, кипятить, тоже не нарушая определенных сроков. Поторопишься с чем-нибудь или запоздаешь — и пиши пропало. Плов получится неудачный, есть его будут без удовольствия, и на голову виновника падет позор.

Бекбута и Суванкул были мастерами приготовления плова.

Оба работали сноровисто, но без спешки и понача-

лу хранили молчание, лишь обмениваясь порой многозначительными, понимающими взглядами.

Впрочем созидание плова — это даже не работа, а, скорее, отдых. Сам процесс, так сказать, «плововарения», начиная с подготовительной стадии, доставляет человеку удовольствие,— нет, больше того, наслаждение!.. Приятное, успокоительное это занятие: выбирать продукты для плова, стараться покрасивей нарезáть лук, мясо, морковь, колдовать над специями, созерцать оценивающим взглядом, хорош ли рис, хватит ли масла, и глубокомысленно решать, а не надо ли добавить к плову две-три головки чеснока.

Бекбута и Суванкул, хлопоча возле котла, тоже отдыхали душой, а от горделивого сознания, что все у них идет как надо и еще оттого, что плов они готовили не в чайхане, как это обычно бывает, а на открытом воздухе, в окружении природы, на вершине холма, с которого открывался широкий обзор,— оба испытывали особое наслаждение.

Отсюда видны были горы с ореховыми, фисташковыми и арчевыми рощами, отары колхозных овец, пасущиеся в предгорье, новые хлопковые поля, Алтынсай весь в зелени садов, а вдали — скалы, стиснувшие котлован со строящейся плотиной.

Больше всего сегодня радовали глаз поля. Колхозники вышли на работу принаряженными, и издалека чудилось, будто по зеленому морю медленно плывут маленькие разноцветные паруса.

«Кызыл юлдуз» ждал в это утро почетных гостей — представителей других предгорных колхозов, которым предстояло сеять хлопок в следующем году. Гости хотели увидеть, насколько добротный урожай хлопчатника дает целинная земля. Интересовали их и участки, поврежденные градом: как-то удалось хлопкоробам из «Кызыл юлдуз» справиться с последствиями стихийного бедствия. Первые целинники словно бы отчитывались перед теми, кто готовился идти по их стопам. Они намеревались придать встрече с гостями не только деловой, но и торжественный характер и принять их со свойственным узбекам щедрым радушием.

Потому-то Суванкул и Бекбута и были отряжены готовить плов — как мастера этого дела.

Не выдержав затянувшегося молчания, Суванкул, кивнув в сторону хлопковых участков, сказал:

— Оделись-то все, будто на праздник.

— А как же иначе,— отозвался Бекбута.— Гость в доме — праздник в доме.

— Они, выходит, к нам вроде как на выставку едут?

— А разве нам нечем похвалиться? Веками тут ни кустика хлопка не росло, а нынче, гляди, целых два участка под хлопком! В будущем году все предгорье засеем хлопчатником! Ну, не молодцы мы, а?

Спохватившись, Бекбута зачерпнул в котле шумовкой, капнул из нее себе на ладонь, слизнул каплю и довольно почмокал губами:

— Вай, вай! Ну, братец Суванкул, плов будет божественный! Такого мне еще самому не доводилось едать!

— Мой тебе совет, Бекбута,— медленно проговорил Суванкул,— не хвастайся прежде времени. Водится за тобой такая привычка: прихвастнуть при случае. А хвастовство и удача, говорят, шагают порознь.

— Ай, какой остроумный! — беззлобно сказал Бекбута.— Ты бы лучше искрошил свои аскии вместе с морковью, я бы их кинул в котел.

— А что, неплохая была бы приправа!

— Только такая же горькая, как вот этот твой лук,— Бекбута кивком показал на пучок зеленого лука, который Суванкул держал в руках.— Ну, что ты им так любуешься? Достал бы чего послаще — свежего помидора там или огурчика.

— Ишь, чего захотел — в начале лета-то! — хохотнул Суванкул.— Где ты их сейчас достанешь? А лук, который, между прочим, тоже все любят,— вот он! Говорят, горькая правда лучше сладкой лжи.

— Вай, и эту аскию — в котел, в котел!..

— И на том спасибо. Твои-то аскии годятся лишь на то, чтобы под котел их зашвырнуть. Ох, и здорово бы они горели вместе с дровами — ведь такие же сухие и сучковатые.

— Нет, братец Суванкул, занозистые! — Бекбута посмотрел на огонь, облизывающий черное днище котла.— Впрочем, под котел так под котел. Плов быстрее сварится,— правда, твои аскии его малость подпортят.

Суванкул покачал головой:

— И мастер же ты молоть языком. Свои-то аскии, видать, ни в грош не ставишь. А острое слово надо ценить...

— То-то ж из тебя так трудно слова вытягивать — легче стронуть с места груженый караван.

— Зато из тебя слова сыплются, как просо из дырявого мешка. Ты еще поболтай — про огурцы и помидоры...

Но Бекбута, привыкший выходить победителем из любой шутливой перепалки, на этот раз ничего не ответил Суванкулу. Он только глянул на друга как-то значительно; молча высыпал в котел рис, подбросил в огонь два корня гребенщика и направился к своему халату, лежавшему на траве. Еще раз, уже с лукавым торжеством, посмотрев на Суванкула, он нагнулся над халатом, достал из-под него аккуратно свернутый узелок, потом шагнул к другу и, присев перед ним на корточки, принялся этот узелок неторопливо развязывать. Суванкул настороженно следил за его медлительными движениями.

— Значит, я болтун, пустозвон? — ехидно спросил Бекбута.— А ну, гляди!

Суванкул так и ахнул: перед ним на белом бельбоге лежали крупные, алые помидоры и свежие огурцы.

— Что же ты молчишь? Или язык проглотил? — не унимался Бекбута.

Взвешивая на ладони помидор, Суванкул неохотно пробурчал:

— Ладно, беру назад свои обвинения. Черт, где ты только раздобыл этакую роскошь? — Ему все-таки не хотелось сдаваться.— Ну, уж теперь-то я знаю, кем ты был на фронте.

— Кем же, по-твоему?

— Ясно, кем: интендантом!

Бекбута не обиделся, а принялся спокойно, снисходительно объяснять:

— Если бы ты заглянул в мой военный билет, то убедился бы, что я всю войну провел на передовой и дружил с автоматом и ручным пулеметом. Но мог бы, конечно, справиться и с интендантскими обязанностями, поскольку — разносторонне талантлив... в отличие от некоторых.— Не давая Суванкулу возразить, он поспешно добавил: — А теперь сооруди-ка салат из моих помидоров и огурцов да накроши туда твоего лука.

Он прошел к котлу, а Суванкул извлек из кожаных ножен, висевших у него на поясе, роскошный, предназначенный для особых случаев нож с белой костяной ручкой и вычурной инкрустацией, осторожно потрогал лезвие большим пальцем и принялся нарезать овощи для салата.

Неожиданно Бекбута запел:

Очень много есть красивых девушек у нас,
Звезды меркнут перед блеском их чудесных глаз,
И от зависти бледнеет, видя их, луна.
Лучшая из самых лучших к нам идет сейчас.

Суванкул оглянулся. На холм поднимались Айкиз и Алимджан. Делая вид, что не замечает их, Бекбута еще громче продолжал:

Ей к лицу платок из шелка, голубой платок.
И работает отлично, знает в деле толк.
Не найдешь такой прелестной девушки нигде,
Хоть пройди весь юг и север, запад и восток!

Лишь услышав традиционное «Ассалом алейкум!», Бекбута, выгребавший жар из-под котла, встрепенулся, выпрямился и, обернувшись к пришедшим, прижав обе ладони к сердцу, обрадованно воскликнул:

— Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогие гости! Милости просим!

Он метнулся в шатер, принес оттуда ковер, расстелил его в холодке, пригласил:

— Идите сюда, сейчас я дастархан накрою. Вы подоспели в самую пору!

Но гости не отходили от Суванкула. Не отрывая глаз от касы с помидорами и огурцами, Айкиз спросила с недоумением и восторгом:

— Откуда у вас такие сокровища? Вроде не время еще им.

Бекбута опередил Суванкула:

— Это все с колхозного огорода. Вы отведайте, не стесняйтесь. А я сейчас плов подам.

Айкиз взяла из касы дольку помидора, но, прежде чем положить ее в рот, шепнула Алимджану на ухо:

— Говорят, когда пробуешь что-нибудь впервые в году, надо загадать желание.

— А вы загадали?

Айкиз уже жевала свою дольку:

— Угу.

Пользуясь тем, что Бекбута и Суванкул, оставив их одних, раскладывали на ковре дастархан, Айкиз выбрала в касе дольку покрупнее, поднесла ее к губам Алимджана, сказала прежним заговорщическим шепотом:

— Вы тоже загадайте.

— Загадал.

— Тогда ешьте скорее.

Проглотив сочный ломтик, Алимджан вздохнул:

— Ох, если бы мы загадали одно и то же!..

— Все может быть,— лукаво отозвалась Айкиз.

К ним подошел Бекбута.

— Прошу к дастархану!

— Погодите, бригадир,— сказала Айкиз.— Откройте нам все-таки вашу тайну: откуда у вас свежие овощи?

Алимджан улыбнулся:

— А я, кажется, догадываюсь откуда.

Айкиз вопросительно посмотрела на него:

— Ну?..

— С огорода Халим-бобо. Старик ведь настоящий кудесник, у него овощи созревают раньше срока.

— Точно,— подтвердил Бекбута.— Это Халим-бобо одарил меня помидорами и огурцами, велел подать их к плову. Сами видите, он отменил пословицу: каждому овощу свое время.

— Да, чудесный старик! — воскликнула Айкиз.— Погодите, он еще вырастит у нас и апельсины и лимоны. Это наш Мичурин.

Согласно кивнув, Бекбута решительно заявил:

— Точно, вырастит! Он ведь ученик Мичурина. Говорят, даже встречался с ним.

— Да, я помню. Он ездил к Мичурину в гости вместе с другими садоводами республики. Правда, в то время я была совсем маленькая. Но помню, весь кишлак говорил об этой поездке. А отец рассказывал, что Халим-бобо наведался к Мичурину по совету самого Ризамата Мусамухамедова.

— Ваш отец тоже молодчина! — вставил Бекбута.— Кто первый предложил высадить полезащитную лесную полосу? Какие там теперь карагачи вымахали!.. И джида.

Алимджан серьезно проговорил:

— Хвала и честь нашим старикам! Они не отстают от молодежи.

— Э, многим молодым за ними еще тянуться надо! — засмеялся Бекбута и протянул руку в сторону ковра с дастарханом.— Ладно, разговоры разговорами, а дастархан ждет гостей.

Айкиз первой опустилась на ковер, рядом сел Алимджан. Когда Бекбута и Суванкул отправились к котлу, чтобы наполнить ляган пловом, Айкиз на мгновение прижалась к Алимджану, обдав его щеку горячим дыханием, шепнула:

— Алимджан-ака, а знаете, что сказал мне Джурабаев? Он хочет быть вашим сватом...

Алимджан просиял от радости, но не успел ничего ответить Айкиз, у ковра уже появились творцы плова с тяжелым дымящимся ляганом.

Когда они осторожно, торжественно водворили его на дастархане, Бекбута сказал с шутливой властностью:

— А теперь — все внимание плову. Отставить разговоры! Выполняйте приказ.

Все молча принялись за еду. Плов убывал на глазах.

Первым нарушил молчание сам же Бекбута — он просто страдал, когда его язык долго оставался без работы.

— Послушайте, что мне в голову пришло. На фронте соединениям и частям, отличившимся в боях, присваивали звание гвардейских. А почему бы, Алимджан, моей бригаде, трудившейся на Кокбулаке, тоже не присвоить это звание? Вторая гвардейская Кокбулакская хлопководческая бригада! Звучит, а?

— Звучит,— улыбаясь, согласился Алимджан.— Но почему вторая?

— А первая — Суванкула.

— Я бы вас обоих отметил также и как авторов плова. Плов отличный!..

Приложив в знак признательности правую ладонь к сердцу, Бекбута собрался было что-то ответить, но не успел — все повернулись на звук автомобильных гудков, доносившихся от целинного полевого стана.

Айкиз быстро поднялась с места.

— Это, наверно, гости приехали. Надо идти.

Алимджан тоже уже стоял на ногах, расправляя под ремнем гимнастерку.

— Да, друзья, двинулись.

На Бекбуту жалко было смотреть, настолько он был ошеломлен и растерян.

— Погодите! А как же плов? У лягана-то дна пока не видно. Не годится это, плов на лягане оставлять.

— Ты не расстраивайся, бригадир,— постарался утешить его Алимджан.— Никуда твой плов не денется. Вернемся с гостями и за милую душу опустошим весь котел.

Но Бекбута и слушать ничего не хотел.

— Нет, так нельзя! Доешьте то, что подано. Это же минутное дело! А плов-то какой, нет, вы поглядите, какой плов! Я готовил его из риса, посеянного в пору цветения джиды. Это особенный рис. Глядите, каждая рисинка не меньше хлопкового семечка.

Он схватил с лягана горсть риса, догнал спускавшихся с холма Айкиз, Алимджана, забежав перед ними, подбросил рис на ладони:

— Видали, какой рассыпчатый? А масло так и переливается. От такого плова грешно уходить.

Суванкул бросил на него строгий взгляд:

— Ты свое кривлянье-то оставь. Хочешь, сам его ешь. А нам надо гостей встречать.

Оторопев больше всего оттого, что Суванкул взялся его поучать, Бекбута застыл на месте, потом досадливым жестом стряхнул с ладони рис и молча, сохраняя обиженное выражение лица, зашагал обратно к шатру.

Гости в сопровождении Айкиз, Кадырова и Алимджана долго ходили по хлопковым полям. Они придирчиво разглядывали кусты и коробочки и не раз откровенно, завистливо восхищались:

— Хороший хлопок! Даже не верится, что вы его первый год растите.

— Вай, вай, он и граду не поддался!

— Ну, в будущем году мы с вами посоревнуемся. Еще неизвестно, кто будет собирать больше хлопка!

Они осмотрели и владения Халим-бобо: молодые целинные сады и огороды с первыми свежими овощами. Старик заставил гостей отведать и огурцов и по-

мидоров, все ели с аппетитом, похваливали волшебника садовода, перешучивались. Лишь Кадыров хмурился и сильнее обычного сутулил спину. Ему бы радоваться вместе со всеми, а он был словно чем-то недоволен, какой-то червяк точил его сердце... Айкиз стало даже жалко председателя.

А потом хозяева и гости прошли на холм, Бекбута угостил их отменным пловом, и Алимджан опять сидел рядом с Айкиз, и она ловила на себе его любящий, ждущий, какой-то изучающий взгляд, словно он видел ее впервые...

Вот только наедине друг с другом им побыть так и не удалось, и об этом Айкиз жалела больше всего.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Лето в Алтынсае выдалось на редкость жаркое.

Даже старики, которые, как известно, любят тепло, и те томились от нестерпимого зноя, и стоило им собраться вместе, как они тут же заводили речь о погоде: мол, такого палящего солнца на их памяти еще не бывало, от неба пышет жаром, как от перегретого тандыра, а тут еще то и дело являются незваные гости из Кызылкумов — гармсили. Правда, под конец беседы все сходились на том, что ради хлопка можно малость и пострадать: ведь жара хлопку на пользу.

Да, людей это лето измучило. В обычные годы, даже если днем солнце жгло вовсю, то хоть утром можно было отдохнуть от зноя: с гор веяло отрадным ветерком, и воздух какое-то время был свежий, прохладный. Теперь же он накалялся с самого утра, и ветер дул не с гор, а из пустыни — тоже жгучий, иссушающий.

— Страшно подумать,— говорили колхозники, — что бы мы делали теперь без воды? Вода — наша спасительница.

А еще они поминали добрым словом полезащитную лесную полосу, высаженную на краю Кызылкумов по инициативе Умурзака-ата.

Ведь когда-то гармсили дотла сжигали посевы, обрекая дехкан на голод и нужду.

Нынче же полезащитная полоса принимала на себя самые грозные удары огненного ветра, рожденного Кызылкумами.

Все же, хотя воды теперь стало больше и могучий строй деревьев преграждал путь суховеям, колхозников не покидала тревога. Солнце палило без устали, гармсили налетали один за другим, земля была как горячая сковородка, и посевы изнывали от жажды. Надо было и щедро и вовремя поить сладкой горной водой и поля, и сады, и люцерновые угодья.

Халим-бобо в эти дни потерял и сон и покой. Молодые хрупкие саженцы нуждались в поливе, а колхозный мираб[1] не давал ему воды. Старый садовод злился, он пытался и увещевать мираба, и грозил ему: мол, тот губит труд многих людей, и обвинял его в преступном равнодушии, но у мираба был железный характер, на него ничего не действовало, он только односложно повторял:

— Для меня главное — хлопок. Пока не полью его, воды никто не получит.

Халим-бобо, вздохнув, принимался обходить свои сады, старые и целинные. Он внимательно оглядывал молоденькие яблоньки, черешни, абрикосовые деревья и, немного успокоившись, вслух разговаривал с ними:

— А вы у меня молодцы. Вон какие крепкие. Видно, до этого я вдоволь обеспечил вас водицей. Потерпите пока, родные. Скоро снова дойдет до вас очередь...

В один из таких обходов, когда старик сидел на корточках возле саженца, который почему-то начал хиреть, он услышал голос своей любимицы и верной ученицы Лолы:

— Бобо!..

Лицо у Лолы было веселое, раскрасневшееся.

— Я к вам со всех ног бежала! Мираб сказал, что сегодня ночью мы получим воду.

Старик с несвойственным его возрасту проворством вскочил на ноги, посмотрел на девушку просветлевшим взглядом:

— Ну, обрадовала! За такую весть с меня суюнчи...

— Ой, я сама на седьмом небе от радости! И то, что вы довольны, для меня лучший подарок.

Лола тут же умчалась, а Халим-бобо немного постоял, глядя на солнце, потом сказал самому себе:

---

[1] Мираб — человек, следящий за распределением воды.

— А пора уж и перекусить.

Он направился к арыку, где под большим серебристым тополем ютилась его чайла — навес из циновок, укрепленный на четырех высоких кольях. Одна циновка была постелена на земле вместо кошмы. Стенок Халим-бобо делать не стал: ему приятно было, что шалашик насквозь продувался ветерком, и, сидя на циновке, он мог видеть, кто и куда едет или идет по дороге, что делается в садах.

Войти в чайла можно было с любой стороны, но старик предпочитал одну, «парадную», ближнюю к арыку. Не спеша опустившись на циновку, он начал развязывать узелок с едой. Доставая свои припасы, бормотал про себя:

— А что ж, ночной полив в такую жару — самое милое дело. Мираб знал, когда выделить мне воду; хоть я с ним и бранюсь, а есть, есть у него голова на плечах!..

Накрошив в эмалированную миску зеленый лук, огурцы, помидоры, он обильно их посолил, посыпал красным, жгучим, как огонь, перцем, потом разломил свежую лепешку и только собрался было приняться за трапезу, как услышал топот копыт. Подняв глаза, старик увидел секретаря комсомольской организации колхоза Керима, выезжавшего на коне из старого сада, который прилегал к целинному. У самой чайла Керим остановил коня и, спрыгнув на землю, привязал его к тополю. Шагнув под навес не с «парадного», а с «черного» хода, что заставило Халим-бобо чуть нахмуриться, Керим почтительно пожал руку старому садоводу:

— Здравствуйте, Халим-бобо. Понимаете, я Лолу ищу. Она член нашего бюро, надо посоветоваться с ней по одному делу.

— Лола была здесь недавно, скоро опять появится. Она у нас порхает без устали, словно мотылек. Да ты садись, сынок. Поедим. Ты ведь к самому обеду поспел,— видать, теща тебя любит.

Керим широко улыбнулся:

— О женитьбе я еще и не думал, откуда ж у меня теща?

— А, сынок, теща — дело наживное, нет, так будет.

Халим-бобо, поднявшись, сходил к арыку, журчавшему за тополем, и вернулся с большим глиняным кув-

шином. Взболтав его, старик поставил кувшин на землю, вынул из горлышка пробку, обмотанную влажной белой тряпицей, наклонил кувшин над касой, наливая в нее что-то густое... В воздухе запахло кислым молоком, разваренной джугарой. Наполнив и вторую касу, Халим-бобо сказал:

— Жара-то стоит видал какая? В знойный денек самая подходящая еда — джугара-гужа. На вот касу, освежись, подкрепи силы.

Керима не надо было уговаривать, он и сам знал, что в летний зной в поле нет ничего вкусней и полезней джугары-гужи — остуженного супа, приготовленного из дробленой джугары и приправленного кислым молоком. У человека, бывает, в полдень совсем пропадает аппетит, лишь жажда его мучает, а джугара-гужа способна и жажду утолить и насытить. После нее чувствуешь себя бодрым, полным новых сил.

Чуть не залпом опустошив касу с целебной джугарой-гужой, Керим крякнул от удовольствия, сказал, вытирая губы:

— Благодать!.. Будто заново на свет родился.

У Халим-бобо лицо расплылось в горделивой улыбке:

— Я вот уже пятьдесят лет в жару пью джугару-гужу. Потому, верно, и не выгляжу стариком, а?.. Ну, а теперь скажи: зачем тебе все-таки понадобилась моя любимица?

— Лола? Понимаете, Халим-бобо, при МТС открываются курсы трактористов. От нашего колхоза надо направить туда трех комсомольцев. Мы уже обсудили с другими членами бюро подходящие кандидатуры, теперь я хочу и с Лолой посоветоваться.

Керим вдруг вскинул голову, прислушался... Откуда-то издалека донесся отчаянный девичий голос:

— Халим-бобо!.. Халим-бобо!..

Старик и Керим одновременно поднялись, выбежали из-под навеса. Оба с минуту вглядывались из-под ладоней в знойное марево, окутавшее все вокруг, но в поле в это полуденное время не было видно ни души.

— Может, показалось? — с сомнением произнес Керим.

Халим-бобо возразил:

— Нет, это Лола кричала. Я ее голос сразу узнал.

Словно в подтверждение его слов, крик, совсем слабый, повторился:

— Эй, люди!.. Халим-бобо!.. Сюда!.. Скорее сюда!..

И тут же они заметили на дальнем холмике, за которым пролегал Янгаксайский арык, маленькую женскую фигурку.

Они бросились бежать туда прямо через поле, вдоль рядков совсем уже созревшего хлопчатника; на полпути Керим, спохватившись, подумал, что надо было сесть на коня, но возвращаться было поздно, он через плечо глянул на Халим-бобо, предупредил:

— Я побыстрей припущусь. А уж вы, как можете, ладно?

Старик махнул рукой: беги, не задерживайся. Но сам ни на шаг не отставал от Керима.

Лолы на холме уже не было, ее жарко-оранжевое платье язычком пламени металось вдоль дамбы, которая в этом месте отгораживала арык от хлопкового поля.

Увидев приближавшихся к ней Халим-бобо и Керима, Лола кинулась им навстречу:

— Скорее сюда!.. В дамбе промоина!

Но им и самим уже было ясно, какая стряслась беда. Вода, туго наполнившая арык, прорыла себе лазейку в дамбе, которая на этом участке плохо, видно, была утрамбована, и мутным фонтаном хлестала из промоины, все более расширяя ее и затопляя ближайшие рядки хлопчатника. Хлопковые кусты, залитые водой, смятые, поваленные навзничь, словно молили о помощи, трепеща еще не затонувшими листочками.

Лола, плача и вытирая глаза мокрыми руками, торопливо объясняла:

— Я уж и камней, и земли, и травы тут навалила, а вода все расшвыряла. Что же теперь будет, Халим-бобо, Керим?..

— Без паники, дочка, без паники,— думая о чем-то, бормотал Халим-бобо.— И сырость не надо разводить, ее тут и так хватает. Мы вот что сделаем... Наберите побольше дерна и бурьяна и тащите сюда.

Керим помчался к чайла за кетменем, а Лола побежала вдоль арыка. На бегу она разулась, босые пятки звучно шлепали по воде.

Халим-бобо меж тем опустился перед промоиной

на колени, так что они оказались в воде, и не засучивая, а лишь поддернув рукава рубашки, которые тут же сползли обратно, сунул руку в промоину, стараясь определить, насколько она велика.

Вскоре Керим положил возле старика тяжелый пласт дерна.

— Вот... принес...

— Ну-ка, давай его сюда... Посмотрим, сладит ли с ним водица...

Взяв дерн, старик попытался заткнуть им промоину, но струя воды оттолкнула назад и дерн и самого Халим-бобо. Он покачнулся, испуганно воскликнул:

— Вай, вай!.. Ну и сила!

Поднявшись на ноги, он оглянулся. Вода заливала все новые и новые рядки хлопчатника. Старик хрипло закричал:

— Лола! Керим! Зовите людей на помощь! Одним нам не управиться!

Но те его не слышали. Лола была далеко, вязала в пучки бурьян. Керим, правда, находился поближе, он кетменем нарезал новые куски дерна, но слова Халим-бобо заглушал шум воды.

Старик в полной растерянности, ощущая собственное бессилие, наблюдал за тем, как крутилась, шипела вода в черной воронке, у основания дамбы. Если бы было здесь человек десять, то они быстро ликвидировали бы опасность.

Но он тут один, нет пока рядом даже Керима и Лолы.

Что же делать?

Халим-бобо упрямо нахмурился: ну, нет, он не даст в обиду хлопок — первый хлопок в колхозе! Он найдет управу на этот поток воды, которая из блага сделалась злом!..

Надо закрыть промоину с той стороны дамбы. Правда, там глубоко, арык несет быстрые волны почти на уровне дамбы. Но неужто же он, Халим-бобо, так немощен, что не сладит с проклятым потоком?

Кряхтя, старик взобрался на дамбу и, держась руками за ее гребень, стал осторожно спускаться вниз, в воду. Сопротивляясь течению, он нащупал ногами скользкое дно, встал спиной к дамбе — в том месте, где, по его предположению, вода должна была входить в промоину.

Напор волн прижал его к дамбе.

Старик напряг слух... Вроде бы с наружной стороны дамбы больше уже не доносился плеск фонтана, еще недавно вырывавшегося из промоины.

Хватаясь за земляную насыпь, погруженный в воду почти по плечи, Халим-бобо шептал с удовлетворением и каким-то злорадным торжеством:

— Что, милая водица, не одолеть тебе старика? Ну, ну, не кипятись, ты меня не сшибешь, я старик еще крепкий, да, крепкий!

К нему подоспели Керим и Лола. Девушка, увидев старого садовода в арыке, ахнула и чуть не заплакала от жалости к нему, а Керим сам собрался лезть в арык, чтобы заменить Халим-бобо, но тот был непреклонен.

— Куда?.. Мне и на минуту нельзя отойти. Вода только и ждет, чтоб снова хлынуть в промоину, а я ее не пускаю. Слава богу, не стар еще, продержусь. Да и не все одним молодым бросаться грудью на вражьи доты. Как там с вашей-то стороны, вода сочится?

— Еле-еле.

— Вот! — гордо воскликнул старик. И принялся командовать: — А ну, взбирайтесь на дамбу. Видите, земля просела над промоиной? Кладите туда дерн, бурьян и поплотней утрамбовывайте. Не жалейте силенок-то! И землицы подкиньте. Трамбуйте, трамбуйте!.. Земля, глядишь, забьет промоину, и ни одна капля не проникнет на поле. Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, дети мои! Я все-таки не каменный...

Халим-бобо начал уже и уставать и мерзнуть.

Лишь через полчаса, наглухо затрамбовав промоину, убедившись, что хлопку больше не грозит опасность, все вернулись в чайла Халим-бобо.

Лола проворно разожгла очаг, сложенный из двух кирпичей, вскипятила воду в черном чугунном кумгане. Керим от чая отказался. Поговорив с Лолой, ускакал на коне в кишлак.

Халим-бобо, накинув на плечи теплый халат, сидел на циновке против обыкновения невеселый, понурый, молчаливый. Лола угощала его чаем, но старик отхлебывал из пиалы медленно, словно с неохотой.

— Пейте, пейте, Халим-бобо,— уговаривала Лола, с тревогой вглядываясь в осунувшееся, бледное

лицо садовода.— Вам надо согреться, вы ведь, наверно, сильно промерзли, да? Вот отогреетесь и пойдете домой. Там в постель ляжете. Вам необходим отдых. А то недолго и заболеть.

— Ты, дочка, не беспокойся, я крепкий, меня никакая хвороба не возьмет.

Старик бодрился, но голос у него был слабый, потухший.

Незаметно он задремал, уронив голову на грудь. Лола смотрела на него с состраданием, не зная, что ей делать: то ли разбудить старика и уложить поудобнее, чтобы он смог как следует выспаться, то ли уж не трогать его, дать немного отдохнуть?..

Издалека, от Янгаксайского арыка, послышался ровный, спокойный рокот трактора. Сердце ее дрогнуло радостно и встревоженно. Там ведь работает Погодин!.. И это его трактор гудит всегда так солидно, уверенно.

Некоторое время Лола на цыпочках кружила вокруг спящего Халим-бобо, не решаясь ни обеспокоить его, ни оставить в шалаше одного. А ей обязательно надо было повидаться с Иваном Борисовичем. Ради Халим-бобо. Ведь ясно же, что старик захворал. Долго ли простудиться, простояв около часа без движения в холодной воде?.. И она, Лола, должна позвать сюда Ивана-ака, чтобы тот отвел упрямца домой, раз уж он не слушается свою ученицу.

Уже не колеблясь, Лола выскочила из чайла и со всех ног понеслась меж зеленых рядков на гул трактора. Но на полпути резко остановилась, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Лицо ее залила краска стыда. Вай, в каком виде она предстанет перед Погодиным: ноги босые, платье мокрое, грязное. Надо переодеться. Ведь у нее в ветвях тополя, стоящего возле шалаша, припрятан заветный узелок с желтыми, как у Айкиз, новенькими сапожками, шелковой жакеткой-безрукавкой и небольшим зеркальцем. Каждый раз, когда Лола шла работать в сад, она не забывала брать с собой этот сверток — так, на всякий случай.

Вернувшись к шалашу, Лола сперва умылась в арыке, потом, подойдя к тополю и привстав на цыпочки, достала свой узелок и, укрывшись за толстым стволом дерева, принялась приводить себя в порядок: обулась в сапожки, надела поверх платья нарядную жа-

кетку, аккуратней уложила косы, поправила на голове красивую вышитую тюбетейку, чуть подсурьмила брови.

Поглядевшись в зеркальце, Лола решила, что в таком виде она вполне может показаться Погодину, и вновь устремилась по направлению к Янгаксайскому арыку.

Трактор, скрытый от глаз Лолы дамбой, все рокотал, монотонно, упрямо, но внезапно рокот прервался.

Лола замедлила шаги. Над полем повисла тишина — плотная, звенящая. Лишь впереди, за дамбой, плескалась, шелестела струившаяся по арыку вода.

Замерев на месте, Лола прислушалась: не загудит ли снова трактор? Нет, ни звука... Видно, он встал из-за какой-то поломки. И выходит, она зря мчалась сюда сломя голову: на тракторе работал кто-то другой, а не Погодин. У Ивана Борисовича тракторы не ломаются и не простаивают. Он мастер, каких мало!..

Настроение у Лолы упало, она хотела было повернуть обратно, но потом решила, что раз уж она здесь, а отсюда недалеко до промоины, то просто грешно не проверить, надежно ли она заделана, не просочилась ли снова вода.

Она медленно двинулась вдоль дамбы, вялая, поскучневшая, и вдруг вздрогнула, услышав за спиной громкий знакомый голос:

— Лола!..

Вспыхнув от смущения и радости, она обернулась и увидела нагонявшего ее Погодина. Через минуту он шел уже рядом с ней и неуклюже извинялся:

— Я напугал вас?.. Вы уж простите меня, медведя. Хотел тихо окликнуть, а заорал, как оглашенный. Вы не сердитесь?..

Лола улыбнулась про себя: как она могла сердиться, если Иван Борисович был возле нее!.. Слушая Погодина, она все смотрела на его лицо. То ли от жары, то ли от напряжения, с каким Погодин выдавливал из себя слова, стесняясь своей неуклюжести, оно все было в крупных каплях пота. И Лола не вытерпела: достав из рукава белоснежный, легкий, как пушинка, платочек, протянула его Погодину:

— Вот, возьмите. Вам ведь жарко...

От этих слов пот еще сильней выступил на лбу и висках Ивана Борисовича. Совсем смешавшись, он

принялся торопливо шарить по карманам брюк, потерянно бормоча:

— Что вы, Лолахон... Ваш платок не про меня. Да у меня свой есть. Черт, где же он?.. Вот незадача, должно быть, я его в кожанке оставил.

Он боялся поднять глаза на девушку, а она все тянула к нему руку с платком:

— Возьмите, Иван Борисыч. Ну, что вы стесняетесь? Право, он у меня не последний...

Видя, что с каждой минутой Погодин чувствует себя все более неловко, Лола, еле сдерживая улыбку, приказала:

— Погодите, Иван Борисыч. Да стойте же!.. Вот так... И не шевелитесь!

И она сама осторожно вытерла ему лицо. Он в это время боялся не то что пошевелиться, а даже вздохнуть.

Когда они зашагали дальше, Лола спросила:

— А как вы здесь оказались, Иван Борисыч? Вы ведь работали по ту сторону арыка, да?

— Да, мы проводим культивацию на участке Бекбуты. Мимо Керим проходил, от него я и узнал, что у вас тут стряслось. Ну, остановил трактор, прошел по мостику сюда; дай, думаю, погляжу на эту злополучную промоину. Потом хотел Халим-бобо проведать. Мы теперь промоину вместе осмотрим, вы ведь, судя по всему, тоже туда путь держали?.. Эту часть дамбы придется, видно, укреплять...

— Я шла к вам, Иван Борисыч! — тихо сказала Лола.— Боюсь я за Халим-бобо. Как бы он не заболел... Выглядит совсем плохо. Сидя уснул. Такого с ним никогда еще не бывало.

Погодин нахмурился:

— Так что же мы теряем время? Промоину можно и после обследовать. Пошли к Халим-бобо!

Круто повернувшись, он размашистым шагом направился к видневшемуся вдалеке тополю. Лола еле поспевала за ним.

Каково же было их изумление, когда, приблизившись к чайла, они не обнаружили там Халим-бобо!.. Лола не верила своим глазам.

— Нет, вы посмотрите, наш больной исчез!.. Куда же он мог деться?

Погодин улыбнулся:

— Вот непоседа...

— Это верно, он старик беспокойный. Прямо ртуть! — с гордостью сказала Лола. И вздохнула.— Только не знаю, радоваться этому или нет. Если он лучше себя почувствовал и пошел в старый сад или на бахчу, тогда все в порядке. А как ему хуже стало и он домой один отправился? — Она огляделась вокруг.— Да нет, он должен быть где-то рядом. Старик не терпит беспорядка, и когда уходит домой, то убирает и дастархан, и чайник, и кумган. А все осталось на месте, видите? Пойдемте поищем его в саду.

Она повернулась, чтобы выйти из чайла, и увидела Халим-бобо, который приближался со стороны старого сада. Обеими руками он поддерживал за края тяжело отвисшую полу своего ватного халата. От удивления Лола застыла на месте, а когда старик, перешагнув арык, вступил в чайла, весело защебетала:

— Ой, Халим-бобо, где ж это вы пропадали? Мы с Иваном Борисычем прямо изволновались... А что это у вас в халате?

Вместо ответа Халим-бобо чуть приоткрыл полу халата, и Лола всплеснула руками:

— Вот чудо-то!.. Арбуз!.. Откуда он взялся?..

Продолжая хранить молчание, старик показал арбуз, оттягивавший полу, и Погодину. Тот только покачал головой:

— Действительно, чудеса!.. У вас, выходит, и бахчевые созрели?

— Возьми его, сынок,— сказал Халим-бобо.— Не стесняйся, бери. Это первый арбуз, выращенный на земле, которую ты вспахал этой весной. Пересадил я его туда, правда, из теплицы. Но все равно он «целинный»! И ты первый должен его отведать.

— Что ж... спасибо, отец.

Погодин ухватил за гладкие бока большой, в темно-зеленых полосах арбуз и осторожно опустил на циновку.

Лола благодарно посмотрела на Халим-бобо:

— Какой вы все-таки славный, бобо!.. Будто знали, что к вам гость пожалует.

— Знал, знал, доченька. Я Ивана Борисыча еще издалека приметил. Ну, а нам, садоводам, не пристало встречать дорогих гостей с пустыми руками.

Приглядываясь к Халим-бобо, Лола заботливо спросила:

— А как вы себя чувствуете? Согрелись немного?

— Согрелся, согрелся. Ведь не зима сейчас... Только вот какие-то черные мошки мельтешат перед глазами. Я уж их отгонял, отгонял, а они все прыгают. Стало быть, мерещатся они мне...

Лола посерьезнела:

— Вам надо домой. Хотите, мы вас проводим?

— Да что ты заладила: «домой», «домой». Вот угостим Ивана Борисыча, а там видно будет.

Халим-бобо, не снимая халата, как-то грузно, без обычной ловкости, опустился на циновку, плотно запахнул колени широкими полами. Он сам хотел разрезать арбуз, но, взяв его в руки, чуть не выронил и поспешил передать Погодину:

— Разрежь, сынок. Сперва напополам...

Когда арбуз с треском развалился надвое, все трое ахнули от восхищения. Мякоть оказалась сочной и такой сахаристой, словно была покрыта легкой изморозью.

— Иван Борисыч,— сказала Лола,— половина арбуза ваша, она вам принадлежит по праву. Берите любую.

Погодин отрицательно мотнул головой:

— Нет, Лола, на этот арбуз не меньшее право имеют и девушки-садоводы, и аксакалы-мичуринцы. Ведь арбуз — плод вашего труда. Поэтому, уж позвольте, я разделю его на всех...

Лола насупила брови, недовольная его решением: отдавая половину арбуза Погодину, она, видно, что-то про себя загадала... Покосившись на свою любимицу, Халим-бобо проговорил:

— Не делись, сынок, своим счастьем. Бери его себе целиком.

Лола согласно закивала, улыбаясь и не сводя глаз с Ивана Борисовича. А он с замирающим сердцем подумал, что у него одно счастье — Лола, и ему вдруг захотелось поднять ее на руки и унести далеко-далеко...

Он вздохнул, удивив этим и Лолу и старика, и, спохватившись, как можно рассудительней произнес:

— Спасибо за то, что вы от души желаете мне счастья. Но счастливый человек — это всегда щедрый че-

ловек. И он становится еще более счастливым, когда отдает что-то другим. Так что прошу — примите от меня ваш же подарок.

С этими словами он поднес на кончике ножа яркий ломоть арбуза Халим-бобо, потом другой ломоть Лоле.

Арбуз был сладкий-сладкий. Лишь старому садоводу почудилась в нем горечь... «Наверно, я все-таки захворал»,— подумал он с испугом и, стараясь скрыть свое состояние от Лолы и Погодина, принялся уплетать арбуз с преувеличенным аппетитом, чмокая губами и приговаривая:

— А славный арбуз, дети, верно, славный?

Есть ему вообще ничего не хотелось.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Около двух недель пролежал Халим-бобо дома, в постели, борясь с недугом.

Его поединок с бедой, которая чуть не обрушилась на хлопковое поле, кончился сильнейшей простудой.

У старика ломило кости, болезнь словно выворачивала суставы, особенно в плечах и коленях. А когда он ночью или днем смыкал глаза, то его начинало мучить ощущение, будто что-то тяжелое давит ему на веки. Они словно наливались свинцом, и он не мог их поднять. Об этом Халим-бобо никому не говорил, мужественно терпел странную, давящую боль, а про себя думал: «Это сама смерть силится закрыть мне глаза. Только я не поддамся, нет, не поддамся, я еще крепкий старик!»

То ли лечение дало свои плоды, то ли победила воля Халим-бобо к жизни, но однажды утром он проснулся, чувствуя легкость во всем теле. Озноба, ломоты, тяжести в веках как не бывало.

Обрадованный, он попробовал слезть с постели, но тут же осел на пол и с трудом взобрался обратно на кровать. За время болезни он так ослаб, что не мог стоять на ногах.

Слабость держалась в нем куда дольше, чем сама хворь. Это удручало старика: ему не терпелось побывать в садах, виноградниках, на бахче, а он не в силах был дойти даже до порога. Выздоровев, он все еще оставался прикованным к постели, и это было обидней всего.

Но, верный своему нраву, он с веселым видом встречал гостей, от которых не было отбоя, и шутил:

— Болезнь-то, видать, вошла в меня через большую промоину, а выбирается сквозь игольное ушко.

Чаще всех навещали старого садовода Умурзак-ата и Лола. Они подробно докладывали ему, что делается на целинных участках, где хлопчатник уже раскрывал коробочки, в садах, на бахчах. Халим-бобо внимательно их выслушивал, а потом засыпа́л вопросами: поспевает ли белый налив, не слишком ли обильный урожай дали яблоневые деревья, не отвязалась ли красная тряпочка от черешенки, над которой он проводит важный опыт?.. Лола получала от него строгие наказы: яблони, чересчур отягощенные плодами, надо обтрясти, ранний виноград весь снять, а саженцы ни на минуту не оставлять без ухода...

Нетрудно понять, с каким нетерпением Халим-бобо дожидался прихода Лолы и Умурзака-ата.

С Умурзаком-ата он говорил не только о делах, но и просто отводил душу, любил вспомнить молодость:

— Ох, Умурзак, тяжко нам тогда жилось, ой-бой, как тяжко, а духом мы не падали и болеть не болели. Помнишь Азимбая, сына ишана Кабулходжи?.. Вай, какой был урод. Ноги кривые, голова как арбуз на тонком, хилом черенке. А лицо все в прыщах. И чего они к нему привязались? Ведь питался по-хански, каждый день в доме белые лепешки, кумыс, плов на курдючном сале, с перепелами. А поди ж ты, осыпали его эти прыщи, и никак он не мог от них избавиться. Может, потому и был такой злющий? А мы с тобой пробавлялись одними ячменными лепешками, а всякие недуги обходили нас стороной. Не то что нынче... Да, молодость, молодость...

Умурзак-ата только вздыхал. А Халим-бобо продолжал:

— А помнишь, каким ты был бесстрашным, лихим наездником? А как мы с басмачами дрались?.. Жаль, ушел у нас из-под самого носа проклятый Кабулходжа. Несправедливо это, а?

Умурзак-ата мрачно кивал: да, жаль, да, несправедливо...

О чем только не переговорили старики за время болезни Халим-бобо, что только не вспомнили!..

Когда речь заходила о новой жизни, о создании колхоза, о том, как боролись они все вместе за счастье и достаток, то поневоле всплывало имя Кадырова. И старики сокрушались: что же с ним случилось, ведь прежде он был энергичным, умелым организатором, рачительным хозяином, а нынче его просто не узнать: зазнался, занесся, гордыня его обуяла, прислушивается только к своим словам, считается лишь со своим мнением, с аксакалами совсем перестал советоваться, и чуть что не по нему — он на дыбы.

Как-то, когда разговор опять коснулся Кадырова, Халим-бобо сказал:

— А наверно, мы сами проглядели, как наш председатель сошел с прямой дороги на обочину... Не враз же гнильца-то в нем завелась. Я вон, если о каком дереве хоть месяц не позабочусь, и то его червь начинает точить. А мы долгие годы раиса только похваливали.

— Да,— согласился Умурзак-ата.— Сказать по чести, есть тут и наша вина.

Правду говорит пословица, что человек бывает легок на помине. Не успел Умурзак-ата закончить фразу, как в дверях появился сам Кадыров.

Старики смотрели на него с хмуроватым недоумением — ведь он впервые пришел проведать Халим-бобо. Каким же ветром его сюда занесло, что привело в дом старого садовода? Уж, во всяком случае, не беспокойство о его здоровье, не то бы давно уж пожаловал...

Но, как молвится, гость всегда украшение дома.

Халим-бобо, опомнившись, радушно поздоровался с ним, пригласил войти. Кадыров на цыпочках прошагал к его постели, поставил возле нее стеклянную четверть, наполненную чем-то белым.

— Вот. Кумыс. Совсем свежий. Я сам раздобыл его в горах, специально для больного.

Хмыкнув, он замолчал. Старики переглянулись, не зная, о чем говорить с Кадыровым. Пауза затягивалась... Умурзак-ата и Халим-бобо терпеливо ждали, когда Кадыров сам объявит, с чем он сюда явился. И тот наконец бухнул:

— Хотел я, на прощанье, покаяться перед Халим-бобо.

Халим-бобо приподнялся на постели.

— Это почему же — на прощанье?

— Видать, скоро уеду я от вас, аксакалы. Насовсем уеду.

— Уедешь? Далеко ли?

— Думаю податься в Мирзачуль, в Голодную степь.

— Что же ты там не видел?

— Там люди с опытом — на вес золота. И их умеют ценить.

— А у нас не умеют? — В голосе Халим-бобо звучали и насмешка и горечь.

— Почему? И у нас ценят. Только не всех.

— Тебя, значит, не оценили?

Кадыров набычился:

— Я тут теперь последняя спица в колесе. Можно меня грязью закидывать, топтать ногами...

— Ай-яй, раис,— Халим-бобо с притворным сочувствием покачал головой.— А мы и ведать не ведали, что ты такой несчастный. Ну, а в Мирзачуле, думаешь, тебя тоже председателем выберут?

— Может, и выберут. Там опытные руководители вот так нужны! — Кадыров провел ребром ладони по горлу.— Уж без работы не останусь.

Опять воцарилось тягостное молчание. Его нарушил Умурзак-ата:

— И не жалко тебе, раис?

— Кого жалко?

— Я хочу сказать: не жаль тебе покидать родные места? Ведь с Алтынсаем у тебя вся жизнь связана.

Кадыров мрачно вздохнул:

— Верно. Всю жизнь я отдал Алтынсаю...— У него затуманились глаза.— Эти дни бродил я по полям — и хлопковым и пшеничным, в горы съездил... Ведь тут каждая травинка, каждый камень мне знакомы... Прошелся и по вашим садам, Халим-бобо. Красотища какая... И каждое деревце вроде как родное. Каюсь, недооценивал я ваш труд, Халим-бобо. Да, недооценивал. Вот я и решил навестить вас и сказать, что неправ я был тогда... помните, когда я к вам в сад заезжал, а вы мне насчет саженцев что-то говорили... Я и слушал-то краем уха. Так что, отец, вы уж простите меня. Не хочу я уезжать с камнем на сердце...

Речь Кадырова повергла стариков в крайнее изумление. Халим-бобо вообще не нашелся, что ответить раису, а Умурзак-ата, помедлив, сказал:

— За последнее время, председатель, я впервые от тебя такое услышал. Сказать по чести, удивил ты нас, удивил. Мы думали, что ты уже не способен признавать свои ошибки и всегда считаешь себя правым.

— Хм... Я же живой человек. Не ошибаются-то только памятники.

— Нам по душе твои слова, председатель,— продолжал Умурзак-ата.— Вот всегда бы ты, сидя на верблюде, глядел вдаль, а не посматривал свысока на других. Как знать, может, и ошибок-то было бы меньше. И с людьми во всем советоваться — тоже дело благое, полезное. Ты ведь знаешь поговорку, что пастух даже у своего посоха спрашивает совета.

— Верно, аксакалы. Хм... Верно.

— А ты, председатель, по-моему, о многом поразмыслил на досуге, а? — лукаво спросил Халим-бобо.— Что ж, за ум взяться никогда не поздно. Ох, обидно, дорогой, что ты уезжаешь...

— А может, и не стоит тебе уезжать? — вставил Умурзак-ата.— Ты тут всех знаешь, тебя знают. Ведь какой путь вместе проделали...

Слова стариков приятно щекотали самолюбие Кадырова, но на всякий случай он важно надулся, с достоинством произнес:

— Верно, аксакалы, вы меня знаете. И вам известно, что я человек решительный и упрямый. Если уж что надумал... Хм... Но вы правы — с отъездом, наверно, спешить не следует. Я еще потолкую насчет этого в райкоме партии. А вам спасибо на добром слове.

Когда он ушел, Халим-бобо сказал:

— А председатель наш, гляжу, еще не потерянный человек, как ты полагаешь, Умурзак?

Тот пожал плечами:

— Кто его разберет! Скотина, говорят, пестра снаружи, а люди — изнутри. Но, думаю, мы с ним еще поработаем. Сказать по чести, не чужой ведь он нам.

К огорчению старого садовода, на следующий день Умурзак-ата не пришел его проведать.

Он заявился лишь спустя еще день, к вечеру. Выглядел он свежо, празднично и казался помолодевшим — то ли оттого, что его распирала радость, то ли потому, что вырядился во все новое: на нем был новый

яхтак, подпоясанный двумя бельбогами, до блеска начищенные сапоги, новая синяя бархатная тюбетейка.

Халим-бобо хотел было накинуться на друга с упреками, но его сбил с толку необычный наряд и торжественный вид Умурзака-ата, он упустил время для укоров, а гость, подсев к нему, торопливо заговорил:

— Ты извини, что я к тебе не заглядывал. Мы с дочкой и Алимджаном в районный центр ездили, кое-какие покупки надо было сделать. Молодые-то сразу в универмаг ринулись, а я зашел в детский магазин за игрушками. Часа два, должно быть, там проторчал. С продавцом переругался. Вай, что за лошадей они на полках держат? И где только берут таких уродцев? Ну, скажи на милость, говорю я продавцу, разве нельзя сделать так, чтобы лошадь была похожа на лошадь? Вспомни-ка, говорю, на каких конях воевали Чапаев, Миршарапов, Буденный? Да и нас мчали на басмачей красавцы кони! А вы, говорю, что нам подсовываете? Сказать по чести, на это чучело ребенок и сесть постыдится. Так я разозлился, что и не купил ничего.

— Постой-ка,— с подозрением глянул на него Халим-бобо.— А зачем тебе игрушки понадобились?

— Как зачем? Где свадьба, там и новая семья, а где семья, там дети. Правда, молодые просили меня не торопиться...

Халим-бобо, еще больше забеспокоившись, перебил друга:

— Погоди, погоди. Значит, свадьба уже назначена? Что же ты мне-то ничего не говорил?

— А я и пришел затем, чтобы пригласить тебя на свадебный той, который состоится послезавтра,— чуть ли не официальным тоном произнес Умурзак-ата.— Надеюсь, ради такого события ты поднимешься со своей постели.— И добавил уже иронически: — Или привык бездельничать целыми днями, проводить время в неге да праздности?

— Я на этот той не приду — прибегу! — пообещал Халим-бобо.— Слава аллаху, дождался светлого дня. Уж как твоя дочь и Алимджан тянули с этой свадьбой.

— Сказать по чести, и я уж начал терять терпение. Помнишь, когда еще наш секретарь райкома Айкиз за Алимджана засватал? А они все откладывали да откладывали свадебное торжество. То жара напала и оба целыми сутками в полях пропадали. То вот

ты приболел, а какая без тебя свадьба? Ну, теперь все позади, к тою все готово, сам товарищ Джурабаев сказал, что обязательно на нем будет. Ждем и тебя, почтенный.

— Приду, приду. Не уговаривай.

— Ты прости, я должен тебя покинуть. Столько людей надо еще позвать...

Умурзак-ата, простившись с другом, направился к двери бодрым, молодым шагом.

А Халим-бобо долго лежал с открытыми глазами, думал, вспоминал... Как быстро течет время, словно вода в арыке. Кажется, еще недавно Айкиз была совсем девчонкой, а вот, гляди ж ты, замуж выходит. За достойного джигита, Алимджана, которого он, Халим-бобо, тоже знал зеленым сорванцом... И Лола, хохотушка Лола, уже вступила в пору цветения. И думает, что Халим-бобо не замечает, как она поглядывает на Ивана Борисовича!..

А он, Халим-бобо, уже старик...

Но река времени и полноводна. Вон сколько сделано за весну и лето! Алтынсайцы осваивают целинный массив, продолжают возводить плотину. Скоро они будут убирать первый свой хлопок... А в Алтынсайском ущелье в будущем году засверкает озерная гладь водохранилища, а потом вырастет электростанция.

И на долю Халим-бобо хватит еще дел. Надо заботиться и о старых и о целинных садах колхоза, и закладывать новые, и разбить побольше бахчей и огородов, чтобы родной «Кызыл юлдуз» все уверенней шел в гору. Нет, рано Халим-бобо предаваться грустным мыслям, и болеть недосуг.

Халим-бобо не ощущал старости. Он еще крепок, он еще молод душой! Жизнь кипит вокруг, и ему и его землякам столько еще предстоит трудных и отрадных свершений!..

А это и есть молодость и счастье.

1949—1953, 1965—1969

сильнее бури

Авторизованный перевод с узбекского
Ю. КАРАСЕВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УРЮК В ЦВЕТУ

Мураталн проснулся, как всегда, на рассвете. Он спал во дворе, на высокой супе, и первое, что он видел по утрам, были длинные, раскидистые ветви урюкового дерева. Сквозь листву проглядывало темно-голубое небо с последними тускнеющими звездами.

Некоторое время Муратали лежал, любуясь цветущим урюком. Цветы сливались в бело-розовое облако, скрывавшее робкую зелень листьев, только что вылупившихся из почек. Это дерево посадил еще отец Муратали, самый бедный из всех дехкан Катартала. Лишь в конце жизни, когда он вступил в колхоз, довелось ему узнать, что такое счастье.

Глядя на склонившиеся над ним ветви урюка, Муратали вспоминал слова, сказанные отцом перед смертью: «Моему урюку — сто лет цвести, сто лет обильно плодоносить. И ты, сын мой, живи сто лет, и пусть твой труд тоже одарит людей щедрыми плодами...»

Каждый день начинался для Муратали одинаково: мягкая рассветная мгла, ветви урюка... Он привык к этому, и, если бы, проснувшись, не увидел над собой этих ветвей, жизнь показалась бы ему неуютной, оскудевшей.

Нынче день предстоял хлопотный, Муратали быстро оделся, погремел пестиком рукомойника, пристроенного под урюком, и отправился за водой.

Дом Муратали притулился на склоне одной из гор, у подножья которых, словно в чаше, лежал кишлак. Далеко внизу, меж склонами, протекала река. Начало свое она брала высоко в горах, по пути прихватывала студеную воду горных ключей, отпивала из прозрачно-бирюзового озерка, рожденного множеством маленьких родников. По озерным берегам густо разросся тал;

оттого и само озерко, и речка, и кишлак назывались Катартал [1].

Речка была маловодна, а летом и вовсе пересыхала. Старики, собираясь по вечерам потолковать о том о сем, подышать свежим и чистым, льющимся с гор воздухом, с сожалением говорили: «Если бы и воды, как воздуха, было у нас вдоволь, мы превратили бы наш Катартал в цветущий сад!» Они завидовали алтынсайцам, разбившим у себя сады, цветники, огороды; им хотелось, чтобы и их кишлак утопал в зелени. Но для этого нужна вода, а воды не хватало. Лишь в немногих дворах одиноко высились плодовые деревья: они и скрашивали пейзаж и в то же время оттеняли его суровое однообразие. Самым большим, самым красивым было урюковое дерево Муратали, но сколько труда и времени уходило у старика на то, чтобы растить его и холить! Если бы Муратали каждое утро и каждый вечер не спускался к реке, не носил из нее кувшинами прохладную воду и не поливал дерево, оно давно бы высохло. Особенно трудно старику приходилось летом, в жаркие, добела раскаленные дни, когда солнце с ненасытной жадностью высасывало из озерка и реки всю воду. В такое время, рано утром, Муратали отправлялся за водой в горы. Он переходил от одного родника к другому, бережно, стараясь не потерять ни капли, нацеживал в кувшины драгоценную влагу. Старик порой сам томился от жажды, но не было дня, чтобы он не напоил дерево, посаженное отцом.

В то утро, держа в одной руке глиняный кувшин, а в другой — медный, Муратали осторожно спустился по узкой извилистой каменной тропинке к реке и наполнил кувшины водой. Подниматься обратно было труднее. Рассвет лишь брезжил, старик смутно различал на крутой тропе серые, влажные от росы камни. Он шел медленно: с каждым шагом нести кувшины становилось тяжелей. Белая рубаха на старике взмокла от пота. Уже у самого дома Муратали поскользнулся и упал. Глиняный кувшин раскололся, а медный, выскользнув из ладони, со злорадным дребезжанием покатился вниз по камням тропы. Муратали, поднимаясь, охнул от жгучей боли: он содрал кожу на локтях, на коленях. Вытерев рукавом лицо, обтерев о штаны мокрые руки,

---

[1] Катартал — таловая роща.

ворча и вздыхая, старик поплелся вниз искать кувшин. К счастью, кувшин не докатился до реки, застрял в прибрежной гальке. Мураталли снова наполнил его водой и снова стал взбираться вверх, но уже не по змеистой тропинке, а напрямик, по крутому склону. У него ныло все тело, кувшин оттягивал руку, но досада придавала старику силы, и Мураталли упрямо карабкался, хватаясь свободной рукой за редкие кусты, за каменные выступы. Вот наконец и дом! Мураталли толкнул ногой калитку и вошел во двор. Налив неполный чайник, он поставил его на огонь, а остальную воду отнес заветному дереву.

Злость его не проходила. Он открыл дверь в комнату дочери. Михри спала сладким сном. Старики сердятся, когда их дети слишком долго нежатся в постелях, а Мураталли в то утро надо было к тому же сорвать на ком-нибудь свою досаду. Он понимал, что дочери следовало хорошенько выспаться: она задержалась вчера на комсомольском собрании, вернулась за полночь,— но дурное настроение взяло верх над отцовским сочувствием.

— Эй, вставай! — крикнул Мураталли.— Разоспалась! Меньше надо разгуливать по ночам.

Отец по утрам часто бывал не в духе, но Михри не обижалась — каждый день он вставал ни свет ни заря, хлопотал по двору, а потом до позднего вечера работал в поле. Намается за день, а отдыхом так и не насладится: стариковский сон короток. Так можно ли обижаться на него за сердитое ворчанье, которым он иногда облегчал душу?

— Вставай, вставай! — торопил Мураталли.— Небось опять разгуливала со своим Керимом! Тебя уже не раз с ним видели. Смотри, дочь, осрамишь меня на весь кишлак!

Когда отец ушел, Михри не спеша оделась, заплела длинные косы, бегущие по спине двумя тугими черными струями, умылась, взяла веник и, не слушая отцовских попреков, принялась подметать двор.

Видя прилежание дочери, Мураталли успокоился и с тайным довольством оглядел свои скромные владения. Двор, такой крохотный, что летом его покрывала тень урюкового дерева, окружен дувалом из горных камней разных оттенков и размеров. К дувалу прижался огородик: скоро он зазеленеет всходами лука, по-

мидоров, пряного, пахучего райхона, душистого джанбыла[1], а также хны и усьмы — забавы молодых девушек. Взгляд Мурaтали задержался на урюковом дереве...

Могучее дерево — гордость хозяина — покровительственно распростерло свои ветви над цветниками, над супой, покрытой огромным выцветшим ковром, над низеньким ветхим домом, слепленным из глиняных катышей. И двор и дом постороннему человеку показались бы неказистыми, но для Муратали они дороже всего на свете; и где бы он ни был — он, как о самом родном и желанном, вспоминал о доме, о сандале, на котором можно понежить старческие кости, о своем урюковом дереве. И эти воспоминания согревали сердце Муратали.

Покончив с уборкой, отец и дочь позавтракали на супе. Хлопковые поля находились за несколько километров от Катартала. Дорога туда была ровной, удобной, но чтобы вовремя попасть на свой участок, Муратали приходилось выходить из дому пораньше. Правда, он уже привык к большим расстояниям: пшеничные поля, где он работал до освоения новых земель, находились далеко за горой, и добираться до них было еще трудней, чем до нынешнего участка.

Утро разгоралось. Небо над горами окрасилось в нежно-алый цвет. В ущельях и лощинах лежал розоватый, чуть подсвеченный лучами восходящего солнца туман, но уже открылись взору вершины дальних гор, и на них сверкали снега, словно золотые узоры на бухарской тюбетейке.

Поднявшись на супу, чтобы убрать посуду, Муратали так и застыл, словно зачарованный, глядя вдаль, в ту сторону, где раскинулись колхозные земли. Отсюда, с глиняной супы, хорошо видна была дорога, тянувшаяся от Катартала до Алтынсая. Сколько раз проходил он по этой дороге, размышляя о предстоящем дне, планах и делах бригады.

Даже отсюда видно, как осторожно пробирается между горами дорога. Вот она миновала Ширинбулак.

---

[1] Райхон — ароматное растение, употребляемое как приправа к пище. Джанбыл — растение со своеобразным приятным запахом.

Вот наконец вырвалась на простор, пересекла серую ленту шоссе и устремилась к алтынсайским хлопковым полям. Полей этих Мураталн отсюда не видит: они расположены чуть правее, за выступом горы. Перед глазами у него — только степь, вызелененная первой травой, усеянная пестрыми цветами. Чем дальше, тем суше земля; она опалена дыханием Кызылкумов, насквозь продута знойными ветрами. Почва здесь твердая, комковатая, покрыта лишь жалкими пыльными вихорками полыни. Это целина. А за ней — красные барханы пустыни, которая уходит далеко-далеко, за туманный горизонт, и потому кажется бесконечной.

Целина... Земля, веками ждущая хозяина. Мураталн вдруг вспоминаются слова секретаря райкома партии Джурабаева, с которыми он в прошлом году обратился к колхозному собранию: «Вы сняли богатый урожай с недавно освоенного Алтынсайского массива. Попробуйте теперь поднять всю целину — и она одарит вас еще щедрее. Целинные земли хранят клад, который всех нас — навечно! — сделает зажиточными».

Все это — и хлопковые поля и целинная степь — тоже владения Муратали. Он еще раз окинул их хозяйским оком, подумал о том, сколько труда придется положить, пока откопают они бесценный клад, и вдруг спохватился, что опаздывает на работу. Михри, поджидая отца, уже стояла за калиткой. Муратали отнес в дом посуду, вскинул на плечо кетмень и заспешил было к дочери, но не успел сделать и нескольких шагов, как калитка отворилась и во двор вошел давний приятель Муратали — Гафур. Муратали остановился, ошеломленно уставившись на нежданного гостя. Он давно не видел Гафура и с трудом узнал его...

Одежда гостя являла собой диковинное зрелище. На ногах старые калоши, густо оплетенные веревками, так что издали они походили на русские лапти. В старые шерстяные носки заправлены добела выцветшие, заляпанные грязью солдатские брюки. Ватник поновей и покрепче брюк. А весь этот маскарадный наряд венчала совсем новая, видно только что купленная тюбетейка.

Гафур подождал, пока хозяин вдоволь насмотрится и надивится, оскалил в улыбке желтые зубы и шагнул навстречу Муратали. Друзья обнялись и только после этого поздоровались за руку.

— Ай, хорошо, что вернулся! — радостно воскликнул Муратали.— Давно на воле?

— Да уж порядочно. Помотало-таки меня по белу свету, а теперь вот в Алтынсай решил вернуться. Вчера тут объявился.— Гафур нахмурился.— Думал, хоть дома отдохну душой и телом. Думал, племянница пожалеет меня, протянет руку помощи. Да не тут-то было! Шел к родным, а встретили, как чужого...

— Подожди, дорогой! Ты же отсидел сколько полагается. Что было, то прошло. Неужели Айкиз до сих пор не может забыть о прошлом?

— Какое там! Сама же оклеветала меня, упекла в тюрьму, а теперь и знать не желает. Каменное сердце у нее, каменное!

Муратали слушал, недоверчиво покачивая головой, а Гафур, приняв это за выражение сочувствия, распалившись, в мрачных красках расписал свою встречу с Айкиз.

А встреча это произошла так. Айкиз занималась своими делами в сельсовете, когда к ней нежданно-негаданно заявился Гафур. Он был пьян, еле держался на ногах. Уставившись на Айкиз налитыми злобой глазами, Гафур насмешливо прохрипел:

— Ну, здравствуй, племянница! Чего же ты не навещала своего несчастного дядюшку, не носила ему передач? А?

Айкиз, не протягивая руки, кивнула на стул.

— Садитесь, пожалуйста, и объясните, что вам от меня надо.

Гафур покачнулся, оперся руками о стол и, приблизившись к Айкиз, дыша ей в лицо винным перегаром, зашептал с ненавистью:

— Чего мне надо, племянница? Ты разлучила меня с друзьями, с домом, сделала несчастным, опозорила, а теперь спрашиваешь, чего мне надо? Меня нынче и родной сын знать не хочет! Обида кипит у меня в душе!

Взгляд его помутнел, губы дрожали... Айкиз, стараясь сдержать себя, примирительно предложила:

— Сядьте, успокойтесь. Чтобы излить свою обиду, не было надобности являться сюда пьяным.

Гафур совсем было уже сел, но при последних словах Айкиз подскочил, словно на стуле лежали горячие угли.

— А ну, покажи свою власть, племянница! Позови милиционера, вели снова отправить меня в каталажку. Скажи им: твой дядя — преступник, он на радостях выпил лишнее!

Айкиз, не обращая внимания на разбушевавшегося Гафура, писала что-то в блокноте, а Гафур, совсем потеряв самообладание, стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Эй, племянница, слушай меня! Разве я убрал твой ячмень незрелым? В чем-нибудь провинился перед тобой? Нет, племянница, это ты у меня в долгу! Это ты бросила в родного дядю камень клеветы! Но помни: я не робкого десятка!

Айкиз невесело усмехнулась. Она-то думала, что Гафур после всего, что с ним случилось, образумится. Ведь он сам признался в суде, что воровал колхозный хлеб. Признался, да, видно, не раскаялся и все это время копил в своем сердце темную, мстительную злобу, которая хлестала сейчас через край, словно мутный арык после ливня. Подняв голову от блокнота, Айкиз по-прежнему спокойно спросила:

— Что же все-таки вам от меня надо?

Спокойствие племянницы обезоружило Гафура. Он приутих и попросил, чтобы Айкиз подыскала ему какую-нибудь работу, полегче да поспокойнее, ну, хотя бы на мельнице, подальше от людских глаз. Айкиз смогла пообещать ему только одно: после того как его примут в колхоз, ему разрешат наравне со всеми работать в поле. Гафур настаивал на своем, но и Айкиз не отступалась:

— Выбирайте одно из двух: или кетмень, или ступайте на все четыре стороны. Никто вас здесь не держит.

Слово за слово, Гафур опять раскричался, осыпая племянницу упреками. Тогда Айкиз сказала, что она и знать не хочет своего дядю, а Гафур заявил, что у него нет больше племянницы. На том и расстались. Гафур бросился разыскивать председателя колхоза Кадырова, но тот задержался на ферме. Перебирая в уме, кто бы мог ему посочувствовать, Гафур вспомнил о Муратали и, поднявшись утром пораньше, отправился в Катартал.

Сейчас, рассказывая старому другу о своей встрече с Айкиз, Гафур смочил свое повествование обильной слезой, круто посолил его вымыслом, поперчил про-

клятиями, и Мураталн, как вежливый хозяин, отведал это сдобренное острыми приправами угощение, но не выказал особенного одобрения и утешил гостя по-своему — положил ему на плечо сильную, натруженную руку и ободряюще произнес:

— Не унывай, друг, здоровому человеку любая работа впрок! На что тебе мельница? Иди лучше ко мне в бригаду. Поставлю тебя звеньевым. Наша бригада славится на весь колхоз, товарищ Джурабаев хвалил нас на районном слете.

Гафур, вздохнув, кисло проговорил:

— Спасибо, дорогой. Как ты скажешь, так я и сделаю. А уж бог тебя отблагодарит...

Михри стояла, прислонившись к калитке, читала вчерашнюю газету и то и дело с нетерпением поглядывала на отца и Гафура. Поймав один из таких взглядов, Муратали заторопился, взял Гафура за локоть и виновато сказал:

— Ты уж извини меня, дорогой, некогда мне, на работу опаздываю. Хочешь, пойдем с нами.

Приятели, беседуя, вышли за калитку и зашагали вслед за Михри. Солнце уже припекало; от молодой травы, простившейся с утренней росой, тянуло теплым ароматом. А далекая степь, чтобы напомнить о себе, выслала навстречу путникам знойный, пылкий ветерок. Гафур, щурясь от пыли, ударившей ему в глаза, усмехнулся:

— Говорят, вы скоро в пустыню жить переедете?

Муратали помрачнел.

— И до тебя дошел такой слух? Это верно, колхозникам из горных кишлаков предлагают переселиться поближе к новым землям. Мы в этом году целину хотим поднять,— объяснил он и, кивнув на Михри, с горечью произнес: — Вон дочь моя уже записалась в переселенцы. А об отце не подумала!

Михри, слышавшая это, подошла к нему и, чуть смущаясь, с упреком сказала:

— Отец! Я же советовалась с вами...

— Советовалась! Сначала записалась, а потом пришла за советом. Стыдно, дочка! Совсем от рук отбилась...

Михри покраснела, опустила голову и упрямо возразила:

— У нас все комсомольцы подали заявления.

— Вот, вот! — вспылил Мураталн.— Куда все, туда и ты. Отца не слушаешь! Старым людям не веришь! Ай, дочка, а если все начнут с крыш бросаться — ты тоже бросишься?

— Я и о вас думала, отец,— не сдавалась Михри.— Ведь до новых земель далеко.

— Ничего! Ноги у меня крепкие, не жалуюсь.

— Но ведь Айкиз...

— Помолчи, дочка. За то, что Айкиз подумала о целине, спасибо ей. Хорошее дело затеяла. Земля нам нужна, земли у нас мало. Но родной кишлак я не покину! Здесь могила моего отца! Здесь дом, который он строил в поте лица своего! Это земля моих предков, и никуда я отсюда не уйду. Слышала? Не уйду. И ты не уйдешь! Хоть всю бумагу испиши на заявления — все равно останемся в Катартале. Пусть переселяются Айкиз, Алимджан, Керим — со всей своей родней, близкой и дальней.

Они подошли к шоссе, откуда уже видны были недавно распаханные, отливавшие коричневым блеском хлопковые поля и кишлак, весь в легкой кисее весенней зелени. Муратали замолк. Эти поля были политы его потом; в этом селении жили люди, вместе с которыми он растил хлопок, добывал воду, добывал и растил счастье — себе, Михри, Родине. Он любил эту землю и молчанием выражал свое уважение к ней...

Путникам пришлось остановиться: у Гафура развязалась веревка на калоше. Он, покряхтывая, принялся поправлять ее, а выпрямившись, повернулся к Михри и сказал вкрадчиво, назидательно:

— Ты, девушка, не перечь отцу. Грех противиться воле старших. Вы, молодые, все торопитесь, мчитесь сломя голову куда глаза глядят. Ты не спеши, обдумай все хорошенько, прислушайся к мудрым речам отца. Куда ты тянешь его? В голую степь? Да там только сорокам приволье.— Гафур сердито засопел и хмуро добавил: — Вашей Айкиз лишь бы перед начальством выхваляться. Но дехкане — они не дураки, их в пустыню силком не затащишь. Я сказал — ты увидишь.

— Вы же не знаете, сколько уже подано заявлений.

Гафур махнул рукой.

— Заявление что? Пустая бумажка! Народ еще одумается. Кому охота бросать свой очаг? И мой тебе

совет, девушка: возьми свое заявление обратно. Не огорчай отца.

— Да как же я...— задыхаясь от волнения, сказала Михри, но отец гневно оборвал ее:

— Молчи, бесстыдница!

Михри, побледнев, плотно сжала губы и так дошла до хлопковых полей, не вымолвив ни слова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СВЕТЛЫЙ РОДНИК

Жарко... Полуденное солнце, словно забыв, что сейчас лишь весна, а не лето, палит вовсю. Айкиз вернулась из района, проскакав на Байчибаре несколько километров. Лицо ее раскраснелось. Спешившись, Айкиз привязала коня, а сама направилась во двор, к арыку, освежиться после долгой, знойной дороги. Во дворе было прохладней... Легкий горный ветерок шевелил молодую листву тополей и тала, колыхал цветы, разнося по всему двору густой, дурманящий запах. Близ арыка, среди цветов, в тени шелковицы стояла широкая деревянная кровать. Умывшись студеной водой из арыка, Айкиз присела на кровать и задумалась... Когда устанешь и разомлеешь от жары, хорошо сидеть вот так, не двигаясь, наслаждаясь покоем и прохладой, смотреть на воду, по которой крохотными белыми челнами плывут лепестки яблонь, и не спеша думать, вспоминать...

Глядя в арык, она думала о муже своем, Алимджане, а горный ветерок и журчащая арычная струя словно подпевали ее мыслям, прозрачным и чистым, как вода в арыке, на дне которого ясно виднелись разноцветные камешки.

Алимджан был сейчас далеко. Два года назад он поступил на заочное отделение института и недавно уехал на весеннюю сессию. Он часто писал Айкиз, и каждая строчка его писем дышала заботой и любовью; но письма не могли заменить самого Алимджана. Айкиз припомнились долгие вечерние беседы здесь, дома, встречи с мужем в сельсовете, в правлении, в поле. Он делил с Айкиз ее радость, спешил ей на помощь, когда было горько и трудно. Вместе, рука об руку, боролись они за обновленный Алтынсай, и любовь, наполнившая

их жизнь новым счастьем, придавала им сил, веры и отваги; ведь любовь подобна светлому роднику, бьющему из глубин земли: он превращает пустыню в сад, наливает соками цветы и деревья, он творит весну.

Как хотелось Айкиз, чтобы муж был сейчас рядом! Именно сейчас, когда приняла она на свои плечи великую заботу...

Дело в том, что слова Джурабаева о кладе, который таит в себе целинная степь, запомнились не только старому Муратали. Над ними задумалась и Айкиз. Несколько лет назад алтынсайцы провели к своим полям воду, и земля отдарила их богатым урожаем. Но рядом с напоенными влагой полями лежали другие; там гулял только колючий ветер да горькой сиротой чахла под солнцем полынь. Айкиз верила: эту не тронутую плугом землю тоже можно покрыть ковром хлопчатника. При малых затратах колхозы ее сельсовета получили бы большие доходы.

В конце зимы Айкиз стала подолгу пропадать в степи. Каждый раз, останавливаясь у полезащитной лесной полосы, зеленевшей на рубеже степи и пустыни, с неприязнью смотрела она на подернутые крупной рябью барханы; на рыжих медлительных орлов, старожилов пустыни; на пятна соли, белой коростой выступившей на теле Кызылкумов.

Когда-нибудь и пустыня будет побеждена, но начинать надо было с целинной степи. И начинать немедля, уже этой весной. Наизусть заучив каждую морщинку в степи, Айкиз повела туда отца и инженера Смирнова. Поддержка старого Умурзака-ата, у которого был большой жизненный опыт, и знающего русского ирригатора укрепила намерение Айкиз. Она посоветовалась с Джурабаевым, и тот поручил ей, Смирнову и Погодину, незадолго перед тем назначенному директором МТС, разработать и представить на бюро райкома конкретный план освоения целины и переселения колхозников из горных кишлаков на новые земли. В помощь этим энтузиастам по просьбе Джурабаева была выделена группа инженеров-проектировщиков.

Когда план был составлен, Айкиз, Погодин и Смирнов подготовили докладную записку. Ее обсудили сначала на бюро колхозной парторганизации, потом — на правлении колхоза.

Бюро и правление одобрили план. Лишь Кадыров

сидел молча, мрачно нахохлившись, исподлобья, с затаенной неприязнью поглядывая на Айкиз, увлеченно говорившую о выгодах, которые сулит колхозу освоение целины. Кадыров не выступил ни за, ни против, ограничившись брошенной с места насмешливой репликой:

— Мышь и без того еле пролезает в нору, так еще решила прицепить к хвосту решето!

Айкиз удивилась этим словам: «Кто-кто, а ведь Кадыров лучше всех должен понимать, что даст колхозу освоение новых земель,— подумала она.— Неужели он и теперь не понимает, какое это доброе дело для людей?»

Когда колхоз осваивал Алтынсайский массив, Кадыров тоже не скупился на насмешки, на мрачные пророчества и не очень-то скрывал свои сомнения в том, что колхозники найдут воду и вырастят хлопок на растрескавшейся от зноя земле. Однако пророчества его не сбылись: дружный коллектив алтынсайцев добился своего, а Кадыров, авторитет которого в глазах колхозников очень упал, получил нагоняй. И если бы не вмешался новый председатель райисполкома Султанов, горячо вступившийся за Кадырова, тому пришлось бы расстаться с председательским постом. Но все обошлось для него благополучно, постепенно он снова обрел спокойствие и уверенность в себе. Колхоз рос, набирая силы; а ведь это он, Кадыров, был председателем колхоза; и когда заходила речь о колхозных достижениях, Кадыров самодовольно заявлял: «Мы прорыли канал!.. Мы нашли воду!..»

Кадыров привык к почетному положению председателя крепкого колхоза. Он пожинал урожай, взращенный другими, но совесть его была спокойна: нельзя же отделять себя от колхоза, рассуждал он. В конце концов Кадыров сам уверился, будто все, что сделали колхозники, они сделали при его энергичном, непосредственном участии, и окончательно успокоился. Теперь он прочно сидел в седле, прочней, чем прежде, и считались с ним больше: из председателя колхоза-середняка он вырос, согреваемый лучами чужой славы, в руководителя большого хлопкового хозяйства. Перемены в его положении сказались даже на его внешности: в ремне, перетягивавшем черную шерстяную гимнастерку, пришлось проколоть не одну новую дыроч-

ку; лицо округлилось; подбородок утроился; глаза превратились в узкие щелочки, а на них все напористей наползали упругие подушки багровых щек. Изменилась и манера Кадырова говорить с людьми, выступать на собраниях: он произносил слова с такой ленивой, высокомерной важностью, будто давал их в долг. Впрочем, много он в долг не давал, считая, что его скупые реплики весят больше, чем иные длинные речи.

Словом, Кадыров преуспевал.

А люди говорили о нем по-разному, ведь людские толки — что степь: тут и колючка тебе попадется, и горькая полынь, и яркий, радующий глаз цветок, и мягкая трава, раболепно стелющаяся под ветром... Так и в Алтынсае. Многие поговаривали, что председатель зазнался, забыл о своих промахах; Кадыров возражал на это: «Да, я ошибался, верно! Но я признал свои ошибки. С тех пор выпало много снегу, и он замел все следы».

Нашлись и подхалимы, восхвалявшие опыт и бескорыстие председателя. С ними Кадыров, конечно, не спорил, только улыбался благосклонно.

Айкиз не по душе было самодовольство Кадырова. Но в то же время она и радовалась: ведь то, что Кадыров кичился успехами колхоза, означало признание им правоты Айкиз. Он сам, своими глазами увидел, как мечты, по его словам несбыточные, стали реальными свершениями, он примирился со своим недавним поражением — а это, право же, хорошо! И пусть он, как павлин, распускает хвост веером, пусть украшает себя золотистыми перьями чужой славы. Ей, Айкиз, слава не нужна. С нее довольно того, что мечта ее стала явью и теперь даже такие, как Кадыров, уверились в силе народа.

Она не сомневалась в том, что Кадыров с радостью ухватится за план освоения целины, сулящий новые лавры самолюбивому председателю.

И неудивительно, что реплика, брошенная Кадыровым на правлении колхоза, озадачила Айкиз. Правда, открыто Кадыров не выступал, но Айкиз, почувствовав его скрытое сопротивление, предположила, что он даст бой на бюро райкома.

Так оно и случилось... И случилось в отсутствие Алимджана. А ей так нужны были его поддержка и совет!.. У нее гора свалилась бы с плеч, если бы она

даже просто увидела любимого... Она ясно представила себе, как приходит домой, уставшая от раздумий, от споров со своими противниками, а Алимджан встречает ее доброй улыбкой и, выслушав взволнованный рассказ, мягко обняв за плечи, говорит: «Ты права, моя радость... Не беспокойся ни о чем, ты права...» Боже, да ей и не пришлось бы ничего ему рассказывать — ведь если бы он был здесь, он сам знал бы обо всем, он бы вместе с ней боролся с Кадыровым!

«Вместе...» Какое это чудесное, лучистое слово!

Айкиз вздохнула. Вода в арыке лепетала и лепетала о чем-то своем, листья тополей доверчиво перешептывались друг с другом и с ветром. У всех были свои тайны... Айкиз тоже думала сейчас о самом сокровенном, мысли ее текли в лад прозрачной струе арыка и, казалось, спешили вместе с ней далеко-далеко — к любимому, к Алимджану.

От сладких, грустных мыслей пробудил ее скрип калитки.

— Есть кто дома? Письма нужны кому-нибудь?

Айкиз легко спрыгнула с кровати и побежала навстречу юному почтальону, тощему, как голая ветка тутовника. Одной рукой он катил велосипед, призывно треща звонком, в другой держал письмо. Айкиз выхватила у него конверт, пробежала глазами обратный адрес и только после этого спохватилась и поздоровалась с юношей. Тот усмехнулся снисходительно: он еще не вышел из школьного возраста и потому ставил себя выше людских страстей. Повернув велосипед, он величественно удалился.

Айкиз, прижимая к груди письмо, поспешила в дом. Взбежав на айван, она подсела к небольшому столу и, с трудом уняв волнение, разорвала конверт.

Алимджан, казалось, догадался обо всем, что волновало Айкиз, и спешил согреть ее сердце своей любовью, своей заботой. Он пытливо расспрашивал о делах, о здоровье Айкиз и Умурзака-ата, благодарил жену за то, что она поддержала его в решении учиться; писал, что ему сейчас и трудно и радостно; жаловался, что тоскует без Айкиз, и в конце письма просил сообщить ему как можно подробней о судьбе «целинного» плана, об обсуждении этого плана на бюро райкома.

В конверте оказалась и фотография Алимджана. Айкиз долго рассматривала ее. Алимджан за это время

будто помолодел. Видно, занятия не отбили у него ни сна, ни аппетита. Лукаво щурясь, Айкиз покачала головой и погрозила карточке пальцем: «Ай-ай, дорогой муженек, уж не лодырничаешь ли ты в городе, уж не проводишь ли дни в легкомысленных забавах?» Но тут же и рассмеялась: настолько невероятным показалось ей это предположение. Уж кого-кого, а Алимджана никак нельзя было заподозрить в легкомыслии. Порой он был слишком даже серьезным. И сдержанным. Мужчине ведь и полагается быть сдержанным в своих чувствах...

И Айкиз вспомнилось, как однажды осенью, уже после свадьбы, увлекла она Алимджана к укромному роднику, Ширинбулаку. Это был излюбленный ее уголок. С Ширинбулаком могло соперничать лишь миндальное деревце в горах, где встречались они когда-то с Алимджаном. В детстве она играла у родника с подругами, позднее приходила сюда собирать цветы, читать, готовить уроки.

К этому-то роднику и захотелось ей пойти вместе с мужем.

После свадьбы, как это часто бывает, любовь их вошла в спокойное, прочное русло: ведь за нее теперь не нужно было бороться, и не нужно было жертвовать для нее ни временем, ни делами.

Айкиз, однако, до сих пор не могла привыкнуть к тому, что она жена, что у них с Алимджаном общий дом и ничто уже не мешает им без остатка отдавать друг другу свою любовь. В любви Айкиз к Алимджану все еще заключена была и девчоночья беспокойная влюбленность... Она любила его и сильней, чем прежде, и в то же время так же нежно, как прежде, до замужества.

В тот день, вернувшись с работы и дождавшись возвращения Алимджана, она взяла его за руку и молча потянула за собой.

— Куда ты, Айкиз? — с улыбкой запротестовал Алимджан.— Дай хоть в себя прийти.

— Алимджан!.. Я целый день сама не своя. Так соскучилась по тебе... Пойдем... Пойдем к моему роднику. Я так давно там не была!

— Вот чудачка! Разве нам дома плохо? Ты же устала, глупенькая. До лирики ли сейчас?.. Отдохни. А я ужин приготовлю. Посидим поболтаем. Нам ведь есть о чем поговорить.

Айкиз вдруг нахмурилась, губы у нее дрогнули, а скулы, как всегда, когда она волновалась, чуть порозовели.

— Ну и не надо. Я пойду одна.

Алимджан рассмеялся:

— Девчонка!.. Ну, совершеннейшая девчонка! Вот уж и обиделась. Губы надула. И это Айкиз, гроза бюрократов!.. Ты и с посетителями так себя держишь?

— Как сердце подсказывает, так и держу.

— Горячее, беспокойное сердечко!..

Алимджан пристально, с нежностью смотрел на жену. Как она расцвела за последние месяцы!.. Лицо пополнело, а кожа стала еще чище и прозрачней, чем раньше, и лицо от этого словно светилось... Скромное,

строгое платье плотно облегало фигуру, линии которой обрели женственную четкую плавность. А жесты, каждое движение Айкиз сохранили прежнюю девичью порывистость, которую ей далеко не всегда удавалось скрыть за внешним спокойствием.

Алимджан привлек жену к себе.

— Пойдем. Куда скажешь, туда и пойдем.— И добавил уже тише, с трудом преодолевая смущение: — Я для тебя на все готов... родная моя...

У Айкиз сразу стало весело на душе. Так уж всегда бывало: стоило Алимджану сказать о своей любви, и Айкиз тут же забывала о недавних обидах, сомнениях, усталости... Вот и сейчас лукавые огоньки вспыхнули в ее глазах, она еще крепче сжала руку Алимджана, а когда они вышли со двора, отпустила ее и озорно крикнула:

— А ну догоняй!..

— Айкиз! Народ же на улице!..

— Догоняй, трусишка!

Она припустилась бегом по дороге. На улице, вопреки опасениям Алимджана, никого не было, хотя вечер только еще входил в кишлак мягкой, торопливой поступью.

Родник Ширинбулак находился за старым колхозным садом, ближе к горам. Кристально чистая вода выбивалась из-под огромного камня, словно грудью навалившегося на родник. Вода размыла небольшую ямку и залила ее, образовав маленькое, прозрачно-радужное озерко, а из озерка узким, спокойным ручейком стекала к дороге и бежала вдоль дороги вниз, к колхозному саду, орошая ближние участки,— на большее ручейка не хватало. Летом родник был холодным как лед, а зимой его бурливая струя казалась такой теплой и сладкой, что, раз отпробовав ширинбулакской воды, уже нельзя было забыть ее вкус. Недаром народ дал роднику имя «Ширинбулак» — «Сладкий родник».

Алимджан нагнал Айкиз у самого родника. Трава везде давно пожухла, пожелтела и лишь вблизи воды была зеленой-зеленой. Айкиз, которая, казалось, ничуть не устала от быстрого бега, ловко перепрыгнула через травяной коврик, остановилась на песчаном берегу родника, нагнулась над маленьким водоворотцем, светлым, незамутненным, хотя в нем, как мошкара над кустами, бестолково кружились песчинки. Подождав,

пока приблизится Алимджан, Айкиз плеснула в него из пригоршни холодной водой. Алимджан отшатнулся, но тут же выпрямился и, подзадоривая жену, сказал:

— А ну еще! И попробуй теперь назвать меня трусом!

Айкиз плеснула в него еще раз. Он даже не шелохнулся. Тогда она подбежала к нему, достала платок и, обняв мужа одной рукой за плечи, бережно вытерла ему лицо и шею. И сразу у нее сладко закружилась голова...

— Алимджан!.. — горячо прошептала она.— Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива!

Алимджан осторожно отстранил ее, краска смущения залила его лицо:

— Не надо так, Айкиз. Это ты дала мне счастье. Но я. . я не умею говорить об этом.

— И не надо уметь!.. Ничего не надо. Только будь всегда со мной. И люби меня...

Они вернулись домой поздно, шли по дороге медленно, молча, и Алимджан заботливо поддерживал жену за талию — счастливый, серьезный, благодарный... Айкиз заразила его своей по-девичьи откровенной пылкостью, и у него было такое чувство, словно сегодня впервые обожгла их любовь своим чистым, жарким огнем, который не затушить никаким ветрам.

А сейчас он смотрел на нее с фотокарточки, и Айкиз говорила ему о своей любви...

«Алимджан!.. Верный, надежный друг! Мне все, все в тебе дорого — и твоя стыдливая нежность, и сдержанность твоя, и серьезность. Был бы ты другим — и я не любила бы тебя так беззаветно. Алимджан!.. Как радостно произносить твое имя! Вот я повторяю про себя: Алимджан, Алимджан! — и сердце полнится счастьем, и светлей становится вокруг, и хочется вприпрыжку побежать к Ширинбулаку, хочется улыбаться людям, хочется, чтобы все на земле были веселы и счастливы, хочется самых трудных дел, а еще хочется любви твоей, поддержки и похвалы...

Как я тоскую о тебе, верный мой Алимджан, свет очей моих, самая надежная моя, крепкая, как гранит, опора!..

Я знаю, ты не изменишь ни мне, ни высокой своей цели. И надо поскорей ответить тебе, обрадовать вестью о моем — нет, о нашем успехе!..»

Айкиз с сожалением отложила в сторону фотографию мужа и села за письмо. Некоторое время она сидела, подперев еще не остывшую щеку твердым маленьким кулачком, припоминая со всеми подробностями, как прошло заседание бюро: ведь в письме к мужу ничего нельзя упустить! Но вот перо быстро и уверенно забегало по бумаге.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПИСЬМО

«Мой дорогой, мой родной Алимджан!

Только что получила твое письмо, а в нем и твою фотографию. Какой ты умница — ты будто видел, как мне необходимо твое слово именно сейчас. О том, как я скучаю по тебе, как жду твоего возвращения, ты, любимый, наверно, догадываешься. Я лучше расскажу тебе, как шло обсуждение в райкоме нашего нового плана. Из телеграммы, которую я послала тебе, ты уже знаешь, что наш план утвержден. Но получилось все не так, как мы с тобой думали. Постараюсь описать тебе, как все проходило. Ты наберись терпения, потому что напишу я тебе такое длинное письмо, каких никогда не писала. Так много хочется сказать тебе, родной.

Бюро собралось, как обычно, в кабинете Джурабаева. Ты этого кабинета не узнал бы: его недавно побелили, убрали из него все лишнее, он стал просторнее, светлее. На стенах — портреты. В углу на этажерке с книгами — огромный куст хлопчатника. Посередине кабинета — два стола; вместе они напоминают молоток с длинной ручкой. Один из столов — тот, что подлиннее,— покрыт новеньким ярко-алым сукном, это придает кабинету какую-то праздничную торжественность.

В окна стучали ветки яблонь; из того окна, что выходит на улицу, видна была залитая солнцем площадь с выстроившимися в ряд «легковушками». С улицы веяло весной, и на сердце у меня было по-весеннему звонко и чуть-чуть тревожно...»

В кабинете, кроме членов бюро, собрались председатели алтынсайских колхозов, директор и агроном МТС, инженеры-проектировщики, работники водхоза.

О плане освоения целины докладывал Смирнов. После первых же его слов в руках у собравшихся зашелестели блокноты: выступление Смирнова всех заинтересовало.

«Ты знаешь его манеру выступать,— с добродушной иронией писала Айкиз,— он говорит так, будто спорит с кем-то. Так и теперь: протерев белоснежным платком очки, он принял воинственный вид и ринулся в наступление»

И дальше Айкиз подробно излагала речь инженера.

— Товарищи! — начал Смирнов.— Почему мы пришли к вам с этим планом именно сегодня? Почему не думали о целине раньше, несколько лет назад? Да в том-то и дело, что думали, но думы наши, как зимнее солнце, светили, а не грели. Район наш,— и вы это прекрасно знаете,— страдал от безводья. И только недавно мы с боем отвоевали у горных рек воду для наших полей. Но если раньше земля пропадала без воды, то теперь вода пропадает без земли! В жизни всегда так: одно цепляется за другое; мечты свершаются, а свершения рождают новую мечту. И нет остановок на нашем пути в будущее.

Взгляд Смирнова стал вдруг колючим: казалось, инженер услышал чье-то скептическое возражение. И он, насмешливо прищурясь, обратился к невидимому оппоненту:

— Но может быть, нам следует отложить это дело? Не торопиться с освоением целины? Ведь этот год не последний; в запасе у нас, как сказал поэт, вечность. Что ж, можно, конечно, и подождать, время терпит. К тому же из всех человеческих занятий ожидание — самое бесхлопотное. Но сколько мы будем ждать? И почему мы должны ждать? Если в запасе у нас вечность,— значит, решение того или иного вопроса можно вечно откладывать. Нет, товарищи, то, что можно решить сейчас, надо решать сейчас. Мы все обдумали, взвесили, подсчитали и пришли к выводу: да, надо поднимать целину нынешней весной. И уже следующей осенью колхозы соберут хлопка больше, чем в прошлом году. Наши люди станут жить лучше, богаче. Да и страна наша станет богаче. Имеем ли мы право лишать самих себя этого богатства?

Поспорив с безмолвствовавшей аудиторией, Смирнов внес конкретные предложения: сначала надо под-

нять еще на несколько метров плотину Алтынсайского водохранилища и соорудить круговую дамбу; второе, главное мероприятие — освоение целинной степи, прилегающей к тем землям, которые были засеяны хлопком прежде; а уж это выдвигает перед районом третью задачу: создать в целинной степи новые поселки и переселить туда колхозников из горных кишлаков: «Ведь там безземелье, не жизнь у них — маята!»

Указка Смирнова сновала по висевшей на стене карте. Все слушали инженера внимательно. Пристально следили за его указкой. Джурабаев задумчиво поглаживал свою рано поседевшую голову. Было тихо-тихо.

«Только яблони шелестели за окном, напоминая нам о весне, горячей поре пахоты и сева. А я еще услышала далекий, волнующий душу гул тракторов... Или мне это показалось?»

После того как Смирнов рассказал об объеме предстоящих работ, о ресурсах, о предполагаемых затратах, Джурабаев, поднявшись, спросил, есть ли желающие выступить, имеются ли вопросы к докладчику.

И тут над столом вознеслась грузная туша Кадырова.

«Прости меня, Алимджан, за эту «тушу»,— оправдывалась в своем письме Айкиз.— Если бы я писала тебе до бюро, я не употребила бы этого слова. Ты знаешь, я не люблю Кадырова, но в последнее время у меня не было причин враждовать с ним.

Когда-то он сопротивлялся нашим планам, а потом стал гордиться тем, что они проведены в жизнь. Мы начали, он вместе с нами продолжил наше доброе дело. Колхоз теперь получает хорошие урожаи, и мне казалось: когда мы вступим в битву за еще большие урожаи, Кадыров поддержит нас. Ведь он понял, какие выгоды колхозу, людям, да и ему сулит освоение новых земель.

Но Кадыров... Меня насторожил уже один его вид: лицо и шея у него побагровели, на лбу выступил пот, глаза помутнели от угрюмой злобы; казалось, на него взвалили тяжеленный жернов, и он зол на тех, кто заставил его тащить эту ношу...»

Важности, однако, раис не утерял и начал свою речь в нравоучительном, покровительственном тоне.

— Заносимся, дорогие товарищи, заносимся!.. Или вы забыли о прошлом? У некоторых, и верно, память короткая. Девичья память.— Это был камешек в огород Айкиз, и Кадыров даже хохотнул, но как-то неуверенно: видно, сомневался, поддержат ли его другие — Но мы-то помним, каким крепким орешком оказался для нас Алтынсайский массив! Едва разгрызли... Что и говорить, дело мы сделали хорошее. Не пожалели пота, вырастили хлопок на новой земле!.. Но если мы каждый день будем резать по барашку, так никакого стада не хватит! Если каждый год совершать подвиги — можно и выдохнуться. Посудите-ка сами: не успели мы отдохнуть, набраться сил, насладиться плодами своего труда, и уж надо снова закатывать рукава! Может, Умурзаковой и приятно витать в облаках. Она вам обещает звезды с неба достать! Но мы практики, а не мечтатели. На свете мы пожили побольше Умурзаковой, всякое повидали и самую приманчивую мечту прежде на зуб пробуем: не фальшивая ли?.. Ведь не все золото, что блестит.— Оратор вытер платком толстую багровую шею и, отдышавшись, продолжал: — Я, конечно, не против освоения целины, товарищи. Но целина — это вам не Алтынсайский массив: ее с наскока не одолеешь! Если даже земля там и плодородная,— а многие в этом сильно сомневаются,— то все равно: откуда мы возьмем средства, людей, машины!.. Я уж не говорю о переселении колхозников. Плохо вы знаете людей, товарищ Умурзакова! Не так-то просто сдвинуть дехканина с насиженного места. Да к тому же, как я понял, для них надо строить новый поселок? А может, мы сегодня уж и коммунизм построим, чтобы не затягивать дело? Как, товарищ Умурзакова?.. Вам мало задач, которые стоят перед нами сегодня, вы хотите призанять их у завтрашнего дня?.. Но завтрашний день торопить не надо, он сам к нам придет! И я так скажу, дорогие: протягивай ножки по одежке. Дай бог нам текущий план выполнить. А с целиной придется обождать. Живем-то и правда не последний день.

«В общем Кадыров затянул старую песню. Он все время обращался почему-то только ко мне, да еще на «вы»; но не его наскоки обозлили меня. Мне обидно, что я ошиблась в своих предположениях. Я-то думала, что Кадыров теперь с нами, а он снова встал на дыбы. И я не могу понять почему...»

● ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НА РАЗНЫХ ПОЗИЦИЯХ

Айкиз в письме к мужу трудно было объяснить поведение Кадырова, потому что не знала она, какие чувства обуревали его душу...

Когда слова попросила Айкиз, Кадыров побагровел еще больше: казалось, с его тугих щек, с наголо обритого, гладкого, как бильярдный шар, затылка вот-вот закапает рдяная краска. Он взглянул на председателя райисполкома Султанова, который что-то писал в своем блокноте, потом перевел взгляд на Джурабаева. Секретарь райкома постучал кончиком самописки по мраморному пресс-папье, призывая к порядку (хотя в кабинете и так было тихо), и поощрительно кивнул Айкиз. Кадыров, словно ожидая удара, по-бычьи нагнул над столом голову...

Айкиз поднялась, перекинула за спину тяжелую черную косу. Во всей ее фигуре, чуть подавшейся вперед, чувствовался напряженный порыв, как у птицы перед полетом; скулы порозовели, но голос звучал тихо и спокойно:

— Признаюсь, товарищи, выступление товарища Кадырова меня озадачило. Уж кому-кому, а ему-то, кажется, известно, каких успехов можно достичь, торопя завтрашний день, стараясь приблизить будущее... Если бы мы раньше не действовали смело и решительно, если бы примерялись к старой одежке и ждали, пока яблоки сами упадут нам в рот, то в колхозе «Кызыл юлдуз» не было бы сейчас хлопка, у колхозников трудодень не прибавил бы в весе, а товарищ Кадыров надолго остался бы председателем колхоза-середнячка. Кадыров заявил тут, что он не мечтатель, а практик. А мы — и практики и мечтатели! Мы оптимисты! И мы сумеем освоить целину, товарищи! Ведь больно смотреть на эти пустынные, заброшенные и пока бесполезные земли!

Кадыров поднял на Айкиз тяжелый, угрюмый взгляд:

— Дешевой славы захотелось, товарищ Умурзакова? На словах-то не только нашу степь — все пустыни разом можно освоить! Да это ведь не плов: бери с блюда и ешь!

— А вы часто бывали в целинной степи, уважаемый товарищ практик? — вскипела Айкиз.— Вы вот сомневаетесь в ее плодородности... А мы сдавали почву на анализ и, получив результаты, даже огорчились: этакое добро столько времени пропадало даром! Степь там ровная, как ковер, легко поддается машинной обработке. А это очень важно! Ведь техники у нас становится все больше. Потому-то партия и призвала народ к освоению казахстанской целины. Мы скоро сможем механизировать все основные работы. Строительство ирригационных сооружений уже сегодня ведется машинами. МТС нам во многом подсобит. Ей ведь, по существу, и придется заниматься вспашкой целины.

— Вот-вот! — словно уличая в чем-то Айкиз, крикнул Кадыров.— Эмтэзсовцам-то выгодно: знай накручивай гектары! Погодин хоть всю страну перепашет, жалко ему, что ли!

— Вы напрасно наговариваете на товарища Погодина,— спокойно возразила Айкиз.— Все знают его как директора, всей душой болеющего за общее дело. К тому же в данном случае интересы МТС совпадают с интересами наших колхозов. Так что машины у нас будут. А рабочие руки... Да ведь это уж от вас зависит, товарищ Кадыров. Вы изображаете дело так, словно наш колхоз выдохся! Да что с вами, дорогой председатель? Силы у нас неистощимы, исчерпать их нельзя, их можно только не видеть. Да, да, мы подчас ходим по золоту и не видим его. И жалуемся: мы слабые, мы бедные. А стоит пошире раскрыть глаза — и ты хозяин несметных богатств. Сколько, товарищ Кадыров, гектаров хлопка приходится на каждого трудоспособного члена вашего колхоза?

— Формально — четверть гектара.

— А фактически больше?

— А нам больше не надо, у всех и так работы по горло!

— Значит, у нас с вами хромает организация труда. Вы же знаете, что в Голодной степи на каждого приходится по два, по три гектара, и никто еще не выбился из сил! Зато трудодни там у колхозников побогаче наших и неделимый фонд у них растет быстрее нашего. А мы разве хуже?

— Длинный разговор — лишняя тяжесть для ишака,— упрямо сказал Кадыров.— У них свой план, у ме-

ня свой. И не с неба он свалился, мы его на правлении обсудили, продумали... Трудодень и у нас не бедный. Колхоз хорошие премии получает.

— За то, что сдает хлопка меньше, чем может? Да велика ли от этого польза и нам и государству? А трудодень... Он хоть и не тощает, да ведь и не тучнеет! Нет, товарищи, нам необходимо поднимать целину. Это общее наше желание.

— На одном желании далеко не уедешь,— опять не удержался Кадыров.

— Но и желание нельзя сбрасывать со счетов! Успех любого дела заложен как раз в желании народа, в дружной воле к победе!

«Наверно, я выступала плохо,— сокрушалась Айкиз в письме к Алимджану.— Ну, не так, как хотелось бы... Чудно́ получается: говоришь с человеком с глазу на глаз — и находишь простые слова, идущие от самого сердца. А начнешь в чем-нибудь убеждать собрание — и с ужасом чувствуешь: не то, не то!.. Хочешь сказать что-то свое, а с языка срываются общие фразы. Но я научусь выступать, честное слово, научусь, чего бы мне это ни стоило! Станет твоя женушка заправским оратором... Вот только, когда тебя увижу, от радости не смогу вымолвить ни слова. Буду молчать, как молчали мы, когда шли от родника домой. Помнишь?.. Ширинбулак соскучился по тебе, Алимджан!..»

Но какого бы мнения ни была Айкиз о своем ораторском искусстве, Кадырова во время ее выступления бросало то в жар, то в холод. Он не спорил с Айкиз, а лишь перебивал ее, и отрывистые реплики выдавали и его раздражение и его неуверенность. Исподтишка он наблюдал за собравшимися: как-то они ко всему относятся? Впрочем, по-настоящему его интересовало только мнение председателя райисполкома Султанова и Джурабаева.

Султанов вел себя непонятно: он перестал писать, свободно откинулся на спинку стула и посматривал на всех с чувством превосходства и с какой-то даже сострадательной благожелательностью — мол, пожалуйста, говорите сколько душе угодно, только все это впустую. Он был спокоен и благодушен, но Кадыров не мог угадать, что таится за этим спокойствием. Остановив повеселевший взгляд на Кадырове — тот сидел туча тучей, и это, видно, рассмешило Султанова,— председа

тель райисполкома обнажил в ослепительной улыбке свои белоснежные, влажно поблескивающие зубы, но Кадыров опять не понял, что значила эта улыбка. Джурабаев тоже выглядел спокойным, но это было спокойствие серьезное, сосредоточенное. Кадырову показалось странным, что Джурабаев ни разу не остановил его, хотя, судя по другим заседаниям, он терпеть не мог, когда перебивали выступавшего, и стоило только кому-нибудь подать с места несдержанную реплику, как самописка секретаря райкома начинала отстукивать на графине, пресс-папье или чернильнице сердитую дробь. Добрым ли предзнаменованием была сегодняшняя покладистость Джурабаева? Во всяком случае, надо было ею воспользоваться; и когда Айкиз затронула вопрос о переселении, Кадыров даже встал с места, чтобы возразить ей. Джурабаев кивнул: говори, слушаем... Однако Кадыров от этого только растерялся и, снова опустившись на стул, угрюмо пробурчал:

— Это кто же, по-вашему, будет переселяться, товарищ Умурзакова? Такие, как Мураталн? Что-то не верится...

— Вот-вот! — подхватила Айкиз.— Вы говорите все это потому, что не верите в народ. Вы не видите в людях желания жить лучше, красивей. Когда будет построен новый кишлак с удобствами, нужными людям, разве не перейдут люди из глинобитных, старых лачуг, в которых гуляют сквозняки, в крепкие, добротные дома? А подумайте только о том, как поможет переселение развитию местной экономики, как поднимет оно культуру. Смирнов прав — в нашей жизни все связано между собой: уцепишься за ветку, а клонится все дерево. Партия зовет дехкан к лучшей жизни, а кто же откажется от хорошего? И мы уверенно смотрим в будущее. А вот вам, товарищ Кадыров, не мешало бы вспомнить о прошлом. Вы и тогда во всем сомневались. Оглянитесь назад: может, Кадыров тех дней расскажет вам о своих ошибках, поделится с вами своим горьким опытом. Поговорите с ним по душам!

Айкиз раскраснелась, глаза ее светились какой-то внутренней силой, а слова приобрели желанную уверенность. Она чувствовала, что люди внимательно, с одобрением слушают ее.

Кадыров расстегнул воротник гимнастерки. Ну вот, так он и знал! Ему уже колют глаза прошлыми ошиб-

ками! Сейчас скажут, что они его ничему не научили, что он не сделал выводов из уроков прошлого... А, будь прокляты все эти беспокойные выдумщики! Не сидится им на месте! Ведь как все хорошо шло!.. Ну да, несколько лет назад он допустил ошибку, но потом покаялся, и теперь ему казалось, что все неприятности позади. Колхоз вышел на одно из первых мест в районе, председатель окружен почетом,— в общем, жить бы да радоваться. Как говорится, от добра добра не ищут. Да и приведут ли к добру рискованные затеи? Один раз получилось, а другой раз может и сорваться. Колхозники сейчас не бедствуют. Родине колхоз тоже приносит пользу. Так нет же! Этой Айкиз все мало! Выскочка!

Но бюро слушает ее с одобрительным вниманием. Перед Джурабаевым не видно обычной горки записок: неужели никто не собирается выступать? Им все ясно, умникам! А может, поддержать Умурзакову? Поднимут они целину, и тогда на всю область, на всю республику прогремит слава о Кадырове! Да, если они эту целину поднимут... А если нет? Хлопот-то и сейчас поверх головы, затылок почесать некогда. А тут новые заботы, новая ответственность. Не выгорит дело — спросят с него, с Кадырова: «А ну, товарищ Кадыров, выкладывай-ка ключи от своего стола!» Нет, рисковать нельзя. Пусть Айкиз рискует, она и не думает о том, что может оступиться. Что ж, это Кадырову на руку... Хм... А вдруг они добьются своего? Повезло же им прежде... Спасибо Султанову, это он выручил тогда Кадырова. Но теперь-то с ним не станут церемониться, пулей вылетит из председательского кресла! И откуда они берутся, эти новаторы? Вон их сколько развелось, как сорняков на заброшенном поле. Все только и мечтают о том, чтобы выдвинуться. Потому-то и носятся со своими планами. Как это сказал о них когда-то Султанов? «Гигантомания!..» Они знают, что Кадыров не пойдет на сомнительные авантюры, вот и решили обскакать его. Но Кадыров ни с кем не хочет делить власть. Он привык к тому, что колхозники при встрече с ним почтительно прижимают руку к сердцу: салам, достойнейший председатель! Он привык в кругу друзей солидно рассуждать о своем колхозе. Он привык к своему кабинету, к обжитому месту за столом президиума, к своим полям, по которым ходит медленно и уверенно, как полновластный хозяин, советуя, указы-

вая, подгоняя... И он зубами вцепится, а не упустит председательского поста. Мы еще поборемся, товарищ Умурзакова! Еще посмотрим, чья возьмет! Там, «наверху», о затее ретивых «застрельщиков» и ведать не ведают. И неизвестно, как-то ее примут. К тому же Кадыров не один, за спиной у него такая гора, как председатель райисполкома. А у того своя гора... Что ж это он молчит?.. Ведь если бюро утвердит этот план, ему тоже придется не сладко. Надо помешать им, иначе все пропало! В одиночку Кадырову с ними не справиться... Он вот сцепился с Айкиз, и ему же надавали по щекам. Кадыров даже потянулся рукой к щеке: ух, как горит! Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног, и весь его вид говорил о растерянности: ведь как ни скрывай болезнь, а жар ее выдаст!

В это время Кадырову пододвинули адресованную ему записку. Он посмотрел на Султанова; тот незаметно кивнул ему и покровительственно улыбнулся. Кадыров развернул записку; в ней было всего несколько слов, выведенных уверенным, размашистым почерком: «Как думаешь — карьеристы они или недальновидные прожектеры?»

Надо сказать, что председатель райисполкома был не только спасителем Кадырова, но и его другом. Правда, это была неравная дружба: с одной стороны — снисходительное похлопывание по плечу, с другой — посильные старания угодить; но зато держалась она на самом прочном фундаменте — на общности интересов. Султанову нужен был Кадыров, Кадырову — Султанов, и оба служили друг другу надежной опорой. Султанов, выручив незадачливого председателя колхоза, нашел в нем преданного сторонника «в народных массах». Кадыров, благодарный Султанову, видел в нем верного покровителя из «начальства». Он искренне восхищался ораторским талантом Султанова, умением в самых трудных обстоятельствах сохранять добродушие и достоинство, его усмешливым, полным уважения к себе тоном. В разговоре с людьми Кадыров невольно употреблял излюбленные жесты, словечки Султанова, а в последнее время все чаще и чаще ссылался на его имя: «Товарищ Султанов сказал то-то», «Товарищ Султанов дал такое-то указание».

Он понимал Султанова с полуслова и сейчас, получив его записку, расправил плечи, поудобней уселся

на стуле, поднял голову. Айкиз говорила что-то о средствах на строительство поселка, о помощи государства новоселам, о задачах строительных бригад. Но Кадыров уже не слушал ее. Хозяин района не она, а Султанов, и решающее слово будет за ним. Он знает, что делать; у него — авторитет, опыт, он поставит эту выскочку на место!

Облегченно вздохнув, Кадыров спрятал записку в нагрудный карман. От нее словно исходила начальственная теплота, она согревала ему сердце. Он мало что понял из речи председателя райисполкома, выступившего вслед за Айкиз; он прислушивался с упоением лишь к бархатному рокотанию его баритона, к насмешливой или гневной интонации восклицаний, обращенных к предыдущим ораторам, и думал блаженно: «Есть все-таки руководители, на которых можно положиться, которые способны дать по рукам — как это он написал? — ну да, недальновидным прожектерам!»

А Султанов между тем, картинно взмахивая рукой, улыбаясь то добродушно, то иронически, с удовольствием отчеканивал звучные фразы. Он любил произносить речи!

— Красно, красно говорила товарищ Умурзакова! Но очень уж благополучно у нее все получается. Сплошная идиллия: пришли, увидели, победили! А мы, коммунисты, привыкли смотреть правде в глаза. Розовые очки нам не к лицу! Конечно, как говорится в народе, правда глаза колет. Но я все-таки предпочитаю правду, а не легкомысленные прожекты!.. Как председатель райисполкома, я хорошо знаю положение вещей. Умурзакова нарисовала тут умилительную картину: ворох заявлений о переселении, новый поселок; колхозники, перегоняя друг друга, спешат с гор в пустынную степь! А на деле-то все не так!

Учтите силу привычки, товарищи! Мы не можем сбросить со счетов такой укоренившийся в душах дехкан «предрассудок»,— Султанов усмехнулся,— как привязанность к родному клочку земли. Дехканин не перелетная птица — нынче здесь, завтра там. Он корнями ушел в землю, которую обживали еще его деды! Ему дорог родной дом, как бы плох он ни был. И ведь взамен-то ему предлагают не лучшее! Новые, благоустроенные поселки — это, конечно, красиво. Но где мы собираемся их строить? В голой, открытой всем ветрам

степи...— Он потянулся было расстегнуть воротник своего кителя, но тут же отдернул руку. Хотя Султанов никогда не был на фронте, он еще с войны начал носить одежду строгого военного покроя и любил щегольнуть «военной» подтянутостью и аккуратностью: на людях, даже в сильную жару, китель его всегда был наглухо застегнут. Откинув со лба короткую прядку иссиня-черных волос, он, все больше увлекаясь, продолжал: — Почему никто не сказал, что целина граничит с Кызылкумами? А Кызылкумы — это суховеи, которые жарким своим телом навалятся на беззащитный хлопок! Это песчаные смерчи, способные все разметать на своем пути! Я знавал, товарищи, работников треста, которые запланировали артезианский колодец в таком месте, где и людей-то не было. Вода выходила из земли, чтобы тут же снова уйти в землю. Не рискуем ли мы уподобиться таким работникам? Хлопок-то мы посеем, а убирать его будут суховеи да песчаные бури! Переливание из пустого в порожнее — вот как это называется, товарищи! Народ облек меня высокой властью, и пусть простят меня авторы столь заманчивого, но рискованного плана, если я, защищая интересы народа, задел их самолюбие, если мои слова поранили их, как острие кинжала. Они затеяли вредное и опасное дело, и мой долг — сказать об этом! От нас, хлопкоробов, партия требует одного: непрерывного, постоянного повышения урожайности хлопка. Для этого мы должны более эффективно использовать наличные, уже освоенные земли!.. Прав товарищ Кадыров, освоение новых земель — это для нас дело далекого будущего. И вы, товарищ Умурзакова,— с пафосом воскликнул Султанов,— не сбивайте нас с верного пути, не зовите в пустыню, в когти к песчаным бурям!.. Еще раз прошу, не обижайтесь на меня за прямоту. Как говорит пословица, верблюду положено быть горбатым, а слову — прямым!..

Султанов говорил долго, но его не прерывали: хоть председателя райисполкома считали краснобаем, однако речи его, цветастые, как ковер, а порой острые, словно перец, обычно выслушивались с интересом. Джурабаев в раздумье тер ладонью подбородок. Участники заседания переглядывались с лукавыми усмешками: «Круто забирает председатель!»

Кадыров уже торжествовал победу, но дальнейший ход заседания разочаровал его. Члены бюро, председа-

тели других колхозов, которым по плану тоже предстояло осваивать целинные и залежные земли, в своих выступлениях горячо поддержали этот план. Кадыров недоумевал... Он не понял, что коммунисты района внутренне уже были готовы к этому. Они решительно встали на сторону Айкиз и Смирнова не только потому, что тем удалось убедить их, но и потому, что сами всей душой желали того же. Возражая Султанову, выступавшие указывали, что в плане учтены и суховеи, и песчаные бури, и напоминали, что красноречивый председатель райисполкома не часто выезжает в степь и о смерчах, которые не на каждый-то день приходятся, знает лишь понаслышке. Впрочем, выступивших было немного. Все устали, спорить больше не хотелось. Джурабаев, оглядев собравшихся, скомкал лист бумаги, на котором набросал конспект выступления, и ограничился коротким заключительным словом:

— Это хорошо, товарищи, что мы сегодня крепко поспорили! Теперь, я думаю, всем ясно: мы должны и можем поднять целину. Вот товарищ Кадыров ссылается здесь на текущий план: мол, хватит с нас и сегодняшних забот. Есть план — вот и выполняй его. Но планы мы составляем для блага людей, товарищи! И если оттого, что мы возьмем на себя дополнительные обязательства, людям станет лучше,— надо брать эти обязательства. Хлопок, зажиточность, расцвет культуры — разве ради этого не стоит напрячь все силы? Конечно, людям нашего района и сейчас живется в общем неплохо. Это верно. Но они хотят жить еще лучше. А завтра еще и еще лучше! И на этом пути к лучшему отдыхать нам некогда; народ не простит нам, если мы два года подряд простоим на одной и той же ступеньке, украдем у дехканина лишний рубль, новый дом, новый клуб... Потому-то мы не можем согласиться и с товарищем Султановым. Он пытался демагогически противопоставить наше желание освоить новые земли и получить дополнительные тонны хлопка борьбе за повышение урожайности. Но разве одно мешает другому? Мы и с целины постараемся снять как можно больше хлопка! Я считаю, что товарищи, выдвинувшие план освоения целины, проявили ценную инициативу, и предлагаю распространить этот план на другие сельсоветы нашего района. Товарищ Султанов пугал нас труд-

ностями. Спасибо, что он еще раз напомнил нам о них. Я допускаю, что товарищ Умурзакова в пылу энтузиазма несколько злоупотребила розовыми красками. Трудности будут, и надо мобилизовать народ на их преодоление; надо звать народ не только к счастью, но и борьбе. Трудности будут, но нам ли, коммунистам, пасовать перед стихией и стариковской приверженностью к обжитым мазанкам в горах? На фронте ведь никому и в голову не пришло бы закричать: «Впереди — враг, бежим!» Предлагаю, товарищи, приступить к голосованию...

Все это было для Кадырова неожиданным и сильно смутило его. Он впился вопрошающим взглядом в Султанова. Тот после выступления Джурабаева с наигранной веселой покорностью развел руками: что ж, приходится смириться. Однако при голосовании воздержался. А когда бюро закончилось и оба вышли на улицу, Султанов хлопнул друга по плечу и ободряюще произнес:

— Не вешай нос, раис! Как говорится, цыплят по осени считают.— Он с наслаждением вдохнул свежий, пропитанный весной воздух и неожиданно предложил: — А пока пойдем ко мне плов есть. Пойдем, пойдем! Жизнь коротка, не будем терять драгоценное время!

Айкиз вышла из райкома последней. На улице уже хозяйничал вечер. Над поселком простерлось темно-голубое небо, запорошенное яркими, колючими искорками звезд. Айкиз медленно спустилась по каменным ступенькам на тротуар и едва ступила в дрожащий, радужный круг от фонаря, как ее шумной стайкой окружили девушки — подруги из Алтынсая. Со всех сторон посыпались вопросы и восклицания.

— Ой, Айкиз, а мы тебя ждем, ждем...

— Понимаешь, мы кончили работу, уговорили шофера — и сюда!

— Весь колхоз гудит как улей; только и разговоров, что о целине.

— Айкиз, а как мы назовем новый поселок?

— Айкиз, Айкиз, ну как там с планом?

— Слушай, Айкиз! Давай разобьем вокруг поселка большу-у-щий сад. А то погулять будет негде: ведь голая степь кругом!

Айкиз захлестнул этот водоворот. Невольно поддаваясь общему возбуждению, она выкрикнула задорно и звонко:

— План принят, девушки! Теперь — за работу!

— А как Кадыров, Айкиз?

Айкиз со смехом махнула рукой:

— А ну его!..

— Айкиз, поедем с нами! — снова затормошили ее девушки.— Байчибара мы в машину посадим. Пускай покатается!

— Нет, девушки, у меня на утро остались кое-какие дела. Заночую здесь.

К Айкиз подошла давняя ее подруга Михри. Она тихонько взяла Айкиз за локоть и, словно ища у нее утешения, прижалась плечом к ее плечу. Айкиз с удивлением взглянула на ее опечаленное лицо:

— А ты что такая грустная? Эх, Михри, выше голову! Скоро ты станешь хозяйкой в большом новом доме. Ждать уже недолго, Михри!

Михри с невеселой улыбкой покачала головой:

— Отец не хочет переселяться, Айкиз.

И Айкиз показалось вдруг, что мохнатая звездочка, повисшая в конце улицы, над горизонтом, насмешливо подмигнула ей.

«Неужели же прав Султанов? — таким тревожным вопросом заканчивала свое письмо Айкиз.— Неужели дехкане не захотят переселяться?.. Да нет, я уверена в нашей правоте, люди поддержат такое хорошее дело. Ведь это для их счастья... Но приезжай поскорей, Алимджан, родной мой, мне так тяжко без тебя...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО

Да, письмо, как и предполагала Айкиз, получилось большое и немного суховатое. А ей хотелось вложить в него все, что так волновало ее сейчас. Перечитывая торопливо написанные строки, она испытывала двойное чувство — в ней еще не остыл гнев против Кадырова, и вместе с тем волнующая радость от сознания, что их план одобрен, наполняла ее удовлетворением.

Вспомнив, что нужно готовить обед, Айкиз быстро развела под котлом огонь, чтобы сварить к приходу

отца шурпу, которую он так любил. Не успела она вложить письмо в конверт, как во дворе показались Умурзак-ата, директор МТС Погодин и Смирнов, назначенный на бюро райкома начальником строительства.

— Принимай, хозяюшка, гостей! — еще от калитки прогудел Погодин.

Первым на айван не спеша поднялся Умурзак-ата, потом легко, как юноша,— сухощавый Смирнов, а за ним, гулко бухая сапогами,— Погодин. Поздоровавшись с ними, Айкиз пригласила всех во двор, к водоему, возле которого высилась застеленная ковром просторная супа.

— Вот не утерпели. Пришли посоветоваться,— сказал Погодин, переводя взгляд с Айкиз на котел с закипавшей водой.— Если варишь шурпу, советуясь с другими, она никогда не прокиснет. Так, кажется, у вас говорят?

— Ты, Иван Борисыч, все наши пословицы знаешь! — улыбнулась Айкиз.

— Ну, все не все, а немножко знаю...

Смирнов с невинным видом, ни к кому не обращаясь, медленно произнес:

— Есть в Алтынсае одна девушка... Красивая, бойкая, веселая! И к тому же больша-ая любительница пословиц. Не помню только, как ее зовут...

— Уж не Лолой ли? — с лукавой усмешкой подсказала Айкиз.

— Верно, верно! Лолой! И пословицы-то я от нее слышал точь-в-точь такие, как от Ивана Борисыча!

Погодин густо покраснел, буркнул что-то себе под нос и свирепо посмотрел на Смирнова. Тот весело рассмеялся.

— Да ты не смущайся, директор, мы люди свои. Пишет она тебе?

— Пишет...— смягчаясь, сказал Погодин.— Но редко.

— Понимаю,— серьезно кивнул Смирнов,— всего один раз в день! И значит, остается спросить только об одном: когда же свадьба?

Айкиз взглянула на Погодина с ласковым удивлением. Она привыкла к другому Погодину, к шумному, крутому, горячему. Ей странно было видеть его притихшим, застенчивым. А Погодину приятно и тягостно было говорить о Лоле... Перед ним вдруг возникло ее

лицо: румяные, словно розы, щеки, брови — две черных полумесяца, длинные-длинные ресницы, большие смеющиеся глаза, которые, казалось, спрашивали: «Что же ты не говоришь мне о своей любви, не зовешь в свой дом?» Да, он до сих пор так толком и не поговорил с Лолой. В последнее время они и виделись-то не часто: Лола, верная своей мечте, училась в Ташкенте на садовода-селекционера... Что мог он ответить Смирнову? Совсем смутившись, Погодин поспешил перевести разговор на другое:

— Кстати, Айкиз, ты написала Алимджану о вчерашнем бюро?

— Ну конечно же, написала! Даже телеграмму отправила.

— То-то! Я тоже хотел ему телеграфировать, да подумал: не стоит забегать вперед, твоей подписи Алимджан обрадуется больше, чем моей.

Пока они разговаривали, перебрасываясь шутками, Умурзак-ата успел раскопать яму возле водоема, где еще с прошлой осени были зарыты овощи, выбрал несколько крупных редек, нарвал на огороде молодого лука — нежно-зеленого, тонкого, как хвоя, принес из дому соленые огурцы, помидоры и дыню. Дыни хранились у него в подвешенных к потолку плетушках из расплющенных камышовых стеблей. Когда он вернулся к супе, там уже говорили о предстоящем массовом выходе в степь.

— Вот что, Айкиз,— сказал Смирнов, и темная горошинка-родинка проворно задвигалась на его подбородке.— Как молвится в пословице, которые так любит наш дорогой директор: куй железо, пока горячо! Не пора ли нам приниматься за дело?

— Твоя правда, сынок,— поддержал его Умурзак-ата, нарезая редьку в большую фаянсовую касу.— Со всем, кроме смерти, следует торопиться. Отложишь дело — оно остынет, как шурпа на холоде, покроется плесенью.

Айкиз, чтобы тоже не терять времени даром, разогрела самовар, заварила в пузатом чайнике кок-чай, расстелила на супе скатерть, поставила вазочки с конфетами, поджаренным горохом и изюмом, узорчатые зеленые пиалы, разломала на небольшие ломти пшеничную лепешку и, сходив за шурпой, стала разливать ее по тарелкам.

— Так как же, Айкиз,— накладывая себе редьку, спросил Смирнов,— может, начнем раньше, чем думали?

— А вы говорили об этом с Джурабаевым? Ведь есть график, утвержденный райкомом...

— Сегодня Джурабаев уже заезжал ко мне на водохранилище. Разузнавал, готовы ли мы к наступлению на степь. Он посоветовал собраться нам троим и подумать, не сможем ли мы уже на днях приступить к подготовительным работам. Давайте же не откладывать, товарищи! — закончил Смирнов с таким сердитым пылом, будто кто возражал ему.

Айкиз отодвинула тарелку с недоеденной шурпой и тихо сказала:

— Вы знаете, меня уговаривать не нужно. Чем скорей, тем лучше. Вон и отец говорит, что надо торопиться. Я знаю, что наши колхозники поддержат нас. Ведь сколько раз они обсуждали все. Их уговаривать теперь не надо — они ждут дела. Вот только Кадыров...

— От Кадырова пока ничего не требуется. Мы толкуем сейчас лишь о подготовке к массовому выходу, а основная ее тяжесть ляжет на нас. Я уточню проект нового водохранилища. Иван Борисыч выведет на передовую свою технику. А ты, Айкиз, займешься поселками. Договорились? Как ты на это смотришь, Иван Борисыч?

— Я что же... Я всегда — за! — пробасил Погодин.— Раньше начнем — лучше подготовимся. А подготовиться надо хорошенько. Поднять целину — не волос из теста вынуть.

Все рассмеялись, а Погодин махнул рукой:

— Да ну вас! С вами и говорить нельзя.

Смирнов отправил в рот желтоватую, вкусом похожую на мед дольку дыни и даже зажмурился от удовольствия.

— Ох и вкусна!

— Скоро свежие будут,— сказал Умурзак-ата и показал на огород.— Вон их сколько.

Айкиз посмотрела на гряды с дынями, нежившимися под лучами полуденного солнца, и предложила:

— Надо бы посадить дыни и на новых землях. Пусть целинникам будет чем освежиться в жаркий день.

— Опоздала, Айкиз!— торжествующе хохотнул Погодин.— Я уже присмотрел место под бахчу.

Беседа продолжалась долго. Солнце с неохотой начало свой ниспадающий путь к горизонту. Зной отяжелел, обрел давящую плотность, словно с неба лились не солнечные невесомые лучи, а растопленное горячее масло. Но здесь, на супе, жара чувствовалась меньше: от затененного водоема, над которым густым шатром нависли ветви тала, тянуло прохладой, да и сама супа стояла в тени — со всех сторон ее окружали пышнокронные деревья, и движение дня сказывалось лишь в том, что тень одного дерева сменялась тенью другого.

Друзья допивали уже третий чайник, Погодин в десятый раз доставал платок, чтобы вытереть со лба испарину, когда Смирнов наконец поднялся и, поблагодарив хозяев, сказал:

— Ну, кажется, все ясно. Тебе, Айкиз, надо бы завтра собрать председателей колхозов, договориться с ними обо всем. И за дело.

● ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Алтынсайцы готовились к массовому выходу. В домах точили кетмени, лопаты, готовили рабочую одежду, чинили обувь. Комсомольцы писали лозунги, хлопотали над специальным выпуском стенгазеты.

Больше всех доставалось, конечно, Смирнову, Айкиз и Погодину.

Смирнов днем пропадал на участках, где предстояло возвести круговую дамбу и соорудить водораспределители, осматривал трассу будущего канала, совещался с прорабами. А вечерами в одной из комнат дома, в котором помещалась контора управления, вновь и вновь склонялся над проектом реконструкции водохранилища.

В один из таких вечеров Смирнов, вконец одуревший от табачного дыма, густой пеленой стлавшегося по комнате, решил пройти на плотину. Высокий, худощавый, в расстегнутой косоворотке, он стоял у перил, засунув руки в карманы просторных парусиновых брюк, и свежий ветерок гор, вобравший в себя прохладу вечера, ледников и рек, ерошил его белесые без солинки седины волосы, овевал холодком открытую шею. Ночь была светлая, лунная; диск луны отражался в темной

ряби водохранилища. Казалось, кто-то уронил в воду слиток серебра и он переливчато светится на дне... Легкие волны поплескивали о берег, обшивая его кружевцем пены.

— Море!.. Настоящее море!— прошептал Смирнов. Налюбовавшись водохранилищем, Иван Никитич перешел на другой край плотины, поближе к Алтынсайской ГЭС. Далеко внизу клокотала, гремела, словно грозила кому-то вырвавшаяся на волю река. Сквозь этот шум со стороны хлопковых полей пробивалось ровное, спокойное гудение. Смирнов пригляделся и различил далекие-далекие движущиеся огоньки: это, засветив фары, неутомимыми светлячками ползали по земле погодинские тракторы. «И в темноте работают!— с доброй улыбкой подумал Смирнов.— Спешат отсеяться. Ну-ну, Иван Борисович! Жми на все педали! Скоро массовый выход». Взбодренный, радостный, Смирнов, вздохнув полной грудью, зашагал в контору.

Эмтээсовцы действительно спешили. Нужно было поскорей закончить весенний сев, чтобы перебросить на целину как можно больше техники. На целине, окруженный массивами непаханых земель, принадлежащих нескольким колхозам, сооружался — силами самой МТС — полевой стан для тракторных бригад.

Когда эмтээсовцы впервые пришли сюда, они увидели сухую, серую, покрытую пыльной травой землю. Траву спалили, землю разровняли. Среди степи разметалась тусклым озерком широкая площадка. Прошел еще день, площадку заполнили штабеля досок, шифера, балок. Штабеля быстро уменьшались, зато рос не по дням, а по часам сборный домик с просторной верандой, где должны были разместиться штаб тракторной армии, медпункт, красный уголок. По краям площадки легли темные прерывистые линии: сюда уже начали подвозить цистерны, бочки с горючим. В общем вид участка, отведенного под полевой стан, менялся изо дня в день, словно беспокойный, взыскательный художник стирал одни штрихи и краски и тут же наносил другие, располагая их строже и гармоничнее.

За арыком, протянутым к полевому стану от недавно освоенных земель, которые директор МТС про себя называл уже «старыми», раскинулась заложенная Погодиным небольшая бахча.

Однажды на бахчу заявился Суванкул, работающий

в тракторной бригаде, уже переведенной на целину. Еще в прошлом году он был бригадиром в колхозе «Кызыл юлдуз», но тесно стало богатырю Суванкулу на «старых» колхозных полях, и он ушел в МТС, к Погодину, поднимать новые земли.

Долго стоял Суванкул на краю бахчи. Долго смотрел на аккуратные грядки, которые сам директор МТС засадил арбузами и дынями, чтобы было чем полакомиться трактористам в сухие, жаркие дни.

Постояв, посмотрев, не спеша, основательно над чем-то поразмыслив, Суванкул отправился в Алтынсай и принес оттуда нежно-зеленую рассаду райхона. Пока суд да дело, пока созревают на бахче арбузы и дыни, пусть любуются друзья-трактористы веселой, кудрявой травкой, наслаждаясь ее пряным, сладко-горьким запахом. А какое это объедение — мастава, засыпанная райхоном!.. Всем супам жарким и острым Суванкул предпочитал маставу: прохладное кислое молоко и пахучий райхон придавали ей неповторимый вкус. Даже Погодина, больше всего любившего шурпу, Суванкул сумел обратить в свою веру. После его страстной агитации мастава в обеденном меню директора МТС одержала над шурпой решительную победу.

Целый день, сдав смену напарнику, возился Суванкул на бахче, опоясывая ее рассадой райхона. За этим занятием, уже перед вечером, и застал его колхозный бригадир Бекбута, пришедший проведать друга. Вид громоздкого, неуклюжего Суванкула, бережно, словно нянька, укладывающего в землю малютку-траву, рассмешил Бекбуту. Суванкул обернулся на смех, медленно, словно бы с неохотой, разогнул спину и, даже не поздоровавшись с гостем, напустив на себя угрюмость, спросил:

— Что зубы скалишь?

— Вижу тебя живым-здоровым, вот и радуюсь,— весело откликнулся Бекбута.— Салам алейкум, светоч сердца моего, высочайшая из вершин Коктау!

— Здорово, неутомимейший из болтунов! Зачем пожаловал?

— Соскучился, друг. Ну, мочи нет, как соскучился,— подкупающе серьезно сказал Бекбута, усаживаясь рядом с Суванкулом на землю.— Давненько мы с тобой не виделись. У меня уж язык затупился; нет бруска, о который я мог бы его поточить.

— Это я, значит, брусок? — неосторожно вырвалось у Суванкула.

— Угадал, друг! — обрадовался Бекбута.— Ты, дорогой, делаешь успехи. Верно, мой язык — нож, твоя голова — брусок. Бруски, правда, делаются из более добротного материала...

Суванкул усмехнулся с добродушной снисходительностью:

— Даже Смирнову не построить плотины, которая остановила бы поток твоей болтовни. Может, чаю тебе дать, чтоб заткнулся? Этого добра у нас на стане хватает, пей сколько влезет.

Предложение Суванкула еще больше развеселило Бекбуту.

— Чай!.. Ха-ха!.. Он хочет угостить меня чаем!..— заливался он, покачиваясь взад-вперед и восторженно хлопая себя по коленкам.— Да пока ты сходишь за чаем, я успею слетать в кишлак и вдоволь начаевничаюсь у себя дома. Сиди уж, проворнейший из проворных!

Суванкул в душе только незлобиво посмеивался, слушая Бекбуту. Сердце его давно жаждало встречи с другом. Сидя за рулем трактора, нерасторопно, но старательно подминая под свой мощный ДТ-54 упрямые степные просторы, он часто вспоминал о том, как вместе с Бекбутой и Алимджаном работал на Кокбулаке, добывая воду для хлопковых полей, как позднее, уже на новых землях, тягался с другом в азартном трудовом споре. Он был от души рад приходу Бекбуты, но старался ничем не выдать своей радости. Не обращая внимания на насмешки гостя, он все-таки пошел на полевой стан, притащил оттуда пузатый чайник и две пиалы и, наливая Бекбуте крепкий, горячий кок-чай, с невинным видом осведомился:

— Ты, значит, проделал такой длинный путь только для того, чтобы угостить меня парой заплесневелых аский?

— Дареному коню в зубы не смотрят. Но если желаешь, давай потолкуем, как мужчина с мужчиной. Не повезло нам, дорогой: такие дела творятся, а мы с тобой у разных хозяев...

— Погодин мне друг, а не хозяин. Это Кадыров как хочет вами командует.

— Э, в том беды нет, пусть себе командует на здоровье. Он ведь командир толковый, с ним большие дела можно делать... пока ему вожжа под хвост не попадет.

— Обуздаем! — уверенно сказал Суванкул.— Вон нас сколько!..

Но Бекбута с сомнением покачал головой:

— Не так все просто, друг. Он ведь, наверно, тоже не один?

— Айкиз-то его не испугалась! Говорят, воробьев побоишься — проса не посеешь.

— Верно, пускай воробьи нас боятся, каких бы важных персон они из себя ни корчили!..

За разговором, за шутками, каждая из которых сопровождалась громким смехом, друзья не заметили, как к ним подъехал... сам Кадыров. Выплюнув насвай, он с угрозой спросил:

— Что ржете, как жеребцы?

Друзья, как по команде, обернулись и, увидев, как хмур раис, вспомнив недавний разговор о нем, едва удержались от нового приступа смеха.

— Ишь веселятся! — разозлился Кадыров.— Что я вам, бродячий циркач с обезьяной?

— Уж и смеяться нельзя...— пробормотал Бекбута, несколько ошеломленный неожиданным появлением председателя, но Кадыров оставил его реплику без внимания и обратился к Суванкулу:

— Где Уста Хазраткул?

— А кто его знает,— безразлично пожал плечами Суванкул.— Он передо мной не отчитывается. Верно, отдыхает на стане.

— Отдыхать он мог бы и у себя дома. И твое место, Бекбута, тоже в кишлаке. Нечего по гостям расхаживать.

Бекбута хотел что-то ответить раису, но Кадыров яростно хлестнул коня, и тот рванулся к полевому стану — только пыль прянула из-под копыт.

— Скажи пожалуйста,— проворчал Бекбута.— Наш смех ему не понравился!.. Верно молвит пословица: вору в каждом прохожем милиционер мерещится.

— Нет такой пословицы!

— Считай, что уже есть. Слова, рожденные в этой голове,— Бекбута постучал себя пальцем по лбу,— как птицы, разлетаются по всему свету.— Он задумался.—

Да-а... Неспокойно на душе у раиса. Ты приметил, что-то он часто стал насвай жевать... Неспроста это.

Суванкул, на которого грозный налет Кадырова не произвел ни малейшего впечатления, со спокойным любопытством следил за Бекбутой, а когда тот кончил говорить, издевательски ухмыльнулся:

— Гляди, как расхрабрился!.. А при раисе дрожал, будто огонь под ветром!..

— Ты тоже мастер после драки кулаками махать,— язвительно отозвался Бекбута.— С Кадыровым в молчанку играл, а теперь надулся от важности, что твой индюк!

— Отчего ж не надуться? — самодовольно возразил Суванкул.— Моей храбрости хватит на сотню таких, как ты, да еще останется... на черный день.

Он захохотал густым, раскатистым басом, и в его хохот тонкой нитью вплелся резкий смешок Бекбуты:

— То-то у тебя пиала прилипла к губам, как только завидел раиса.

— Эй, эй! Легче на поворотах!.. Сам ты разве не проглотил со страху ответ на приветствие дорогого гостя?

Но клинок его насмешки отлетел в сторону, со звоном ударившись о булат ловкого отпора:

— А ты, дорогой, проглотил и ответ на приветствие, и приглашение к чаю, и чай, и пиалу, и все свое хваленое хлебосольство!.. Вместительное же у тебя брюхо!

— Пожалей меня, Бекбута,— взмолился Суванкул.— Помру ведь от смеха!

— Что, щекотно от моих шуток?

— Просто живот надорвать можно, видя, как воробей силится взлететь выше орла! Умора, да и только!..

— Смешон и верблюд, боящийся мышей!..

Суванкул, как и Бекбута, любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. Он вдруг поднялся с земли и небрежно бросил:

— Заболтался я с тобой. Тебе ведь приказано идти в кишлак. А мне пора заступать на смену.

— Боишься своего директора? — тоже вставая, поддел друга Бекбута.

— Одного боюсь пуще смерти: подвести Ивана Борисыча. Он-то себя не жалеет... Да, друг, неохота с тобой расставаться, а надо. Ты иди отлежись. Врача не забудь вызвать. Уж полчаса, как уехал твой раис, а

ты все белый как полотно. Бери пример с Айкиз, дорогой! — Он покровительственно похлопал Бекбуту по плечу и неторопливо зашагал к полевому стану.

Суванкул был прав. Погодин в эти дни не жалел себя. Мотоцикл его, как бешеный, носился от МТС на целину, от целины к МТС. Большую часть времени Иван Борисович проводил на новом полевом стане. Его рокочущий бас слышался то в одном, то в другом конце площадки,— то это было ровное, добродушное рокотание, то оно переходило в раскаты грома.

Бригадир строительной бригады МТС, возглавлявший работы на стане, был человеком медлительным, неповоротливым. Погодин не раз говорил про него: «Выгоню я этого увальня. Или перевоспитаю к чертовой матери. Попрыгает он у меня». Каждый день директор требовал от него подробный отчет: что сделано, что предстоит делать через час, через сутки. Потом тяжеловатой походкой обходил постройки, склады, что-то ворча себе под нос; расспрашивал трактористов, довольны ли они тем, как идет работа, какие у них есть предложения.

Накануне массового выхода у Погодина произошла крупная стычка с бригадиром. Он приехал на стан в полдень; иные из строителей и трактористов обедали в столовой под шиферным навесом, иные завалились вздремнуть на траве, рядом с площадкой. Они лежали, надвинув на лица кепки и тюбетейки, а солнце плескало в них сухим жаром...

Погодин насупился, велел позвать бригадира, а когда тот подошел, хмуро спросил:

— Почему не начали строить навес, под которым люди могли бы отдохнуть? Я вчера дал вам указание.

— Иван Борисыч... Да ведь сперва об этом навесе и речи не было!

— Сперва! Сперва! Сперва я и сам недодумал. А ты все время на этом пекле, мог бы, кажется, догадаться: людям тут жить, работать, значит, надо сделать так, чтобы они отдохнуть могли. Поработал — пойди в тень, полежи, вздремни. А мы? Первым делом — отгрохали дом для начальства. Начальства еще нет, а канцелярия уже готова! Садись составляй сводки!.. А наши ребята жарятся под солнцем!.. Сегодня же устрой навес и поставь нары.

Он еще раз оглядел площадку и ткнул пальцем в дальний ее угол:

— А там сколоти ларек. Потребуем, чтоб сюда направили кого-нибудь из кооператива.

— Да ведь вы...

— Знаю, не говорил еще о ларьке. Да у тебя-то есть голова на плечах?

Бригадир вытер со лба пот и попытался улыбнуться:

— Если уж вы со своей головой только сейчас спохватились...

— А ты не заискивай! И не ищи грязь под ногтями! Я не аллах, чтоб за всех думать. Я еще недавно простым механиком был. Ну, почему вы думаете, что начальство должно за все болеть, а вам положено только слушать да исполнять? Заруби себе на носу: мудрая голова — это десять голов!

Бригадир стоял, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, и Погодин махнул рукой:

— Чтоб завтра все было, как я сказал. Поглядел бы ты на Умурзакову,— как она заботится о людях!

Попрощавшись с бригадиром, он направился в столовую.

Погодин не случайно упомянул об Айкиз. За последнее время ему часто приходилось встречаться с ней, и директор исподволь приглядывался к ее работе...

Айкиз в эти дни тоже не знала покоя. Дел хватало и в сельсовете, а кроме того, ей приходилось наблюдать за проектированием новых поселков. Джурабаев после бюро предупредил ее: «Вопрос с переселением — сложный, щекотливый. Действуйте осмотрительно». Айкиз казалось: для того чтобы дехкане переселились в новые дома, нужно одно — сделать так, чтобы им захотелось переселиться, чтобы на вновь построенные поселки с завистью смотрели дехкане из лучших, самых благоустроенных кишлаков.

Начало строительных работ приурочивалось ко дню массового выхода. Накануне этого дня Айкиз поехала на участок, где должны были строить дома для дехкан из колхоза «Кызыл юлдуз».

Байчибар весело трусил по краю шоссе, чуть кося глазом, когда мимо проезжали грузовики, потом свернул на дорогу, ведущую в степь. Собственно, дороги еще не было, просто бежали вдаль две неглубокие колеи, и земля между ними была чуть ровней и утоптан-

ней, чем вокруг. Айкиз еще от шоссе увидела палатку, раскинутую в степи проектировщиками, а неподалеку — фигурки людей, двигавшиеся по площадке с деловитой, продуманной целеустремленностью. Каждый шаг строителей диктовался, видимо, какой-то необходимостью, но со стороны, издали, трудно было уразуметь смысл этих передвижений — это напомнило Айкиз немое кино.

Айкиз придержала коня. Ей захотелось, призвав на помощь воображение, представить, как будет выглядеть будущий поселок — аккуратный, беленький, опушенный кудрявой зеленью садов, по вечерам залитый электрическим светом. Но воображение не повиновалось ей: вместо веселых садов и чистеньких домиков Айкиз увидела жалкие хибарки, в которых еще ютились жители горных кишлаков, бедные дворики с одинокими деревьями, растрескавшиеся крыши из глины, испещренной прожилками соломы, земляные полы, застеленные сеном и пыльными коврами...

У Айкиз сжалось сердце. «Как медленно мы строим! — подумала она с тоской.— Мало заботимся о людях!» Она в сердцах хлестнула Байчибара, и тот стрелой понесся к белевшей вдали палатке.

На участке ее ждала неожиданная встреча. Она застала здесь не только проектировщиков, но и Муратали и бригадира колхозных строителей Уста Хазраткула.

Муратали бригадирствовал на землях Алтынсайского массива. В этот день он с колхозниками своей бригады копал арык и расчищал тянувшийся вдоль поля небольшой канал, занесенный песком. Отсюда видна была целинная степь. В минуты передышки старик, опершись ладонями о рукоятку кетменя, мечтательно смотрел в степную даль... В будущем году его бригада начнет растить хлопок на новых участках; хлопка станет больше, у Муратали прибавится и зерна и денег. Он уже прикидывал в уме, что бы такое приобрести на эти деньги. Пожалуй, пора купить для дочери кое-какую мебель... Ей вон и платья некуда вешать, а ведь она невеста; вещей ей требуется все больше и больше. Жаль только, тесновато у них в доме... Надо бы сладить новый, попросторней, побольше. Да где там! И денег не хватит, и развернуться негде, двор у него тоже с овчинку...

Степь уже пробуждалась от долгого сна. Тут и там

хлопотали люди. Вдалеке, рядом с легким домиком, вытянулись аккуратные столбы. На столбы легли голубоватые шиферные крыши. Муратали знал: это строятся трактористы. А что это за палатка белеет чуть левее, поближе к Муратали? Старик давно приметил: люди, живущие в ней, промеряют землю, перетаскивают с места на место диковинные приборы на трех ногах, длинных, как у журавлей. А сегодня возле палатки появился Уста Хазраткул, схожий с высоким кряжистым дубом. Муратали был беспокойным стариком. Снедаемый тревожным любопытством, в полдень, едва бригада закончила расчистку канала, он зашагал к таинственной палатке.

Уста Хазраткулу сегодня тоже нечего было делать у проектировщиков. Но это только казалось, что нечего... Бригада его готовилась к строительству нового поселка. И Уста Хазраткулу хотелось на месте подумать, как лучше обделать одно дело...

Спрыгнув с Байчибара, Айкиз направилась к Муратали. Старик стоял поодаль от палатки, мрачный, нахохленный. Но Айкиз так обрадовалась его появлению на строительной площадке, что не заметила ни его насупленных бровей, ни плотно сжатых тонких губ.

— Добрый день, Муратали-амаки[1]! — весело поздоровалась Айкиз.— Пришли проверить, хорошее ли место выбрали мы вам для жилья?

Старик посмотрел на нее сердито, молча повернулся и медленной походкой пошел через степь к своему участку. Айкиз проводила его чуть растерянным, огорченным взглядом, а обернувшись, увидела рядом с собой Уста Хазраткула. Он глядел на нее сверху вниз, и его густые, длинные, опущенные книзу усы насмешливо шевелились.

— Дурит старик! — сказал он, отвечая на безмолвный вопрос Айкиз.— Я тоже поначалу думал, что он пришел посмотреть, где ему жить придется. Подошел к нему по-хорошему... А он на меня — волком! И что эти старики так цепляются за свои лачуги? Будто их канатами прикрутили... Я вот жду не дождусь, когда меня переселят из Катартала в новый кишлак!..

Айкиз задумчиво покачала головой.

— Не так-то все просто, Уста-амаки. Порой люди

[1] Амаки — вежливая форма обращения; буквально — дядя.

с каким-нибудь ненужным тряпьем и то не могут расстаться! — Неожиданно на ее губах мелькнула улыбка.— Ну, а вы зачем здесь? Тоже сейчас убежите?

— Нет, мне надо еще побродить да покумекать. Мне ведь тут тоже жить... Скажи-ка, председатель, надо ведь поскорее построить эти дома?

— Поскорее-то хорошо бы, Уста-амаки!

— А как ты считаешь, цемент да кирпич с неба свалятся? Или придется за них немножко повоевать?

— Это уж как положено! — рассмеялась Айкиз.

— То-то и оно. Я вчера Султанова повстречал: он вместе с заведующим нашей фермой Рузы-палваном ехал охотиться на джейранов... У него уж давно лежат заявки на стройматериалы: обещал поспособствовать, да что-то все тянет... Вылез он из машины поразмяться, я — к нему: есть, мол, за вами один должок. «Как же, говорит, помню, помню! Зайдите, говорит, завтра утром, мы все обсудим».

Уста Хазраткул снял свою выбеленную солнцем соломенную шляпу и, отдуваясь, обтер широченным платком шею и лоб.

— Сегодня я побывал в районе. А у Султанова — совещание. Как к нему ни придешь, всегда у него совещание! Я подождал, подождал, а потом подумал: что я буду всем в ножки кланяться или с ножом к горлу приставать? Не лучше ли поставить здесь, в степи, печь для обжига? Глина — неподалеку, под рукой. Понаделаем кирпичей, добудем в горах побольше камня, и — добро пожаловать в новый кишлак, дорогие! Справляйте новоселье, сейте хлопок! Как, председатель?..

Глаза у Айкиз повеселели. Щурясь от солнца, она огляделась вокруг, словно поселок был уже выстроен и оставалось только любоваться им, и одобрительно воскликнула:

— Хорошо, Уста-амаки! И, пожалуйста, приставайте с ножом к горлу: говорите, что я могу для вас сделать.

Бригадир покрутил пышный ус и, вздохнув, нерешительно сказал:

— Люди нужны, товарищ Умурзакова. Кадыров-то малость пощипал строителей: лучших работников перевел в полеводческие бригады.

— Это еще зачем?

— Да ведь так оно надежней: две пары рук лучше, чем одна. Еще бы ему не выполнять план по хлопку! А мне люди ну вот как нужны!..

— Ладно. Мы потребуем у Кадырова, чтобы он дал вам людей.

Уста Хазраткул махнул рукой:

— Э, я уже говорил с ним!

— Поговорим еще. Хлопок хлопком, а обижать строителей — не дело. Они тоже хлопок добывать помогают, и мы заставим председателя взглянуть подальше собственного носа. Где сейчас Кадыров?

Уста Хазраткул, приложив широкую ладонь к полям шляпы, посмотрел в сторону хлопковых полей и со скрытой усмешкой сказал:

— Вон он командует!

— Пошли к нему!

Близ недавно освоенных участков степь закруглялась невысоким холмом. С этого холма Кадыров и наблюдал за работой колхозников. Он стоял в позе полководца, погруженного в глубокое раздумье: левой рукой уперся в бок, большой палец правой заложил за ремень, перетягивающий гимнастерку; лоб его был в жирных складках, нижняя губа оттопыривалась с едва заметной брезгливостью. Услышав шаги, Кадыров, не поворачивая головы, чуть скосил глаза, принял еще более сосредоточенный, важный вид; лишь когда подошедшие окликнули его, обернулся и, недовольно поморщившись, словно досадуя на то, что его оторвали от серьезного дела, насмешливо протянул:

— А-а, товарищ Умурзакова! Дорогой бригадир! С чем пожаловали?

— В бригаде Уста Хазраткула не хватает людей, товарищ Кадыров. Надо ему помочь.

Кадыров, кинув на бригадира мрачный взгляд, пренебрежительно обронил:

— Нажаловался! — А потом, снова повернувшись к Айкиз, вздохнул с показным смирением: — Вот ведь как, товарищ Умурзакова: нет чтоб потолковать со своим председателем, кончить все миром да ладом, все к вам бегут! Скоро со мной совсем перестанут считаться. А как это называется? Подрыв авторитета!..

— Вот вы и попробуйте поднять его, свой авторитет,— сказала Айкиз.— Помогите строителям. Не сегодня-завтра мы примемся за строительство поселка.

— Так ведь план-то еще не утвержден, дорогой председатель сельсовета!

— Но вы были на бюро райкома и слышали...

— Есть организации и повыше райкома! — оборвал ее Кадыров.— Будь вы поопытней, вы бы обождали, а не лезли на рожон.

— Время дорого. И то, что мы можем сделать сейчас и сами, без чьей-либо помощи, мы сделаем, сделаем во что бы то ни стало! — Айкиз передохнула и уже тише добавила: — Да неужели вы хоть сколько-нибудь сомневаетесь, что в области и республике поддержат нас?

Кадыров пожал плечами.

— Я чужим мыслям не хозяин. Может, и поддержат... Поживем — увидим. Вы думаете, что правда на вашей стороне. А там, наверху, могут рассудить иначе...

— У народа и партии — одна правда, Кадыров.

— Вы еще не народ, товарищ Умурзакова...

— Голос народа вы тоже слышали! Колхозное собрание постановило: поднять целину и построить поселок.

— Вот и выполняйте это постановление! Ищите скрытые резервы, подбирайте золото, которое валяется у вас под ногами! Я вам не помеха.

— Вы дадите людей в бригаду Уста Хазраткула или нет? — тихо, со сдержанной угрозой спросила Айкиз.

Кадырову начала надоедать эта перепалка. Сейчас, зная, что ему обеспечена поддержка Султанова, он чувствовал спокойствие и уверенность. Нет, он не станет помогать Умурзаковой: пусть, если ей так хочется, сломает себе шею; его дело — сторона. Она роет яму ему, Кадырову? Что ж, сама в нее и свалится. И тогда, слава богу, жизнь опять войдет в свою колею, и ему нечего будет опасаться.

Смерив Айкиз тяжелым взглядом, покосившись на бригадира, неодобрительно хмурившего косматые брови («И этого окрутила, проныра!»), Кадыров решительно и сухо отрезал:

— Нет у меня людей. И на колхозном собрании об этом разговора не было. Скоро всех придется кинуть на хлопок. На носу — полив, культивация. Самая горячая пора. И можете, сколько душе угодно, твердить о неиспользованных резервах — их не растянешь, как ре-

зину. Резина и та рвется... Партия нам говорит: сейте хлопок...

— Но партия не говорит: довольствуйтесь малым!

— Громкие слова, товарищ Умурзакова! Если мы в этом году провалимся с хлопком, ни меня, ни вас не погладят по головке. Новые земли когда-то еще дадут урожай, а нам надо отчитываться сейчас, сегодня, этой же осенью! Мешать вам я не хочу. Поступайте как знаете. Но меня оставьте в покое.

И Кадыров, кивнув Айкиз и Уста Хазраткулу, спустился с холма и с солидной неторопливостью зашагал к работающим неподалеку колхозникам.

Уста Хазраткул почесал в затылке и сказал осуждающе и удивленно:

— Какая муха его укусила? Вот ведь человек: то все тихо-спокойно, то вдруг брыкнет тебя, как норовистый конь!

Айкиз задумалась и, словно вспоминая что-то, медленно произнесла:

— Знала я людей, которые в мирные дни держались молодцами, а когда началась война, сдали.— Она взглянула на видневшийся вдали частый гребешок молодых карагачей, дубов, джиды и все так же задумчиво продолжала: — Видите, Уста-амаки, лесную полосу? Деревья — одно к одному, стройные, крепкие. Кажется, все хороши. Но есть среди них и хилые; похожи они на своих братьев только в безветрие. Подует ветер — и сломает их или вырвет с корнем! И все поймут: неглубокие у них были корни. Так и с людьми, Уста-амаки: иные хороши до первого сильного ветра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В СЕЛЬСОВЕТ ПРИШЛА ДЕВУШКА

Айкиз попрощалась с Уста Хазраткулом, пообещала, что сама похлопочет о стройматериалах. Вскочив на Байчибара, она заторопилась в Алтынсай: во второй половине дня у нее был прием посетителей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, она не отменяла и не переносила часы приема, это было ее твердым правилом. Если даже стоял изнурительный зной или бесновался колючий ветер, разгоняя всех по домам, Айкиз шла в сельсовет, чтобы ни одному человеку, которому

могли вдруг понадобиться ее совет и поддержка, не пришлось томиться перед запертой дверью или возвращаться ни с чем.

Сегодня посетителей было мало. Проходя через комнату секретаря в свой кабинет, Айкиз приветливо поздоровалась со всеми, отметив взглядом высокую незнакомую девушку в яркой, нарядной тюбетейке, из-под которой длинной черной бахромой свисало множество старательно заплетенных косичек. Кабинет Айкиз был залит солнечным светом. Она задернула занавески, поправила перед маленьким зеркальцем растрепавшиеся волосы и села за свой стол.

Первой появилась в кабинете девушка в яркой тюбетейке. Она и сама была яркой, нарядной. Ее одежда — белая шелковая жакетка и атласное, с зеленым отливом, платье — струила мягкий, праздничный блеск. Брови были густо насурьмлены. Глаза под длинными, изогнутыми ресницами казались глубокими, как горные озера.

Девушка огляделась с бойким любопытством и неодобрительно поморщилась. Кабинет Айкиз был обставлен простенько и скромно. Единственным его украшением служила распластанная на боковой стене, между окнами, большая карта сельсоветских земель, которую по просьбе Айкиз вычертил и раскрасил цветными карандашами инженер Смирнов. Айкиз приглашающим жестом показала на стул, стоявший возле стола. Стуча каблучками изящных туфель, посетительница прошла от двери к столу и, аккуратно расправив платье, села. Теперь Айкиз лучше смогла рассмотреть ее лицо. Нежная, смуглая кожа... Пухлые губы... А в глазах вовсе не было глубины, это тень от ресниц делала их темными и глубокими; вблизи же видно было, как пересыпались на их дне золотые песчинки лукавства и смеха. Девушка была красива, и это была не холодная, а живая красота, но ей не хватало одухотворенности. Айкиз почему-то представила посетительницу с дутаром в руках, в шумном кругу поклонников и улыбнулась: очень шли к этой девушке дутар и веселая песня.

А девушка поставила на стол локоть, оперлась щекой о тонкую согнутую кисть и с кокетливой доверительностью сказала:

— Вас Айкиз зовут, товарищ Умурзакова?.. А меня — Назакатхон.

— Постойте-ка,— прервала ее Айкиз,— вы — дочь Аликула?

Девушка кивнула.

— Я немного знаю вашего отца,— сказала Айкиз.— Вы ведь у нас недавно?

— Я родилась здесь, в Алтынсае,— вздохнула Назакатхон и неожиданно спросила: — Можно, я расскажу вам о себе?

— Говорите, я слушаю...

— Так вот...— Назакатхон положила руки на колени и подняла глаза, словно собираясь отвечать заученный урок.— Мы уехали отсюда, когда я была совсем маленькой. Где только мы не побывали! Но дольше всего жили в Голодной степи. Там как раз осваивали новые земли. Отец работал бригадиром. Вы не думайте, я тоже работала! Была табельщицей, потом секретарем... Отец говорит: теперь все девушки должны работать, а то, говорит, и замуж за нужного человека не выйдешь...— Посетительница запнулась, улыбнулась растерянно и уже с меньшей уверенностью продолжала: — Ну, жили мы, работали — я ведь не какая-нибудь бездельница,— а сердце тосковало по родным местам. Однажды отец пришел домой огорченный, озабоченный и сказал: «Как думаешь, доченька, не вернуться ли нам в родные края? Там среди родни и друзей нам полегче будет, поспокойней»... А я ответила: «Как скажете, отец, так и будет». И вот мы здесь, в Алтынсае. Отец уже вступил в колхоз, работает. Надо и мне куда-нибудь пристраиваться. Вы ведь поможете мне? Да? Отец сказал: «Айкиз — тоже женщина, она тебя поймет, позаботится о тебе».

Посетительница держалась с подчеркнутой скромностью, говорила задумчиво, перемежая свой рассказ грустными вздохами. Айкиз же казалось: все это притворство, она принуждает себя быть сдержанной и серьезной, а в жизни она совсем не такая. Праздничный, веселый наряд, кокетливые жесты, беззаботно-лукавый взгляд, который она старательно прятала за черными лучами ресниц, и алые губы, жадные до радостей жизни,— все это не вязалось с ее серьезной, доверительной, раздумчивой речью. Подумав, Айкиз сказала:

— Хорошо, я помогу вам. Вы говорили, что участвовали когда-то в освоении новых земель?

Девушка подняла на Айкиз испуганный взгляд и, словно ожидая подвоха, нерешительно произнесла:

— Да... Мы... мы осваивали...

— Вот и чудесно. Мы как раз тоже надумали поднимать целину. В этом году вам придется поработать на уже освоенных землях, а в будущем мы направим вас в одну из «целинных» бригад. Думаю, это будет полезно и для вас и для нас. В ваши годы...

Но тут случилось неожиданное: Назакатхон заплакала, и на этот раз трудно было усомниться в ее искренности. Не отнимая от глаз батистового платочка, она бормотала сквозь слезы:

— Я же училась в школе... Все говорят, что я хорошо пишу и умею вести протоколы... А вы меня — в поле... Потому что я здесь чужая... Я ведь знаю, в колхозном правлении сейчас нет секретаря. Только я слышала, Михри на это место опять метит.

У Айкиз была привычка: когда ей надо было поразмыслить над чьей-нибудь просьбой, она принималась ходить по комнате, засунув руки в карманы жакетки, задумчиво опустив голову... Посетителю начинало казаться, что она его не слушает, но Айкиз вдруг круто останавливалась, возвращалась к столу и спокойно, подробно рассказывала собеседнику, чем и как думает ему помочь. Так и сейчас: она поднялась из-за стола, прошла к окну, постояла с минуту, легонько барабаня пальцами по подоконнику, а потом с укором сказала:

— Относительно Михри вы ошибаетесь, она просится работать на новых землях. Вот и вам последовать бы ее примеру!

Назакатхон в ответ только всхлипнула. Айкиз не поняла, что должен означать этот горький вздох. Как же поступить с этой девушкой, не привыкшей, видно, к настоящему труду, слабой и беспомощной? И глаза у бедняжки на мокром месте... Может быть, жизнь ее омрачена неурядицами или в семье что-нибудь неладно? Айкиз стало жаль девушку... Правда, Назакатхон мало напоминала страдалицу, в ней угадывался нрав веселый и беззаботный, но ведь внешность обманчива. К тому же и веселым людям порой живется невесело. Откажешь девушке в ее просьбе — и к прежнему горю прибавится новое. Да и не было у Айкиз веских причин для отказа. Судя по всему, в поле от Назакатхон пользы будет мало... А у Кадырова действительно освобо-

дилось место в конторе. Почему же не рекомендовать Назакатхон на это место? Айкиз что-то написала в своем блокноте и, вырвав листок, протянула его Назакатхон:

— Вот записка к Кадырову. Он оформит вас на работу. Смотрите не подведите меня! И утрите слезы, они вам не к лицу!..

Назакатхон осторожно смахнула со щеки последнюю слезинку. Спрятала в карман записку, с веселым облегчением поблагодарила Айкиз и быстро, чуть ли не бегом, вышла из комнаты.

● ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В СТЕПИ

Дня через три после массового выхода вернулся из города Алимджан. Поздним вечером он и Айкиз пошли бродить по кишлаку, который Алимджан не видел уже несколько месяцев. Было темно; в небе серебряной изогнутой проволочкой повис молодой месяц; звезды задумчиво переглядывались друг с другом; далекой кисейной тучкой светился Млечный Путь — «соломенная дорога»... Алимджан и Айкиз под умиротворяющее журчание арыков прошли по притихшим улицам кишлака, посидели в саду, который сейчас, ночью, выглядел нелюдимым и сумрачным. Потом Айкиз потянула мужа в степь.

— Ты давно не был в степи, милый... Помнишь, какая она ночью? Она живет, разговаривает...

Они шли молча: знали, что успеют еще наговориться. Теперь же им хотелось просто побыть вдвоем. Айкиз прижалась горячей щекой к плечу Алимджана и чувствовала себя самой счастливой на свете.

— Как долго мы не виделись, Алимджан! — тихо, с запоздалой тоской сказала она.

— Мне кажется, несколько лет!..— так же тихо ответил Алимджан.

— Да, долгие-долгие годы!..

— Целую вечность! Целую вечность, Айкиз!..

Под ноги им легла угомонившаяся пыль дороги, бегущей рядом с шоссе. Возле уха Айкиз мягко прошуршало крыло летучей мыши. Айкиз еще крепче прильнула к Алимджану и шепнула чуть лукаво:

— Что бы я делала без тебя, Алимджан?..

Алимджан улыбнулся.

— Мне говорили, ты тут без меня горы ворочала!

— Без тебя? Нет, ты все время был со мной... Без тебя я не выдержала бы.

Выйдя в степь, они остановились и долго стояли, вглядываясь в ночь, слушая ночь.

Степь жила... Они были здесь одни, совсем одни, но это было не то одиночество, которого ищут люди, бегущие от людей. Они были одни, но в живом, обитаемом мире, богатом трудом и дружбой тружеников.

Айкиз любила ночную степь. Ночью жизнь степи была даже ощутимей, чем днем.

Днем степь не казалась такой необозримой. Мглистое знойное марево затуманивало дальние очертания, степь была залита золотой лавой солнечного света. Песни и шепот, шумы и шорохи — все сливалось в ровный сплошной гул.

Ночью же этот шумный, яркий, однообразно пестрый поток словно разбивался на отдельные ручейки. И тому, кто хотел послушать ночь, которая многим кажется пустынной и безмолвной, она удивительно красноречиво рассказывала о примечательных и скромных делах людей, обживающих степь.

Айкиз и Алимджан стояли, обнявшись, и жадно внимали рассказу ночи...

Вся степь, от горизонта до горизонта, была усыпана огоньками. Среди этих огоньков — то яркие, то еле заметные, то переливающиеся, то бледные, белые и красноватые... Одни из них двигались, другие чуть колыхались, третьи мерцали в темноте драгоценными камушками...

Далеко, на краю земли, видно скромное созвездие белых точек. Айкиз знала: там бурили артезианскую скважину. Чуть в стороне мигают огни метеорологической станции, которую днем отсюда не разглядишь. А вон пробивается тусклый свет из палатки почвоведов. Трепетным пламенем горят костры на полевых станах. Ближе к горам тоже светятся алые мохнатые звездочки, только поменьше,— это костры у шалашей, поставленных чабанами.

Что-то завораживающее было и в четких светлых кружочках, перемещавшихся по степи в самых различных направлениях; казалось, это звезды кружатся

в медленном хороводе. Айкиз, однако, отрадно было сознавать, что вовсе это не звезды, а фары тракторов, поднимающих целину... Сколько же таких огней в степи!

Тракторы, как и днем, урчали сосредоточенно, увлеченно, но теперь, ночью, каждый звук слышался сам по себе, самые тихие голоса разносились далеко-далеко... Где-то захлебнулась разудалой песней гармонь. Чей-то протяжный, зовущий крик прорезал ночную тишь. И снова все смолкло, только, не затихая, плыл над степью бессонный гул тракторов, который, казалось, стал частью тишины... Но вот издалека долетел нежный, серебристый звон комуза, где-то запел най, и в неторопливые эти звуки вплелись раздумчивые человеческие голоса; кто-то, оставшись наедине с ночью, делился с ней тоской по возлюбленной, по семье, рассказывал о своих помыслах, мечтах, тревогах...

— Слышишь, Алимджан? Чабаны еще не спят...

— Мне иногда кажется, они и не знают, что такое сон. А тебе не хочется спать?

— Нет...

Алимджан показал в сторону, где светились огоньки стана трактористов и слышался стук движка.

— Может, сходим к Погодину? Или к Смирнову — на морской берег?

— Нет, нет... Сегодня я никуда не хочу. А тебе не терпится повидаться с друзьями?

— Мне никого не надо, кроме тебя... Тебе не холодно?

— Нет, милый...

Алимджан все-таки снял пиджак и накинул его на плечи жены.

— Так-то будет лучше. И пора все-таки домой, завтра рано вставать. Я хочу пораньше пойти в свою бригаду...

— Хорошо здесь, Алимджан,— тихо сказала Айкиз и как-то просительно взглянула на мужа.

В это время от кишлака донесся заливистый, с легкой дремотной хрипотцой крик петуха. Откуда-то с противоположной стороны готовно отозвался другой петух. И заметалась над степью разноголосая петушиная перекличка.

— Слышишь, Айкиз?

— Да, пора!..— неохотно отозвалась Айкиз.

И они медленно возвратились к кишлаку.

На сон им оставалось часа два — не больше, но Айкиз было не до сна. Она лежала, положив руки под голову, и, как тогда, в саду, думала о себе, о муже, о своей любви к нему... Щеку ее грело ровное дыхание Алимджана. Айкиз была счастлива, но где-то глубоко-глубоко в сердце ворошилась тревожная, неясная досада... Айкиз сама не понимала, что ее беспокоит: ведь этот день принес ей радость, только радость. И, однако, радость эта была почему-то неполной...

Утром, когда занавески пронизало восходящее солнце, Айкиз тихо, стараясь не разбудить мужа, оделась и прошла во двор. Отец был уже на ногах, он рвал на огороде лук. Оглянувшись на дочь, Умурзак-ата добродушно спросил:

— Как, дочка, небось рада?..

Айкиз улыбнулась смущенно:

— Теперь и вам веселей будет, отец...

— Да, хорошо, что он вернулся. А ты рановато поднялась.

— Надо самовар поставить.

— Опоздала, дочка, уже закипает. Я сейчас зелень вам приготовлю.

— Отдохнули бы, отец. Я сама все сделаю.

— У меня, дочка, теперь одна радость: о вас, моих детях, заботиться.

— У вас и других забот немало. Целыми днями в поле...

— Сказать по чести, для меня и хлопок как малый ребенок. Не приглядишь — обзаведется дружками-сорняками. Не напоишь вовремя — сожжется на солнце. Так-то, дочка... Уж время помирать, а помирать-то и нельзя: вон скольким детям ты нужен!

Айкиз подошла к отцу, обняла его и, зажмурившись, прошептала:

— Ой, как вы мне нужны, отец! Родной мой, самый-самый родной!..

— Ну ладно, ладно, дочка,— проворчал Умурзак-ата,— иди готовь завтрак.

Спустя полчаса проснулся Алимджан. Всей семьей позавтракали и пошли в поле. Умурзак-ата вскоре отделился от дочери и Алимджана, свернув на свой участок. Алимджан не отрывал глаз от хлопковых полей, тянувшихся справа. Он соскучился по работе, по этим

вот полям, переливающимся зеленым бархатом первых всходов, по людям, трудившимся на полях.

Он невольно ускорил шаги, и у Айкиз, оставшейся позади, беспомощно и обиженно дрогнули губы: Алимджан совсем забыл о ней! Она понимала его нетерпение, ей и самой нужно было спешить. Если бы Алимджан поторопил ее, она не обиделась бы. Но он даже не заметил, что она отстала. С жадным, безраздельным вниманием смотрит он на поля. Уж лучше бы сейчас опять была ночь, и степь вокруг, и беспорядочная россыпь огней, и вблизи свет любимых глаз... Айкиз вздохнула, но вдруг Алимджан обернулся и позвал:

— Айкиз, что же ты? Идем быстрее!

Щурясь от солнца, он ждал, глядя на отставшую жену. За этот ласковый, ожидающий взгляд Айкиз простила ему недавнее невнимание.

Дойдя до участка, где работала бригада Алимджана, они остановились.

— Как у тебя сегодня день складывается? — спросила Айкиз.

— Дел уйма!.. Но в полдень я зайду за тобой, вместе пообедаем. Где тебя искать?

— В новом поселке.

Как ни медлила Айкиз, но пришло время проститься. Алимджан направился в поле. Айкиз помахала ему рукой и крикнула:

— Я буду ждать тебя, Алимджан!

За участком Алимджана лежало поле, где работал Керим, вожак алтынсайских комсомольцев, самый молодой бригадир, а дальше — владения старого Муратали. Колхозники проводили кетменную окучку, рыхлили землю вокруг первых нежных ростков. Они продвигались вдоль аккуратных рядов хлопчатника в сторону дороги. Айкиз видела белые узоры на тюбетейках Михри и ее отца. Она задержалась и, сложив рупором ладони, крикнула:

— Эй, Михри! Как дела?..

Михри выпрямилась, вытерла рукой лоб и весело откликнулась:

— Иду-ут!..

— Окучку скоро кончите?

Михри посмотрела на отца. На этот вопрос следовало бы ответить бригадиру, но Муратали даже не под-

нял головы. О том, что он слышал Айкиз, можно было догадаться лишь по нарочито резким и сильным взмахам его кетменя. Старик словно хотел показать: он занят, ему ни до кого нет дела, пусть его не тревожат попусту... Айкиз усмехнулась, кивнула Михри — мол, не расстраивайся, я все понимаю — и, уходя, крикнула:

— Алимджан приехал! Зайди к нам вечерком.

Айкиз не заметила, что в это время еще один из колхозников, трудившихся в поле, разогнул спину и, опершись животом и ладонями на кетмень, злобным взглядом уставился на дорогу... Это был Гафур. Он долго глядел вслед племяннице, а когда она скрылась из глаз, с такой силой вонзил кетмень в землю, что чуть не выдрал с корнем молоденький кустик хлопчатника.

Вот и целинные земли...

Сражение с целиной было в самом разгаре. Озирая степь слева направо, можно было проследить все этапы освоения целины. На левом краю степи весело бежала по земле почти незаметная в лучах солнца, неровная, с длинными зазубринами полоска пламени. Пламя словно тянуло за собой сизое покрывало из пепла, и, когда на пепел ступали колхозники, за ними оставались черные следы. От земли тут и там поднимались змеиные струйки дыма: это догорали корни степных кустарников. А рядом эртээсовские бульдозеры и скреперы грызли, выравнивали землю, сдирая с нее бородавки бугров, засыпая буераки.

По распланированным полям, словно по морю, скованному штилем, работящими пароходиками плыли гусеничные тракторы, волоча за собой на буксире мощные агрегаты.

Неподалеку от шоссе экскаватор, присланный межрайонной экскаваторной станцией, прогрызал продолжение канала. Айкиз невольно залюбовалась работой экскаваторщика, худенького паренька с пышной вьющейся шевелюрой, которая делала его похожим на отцветший одуванчик: стоит только дунуть, и разлетятся во все стороны светлые, легкие волосы. Лицо паренька выражало упрямство и ярость. Рукава рубашки закатаны до локтей. На тонких руках, вцепившихся в рычаги, напряглись жилы и мускулы. Казалось, это не руки, а сплетения туго натянутых тросов. Экскаваторщик не сводил с ковша зоркого, внимательного взгляда. Пушистые брови его слились в одну свет-

лую полоску. У него был вид человека, который не на жизнь, а на смерть схватился с могучим противником.

Айкиз не знала, что от паренька и впрямь требовалось большое упорство: под верхним метровым слоем земля оказалась твердой как камень. Стальные клыки ковша, ударяясь об нее, отскакивали с коротким злым лязгом; приходилось несколько раз опускать и хорошенько нацеливать ковш, чтобы он наконец зачерпнул землю и вывалил ее на один из берегов. Если же смотреть со стороны — экскаватор действовал легко и безотказно: мощный ковш мелькал в воздухе, словно лодка качелей.

В степи вместе с механизаторами Погодина и Смирнова трудилось немало дехкан из колхоза «Кызыл юлдуз». Они выжигали степь, корчевали корни кустарников, сооружали оросители и водораспределители, прокладывали от шоссе дорогу к поселку, к тракторному стану.

По этой дороге и пошла Айкиз, поминутно отвечая на приветствия колхозников.

Строительная площадка, боевой участок Уста Хазраткула, была завалена горками глины, гальки, песка, серого камня: тут и там зияли в земле широкие котлованы; фыркали грузовики, подвозившие строительные материалы; скрежетала бетономешалка. Уста Хазраткул поспешил навстречу «дорогому шефу».

Чтобы посмотреть в лицо бригадиру, нужно было задирать голову; и Айкиз, подняв голову, спросила:

— Как дела, Уста-амаки?

Уста Хазраткул на всякий случай принял безрадостно-сокрушенный вид:

— Грех жаловаться, товарищ Умурзакова. Сильно ты нам пособила, без тебя Кадыров совсем бы нас съел. Бригада у нас, конечно, маловата, но ничего, справляемся...

— Хитрите, Уста-амаки! Народу у вас теперь много...— Айкиз окинула внимательным взглядом горки песка и гальки и спросила: — Наверное, и бетонщики есть?

Бригадир насупился, сдвинул на самые брови свою соломенную шляпу, сложил на груди руки и твердо, неуступчиво заявил:

— Бетонщиков в бригаде раз-два и обчелся. Видишь, камень возим. Будем закладывать каменные фундамен-

ты.— Он искоса, настороженно посмотрел на Айкиз и, усмехнувшись, добавил: — А ведь ты тоже хитришь, товарищ Умурзакова! Выкладывай уж сразу, зачем пришла. Людей хочешь у меня забрать?..

— Мне много не нужно, помирюсь на двух бетонщиках.

— Ай, нехорошо, председатель! Заставила Кадырова дать мне людей, а теперь сама отбираешь.

— Да ведь вас от этого не убудет,— засмеялась Айкиз.— Вам недостаток в людях восполнить легко.

— Чем же это?

— Рационализаторскими идеями... Придумайте что-нибудь вроде печи для обжига, вот у вас рабочие руки и высвободятся.

Уста Хазраткул помотал головой.

— Ай, спасибо за науку, председатель, больше не буду хвастаться. А то ты того гляди оставишь меня без людей, с одними идеями...

Айкиз хорошо понимала Уста Хазраткула — какому из бригадиров захочется ослабить свою бригаду! — но притворилась огорченной и рассерженной.

— Я смотрю, вы тоже становитесь прижимистым, Уста-амаки... Дурной-то пример заразителен.

— Погоди попрекать меня, председатель!

— Без попреков не обойдешься. Вы еще не выслушали меня, а уже наложили резолюцию: отказать!

— Ну, говори, зачем тебе люди. Послушаем...

— Понимаете, Уста-амаки, в колхозе «Октябрь» тоже строят поселок, но колхоз этот победнее нашего, строительную бригаду там только-только организовали. Опытных строителей в бригаде мало, бетонщиков вовсе нет. А без бетона как им обойтись? Я и подумала: вы, Уста-амаки, человек предприимчивый, с размахом, бригада у вас дружная, крепкая. Что вам стоит помочь соседу? Один поселок в степи погоды не сделает. Чтобы преобразить этот край, надо всю степь украсить новыми кишлаками. А октябрьцы могут от нас отстать... Пошлите к ним своих людей на недельку-другую. Они подучат соседей, покажут им, как надо работать, — и обратно.

По мере того как Айкиз говорила, морщины на лбу Уста Хазраткула разглаживались, взгляд светлел. Когда она замолкла, бригадир вздохнул облегченно, словно Айкиз не отнимала у него строителей, а предлагала

прислать новых. Сдвинув шляпу со лба на затылок, он вытер лоб и с укором сказал:

— Что же ты мне голову морочила, товарищ Умурзакова? Так бы сразу и сказала: мол, для пользы дела надо поступиться парой бетонщиков...

— Так ведь я с этого и начала!

— Ай, председатель, ты речь повела издалека, а с нами надо прямо, попросту. Ладно. Уступлю я октябрьцам своих ребят. Только пускай и сами пошевеливаются! Довольно им надеяться на других, ждать, когда яблоко поспеет и само свалится в рот!

Айкиз улыбнулась:

— А вы говорили, что у вас мало бетонщиков.

— Поискать — найдутся. Я ведь не знал, зачем они потребовались. Порой как бывает? У бедных берут — богатым отдают.

— Так ли, Уста-амаки?

— Бывает, председатель! У меня вон брат учился в Ташкенте, работать уехал в Москву. А в Москве, говорят, своих работников девать некуда. К нам бы в колхоз их, ученых-то людей... Наверно, пригодились бы, председатель?

— Сегодня не пригодятся — завтра понадобятся! Растем ведь, Уста-амаки!..

— В гору идем, председатель, знающие проводники нужны...

После разговора с Уста Хазраткулом Айкиз почувствовала какую-то особенную, колючую, как ключевая вода, будоражащую бодрость. Вокруг — друзья, единомышленники, с ними не страшны никакие помехи, никакие подводные камни... Ее понимают, к словам ее прислушиваются, знают, что она думает и печется о том же, о чем думают и пекутся они сами. Люди хотят быть счастливыми, и она хочет, чтобы люди были счастливыми; у ее желаний и у чаяний простых алтынсайцев — одно русло; сознание этого делало Айкиз счастливой.

Потолковав со строителями, она направилась к участку, где выстроились новобранцы-саженцы. Они были хрупки, беззащитны, издалека казались прутиками, отломанными от деревьев и воткнутыми в землю.

На этом участке, отведенном под сад, Айкиз нашла старого садовода Халим-бобо и его верную помощницу Лолу, сестру Алимджана, приехавшую в родной колхоз на летние каникулы.

К земле уже прильнул своими жгучими щупальцами знойный полдень.

Айкиз бродила с Лолой по саду, заложенному Халим-бобо, расспрашивала подругу о жизни в городе, а сама поглядывала на дорогу, где вот-вот должен был показаться Алимджан. Колхозники, работавшие в саду, успели уже подкрепиться; они предлагали Айкиз разделить с ними скромную трапезу, но та отказалась. Она ждала Алимджана.

Осмотрев сад и сказав Лоле, где ее искать, если понадобится, Айкиз пошла через степь к лесной полосе. Там работники лесхоза высаживали новые деревья, чтобы зеленая стена, отделявшая степь от пустыни, стала плотной и непроницаемой. По ту сторону стены лежали горячие желтые пески. А над ними, у самой линии горизонта, густело тревожное марево. Коричневая мгла наползала из-за горизонта на ярко-синее, зеркально чистое небо. Тяжелый зной висел в воздухе...

Сердце у Айкиз словно остановилось на минуту и начало отбивать частые, глухие удары. Она заторопилась обратно, к саду, к поселку; надо было предупредить всех, что на них надвигается беда.

Вскоре Айкиз уже делилась с Халим-бобо и Лолой своими опасениями.

А Алимджана все не было...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Уже несколько дней Погодин ночевал на полевом стане.

В это утро он встал рано и сразу же услышал мощное, бодрящее гудение тракторов. Дремоту с Погодина как рукой сняло. Он взял мыло и полотенце, прошел к арыку и, шумно фыркая, ежась от холода, умылся. Весь арык заполнило дрожащее отражение его полного, рыхловатого тела. Погодин поморщился недовольно и чуть брезгливо: «Вот черт! Разнесло же меня! И как Лола терпит такое?» При мысли о Лоле сердце Погодина сладко сжалось: везет же ему, медведю. В самую страдную пору в Алтынсай приехала Лола, и работать стало вдруг и легче и радостней. Даже походка у него, на удивление всем трактористам, сделалась быстрой,

веселой. И грозный бас обрел несвойственную ему мягкость, умиротворенную бархатистость.

Погодин еще раз взглянул на свое отражение и, помрачнев, отступил подальше от арыка. «Туша! Гимнастикой, что ль, подзаняться?» Каждый день Погодин твердо решал делать зарядку, и каждый день оказывалось, что на это ему просто не остается времени. Не успевал он проснуться, как на него, словно из рога изобилия, начинали сыпаться неотложные, а чаще всего неотложнейшие дела и заботы...

Погодин докрасна растер полотенцем кожу, натянул рубаху, накинул синюю с масляными разводами спецовку, расчесал короткие, редкие волосы, на ходу проглотил лепешку с холодным, оставшимся от ужина мясом и поспешил к своим трактористам.

Среди трактористов было много молодых, еще неопытных. Надо было и подбодрить их и помочь советом. На самом стане не залатали еще всех прорех: рация работала с перебоями; в ларек не всегда завозили нужные продукты; в передвижной мастерской не хватало инструментов... Дел было сверх головы, и все же Погодину удалось «сэкономить» с полчаса на обеде и мелких хлопотах, и он грузной, торопливой походкой отправился в новый сад к Халим-бобо, якобы затем, чтобы разузнать, не надо ли чем помочь старому садоводу. Халим-бобо, разговаривая с подозрительно заботливым директором МТС, от которого никакой помощи пока не требовалось, понимающе усмехался в белую бороду. А Лола, стоя рядом, смущенно перебирала поясок на своем пестром, веселом платьице, а в глазах у нее, в ямочках на круглых щеках, в уголках губ пряталась радостная улыбка. Накануне девушка уже успела повидаться с Погодиным, они о многом, кроме самого главного, поговорили, а то, что осталось невыясненным, Погодин досказал этим вот своим приходом. Лола отлично знала, как заполнено у Погодина время. И если он все-таки сумел улучить минутку и, выдумав первую попавшуюся причину, заглянул в сад, значит, ему нелегко без нее, без Лолы.

Завидев приближающуюся к ним Айкиз, Погодин поспешно распрощался с Халим-бобо и Лолой и зашагал в степь, к трактористам.

Первым, кого он встретил, был Суванкул. Он по-хозяйски уверенно расположился в кабине мощного

ДТ-54: сидел, чуть откинувшись назад, и управлял машиной медлительными, даже, казалось, ленивыми движениями. Суванкул был под стать своему трактору: неторопкий, неповоротливый, он обладал великим упорством, богатырской силой, наверно, если бы поднатужился, то и без мотора сдвинул бы с места стальную махину. Трактор же, словно оказывая родственную услугу, беспрекословно слушался своего хозяина.

Погодин окликнул Суванкула. Заглушив мотор, тот спрыгнул на землю и добродушно воскликнул:

— А, директор! Хорошо, что пожаловал, есть о чем потолковать. Только извини: хоть ты и гость, а угостить тебя, кроме красного словца, нечем!

Суванкул работал без рубашки. Кожа, прокаленная за лето, влажно поблескивала под лучами солнца, мускулы казались отлитыми из металла. Погодин дружески хлопнул его по могучему, крепкому, как наковальня, плечу и тоже улыбнулся.

— Ничего, удовольствуемся красным словцом. Многие и на это скупятся.

— Да, директор,— многозначительно согласился Суванкул,— скуповаты стали некоторые товарищи. Мы-то, трактористы, на своей шкуре это чувствуем.

Погодин посмотрел на него удивленно:

— Ты о чем?

— Слышали мы, что начальник Смирнов получил вагончики. Слыхал об этом?

— Нет, мне пока он ничего не говорил.

— Ишь ты! Видно, боится, что ты шум поднимешь.

— Ты не тяни, в чем дело?

— Получил он, значит, эти вагончики,— неторопливо продолжал Суванкул,— и передал их своим экскаваторщикам. У нас ведь экскаваторщикам особый почет! А трактористам достался только слух об этом деле... А слух для жилья не пригоден...

— Так вам же выстроили навес!

— Так-то так, директор, но вагончики удобней, их можно везде поставить — и на стане и в степи. К тому же и стены у навеса легковаты: из самого натурального воздуха.

— Что ж вы, свежего воздуха боитесь?

— Нет, директор, как пионеры говорят: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. А вот от врагов надо б оборониться. Погляди-ка туда, Иван Борисыч!

Суванкул показал рукой на край неба, опирающийся на лесную полосу. Но, как ни всматривался Погодин, ничего, что могло бы привлечь внимание, не заметил.

— Погляди получше,— сказал Суванкул.— Как бы нынче буря не разыгралась!..

Погодин встревожился. Он знал, что такое песчаная буря в открытой степи. Если нагрянет она, трактористам после работы некуда будет деваться. На стане один-единственный домик; набьются в него трактористы, так он расползется по всем швам. Как же это он прозевал вагончики? Ведь были же они, оказывается!

— Ах ты черт! — в сердцах воскликнул Погодин, и непонятно было, кого он выругал — непрошеную бурю, себя или Смирнова...

Во всяком случае, нужно было действовать. Погодин был не из тех людей, которые аккуратно записывают в свои блокноты: «Завтра сделать то-то. Через три дня то-то. Позаботиться о том-то. Крайний срок — послезавтрашний день». То, что можно было сделать сегодня, сейчас же, он и старался делать немедленно, не теряя времени, которое обладало скверным свойством — сеялось, как песок меж пальцами...

Возвратившись на стан, Погодин дал указания своим работникам, предупредил по телефону Смирнова, что через полчаса будет у него в конторе и — черт побери! — поговорит с ним как коммунист с коммунистом. Он вывел из-под навеса мотоцикл и вскоре уже мчался по дорогам — по наезженным, по ухабистым и по совсем новым, направляясь к водохранилищу.

Уже на полпути Погодин заметил, что все вокруг неуловимо изменилось. Воздух помутнел, солнечный свет стал каким-то нечистым, тревожащим. Цвета и оттенки летнего дня, всегда веселящие сердце, рождали ощущение смутной, щемящей тоски.

Крепче вцепившись в руль, Погодин посмотрел на небо и тут уж окончательно убедился, что на Алтынсай надвигается песчаная буря.

Небо затянуло мглистой коричневой пеленой, заслонившей солнце. Солнце проглядывало сквозь разлившуюся по небу тучу тусклым, расплывчатым желтым пятном. Это была не грозовая туча: высоко над землей струилась пыль, которую гнал из пустыни верховой ветер.

Но вот и по земле, неподалеку от дороги, пробежал,

кружась, столбик пыли — спираль первого смерча. Покрывавший поля и дорогу песок зашуршал, зашевелился и, увлекаемый нарастающим ветром, потек меж рядами хлопчатника. А из степи, из пустыни накатывались новые и новые волны песка. Над полями поднялись дымки уже многих смерчей, пустившихся в бешеный пляс.

Погодин прибавил газу... Ветер швырял ему вдогонку песок, комья земли. Мотоцикл несся в душном облаке пыли, но Погодин уже ни на что не обращал внимания: он думал о трактористах, которые вели свои машины сквозь заслоны вихрившегося песка, он видел их усталые, запыленные лица и, казалось, слышал их укоризненные голоса: «Что ж это ты, директор, оставил нас один на один с бурей?.. Ведь не в игрушки играть шли мы в степь! Степь — она не из смирных. Ей ничего не стоит наслать на нас зной, ветер, дождь, бурю. Надо всегда быть наготове, а ты, директор, прошляпил вагончики, где мы уже сегодня могли бы укрыться от бури, поужинать, выспаться. Ай, сплоховал, директор! Сплоховал!..»

Смирнова Погодин застал не в конторе, а на берегу водохранилища. Молча кивнув Погодину, инженер вновь отвернулся к разбушевавшимся волнам. С гулом они бились о берег, отступали, словно для того, чтобы собраться с силами, и опять всей своей ярящейся мощью обрушивались на береговые укрепления, расплескиваясь во все стороны каскадами брызг и пены. Над водой с тонким, пронзительным криком метались птицы...

— Долбит, как молотом! — невесело усмехнувшись, сказал Смирнов.— Ничего, выстоим! Берег крепили на совесть...

Погодин, придерживая мотоцикл, чтоб не свалился на землю, проворчал:

— На все-то совести у тебя, видно, не хватает...

Смирнов заинтересованно взглянул на него:

— Ну, ну, гроза степей! Говори, зачем приехал.

— Пойдем-ка где потише. Тут только лежа можно разговаривать, не то с ног собьет...

Они прошли в контору. Смирнов, усадив Погодина в кресло у стола, подтащил поближе к нему один из стульев, сел и спросил с чуть заметной настороженностью:

— Вижу, ты уже готов взорваться. Кто это тебя обидел?

— Ты, Иван Никитич!.. И сильно!

— Так... Ну-ну, пуши меня на все корки! Ты ведь это умеешь!

— Зря иронизируешь, Иван Никитич. Мне сейчас не до шуток.

— Тогда сразу говори, в чем дело.

Но Погодин медлил. Всегда шумный и напористый, сейчас он держался скованно. Только взгляд его был испытующим, хмурым. Погодину еще ни разу не доводилось ссориться с начальником строительства. Он верил Смирнову, уважал его, и нелегко ему было укорять человека, которого он считал своим единомышленником.

— Вот что, Иван Никитич,— сказал Погодин, переведя взгляд на окно, за которым, мешаясь с грязной мутью песчаной бури, уже сгущалась вечерняя мгла.— Ты ведь как начальник строительства в полной мере отвечаешь за успех нашего дела? За все отвечаешь, за каждый участок?..

— Каждый из нас за все в ответе...

— Брось, Иван Никитич! Сейчас речь о тебе. Ты всем распоряжаешься, с тебя и спрос! Почему ты не сказал мне, что в твое распоряжение поступили вагончики? Кому ты их передал?

— Вагончиков было мало, Иван Борисыч.

— Верю, что мало! Но были! И ты отдал их экскаваторщикам. А мы что для тебя — чужие?..

— Иван Борисыч!..

— Погоди, Иван Никитич...— Погодин развел руками и, словно удивляясь, сказал: — Вот ведь штука какая! Заняты мы все одним делом. Тебя над нами поставили начальником, а у тебя, оказывается, все делится на свое и чужое: экскаваторщики — эти в своем ведомстве, о них можно и позаботиться, а трактористы — это чужие, погодинские! Обойдутся, мол...

Смирнов молча поднялся со стула и принялся ходить по комнате, а Погодин, горячась, продолжал:

— Ну, откуда это в тебе появилось, Иван Никитич? Или это такая уж въедливая, заразная вещь? Возведем вокруг своих ведомств глухие стены и думаем, как в поговорке, будто солнце и луна светят только для нас. Обеспечил своих людей, свой участок — и молодец, и

хорошо! У тебя — плюс, а у меня — минус. В общей-то сложности минус и получается. Ведь ежели мы, трактористы, своего дела не сделаем, и общее прахом пойдет. Значит, и труды твоих экскаваторщиков пропадут даром! И, выходит, льешь ты воду на кадыровскую мельницу! Случись у нас затор, он-то уж, будь спокоен, не упустит случая поднять шум: я, мол, говорил, я, мол, предупреждал!.. Буря-то, сам видишь, врасплох нас застала...

— Ты не паникуй,— буркнул Смирнов и, посмотрев на барометр, добавил: — Ничего с твоими трактористами не станется. Буря долго не продлится.

— Эта пройдет — новая может нагрянуть!

— Выстоим! — уже менее уверенно сказал Смирнов.— Ребята у тебя богатыри, им любая буря нипочем!..

Погодин внимательно поглядел на Смирнова и покачал головой.

— Смотрю я на тебя, Иван Никитич, сам ты не веришь тому, что говоришь. А признаться, что неправ, тебе неловко.

Он помолчал, подумал и добавил:

— С трудностями мы, конечно, справимся... Только что-то в последнее время взяли мы за обычай всякие бытовые неполадки и те в трудности перекрещивать. И «ура» кричим: «Спешите в степь, товарищи, там хорошо, трудно: жить негде, есть нечего!» И так уж мы привыкли к чудесному, великолепному свойству наших людей — не бояться трудностей,— что порой и не заботимся, чтобы этих трудностей было поменьше. Правда, в этом случае нам, ответственным работникам, самим пришлось бы потяжелее, да ведь на то мы и ответственные!

Смирнов устало опустился на стул и, усмехнувшись — над Погодиным ли, над собой ли,— спросил:

— Все сказал?

— Хватит с тебя.

Легкий и сухощавый, Смирнов за эти минуты словно отяжелел; даже плечи у него обвисли, будто налились свинцом, тянувшим их книзу.

— Вот что, дорогой Иван Борисыч,— медленно, пытаясь скрыть за угрюмой ершистостью покаянную растерянность, произнес Смирнов.— Слушал я тебя, слушал, а ничего нового не услышал. Незачем меня агити-

ровать, я и сам все знаю. Как прибудут вагончики, первым делом отправлю тебе.

— Не как прибудут, а сейчас! — решительно заявил Погодин, понимая состояние Смирнова, которому, видно, трудно было вот так, сразу, признать свою вину и сдаться.

— Негде мне их сейчас взять...

Погодин рассмеялся:

— Врешь, Иван Никитич, имеется, наверно, неприкосновенный запасец! Такой скряга, каким ты стал, обязательно прибережет что-нибудь на черный день!

Смирнов прошел за свой стол, выдвинул один из ящиков, достал какую-то бумагу и, перечеркнув ее своей подписью, протянул Погодину.

— На, возьми. И отстань. Завтра утром пошлешь людей на станцию, на склады.

— Сегодня же пошлю! — вставая, сказал Погодин.

Смирнов тоже встал.

— Как знаешь! И учти: уступил я тебе, только чтоб отвязаться.

Погодин лукаво улыбнулся:

— Понимаю, Иван Никитич!..

— Претензий больше нет?

Погодин, посерьезнев, подошел к Смирнову и, положив ему на плечо руку, тихо сказал:

— Я ведь, Иван Никитич, не за вагончики на тебя обиделся. Без них я, может, и обошелся бы... А без тебя, вот без такого, каким я тебя знаю уж немало лет, мне трудно... Когда я услышал об этих вагончиках...

— Ладно. Помолчи.

— Понял меня, Иван Никитич?

— Молчи. И без того тошно.

Смирнов резким, досадливым жестом — от уха к затылку — взъерошил свои белесые волосы, а когда поднял голову, лицо у него было уже ясное, повеселевшее... Друзья помяли друг друга в неуклюжих объятиях и двинулись к выходу.

Как только Смирнов распахнул дверь, в глаза ему сыпануло колючей, сухой пылью. Ветер отшвырнул дверную створку к наружной стене дома, петли скрипнули зло и жалобно; со стены посыпалась штукатурка. Смирнову еле удалось закрыть дверь... Он постоял несколько минут молча, прислушиваясь к грозному плеску волн, вглядываясь в сумеречную темь, наполнен-

ную движением туч, песка, ветра, и, неодобрительно покачав головой, спросил:

— И в этакую-то непогодь ты собираешься ехать обратно? Переждал бы у меня...

— А кто знает, сколько придется ждать? Ты слышал узбекскую поговорку: ожиданье страшнее смерти? Нет, Иван Никитич, я уж поеду... Надо о вагончиках позаботиться. Да и вообще... Лучше сейчас быть там, на стане...

— Ну что ж... Ни пуха тебе, ни пера.

Погодину хотелось поскорее попасть на стан, и он решил ехать не обычной, окольной дорогой через кишлак, а прямиком, по протоптанной в пустынной степи узкой тропинке. Сейчас тропинку всю занесло песком, да и в этакой темноте ее все равно трудно было разглядеть. Буря стерла все ориентиры, и Погодин мчался наугад, не зная даже, где он в эту минуту находится... Им владело одно желание, которое сам выражал коротким, порывистым словом: скорее!.. Скорее, скорее — потому что он нужен людям, борющимся с бурей и с целиной! Скорее — потому что как ему ни трудно, а им еще труднее, и его место — там, с теми, кому трудней всего. Скорее, скорее! Пусть топчутся на месте те, кто лишь подталкивает людей, а не бросается сам в гущу боя. Место коммуниста на переднем крае! Только на переднем крае! Скорее, скорее!

Мотоцикл подскакивал, и казалось, вот-вот рассыплется. Очки плохо защищали от песка. Песок попадал в глаза, набивался в уши, хрустел на зубах, колол, сек лежавшие на руле руки. Вокруг хозяйничала буря, но Погодин не видел, а только слышал ее. Она словно всасывала в себя раскатистое тарахтенье мотора, глушила его воем ветра, глухим шорохом мечущегося в воздухе песка.

На пути Погодина лежал неглубокий овраг. Днем ничего не стоило провести через него свой мотоцикл, но сейчас директор не мог даже определить, далеко ли еще до оврага. На полной скорости Погодин влетел на его край. Мотоцикл подпрыгнул и повалился набок.

Очнулся Погодин уже на дне оврага, куда скатился вместе с мотоциклом. Попробовал подняться, но при первом же движении острая боль пронзила колено, словно в него воткнули раскаленную иглу. Погодин со

стоном опустился на землю. Случилось худшее. Ему во что бы то ни стало надо было ехать, а он не мог даже шевельнуться; крики его тут же проглатывала буря; ждать помощи было неоткуда...

Погодин лежал в темной степи, страдая не столько от боли, сколько от обидного сознания своей беспомощности. А буря свирепела, и ветер наметал в овраг сугробы сухой земли и песка...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Когда песчаная буря обрушилась на степь, Уста Хазраткул, прикрыв стройматериалы брезентом, увел свою бригаду в Алтынсай. Халим-бобо решил отправиться вместе с Айкиз и Лолой на стан: ему хотелось в минуту опасности быть поближе к своему детищу — новому саду...

Буря гигантским колючим клубком катилась по степи, по полям, по дорогам, по улицам Алтынсая... Воздух, насыщенный горячим песком, казался красно-желтым. Ветер вздымал пыль, сухие ветки, вырванную с корнем траву. Айкиз ясно представляла себе, что творилось в кишлаке, на дорогах, на хлопковых полях. Нежные кустики хлопчатника замело, наверно, песком. Деревья в Алтынсае поникли под тяжестью пыли, с иных домов ветер посрывал крыши...

Халим-бобо, Айкиз и Лола шли через степь медленно, прикрывая ладонями глаза, отворачиваясь от ветра, острыми своими когтями царапавшего лицо... Старик часто поглядывал назад, где оставил на произвол бури беззащитные саженцы, но сквозь плотную пелену песка ничего не было видно.

Среди грохота бури, словно заблудившись, вдруг возникали привычные, успокаивающие звуки: то с одной, то с другой стороны доносилось прерывистое гудение тракторов — многие трактористы наперекор ветру продолжали работать в непроглядной пыли.

Старый садовод и его спутницы еле добрались до сборного домика — погодинского штаба.

В домике оказалось несколько колхозников да свободных от работы трактористов. В кабинете Погодина было пусто.

Халим-бобо и Лола сели. Айкиз подошла к окну.

Песчинки, взметенные бурей, стучали по стеклам и соскальзывали вниз — так мошки, налетев на огонь, тут же падают, обожженные, а к огню летят и летят новые стаи мошкары... Стекла потускнели от пыли. За окном тоже было тускло, мутно. Айкиз с трудом различала в этом желтовато-буром тумане силуэты людей, приходивших на стан, уходивших со стана, перебегавших от строения к строению. Трактористы не прерывали работы. У Айкиз в груди острым холодком разлилось чувство восхищения, но к этому чувству примешивалось другое, темное и тревожное: а все ли мы сделали, чтобы облегчить труд этих людей, отдающих делу все свои силы, подготовились ли к тому, чтобы достойно встретить басмаческий налет стихии? Нет, прорех еще много. Айкиз, Смирнову, Погодину, Алимджану предстоит еще многое обдумать, исправить, доделать... Людям в степи еще негде укрыться от непогоды. Надо надежней защитить поселок и сад от бурь и зноя. Надо торопиться с посадкой лесных полос.

Все эти «надо» жалили Айкиз в самое сердце, но она не отмахивалась с досадой, а припоминала, что еще нужно, непременно нужно, ну просто необходимо сделать...

Посоветоваться бы с Алимджаном... Он может, взглянув на все со стороны, заметить огрехи, к которым она уже пригляделась. Но Алимджан вернулся, а она этого почти не чувствует. Он здесь — но не рядом. Она даже не знает, где он в эту минуту, что делает, с кем делится своими мыслями...

На него нахлынули повседневные дела, заботы, по которым он истосковался в городе, нахлынули, завертели, закружили, и ему теперь не до Айкиз. Айкиз понимала мужа, оправдывала его и все же не могла избавиться от смутной, незаслуженной обиды, которую нанес ей Алимджан...

Как мало он думает о ней!..

На плечо Айкиз мягко легла чья-то рука. Айкиз вздрогнула и увидела рядом лицо Лолы. Беззаботная хохотушка Лола сейчас была тихой, печальной; ее круглые щеки, обычно румяные, словно наливные яблоки из сада Халима-бобо, покрывала легкая бледность.

— Айкиз-апа[1]! А где Иван Борисыч?

— Наверно, в степи. Со своими трактористами...

— Он пошел сюда, на стан...

— Откуда ты знаешь?

— Знаю...— уклончиво сказала Лола и, обняв подругу за плечи, прижавшись к ней, словно иззябший ребенок, попросила: — Айкиз-апа, пойди узнай, где он сейчас...

Айкиз вышла из кабинета. В коридоре, в комнатах толпились эмтээсовцы. Лица у всех были усталые, запыленные, озабоченные. Трактористы подбадривали друг друга шутками, горячо спорили о чем-то. Самые неунывающие резались в домино. Иные спали, присев на корточки возле стены, уткнув головы в поднятые колени. В одном из спящих Айкиз узнала молоденького экскаваторщика. Сон его был безмятежен, сладок; так спят люди, довольные прожитым в труде днем.

К кому ни обращалась Айкиз, никто не знал, куда уехал директор. Она прошла на крыльцо. Домик стоял спиной к пустыне, на крыльце было чуть потише и поспокойней, чем в степи, но и здесь Айкиз чувствовала себя так, будто заплыла на утлой лодчонке в бушующее море... Вокруг разбойничала буря; лицо обжигали горячие брызги песка; стены вздрагивали под порывами ветра. А в мутной, вечереющей дали веселыми, вселяющими веру и бодрость маячками светились бледные огоньки тракторных фар. Хозяевами в степи оставались люди.

— О-о-о! Никак наш председатель? — послышалось рядом, и Айкиз, повернув голову, увидела Суванкула. Он подошел к крыльцу сбоку и устало облокотился о перила.

— Здравствуй, Суванкул! Как работается?

— Подходяще, председатель! Как говорится, «с ветерком».

— Не жалеешь, что ушел из колхоза?

— Конечно, колхозу без меня трудновато... Да и мне без него скучно. Но ведь надо же было помочь эмтээсовцам! Уж Погодин просил меня, просил...

— Расхвастался! Ты, кстати, не знаешь, где он?

— Директор-то? Он, видно, укатил к начальнику Смирнову. Я ему сигнализировал насчет вагончиков.

---

[1] Апа — старшая сестра; почтительное обращение к женщине.

Директор оставил мне свое «большое спасибо», а сам уехал...

— Значит, он у Смирнова? Ну, спасибо тебе, Суванкул...

— Ай, еще одно «спасибо»! Куда мне их девать, председатель?..

Но Айкиз не дослушала Суванкула. Торопливо простившись с ним, она поспешила к Лоле.

Лола стояла у окна, прижавшись лбом к теплому стеклу, а старый Халим-бобо сидел на стуле, чуть пригнувшись, положив локти на колени, и, казалось, дремал. Когда вошла Айкиз, он поднял голову и с беспокойством спросил:

— Как, дочка, не утихает буря?

— Нет, дедушка, еще пуще разыгралась.

Старик сокрушенно покачал головой и, кряхтя, поднялся со стула:

— Ай-ай! Поломает она мои саженцы. Схожу посмотрю...

Айкиз, обняв старого садовода за плечи, усадила его на место:

— Сидите, дедушка... Куда вы в такую бурю? Да и темно в степи, ничего не видно. Подождем до утра...

Айкиз бодрилась, но глаза у нее были темными-темными, словно и их заволокло хмурыми, непогожими сумерками...

Халим-бобо по-отцовски ласково погладил сухой, шершавой ладонью ее руку, утешающе улыбнулся:

— Ничего, дочка, обойдется...— И, понизив голос, добавил: — Пойди лучше побудь с Лолой. Видишь, как она на тебя смотрит.

Лола и правда смотрела на нее нетерпеливо, тревожно. Айкиз тихо сказала ей:

— Он у Смирнова. Поехал похлопотать насчет вагончиков для трактористов.

— Позвони Смирнову, Айкиз-апа!

— Зачем зря поднимать панику?

— А ты будто по делу...

Айкиз усмехнулась, как усмехаются взрослые, покоряясь капризу ребенка, и шагнула к столу, на котором стоял громоздкий, допотопный телефон. Она долго крутила ручку, но в трубке томилась пустынная, не нарушаемая обычным потрескиванием тишина...

— Видно, бурей оборвана линия. Но ты не волнуй-

ся, Лолахон. Что с ним случится? Он сидит сейчас у Смирнова или поехал к себе в МТС.

— Нет, ападжан [1], нет! Он не мог задержаться у Смирнова... Он давно должен быть здесь...

— Да почему, Лолахон?

Лола кивнула на окно.

— Видишь, что творится? Он должен вернуться на стан.— Она покраснела, опустила глаза, докончила шепотом: — Обязательно! Я знаю Ивана Борисыча...

В груди Айкиз шевельнулось что-то похожее на зависть... Глаза Лолы, слова Лолы — все дышало любовью и чистой, крепкой верой в любимого. Она была сейчас далеко от Погодина, но, казалось, видела его, могла предугадать каждый его шаг. Она была убеждена: Погодин мог поступить только так, не иначе. Ее уверенность и ее тревога передались Айкиз...

— Погоди, сестренка! Я сейчас узнаю, нельзя ли наладить связь... Вы отдыхайте, а я потолкую с трактористами.

Айкиз направилась было к выходу, но в это время дверь отворилась, и на пороге появились Умурзак-ата и Алимджан. И лица и одежда их были сплошь засыпаны пылью. Густые, черные, сросшиеся на переносице брови Алимджана казались седыми, как у старого Умурзака-ата, а под бровями негаснущими угольками в серой золе весело и возбужденно посверкивали глаза. Алимджан стал отряхиваться и окутался густым коричневым облаком пыли. Поздоровавшись с Халимбобо и Лолой, он пододвинул Умурзаку-ата стул, а потом, подойдя к Айкиз, сказал:

— Прости меня, Айкиз. Замотался! Из бригады — в кишлак, из кишлака — в бригаду... Обо всем хотелось узнать, со всеми повидаться. Соскучился я за это время по колхозу.

— А по мне? — требовательно, с упреком шепнула Айкиз.

— Знала бы ты, Айкиз, как я люблю тебя, умную мою, красивую.— Алимджан оглянулся смущенно и уже обыденней спросил: — Ты обедала без меня?

— Пообедала,— кивнула Айкиз и проглотила голодную слюну.— Я была у строителей, с ними и поела.

---

[1] Ападжан — сестрица.

— Вот и отлично. А то я боялся, что ты прождешь меня и останешься голодной.

— Вы откуда сейчас?

— С поля,— сказал Алимджан.— Пытались защитить хлопок от бури. Да куда там!..

— А ты не скромничай, сынок! — ласково упрекнул его Умурзак-ата.— Сказать по чести, мы немало сделали.— И, обращаясь к Айкиз, восхищенно воскликнул: — Алимджан наш богатырь, дочка! Как началась буря, многие попрятались по домам: какая, мол, работа, бурю не переспоришь! Мы тоже сперва приуныли. Видим, беда грозит хлопку, да растерялись, не знаем, что делать. А вот Алимджан не пал духом!

— Отец! — просительно произнес Алимджан.— Вы уж так меня расхвалили... Колхозники — вот настоящие герои!

Умурзак-ата, пряча улыбку, несердито оборвал зятя:

— Старшие говорят — ты молчи! Так вот, дочка... Взял он кетмень и открыл воду. Тут мы поняли, что он задумал. Ветер-то песок с места на место переносит, а увлажнишь его — ему в воздух уже не подняться. Опомнились мы, схватились за кетмени. Трудно нам пришлось, дочка, куда как трудно! Ветер с ног валит, глаза от песка слепнут, в двух шагах ничего не видно, вода в арыках бунтует! Но Алимджан ведет нас, и мы идем за ним, как бойцы за своим командиром. Эх-хе, я себя молодым почувствовал, вспомнил, как когда-то с басмачами дрался!

Айкиз слушала отца затаив дыхание.

— И что же потом?

— А потом мы принесли фонари, навесили их на шеи и опять схватились с бурей! Глядим, а уж и дехкане из других бригад устыдились своей слабости, вернулись в поле. Самый опасный натиск бури мы отбили. Видит Алимджан, люди едва на ногах держатся, оставил в поле нескольких поливальщиков, остальным велел идти в кишлак.

— Сами-то вы зачем пошли сюда, а не в кишлак? Вам ведь отдохнуть надо!

Алимджан тихо сказал:

— Я знал, что ты здесь...

После этих слов, после рассказа отца недавняя досада Айкиз на мужа исчезла. Снова он был с ней, и

голос его звучал нежно и заботливо, а глаза светились любовью... На секунду она незаметно для других прижалась плечом к его груди, подняла на него просветлевший взгляд, а потом спросила отца:

— Значит, хлопок можно спасти, отец?

— Не буря ведь вершит судьбой урожая. Все зависит от нас самих!.. Наляжем на работу — так, что бы там ни было, осенью весы заскрипят под тяжестью хлопка!

— Спасибо, отец,— тихо сказала Айкиз. Она подошла к окну, посмотрела, не угомонился ли ветер. Встретила молящий, напоминающий взгляд Лолы.— Отец! Алимджан!.. Вы не видели Погодина?

— Постой, постой, дочка! — воскликнул Умурзак-ата.— У него ведь мотоцикл?

— Так вы видели его? — вырвалось у Лолы.

— После полудня кто-то проехал мимо нас на мотоцикле. Несся как бешеный!..

— Это Иван Борисыч! — снова не вытерпела Лола и поспешила отвернуться к окну, чтобы никто не увидел густого румянца, залившего ее лицо.

— А обратно он не проезжал? — спросила Айкиз.

— Нет, дочка...

Алимджан с догадливой усмешкой взглянул на сестру и, подмигнув жене, умышленно громко произнес:

— Он, верно, в кишлаке или у себя в МТС. За Погодина тревожиться нечего.

— Никто и не тревожится,— не поворачивая головы, всхлипнув, пробормотала Лола.

В этот вечер и в эту ночь здесь никто не спал, лишь старики — Халим-бобо и Умурзак-ата — прикорнули на своих стульях.

Алимджан и Айкиз пошли к трактористам.

Трактористы работали с таким упрямым, но веселым, хмельным задором, словно бросали вызов разгулявшейся буре: «Ты вздумала испугать нас, сокрушить, опрокинуть? Нет, мы не дрогнем под твоим яростным натиском!» Это была азартная схватка с природой, когда кровь в жилах бурлит, а слух, зрение, мускулы — все напрягается до предела.

Айкиз шла по степи, и ей радостно было разрезать плечом, как волну, упругий, шершавый ветер, отфыркиваться, когда в лицо, как бекасинником, бил острый песок, и все идти и идти вперед, наперекор непогоде!

Она чувствовала себя смелой, сильной и уже не так, как недавно, досадовала на бурю, подвергшую ее и всех этих мужественных и решительных людей суровому испытанию.

Неожиданно из непроглядной тьмы до Айкиз донеслась песня. Ветер попробовал смять, искромсать ее, изрубить на куски, но не смог: песня плыла в ночи, неподвластная стихиям, и звучала все громче, увереннней. Это пел кто-то из трактористов; пел без слов, выводя только мотив, вкладывая в него свою душу, отчаянную и восторженную.

И Айкиз подумалось: если бы эту песню услышали Султанов и Кадыров, они на бюро райкома говорили бы по-другому! Почему они не хотят ничего ни видеть, ни слышать? Каким песком запорошило им глаза, забило уши?..

Когда Айкиз вернулась на стан, ей сообщили, что оборванная линия восстановлена. Телефон работал.

Лола за эти часы стала еще бледней, осунулась. Глаза ее влажно блестели. Высохшая слеза оставила на щеке глянцевую полоску. Айкиз достала платок и, пряча улыбку, вытерла подруге щеку.

— Ну что ты, Лолахон?..

— Айкиз-апа,— беспомощно сказала Лола,— я звонила Смирнову... Иван Борисыч поехал сюда.

— И... и что же?

— Он выехал давно, очень давно... В МТС его тоже нет... Да ведь он бы и сам позвонил!

Халим-бобо, разбуженный приходом Айкиз, подошел к подругам и, ласково, жалеюще взглянул на Лолу, покачал головой:

— Да, доченька, с директором, видно, приключилась беда... Погодин хоть и молод, но трактористам он вроде отца. А разве хороший отец забывает о детях? Он и поспешил к ним в тяжкую минуту. И выбрал, верно, путь покороче. Покороче и поопасней...

— Ападжан,— взмолилась Лола,— надо искать его!

— Что ты, Лолахон?.. В такую погоду?..

— Ах, ападжан, если бы даже все дороги замело снегом, если бы на землю обрушился град, если бы весь песок Кызылкумов поднялся в воздух — я все равно...

Она говорила торопливо, горячо, словно произносила жаркую клятву, но Айкиз прервала подругу:

— Сейчас бесполезно его искать, Лолахон... Взгляни, какая темень на дворе! Мы только выбьемся из сил.

— Что же делать?

— Наберись терпения. Вспомни пословицу: нетерпеливый сам себя губит...

— Ай, мне сейчас не до пословиц!..

— Айкиз правильно говорит, дочка,— сказал Халим-бобо.— Надо дождаться утра. Как ни тяжело, а надо ждать. Утром я сам пойду с вами. Поверь, дочка, дела, за которые берется старый Халим-бобо, завершаются благополучно... Ты пока отдохни, сядь вот за этот стол да подремли.

— Нет, дедушка, мне не до сна.

Старик покачал головой:

— Приехала ты сюда отдохнуть, набраться сил, и нет тебе ни сна, ни покоя... Да еще в саду возишься... Может, освободить тебя от этой работы?

— Что вы! Без дела будет скучно... Когда работаешь, не замечаешь, как летят дни!

Айкиз хоть и была встревожена исчезновением Погодина, но не могла удержаться от улыбки: знаю я, почему тебя тянет в сад, почему дни для тебя летят веселыми, быстрыми птицами. Ведь рядом Иван Борисович! Она ласково, успокаивающе погладила Лолу по плечу:

— До утра недалеко, сестренка, подождем.

До рассвета оставалось несколько часов. Но эти часы Лоле показались бесконечными, время было глубокой, черной пропастью, в которую Лола падала, падала и все не могла достичь дна...

Буря бесилась всю ночь. Рассвет забрезжил, пугливый, нерешительный... У Лолы от бессонной ночи глаза покраснели, веки припухли, кожа на лице словно подернулась серым пеплом.

— Пойдем, Айкиз!

— Сейчас, сестренка... Я попросила найти для нас коней. Трактористы тоже собираются на поиски — их очень беспокоит судьба директора. Волнуются ребята, пожалуй, больше нас...

Летнее утро — это всегда летнее утро. Ничто не может его победить. Ветер по-прежнему крутил в воздухе тучи песка и пыли, но к нему уже привыкли.

Солнечный свет, пробивающийся сквозь эти тучи, был тревожным, зловещим. И все-таки это был свет начинающегося дня, а днем все выглядело не столь страшно и грозно, как ночью...

Умурзак-ата и Алимджан ушли в поле. Перед уходом Алимджан предупредил Айкиз: если понадобится его помощь, пусть немедля пришлет кого-нибудь за ним. Старый садовод предложил себя в проводники Айкиз и Лоле. Но, жалея старика, они отказались от его услуг. Он медленно побрел в степь, к своему саду...

Вскоре тронулись в путь и Айкиз с Лолой. Они обогнали группу эмтээсовцев, которые шагали по степи

широкой цепочкой, уставшие, озабоченные. Тропинки и дороги были засыпаны песком. Айкиз мысленно провела прямую от стана к водохранилищу (вероятнее всего было, что Погодин поехал именно так — прямиком через степь), и конь, подчиняясь ее воле, двинулся вперед, придерживаясь этой воображаемой дороги и в то же время делая длинные зигзаги.

Ветер дул то сбоку, то в спину. Песок, поднятый ветром, как ни заслонялись от него, лез в глаза. Лола, ехавшая позади Айкиз, то и дело восклицала:

— Ападжан! Я ничего не вижу! Так мы не найдем его.

Айкиз молчала и, пересиливая колющую боль, от которой слезились глаза, напряженно всматривалась в степь.

Часа через два подруги, петлявшие по степи, добрались до неглубокого, но обширного оврага, прозванного местными жителями «Беш чукур» — «Пять буераков». Кони медленно, осторожно переступая копытами, вязнувшими в песке, спустились в овраг, и вдруг Лола вскрикнула:

— Айкиз! Вон он!

Погодин был весь занесен песком. Виднелись только руки да голова. Он попытался приподнять ее, но тут же снова, как на подушку, уронил в мягкий песок.

Лола первой спрыгнула с коня, подбежала к Погодину, нагнулась над ним и, отгребая с груди и шеи песок, поцеловала в растрескавшиеся, пересохшие губы. Погодин слабо улыбнулся, шепнул хрипло:

— Ничего, Лола... Ничего...— и, к ужасу девушки, бессильно смежил воспаленные веки.

— Айкиз! — закричала Лола.— Скорее, Айкиз! Он умирает!..

К счастью, Айкиз не утеряла обычной решительности и твердости. Она опустилась рядом с Лолой на колени, просунула руки Погодину под мышки и попробовала поднять его. Погодин застонал... Увидев, как побелела Лола, Айкиз кивком показала ей на коней:

— Подведи их поближе!

Лола отошла, оглядываясь. Айкиз, до боли прикусив губу, напрягшись всем телом, подтянула Погодина к краю оврага. Погодин с трудом открыл глаза, благодарно взглянул на Айкиз, шепнул что-то, но налетевший порыв ветра заглушил его слова...

— Что с тобой? — морщась от жалости к Погодину, спросила Айкиз.— Где болит?

— Нога... С ногой что-то...

— Придется потерпеть, Иван Борисыч!

Погодин кивнул:

— Стерплю...

— Крепись!..

Айкиз с трудом подволокла обмякшее, отяжелевшее тело Погодина к одному из коней и с помощью Лолы взвалила на седло. Сама она села позади Погодина и строго сказала Лоле:

— Поезжай следом и не реви. Ему и без того худо.

Лола ответила ей взглядом, полным восхищения и благодарности: она уже стыдилась недавнего отчаяния. И особенно стыдно ей было перед Айкиз, которая вела себя так мужественно и стойко.

Придерживая Погодина, Айкиз, натянув поводья, пустила коня мягким шагом.

Первым их увидел Суванкул. Не скрывая своей радости, он подбежал к медленно бредущим коням, крича во всю мочь:

— Нашли, нашли, товарищи!

Но радость Суванкула и других трактористов быстро померкла, когда они увидели, в каком состоянии директор.

— Жив?

— Что с ним?

— Жив, но что с ним — не знаем. Нашли в овраге. Пусть кто-нибудь заберет там мотоцикл.— И Айкиз, не останавливая коней, показала туда, где они нашли Погодина.

Как медленно тянется время, когда спешишь! Может быть, часа два, а может быть, и меньше часа прошло, когда они, пробившись сквозь бурю, достигли тракторного стана, где размещался медицинский пункт.

Погодин за всю дорогу не издал ни единого стона; когда ему оказывали первую помощь, он, превозмогая боль, крепился, затем решительно заявил, что ни в какую больницу не поедет.

— Поднимать целину — не в игрушки играть! Мое место здесь, на стане,— он попытался улыбнуться, но улыбка получилась какой-то бледной, похожей на гримасу.

Пришлось принести в медпункт из директорского кабинета стол с телефоном. Погодин вскоре забылся беспокойным сном, и хотя он был недолог, но принес больному облегчение. Директор повеселел, приободрился, и комната, словно улей, наполнилась деловитым, беспорядочным шумом, ни на минуту не оставаясь пустой.

Лола не отходила от постели Ивана Борисовича. Она оказалась терпеливой сиделкой, заботливой, самоотверженной...

● ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ БУРИ

Песчаная буря пробушевала около двух суток. К исходу бури волны водохранилища поднялись выше, грознее. Напор воды в канале, от которого, как ветви от дерева, тянулись к полям арыки, усилился. Вода подмывала береговые насыпи, продырявленные сусликами, полевыми мышами, муравьями. Просочись она в каком-нибудь месте — промоина быстро расширится, на поля хлынет бурный поток.

Айкиз, узнав о грозившей полям опасности, помчалась на Байчибаре к Смирнову. Они собрали сведущих опытных мирабов, прошли с ними вдоль канала, с дотошной внимательностью обследовали каждый участок береговой насыпи, позаботились, чтобы к ненадежным местам были доставлены камни, хворост, свежие ветки. Мирабы принялись укреплять, латать подмытые берега. Когда стемнело, дехкане, хлопотавшие на канале, зажгли фонари, и канал на всем своем протяжении расцвел радужными колеблющимися огоньками.

Так прошла еще одна ночь... А утром, когда буря сложила крылья, когда миновала и угроза нежданного паводка, Айкиз простилась с мирабами и Смирновым. Смирнов уговаривал ее отдохнуть, вздремнуть в конторе, но Айкиз торопилась.

— Нет, Иван Никитич, отсыпаться будем после! Сейчас, верно, ни одному дехканину не до сна!..

— Ну, Кадыров-то, пожалуй, спит сладким сном праведника и видит во сне, как черти поджаривают нас на сковородках.

— У Кадырова сейчас забот больше, чем у других. Ведь болеет же он за свой колхоз! — Айкиз пристально посмотрела на Смирнова и рассмеялась.— Ой, Иван Никитич! У вас борода отросла! А глаза совсем слипаются!..

Смирнов блаженно, до хруста в костях, потянулся:

— Поспать бы сейчас... А потом побриться... И зажить наконец нормальной, спокойной жизнью!

— Вот и ложитесь спать, Иван Никитич!

Но Смирнов только махнул рукой. Обменявшись с Айкиз крепким, сердечным рукопожатием, он юно-

шески бодрой, какой-то нетерпеливой походкой вернулся к водохранилищу.

Весь этот день Айкиз провела в степи. Она побывала у хлопкоробов, на полевом стане Погодина, навестила старого Халим-бобо, который зарывал в землю похожие на паучков корни саженцев, поваленных бурей.

Всюду — в степи, в кишлаке, на полевых станах — буря оставила грозные, ощутимые следы. Придорожные рвы, канавы, овраги завалило песком, комьями земли, обломанными ветками и листвой. Вода в арыках текла желтая, мутная; в степи возле каждого кустика саксаула или пальчатки высился песчаный бугор. По распаханной целине буря расстелила песчаное одеяло. Своим шершавым языком она облизала хлопковые поля, засыпала чуть не по самую макушку молодые зеленые побеги хлопчатника, запорошила их желтой пылью, и они, как и трава близ дороги, казались иссохшими от зноя.

Опустошительные бури были алтынсайцам не в диковинку, но впервые они лицом к лицу встретились с непогодой на широких просторах степи и полей в самые горячие, напряженные дни. От нее нельзя было спрятаться, и алтынсайцы сшиблись с ней грудью. Теперь же, когда буря прошла, надо было поскорей залечить нанесенные колхозу раны.

Погодин затеял на полевом стане «генеральную уборку». Эмтээсовцы выгребали со двора песок и мусор, чинили поврежденные бурей навес и крышу сборного домика, вызволяли из песка бочки с горючим, инструменты, тракторные детали, наводили порядок в полевых вагончиках, доставленных со станции. Приходилось урывать время от сна, от обеда, от отдыха. Но победа над бурей окрылила людей, и теперь ничто не могло заставить их отступиться от заветной цели — покорить целину.

Дехкане, охваченные тем же чувством, что и трактористы, принялись расчищать арыки, рыхлить, размягчать землю вокруг кустов хлопчатника, подкармливать, поить растения. Делалось все, чтобы кустики, уже выпустившие первые острые листки, насытились, окрепли и вольно, бурно, словно никакой непогоды не было, пошли в рост, принялись на радость людям за кропотливую, таинственную, мудрую работу: сотворение хлопка — белого золота.

На полях рокотали «Универсалы», тащившие за собой культиваторы: они нарезали меж рядов хлопчатника неглубокие борозды, по которым медленно пробиралась пущенная из арыков вода.

Не отставал от всех и старый Умурзак-ата. Его белая борода, белые узоры на тюбетейке, белый халат, открытая грудь, пропеченная солнцем,— все покрылось пылью; к спине, чудилось, кто-то приложил горячую ладонь. Но разве мог он подвести дочь, свое звено, колхозников, которым они с Алимджаном твердо пообещали: хлопок можно спасти!

Когда Умурзак-ата наконец выпрямился, разогнув сладко занывшую спину, он увидел рядом с собой Кадырова. Кадыров стоял, заложив за ремень большие пальцы, похлопывая остальными по круглому, тугому, как арбуз, животу, и озабоченно поглядывал на ряды хлопчатника.

— Салам алейкум, отец,— кивнул он старому хлопкоробу.— Видал, к чему привела затея твоей дочки?

Умурзак-ата скользнул по лицу Кадырова острым неприветливым взглядом.

— Дочка моя тут ни при чем, раис.

— Ни при чем, говоришь? А по чьему настоянию людей перебросили с хлопка на целину? Твоя дочь ослабила полеводческие бригады, вот вам теперь и приходится надрываться, спасая хлопок. Жалко мне тебя, отец. Глаза твои ослабли, руки ослабли, спина сгорбилась, а ты днюешь и ночуешь в поле, исправляешь чужие ошибки...

Глаза у Умурзака-ата сощурились холодно, понимающе.

— Спасибо за твои заботы, раис. Но нам от тебя не жалость — помощь нужна. Ты ведь хозяин опытный: землю понимаешь, хлопок понимаешь.

— Помочь не отказываюсь. Обещаю тебе, отец, сделаю все, что смогу.

Умурзак-ата снова взялся за кетмень, а Кадыров зашагал к дороге, где ждал его конь.

Все эти дни председатель был сам не свой. Когда началась буря, душу его до краев переполнило злорадное чувство: что, голубчики, дождались? И чем больше неистовствовала буря, тем сильнее он торжествовал: ненавистные ему «выдумщики», силой вовлекшие его

в опасную, рискованную затею, потерпели неудачу; уж теперь-то они угомонятся и, слава богу, оставят его в покое!

Но вскоре, словно очнувшись, Кадыров сердито одернул себя: «Ай, осел, ну чему ты радуешься?.. Тому, что пропал даром труд твоих колхозников? Тому, что на них свалилась беда и каждого — каждого из тех, кого ты знаешь, с кем прожил столько лет вместе,— ушибла, поранила?»

Кадыров взгромоздился на коня и проехался вдоль хлопковых полей, с хмурой безнадежностью наблюдая за колхозниками, самоотверженно боровшимися против бури.

Ну что они могут? Лезут из кожи вон, хлопочут над каждым кустиком, да что толку? Буря всю степь, словно снегом, замела песком, позасыпала в полях все борозды. Тут плакать впору, а не радоваться.

Угрюмое, пасмурное выражение не сошло с его лица и после бури. Он ясно представил себе, что было бы, если бы они уже засеяли хлопком целинные земли и все это очутилось под песком...

Кто знает, удалось бы им спасти хлопок? Он, Кадыров, никогда не имел дела с такими обширными хлопковыми массивами, а ведь все побежали бы к нему: «Что делать, председатель? Помоги, председатель!..» И если бы хлопок погиб, спросили бы тоже с него, с Кадырова!..

Нет, что ни говори, а буря все-таки разразилась вовремя... Оба они — и Кадыров и Султанов — оказались правы. Теперь можно действовать смелей и уверенней. Надо все силы бросить на спасение хлопка, и Кадыров своей властью председателя приостановит строительство поселка, вернет людей с целины в прежние бригады. Он вправе это сделать: ведь он головой отвечает за судьбу нынешнего урожая. А Умурзакова и ее друзья пусть выкручиваются как хотят.

Кадыров побывал в бригадах, где дела шли не так уж гладко: хлопчатник здесь еще не оправился, и колхозники, из тех, что никогда не отличались особым рвением, уныло жаловались: «Да, трудно. Да, рабочих рук не хватает». Кадыров знал: иные из этих колхозников во время бури отсиживались дома, да и теперь работали с прохладцей; бригадиры тут были не из крепких и львиную долю работы перекладывали обычно на

женщин. Но трогать этих людей было нельзя: на всех собраниях они горой стояли за председателя, всем и всюду напоминали о его заслугах, а за это можно было пойти на кое-какие поблажки, простить кое-какие грешки... Обидишь их — потеряешь друзей, а надежных друзей у него не так уж много...

Он попробовал также заручиться поддержкой опытных хлопкоробов, таких, как Умурзак-ата. Умурзак-ата хоть встретил его неприветливо, но попросил помощи. Что ж, Кадыров готов ему помочь. Он укрепит его звено дехканами, которые до сих пор впустую — да, да, впустую! — возились на целине.

Объехав бригады, Кадыров вернулся в кишлак и позвонил Султанову. Султанов внимательно выслушал его (вот руководитель, умеющий прислушиваться к голосам трезвым и практическим!) и одобрительно произнес:

— Что ж, раис, благословляю! Главное сейчас — хлопок. Хлопок — это богатство и честь колхоза! Это хлеб, деньги, новые дома. За хлопок государство поблагодарит нас, и сегодня же, а не в отдаленном будущем! И помни, если мы в этом году соберем хороший урожай, это будет нашей, и только нашей, заслугой! Понял?

После разговора с Султановым у Кадырова совсем отлегло от сердца. Ай, молодец Султанов! Только золотых дел мастер знает цену золоту, и не говорит ли о дальновидности председателя райисполкома то, что он понял и поддержал Кадырова? О, Кадыров докажет Султанову, что тот в нем не ошибся! Хлопок! Главное — хлопок! И сегодня, а не в отдаленном будущем, которое еще неизвестно что с собой принесет! Рубль в руках дороже ста рублей, которые обещаны через год. Целина пока урожайна только заботами, а на старых землях уже растет хлопок. Правда, хлопка этого — не через край, но зато его можно увидеть, потрогать, показать другим! Надо скорее, немедленно же, снять людей с целины и отправить на хлопковые поля! Авторы «целинного» плана и пикнуть теперь не посмеют; они вынуждены будут держать язык за зубами. Надо торопиться, пока они не оправились от растерянности!

Первым делом Кадыров отправился на участок Уста Хазраткула.

У строителей был обеденный перерыв. В мисках, стоявших на ковре, разостланном прямо на земле, дымилась жирная шурпа. Вокруг ковра в сосредоточенном молчании (так, молча, сосредоточенно, неторопливо, едят только очень усталые люди) сидели строители. Завидев председателя, Уста Хазраткул поднялся, поздоровался и радушным жестом, протянув к ковру обе руки, пригласил Кадырова пообедать с ними.

У людей, находящихся в отличном настроении, обычно и аппетит отличный. Кадыров отпробовал шурпы, блаженно сощурился.

— Хороша шурпа!..

— А вы покрошите туда лепешку,— посоветовал Уста Хазраткул.— Ничего нет вкуснее шурпы с лепешкой. А в степи, на свежем воздухе, такая шурпа — объедение!

— Ты меня не учи! — обидчиво сказал Кадыров.— Я ведь не из городских, знаю толк в шурпе!.. Сколько раз приходилось обедать в поле!

Уста Хазраткул улыбнулся:

— То в поле, а то — в степи! Тут и работаешь всласть и ешь за двоих! Богатырем себя чувствуешь!..

Строители, не забывая о еде, с любопытством прислушивались к разговору бригадира и председателя. Ощутив на себе их внимательные взгляды, Кадыров в раздражении бросил ложку в миску с шурпой, встал и, смотря сверху вниз на Уста Хазраткула, тоном приказа отчеканил:

— Довольно вы поели шурпы на целине! Теперь будете есть плов на старых землях! С сегодняшнего дня половина строителей закрепляется за полеводческими бригадами. Остальным придется поработать в кишлаке, привести в божеский вид дома, поврежденные бурей!

— А как же новый поселок?..

— Это уж не мое дело. Не я это затеял, не мне об этом заботиться. Нам об одном надо думать: как собрать в этом году обильный урожай хлопка!

Уста Хазраткул, тоже встав, примерз недобрым взглядом к лицу Кадырова:

— Неладное говоришь, раис! Посмотри, сколько мы уже сделали! Буря нам не помешала. В котлованы нанесло песка — мы его оттуда выбросили. Цемент, из-

весть, гвозди — все уберегли от бури! И печь наша стоит как ни в чем не бывало: на днях начнем обжигать кирпич. Теперь только работать и работать, а ты приказываешь отступать. Не дело это! Мы понимаем: надо бы и в кишлаке дома подлатать. Что ж, мы не отказываемся. Мы и хлопкоробам готовы помочь. Выделим людей! Но свернуть работу на целине — не в твоей власти.— Он обернулся к строителям, которые еще не управились с обедом.— Верно я говорю, дорогие?..

К Уста Хазраткулу подошел один из строителей. Немало, видно, лет прожил он под солнцем: кожа на лице твердая, как хлебная корка, изрезанная глубокими морщинами, взгляд жесткий, колючий. Обращаясь к Кадырову, старик сказал надтреснутым голосом:

— Не много ли берешь на себя, раис?.. Такие дела решаются на общем собрании. Нам собрание доверило почетную работу, и мы не бросим ее. Нет, не бросим, пока народ не скажет свое слово!..

Кадыров сощурил глаза в высокомерной усмешке:

— Вот вы как заговорили: «мы не отказываемся», «мы выделим», «мы не бросим». А председатель для вас пустое место? Нет, дорогие, пока еще я хозяин в колхозе, а не вы! И я не стану по каждому поводу созывать собрание! Не болтать надо, а работать! А за работу я отвечаю, я, председатель колхоза!.. И я приказываю: собирайте свои пожитки и — в поле, в кишлак! Иначе я с вами поговорю по-другому!.. Мое решение сак... сан-кциони-ро-ва-но районным начальством!.. Я... я не позволю вам подрывать авторитет вышестоящих лиц!..

Кадыров захлебнулся последней фразой, каким-то ошалелым взглядом окинул притихших строителей и, даже не попрощавшись с ними, удалился твердой, тяжелой походкой.

Уста Хазраткул с таким усердием заскреб пятерней затылок, что столкнул свою шляпу, но так и не поднял ее: он увидел Айкиз, скачущую к ним на Байчибаре, и заспешил ей навстречу.

Выслушав сердитые сетования бригадира, Айкиз усмехнулась.

— Так... История повторяется! Ну что ж, Уста-амаки, как говорят солдаты, оружие к бою! Поеду поищу председателя.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С НАРОДОМ ГОРЫ СВОРОТИМ

Айкиз нашла Кадырова близ участка Бекбуты. Председатель колхоза разговаривал с нагрянувшим в Алтынсай Джурабаевым. Рядом, на шоссе, грелся на солнце старенький, запыленный газик секретаря райкома, а вокруг Кадырова и Джурабаева тесным полукольцом стояли колхозники.

Так всегда бывало: явится куда-нибудь Джурабаев, остановит машину, подзовет к себе кого-нибудь из местных командиров, глядишь, а их уже окружил народ, невесть как узнавший о приезде секретаря райкома. И Джурабаев старается всех вовлечь в оживленную беседу, раздувает угольки горячего спора и сам не отмалчивается, не напускает на себя вид хитрого, всеведущего оракула, который до поры до времени приберегает решающее слово, а тоже спорит, убеждает, подсказывает.

Среди колхозников, обступивших секретаря райкома, Айкиз увидела Алимджана, Умурзака-ата, живого, напористого Бекбуту, быстрого и пылкого, как огонь, Керима и даже Гафура, который, видно, рад был случаю хоть ненадолго оторваться от работы.

На Джурабаеве были легкие брезентовые сапоги, выбеленные пылью, белая, пожелтевшая фуражка. Поздоровавшись с ним, Айкиз с упреком сказала:

— Вы, видно, весь район изъездили, а к нам заглянули к последним...

— А я очень рад, что мне не было надобности к вам спешить,— весело ответил Джурабаев.— Я на вас крепко надеялся и, кажется, не ошибся! Это же замечательно, когда на местах есть люди, на которых ты можешь положиться! Благодаря вам, друзья, я могу подольше посидеть в слабых колхозах.

— Так ведь и у нас не все гладко! — хмуро заметил Кадыров.

Джурабаев быстро повернулся к нему:

— Ты мне уже говорил об этом! Но я еще до разговора с тобой посмотрел, как идет работа на ваших полях, и убедился: дехкане из «Кызыл юлдуз» успешно ликвидируют последствия бури!

Самоуверенно усмехнувшись, Кадыров возразил:

— Вы, наверно, были в лучших бригадах. Но по ним нельзя судить о положении в колхозе. У нас немало участков, где хлопчатник не оправился, и, если мы не бросим на его спасение все силы, хлопок погибнет.

Джурабаев пожал плечами.

— Возможно, я видел работу только передовых бригад. Но ведь это твое, председателя, дело — подтянуть отстающих. Работа, с которой справляются одни, посильна и для других. В чем-то тут у тебя недосмотр, раис.

— Ну конечно! Чуть что, виноват председатель колхоза! А сейчас надо не виновных отыскивать, а спасать хлопок! Хлопок надо спасать!

— Но не так, как вы его спасаете! — вмешалась Айкиз.— Вот рассудите нас, товарищ Джурабаев! Кадыров только что велел строительной бригаде уйти с целины в кишлак и заняться домами, поврежденными бурей. Но эти его действия ничем не оправданы, если только не считать нежелания осваивать целину. Буря разрушила лишь несколько старых, ветхих лачуг. А в том, что такие дома еще есть в колхозе, опять же виноват председатель!

— Ладно. Признаю свою вину! — В глазах Кадырова мелькнуло злобное торжество.— Но мои ошибки с булавочную головку, а ваши, товарищ Умурзакова, с верблюда! — Гафур и еще несколько колхозников рассмеялись, и Кадыров продолжал окрепшим, уверенным голосом: — Это из-за вас хлопок до сих пор под песком!..

— Уж не думаете ли вы, что это я напустила бурю на хлопковые поля?

— Сейчас не до смеха, Умурзакова,— твердо, решительно сказал Кадыров.— Ваши ошибки видны всем, у кого есть глаза. Вы еще не дошили простого халата, который можно было бы носить в будние дни, а уже принялись шить праздничный! Вот простой-то и расползся. Затрещал по всем швам!.. Я же всегда говорил: печенка, которая варится в котле, лучше курдюка, болтающегося на баране.

— А мы хотим, чтобы в котле варились и печенка и курдюк,— сказала Айкиз.

— Верно! — поддержал Бекбута.— Такое-то варево куда лучше!..

— Ишь! Захотели залезть в рот обеими руками! Хотеть все можно. Только, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь!

— Поговорка — еще не доказательство! — отрубила Айкиз.— А мне Уста Хазраткул твердо обещал: они сумеют восстановить разрушенные дома в кишлаке, не прекращая работы по строительству поселка! Вы решили также забрать у строителей половину людей, чтобы пополнить ими полеводческие бригады, в которых дела идут не ахти как хорошо. Я была сегодня в этих бригадах. Сколько человек обрабатывают там один гектар?

— Ну, три,— неохотно проворчал Кадыров и, заметив среди окружающих колхозников из отстающей бригады молодого парня с кетменем на плече, добавил: — В иных бригадах — четыре.

— А у тебя сколько, Бекбута?

— Тоже три человека на каждом гектаре. У меня людей хватает, не жалуюсь... И хлопок мы выходим! Мы и в бурю-то работали по-фронтовому, а теперь подавно не подкачаем! — Он закатал рукав халата и продемонстрировал перед всеми вздувшиеся буграми, словно сталью налитые, мускулы.— Есть еще силушка в гвардейских руках! — И, постучав себя пальцем по лбу, хвастливо добавил: — Да и тут кое-что имеется!

— А сколько у нас тракторов! — с молодой горячностью выкрикнул Керим.— Целая колонна!

— И на каждом такие богатыри, истинные Алпамыши, как мой дорогой друг Суванкул! — под общий веселый смех заключил Бекбута.

Джурабаев, с трудом сдерживая улыбку, вновь обратился к Кадырову:

— Слыхал, раис, что говорят твои дехкане?

— Товарищ Джурабаев! Они своей же выгоды не понимают. Ведь сколько пота прольют, пока добьются своего!..

— А ты не жалей нас, раис! — опять вступил в разговор Бекбута.— Ты бы пожалел нас в прошлом году, когда отказался пустить на поля хлопкоуборочные машины!

— Эти машины только портят хлопок.

— Да ведь те, которые все-таки пришли к нам, ни куста не повредили! — не удержался Алимджан.— От-

рицание, конечно, самый удобный, самый легкий вид критики.

— Э, парторг, даже в газетах пишут, что машины еще несовершенны!

— Пишут ради того, чтобы сделать совершеннее... Это наша общая забота! А ты, вместо того чтобы варить плов, ждешь, когда он сам сварится... И чураешься даже хорошей, полезной техники. Сколько уж мы с тобой об этом спорим!

— Да мы не боимся и тяжелой работы,— сказал Бекбута.— Когда трудно работать, не беда! Плохо, если жизнь трудная... Мы и стараемся так сделать, чтобы жилось нам лучше, вольготней! Ради этого можно сто потов пролить, раис!..

— Ладно. Поднимете вы целину, построите поселок, а буря снова все разметет!

— От бури мы отгородимся зеленым заслоном, пески укрепим, пустыню засеем саксаулом!..— горячо возразила Айкиз.— Нет безвыходных положений, товарищ Кадыров!.. Возьмемся за дело с умом, с охотой, так справимся с любыми трудностями! Вот бы и вы подумали, как нам уберечься от бурь, от засухи!

— Умурзакова права, раис,— сказал Джурабаев.— Энергии, пыла, с каким ты выступаешь против освоения целины, с избытком хватило бы на то, чтобы помочь колхозникам освоить эту целину, засеять ее хлопком, защитить хлопок от песчаных бурь, от суховеев. И ведь ты мог бы помочь своим дехканам, если бы верил в них.

Кадыров стоял, чуть расставив ноги, хмуро потупившись, вцепившись в ремень так крепко, что края его резали ему ладони и пальцы. Вся его поза выражала мрачное упрямство. Ну вот, все получилось так, как он думал! Теперь на него, Кадырова, свалят все заботы, он согнется под их тяжестью. Стоит сделать неверный шаг, как ткнешься носом в дорожную пыль... Колхозникам да бригадирам легко швыряться обещаниями. Им что! Не выгорит дело — они ничего не потеряют, жизнь у них останется прежней: ни лучше, ни хуже... А на него все пальцами будут показывать: плохой председатель, нерасторопный председатель! И свалят! Как пить дать свалят! Под него уж давно начали подкапываться. Его однажды чуть не вышибли из седла... А он всей своей жизнью заслужил почетное право руково-

дить. Он создал, выпестовал колхоз, поднял его на должную высоту: выше-то пока и не надо! Нет, он не выпустит вожжи из своих рук, он не так-то прост. И на рожон он не полезет. Джурабаев и Умурзакова затвердили одно: народ, народ. А иной раз не вредно и наверх взглянуть: как-то там, в области, отнесутся к их «самодеятельности». Султанов правильно говорил: цыплят по осени считают.

Кадыров поднял голову, пожал плечами:

— Разве я против освоения целины, товарищ Джурабаев? Однако вожди пролетариата, они же классики марксизма-ленинизма, учили нас всегда учитывать конкретную обстановку. А обстановка пока не из благоприятных.— Он нашел среди колхозников Гафура, кивнул ему: — Подойди-ка сюда, Гафур, и расскажи товарищу Джурабаеву, сможет ли ваша бригада своими силами спасти хлопок на своем участке.

Гафур шагнул вперед, улыбнулся кислой, бледной улыбкой:

— Мы, конечно, будем стараться, товарищ Джурабаев. Но только силенок у нас и правда маловато. Бригадир наш — человек уважаемый, достойный, но в последнее время у него все из рук валится!

— Это отчего же?..

— Обидели его, товарищ Джурабаев! Родная дочь и та ядом поит! Тяжело на душе у старого Мураталиl.. Ну и у остальных опускаются руки. Мы ведь хлопкоробами-то заделались недавно, навыка у нас нет, сноровки не хватает... Не подбавят в бригаду людей — погибнет хлопок!..

— А мы вам поможем! — воскликнул Керим.— Управимся на своем участке, всей бригадой явимся к вам! Я всегда готов пособить дядюшке Мураталиl..

— Сам смотри не сядь в калошу,— мрачно предупредил Кадыров.— Отстающая-то бригада у нас не одна... Начнешь их вытаскивать — сам пойдешь ко дну.

В это время из толпы выступил молодой колхозник с кетменем:

— Я сам из слабой бригады, раис-амаки! Ты в нашей бригаде часто бываешь, уж кому-кому, а тебе известно, почему мы плетемся в хвосте! Во время бури на нашем участке два-три человека работали, а остальные ушли к Рузы-палвану: у него десять лет как отец

умер, вот он и надумал устроить поминки — худойи. Наварил котел плова, пригласил друзей-приятелей, пропировал с ними целые сутки!..

— Эх,— сокрушенно вздохнул Бекбута.— Вот если бы буря так же лодырничала! Сидела бы где-нибудь в Кызылкумах за пловом, пила бы водку, забыла бы о своих служебных обязанностях!..

Все рассмеялись, только Гафур возмущенно крикнул:

— Эй, Бекбута! Не издевайся над обычаями своего народа!

Джурабаев, внимательно посмотрев на Гафура, покачал головой:

— Что же это за народный обычай, если он во вред народу? — Он повернулся к молодому колхознику.— А бригадир? Где в это время был ваш бригадир?

— Наш уважаемый бригадир Молла-Сулейман тоже отправился к Рузы-палвану. Они же старые друзья! И я вот что скажу: пусть раис уберет от нас этого бригадира. Намучились мы с ним... Хватит!

— А ты не говори за всю бригаду! — одернул его Кадыров.— Бригадир у вас упорный, энергичный.

— Да, энергичный! За праздничным столом! И упорный: сядет, так не оттащить! Ты хочешь, раис-амаки, дать нам еще людей? Так если народу в бригаде прибавится, а порядки останутся прежними, толку будет мало.

Умурзак-ата, молчавший все это время, степенно погладил свою белую, как хлопок, бороду, огляделся вокруг и, увидев, что все приготовились его слушать, по-стариковски неторопливо, увещевающе сказал, обращаясь к Кадырову:

— Мы, старики, давно тебе советовали, раис, не цацкайся ты с лодырями!.. Народ не хочет делиться честно заработанным хлебом с теми, кто мешает ему зарабатывать этот хлеб! И нерадивым бригадирам не надо потакать, раис!.. Ты не их защищай, ты нас от них защищай.

— Не справляются с работой — сменяйте их, ставьте на их место честных тружеников! — поддержала отца Айкиз.— И женщин смелее выдвигайте, товарищ Кадыров! У вас же нет ни одной женщины-бригадира.

— Значит, недоросли еще...

— Ай, раис-амаки, неправда! — запальчиво возразил Керим и, не обращая внимания на улыбки окружающих, закончил срывающимся голосом: — Вон Михри — сколько времени работает звеньевой! А уж пора бы дать ей бригаду!

— Кто это — Михри? — поинтересовался Джурабаев.

Керим, нимало не смутившись, выпалил, словно отрапортовал:

— Это дочь Муратали, работает у него в бригаде. Лучшая из наших комсомолок, первой попросилась на целину!

— А она достойна быть бригадиром? Как вы думаете, Умурзак-ата?..

— Что же, девушка расторопная, знающая... Тихая, правда, но в обиду себя не даст!.. Э, да что говорить, товарищ Джурабаев, хорошими-то людьми мы богаты!..

Кадыров снова уперся мрачным, упрямым взглядом в носки своих запыленных сапог. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, в глазах его мелькнула оторопь. Он услышал спокойный, чуть насмешливый голос Джурабаева:

— А ты, оказывается, не только не веришь в своих колхозников, ты еще и не знаешь их. Прислушайся-ка к их словам, раис! К разумным, уверенным словам, подсказанным любовью к родному колхозу! Прислушайся к ним — тебе самому будет легче и жить и работать. Вот ты сказал: коммунисты должны учитывать конкретную обстановку. Да, должны, но для чего? А для того, чтобы изменить ее в свою пользу! — Джурабаев широко развел руками, словно хотел обнять окружавших его колхозников, которые пожертвовали минутами недолгого отдыха, чтобы поговорить, поспорить о колхозных делах.— Ты посмотри, какие чудесные люди в колхозе! Да с ними можно горы своротить!

Колхозники смотрели на своего председателя кто с горьким укором, кто с лукавой насмешкой, кто пытливо, выжидательно, но враждебности в их взглядах не было... Немало лет проработали они бок о бок с Кадыровым и многого добились за эти годы. Вместе с Кадыровым боролись они за большие урожаи и за

праздничными столами сидели вместе с Кадыровым. Бывало, стучалась к ним в ворота беда — они скручивали ей руки; бывало, до нитки обирала их засуха, туго им приходилось — голов не вешали... Попросят помощи у государства, перебьются как-нибудь, а весной — снова за работу! И все это — с Кадыровым, при Кадырове, с его помощью, под его хозяйским присмотром! Привыкли колхозники к Кадырову, даже к его недостаткам привыкли. Знали, что самолюбия да упрямства хватило бы у него на семерых, но только посмеивались: оно как будто даже к лучшему... Любил председатель, чтобы его осыпали похвалами — в газетах, по радио, на собраниях,— и уж если брался за дело, доводил его до конца.

Правда, в последнее время повелся он с плохими людьми, загордился, занесся. «Жизнь вокруг меняется, а Кадыров подходит к ней с прежней меркой!» — сказал как-то на партийном собрании Алимджан. «У него дома ни одной книги не увидишь!» — возмущалась молодежь. «Уважаемых людей перестал слушать»,— сетовали старики.

Ну, да ведь кто без греха? Когда воду добывали, поартачился председатель, да одумался. Надо полагать, он и после сегодняшнего разговора возьмется за ум: ведь с ним народ говорил, убеленный сединами Умурзак-ата дал ему мудрый совет, секретарь райкома товарищ Джурабаев переспорил его, сделал ему по-партийному резкое внушение. Все показывают ему, куда нужно идти, неужели он свернет в сторону? Да нет, едва ли он захочет остаться в одиночестве! Они опять будут вместе — дехкане Алтынсая и их бессменный председатель. Поэтому колхозники смотрели на Кадырова хотя и с укором, неодобрительно, но без неприязни.

Джурабаев между тем продолжал:

— По-моему, все ясно, товарищи. Бюро райкома решило: поднимать целину. Народ и на колхозном собрании и сейчас тоже проголосовал «за». Республика в таких случаях всегда нас поддерживает: вспомните хотя бы наступление на Голодную степь! Правительство всем, чем могло, помогло тогда отважным дехканам. Не сомневаюсь, поможет и теперь. Да у нас у самих достаточно сил, воли, желания, чтобы одолеть всяческие преграды! Все в наших руках, друзья!

Бекбута положил свою сильную, все еще обнаженную до плеча руку на худенькое плечо Керима, привлек юношу к себе, глянул ему в горячие, как солнце, глаза:

— Не подведут твои орлята, комсомольский начальник?

— За нас можешь не беспокоиться!

— Ну и мы, пожилые орлы, будем держаться по-гвардейски: ни шагу назад!

Глядя на Бекбуту и Керима, остальные колхозники тоже подобрались, приосанились: и впрямь гвардейцы! Джурабаев широко улыбнулся и, кивнув на них, сказал Кадырову:

— Видал, раис? Твоих дехкан не меньше, чем тебя, заботит судьба урожая. Но они заботятся еще и о том, чтобы хлопка у нас было все больше и больше, чтобы жизнь шла лучше и лучше.

— Гм... Кто же этого не желает!

— Так зачем же ты хочешь увести людей с целины, со строительного участка?.. Ты, верно, думаешь: со строительством поселка можно и обождать, он нам не к спеху. Нет, раис, поселок нужен нам, очень нужен! Нам надо привлечь в степь на добычу новых тонн хлопка как можно больше людей. Надо, чтобы люди пришли сюда по доброй воле и стали старожилами этих мест. Ради этого мы и строим поселок, добротный, приглядный, такой, где людям захочется жить! Пусть он, словно магнит, притягивает жителей из бедных горных кишлаков.— Джурабаев повернулся к Айкиз.— Кстати, товарищ Умурзакова, советую тебе подумать об устройстве на целине колхозного рынка. Уж тогда-то ни один новосел не уйдет из степи!

— Хорошо, мы обсудим это,— согласилась Айкиз.— Думаю, к началу переселения будет и рынок.

Джурабаев окинул всех лукавым взглядом.

— Что ж, товарищи, будем считать, что мы на ходу провели колхозное собрание, прошедшее, как говорится, на высоком идейном уровне! Надеюсь, товарищ Кадыров извлечет из него необходимые выводы. Как, раис, будем работать?..

Кадыров помялся, потом ответил неохотно, ворчливо:

— Вот именно, работать надо, а не разговоры разговаривать.

Джурабаев посмотрел на часы:

— Ого!.. А раис-то прав: пора за работу. Заговорились мы тут. Хотя разговор, по-моему, был полезный.

Когда колхозники, приветливо простившись с секретарем райкома, разошлись, к нему подошел Алимджан:

— Надо бы потолковать кой о чем, товарищ Джурабаев. Понимаете, увлекло меня одно дело...

— А ты подсаживайся ко мне в машину, поедем вместе в кишлак, там все и обговорим. Умурзакова! Присоединяйся к нам.

— С удовольствием, товарищ Джурабаев!

— А ты, раис, не проводишь нас?

Кадыров, смотря куда-то в сторону, проворчал:

— Некогда мне, надо подогнать отстающие бригады. Сами же подбавили мне работы! Но предупреждаю, товарищ Джурабаев, если что случится, отвечать будете вы!

— А вы не грозите, раис! — взорвалась всегда спокойная Айкиз.— Мы не из пугливых. Надо будет — ответим.

Кадыров не нашелся, что еще сказать, и только повторил:

— Вот, вот... Вам отвечать!

Боясь, что его снова вовлекут в спор, он, хмуро кивнув всем на прощание, направился к своему коню.

Газик, зачихав, зафыркав, дрогнул, будто кто стукнул по нему увесистой дубинкой, и бойко заспешил к Алтынсаю.

Идти далеко Кадырову не пришлось, кто-то услужливо подвел к нему коня. И конечно же, это мог сделать только Гафур. Кадыров поблагодарил его благожелательно-покровительственным кивком, вложив в этот жест и дружескую признательность и начальственную небрежность, и, уже взобравшись в седло, спросил:

— Где Аликул?

— Небось на берегу канала. Обедает.

— Вот что. Я поеду к нему. Немного погодя приходи туда и ты. Надо поговорить.

Кадыров тронул коня и заторопился, но не в степь, не в поля, не к отстающим бригадам, а к другу и помощнику своему Аликулу, с которым только и мог отвести душу...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПОХОЖДЕНИЯ АЛИКУЛА

Аликул прожил жизнь длинную и пеструю. Длинную, как исхоженные им дороги, пеструю, как халат, который он носил.

Не раз ему доводилось спотыкаться и падать, но, будучи человеком хитрым и расчетливым, он опять поднимался, опять трогался в путь — добывать себе спокойную, сладкую жизнь: Аликул с детства любил сладкое.

Отец Аликула, Мусахан, в давние благословенные времена был купцом, баззазом, торговал на алтынсайском базаре шелковыми тканями. Жили они не то чтобы богато, но и не бедно, и никто не мешал Аликулу сшибать с дерева жизни сочные, сладкие плоды. Правда, на его долю выпадали не только забавы, но и заботы — еще с юности он помогал отцу. Дело это пришлось Аликулу по вкусу: оно требовало сметливости, изворотливости, знания души человеческой. Юный купчик с охотой и с удовольствием растил в себе эти достойные качества. Баззаз не мог нарадоваться на единственного сына. Любо было ему глядеть, как Аликул с приклеенной лучезарной улыбкой на лице стоит за прилавком, окруженный многоцветными, сверкающими шелками, как зазывает, заманивает простаков покупателей, гостеприимно предлагая одному выпить чашечку чаю с наватом [1], другому — затянуться благовонным дымом из чилима [2], как он из кожи вон лезет, расхваливая товар.

Аликул умел сразу, с одного взгляда, оценить возможности, опыт и нрав покупателей, и если видел, что у лавки мнется простой дехканин из дальних степных районов, приехавший за отрезом шелка к свадьбе или к иному торжеству, то заламывал такую цену, какой не запрашивал ни один купец.

Дехканин — святая простота! — напускал на себя важный вид (я, мол, знаю толк в этих делах, меня не проведешь!) и с сомнением качал головой:

— Дороговато, хозяин...

---

[1] Нават — местный сахар.

[2] Чилим — курительный прибор, наподобие кальяна.

— Дорого? Да что вы, отец, это же лучший шелк во всей округе, такого вы нигде не найдете! Из уважения к вам я прошу с вас меньше, чем с других!

Аликул выбрасывал на прилавок мягко шелестящие ткани, ворошил их, искусно раскладывал то так, то этак, чтобы они сияли и переливались, словно радуга, ослепляя покупателя своей расцветкой и блеском, и покупателю оставалось только вздыхать:

— Хороши шелка!.. Но дороговато, хозяин. Таких денег у меня нет.

— Ай, не будем торговаться! Я вижу, вы человек хороший, так и быть, уступлю вам по дешевке!

Аликул сбавлял и сбавлял цену, пока они не сходились на такой, которая казалась покупателю, утомленному спором и шумным радушием торговца, вполне сходной в сравнении с назначенной вначале, а на деле была намного выше обычной.

Вручая дехканину отрез, Аликул с сожалением чмокал губами:

— Ай, как продешевил! Так и разориться недолго! Не пришлись бы вы мне по душе, отец, ни за что не уступил бы!

Покупатель уходил ублаготворенный: заставил-таки этого купчика сбить цену! А Аликул... Аликул тоже довольно потирал руки.

Ему нравилась эта увлекательная, возбуждающая, как затяжка из чилима, игра; и жизнь ему нравилась — богатая, легкая.

В детстве он учился в религиозной школе, но учение привлекало его куда меньше, чем торговля, школьные премудрости не давались юному торговцу. Аликул с трудом осилил афтияк[1] и дальше этого не пошел. Товарищи смеялись над Аликулом, но он на их насмешки не обращал внимания; в душе он сам посмеивался над этими сухарями, зубрилами, не понимавшими, что увлекательна охота только за деньгами, а не за знаниями, скучными, ни на что не годными... Сидя в школе, Аликул мечтал о лавке, где в мягкий, вкрадчивый шелест шелков то и дело вкрапливался сладкозвучный звон денег, весомых, осязаемых, истертых тысячами чужих пальцев и все-таки притекших к ним — к Му-

---

[1] Афтияк — учебник, который в мусульманских религиозных школах штудируют перед изучением корана.

сахану и Аликулу. Аликул сам направлял это течение, и чем полноводней оно было, тем больше заискивал базар перед удачливым юношей. Даже отец, опытный торговец Мусахан, прислушивался к мнению сына, советовался с ним, когда дело касалось тонких и сложных денежных дел.

Так и жил Аликул, стараясь из всего извлечь прибыль, заботясь лишь о собственной выгоде, о собственном достатке, о собственном благополучии. Он готов был молиться на деньги, потому что они давали ему силу, на них можно было купить почет, покой, сладостные удовольствия. Взгляд его за эти годы стал острым, как игла, губы — тонкими, как нитки. Он научился вызывать на своем лице любое выражение, от бесконечно приветливого до солидно-сурового. Научился скрывать глубоко в сердце истинные чувства и намерения. Он умел слушать, запоминать, сопоставлять, оценивать, стал опытным сердцеведом. Окружающие единодушно утверждали, что молодой купец далеко пойдет.

Но на его пути, озаренном блеском денег, стали новый строй, новая жизнь, новые люди.

После революции торговое дело Мусахана и Аликула постепенно начало приходить в упадок, глохнуть, хиреть. Мусахан держал лавку еще с десяток лет, а когда в Алтынсае начали создаваться колхозы, закрыл ее и однажды ночью исчез... Позднее его видели на базарах Самарканда, Бухары. Еще через некоторое время до алтынсайцев дошел слух, что баззаз умер от удара, который хватил его, когда он переправлял в Бухару контрабандный шелк.

Никто не знал, был ли Аликул связан с отцом, помогал ли ему в его темных делах, но только сам он никуда не уехал из Алтынсая. Он успел обзавестись семьей, жена подарила ему дочку, маленькую Назакат, и Аликул остался на земле своих предков. Правда, и он поначалу не забросил торговлю. Лавки у него уже не было, но он занялся спекуляцией: тонкий нюх, умелое обхождение помогали ему скупать товары задешево и продавать их на здешних рынках втридорога. Все алтынсайцы уже вступили в колхоз, а Аликул все еще шнырял по окрестным базарам.

Однако в Алтынсае, как и по всему Узбекистану, дул уже свежий, крепкий ветер, сметавший мусор,

оставшийся от прошлой жизни. Алтынсайцы косо поглядывали на своего односельчанина, занимавшегося сомнительными делами. В кишлаке пошли о нем нехорошие толки. Надо было приспосабливаться к новым обстоятельствам, как бы ни были они горьки и трудны, и Аликул по настоянию родственников попросился в здешний колхоз.

В жизни его произошли крутые перемены, но характер и склонности остались прежними; руки — ловкие руки торговца — привыкли к кетменю, но душа Аликула была там, в прошлом, в шелестящем полумраке лавки, и все, что он теперь видел и делал, претило ему.

Работать приходилось и в зной и в стужу. Работа была тяжелой, грубой, не похожей на азартную игру, которую он, бывало, вел, стоя за прилавком, и которая приносила ему деньги, деньги — звонкие монеты и приманчиво хрустящие бумажки, хитростью, обманом и уговорами выжатые из одураченных покупателей.

Аликул и в колхозе пробовал хитрить, изворачиваться, всяческими правдами и неправдами отлынивал от работы, но это било по его же карману, да и на собраниях ему крепко доставалось от председателя и колхозников, относившихся теперь к Аликулу без всякой почтительности...

Аликул глядел на всех затравленным волком. В его маленьких глазах прятались злоба, растерянность. Он ломал голову, как бы вернуть прежний, нежащий сердце покой, достаток, уважение соседей, но надумать ничего не мог.

Он решил уйти из колхоза, покинуть родной кишлак, и только опасение, что, трусливо удрав, он покроет себя еще бóльшим позором, удерживало его. Ведь стыд хуже смерти.

Однажды на исходе зимы колхозное собрание постановило, несмотря на холода, начать пахоту в горах.

В долине к этому времени снег уже сошел. Земля прогрелась под солнцем. А в горах холод пронизывал до костей, дул резкий ветер, не утихавший ни днем, ни ночью.

Колхозники, однако, не испугались ни ветра, ни холода. Выбрав участки на склонах гор, скупо обласканных первыми весенними лучами, они приступили к пахоте и севу.

Пахарь из Аликула был никудышный, и ему поручили таскать мешки с семенами от арбы к участку, на котором работал Умурзак. Поджидая, пока Умурзак высеет принесенную им пшеницу, Аликул отходил в сторону, поворачивался спиной к ветру и, пытаясь согреться, пританцовывал, с ожесточением тер сожженные ветром щеки и уши, дул на закоченевшие руки. Поглядывая изредка на своего помощника, судорожно отплясывавшего на краю поля, Умурзак только усмехался и качал головой...

Опустошив очередной мешок, Умурзак обернулся, чтоб позвать Аликула, да так и замер с открытым ртом. Аликула нигде не было... Старик окликнул его несколько раз, но ветер, видно, отнес его слова в сторону: напарник не отзывался. Рассерженный и встревоженный, Умурзак поспешил через все поле к большому камню, за которым только и мог укрыться его горе-помощник. Он нашел Аликула за камнем. Тот лежал, скрючившись, стуча зубами, на глазах у него блестели слезы.

Умурзак заботливо склонился над ним:

— Что с тобой, дорогой? Не захворал ли?

— Не буду я больше гнуть спину на ваш колхоз! — крикнул Аликул.— Я вам не осел, чтоб работать в такой холод! Уйду я!

Умурзак вздохнул и сам отправился к арбе за зерном.

Ветер усиливался, леденящий, хлеставший, как плеть.

Уже никакими силами нельзя было выманить Аликула из-за камня, где было куда теплей и спокойней, чем в открытом поле. Едва приближался Умурзак, Аликул начинал стонать, охать: он уже понял, что Умурзак человек сердобольный и его нетрудно разжалобить.

Аликул охал, Умурзак таскал мешки. Наконец терпение Умурзака иссякло, и, остановившись перед Аликулом, у которого зуб на зуб не попадал, он строго сказал:

— Вот что, дорогой, ты не в лавке. Нечего лодыря гонять. Болен — ступай к врачу. Здоров — работай. Только работой и согреешься...

Аликул съежился еще больше, обхватив плечи ру-

ками, и Умурзак, поняв, что все его увещевания — как, об стенку горох, сердито закончил:

— Убирайся-ка ты прочь с моих глаз! И без тебя управлюсь.

Не оглядываясь, он зашагал к пашне, и Аликул, проводив его взглядом, полным бессильной ненависти, поднялся с земли и, браня на чем свет стоит и неугомонного Умурзака-ата, и колхоз, и новую жизнь, то и дело наступавшую ему на горло, медленно поплелся домой.

Дома, сказавшись больным, он пролежал несколько дней, весь отдавшись темным, беспокойным думам, а потом в одну из непроглядных ночей погрузил вещи на арбу, нанятую в городе, забрал с собой жену и дочь и тайком уехал из Алтынсая начинать новую жизнь.

Растерянность, охватившая Аликула после потери лавки, обманом накопленного добра и былого почета,— эта растерянность прошла. Много испытал в жизни Аликул, теперь он познал еще и горький стыд, позор унижения и про себя поклялся: впредь никто не увидит его жалким, униженным. Он и при новых порядках сумеет отвоевать для себя солнечный уголок в саду жизни! Надо только все рассчитать, взвесить, обдумать.

По-купечески расчетливо он прикинул в уме: работа в поле выгод не сулит — сколько поработаешь, столько и заработаешь. Это все равно что продать товар за те деньги, каких он действительно стоит, не сорвав за него ни копейки барыша. Другое дело — работать бригадиром, кладовщиком, заведующим кооперативом... Тут было где разгуляться, и он бы себя не обидел, отхватил бы от пышной колхозной лепешки ломоть побольше да посдобней. Он ловок и сумеет подладиться под нынешние порядки, чтоб и из них извлечь выгоду.

Для начала можно поработать в поле простым хлопкоробом, поработать не за страх, а за совесть, привлечь внимание, показать себя с лучшей стороны. Он все вытерпит, с честью пройдет через это тяжкое испытание. Зато, когда он заслужит уважение соседей и одобрение начальства и его заметят, оценят, выдвинут, он станет сам себе хозяином; судьба щедро вознаградит его за все труды, страдания и невзгоды, одарит всеми земными благами.

Покинув Алтынсай, Аликул вместе с семьей обосновался в одном из колхозов Мирзачуля, в Голодной степи, неподалеку от Сыр-Дарьи. В Мирзачуле шло в это время освоение новых земель. В «новорожденные» колхозы тянулись дехкане из других кишлаков, бедных землей и водой. Переселилось в Голодную степь немало и алтынсайцев, а среди них — родственники Аликула. Они-то на первых порах и помогли беглецу, посоветовав председателю колхоза поставить Аликула заведующим колхозной чайханой. В колхозе было еще мало людей и много прорех, которые требовалось срочно залатать. Колхоз долго не мог обзавестись толковым чайханщиком. Аликула встретили с распростертыми объятиями.

Аликул ликовал. Конечно, чайханщик не ахти какая важная птица, но ведь это было только началом, и началом удачным. С первых же дней Аликул очутился в родной стихии. Чайхана — это все-таки не хлопковое поле, а пузатый самовар — не кетмень! Аликул не ударит в грязь лицом, завоюет благосклонность колхозного руководства. А придет время — и сам выйдет в начальники, заложит прочный фундамент грядущего благополучия. В руках появится власть, в доме — достаток, а этим голодранцам, отобравшим у него все, что он имел, снова, как в былые времена, придется считаться с Аликулом!

Подогреваемый этими сладостными надеждами, Аликул взялся за дело с горячим рвением. Чайхана, попавшая ему под начало, находилась на отшибе от колхозного кишлака. По дороге мимо чайханы медленно и важно шествовали нагруженные тяжелой кладью верблюды, презрительно, сверху вниз, посматривавшие на мир своими глупыми надменными глазами; трусили прыткие, упрямые ослики; шли, опустив головы, усталые путники. Движение на дороге было оживленное, а чайхана пустовала. Мало кого влекло в нее: вид у нее был неприглядный, и получить там можно было только скверный чай в грязных пиалах.

Так продолжалось до появления Аликула. Он сразу смекнул, что чайханщику в этом колхозе легко стать заметным человеком. Жизнь здесь была неуютной, неустроенной; своего клуба колхоз не имел, отдохнуть дехканам было негде, и при радушном, заботливом хозяине в чайхане отбоя не было бы от посетителей.

Взвесив все это, Аликул быстро навел здесь порядок: он где-то раздобыл котлы, соорудил небольшой навес, и в чайхане появилась кухня. Стены чайханы он заново оштукатурил. Деревянные помосты застелил коврами, привезенными вместе с прочим домашним скарбом из Алтынсая (для такого дела не жаль было и ковров!). К чаю он подавал пышные — не хуже самаркандских! — лепешки, поджаренный горох и парварду — белые, словно шелковичный кокон, приторно-сладкие конфеты. Гость, истомленный зноем, мог утолить жажду холодной водой или остуженным чаем из огромных продолговатых кувшинов, зарытых в землю, а проголодавшихся ждал жирный плов.

Но и этого Аликулу показалось мало, и вскоре угол помоста, предназначенного для «высокопоставленных» гостей и покрытого самым дорогим ковром, заняли певцы и музыканты.

Не прошло и нескольких месяцев — чайхана стала неузнаваемой. С утра до позднего вечера она гудела, как улей.

Переплетаясь с песнями, плыли стоны дутара. Легкий пар струился над пиалами с чаем, над чашками с пловом, и, как заведенный, сновал от гостя к гостю щуплый, проворный Аликул, с угодливой улыбкой, словно наклеенной на лицо.

Сюда собирались, как в клуб. Колхоз начал получать от этого «клуба» большой доход, и председатель не мог нахвалиться новым чайханщиком. Он частенько наведывался к Аликулу, и Аликул исподволь приглядывался к нему, гадая, как бы прибрать его к рукам. Председатель, недавний бедняк, честный, но недалекий, наголодавшийся в детстве и юности, мечтал о сытой жизни для себя и своих колхозников и к людям, от которых видел хоть кроху добра, относился с восторженностью, не вникая ни в суть, ни в детали их кипучей деятельности.

Он сразу уверовал в таланты Аликула как организатора и хозяйственника, потому что чайханщик умел то, что не давалось ему, председателю. Аликул решил отличиться и показать своему покровителю, на что он способен. Однажды, прознав заранее о предстоящем приходе председателя и его друзей, Аликул, приплатив из своих денег, купил на базаре откормленного гиссарского барана, зарезал его, положил баранину в

уксус, чтобы была она мягкой, ароматной, и с помощью своих родственников приготовил такой шашлык, что при одном его виде у гостей сладко заныло в желудках.

Снимая куском лепешки с длинного, как меч, шампура сочное мясо, тающее во рту, председатель назидательно сказал:

— Вот у кого учитесь думать о простом народе! — и, отправив в рот изрядную порцию, облизав пальцы, добавил: — Раньше-то такой шашлык только баи едали... А нынче и мы вон как зажили! Сидим в чайхане и уплетаем шашлык, будто купцы какие!

Он похлопал себя по животу, хохотнул довольно, и Аликул, прижав руку к сердцу, низко поклонился гостям:

— Для народа я рад стараться!

Через несколько дней Аликула назначили заведующим колхозным складом. У Аликула разгорелись глаза: здесь было чем поживиться! Не утерпев, он сразу же наложил свою лапу на чужое добро. Со склада на сторону потекло колхозное зерно, заметно начали уменьшаться запасы удобрений, зато в полном соответствии с законом о сохранении имущества в кишлаке рядом с неказистым строеньицем, где пока ютился Аликул, рос не по дням, а по часам добротный дом, на который заведующий складом поглядывал гордо, самодовольно.

Вдруг среди ясного неба грянул гром: колхозники, которым нужен был умный, дальновидный, рачительный хозяин, отказали в доверии поклоннику аликуловских угощений. У нового председателя оказался зоркий, придирчивый взгляд. Едва он обратил этот взгляд в сторону аликуловой вотчины, как тот опять заболел... На сей раз болезнь затянулась. Жена Аликула никого, кроме родственников и новообретенных приятелей, не пускала к больному, уверяя всех, что у него ужасно высокая температура и он, бедный, не ест и не спит, а только бредит и стонет.

Температура у Аликула, по словам жены, все поднималась и поднималась, так что уж давно должна была бы перевалить за пятьдесят градусов. Недели через две, как раз в то время, когда ревизионная комиссия при проверке обнаружила на складе большую недостачу ячменя, пшеницы и удобрений, по кишлаку разнесся слух, что Аликул при смерти. Приятели Аликула раз-

вили бешеную деятельность. Одни ринулись в город за «лекарствами», другие, рассказывая о болезни друга, старались поселить в душах дехкан чувство сострадания, третьи неусыпно дежурили у постели умирающего; а сам умирающий, лежа в бреду, с благодарностью думал: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Когда к незадачливому завскладом заглянул новый председатель, Аликул встретил его стонами и вздохами, жена Аликула — вздохами и плачем. Председатель решил не трогать «больного». Колхозное правление ограничилось тем, что отобрало у Аликула «в покрытие убытков» новый, почти достроенный дом и утвердило в должности заведующего складом другого колхозника.

Чудом спасшись от тюрьмы, Аликул спустя несколько месяцев нашел в себе силы подняться с постели и, туго обвязав голову бельбогом из синего ситца, вышел на улицу. Несколько дней он бродил по кишлаку, скрючившись, как ветвь саксаула, кряхтя, охая, хватаясь то за бок, то за спину... И вдруг исчез из колхоза, как в воду канул. Иные говорили, что его упрятали-таки за решетку, иные предполагали, что Аликула переманил какой-нибудь маломощный колхоз, а друзья и родственники бывшего заведующего складом уверяли, что болезнь дала новую вспышку и жена увезла больного на родину, в Алтынсай.

На самом же деле Аликул, узнав, увидев и услышав все, что ему надо было узнать, увидеть и услышать, понял, что оставаться здесь нет больше расчета, и тайно, под покровом ночи выехал из кишлака, переправился через Сыр-Дарью и предложил свои услуги колхозу, где его еще не знали.

Тут его приняли тоже с радостью: в то время колхозы Голодной степи нуждались в работниках любых профессий. К тому же и на новом месте у Аликула нашлись дружки.

Первые месяцы Аликул работал сторожем при колхозном правлении. Услужливый, расторопный, он, казалось, пришелся по душе председателю. Войдет председатель в кабинет — а на столе у него уже дымится кок-чай и чилим, подаренный опять-таки Аликулом, ждет своего хозяина. Едва раскроет председатель рот, чтобы попросить лошадей, а лошади тут как тут. Не успеет он сообщить, что целый день был в поле, устал

и проголодался, а уж Аликул ставит перед ним чашку с пловом: «Откушай, дорогой, это я сам готовил...»

Аликул в душе готов был торжествовать победу, но однажды председатель, успешно расправившись с аликуловским пловом, прищурил хитрые глаза, покачал в задумчивости головой и бросил то ли насмешливо, то ли одобрительно:

— Прыток ты, однако!

Затем извлек из объемистого кармана старенького галифе небольшой потертый бумажник, достал деньги и, вручая их опешившему Аликулу, молвил с улыбкой, то ли насмешливой, то ли благодарной:

— Спасибо тебе, товарищ, и за чай, и за плов, и за чилим. Негоже мне быть у тебя в долгу. Вот тебе деньги, тут все точно подсчитано. Ты мне продавал, я у тебя покупал. Ты не в убытке, и у меня совесть чиста. Ты, верно, и сам понимаешь: самое главное для нас — жить с чистой совестью. А за заботу еще раз спасибо.

В эту ночь Аликул долго не мог уснуть...

Но вскоре на помощь ему пришла чужая беда, и, умело воспользовавшись этим счастливым для него случаем, Аликул сделал сразу несколько шагов на ухабистом пути к вожделенному благополучию.

За кишлаком, на берегу небольшого канала с быстрой, работящей водой, стояла колхозная мельница. Председателю понадобилась мука, намолотая на мельнице из его зерна. Аликул вызвался съездить за ней. Шел дождь, но сторожа это не смущало. Однако дождь незаметно превратился в ливень, и, когда Аликул добрался до мельницы, на землю уже низвергался гигантский водопад. Аликул промок до нитки, одежда прилипла к телу, и даже в сапоги, хотя он не сходил с арбы, набралась вода. Подъехав к пристройке, где жил мельник, Аликул спрыгнул в образовавшуюся у порога огромную лужу и постучался. Никто не откликнулся... Аликул злобно выругался и огляделся вокруг. Сквозь плотную стену дождя, как сквозь туман, он увидел невдалеке растерянно суетившегося человека. Разбрызгивая сапогами воду, Аликул решительно зашагал к каналу, а человек, бегавший как угорелый по берегу, заметив знакомую фигуру правленческого сторожа, всплеснул руками и бросился ему навстречу. Он весь дрожал, зубы у него стучали, губы тряслись.

— По... помоги, дорогой... В-выручи... Вода... Вода вышла из берегов! Я тут не... недавно... Я... я из города...

Это был мельник. Он и правда совсем недавно перебрался в колхоз, дело свое знал слабо, и неожиданное наводнение нагнало на него панику. Семеня рядом с Аликулом, мельник жаловался:

— Н-ну ее к аллаху, эту мельницу! Ей, н-наверно, тысяча лет! В-ветер дунет — рассыплется. Вода поднапрет — колесо к черту!

Вода в это время и впрямь «поднаперла», и мельнице грозила опасность. С большим трудом удалось Аликулу перекрыть канал и отвести воду в другое русло. Мельник не помогал ему, а только мешал.

Но, памятуя о возможных будущих благах, Аликул не жалел ни сил, ни здоровья: он словно знал, что старанья его не пропадут даром, что он из наводнения извлечет выгоду.

И он не ошибся. После этого случая Аликула назначили мельником, а мельника взяли в сторожа. Аликулу удалось погасить в глазах председателя насмешливые искорки недоверия. Теперь и прежняя его услужливость предстала как бы в новом свете: ведь она увенчалась трудовым «подвигом»! И никому в голову не приходило, что ядрышком этого «подвига» был трезвый расчет...

Щуку пустили в реку. Аликул стал заведовать мельницей. Наученный горьким опытом, теперь он действовал осторожно. Он, как говорится, «горел на работе», «отдавал все силы», «проявлял инициативу», и заветная его кубышка пополнялась до поры до времени лишь честно заработанными рублями.

Жилось Аликулу на мельнице не худо. Вокруг росли тополя, карагач, тал; вода в канале была темной от постоянной тени, которую бросали высаженные по обоим берегам деревья. От воды веяло прохладой... Это был самый живописный уголок в окрестности, и в дни, свободные от работы, на владенья Аликула нисходил сладостный покой.

Но Аликул не желал довольствоваться малым. Уже через год он запустил руку в колхозные закрома. Правда, сделал он это так, что к нему поначалу трудно было придраться. Он завел при мельнице эдакую частную птицеферму, благо вдоволь тут было бесплатного корма — зерна и муки, которые сыпались при всяких пере-

возках и переносках. Куры и утки, выращенные Аликулом, пользовались на базаре большим спросом; хозяйство нового мельника разрасталось. Вскоре Аликул позаимствовал малую толику из того колхозного урожая, который сдавали ему для помола.

На этот раз председателя не снимали. Он был человеком решительным и сам прогнал Аликула.

Благоденствие Аликула оказалось недолговечней полевого мака. И опять пришлось все начинать сначала...

Теперь он задерживался в каждом новом колхозе на более долгое время, чем в предыдущем, и перевозил из колхоза в колхоз все больше скарба. Он уверенней держался на бурных волнах житейского моря. Неудачи лишь возвели в новую, высшую степень издавна присущие Аликулу изворотливость и осмотрительность. Потолкавшись среди народа, изучив в своих скитаниях жизнь и людей, он стал, как говорят русские, «тертым калачом». И желания и характер бывшего купчика остались прежними, но свойства, особенности его характера словно бы заострились: жизнь отточила их, как затачивают карандаш, чтоб он писал лучше, четче. Аликул был наблюдательным — стал еще наблюдательней, был скрытным — стал еще более скрытным, умел втираться в доверие, а теперь «усовершенствовал» и это свое умение. И все трудней становилось распознавать истинные его цели и намерения.

Но вместе с житейским опытом пришла к Аликулу и старость. Поредела борода, окрасившись в какой-то серый цвет, сворщилось лицо, и спина согнулась, отчего Аликул казался еще ниже ростом. Лишь походка была, как в молодости, живой и быстрой, а силы в руках, пожалуй, даже прибавилось.

В один из очередных переездов Аликул потерял жену: она умерла ночью, на арбе, тоскливо глядя в раскинувшееся над дорогой небо, усыпанное, как цветами, голубыми звездами.

У Аликула из близких осталась только дочь. Все тепло, которое еще не ушло из его сердца, он отдал юной Назакатхон.

Назакатхон еще в детские годы обещала стать красавицей, а когда ей минуло четырнадцать лет, на нее начали засматриваться самые видные, знающие себе цену парни. Да и мужчины постарше дольше, чем до-

зволялось, задерживали взгляд на ее нежнокожем лице с румянцем во всю щеку, на черных с золотой искоркой глазах с длинными мягкими ресницами. Высокая, стройная, она кому угодно могла вскружить голову.

Аликул души не чаял в Назакатхон. Но чувства, вызревшие в его душе, были какими-то уродливыми, и любовь Аликула к дочери не приносила ей ни пользы, ни радости.

Самому Аликулу никак не удавалось вкусить от древа жизни сладчайших плодов, но он мечтал сорвать их для дочери. Пусть живет она в роскоши и достатке, пусть цветет, как садовая роза, на зависть и удивление окружающим! А потом... потом он выдаст ее замуж за солидного, влиятельного человека. И Назакатхон с мужем будут покоить его старость...

Назакатхон, из-за частых переездов учась урывками, еле-еле дотянула до седьмого класса. Отец оберегал ее и от работы. Считая, что красота девушки стоит дороже знаний, ума и трудовой сноровки, Аликул, как купец над золотом, трясся над своей красавицей дочкой. Если бы он мог, то до поры до времени упрятал бы ее красоту в кубышку, где хранились у него деньги и драгоценности.

Покупая дочери сладости, украшая ее серьгами, браслетами и монистами, Аликул жадно высчитывал, насколько дороже становилась от этого ее красота. Любуясь Назакатхон, он удовлетворенно думал: такую рад будет взять в своей дом достойнейший из достойных!

— Думай о своем будущем, дочка,— ласково наставлял он Назакатхон.— А будущее твое — в хорошем муже... Выйдешь за большого начальника, заживешь как твоей душе угодно. Будут у тебя дом — полная чаша, самые дорогие наряды и такие украшения, каких ни у кого нет! Слушайся отца, доченька, он добра тебе хочет...

И росла Назакатхон избалованной, легкомысленной и капризной. А жила скучно. Подруг у нее почти не было: отец не разрешал ей «якшаться с кем попало». Книг не читала: на что красивой девушке книги? Целыми днями Назакатхон возилась с платьями, помогала отцу по хозяйству, а по вечерам услаждала слух гостей Аликула игрой на дутаре и песнями. Гости не отрывали глаз от ее нежного лица, от статной фигуры, и Назакат-

хон все чаще отвечала им кокетливо-благожелательными взглядами. Внимание мужчин льстило ее самолюбию, а скучная, пустая, однообразная жизнь рождала в ее глупом, нищем сердечке смутные, греховные желания.

Кончилось это тем, что Назакатхон нанесла сокрушительный удар по планам и мечтам отца. Уверенный в скромности дочери, он и не заметил, как она сблизилась с одним из его гостей, пригожим парнем, заведовавшим колхозным клубом и знавшим наизусть все самые красивые слова из книг о любви. О позоре дочери Аликул узнал только тогда, когда она подарила ему внучку. Избранник Назакатхон был в это время уже далеко: его призвали в армию, и он отбыл из кишлака, забыв испросить у Аликула родительское благословение на брак с его дочкой...

Аликул ходил темнее тучи, но дочь не корил: бранить ее было уже поздно. К тому же, когда у Аликула рушились планы, он думал лишь об одном: как на месте разрушенного здания выстроить новое.

И снова Аликула выручило несчастье. Ребенок, не прожив и нескольких дней, захворал и умер. Теперь легче стало скрыть позор Назакатхон. Отец и дочь, придумав какой-то предлог, перебрались в отдаленный кишлак, и закрытый котел так и остался закрытым.

Мужчин, как мух на мед, по-прежнему тянуло к Назакатхон. Аликул, продолжая лелеять в душе мысль о выгодном зяте, ловил теперь и возможности, которые предоставлял ему сегодняшний день. Он пользовался, как приманкой, красотой дочери, чтобы добиться расположения нужных людей. Пораскинув умом, он решил устроить Назакатхон на работу: к девушкам-узбечкам, не боявшимся труда, окружающие относились с бóльшим уважением и доверием. Трудовые заслуги росли в цене...

Назакатхон, чувствуя себя виноватой перед отцом, во всем его слушалась, и это не было ей в тягость. Аликул, сам ненавидевший грубую, «черную» работу, подыскивал для дочери работу «поинтеллигентней»: в библиотеке, в кооперативе, в колхозной канцелярии... Общительная по натуре, Назакатхон быстро сходилась с людьми, и это было на руку Аликулу. Выходило так, что теперь он действовал не в одиночку, ему во многом помогала дочь.

Жизнь Назакатхон, по-прежнему бездумная, обрела веселую пестроту. У девушки обнаружились повадки завзятой кокетки и любвеобильное сердце. Решительно изгнав из памяти первого своего возлюбленного, она устремилась навстречу новой любви, а отец умело направил ее пылкое чувство по нужному руслу.

После неудачного романа с безусым заведующим клубом Назакатхон сама благоволила к людям посерьезней, посолидней. С ними было интересней: они неутомимо, наперебой выказывали ей самые горячие знаки внимания, готовы были исполнить любую ее прихоть, все делали, чтобы потешить, развлечь беспечную красавицу. Назакатхон нравилось это. Лишь изредка тень набегала на ее лицо: это случалось, когда она замечала в глазах знакомых девушек трепетный, чистый свет большой, застенчивой, непонятной для Назакатхон любви... И, сама не зная почему, она испытывала легкую, щемящую зависть...

Так и жили бывший купчик, в котором крепкой оставалась торгашеская закваска, и его дочь, смазливая, веселая Назакатхон.

Но время бежало, словно быстрая вода в арыке. Аликул затосковал по родным местам. Там начинался его извилистый жизненный путь, там ему надлежало и завершиться... В последние годы Аликула реже преследовали неудачи, у него был уже завидный послужной список, он сумел сколотить небольшой «капиталец». Оставалось только осесть навсегда в родных краях, добиться наконец всеми правдами и неправдами почета, покоя и всяких благ, о которых он мечтал еще в молодости.

Аликул вернулся в Алтынсай.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СНОВА В АЛТЫНСАЕ

В Алтынсае давным-давно забыли о прегрешениях Аликула и даже обрадовались возвращению земляка. На первых порах он поселился у одного из своих родственников. Самые докучливые из алтынсайцев пытались выведать у Аликула хоть что-нибудь о его делах и похождениях за годы отсутствия, но на все расспросы он отвечал неохотно и лишь многозначительно

подчеркивал, что все это время он жил и трудился не где-нибудь, а в Мирзачуле, в колхозах, славившихся умельцами хлопкоробами, настоящими мастерами своего дела. Он, Аликул, многому научился у них, да и сам не раз получал премии.

Любопытные односельчане вскоре отстали от неразговорчивого «мирзачульца» и принялись ждать доказательств делом, работой. Ждать пришлось недолго...

Отдохнув несколько дней, Аликул отправился в сельсовет, к Айкиз, познакомиться с молодой «начальницей», поздравить ее с удачным замужеством, расспросить о здоровье старого Умурзака-ата. Это был долг вежливости, выполнить его было и выгодно и приятно...

Айкиз вышла из-за стола навстречу почтенному гостю, провела его к стулу и, сев на свое место, окинула посетителя внимательным взглядом.

Аликул поставил между коленями сучковатую, отполированную палку, оперся о нее ладонями и сказал с извиняющимся смешком:

— Вот, дочка, зашел представиться местным властям... Хе-хе... Ты-то меня, верно, и не помнишь. А я тебя помню. Хе-хе... Да, помню. Ты тогда во-от такой была,— Аликул простер над полом ладонь, показывая, какой крохотной была когда-то Айкиз.— И мужа твоего помню, Алимджана... Непоседливый был малыш, да простит меня аллах! Во всех драках верховодил... А теперь, говорят, тоже большой человек. Так что, дочка, прими мои поздравления. Рад я и за тебя и за Алимджана...

Айкиз решилась наконец перебить посетителя. Поблагодарив его за теплые слова, она улыбнулась и вскользь бросила:

— Отец рассказывал мне о вас...

Аликул перехватил короткую улыбку Айкиз, тяжко вздохнул:

— Э, дочка, много снега с тех пор выпало, много воды утекло. Был я когда-то молод да глуп, не понимал, что к чему. Потом пожил среди добрых людей, набрался ума-разума, стал своими руками растить хлопок, белое золото, пушистый жемчуг. Хвалили меня в Мирзачуле. Да, хвалили... Не хотели даже отпускать. Но возраст у меня преклонный, потянуло старого медведя в родную берлогу, хе-хе... Решил на склоне лет поискать

приюта, опоры и защиты в родном кишлаке, среди друзей-земляков. Надеюсь я, дочка, и на твою помощь...

— Ворота нашего кишлака открыты для всех честных людей,— сказала Айкиз.— И двери сельсовета — тоже.

Аликул помолчал, обдумывая слова собеседницы, потом взглянул на нее в упор и медленно произнес:

— Ты достойная дочь своего отца, Айкизхон. Он в свое время старался наставить меня на путь истинный, да не послушался я его, и вот... Сколько горя, сколько мук довелось мне испытать, пока не просветлел мой разум! — На глазах у Аликула выступили слезы, он вытер их пальцами и, успокоившись, осведомился: — Как здоровье почтенного Умурзака-ата? Давно мы с ним не виделись!..

Растроганная речью Аликула, Айкиз разговаривала с ним мягко, ласково... На ее вопрос, не хочет ли он работать в колхозе, гость ответил утвердительно. Айкиз обрадовалась:

— Вот и хорошо, Аликул-амаки! Нам нужны опытные хлопкоробы. Я поговорю с Кадыровым, а вы пока напишите заявление.

Уже прощаясь, Аликул, как бы между прочим, спросил:

— Каков он сейчас-то, наш председатель? Помню, прежде был боевой джигит! Не раз попадало мне от него на собраниях...

Айкиз неопределенно пожала плечами:

— Годы идут, люди меняются... Вы же сами сказали: много снега с тех пор выпало. Зазнался чуть-чуть Кадыров, оброс жирком. Но вы не беспокойтесь, Аликул-амаки, вас он не обидит. У него хлопкосеющий колхоз, знающим работникам цены нет. Это-то Кадыров понимает...

В беседе с Кадыровым, к которому направила его Айкиз, Аликул не преминул заметить, что он, пожалуй, не вернулся бы в родной колхоз, если б не прослышал о его успехах. Коль верить молве, с таким раисом, как Кадыров, можно делать большие дела, а он, Аликул... хе-хе... как и все люди, одержим грешными помыслами, не прочь сойтись на короткой ноге с почетом и славой...

Кадыров довольно усмехнулся. Аликула назначили в одну из бригад поливальщиком.

Годы скитаний и жизнь в Голодной степи не прошли

для него даром: он многое сумел заметить, перенять у мирзачульцев. Когда наступило время полива, Аликул удивил и порадовал земляков. Он проводил полив не методом «затопления», как это делалось до сих пор в «Кызыл юлдуз», а по-новому, пропуская воду в борозды через камышовые трубки. Вскоре у Аликула появились ученики, звеньевые и поливальщики из других бригад, и «новатор» охотно делился с ними опытом.

С Кадыровым Аликул держался почтительно, не забывая при случае воздать должное его былым и будущим заслугам. Опытному сердцеведу, понаторевшему в обращении с разными людьми, ничего не стоило нащупать слабую струнку самолюбивого председателя. Однако, как и воду при поливе, он пускал лесть на благодатную почву кадыровского тщеславия небольшими дозами, разумно отказавшись от метода «затопления». Так он добился от Кадырова не только благосклонности, но и уважения.

Приятелей Аликул не заводил. Но зорким, наметанным глазом он, словно ястреб добычу, высмотрел среди алтынсайцев заведующего молочной фермой, неуклюжего, неповоротливого, толстого, как бочка, Рузы-палвана, бригадира отстающей бригады Молла-Сулеймана, поклонявшегося, как богу, собственному желудку, и еще нескольких любителей поесть и повеселиться.

Все они появились в Алтынсае не так давно. Колхоз «Кызыл юлдуз» богател, и, как мухи на мед, слетались сюда охотники до чужого добра. Кадыров готовно оказывал им покровительство и поддержку: памятуя о том, как несколько лет назад в схватке с Айкиз и ее сторонниками он оказался в одиночестве, раис теперь старался окружить себя «верными», преданными ему людьми.

Вот этих прихлебателей Кадырова Аликул время от времени приглашал к себе на обед или ужин. Он не скупился на угощение: знал, что рубль, если его истратить с толком, может превратиться в два рубля.

С остальными алтынсайцами Аликул оставался одинаково приветливым, но сдержанным. Он больше любил слушать, чем говорить. Слушая собеседника, раздумчиво шевелил губами или соглашался с ним одобрительным кивком головы. Собственные мысли, если не нужно было их скрывать, он излагал лишь в конце разговора, кратко, веско, с достоинством. На собраниях

Аликул не выступал, держался в сторонке. Если при нем завязывался спор, отмалчивался, старался уйти под каким-нибудь удобным предлогом. В кишлаке его прозвали «Аликул скрытный», но произносили эти слова не без уважения...

Слава лучшего поливальщика, как хороший бульдозер, расчистила и разровняла дальнейший путь Аликула. Когда его сделали колхозным мирабом, все приняли это как должное. Алтынсайцам казалось, что Аликул вернулся домой иным человеком, чем был прежде. Работал он не хуже других. Многие даже уступали ему как хлопкоробу. Жил он тоже, как все. Правда, помнившие прошлое Аликула недоверчиво покачивали головами: «Этот между жерновами попадет — и то останется невредимым!» Но остальные, а их было большинство, считали нового мираба честным, безобидным дехканином: «Он и у барашка травы не отнимет».

Кадыров все чаще наведывался к Аликулу: посоветоваться, похвастаться, пожаловаться на своих недругов, послушать песни Назакатхон, на которую он глядел, как кот на сметану, жадными глазами. Однажды председатель привел к своему мирабу Султанова. Аликул готов был в лепешку разбиться, чтобы угодить дорогим гостям. Он угостил их супом из рубленого мяса, красным пловом, сочным виноградом, свежей, сладкой дыней, которая всю комнату заполнила нежным ароматом. Назакатхон, кокетливо поглядывая то на Султанова, то на Кадырова, спела для них лучшие свои песни.

Султанов остался доволен и обедом, и песнями, и хозяином. На лице его вспышками магния сверкала белозубая улыбка. Благодаря Аликула за доставленное удовольствие, Султанов произнес целую речь, щедро украсив ее цветами из сада своего пышнословия.

После обеда, когда зной сменился предсумеречной прохладой, Султанов выразил желание посмотреть хлопок. Все трое, хозяин и гости, сели на молодых, горячих карабаиров и торжественной кавалькадой двинулись к хлопковым полям. Возле участка, где трудилась бригада Суванкула, Султанов, недовольно нахмурившись, остановил коня. Через поле тянулись борозды, но поливальщик, видимо по неопытности, решил затопить участок водой. Поймав осуждающий взгляд Султанова, Аликул быстро спешился, скинул сапоги и,

войдя по колено в воду, запрудил арык. После этого, подобрав бумажный пакет из-под минеральных удобрений, мираб смастерил из него подобие трубки, вставил ее узким концом в земляную перемычку, отделявшую поле от арыка, и принялся равномерно, бережливо распределять воду по бороздам.

Султанову понравилась расторопность Аликула. Чуть приподнявшись в стременах, подняв в приветственном жесте руку, он крикнул:

— Молодец, мираб! — и, обернувшись к Кадырову, сказал: — Надо ценить таких людей, раис! Надо смелей выдвигать их на руководящую работу. На хлопок твой колхоз «сел» недавно, так крепче держись за хлопкоробов-специалистов. Руками и ногами держись! По-моему, этот мираб — самая подходящая кандидатура на пост председателя совета урожайности.

Аликул успел уже дать нужные наставления поливальщику. Вымыв в арыке руки, вытерев их полой халата, он обулся и возвратился к своим спутникам.

— Молодец, мираб! — снова похвалил его Султанов.

Аликул, напустив на себя озабоченность, смиренно ответил:

— Я, товарищ Султанов, только исправил ошибку нерадивого поливальщика... Ведь колхозный хлеб положено зарабатывать честным трудом!..

После нескольких застольных встреч с Султановым Аликул стал председателем совета урожайности. На полях он теперь бывал реже, зато алтынсайцам приходилось чаще выслушивать его кичливые поучения, начинавшиеся обычно неизменными словами: «Вот у нас в Мирзачуле...» Выходило, что местным колхозникам далеко до мирзачульцев, что только председатель совета урожайности может научить их по-настоящему, «по-мирзачульски» растить хлопок. Впрочем, с людьми Аликул оставался неизменно мягким, обходительным, и не было еще случая, чтобы, встретив кого-нибудь из колхозников, он не поздоровался с ним с подкупающей вежливостью за руку, не улыбнулся поощряюще-приветливой улыбкой.

Толки об освоении целины заставили Аликула насторожиться: меньше всего нуждался он в лишних заботах и хлопотах. Однако на колхозном собрании, где обсуждали план наступления на целинные земли, он промолчал и лишь после бюро райкома дружески поде-

лился с Кадыровым своими мыслями о Джурабаеве и Айкиз, которые, не считаясь с заслугами Кадырова, явно под него «подкапываются»...

Аликул понимал, что его благоденствие зависело от благоденствия Султанова и Кадырова, и мрачно размышлял, как бы насолить Айкиз и ее друзьям. Их честность и энтузиазм, словно гранитные скалы, преграждали ему дорогу к спокойной, безмятежной жизни.

С помощью Айкиз Аликулу удалось пристроить Назакатхон на теплое местечко в конторе колхозного правления. Он «приручил» Султанова, и в руках оказался еще один козырь. А когда на поля обрушилась песчаная буря, душу Аликула объяло злобное торжество.

Однако он избегал открытого боя. Когда давний его приятель Гафур сказал, что хочет отомстить племяннице, Аликул укоризненно покачал головой:

— Ай, дорогой, недоброе ты задумал. Только глупцы становятся на путь мести.— И уже тише добавил:— Есть, дорогой, хорошая пословица: «Души́ врага ватой».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

НА БЕРЕГУ КАНАЛА

К этому-то «утешителю» и направился Кадыров после столкновения с Джурабаевым и колхозниками. Обогнув хлопковые поля, он поехал берегом канала к месту, где теперь иногда обедал Аликул с друзьями, превращая каждый такой обед в долгое, веселое пиршество. Кадыров частенько присоединялся к беззаботной компании и не видел ничего худого в том, что его приятели с таким размахом отдыхают и душой и телом от трудов праведных, беспечно наслаждаясь искрометной застольной беседой.

Солнце, словно кипятком, ошпаривало плечи и спину. От травы и цветов, устилавших берег, исходил дурманящий, душный запах. Мокрая грива коня свалялась. По лицу Кадырова ручьями струился пот, но он не замечал жары. Кожа на его низком лбу сложилась в гармошку, в голове тяжелыми жерновами ворочались докучные невеселые мысли...

Никогда Кадырову не приходилось размышлять так много над столь трудными вопросами. Голова раз-

ламывалась от назойливых дум, а в душе в каком-то пестром хороводе смешались строптивость, гнев, растерянность.

Спор с Джурабаевым встревожил Кадырова. Джурабаев при всех отчитал его, как мальчишку, а ему, председателю, оставалось только молча хлопать глазами. Он был один против всех! Даже старики за него не вступились, а ведь на их глазах прошла вся его жизнь. Или забыли они, как он громил кулачье, строил по кирпичику алтынсайский колхоз, за руку вводил в дома колхозников достаток и счастье? Джурабаев и Айкиз призывают к лучшей жизни. Но разве сейчас алтынсайцы живут не лучше, чем прежде? Прежде на их полях росла только хилая пшеница, а нынче распушился хлопок, и этого богатства колхозу хватит надолго!..

Как хорошо все складывалось: колхозное хозяйство постепенно, незаметно наливалось соками, Кадыров научился растить пшеницу, а потом хлопок; жил попростому, без выдумок, занимался изо дня в день одним и тем же, совершенствуя свой опыт и знания; ладил со всеми колхозниками, и никто, слава богу, еще не видел от него зла... Так нет же, явились «энтузиасты», подняли шумиху! Не успел он осмотреться, освоиться, приноровиться к той нови, которая властно утвердилась на алтынсайской земле, а ему уже подсовывают целину. Целина!.. Шутка сказать, пробудить к жизни неоглядную степь. Это как в бурную реку кинуться, выплывешь ли — неизвестно. К тому же совладают они с целиной — хвалить будут Айкиз и Джурабаева, а провалятся — на дно пойдет Кадыров! Слава — им, а шишки — ему. И никто не хочет его понять! Никто ему не посочувствовал! Вот ярлыки приклеивать находятся мастера: «Кадыров тормозит развитие колхоза. У Кадырова мысли покрылись плесенью. Кадыров себя любит больше, чем колхоз!..» Только злейшие враги способны так чернить его, называя лето зимой, ясное небо — облачным. Ну разве так бывает, чтобы человек, создавший колхоз, тянул его назад? Нет, не заслужил он таких упреков! Кадыров любит свой колхоз! Ведь он не мыслит себя без колхоза; это его колхоз, он всей своей жизнью выстрадал почетное право быть здесь хозяином и никому,— да, да, товарищ Джурабаев! — никому не позволит попирать это право,

Конь не спеша шел вдоль канала. Разомлевшая на солнце трава устало шуршала под копытами... Вдруг конь споткнулся, упал на передние ноги, уздечка выскользнула из рук всадника, а сам он, перелетев через голову иноходца, грузно грохнулся на горячую землю. Конь, почуяв свободу, тут же устремился к воде, жадно припал к ней измученными жаждой губами.

Ошеломленный неожиданным падением, Кадыров долго не мог прийти в себя, сидел, чуть откинувшись назад, опираясь о землю ладонями, и бессмысленно смотрел перед собой. Наконец, покряхтывая, поднялся, подобрал откатившуюся тюбетейку, смахнул ею пыль с гимнастерки, с сапог, нахлобучил ее на бритую голову и с угрожающим видом, похлопывая по сапогу плетью, которую еле отыскал в высокой траве, двинулся к коню. Тот даже не заметил, как подошел хозяин. А Кадыров схватил окунувшиеся в воду поводья, дернул их на себя с досадой, изо всех сил хлестнул коня плетью. Конь рванулся было в сторону, но хозяин туже натянул поводья и еще раз хлестнул его по потному боку. Только вдоволь натешившись властью над беззащитным, сразу смирившимся животным, выместив на нем всю свою злость, Кадыров вскарабкался в седло и поехал вперед ровной, быстрой иноходью. Езда успокоила председателя. Он достал из кармана наскады с насваем, раскрыл ее ударом о луку седла, бросил табак под язык и мысленно повел беседу с друзьями и недругами...

Ах, Бекбута, и ты кинул камень в председателя; видно, и у тебя память отшибло. Босоногим мальчишкой ты бегал по пыльным улицам Алтынсая, а Кадыров уже возглавлял колхоз. Когда твоей матери, нищей вдове, обивавшей из-за куска хлеба пороги байских домов, стало невмоготу, Кадыров первый протянул ей руку помощи, затащил в колхоз. А тебя самого кто выдвинул в бригадиры? Ты же за все добро платишь своему председателю черной неблагодарностью, подпеваешь тем, кто задумал его погубить!

Один Гафур пришел сегодня Кадырову на выручку. Но что в нем толку, в Гафуре?.. Он ведь не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за воровство... Вот если бы кто другой поднял голос в защиту председателя... Но все подобрались один к одному: приперли его к стене и ждут, неблагодарные, что он поклонится им

в ноги, попросит: «Валите на меня все, уважаемые товарищи, засыпайте по самую макушку вашими грандиозными планами и идеями». Ну нет, по доброй воле он не сунет голову в петлю: голова ему еще пригодится. Пока — ваша взяла, а там посмотрим...

Конь бежал вперед, Кадыров подпрыгивал в седле, задумчиво посасывая насвай. Вдруг лицо его прояснилось: он увидал на берегу канавы в просторном камышовом шалаше своих друзей. Они сидели на траве за обеденной трапезой; тут были и Аликул, и Рузы-палван, и дочь Аликула, красавица Назакатхон, давно приглянувшаяся председателю, и бригадир Молла-Сулейман, длиннолицый и чернобородый. Все обернулись на мягкий стук копыт, встали с мест, приветствуя председателя. Молла-Сулейман помог ему сойти с коня, и Кадыров очутился в кругу настоящих друзей, не державших за пазухой камень, не вовлекавших его в опасные затеи. Тут было легко и привычно спокойно. Он поудобней устроился перед положенным прямо на землю пустым хурджуном, на котором, дразня аппетит, красовались лепешки, свежие огурцы, помидоры, красный и черный перец, молодой лук, гранаты, сохранившиеся еще с прошлого года, и жирная, отдающая тмином холодная баранина (Рузы-палван приволок с фермы чуть не целую тушу!).

— Видно, теща тебя любит, раис! — весело заметил Рузы-палван.— Поспел как раз к обеду. Мы еще не начали. Развлекались разговорами да песнями прекрасной Назакатхон!

Назакатхон, оказавшаяся справа от Кадырова, как бы подтверждая слова Рузы-палвана, тронула пухлыми пальчиками струны дутара, который принесла с собой, и лукаво взглянула на председателя:

— Тещи, отдающие дочерей таким мужьям, должны чувствовать себя счастливейшими из смертных!..

— Ну-ну, довольно вам,— через силу улыбнувшись, буркнул Кадыров.— Счастьем тещ сыт не будешь.

— Золотые слова! — подхватил Аликул и, прижав руки к груди, с шутливой торжественностью сообщил: — Клянемся, раис, желудки у нас сухи, как луковая шелуха. Все мы рвемся в бой! Рузы-палван, подвинь-ка, подвинь-ка мне мясо.

Достав нож из черных кожаных ножен, Аликул принялся ловко разрезать жирную, ароматную бара-

нину на мелкие доли. Молла-Сулейман занялся овощами. Из-под его ножа посыпались в большую миску кружки помидоров, огурцов, лука. А Рузы-палван с таинственным видом поднялся с места, подмигнул своим сотрапезникам, отошел к каналу, вынул что-то из воды и торжественно вернулся к «столу», держа на воздетых к небу руках бутылку коньяку и дыню, имевшую удивительное сходство с продолговатой головой Молла-Сулеймана — ей недоставало только черной окладистой бороды.

С бутылки и дыни капала вода, а из уст Рузы-палвана лился вперемежку с шутками сладкий елей:

— Это мой подарок, дорогие друзья. Дыню я растил специально для нашего уважаемого раиса. Ухаживал за ней, как за девушкой! А потом решил обручить ее с бравым капитаном, имя которому — коньяк четыре звездочки! — Он потряс в воздухе бутылкой и, усаживаясь на свое место, обнадеживающе добавил: — Сказать по секрету, там, в холодной водице, томится еще один жених...

— Славная дынька! — одобрительно сказал Кадыров.

— Говорят: ешь дыню по утрам, не то она покажется горькой, как яд! Но ведь человек, друзья, властелин природы. И сказал Рузы-палван: да будет утро, и опустил дыню в холодную воду, и обрела дыня утреннюю свежесть! А свежая дыня не чета вялой! Мы ведь в этом знаем толк, уважаемый раис, да, да, знаем!

— Молодец, Рузы-палван,— не без зависти похвалил своего приятеля Аликул.— Обо всем-то позаботится заранее. Сидит на верблюде и смотрит вперед!

Ободренный похвалой, Рузы-палван заговорил еще оживленней:

— Я, друзья, полагаюсь на чутье. Если есть у тебя чутье, можешь смело идти на риск! Помню, весной попросил меня наш председатель купить для него корову. Я тут же отправился на базар. Приглянулась мне одна коровенка. Породы неизвестной, сколько дает молока — неизвестно, что предпочитает из кормов — тоже неизвестно. Приятели отговаривают: плюнь ты на это дело. А я думаю: эх, была не была! Пока осторожный рассчитывает, смелый свершает задуманное! Купил я корову, и вот уже третья неделя, как она оте-

лилась. И молока дает по ведру в день. Да какого! Все в золотых блестках, словно небо в звездах! Сдунешь пену, а под ней сплошной жир. Так что с тебя магарыч, раис!

Кадыров, довольно рассмеявшись, хлопнул Рузы-палвана по плечу.

— Не человек — золото! Спасибо тебе за все, дорогой!

— Да, знаем толк, знаем!..— хвастливо повторил заведующий фермой.— Вот мы и обмоем удачную покупку!

Ловким ударом он вышиб из бутылки пробку. Коньяк даже не замутился. Наполнив граненые стаканы, Рузы-палван обратился к Кадырову:

— Ты что-то хмур сегодня, раис... Шутишь, смеешься, а глаза сердитые. Не таись, друг, тут все свои.

Кадыров, не отвечая, выпил свой коньяк, отправил вслед за ним кусок баранины и, потянувшись за новым, левой рукой налил себе еще коньяку. Лицо у него побагровело, глаза налились грозной чернотой. Аликул поспешно пододвинул к нему миску с помидорами и огурцами, густо поперчил их и, подцепив на вилку несколько кружков, передал председателю. Дожевывая закуску, Кадыров проворчал:

— Будешь сердитым... То отбивался от молодых петушков, а сегодня пришлось схватиться с самим Джурабаевым! Носятся они со своей целиной, а не умиляешься с ними заодно — крик поднимают!

— Э, дорогой, воробьев бояться — проса не сеять! — сказал Аликул.— Ты ведь тоже небось не остался в долгу?

— Я спорил, пока не охрип... Да разве их переспоришь! Затвердили одно: надо, мол, сразу делать тысячу дел! Попробуй переубеди их!..

— Это, видать, про них сказано: кто говорит необдуманно, тот, не заболев, помрет,— заметил Рузы-палван.

— А они живут, живут и здравствуют! Да еще и другим копают яму. Вы бы послушали, что они мне наговорили: «Ты, говорят, потакаешь лодырям!» Это вы-то лодыри! Самые лучшие мои помощники, самая надежная опора! А от тебя, Молла-Сулейман, только перья летели. Общипали тебя дехкане, как курицу. Все припомнили: и поминки, и много чего другого...

Молла-Сулейман замер, не донеся куска баранины до открытого рта. Черные коротышки брови подпрыгнули вверх; большие и глупые, как у барана, глаза вытянулись, приняв форму дождевых капель,— лицо от этого стало казаться еще длиннее.

А Кадыров продолжал с возмущением, глядя на своих собеседников:

— Больше всех разорялась, конечно, Айкиз. «Гони, говорит, в шею нерадивых бригадиров, назначай на их место женщин».

— Это кого же, к примеру? — не без ехидства полюбопытствовал Аликул.

— Они сказали кого — Михри! Девчонку, у которой молоко на губах не обсохло! Керим так за нее распинался, противно было слушать.

— Ах, Кери-им!..— понимающе протянула Назакатхон.— Я его часто вижу вместе с Михри.— Она вздохнула.— У них ведь любовь.

— Стыда у них нет, вот что я скажу! — возмущенно произнес Аликул.— Мало им того, что они у всех на глазах шуры-муры разводят, так этот молодчик добивается еще для своей красотки всяких поблажек. Подумайте, друзья, вместо нашего почтенного Молла-Сулеймана в бригаде будет верховодить какая-то вертихвостка!.. Тьфу!.. Упаси нас бог от такого позора...— Он обернулся к Кадырову и строго спросил: — И ты смолчал, раис?

Кадыров побагровел еще гуще:

— Плохо ты знаешь своего председателя, братец! Когда есть что сказать, я не пощажу и родного отца. Я предупредил: «Отвечать за все придется вам самим!» Я сказал: «Я не допущу расправы с верными своими друзьями!» — Он распалился и выкладывал все, что накипело на душе и что не успел выложить в недавнем споре с Айкиз и Джурабаевым.— Я сказал: «Забрасывать грязью моих друзей — значит забрасывать грязью меня, Кадырова! А я не позволю подрывать свой авторитет, товарищ Джурабаев! Я больше двадцати лет руковожу колхозом! Вам не удастся спихнуть меня, посадить на мое место своих любимцев. У Кадырова корни крепкие, как у тысячелетней чинары».

Неожиданно Кадыров затих, опустил голову, набычился... Аликул поднял стакан с коньяком, налитым из второй бутылки, которую успел принести Молла-Су-

лейман. При общем молчании он произнес с почтительным восхищением:

— У того, кто может так разговаривать с Джурабаевым, львиное сердце!

А Назакатхон, положив обе ладони на плечо председателя, заглянула ему в глаза и шепнула:

— Это у вас львиное сердце, раис-амаки!.. У вас!

Кадыров молча погладил ее руки и отважно выплеснул в свое луженое горло коньяк.

Веселья сегодня не получалось... И когда на быстром, как ветер, велосипеде к обедающим подъехал Алимджан, он застал их задумчивыми, угрюмыми... Взглянув на их кислые лица, Алимджан незаметно усмехнулся. Пожелав всем приятного аппетита, он отозвал в сторону Кадырова.

— Не вовремя вы затеяли этот пир, раис.

— Хм... Уж не прикажешь ли ты нам оставаться голодными, парторг? А может, мы за обедом обсуждали важные колхозные дела?

Алимджан кивнул на Назакатхон:

— А она?

— Дочь почтенного Аликула согласилась приготовить для нас обед... Нам самим некогда этим заниматься.

— Ладно, это я так, к слову. А приехал я вот по какому делу. Мы с товарищем Джурабаевым были недавно в колхозе «Первое мая». Чтобы вспаханная целина не пропадала в этом году даром, первомайцы решили засеять ее джугарой. Я и подумал: а хорошая это затея! Молодцы первомайцы!

— Да что ты заладил: первомайцы, первомайцы! — раздраженно прервал его Кадыров.— Мне-то до них какое дело?

— А такое, что и нам следует перенять их опыт.

— Перенять? Значит, если кто-нибудь с крыши прыгнет, так и нам прыгать?.. Нет, уважаемый партийный секретарь! Не думай, что ты сидишь на ветках, а я на листьях!.. У Кадырова своя голова на плечах. Кадыров жить чужим умом не согласен! Не буду я целину засевать джугарой! — Он прищурился и со злорадным торжеством добавил: — Ее уж и так... ха-ха... песком засеяло!..

Алимджан, пропустив мимо ушей язвительную реплику Кадырова, горячо произнес:

— Ты пойми, раис, какую мы извлечем из этого выгоду! Доходы от животноводства у нас невелики. О заготовке кормов мы совсем забыли. Другие колхозы силос сотнями тонн закладывают, а у нас его ни грамма! Рузы-палван коров соломой кормит, хотя сам, я вижу, любит подзаправиться!.. Вот наши коровы и дают молока меньше, чем козы. Я тебе давно твержу: у нас животноводство хромает на обе ноги. Надо новые фермы строить, кормами запасаться. А тебе и горя мало! Давай хоть теперь исправим наш промах — именно наш, потому что и я во многом виноват. Мало, видно, на тебя наседал.

— Ты мне еще совсем на шею сядь! — буркнул Кадыров, и, как всегда, когда он с кем-нибудь ссорился, брови у него насупились, шея вспотела, лоб собрался в жирные складки.

— Зря сердишься, раис,— дружелюбно сказал Алимджан.— Ведь для людей наших, для родного колхоза будет лучше, если в этом году мы получим хорошие удои.

Кадыров брезгливо оттопырил губы, усмехнулся неприязненной, тяжелой усмешкой:

— Бойки вы, как я погляжу! И хлопок вам подавай, и молоко, и целину, и джугару! Хотите из одного лука сразу семь стрел выпустить!

— Ну, лук, положим, оружие устаревшее,— возразил Алимджан.— Сейчас мы вооружены получше. Так что не стоит, раис, унывать. Почти все работы выполняют эмтээсовцы, тебе же придется лишь выделить для ухода за посевами небольшую бригаду. А Рузы-палван подготовит силосные ямы, это его прямая обязанность.

— Так, так,— с угрюмой иронией произнес Кадыров.— Ты напридумывал невесть что, а я отдувайся!.. Ты, выходит, законодательная власть, а я исполнительная. Мне полагается только подчиняться, проводить в жизнь твои директивы...

Алимджан лишь вздохнул с какой-то усталой безнадежностью.

— Трудный ты стал человек, раис... Опять надулся, как индюк, опять лезешь в бутылку. Ведь Джурабаев звал тебя, ты отказался с нами поехать. А мы сегодня все предварительно и обговорили.

— Кто это «мы»?..

— Товарищ Джурабаев, председатель сельсовета и я как секретарь парторганизации колхоза.

— Погоди, погоди! Председатель сельсовета — это ведь Айкиз?

— Да, Айкиз...

— Ты бы и говорил: я и моя жена.

Алимджан недоуменно пожал плечами:

— Ну, пусть будет так: я и моя жена. Так вот, обсудили мы все, обдумали и пришли к выводу: до того как колхоз засеет целину хлопком, он успеет вырастить на ней джугару. Дело это не очень тяжелое, зато оч-чень полезное! Партийное собрание я решил не созывать, время горячее, страдное, но посоветовался с коммунистами, с бригадирами. Все — «за». Слово за тобой, раис.

— С бригадирами-то зачем советовался? — подозрительно, уже готовясь обидеться, спросил Кадыров.— Им ведь с твоей джугарой не возиться!

— Все равно, надо было знать их мнение. Бригадир — сердце колхоза!

Кадыров возмущенно засопел; теперь и на лбу у него выступили крупные капли пота.

— Та-ак, парторг... Ко мне ты, значит, идешь к последнему? Значит, я, председатель колхоза, вообще уже нуль без палочки. Пугало на колхозном огороде! Колхозный сторож!.. Так прикажешь тебя понимать?

Алимджан внимательно посмотрел на Кадырова и с раздумчивой укоризной, с какой-то даже жалостью покачал головой. Разубеждать председателя было сейчас бесполезно. Глупая обида, упрямое честолюбие замутили ему глаза, и он все видел перекошенным, как в кривом зеркале.

— Вот что, раис,— сухо и твердо сказал Алимджан.— Никто не покушается на твои права. Но ты, кажется, начал забывать, что у тебя есть и обязанности... Вместо того, чтобы считать обиды да печься о своем престиже, ты бы лучше подумал, как успешней провести сев кормовых. Партийная организация проследит за этим.

Уже оседлав велосипед, он обернулся к Кадырову, на которого словно слотбняк напал, и предупредил:

— То, о чем я говорил тебе, партийное поручение. Учти это.

Кадыров, не поднимая головы, медленно повернул-

ся и медленными шагами направился к шалашу... Среди его приятелей царило пасмурное молчание. На Кадырова устремились ожидающие, спрашивающие взгляды. Он тяжело опустился на свое место, пошарил вилкой в миске с овощами, в сердцах бросил ее на хурджун так, что она подпрыгнула несколько раз, и крикнул:

— Ну, что молчите? Или у вас молоко во рту скисло? Вашего председателя свалили в грязь и топчут, топчут, а вы только ушами хлопаете!

Аликул осторожно кашлянул, виновато и льстиво улыбнулся:

— Чтобы тебя затоптать, раис, понадобились бы все слоны Индии... хе-хе... Ты уж положись на нас, раис... Мы тебя в беде не оставим. Что бы с тобой ни случилось, мы всегда поможем. И советом, и... делом. Мы — тебе, а ты — нам... Хе-хе...

В это время к обедающим подошел Гафур. Кадыров покосился на него и пробурчал недовольно:

— Ждать себя заставляешь, звеньевой...

Гафур развел руками:

— Вы что, не знаете нашего бригадира? Совсем нас загонял! Ему, можно сказать, в лицо плюнули, а он выслуживается перед обидчиками... Из кожи вон лезет, чтобы спасти хлопок, который по милости моей бесценной племянницы — да пошлет ей аллах кучу детей, чтоб не мешалась в чужие дела! — чуть не погубила песчаная буря. Бригадиру махнуть бы на все рукой: пусть герои сами выкручиваются как хотят. А он целыми бочками льет воду на их мельницу: и сам не выпускает из рук кетменя, и другим не дает ни минуты отдыха!

— Тебе, пожалуй, не дашь...— криво усмехнулся Кадыров.

— Ай, раис, ты-то уж меня не обижай! Я, кажется, все для тебя готов сделать.

Аликул разлил по стаканам остатки коньяку. Рузы-палван, быстро разрезав дыню, положил перед каждым по душистому, искристо-белому полумесяцу:

— Предлагаю, друзья, выпить по маленькой за хорошее настроение и поближе познакомиться с моей дынькой.

— И пусть раис расскажет, чем... хе-хе... порадовал его наш молодой парторг.

Кадыров впился зубами в нежную мякоть, обглодал корку, отбросил ее в сторону и обвел приятелей недобрым взглядом, налитым хмурой тупой обидой.

— Радости мало. Председателя вашего уже ни в грош не ставят! — Он, словно с врагом, расправился еще с одной дынной долькой и с горькой усмешкой продолжал: — Я-то, дурак, думал: я — голова колхозу! Да недаром говорят, что вода, которая течет потоком, не ценится. Главные хозяева у нас, оказывается, бригадиры. Парторг так и заявил: бригадир, мол,— сердце колхоза! — Кадыров в ярости стукнул кулаком по хурджуну и требовательно спросил: — Ну, а я тогда кто? Печенка, что ли? Бригадир — сердце колхоза, а председатель — пустое место? Печенка, селезенка, слепая кишка? Отрезать ее да выбросить! — Он чуть не всхлипнул от жалости к самому себе и воскликнул с горечью: — Ну как такое терпеть? Как после этого работать? Руки опускаются...

Аликул поднял глаза к небу и сказал вкрадчиво и соболезнующе:

— Нам больно за тебя, раис... Мы видим, слова парторга ранили тебя в самое сердце, словно острие отравленного кинжала.

— Погодите! — со злорадной угрозой прервал его Кадыров.— Погодите, они и до вас доберутся. Наплачетесь с этой целиной! Особенно ты, Аликул!

Глаза у Аликула забегали, словно мыши в мышеловке.

— Это почему же я, уважаемый раис?

— Ты — председатель совета урожайности. Мы с тобой оба в ответе за урожай нынешнего года.

Аликул задумался. Потом, обращаясь к Молла-Сулейману, поинтересовался:

— У тебя-то на участке оправился хлопок?

— Какое там! Людей мало. Лучшие хлопкоробы ушли в строительную бригаду.

— А остальные на базаре гуляют?

— Да нет... Ковыряемся помаленьку...

Аликул насмешливо прищурился:

— А бригадир, если меня не обманывают глаза, ведет бригаду в бой, крепко сжимая в руках стакан с коньяком!.. Нет, так не пойдет, братец... Запомни: все твои дехкане — золотые работники и все делают, из последних сил выбиваются, чтобы спасти хлопок.

А сам ты ночей не спишь, глаз не смыкаешь, все думаешь: как справиться с лихой бедой? Но вот людей у тебя мало... Как солнце высасывает из земли влагу, как болезнь изнуряет человека, так и целина обескровила, истощила твою бригаду. И как ни бьются герои-дехкане, а хлопок, придавленный бурей, поднять уже не могут... И гибнет на наших полях бесценное белое золото, гибнет по вине тех, кто не вовремя и не рассчитавши сил решил взять на ура неприступную крепость — пустыню, добыть себе дешевую славу...

Все как завороженные слушали Аликула. Молла-Сулейман глядел прямо в рот оратору своими выпуклыми глазами. Лица Кадырова и Гафура выражали мрачное тупое внимание. И лишь Рузы-палван морщил лоб, стараясь сообразить, куда клонит хитрый старик. Аликул, насладившись впечатлением, которое произвела на слушателей нарисованная им страшная картина, коротко вздохнул и, как о чем-то решенном, сказал:

— Так мы и напишем, дорогие...

Первым пришел в себя Рузы-палван. Он улыбнулся как-то неуверенно и, помявшись, спросил:

— Куда же это, Аликул?

— Как «куда»? — в свою очередь удивился Аликул.— В газету. В нашу районную газету. Как видите, основание для жалобы на Айкиз имеется. А поломаем головы — так еще что-нибудь отыщем... И подрежем крылья нашей занесшейся в облака орлице... Печать, братцы, бо-ольшая сила.

— И нам... поверят? — усомнился Рузы-палван: он-то не привык, чтобы ему верили.

— А мы сделаем так, что поверят. Мы обопремся на гору! Есть руководители и позорче и поумнее Айкиз с Джурабаевым...

— Султанов? — догадался Кадыров.

— Ты попал в цель, раис. Вспомните мудрую пословицу: только золотых дел мастер способен оценить золото. Разве не о Султанове это сказано? Уж он-то разбирается в людях. Он уважает нашего председателя, он самый желанный гость в моем доме. И он не оставит нас в беде, братцы...

— Так-то оно так...— угрюмо возразил Кадыров,— только ведь и его клюют молодые петушки.

— Ай, раис, ну что для него их наскоки? — воз-

бужденно размахивая руками, воскликнул Рузы-палван, успевший уже увлечься замыслом Аликула.— Их критика как укус москита: почешется и пройдет. Ведь Султанов — хозяин района! Он не испугается Джурабаева. Говорят, он как лев бился с Джурабаевым и Айкиз на бюро райкома. За такого руководителя жизнь отдать не жалко!

— Верно, братец,— кивнул Аликул.— Султанов большой человек и поможет нам. И помните: дорогу осилит идущий! Ты, раис, завтра поезжай в район к товарищу Султанову. Прихвати для него барашка пожирнее: пусть на нашем письме... хе-хе... будет ценная марка. Так оно надежней. И я думаю, товарищ Султанов не откажется передать это письмо в газету...

— Хм... А председатель совета урожайности дело говорит,— раздумчиво произнес Кадыров.— Только кто же, по-твоему, должен подписаться под жалобой?

— Я подпишусь! — с готовностью отозвался Гафур.

— Нет, нет, братец,— запротестовал Аликул.— Ты достоин самых высоких похвал, но твоя подпись... гм... Пусть подпишется Молла-Сулейман: у него хлопок под песком, а бригада ослаблена! И хорошо бы еще подписаться лицу постороннему, не замешанному в наши споры да свары...— Он обратил ласковый взгляд на Назакатхон и добавил твердо, но как бы и просительно: — Придется тебе, доченька, тоже подписать это письмецо...

— Ой, отец! Я же в ваших делах ничего не понимаю!..

— Ты сидишь в колхозной конторе, дочка, тебе оттуда многое видно, ты не можешь не знать, что творится в колхозе. Кстати, Молла-Сулейман, ты уверен, что твоей бригаде не удастся выходить хлопок?

— Если очень поднатужиться...

— Гм... Поднатужишься — лопнешь. А спасибо тебе никто не скажет. Будем считать, что хлопок на твоем участке... хе-хе... приказал долго жить. И не ты в этом виноват, Айкиз виновата. Айкиз и ее покровители... Вот это вы и напишите.

— Отец! Айкиз добрая, она не сделала мне ничего плохого...

— Это и хорошо, дочка, так тебе скорей поверят. А об Айкиз ты не думай. Подумай лучше о своем будущем. Наш раис низко тебе поклонится за такое

письмо. И товарищ Султанов будет доволен. Не упрямься, милая...

Назакатхон вопросительно посмотрела на Кадырова. Тот тяжело вздохнул:

— Что делать, красавица? Не усмирим эту взбалмошную девку — она от нас от самих мокрое место оставит.

Назакатхон не сразу преодолела свою нерешительность. Ей и Айкиз было жалко и в то же время хотелось угодить отцу и Кадырову. Кадыров, правда, человек пожилой, женатый. Но жена у него старая, некрасивая. А в их доме раис частый гость, и приходит не с пустыми руками: то подарит Назакатхон бусы, прозрачные, как слезы, или алые, как капельки крови, то купит для нее новое платье, то смущенно и неловко вынет из кармана и поставит перед ней флакон дорогих духов, и тогда в комнате пахнет, как в саду... Может быть, и есть женщины, которые в силах устоять перед этим, но только не Назакатхон. У нее голова начинает кружиться, когда она видит нарядное платье... Даже свое скромное жалованье Назакатхон с разрешения отца тратит на наряды, на безделушки и в контору является разодетая, словно в праздник. Но жалованья хватает на одну-две кофточки, на один-два браслета. А Назакатхон не дурнушка, чтоб по целым неделям щеголять в одном и том же наряде. Красота как облако: оно радует глаз, оттого что неустанно меняет окраску — то оно снежно-белое, то розовое, то золотистое, то переливчато-перламутровое, и можно любоваться им без конца. Так и Назакатхон: сегодня она в пестрой тюбетейке, расшитой причудливыми узорами, а завтра в черной «чусти», а через день в легкой косынке самой веселой расцветки... И взоры, привыкшие к ее красоте, вновь и вновь устремляются на нее с немым восхищением, а ее возбуждают и согревают эти взгляды... Нет, не может она отказаться от подарков Кадырова. Да и отец, если разгневается, будет держать ее в строгости... Поколебавшись, Назакатхон снова уголком глаза взглянула на Кадырова и, потупившись, покорно произнесла:

— Пусть будет по-вашему, раис-амаки... Я все напишу, как вы скажете...

— Вот и умница! — обрадовался Аликул.— Я знаю, дочка, Айкиз тебя приласкала, устроила на работу...

Но ведь ты напишешь только правду. А правда, дочка,— Аликул приставил к груди сложенные лодочкой руки и с наигранным смирением возвел очи к небу,— правда превыше всего!.. Превыше даже благодарности... Гм... Ты что-то хочешь сказать, Гафур?

Гафур давно уже сопел, сердито и недовольно, дожидаясь, когда ему дадут возможность обогатить общую беседу своим веским словом. На вопрос Аликула он откликнулся угрюмым вопросом:

— А как же Джурабаев?

— Джурабаев?..

— Ай, Аликул, рассуди сам: если под письмом подпишутся только Молла-Сулейман и Назакатхон, то как же мы впишем туда Джурабаева? Тут нужны подписи посолиднее.

— А я думаю,— медленно произнес Аликул,— нам пока и не надо трогать Джурабаева. Одно дело — председатель сельсовета, другое...

— Ай! — не дал ему договорить Гафур.— Белая собака, черная собака — все равно собака!

— Э нет, братец! Толкнешь с горы маленький камешек — так он скатится без шума... Толкнешь большой — шум будет, грохот будет. А зачем нам шум?

— Да ведь Айкиз за Джурабаевым как за каменной стеной! Не потопим Джурабаева — так он и Айкиз за волосы вытянет!..

— Гм... Ты играл когда-нибудь в бильярд?

— Сам знаешь, не до бильярдов мне было.

— А я вот играл... Хитроумная это игра, братцы! Бьешь одним шаром, а в лузу ложится другой... Не удастся товарищу Джурабаеву спасти Айкиз — она сама его за собой потянет. Одно ему останется — отречься от запятнанного работника. И от идеи, которую она замарала, тоже...

Назакатхон зябко передернула плечами: от канала повеяло сырым, ознобным холодком. Обед, как всегда, затянулся, время близилось к вечеру... Притомившееся солнце, на что только не наглядевшееся за день, спешило укрыться за вершинами гор.

Кадыров, кряхтя, поднялся. Встали и остальные. Председательский конь, пощипывавший невдалеке повядший клевер, замотал головой, заржал призывно и приветно: он, в отличие от хозяина, недолго помнил

обиды... Кадыров велел Гафуру и Молла-Сулейману торопиться на свои участки: их длительное отсутствие и так уж, верно, вызвало нарекания. Договорились, что вечером все они соберутся у Аликула. Назакатхон принялась убирать посуду. Аликул, оставшись один на один с председателем, приложил руку к сердцу и еще раз проникновенно заверил:

— Можешь во всем положиться на меня, раис. Все от тебя отвернутся, но Аликул и в трудную минуту останется верным другом. Тебе есть на кого опереться, раис...

Рядом с грузным Кадыровым Аликул выглядел щуплым и маленьким.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

СУЛТАНОВ ФИЛОСОФСТВУЕТ

Утром Кадыров отправился в район. Вид у него был помятый, под глазами мешки, лицо опухшее, серое, как пыль на дороге. Он плохо спал этой ночью, к тому же сказывался вчерашний коньяк. Перед тем как тронуться в путь, Кадыров выпил на ферме у Рузы-палвана еще коньяку, но легче не стало. На душе было скверно, смутно... Теперь бы поразмыслить обо всем трезво, спокойно, неторопливо; хорошенько обдумать те шаги, которые он собирался предпринять, взвесить возможные последствия. Но в голову лезли только поговорки да присловья, которыми был щедро приправлен вчерашний обед. «Воробьев бояться — так не сеять проса,— с кашляющим смешком убеждал его Аликул.— Дорогу осилит идущий!». «Их критика как укус москита,— вторил ему Рузы-палван,— почешется — и пройдет». «У вас львиное сердце, раис»,— пела сладкоголосой птицей Назакатхон... От чужих приторно-сладких слов, еще звучащих в ушах Кадырова, голова гудела, как улей: пчелы-слова прилетали и улетали, сновали, пестрые и бестолковые, туда-сюда, сшибались, ломая друг другу хрупкие крылья, заползали, щекочуще перебирая лапками, в самые потаенные уголки сознания и жужжали, жужжали... «Нам больно за тебя, раис... Мы тебя в беде не оставим... Тебе есть на кого опереться, раис...»

Дорога в районный центр проходила через целин-

ные земли; они раскинулись справа от всадника. Вот целина, поднимаемая его колхозсм... Вот участки, прилегаюшие к угодьям других колхозов... А вот еще нетронутая, пустынная степь. Она похожа на шкуру линяющего верблюда, но раскинулась так широко, что ее глазом-то не окинешь, а уж об освоении нечего и думать. Попробуй-ка этакую ширь вспахать, напоить живительной влагой, уберечь от горячих ветров, несущих колючий песок! А если и случится чудо, если вырастет тут хлопчатник, он все равно пропадет: ведь никаких сил не хватит собрать урожай вовремя! Алимджан, верно, опять сослался бы на машины. Но машины — дело темное. На машины надейся, а сам не плошай. Заманчиво, конечно, представить эти вот степи залитыми белой пеной раскрывшегося хлопчатника. Разбогател бы тогда колхоз .. Но пока можно обойтись богатством, нажитым за последние годы. Обходились же до сих пор! Кадырова в районе хвалили, колхозники обзавелись кто мотоциклом, кто велосипедом, и никто его, председателя, не смел попрекнуть: ни Айкиз, ни Джурабаев. Славно тогда работалось и жилось славно. А теперь...

Кадыров тюбетейкой вытер лицо, шею и причмокнул, поторапливая коня. Хорошо бы попасть в район пораньше, пообедать вместе с Султановым, а за обедом по-приятельски потолковать о том о сем... Для иных Султанов, может, и начальство, а Кадырову он близкий друг. Он примет его в любое время в райисполкоме, позовет домой. А дома у него и улыбка другая, и слова не те, что на работе!.. К тому же к горячим бокам кадыровского коня прочно прижаты две сумы перекинутого через седло хурджуна, в котором покоились мясо и сало барашка, зарезанного утром на ферме Рузы-палвана Это был и подарок, и взятка, и в то же время не совсем взятка, потому что барашек, плачевно закончивший свой жизненный путь, принадлежал, как это ни удивительно, самому товарищу Султанову. Султанов взяток не брал — не такой это был человек! — да и подарка, пожалуй, не принял бы, блюдя партийную непорочность. Кадыров, чтобы задобрить друга, вез к нему собственного его барана.

Уже не один хурджун с бараниной был переправлен с фермы в дом Султанова, и каждый раз Кадыров сопровождал подарок клятвенными заверениями,—

да видит аллах! — что это бараны не колхозные, а собственные султановские. Ведь товарищ Султанов помнит, наверно, как года два назад по его просьбе пустил Кадыров в колхозную отару трех султановских барашков? Просьба была, пожалуй, и не совсем законной, но не самому же председателю райисполкома пасти свою скотину! Кадыровские бараны тоже нагуливают жир вместе с колхозными. Что же тут такого? Дело житейское... Правда, те три султановских барашка давно уже превратились в шашлык, который был подан к столу в доме Султанова... Но ведь от них был приплод. А от того приплода — еще приплод. Теперь султановских барашков и не сосчитать! Товарищ Султанов знает, наверно, заведующего фермой Рузы-палвана? Ну, того, балагура? Толстого такого! На него вполне можно положиться, это работник преданный, добросовестный, и он так сказал: «Колхозное добро я берегу пуще глаза, отчетность у меня в полном порядке, не придерешься. А этого вот барашка отвезите товарищу Султанову, это его барашек...» И уж пусть уважаемый товарищ Султанов не беспокоится, колхозная скотина у нас вся учтена, а чужой колхозу не надо... Пасутся у нас ваши барашки, и ладно, а сколько их нынче — это уж Рузы-палвану лучше знать.

Кадыров скосил глаза на хурджун с бараниной и чуть заметно усмехнулся... Легко говорить с людьми, которые любят пожить! По чести сказать, только с ними и можно договориться... Предложил бы он подобную услугу Айкиз или Джурабаеву, так нарвался бы на крупную неприятность. А Султанову поможешь — он тоже в долгу не останется. Попросишь его, чтобы он во время уборки направил в колхоз побольше людей из города,— разве он откажет? Джурабаев, тот сразу бы в крик: «А почему именно в твой колхоз? Другие колхозы не меньше твоего нуждаются в рабочей силе!» Чудак, право... Да ведь, когда нужно, и Кадыров может сослужить тебе хорошую службу... Как говорится, услуга за услугу. На этом все в жизни держится. Иначе как бы он вел колхозное хозяйство? Только тебе, товарищ Джурабаев, этого не понять... Не умеешь ты ценить настоящих друзей. О своей выгоде не думаешь... Ты, конечно, не пустишь своих барашков в колхозное стадо, даже если все будет шито-крыто. Ох, уж эти чистюли! Упрутся на своем, и ничем их

с места не сдвинешь! Вот и приходится идти на крайние меры...

Кадыров покачал головой: ему даже жалко было Джурабаева, не желающего понять, что жизнь — сложная штука и на упрямстве да несговорчивости далеко не уедешь. «Не захотел, уважаемый, поддержать Кадырова, которого знаешь уже много лет, так пеняй на себя. Стрела, пущенная в Айкиз, и тебя заденет, дорогой товарищ... Война так война! А на войне все средства хороши».

Когда Кадыров въехал в районный центр, от мрачного настроения не осталось и следа. Чужие слова-пчелы уже не терзали его своим надоедливым жужжанием, они незаметно обернулись собственными его мыслями, а спорить с самим собой не хотелось. Следовало беречь силы, крепить в себе боевой дух: схватка предстояла не из легких!

Конь зацокал копытами по булыжной мостовой. Центральная улица поселка содержалась в опрятности. Каменная мостовая, асфальтированные тротуары, аккуратные, свежевыбеленные ограды, из-за которых, словно снедаемые любопытством, перевешивались наружу кудрявые деревья... Кадыров решил заглянуть в райисполком, может быть, Султанов еще там? Он пересек заасфальтированную площадь, на которую смотрели окна райкомовского здания (Кадыров даже не взглянул в ту сторону), миновал еще несколько домов и остановил коня перед входом в обширный сад, в глубине которого пряталось здание райисполкома. Дом был старый, но добротный. Когда начали строиться новые дома на главной площади, Султанов отказался переводить туда райисполком, так как вполне был доволен прежним местоположением, к тому же райисполком находился теперь в некотором отдалении от райкома, что создавало у Султанова ощущение независимости.

Здание райисполкома утопало в зелени; вдоль широкой аллеи, ведущей к дому и усыпанной гравием, тянулись низенькие скамеечки. Здесь все было приспособлено для того, чтобы... ждать. В приемной Султанова было удобно и чисто, как в парикмахерской; на отдельном столике даже лежали журналы — читай, коли соскучишься! Сад манил чистотой и тенью; душно станет в здании — иди в сад, отдохни на скамейке,

поразмысли в тени: может, с таким пустячным делом, как у тебя, и не стоило идти в райисполком, тревожить председателя, у которого всегда дел по горло. Нет, никто не мог бы упрекнуть Султанова в том, что он не заботится о посетителях! А что дел у него по горло, в этом тоже легко можно было убедиться: ведь если бы он не был так занят, разве заставлял бы людей часами дожидаться приема?

Был уже полдень... У подножья дерева лежала ровная, круглая тень. Кадыров привязал коня к одному из тополей, сторожививших текущий вдоль тротуара арык, прошел через калитку в исполкомовский сад и, поглядывая с чувством превосходства на томившихся просителей, зашагал, хрустя гравием, к зданию, двери которого всегда были открыты перед Кадыровым. Он был здесь своим человеком. Секретарша председателя райисполкома, пышная и грозная, решительно останавливала случайных посетителей неизменной фразой: «У товарища Султанова совещание!» — но Кадырова она всегда встречала приветливой улыбкой:

— Да, да, у товарища Султанова совещание, но вас он ждет...— И конфиденциально добавляла: — У него сейчас машинистка, он диктует доклад...

Прошествовав в комнату, где восседала секретарша, Кадыров поздоровался с ней и кивнул на дверь, обшитую черной кожей и перекрещенную светлым шнуром, словно офицерский мундир ремнями:

— Здесь?

— Сам-то? — почему-то шепотом переспросила секретарша.— Домой пошел. Голова разболелась...

— М-да... От такой работы заболит!..

— Врачи говорят: ум у него переутомился. Он мне сам сказал! Видали, сколько посетителей? Отбою нет! Тут и здоровый сляжет... Вы идите к нему домой, вам он обрадуется.

Кадыров скользнул привычным взглядом по красочным плакатам, развешанным на стенах, зовущим на самые лучшие дела, и вышел из комнаты.

Дом Султанова находился в конце этой же улицы. Он был обнесен новой кирпичной оградой, скрывавшей от посторонних взоров личную жизнь председателя райисполкома. Ограда была такой высокой, что не только с лошади, но и с верблюда нельзя было заглянуть во двор.

Кадыров, спешившись, постоял перед воротами в немом изумлении: эту ограду Султанов воздвиг недавно, Кадыров ее еще не видел. Справа от ворот белой мишенью блестела кнопка звонка. Кадыров осторожно нажал ее: раз, другой. Отворила ему молодая жена Султанова и тут же исчезла, стыдливо прикрыв лицо краем платка...

До прихода Кадырова Султанов, видно, возился с цветами, посаженными вокруг новой беседки. Он любил цветы и ревниво отбирал для своего сада самые редкостные, привозные. Облаченный в шелковую пижаму радужной, полосатой расцветки, переливавшуюся в лучах солнца, как павлинье перо, он, прищурившись, смотрел на гостя, а узнав его, помахал алой розой, которую держал в руке, и весело крикнул:

— Салам алейкум, председатель! Рад тебя видеть! Коня привяжи вон там, во-он к тому дереву... Э, да ты опять с гостинцем!.. Эй, жена! Возьми-ка у Кадырова нашего барашка, дай бог всем овцам быть такими плодовитыми! Сюда его, мошенника, тащите, сюда, в подвал! Тут прохладно, как в раю!

Переутомление выражалось у Султанова своеобразно: он был оживлен, весел, магниевые вспышки его улыбок спорили с лучистым сверканием солнца, шутливые команды сменялись шутливыми изречениями... Кадыров, подойдя к нему, почтительно поздоровался, пожав руку Султанова обеими руками, и, заражаясь его настроением, пошутил:

— Ты думаешь, в раю прохладно, товарищ Султанов?

— Когда на улице жара, я говорю: прохладно, как в раю. Когда на улице холод, рай мне представляется огромным сандалом! А когда меня потчуют жестким шашлыком, я в мечтах вхожу в рай, как в шашлычную, где шашлык сочный и мягкий, как уста красавицы... Рай, председатель,— это то, чего недостает нам на данном отрезке времени.— Султанов засмеялся и хлопнул Кадырова по плечу.— Но мы, люди, сами творим рай на земле. Так ведь, дорогой председатель?

От дома, от двора, от слов, от самой фигуры Султанова веяло прочным благополучием, радостным жизнелюбием. На истерзанную душу Кадырова снизошел теплый покой... Он обвел восхищенно-завистливым взглядом новые постройки, новые цветники в сул-

тановском дворе, и хозяин, проследив за его взглядом, самодовольно улыбнулся:

— Видал, раис? Рай на земле!.. Нет, ты посмотри на эту беседку — это же восьмое чудо света!

Беседка радовала глаз: голубая масляная краска еще не успела потрескаться, цветы расстилались вокруг ярким ковром с искусными узорами. Невысокая решетка, оплетавшая беседку, была украшена тончайшей резьбой; веселые тона и оттенки чередовались на ней с причудливым разнообразием. Под потолком, расписанным пестрым орнаментом, висела, угрожая жизни гостей и хозяина, массивная хрустальная люстра. Такую же люстру Султанов видел однажды в квартире одного из городских руководителей... И хотя в люстре, красовавшейся в султановской беседке, светилась по вечерам всего лишь одна лампочка, хозяина это не смущало. Все во дворе Султанова свидетельствовало о широкой натуре, и, если бы вещи умели говорить, они, выдавая тайные мысли хозяина, воскликнули бы хором: «Знай наших!»

Впрочем, Султанов умел совмещать роскошь с удобствами. Основанием беседки служил бетонный подвал, стены которого наполовину покоились в земле. В подвале можно было хранить любые продукты: даже в зной там царил спасительный холод. Неподалеку от беседки, на пути быстрого прозрачного арыка, зеркально сверкал небольшой водоем — хауз, тоже бетонированный. Вода в нем всегда была ледяная; виноград и напитки, опущенные в эту воду, становились холодными и в жару для жаждущих желудков были во сто крат благодатней...

Беседка являлась предметом хозяйской гордости. Султанов ораторствовал, не отрывая от нее удовлетворенно поблескивавшего взора:

— Славно ведь? А, раис?.. Ты-то это понимаешь, ты знаешь толк в жизни! А в райкоме мне в нос тычут моим домом: негоже, мол, тебе жить так широко, что люди скажут! А какие люди? Сплетники, завистники... От их языков все равно никуда не денешься: скромно ли ты живешь, нормально ли, по-человечески. Зачем нам прибедняться, раис? Мы боремся и трудимся не затем, чтобы нам жилось плохо. Мой отец в двадцатые годы гнал отсюда богачей в три шеи. Неужели же я позволю им смеяться над собой? Отец, мол, отдал

жизнь за прекрасное будущее, а сын, хозяин района, живет бедней последнего батрака?.. Нет! Пусть все видят, что мне, сыну простого дехканина, дала советская власть! — Султанов горделиво оглядел свои владения и, повернувшись к Кадырову, доверительно сообщил: — Меня — слышишь, раис? — меня однажды феодалом назвали. Так и брякнули: у тебя, мол, товарищ Султанов, феодально-байские замашки!.. Ха!.. Да ведь при коммунизме все будут жить так, как я. Разве это значит, что все превратятся в феодалов? К тому же во всем, что ты здесь видишь, есть и мой пот и моя трудовая копейка! Думаешь, эту беседку мне колхозники отгрохали? Я сам, сам помогал им — видишь мозоли на ладонях? А если я и попросил пособить мне, так что в этом зазорного? Разве сам я мало для других стараюсь? Вон каким районом руковожу! Это, брат, немалая нагрузка...— Султанов на минуту задумался, а потом, спохватившись, быстро проговорил: — Да что я тебе голову разговорами морочу! Как говорится, больше дела — меньше слов. Пойдем в беседку, раис. Посидим, отдохнем, молодая хозяйка угостит нас пловом!..

Они поднялись по деревянной лестнице в беседку. Султанов, не дожидаясь, пока сядет Кадыров, с наслаждением растянулся на полу, на роскошном одеяле из маргеланского шелка, и, опершись локтем о мягкую пуховую подушку, пригласил гостя на такое же одеяло:

— Устраивайся поудобней, раис. Будь как дома!

В беседке все располагало к дружеской, откровенной беседе. Усадив гостя, Султанов снова заговорил так, будто спорил — то ли с невидимым противником, то ли с собственной совестью. «Нагорело ему, видно, в райкоме,— подумал Кадыров,— вот он и оправдывается». Но слушал он Султанова по-прежнему с почтительным вниманием, не перебивая, лишь изредка понимающе и сочувственно кивая своей круглой головой.

— Да, дорогой раис,— продолжал хозяин,— не все еще живут так, как я или, скажем, товарищ Абдуллаев...

— Наш секретарь обкома?

— Он самый. Ты бывал когда-нибудь у него на квартире? Нет? Э, дорогой, много потерял! Хоромы, а не квартира! Так вот, говорю, не все еще так живут.

К сожалению, не все!.. Но нас-то, руководителей, само положение обязывает вести, так сказать, представительный образ жизни. На нас весь народ смотрит!.. Да и гостей в районе бывает немало, и из области, и из центра, и даже из-за рубежа! А у кого они останавливаются? У председателя райисполкома! Потому что дом у меня — лучший в районе. Да что там в районе: в области! Джурабаев вон и тот, если пожалует к нам высокий гость, ко мне его посылает: рад бы сам принять, да негде. И представь себе, Кадыров, что подумает такой гость, если председатель райисполкома примет его в тесном, старом домишке? «Э,— скажет,— видно, и район-то у него из захудалых! Какая уж там забота о народе, если он о себе не сумел позаботиться!»

Нет, председатель, авторитет руководителя должен опираться на крепкий фундамент! Ты пойми: народ доверил нам высокие посты, поставил над собой хозяевами... Случайно это? Нет, не случайно. Нас выделили из общей массы, потому что — я тебе прямо скажу — есть люди, которым самой судьбой предназначено быть хлопкоробами, инженерами, писателями, а есть люди, словно рожденные для руководящей работы,— вот как мы с тобой... Ты себя можешь представить ну хотя бы инженером? Или агрономом? Нет?.. Вот и я тоже. Мы — руководящие работники, и нас немного, потому что руководить-то не каждый годится. Ты только вслушайся, дорогой, как звучит это слово.— Султанов поднял палец и в каком-то упоении произнес: — Ру-ко-во-ди-тель! Подумай-ка о нашем месте в жизни!.. Есть масса, так сказать, рядовые труженики. Есть вожаки, застрельщики: их выдвигает масса, и они ведут ее за собой... Но есть — руководители. Номенклатура. Вожаки впереди массы, а руководители — над ней. Это как на войне: командиры подразделений увлекают солдат в атаку, а войсковое начальство наблюдает за боем с холма или следит за ним по карте. Оно все должно видеть, все должно охватить проницательным взором! Потому что ответственности на нем больше! Сказать по секрету, я иногда завидую простым людям... Отработал свое — и свободен. Делай что хочешь, думай о чем хочешь. А у меня рабочее время не нормировано. Ответственность с себя ни на минуту нельзя свалить: кончился, мол, рабочий день — кончилась и ответственность. Не-ет, дорогой!.. Порой

ночами не спишь, все ломаешь голову: как бы не опозорить свой район, как бы свести концы с концами, половчей отчитаться перед областью? Или готовишься к ответственному выступлению, сел за тезисы, а дело не ладится! Значит, опять тебе не до сна... Вот и выходит, что ты на своем посту бодрствуешь и днем и ночью. Так имею я право в свободную минуту отдохнуть? Ведь мне отдых нужен для дела. Мне такая жизнь по должности положена! Золотое кольцо должен украшать рубин, так ведь, дорогой раис? Иначе не стоит и стараться.

Вкрадчивая речь Султанова навевала дремоту. Кадыров уже слушал хозяина вполуха, а сам исподволь рассматривал богатое убранство беседки, переводя лениво-рассеянный взгляд с хорезмских ковров на люстру, с люстры на зеркало, примостившееся в одном из углов беседки, с зеркала на высокую этажерку, уставленную книгами подозрительно девственной свежести. Можно было догадаться, что избрали они своим местопребыванием такое не подходящее для них помещение, как беседка, для того только, чтобы авторитетно свидетельствовать о высоких культурных запросах хозяина.

Когда Кадыров заметил приближавшуюся к беседке молодую хозяйку, он еле сдержал вздох облегчения: в разглагольствованиях Султанова Кадыров не совсем разобрался, он предпочитал пищу более осязаемую. Заметив жену с блюдом, Султанов прервал свою речь и, потирая руки, воскликнул:

— Готовься, раис, сейчас к нам пожалует уважаемый товарищ плов!..

Хозяйка поставила перед ними блюдо с пловом, принесла мелко нарезанную сладкую редьку, фаянсовую чашку с сюзьмой, кислым молоком,— все сдобренное перцем, солью и душистым райхоном. Двигалась она быстро, бесшумно. Казалось, миски, чашки, тарелки возникают на ковре сами по себе, без ее содействия. Подав угощенье, она так же бесшумно скрылась, словно ее и не было...

Гость и хозяин принялись молча, сосредоточенно поглощать плов.

Ел Султанов со вкусом. Он все делал со вкусом: ел, пил, отдыхал, произносил речи, распекал по телефону и на совещаниях проштрафившихся работников,

давал указания, составлял отчеты и сводки, прогуливался по саду, сажал цветы, принимал гостей, охотился. Даже если он спорил, оправдывался или каялся, он и тогда испытывал удовольствие: со вкусом выговаривал каждое слово, любуясь собой, радуясь своему умению лепить, как пельмени, гладкие, вкусные, с острой начинкой, фразы...

Султанов любил жизнь. Вернее — себя в жизни. Ради этой нежной и самоотверженной любви он отказался от обывательского покоя, решился взвалить на себя тяжкий груз партийности и ответственности. Но и работая, он ни на минуту не забывал о себе, усердно стараясь разрешить в свою пользу острый конфликт между собой и работой. На этот счет у него тоже была своя — практическая — философия, которая при некотором упрощении сводилась к следующему: чтобы удержаться в должности, надо создавать видимость дела. Он, конечно, не исповедовал свою «теорию» открыто. Этот доверительно-откровенный монолог, который он только что произнес перед Кадыровым, был для Султанова как бы разрядкой — ему надо было выплеснуть перед надежным человеком хоть часть того, что переполняло его. Своей «теории» жизни Султанов следовал иногда даже бессознательно, побуждаемый любовью к своей особе, подчиняясь инстинкту самосохранения.

«Где бы ты ни работал, прежде всего заручись — по выбору — поддержкой лиц подчиненных и особенно лиц вышестоящих» — такова была его первая заповедь. Дилемму — быть хорошим работником или только считаться таковым — Султанов без раздумий решил в пользу последнего, ибо быть — несравненно трудней, чем считаться... Какой для тебя толк, если ты стараешься, а твоих стараний не замечают, если ты честный, а тебе не все верят, если ты настоящий коммунист, а прозябаешь на низовой работе? За уважение, за доверие можно, конечно, бороться, все это можно завоевать, но можно и приобрести. Верный путь к этому — отчет, доклад, совещание. Все это весомо, заметно и дается Султанову легко, а результат поразительный: он все время у всех на виду, все видят его работу! Ну съездил бы он в колхозы... Со сколькими колхозниками можно поговорить за день? С десятью — пятнадцатью? А на совещании его слушают сразу десятки,

сотни людей, и все ему аплодируют, и каждое его слово стенографируется! Вот это — вещественное, наглядное, зафиксированное доказательство неутомимой его деятельности на благо района!

Джурабаев порой поучает его: «Вникайте в каждую мелочь, будьте внимательны к каждому посетителю». Но кто будет знать об этой его внимательности, кроме самого посетителя? И может ли он, при своей должности, тратить время на мелочи? В обкоме, в облсовете видят султановские сводки, отчеты, протоколы, а не приемную Султанова, где он ублажал бы жалобщиков. Джурабаев — тот «вникает в мелочи», а вот отчетность у него бывает порой запущена, он часто ввязывается в безрассудный спор с обкомовскими работниками, и Абдуллаев недовольно морщится, когда речь заходит о Джурабаеве. Вот у кого можно поучиться ведению дел — у товарища Абдуллаева! Когда однажды срочно понадобилось представить отчет о ходе уборки хлопка, Абдуллаев сел в самолет и с воздуха оглядел все поля области, за какой-нибудь час охватил своим вниманием весь фронт работ. Вот это размах! Первый секретарь подивился оперативности своего соратника, но, кажется, так ни о чем и не догадался... А Султанов знает об этом. Они с Абдуллаевым давно нашли общий язык. Это Абдуллаев предложил и отстоял кандидатуру Султанова в председатели райисполкома.

Конечно, о работе председателя райисполкома судят не только по отчетам и докладам, а в первую голову по конкретному положению в районе. Но дела у него в районе идут в общем неплохо: стараются же колхозники! Да и райком не дремлет До сих пор в смысле хозяйственного руководства районом райком многое брал на себя, и это вполне устраивало Султанова. Ему очень не нравились разговоры о расширении прав местных Советов. Он и так проявлял немало инициативы, когда приходилось в сводках сглаживать острые углы. Расширение прав грозило повышением ответственности, а об ответственности все-таки приятней было рассуждать, чем нести ее. Этак и должность председателя райисполкома могла потерять свою привлекательность.

Но пока она была Султанову по душе, и, оберегая ее от посягательств со стороны, он сумел добиться того, что и в районе и в области о нем говорили как о заправ-

ском ораторе (а это ведь ценится в руководителях), как о человеке крайне загруженном. Если не все могли воочию убедиться, сколь он загружен, то, во всяком случае, все знали об этом. Абдуллаев к тому же всегда подчеркивал, что Султанов очень исполнительный работник...

Султанов и не заметил, как блюдо с пловом опустело до дна, до выведенной на дне фамилии хозяина. Весело взглянув на тяжело отдувавшегося Кадырова, он предложил:

— Повторим, раис? Плов-то — пальчики оближешь.

Кадыров устало отвалился на подушки, подставил побагровевшее лицо легкому ветерку, насквозь продувавшему беседку...

— Погоди, товарищ Султанов... Дай отдышаться.

— А мы не спеша, полегоньку...

— Погоди. Я ведь не обедать приехал. У меня к тебе разговор.

— Вот за пловом и потолкуем... Или... Нет, давай уж сначала с делами покончим. Выкладывай, что там у тебя?

— Недовольны у нас в колхозе председателем сельсовета.

— Умурзаковой? — Султанов усмехнулся и стукнул себя кулаком по шее.— Вот где она у меня сидит, ваша Умурзакова!.. Ну-ну?

— Много она о себе возомнила, вот что,— мрачно продолжал Кадыров.— Распоряжается в колхозе, как дома... И не видит ничего, кроме своей целины.

— Упрямый фанатизм,— определил Султанов.

— Вот-вот! Только и слышишь от нее: целина да целина! А эта целина уже все соки из колхоза высосала! Мы так план можем сорвать!

— Вот как?

— И сорвем! Буря нас так приласкала, что до сих пор не можем опомниться. Тут уже не до целины!..

— Верно, раис. Надо было весь народ мобилизовать на борьбу с последствиями бури.

— Я и мобилизовал. Да мне же за это влетело.

— От Умурзаковой?

— От нее и от Джурабаева.

— Так... Ну-ну?

— Чтобы спасти хлопок, я снял людей со строительства поселка, отозвал с целины. В общем, принял реши-

тельные меры. Умурзакова накинулась на меня, как коршун! Ты, говорит, не веришь в народ. У народа, мол, хватит сил и целину поднять и хлопок выходить!..

— Демагогия.

— Ясно, демагогия! Только мне-то от этого не легче. Умурзакова добилась-таки того, что все осталось по-старому: на полях людей не хватает, а мы развлекаемся тем, что поселок строим.

Султанов слушал Кадырова, а сам подыскивал формулировку, под которую можно было бы подвести действия Умурзаковой. Формулировки успокаивали Султанова, он верил в их силу и знал, что иная формулировка эффективней длинной цепи доказательств и обоснований: навесишь на человека ярлык, и уже не тебе, а ему приходится что-то доказывать.

— Так, так... А знаешь, раис, как это называется? Самоуправством! Умурзакова возомнила себя этаким маленьким диктатором: что ей взбредет в голову, то и хорошо! А с остальными можно не считаться. Вспомни-ка, как началась эта затея с целиной. Умурзакова даже со мной не посчиталась, хотя подчинена непосредственно именно мне. Как я советовал ей еще раз все обдумать, не спешить, а она помчалась со своим планом к Джурабаеву! Решила через голову действовать! А что получилось? Райком принял постановление — хоть я и предупреждал на бюро, что авантюристические прожекты Умурзаковой идут вразрез с указаниями партии,— а выполнять его поручил нам, райисполкомовцам, председателям колхозов! Это тоже штучки Умурзаковой! Она больше всех шумит; послушать ее — так получается, что у местных Советов мало своих хлопот, подбавьте, мол, еще. Вот райком и поделил с нами эту обузу... М-да... Так, говоришь, сумела она настоять на своем? — Султанов потянулся, раскинув руки, зевнул сладко и бросил с насмешливым небрежением: — Растяпы вы все, раис... Растяпы! С девчонкой сладить не можете.

— Так ведь она всем головы задурила! Народ тоже словно взбесился: вынь да положь ему целину!

— Ну народ у нас такой, ему только дай пошуметь. Народ любит сказки. В сказках-то все богатыри!.. Ты лучше вот что скажи: неужели нет у тебя в колхозе трезвых, рассудительных людей?

Кадыров посмотрел на Султанова с удивлением: тот словно догадался, с чем пожаловал к нему неурочный гость. Мысли у них, выходит, сродни друг другу... А раз так, то стесняться нечего. И Кадыров решительно отрубил:

— Эти люди и послали меня к тебе, товарищ Султанов. Допекли нас наши «активисты», лопнуло наше терпение! Не знаешь, что делать — то ли колхоз поднимать, то ли с Умурзаковой сражаться. Эти споры только от работы отвлекают. Вот мы и решили...

— Кто это «мы»?

— Не бойся, товарищ Султанов, люди все достойные. Они и посоветовали пропечатать про все махинации Умурзаковой в районной газете. А потом, может, в областной. Я вот письмо привез... Заметку, так сказать...

Кадыров расстегнул карман гимнастерки, достал аккуратно сложенный лист бумаги, протянул Султанову.

— Ого! — оживился Султанов.— Вы уж, оказывается, обо всем позаботились! Кто писал?

— Писали-то все... А подписались Назакатхон, наш правленческий работник, и Молла-Сулейман, бригадир. Его участок как раз больше всех пострадал от бури. Пропал там хлопок!

— Пропал, говоришь! Вот и отлич... — Но тут Султанов осекся и принял печальный, сожалеющий вид.— Жаль, очень жаль. За это кое-кому здорово может нагореть.

— Еще бы!..

— Так,— сказал Султанов.— Значит, один из авторов этого письма работает в колхозном правлении, другой — пострадавший бригадир. Что ж, это неплохо. Они-то в курсе всех дел, им должны поверить!

И Кадыров опять удивился: на этот раз тому, как точно совпали соображения Султанова и Аликула.

А Султанов продолжал размышлять вслух:

— Отец Назакатхон тоже показал себя с самой лучшей стороны. Прекрасный работник! Гм... А знаешь, раис, неплохая идея. Клянусь аллахом, неплохая! Жаль даже, что не мне пришла в голову. Как же это мы про прессу забыли? Вот теперь мы эту вашу Умурзакову за ушко да на солнышко! Обожди, я сейчас...

Султанов, живо поднявшись, шагнул к телефону, который укреплен был на одном из столбов, подпиравших крышу беседки.

— Мне редакцию. Вы что, оглохли? С редакцией меня соедините. Это Султанов говорит. Вот то-то... Редакция? Позовите-ка Юсуфия... Салам алейкум, дорогой! Ну да, а то кто же? Ха-ха... Слушай-ка, ты ко мне можешь ненадолго забежать? Вот и ладно. Что? Да так, темка есть интересная!.. Ха-ха!.. Подарю, если будешь себя хорошо вести! И скоренько-скоренько, а то у нас плов стынет.

Когда Султанов вернулся на место, Кадыров, кивнув на письмо, белевшее на подушке, напомнил:

— Ты бы прочел, что мы там нацарапали...

— Сейчас, сейчас, председатель, всему свое время.

Султанов не спеша водрузил на нос очки в светлой роговой оправе, поднес к самым глазам письмо, привезенное Кадыровым, и углубился в чтение. Читал он тоже со вкусом, смакуя каждую строчку, подчеркнуто выражая свое отношение и к тем местам, которые ему нравились, и к тем, которые вызывали сомнение. То он недовольно сдвигал черные как уголь брови, то заливался одобрительным, победным смешком, то восклицал, восхищенно причмокивая: «Ай, молодцы! Круто завернули!» Дочитав письмо, он с минуту размышлял о чем-то, зло прищурив глаза, а потом пригрозил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, погоди... Это тебе так не пройдет! — Но тут же встрепенулся, сверкнул улыбкой и весело посетовал: — Что-то не торопится этот титан газетной мысли! А сказал: одна нога здесь — другая там. Ноги-то у него — знаешь, раис? — словно ходули!

Юсуфий, однако, явился вовремя — как раз к той минуте, когда блюдо снова наполнилось пловом.

Газетчик казался каким-то червеобразным... Он был длинный, тонкий, как червь, скучный и серый, как червь. Глаза его ничего не выражали, да к тому же их надежно прикрывали толстые стекла очков. Лицо у Юсуфия узкое, очки огромные, и потому через стекла видны не столько глаза, сколько приплюснутые к черепу уши. Тонкие, бескровные губы, казалось, не знали, что такое улыбка. Волосы, щетинившиеся ровным ежиком, были какого-то серого, пыльного цвета... Старенький серый пиджак болтался на Юсуфии, как на вешал-

ке; просторные брезентовые сапоги были слишком свободными для его длинных, тощих ног, казалось, что нога в сапоге толклась, как бревно в маслобойке [1]. Трудно угадать возраст Юсуфия, но еще труднее — его склонности и совсем невозможно — чувства и мысли. Эта бесцветность, невыразительность, неопределенность его облика пугали собеседника.

Держался Юсуфий при высоком начальстве не совсем независимо, но и без угодничества. Обменявшись вялым рукопожатием сначала с Султановым, а потом с Кадыровым, он уселся на одеяле так ловко, что нескладные его ноги никому не мешали. Отпустив дежурную шутку о теще, у которой он, видно, любимый зятек, Юсуфий бесцеремонно накинулся на плов. Ел он жадно и много, по подбородку стекал жир, но он не вытирал его, и жир капал на засаленные пиджачные лацканы.

Султанов хотя и чувствовал над ним свою власть, однако, желая задобрить газетчика, разговор начал с шутливых похвал, адресованных «титану газетной мысли».

— Ты не смотри, раис, на его скромность!.. Он недаром подписывает свои фельетоны грозным псевдонимом: Уткыр [2]. На кончике его пера — яд! — И он добавил с усмешкой: — А?.. Ведь наповал убиваешь? Верно? Я и сам, грешным делом, его побаиваюсь... Ха-ха...

По тонким губам газетчика скользнула тень усмешки. Откровенно говоря, он был очень польщен тем, что Султанов принял его как почетного гостя, но не выдал своей радости.

Беседа постепенно оживлялась. Султанов сообщил гостям, что им получен долгосрочный прогноз, обещающий наступление погожих дней, просмаковал несколько пикантных историй из частной жизни ответственных товарищей, которые покровительствовали ему на том или ином этапе его плодотворной деятельности. Кадыров с подъемом поведал, как под его неусыпным руководством боролись колхозники с недавней бурей. Даже Юсуфий рассказал о нескольких читательских письмах, из которых он, Юсуфий, сделал «конфетку».

---

[1] Маслобойка представляет собой пень с выдолбленным отверстием, в котором ходит бревно, отжимая растительное масло.

[2] Уткыр — по-узбекски «острый».

Анекдоты сменялись забавными историями, хвастливые рассказы — взаимными восхвалениями...

И только об одном не говорили собеседники: о письме, из-за которого приехал Кадыров и был вызван Юсуфий. Газетчик ни о чем не расспрашивал Султанова. Он понимал: зря Султанов не вызвал бы его. Раз пригласил, значит, поручение серьезное, значит, надо это поручение выполнить. Такой обед стоил того, чтобы потрудиться во славу хозяина. Кадыров тоже помалкивал, целиком положившись на Султанова; он чувствовал себя перед Султановым кроткой, неопытной овечкой. У хозяина с гостями установилось молчаливое взаимопонимание...

В конце пиршества Султанов, будто вспомнив о чем-то незначительном, небрежным жестом передал Юсуфию кадыровское письмо:

— Вот, дорогой, ознакомься.

Юсуфий «по диагонали» пробежал глазами письмо, взглянул на подписи, хмыкнул неопределенно:

— Хм... Две подписи?..

— Что-нибудь не так? — с беспокойством спросил Кадыров.

— Да нет... Письмо звучит убедительно. Но две подписи... Маловато! Хм... А что, если я состряпаю из этого статейку?

— Делай как лучше, дорогой,— лениво отозвался Султанов.— Поезжай в колхоз. Поговори с людьми. Там есть товарищи, заслуживающие доверия. Аликул, например, председатель совета урожайности. Еще... м-м...

— Можно с Муратали побеседовать,— подсказал Кадыров.

— Да, поговори с Муратали. А кто это?

— Один из лучших наших бригадиров. Крепко обижен на Умурзакову. Не хочет перебираться в новый поселок.

— Что ж, подходяще...— протянул Султанов. И, обращаясь к Юсуфию, нетерпеливо воскликнул: — В общем, незачем тебя учить! Ученого учить — только портить. Сам во всем разберешься. Кадыров тебе поможет. А покончим с этим делом — съездим все вместе на охоту. Много в степи джейранов, раис?

— Еще ни один охотник не возвратился без добычи! Джейраны сами под выстрел лезут.

— Вот и отлично! Поохотимся... А пока, друзья,

предлагаю соснуть часок-другой... Мне ведь вечером работать...

Предложение было принято единогласно.

Вечером, провожая Кадырова, Султанов положил ему на плечо руку и хвастливо сказал:

— Видишь, как все устраивается? Пока я жив, можешь ни о чем не беспокоиться. Все будет в порядке!

У Кадырова опять заскребли на душе кошки. Он вздохнул:

— Ладное ли мы задумали?

— Э, дружок, ты что же, сам заварил кашу и в кусты? Не-ет, так не пойдет... Отступать поздно. И запомни, дорогой: в белых перчатках не воюют...

● ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

МИХРИ И КЕРИМ

В один из летних воскресных вечеров в Алтынсае должен был состояться концерт с участием артистов из Ташкента.

Молодежь Алтынсая потеряла покой: шутка ли, артисты из самой столицы! Многих алтынсайцы слышали по радио, но видеть их у себя в колхозе им еще не доводилось. Хотя написанные от руки афиши оповещали о дне концерта, но парням и девушкам, видно, не терпелось, и, улучив свободную минутку, они спешили к Алимджану, Кериму или Айкиз с одним и тем же вопросом: не прибыли ли артисты? Айкиз терпеливо объясняла, что до концерта осталось столько-то дней и об этом ясно объявлено в афишах. Когда к ней в сельсовет заглянул Алимджан, она устало пожаловалась:

— Видишь, парторг, концерт для наших дехкан — целое событие!.. Не слишком-то, видно, мы их балуем.

— Разве мы виноваты? Так уж повелось: прославленные артисты выступают в колхозах поименитей...— Алимджан усмехнулся.— Будто дехканам, чьи колхозы еще не отличились, песня и танец не так дороги, как передовикам. Смешно... Искусство мы порой превращаем в премию за трудовые успехи. А ведь это как хлеб, в этом все нуждаются!

Айкиз положила руку на плечо мужа:

— Верно, верно, милый... Песня, танец, пьеса — это такая радость для людей!! Вот отец... Он в эти дни мес-

та себе не находит: все ждет артистов.— Она задумалась.— А ты не заметил, он за последнее время похудел, осунулся...

— Работы много, Айкиз. Сейчас у всех много работы.

Айкиз помолчала, потом как-то неуверенно и грустно, то ли упрекая, то ли спрашивая, промолвила:

— Наверно, из-за этого мы с тобой так редко бываем вместе...

Алимджан чуть нахмурился:

— Не нам жаловаться, Айкиз. Мы по доброй воле приняли на себя заботу о многих людях и не должны сетовать, что все время, до последней минуты, заполнено у нас работой.

— Может, ты и прав...— тихо отозвалась Айкиз.

В день концерта кишлак принарядился. На центральной площади, перед памятником Ленину, вырос дощатый помост; решено было провести концерт под открытым небом. Комсомольцы всю площадь заставили скамейками, вытащенными из клуба. Дул легкий горный ветерок, трепетала листва тополей, обступивших площадь, и казалось — кроны деревьев подернулись рябью...

Колхозники трудились в этот день особенно споро — хотелось пораньше управиться. Девушки перекликались звонкими голосами, парни подгоняли друг друга хлесткими шутками...

Лишь Михри была печальна и озабочена, а с приближением вечера ее беспокойство возросло. Тоскливо посматривала она на свои запыленные поношенные сапожки, на простенькое старое платье, вылинявшее на солнце. Ей бы сейчас домой, в Катартал: умыться, заплести волосы в мелкие косички, надеть синее, в белый горошек платье, которое так нравится Кериму. Но до Катартала далеко, и нет крыльев, чтобы долететь туда, и нет машины, чтобы доехать. Был бы поблизости Погодин — она уговорила бы его отвезти ее домой на мотоцикле. Но Погодин на целине и катает теперь на своем «вороном», как он ласково называет мотоцикл, только Лолу. А Керим мотоциклом не обзавелся, да с Керимом отец ее и не отпустил бы.

Михри взглянула искоса на отца, сдвинула брови. Брови у нее широкие к переносице, узкие у висков. Когда она хмурится, широкие их концы сливаются в

темное пушистое пятнышко. Сегодня это пятнышко на переносице появлялось особенно часто...

Мураталн, как нарочно, не спешил с поля. На соседних участках уже не осталось ни души, своих колхозников Муратали тоже отправил по домам приодеться. В поле остались только он да Михри. Идти сейчас в Катартал было поздно. Муратали видел, что дочь недовольна, и понимал ее: неудобно девушке явиться на такой вечер в будничном наряде. Но старику трудно было признать правоту дочери, и он упрямо доказывал себе: ничего, рабочая одежда — почетная одежда, и на вечере будут все свои люди, такие же труженики, как он и Михри. Все знают, как далеко им до дома. В горячую пору им и ночевать-то приходится в Алтынсае, на полевом стане или у родных. Так было в бурю, так было в первые дни после бури. Муратали за это время не успевал даже поливать свое урюковое дерево, а стоял зной, дерево могло зачахнуть. Надо завтра полить его... Завтра?.. Выходит, после концерта ему и Михри опять предстоит долгая ночная прогулка? Ничего, ноги у них крепкие, а короткий сон — самый сладкий.

Муратали взглянул на солнце, стоявшее над самыми горами. В кишлаке делать еще нечего. Михри, чтобы не терять времени даром, рыхлила землю, окучивала хлопок. Сам же он решил, прежде чем отправиться в Алтынсай, проверить, надежно ли закрыты выходы из главного арыка.

Он выпрямился и позвал дочь:

— Михри!

Михри сделала вид, что не слышит.

— Михри! Дочка!..

Михри, не подняв головы, быстрей, усердней заработала кетменем.

Муратали укоризненно покачал головой. Ай, дочка!.. Даже разговаривать не желает. В кого она уродилась такой упрямой?

Он вздохнул и направился к арыку, а потом вдоль арыка к главному каналу. Вскоре он скрылся за невысоким холмом...

Михри продолжала окучивать хлопок. Но теперь она взмахивала кетменем все реже и реже. После каждого взмаха с тоскливым нетерпением поглядывала то на дорогу, то в сторону участка, где еще недавно работал со своей бригадой Керим. Сейчас Керим, наверно,

уже в кишлаке... Если бы не отец, он бы непременно зашел за Михри. Но отец, когда видит Керима, ощетинивается, словно еж. И отчего он так не любит Керима? Не считает ли, что это Керим уговорил ее переселиться на целину? Но это неправда! Ей самой надоело жить вдали от кишлака. Сколько у нее из-за этого лишних хлопот и огорчений! Вот и сегодня... Но лучше уж не думать об этом! Или, может быть, отцу не по душе, что они с Керимом не скрывают своей любви? В старину судьба девушки не зависела от нее самой. Все делалось по слову старших: на кого они укажут, тот и жених. Вольную любовь воспевали только поэты, а простые люди, отравленные ядом темных обычаев, зорко оберегали своих детей от греховных помыслов. И любовь по кишлакам цвела, словно дикий цветок: и зной ее палил, и секли колючие ветры, и сухой снежок обжигал трепетно-нежные лепестки. Встречались любящие тайком, расставались не по своей воле... Сейчас иная жизнь, но старым людям трудно отречься от старых обычаев. Вот и Мураталии: трудится по-новому, а жить хочет по старинке. Он, конечно, не выдаст Михри замуж за нелюбимого, он дорожит счастьем дочери. Но и на любовь она не имеет права, пока отец не освятит эту любовь своим согласием. Выходит, сначала нужно договориться о любви, поставить в известность родителей и только потом любить, да и то скрывая это от всех. У отца, верно, просто не было такой любви, как у нее и Керима. Потому он и осуждает их. Он не понимает, что любовь для них как рассвет, постепенно наливающийся сиянием солнца. А рассвет нельзя подчинить никаким обычаям.

Прознав о ее встречах с Керимом, отец сказал: «Смотри, дочь, осрамишь ты меня на весь кишлак». Но разве любить позорно? Ведь за невест теперь не дают и не берут калыма, парень и девушка за любовь платят друг другу любовью. Придет время, Михри и Керим сами явятся к Муратали, попросят его благословить их на долгую дружную жизнь. Но, может быть, как раз этого-то отец и боится? Боится, что Михри уйдет к Кериму, а он останется один? Он любит Михри. Как говорится в пословице, она для него и белок и зрачок. Кроме дочери, у старого Муратали никого нет.

Михри перестала рыхлить землю, устремила вдаль задумчивый, рассеянный взгляд. Вздохнула, словно

всхлипнула. Вдруг ей стало жаль отца... Он добрый, хороший, ему сейчас не легче, чем ей. Старику суждено расстаться с родным очагом, а тут еще и дочь собирается его покинуть. Но ведь его опасения напрасны. Если даже Михри и выйдет замуж за Керима — а это еще неизвестно, она ему ничего пока не обещала,— замужество не разлучит ее с отцом. Она и Керим возьмут Мураттали к себе. Он будет жить вместе с ними в новом поселке. Только согласится ли он на это? Он добрый, хороший, но и упрям за троих! Вот он ушел, и ему дела нет до забот и огорчений Михри! Он старик, ему не стыдно прийти на вечер в старом халате. А каково ей, молодой девушке? Ее подруги нарядятся в красивые праздничные платья, а она из-за отцовского упрямства будет среди них как куст полыни среди ярких цветов!

Р-раз!.. И Михри, взмахнув кетменем, с яростной силой вонзила его в землю. Р-раз, р-раз!.. Она чувствовала себя такой несчастной, что только работа могла утешить ее и успокоить. Р-раз, р-раз!..

А дальше все случилось как в сказке. До Михри донеслось прерывистое тарахтенье мотоцикла. Треск мотора становился громче. Но вот он оборвался, и Михри услышала знакомый голос:

— Михри! Едем!..

Михри бросила на землю кетмень и стремглав кинулась к дороге. В седле мотоцикла, упираясь ногами в землю, важно восседал Керим. Он, видно, тоже не успел переодеться: на нем был обычный светло-желтый костюм из каламянки, ферганская тюбетейка с порыжевшими от времени узорами и видавшие виды сапоги. За озабоченностью, написанной на его лице, угадывалась неудержимая мальчишеская радость и гордость.

— Садись, Михри! Едем!

— Куда?

— Как куда? В Катартал! Я, когда уходил с участка, видел, ты еще в поле. А тебе надо принарядиться.

— Спасибо, Керим... А откуда у тебя мотоцикл?

— Я забежал к эмтээсовцам, выпросил у Ивана-ака. Он сегодня может обойтись и без «вороного». А для нас с тобой,— Керим с шутливой многозначительностью поднял палец,— это вопрос жизни и смерти!

— Ой, спасибо, Керим! Еще раз спасибо!

Керим печально вздохнул:

— Значит, только за спасибо я и старался?

— А тебе мало моей благодарности?

— Я комсомолец и не должен успокаиваться на достигнутом!

Михри, с опаской оглядевшись, наклонилась к Кериму, поцеловала его в щеку и, зардевшись, отпрянула в сторону. Керим тоже покраснел, но он был мужчиной, а мужчине не подобало теряться ни при каких обстоятельствах. И Керим дерзко промолвил:

— Я мчался к тебе, как ветер, Михри! Я заслужил бо́льшую награду!

Михри отступила еще на шаг и, смеясь, ответила:

— Ты комсомолец, Керим, и должен знать, что нельзя жить былыми заслугами!

— Михри!..

— Подожди меня, Керим, я захвачу кетмень.

Не успела Михри добежать до грядки, у которой она оставила кетмень, как из-за холма показался Муратали. Михри остановилась в нерешительности, оглянулась на дорогу, снова посмотрела в сторону холма... Если она дождется отца, нечего и думать о поездке в Катартал. А поедет без его разрешения — не миновать отцовского гнева. Что же делать?..

Муратали помахал дочери рукой. Михри не двигалась. Но вот она рванулась вперед, подняла с земли кетмень и тут же побежала обратно. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она уселась, не говоря ни слова, на мотоцикл позади Керима и поторопила:

— Едем скорей!..

Керим обернулся, лицо у него было растерянное:

— А как же Муратали-амаки? Он рассердится и на тебя и на меня.

Брови Михри упрямо сошлись в темное пушистое пятнышко:

— Едем, Керим! Отец сам виноват. Он не хочет жить, как все люди!.. Он не хочет понять меня! Едем же, едем, Керим!

Керим приложил ладонь рупором ко рту и крикнул:

— Э-эй, Муратали-амаки... Мы в Катартал съездим! Скоро вернемся!..

Ни Керим, ни Михри с дороги не видели, как потемнело лицо Муратали, каким гневным блеском вспыхнул его непрощающий взгляд...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПРЯМАЯ ДУША

Утро следующего дня было ясное, тихое. Природа, словно спеша загладить недавнюю вину, расщедрилась: она подарила людям безоблачное небо, спокойное сияние солнца, освежающий ветерок...

Но Мураталн ничто сегодня не радовало — ни ветер, ни солнце. С лица не сходила мрачная тень, он часто задумывался. На Михри он старался не смотреть. Михри тоже не поднимала виноватого взгляда. Весь вчерашний вечер, все сегодняшнее утро отец и дочь не разговаривали. Молча, хотя и рядом, сидели они на концерте; молча шли домой; ни словом не перемолвившись, пришли на работу.

И сейчас молчали.

Муратали ни к кому не придирался, но все были какими-то подавленными: бригаде, видно, передалось настроение бригадира.

Муратали отличался крутым и упрямом нравом, и дехкане его побаивались. Побаивались и любили: крутоват он, но справедлив и честен. Он не лебезил перед сильными, не отыгрывался на слабых, у него была открытая, прямая душа, и, если что-нибудь возмущало его, он резал правду в глаза, без оглядки и без опаски. В бригаде он никого не выделял, был со всеми строг, требователен, не давал поблажек лодырям и даже Гафуру, которого считал приятелем, не прощал нерадивости. Но, спрашивая с других, Муратали не щадил и себя, трудился не за страх, а за совесть. Искусный хлопкороб, он знал и самозабвенно любил свое дело, и вся бригада любовалась старым умельцем, когда он показывал кому-нибудь, как надо ухаживать за хлопком.

Недолюбливал бригадира только Гафур, но он умел скрывать свои чувства и мысли...

И теперь лицо Гафура, как и лица остальных дехкан, выражало озабоченное сочувствие, а в глубине души он откровенно злорадствовал: «Что, бригадир, не сладко приходится? Поделом тебе, старый придира!»

Муратали обошел все звенья, взыскательно проверил работу хлопкоробов и двинулся к полевому стану: там находился учетчик, с которым надо было поговорить. Старик шел и все спорил, спорил с самим собой... Сердце его винило дочь, а разум — оправдывал. Серд-

це оправдывало все его решения и поступки, а разум не одобрял.

Не доходя до стана, Мураттали остановился, и взгляд его невольно устремился в ту сторону, где рождался новый поселок. Он не хотел смотреть на поселок. Поселок не должен был интересовать старого Мураттали. Но лицо его все-таки оказалось обращенным к новому кишлаку.

Мураттали мысленно не мог не похвалить строителей. Споро работают! Еще недавно в степи белела одинокая палатка, и Мураттали помнит день, когда возле нее появился высокий, кряжистый, как дуб, Уста Хазраткул. Теперь палатки нет. Там, где она когда-то стояла, выстроились новорожденные домики — ровненько, аккуратными рядами, словно пионеры на своих сборах, куда часто приглашали и Мураттали порассказать новому поколению о тягостном прошлом. Даже отсюда видно, как приглядны эти дома: добротные стены, шиферные крыши, большие окна. В комнатах, должно быть, светло, как на улице, а зимний студеный ветер не отыщет ни щелочки, чтобы пробраться в теплое жилье. И от полов не дует, полы деревянные, их не надо устилать соломой. А домишко в Катартале вот-вот развалится... Летом в нем темно, а зимой холодно, ледяные вьюжные струи проворными змеями ползут в комнату из-под двери, из крохотных окон, из щелей в одряхлевшей крыше. Одно спасение — сандал. Надо бы сладить новый дом... Но он, Мураттали, и старый-то домишко не променяет на весь этот степной кишлак! Дочку, понятно, тянет сюда. А Мураттали привык к горам, он горный житель, он, словно вековое дерево, ушел корнями в катартальскую землю. Для него в Катартале все родное: каждый камень, каждая ветка, каждая трещинка в прокаленной солнцем земле; там все напоминает ему о пережитых горестях и радостях, о близких, которых он потерял... Жизнь в Катартале течет, не меняя своего русла, годы же у него такие, что поздно отказываться от привычного покоя. Мураттали кажется: проснется он однажды, не увидит над собой зеленых ветвей урюка, и тогда случится беда... Он вот смотрит на новый кишлак, а перед глазами у него — урюковое дерево, краса и гордость Катартала, дерево, выхоженное самим Мураттали, хранящее частичку его души. Михри этого не понять: молода, легкодумна. И Айкиз не понимает

старого Мураталли. У них свой мир, у него — свой. И уж лучше бы отстали они от него, позволили бы ему дожить стариковский век тихо и беззаботно. Нет, все хотят думать не только за себя, но и за него, будто жизнь не одарила его собственной мудростью. Керим и тот, вместо того чтобы принять его сторону и заслужить этим снисходительность будущего тестя, тоже при случае его агитирует. Это он сбил с толку Михри, это он настраивает ее против родного отца! Вчера вот увез ее в Катартал; стыда у него нет! Молодежь нынче ни с кем не считается. Сами себе хозяева! Что хотят, то и творят. Много воли им дали, ой, много им дали воли...

Но не успел Мураталли подсчитать все грехи нынешней молодежи и в особенности Керима, как за плечом его вырос... сам Керим! Старик, занятый своими невеселыми мыслями, и не заметил, как тот подошел.

— Мураталли-амаки, я к вам...

Мураталли строго взглянул на юношу и ничего не ответил.

— Мураталли-амаки, мне надо поговорить с вами.

— Что тебе? — неприветливо буркнул Мураталли.

Керим покраснел, замялся... Больше всего ему хотелось сейчас или уйти, или провалиться сквозь землю. Но он был мужчина, а мужчине не подобало останавливаться на полпути. Он пришел к старому бригадиру с важным разговором, и следовало перебороть смущение, довести дело до конца.

— Вы не сердитесь на нас за вчерашнее, Мураталли-амаки. Михри не успела бы переодеться... Я же кричал вам!

— Ты бросил работу лишь для того, чтобы повиниться перед брюзгливым стариком? Это можно было сделать в другое время. А можно было вовсе не делать... Кувшин уже разбит, поздно теперь каяться!

— Мураталли-амаки! Я не только за этим... Я пришел поучиться у вас, посоветоваться... Ведь мы соседи, и оба — бригадиры. Верно, Мураталли-амаки?

— Это ты ловко подметил, проницательный юноша,— без улыбки сказал Мураталли.

Но Керим пропустил насмешку мимо ушей и так же сбивчиво продолжал:

— И потом... У нас на участке хлопок уже дал бутоны! Знаете, как мы этого добились, Мураталли-амаки?

Произвели подкормку одновременно с первой обработкой.

— Та-ак...— протянул Мураталли, недобро прищурившись.— Ты, значит, пришел учить меня?

— Что вы, Муратали-амаки! Я просто хотел сказать, что это очень выгодно.

— Вот и держал бы свои секреты при себе! Не суй свой нос куда не следует!

Керим не догадался, что Муратали сказал это только от злости и раздражения, и всерьез принялся растолковывать ему пользу обмена трудовым опытом:

— Как же так, Муратали-амаки!.. Мы должны помогать друг другу. Я расскажу вам о способе, который применила наша бригада, а вы воспользуетесь нашим опытом и обгоните нас. Вы же лучший хлопкороб в колхозе! А глядя на вас, и мне захочется подтянуться. Так мы и будем равняться друг на друга, а колхоз будет богатеть. Трудно плыть без маяка, Муратали-амаки. А ведь сам себе маяком не послужишь.

Муратали слушал Керима молча, а в душе закипала слепая, упрямая ярость. Его раздражали и мальчишеская пылкость Керима, и его мальчишески поучительный тон. Парень, конечно, дело говорит... Но Муратали не позволит этому желторотому птенцу учить себя! Какой прыткий! Завел шашни с дочерью, а старика отца наставляет, как надо жить и работать. Муратали сам как-нибудь во всем разберется! Обходился до сих пор без молокососов-учителей, обойдется и впредь!..

Сдвинув жесткие, как щетина, брови, Муратали, еле сдерживая гнев, резко сказал:

— Послушай, уважаемый комсомольский бригадир, я старше тебя, я в сто раз больше тебя износил рубах! Когда я впервые взял в руки кетмень, тебя и на свете не было. А теленку, как говорит пословица, дальше хлева не уйти! Не тебе, щенку, учить старого Муратали! Я и прежним способом выращу хлопка больше, чем ты новым. Возвращайся на свой участок, бригадир. Не заставляй бригаду ждать себя.

Неожиданно в разговор вмешалась Михри. Она работала неподалеку и слышала весь спор отца с Керимом. Выпрямившись и повернувшись к Муратали, девушка выкрикнула напряженным, полным слез голосом:

— За что вы с ним так, отец? Что он сделал вам? Он же с добром к вам пришел!..

— Помолчи, дочь! — прикрикнул на нее вконец разъяренный Мураталн.— У меня и без того хватает советчиков! Ну, что ты стоишь, бригадир? Я сказал — ты слышал.

Но Керим был не из тех, кто унывает. Прежде чем уйти, он остановил долгий взгляд на Михри, но не в поисках поддержки, а чтобы ободрить ее этим взглядом: «Держись, Михри! Не падай духом! Я отступаю, но не сдаюсь». Так же безмолвно Михри ответила ему легким кивком: «Не волнуйся за меня, Керим. Отец упрям, но неизвестно, кто кого переупрямит. Мое-то звено последует примеру твоей бригады. И все будет так, как мы решим!»

Муратали, даже не попрощавшись с Керимом, зашагал на полевой стан. Тут его нагнал незнакомый человек, длинный и тощий, в больших очках с толстыми стеклами.

— Мне сказали, что ты — бригадир Муратали,— произнес длинный и вопросительно, но без особого любопытства уставился на старого хлопкороба.

— Верно сказали... Я Муратали. А ты сам кто такой?

— Я из газеты. Из нашей, из районной газеты. Ты, верно, не раз встречал мою подпись: Юсуфий. Псевдоним — Уткыр.

Муратали задумчиво пожевал губами. Районную газету он читал редко и не знал по фамилии ни одного корреспондента.

— Псидоним Уткыр? Чудное у тебя имя, сынок... Нет, я не слышал такого имени.

Юсуфий не счел нужным объяснить старику, что «псевдоним» не имя, он даже не улыбнулся.

— Ты мне нужен на пару слов, бригадир.

— Я на работе, сынок.

— Ничего, работа подождет,— пренебрежительно бросил газетчик.— У меня дело поважнее.

— Тогда пойдем к хаузу, Псидоним,— обреченно вздохнув, предложил Муратали,— там есть скамейка.

Он отвел газетчика к хаузу; такие хаузы, в которых отстаивалась вода, имелись на каждом полевом стане.

Лицо старика по-прежнему оставалось неприветливым, хмурым. Этот длинный, строгий газетчик с при-

чудливым именем и упрятанным под очки взглядом пришелся ему не по душе, но как-никак он был человеком официальным, и Мураталн, сев рядом с ним на скамью, приготовился отвечать на его вопросы.

Юсуфий достал блокнот и сказал требовательно и сухо, словно следователь:

— Я должен задать тебе несколько вопросов. У вас, говорят, была недавно песчаная буря. Когда это было? Большой ли она причинила ущерб?

Муратали посмотрел на гостя с некоторым недоумением:

— Буря была, это верно. И бед она наделала немало. Но только это дело прошлое... Хлопок поднялся, урожай мы собираемся снять хороший. Тебя ведь это интересует, сынок?

Карандаш Юсуфия, начавший было скользить по блокноту, с разбегу остановился и повис в воздухе.

— Меня все интересует, бригадир! И прежде всего действия председателя вашего сельсовета Умурзаковой. Ведь это по ее указанию дехкане из полеводческих бригад были переброшены на целину и на строительство поселка?

Муратали насторожился. Что надо от него этому человеку с блокнотом? Почему, упомянув про Айкиз, он так пристально и испытующе взглянул на Муратали?

— Айкиз тут ни при чем, сынок... Не в ее воле давать нам такие указания. Это мы сами решили. Сами колхозники...

— И в результате этого бригады оказались ослабленными? — продолжал газетный работник.— Ведь в твоей, например, бригаде теперь наверняка не хватает людей. Так?

Муратали обвел рукой расстилающееся перед ними хлопковое поле:

— Видишь, Псидоним Уткыр? Этот хлопок вырастили люди моей бригады. Загляни через год-другой, и ты увидишь, какой хлопок вырастим мы на целине. Пиши, Псидоним Уткыр. Пиши. Я расскажу тебе о наших дехканах. О каждом из них можно написать целую книгу.

Карандаш Юсуфия оставался неподвижным...

— Может, ты хочешь, бригадир, чтобы я написал хвалебный очерк и об Умурзаковой?

— От Айкиз мы видели много добра. Ведь это она взяла нас за плечи и повернула лицом к нетронутому, бесценному кладу...

— И к новому поселку, который она строит вашими же руками, чтобы силой переселить туда жителей горных кишлаков? Скоро тебе придется справлять новоселье, бригадир!

У Муратали побелели губы.

— Ноги моей не будет в этом поселке! Никто не заставит меня покинуть землю предков. Разве есть у Умурзаковой такие права, Псидоним Уткыр?

— Кто ее знает... Я слышал, Умурзакова склонна к администрированию. И напрасно ты ее защищаешь. Совершенно напрасно. Умурзакова мягко стелет, да жестко спать... Ты, наверно, знаешь, что на участке Молла-Сулеймана хлопок уже не спасти?

— На месте нашего председателя я бы давно прогнал этого лодыря из бригадиров. Айкиз не раз ему это советовала!..

По губам Юсуфия скользнула сострадательная усмешка:

— С тобой не договоришься, бригадир... То ты бранишь Умурзакову, то хвалишь... Или ты еще не научился разбираться, кто твой друг и кто враг?

Муратали некоторое время молчал, потом поднялся и поглядел прямо в лицо газетчику. Даже стоя, он был только чуть выше сидящего Юсуфия.

— Жизнь многому научила меня, Псидоним Уткыр. Она научила меня видеть и говорить правду. Чужие наговоры и свои обиды как пыль: они могут запорошить человеку глаза. Но у меня глаза стариковские, зоркие! И я вижу лучше, чем ты через свои очки. Напиши в своей газете, Псидоним, что старый Муратали никогда не будет жить в степном кишлаке. Это ты можешь написать. А про Айкиз напиши так: она во всем советуется с народом, и народ уважает ее. Прости, сынок, но мне пора заняться делом.

Юсуфий закрыл свой блокнот.

— Я тоже тороплюсь. Ты не знаешь, где сейчас можно найти Умурзакову?

До сих пор Муратали сдерживался только из уважения к гостю. Но тут не вытерпел и твердо сказал:

— Поищи ее на целинных землях. Но помни: Умур-

закову мы в обиду не дадим. Ее обидишь — нас обидишь.

Мураталн заспешил на полевой стан. Юсуфий, проводив его сердитым взглядом, снял зачем-то очки, долго протирал их носовым платком не первой свежести, словно обдумывая очередной ход в этом увлекшем его разоблачительном деле, подсказанном самим Султановым, затем зашагал к каналу, чтобы берегом пройти к целине.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ

Айкиз пришла на полевой стан к Погодину, когда трактористы, которым предстояло работать во второй половине дня, принимали смену от намаявшихся за утро товарищей. Тракторы, оставленные в степи, выглядели без людей непривычно сиротливыми, заброшенными, словно бы лишними среди этих просторов... Земля, ждущая плуга, и тракторы, стоящие в неподвижном бездействии,— в этом было что-то противоречивое, неестественное.

Вернувшиеся с работы трактористы, шумно фыркая, умывались в арыке, подставив жгучему полуденному солнцу мускулистые, с бронзовым отливом спины. Иные, успев переодеться, уже спешили в столовую. Прежде это был длинный навес, людей защищала от пыли простая марля, но после бури столовую огородили легкими фанерными стенами.

Айкиз подробно расспросила Погодина о ходе работ, поговорила с трактористами, которые уже перепахивали занесенные песком участки и упорно продолжали надвигаться на Кызылкумы, не обошла вниманием и худенького, задорного героя-экскаваторщика, полюбившегося ей с первого знакомства. Паренек торопился к своему экскаватору. Его лицо, совсем юное, с едва пробивающимся светлым пушком, было озабоченно, пышная, круглая, как перекати-поле, копна белесых волос золотилась на солнце. «Одуванчик!» — опять ласково подумала Айкиз. Она поинтересовалась, как идут у экскаваторщика дела. Паренек, больше всего на свете боявшийся, как бы его не посчитали слишком молодым, напустил на себя важность и солидно пообещал:

— Скоро, товарищ председатель, свой участок канала я сдам. Теперь дело за вами: подавайте воду.

— А как у тебя с качеством работы? — спросил Погодин.

— Ого! — Паренек не выдержал серьезного тона, глаза его загорелись, в голосе прорвалась мальчишеская гордость.— У меня лучший экскаватор и самый красивый участок! Мой «костромич» прорыл его ровненько, как по линейке. Дно, как паркетный пол, стены глаже стекла! Посмотрите сами, товарищ Умурзакова.

— Я видела,— успокоила его Айкиз и с улыбкой добавила: — Молодчина твой «костромич»! Передай ему большое спасибо.

У Айкиз с утра крошки не было во рту. Погодин, видно, понял это и позвал ее в столовую. Они помыли руки в арычной воде и вскоре уже сидели под навесом за одним из вкопанных в землю столов.

В столовой стоял прохладный сумрак, даже не верилось, что снаружи, за фанерными щитами, жарко пышет достигшее зенита июньское солнце.

Напротив Айкиз оказался старый ее знакомый Суванкул. Отработав свою смену, он теперь с тем же богатырским энтузиазмом, с каким пахал землю, опустошал вторую чашку любимой маставы. Айкиз, покончив с маставой, в которую накрошен был суванкуловский райхон, подняла голову и сказала Суванкулу:

— Я вчера видела Бекбуту, он просил передать тебе пламенный привет. Мы, говорит, не виделись целую неделю. Это первый в истории случай...

Суванкул сокрушенно помотал головой:

— Как он там, бедный, без меня? Мы ведь с ним каждую изюминку делили надвое.

— Он спрашивал, как ты без него обходишься. «Друг мой, говорит, неповоротлив, как Коктау. Пока он натягивает сапоги, проходят весна, и лето, и осень.— Айкиз невольно улыбнулась и продолжала: — На целине у него, говорит, дело едва ли ладится. Передай ему, что я готов взять на себя его долю работы и управлюсь с ней попроворней». Вот как он сказал.

— Ай, какой замечательный человек! — Суванкул даже языком зацокал, словно не веря, что у него такой заботливый друг.— О себе может забыть, а обо мне печется, как о родном! Слушай, Айкиз, а правду ли говорят, будто во время бури Бекбуту унесло ветром ки-

лометров за тысячу? Ай-ай! Ведь кушает он столько, что слону впору, да недаром, видно, молвится: как бы ни жирел воробей, пудового веса не нагуляет.

— Вот дьяволы! — с восхищением воскликнул Погодин.— Ведь дышать друг без друга не могут, а встретятся — сцепятся, словно петухи. Ты, Суванкул, даже на расстоянии без промаха разишь Бекбуту.

— Куда ему со мной тягаться! — пренебрежительно произнес Суванкул.— Мозги у него жиром заплыли. Ты ему скажи, Айкиз, пусть не налегает так на еду.

Молвив это, Суванкул, кряхтя, вылез из-за стола и отправился за добавкой.

Айкиз, засмеявшись, взглянула на Погодина:

— Это ты, Иван Борисыч, сманил к себе Суванкула, разлучил верных друзей.

— Разлука закаляет дружбу, Айкиз! И не будем считаться, кто кого куда сманил. Не проявляй местнических настроений!

После того как состоялась его помолвка с Лолой, Погодин стал мягче, добродушней. Он по-прежнему непримиримо относился к промахам своих работников, но теперь, если случалось бранить кого-нибудь, смотрел на провинившегося с жалостливой укоризной, словно досадуя, что кто-то нарушил его душевное равновесие, заставил повысить голос, стать непохожим на того Погодина, какого любила Лола: доброго, застенчивого, упоенного своим счастьем.

Управившись с обедом, Погодин вытер носовым платком губы и, заговорщически взглянув на Айкиз, пробасил:

— А на сладкое, дорогой председатель, я приготовил тебе сюрприз... Ты еще не видала моей бахчи?

— Той, с которой ты возился перед массовым выходом? Ты мне ее показывал.

— Это были еще цветочки, Айкиз! Полюбуйся-ка на нее теперь. Всем бахчам бахча!

— Ты расхвастался, Иван Борисыч,— рассмеялась Айкиз.— Чувствую влияние нашего уважаемого раиса.

Погодин надул щеки и, подражая Кадырову, самодовольно, напыщенно произнес:

— Это моя бахча, товарищ Умурзакова! — Он ударил себя кулаком в грудь.— Я сто потов пролил, трудясь на благо своих эмтэзсовцев. Сам председатель

сельсовета одобрил в свое время мое смелое начинание!

— А вы не думаете расширить свою бахчу, товарищ Погодин? — подлаживаясь к его шутливому тону, спросила Айкиз.— Народу на целине все прибавляется, всем захочется попробовать ваших дынек

— Расширить бахчу? — изумился Погодин и, сдвинув брови, решительно отрубил: — Безумное прожектерство. Гигантомания! Сто веков назад не было даже и этой бахчи, и народ не роптал. Печенка, которая варится в котле...

— лучше курдюка, болтающегося на баране! — весело закончила Айкиз и поторопила Погодина: — Хватит, пойдем, покажи бахчу.

Миновав сборный домик, в котором размещался «штаб» тракторной бригады, и аккуратные зеленые вагончики, отвоеванные директором МТС у Смирнова, Погодин и Айкиз вышли к арыку, огибавшему полевой стан и бахчу. Невдалеке виднелись стройные ряды молодых деревьев, убранных робкой, нежной листвой. Этот маленький сад, заложенный неутомимой помощницей старого Халим-бобо, Лолой, возник возле тракторного стана недавно. Лола не зря старалась: в награду за свои труды она получила возможность чаще встречаться с Иваном Борисовичем...

Недавняя буря похозяйничала и на бахче: темно-зеленые, с чуть поднятыми краями листья дынь и арбузов потускнели от пыли, кое-где на листьях еще лежал песок. Погодин огорченно покачал головой.

— Видишь, Айкиз? И мои дыни не пощадила проклятая буря. Я, как улучу свободную минутку, бегу на бахчу, навожу здесь порядок, как хорошая хозяйка в новом доме.

В словах Погодина слышалась озабоченность, а лицо было благодушное, довольное. Иван Борисович гордился своей бахчой, он сам сажал дыни и арбузы, сам их растил, выхаживал, а буря, подбавив ему хлопот, еще сильнее привязала к бахче: ведь чем больше мучаешься над своим творением, тем дороже оно становится...

Оставив Айкиз у арыка, Погодин прошелся между грядками, заботливо выпрямляя сухие плети, стряхивая с листьев песок. Он ступал с необычной для него осторожностью, руки его, потемневшие от постоянного

общения с металлом, неуклюже-бережно, любовно касались запыленных листьев, атласной кожицы арбузов. Арбузы были еще зеленые и маленькие, как теннисные мячики, дыни тоже пока не созрели, но над бахчой, разогретой солнцем, колыхался слабый теплый медовый запах.

У одного из растений Погодин задержался, наклонился и, не оборачиваясь, поманил рукой свою спутницу:

— Погляди-ка, Айкиз!

Айкиз поспешила к Погодину. Иван Борисович выпрямился и молча, с победоносным видом, показал кивком головы на желтую-желтую дыньку, размером чуть больше чайника. Это была дыня хандаляк, скороспелка. Погодин, сорвав, стер с нее ладонью песок. Дынька засветилась на солнце, как слиток золота. Он протянул ее Айкиз:

— Видишь, вполне доспела! Доспела — назло всем бурям!

Айкиз, приняв ее от Погодина, взвесила в руке, кивнула с одобрительным удивлением: дыня была маленькая, но тяжелая, как булыжник. Поднеся ее к лицу, Айкиз с наслаждением вдохнула сладкий, неповторимо нежный аромат, исходивший от желтой кожицы.

— Вот и третье блюдо! — сказал Иван Борисович.— Пойдем к арыку, дорогая гостья, по-царски закончим наш обед, полакомимся первой дыней с целинной земли!

На берегу арыка Айкиз села на траву, опустив к воде ноги в маленьких шевровых сапожках, прикрыв подолом простенького ситцевого платья обтянутые чулками колени. Погодин преподнес гостье лепешку, запасенную еще в столовой, достал из-за голенища большой складной нож, разрезал дыню на равные дольки и, когда Айкиз отведала ее, торжествующе спросил:

— Хороша?

Айкиз восхищенно покачала головой: ведь нет ничего вкуснее свежей дыни с лепешкой!..

Сам Погодин быстро расправился со своей долькой и, пока Айкиз доедала дыню, прошел по берегу арыка, присев на корточки, отбросил руками несколько комьев из запруды и пустил воду на бахчу, да так и остался сидеть над зажурчавшим ручьем словно заворожен-

ный, задумчиво наблюдая за прытким бегом освобожденных струй... Вода бежала меж грядками с веселым, довольным воркованьем, разливаясь лужицами возле плетей, преграждавших ей путь. Сухая земля впитывала ее ненасытно, яростно, жадно, торопясь передать жизнетворные соки корням, укрепившимся в ее лоне. Так торопливо птицы, раздобыв корм, несут его своим птенцам.

Вздохнув с сожалением, Погодин снова закрыл воду, вымыл руки и поднялся. Взгляд его мечтательно задержался на молодых деревцах, посаженных Лолой. За садом виднелись хлопковые поля. Через ближнее поле шел к саду нескладный, долговязый мужчина, шаг у него был широкий, но переставлял ноги он так, словно ему приходилось вытаскивать их из вязкой грязи. По этой широкой, медленной походке Погодин узнал работника местной газеты Юсуфия.

— К нам, кажется, гость,— сказал он, возвращаясь к Айкиз, и, недоуменно пожав плечами, добавил: — И за каким чертом его сюда несет?

Айкиз укоризненно взглянула на Погодина:

— Иван Борисыч!..

— Что «Иван Борисыч»? Не люблю этого типа. Это же не человек, а тень! Муха в плове! — возмущенно говорил Погодин.— Уж лучше бы черная кошка дорогу перебежала.

Юсуфий, обогнув сад, уже приближался к Айкиз и Погодину. Айкиз встала с травы:

— Салам алейкум, товарищ Юсуфий!

— Салам алейкум! — без особой приветливости повторил Погодин.

— Алейкум ассалам,— сухо ответил Юсуфий и, повернувшись к Айкиз, сказал ей: — Уделите мне несколько минут, товарищ Умурзакова. Где мы можем поговорить?

— Да вот тут! — Айкиз показала на берег.— Чем тут плохо.

— Самое подходящее место для задушевной беседы,— ехидно заметил Погодин.— Природа, как известно, настраивает на поэтический лад.

Юсуфий и бровью не повел, лишь скользнул по Погодину скучающим взглядом, намекающе кашлянул и выжидательно уставился на Айкиз.

— Не хотите ли дыни? — дружелюбно предложила Айкиз.— Иван Борисыч с удовольствием угостит. Это первые плоды целины.

— Я пришел сюда не угощаться дынями,— сказал гость, и, хотя произнесенные им слова выражали раздражение, в голосе этого раздражения не было, голос оставался бесцветным, скучным.

Юсуфий покосился на Погодина, и в его равнодушном взгляде Иван Борисович прочел терпеливую, настойчивую просьбу: «Уйди, ты мне мешаешь». Погодин решил пренебречь этой просьбой, но за ним прибежал молоденький тракторист: Ивана Борисовича звали к телефону. Он вздохнул и нехотя ушел к сборному домику.

Юсуфий опустился на траву и, заглянув в блокнот, приступил к допросу. Тон и строгий вид Юсуфия не оставляли сомнений: это был именно допрос. Но Айкиз никак не могла понять его цели. Сведения, интересовавшие журналиста, не имели друг с другом прямой связи, вопросы были разрозненные. Казалось, он руководствовался четким, но ясным лишь для него одного планом, что статья, ради которой он прибыл в Алтынсай, уже готова, и в ответах Айкиз Юсуфий искал лишь подтверждения известных ему фактов.

У него еще до разговора с Айкиз сложилось «свое», подсказанное Султановым и Кадыровым мнение о ее действиях. Беседуя с Айкиз, он мысленно подбирал фразы, которые должны были придать его статье надлежащую убедительность: «Сама товарищ Умурзакова признала...». «Из слов самой Умурзаковой со всей очевидностью явствует...» Он не старался разобраться в причине поступков, предложений, решений Айкиз, это не входило в его планы. Ему важно было одно: чтобы Айкиз признала факты, которые он сумеет потом преподнести в невыгодном для нее свете. Айкиз и не оспаривала этих фактов. Она не понимала, куда клонит газетчик. В ее голосе, когда она отвечала Юсуфию, сквозило недоумение, но факты, о которых он ее расспрашивал, имели место, и она спокойно их подтверждала. Да, земли, которые сейчас осваивал колхоз, до сих пор считались неплодородными. Да, здесь часто бывают бури и суховеи. Да, недавняя буря нанесла колхозу немалый урон. Но...

Однако, как только возникало это «но», газетчик прерывал Айкиз и предлагал ей следующий вопрос. Айкиз пожимала плечами и отвечала — больше ей ничего не оставалось делать. Она так и не смогла объяснить Юсуфию, что мнение о неплодородности целинных земель опровергнуто многократными исследованиями и самой жизнью, что по ее предложению Халим-бобо отвел участок своего сада под хлопок и хлопок на этом целинном участке начал уже цвести, что от бурь не застрахован ни один район этого края, что последствия недавней бури почти сведены на нет. Обо всем этом Юсуфий не дал ей рассказать. Но стоило ли разъяснять то, что и так для всех должно быть ясно? Айкиз знала Юсуфия по его статьям и фельетонам. Ее коро-

било порой от их развязного тона, но это не давало оснований усомниться в добросовестности газетчика. Лишь одно обстоятельство насторожило ее: Юсуфий не записывал ее ответов, а только подчеркивал что-то в своем блокноте...

— Скажите, пожалуйста,— продолжал между тем Юсуфий, скосив глаза на страницу блокнота,— вас трудно застать в сельсовете, вы иногда по целым дням лины — главная ваша функция как председателя сель-пропадаете на целинных землях. Разве освоение це-совета?

Айкиз улыбнулась.

— Вы сами, конечно, понимаете, председатель сель-

совета не должен быть кабинетным работником. Народ выбрал нас для того, чтобы мы помогали ему в самом главном, насущном. А главное сейчас — поднять новые земли. И это не мешает мне...

— Понимаю, понимаю,— снова перебил ее Юсуфий и, перевернув страницу блокнота, спросил: — Говорят, это вы настояли, чтобы часть колхозников, работавших на хлопковых полях, была переброшена на целину и на строительство нового поселка?

— На это пошли сами колхозники. Ведь там, где хватало и одного, Кадыров из перестраховки ставил двух. К технике он тоже не благоволит. К тому же...

— Что же все-таки важнее, по-вашему: растить хлопок или строить поселок?

— Да разве можно одно противопоставлять другому? Чем скорей мы построим поселок, тем скорее колхозники-переселенцы получат возможность работать в полную силу, и работать именно на хлопковых полях.

— Возможно, возможно,— невнятно буркнул Юсуфий и опять что-то отметил в блокноте.— Я слышал, на одном из участков... м-м... кажется, в бригаде Молла-Сулеймана, хлопок все же погиб?

У Айкиз потемнели глаза, она глухо сказала:

— Да, тут мы, видно, недоглядели... Этой бригадой давно нужно было заняться. Вы бы, товарищ Юсуфий, разобрались в причинах отставания отдельных бригад. Они как кляксы в чистой тетради. Колхоз сказал бы вам спасибо.

Но Юсуфий уже не слушал Айкиз. Закрыв свой блокнот, он угловато, деревянно (так развертываются складные метры) поднялся с земли и как бы между прочим спросил:

— Скажите, секретарь здешней парторганизации, Алимджан,— это ваш муж?

— Да-а... Но какое это имеет отношение...

— Все имеет отношение. Так учит нас диалектика,— наставительно произнес Юсуфий.— Он тоже выступает за освоение целины?

— Все коммунисты колхоза проголосовали за наш план. Вот, кстати, возвращается Погодин, один из авторов этого плана. Он вам расскажет обо всем лучше, чем я.

Юсуфий резко повернулся — к ним действительно приближался Погодин. Раздумчиво пожевав губами,

газетчик поднес к самым очкам часы и торопливо проговорил:

— К сожалению, я должен спешить. С Погодиным я поговорю в другой раз. Спасибо вам, товарищ Умурзакова, вы многое помогли мне выяснить.

Он вяло пожал руку Айкиз и, не дожидаясь, пока подойдет Погодин, зашагал прочь от арыка нескладной, ломкой, как у цапли, походкой.

Айкиз смотрела ему вслед. Лицо ее было напряженным. К концу беседы она уже чувствовала какой-то подвох, но защитить себя она могла только в споре, а от спора с ней Юсуфий уклонился.

Он не давал ей даже высказываться — он спрашивал, она отвечала. Его это, видимо, устраивало. Но выгодно ли это было для Айкиз?

Погодин пришел с хорошими вестями. Его широкое, открытое лицо радостно сияло: на МТС прибыли новые хлопкоуборочные машины. Он собирался обрадовать и Айкиз, но, взглянув на нее, нахмурился. Кивнув на удаляющуюся фигуру Юсуфия, спросил:

— Что ему было нужно?

— Странно как-то...— медленно, словно размышляя, произнесла Айкиз.— Он расспрашивал меня о целине, о буре. У меня такое ощущение, будто он... будто ему хотелось в чем-то меня уличить. Он разговаривал со мной, словно следователь, для которого уже ясен состав преступления. Только вот в чем оно?

— Так... А меня он, значит, не пожелал дождаться? И впрямь странно.

— Может быть, я неправа,— сказала Айкиз,— он ведь со всеми так говорит.

— И добром это никогда не кончается.— Погодин с дружеской заботливостью поглядел в глаза Айкиз и ласково предупредил: — Будь начеку, Айкиз. Почуешь недоброе — кликни друзей, мы всем миром поспешим тебе на выручку. Непременно расскажи обо всем Алимджану.

— Мы с ним теперь так редко видимся,— с горечью сказала Айкиз и, словно оправдывая мужа, торопливо добавила: — Он все время занят, он ведь и бригадир и парторг. А завтра должен ехать в город, вызывают зачем-то в институт.

— Все мы люди занятые,— ворчливо проговорил Погодин. Заметив в глазах Айкиз озабоченность и пе-

чаль, он поспешил перевести разговор на другое: — Я вижу, тебя все-таки расстроил этот тип.

— Ой, Иван Борисыч, ты, кажется, относишься к журналистам не лучше гоголевского городничего. Все они «щелкоперы», да?

— Ну, положим, не все. Но этого опасайся. То есть я хотел сказать: не бойся ты его! Правда на нашей стороне. Ты говоришь, он тебя о целине расспрашивал? — Погодин повернулся лицом к распаханной целинной степи и широко расставил руки, словно хотел обнять эту землю.— Вот она — целина! Бывшая целина! Она жаждет воды, жаждет семян, жаждет труда человеческого!.. Ей самой надоело быть в плену у бурь и зноя. Все живое хочет жить, а ведь земля — она живая, Айкиз. Для нее противоестественно быть бесплодной. Она должна рожать и кормить деревья, пшеницу, хлопок, цветы. Мы с ней поладим, Айкиз, мы поможем ей обрести древнюю живородящую силу. Это всем нам нужно, всей стране!

Погодин стоял на берегу арыка, прорытого человеком, на виду у степи, распаханной человеком, гордый, сильный, уверенный. Ворот белой рубахи был расстегнут, степной ветерок обвевал открытую грудь. Над необозримым земным простором раскинулась необозримая сверкающая синева неба.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

СТАТЬЯ

От Айкиз Юсуфий пошел прямо к Аликулу и остаток дня провел там. Неизвестно, о чем они говорили, но в статье, появившейся через несколько дней в местной газете, имя Аликула упомянуто не было: об этом, видимо, попросил сам Аликул.

Статья называлась по-фельетонному хлестко: «Горе-администратор». Изобличительный ее пафос был направлен против Айкиз, но при этом она порочила и саму идею освоения целины. Ссылаясь на письмо Назакатхон и Молла-Сулеймана, на беседы с Кадыровым, с Айкиз, даже с Муратали, Юсуфий тщился доказать, что попытка наступления на пустыню, предпринятая по инициативе Умурзаковой, Погодина и Смирнова, оказалась слишком рискованной и, судя по всему, не-

состоятельной. «В свое время авторам проекта освоения целины,— писал Юсуфий,— указывали на полную его бесперспективность и экономическую нерентабельность. Возня горе-прожектеров с целиной отвлекла колхозников от их главного дела, от ухода за основными хлопковыми массивами, от борьбы за повышение урожайности на поливных землях, от борьбы, к которой призывает нас партия. Смешно было бы отрицать важность такого мероприятия, как освоение новых земель. Но это мероприятие — предельно ответственное, и в данном случае вполне применима мудрая поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь. Наши же доморощенные «новаторы», погнавшись за дешевой славой, не рассчитали сил, и пустыня, вместо того чтобы дать хлопок, поглотила хлопок. Умурзакова и другие решили открыть, так сказать, «второй фронт» — и оголили главный, распылив рабочую силу, лишив колхозников возможности с «полной отдачей» трудиться на основных, уже освоенных, хлопковых полях. Засеяв целину, они, так сказать, «пожали бурю», погубившую хлопок на одном из участков колхоза «Кызыл юлдуз». Основная тяжесть вины падает, конечно, на Умурзакову, которая в данной ситуации действовала как зарвавшийся администратор и в самую тревожную для колхоза пору настояла на малоэффективном перераспределении рабочей силы».

Доставалось в статье и Алимджану, которого Юсуфий обвинял в том, что он в силу родственных отношений попустительствовал Умурзаковой, своей жене, и как партийный руководитель колхоза не дал отпора вмешательству председателя сельсовета во внутриколхозные дела, ее увлечению экономическими преобразованиями.

Лишь один из горячих сторонников плана освоения целины оказался «помилованным»: это был Джурабаев, на которого Юсуфий не осмелился поднять руку.

Айкиз получила газету со статьей Юсуфия только к вечеру (газеты в сельсовет доставлялись поздно). В этот день она принимала посетителей, долго беседовала с Уста Хазраткулом, раздумывая вместе с ним, как быстрее закончить строительство поселка; весь день был заполнен важными делами, заботами, встречами. Читая газету, Айкиз еще жила инерцией этого

напряженного, честного трудового дня. Может, потому до ее сознания не сразу дошло то, о чем писал Юсуфий... Это казалось слишком нелепым, несправедливым, слишком не вязалось со всем тем большим, светлым, чем жила сама Айкиз. Это был подлый, неожиданный удар в спину. Айкиз ощутила почти физическую боль от мысли, что есть еще люди, способные наносить такие удары. Ей припомнилось все, что говорил о Юсуфии Погодин. Директор МТС оказался прав. Он больше знал жизнь и лучше, чем Айкиз, разбирался в людях. А она молода, доверчива... Но и она права, права в этой своей доверчивости: ведь доверие к людям — закон нашей жизни. Нужно только быть зорче. Нужно быть и доверчивой и зоркой.

Айкиз отложила газету и задумалась... Как отнестись к этой статье? Пока она чувствовала лишь горькую грусть, даже боль, но не негодование. Горько ошибиться в человеке. Горько сознавать, что тебя не поняли, что на пути твоем неожиданно появилась новая помеха. Но стоило ли из-за этого расстраиваться? Статья обидная, злопыхательская. Но что она может изменить в судьбе Айкиз? Ровно ничего! Айкиз как была, так и осталась убежденной в своей правоте. Она боролась за то, чтобы дехканам жилось лучше, и не перестанет бороться. Сейчас в нее кинули грязью. Но грязь, брошенная нечестной рукой, не прилипнет к честному имени. А если и прилипнет — что ж! Пусть Кадыров дрожит над своим авторитетом, а она не боится хулы — не замарали бы только ее светлых целей...

Она снова взяла в руки газету, внимательней перечитала статью. Юсуфий чуть ли не в каждой строке склонял ее фамилию, но теперь Айкиз вдруг резко и ясно увидела: атака-то ведется не на нее, а на ее план, рожденный и выношенный в гуще народной. Статья ничего не меняла в судьбе самой Айкиз, но могла повлиять на судьбу целинных земель, на судьбу колхоза, на будущее простых дехкан! Противник, обнажив меч, использовал в своих недостойных — да, недостойных! — целях партийную трибуну, силу печатного слова. Это, наверно, только первая его атака, и нужно отразить ее и приготовиться к тому, чтобы отразить следующую. А она-то беспечно отмахнулась от мысли о защите! Если бы речь шла только о ней, если бы статья грозила неприятностями только ей, Айкиз, пожалуй,

вправе была бы отмолчаться. Но статья опасна не для нее одной... Она обязана защищаться — нет, не защищаться, а всеми своими силами защищать то дело, за которое борются и Айкиз, и Погодин, и старый Халимбобо, и молодой экскаваторщик, и Бекбута, и Керим, и Михри! Если в обкоме поверят хоть одному слову Юсуфия, тогда не только Айкиз, но и всем станет труднее!

Айкиз отшвырнула газету и, встав из-за стола, засунув руки в карманы своей жакетки, взволнованно прошлась по комнате. Надо хорошенько продумать, как бороться, от кого защищаться. За спиной Юсуфия, конечно, стоит противник посолидней. Может быть, Султанов? Или Кадыров? Или кто-то из их покровителей? Но их позиции, казалось бы, разбиты. Почему же они не складывают оружия? Что заставляет их так яростно противиться ясным и нужным для всех планам? Неужели они не понимают, что идут против воли народа? Или именно потому, что они явно не правы, они с особой ожесточенностью нападают на тех, кто стоит на правильных позициях? Не всегда угадаешь, на что они решатся, что предпримут, ослепленные неправотой и бессильной яростью! А главное, видя, чему они противятся, не всегда понимаешь, почему они это делают. Какими побуждениями они руководствуются? Трусостью? Тупостью? Упрямством? Жаждой мелкого благополучия и покоя? Стремлением остаться у власти при полной неспособности руководить людьми, при явном нежелании заботиться о нуждах народа?..

Вот Кадыров... До сих пор не удалось Айкиз разгрызть этот орешек. А нужно, нужно понять Кадырова, чтобы определить, как же действовать по отношению к нему — помочь или оттеснить с дороги, убеждать или драться. Что движет Кадыровым? Ненависть к Айкиз? Но сама она всегда старалась оправдать Кадырова, веря в его честность и добросовестность. Даже теперь она не хочет поверить, что он руководствуется корыстными, мелкими целями. Он, наверно, искренне предубежден против их плана. И, в сущности, его можно только пожалеть... Страшно и горько, когда руководитель думает, будто народу нужно одно, а народ для своего счастья желает совсем другого. Для руководителя, вожака народа, если только этот руководитель искренен, это подлинная трагедия...

Или все сложней, чем она представляет, и не нужно торопиться с выводами? Одним решением бороться, защищаться делу не поможешь. Нужно во все это вникнуть поглубже. Не спеши, Айкиз... Разберись, подумай.

За окном темнело. Солнце клонилось к западу. Тень от горы Коктау наплывала на склоны соседних гор, падала в долины, старалась догнать другие быстробегущие тени, и казалось — движется вдоль гор караван легконогих великанов верблюдов.

Айкиз зажгла свет и подошла к карте сельсоветских земель. Через хлопковые массивы, заштрихованные зеленым карандашом, струились, как синие жилки по запястью руки, тонкие линии каналов и арыков. Горы на карте — желтые, поселки и кишлаки — скопление красных квадратов и прямоугольников. Только целинная степь лишена была красок. «Белое пятно на карте,— подумала Айкиз и провела пальцем по пунктиру, отделяющему целину от хлопковых полей.— А на карте не должно оставаться белых пятен! Ради этого я буду защищаться.— И повторила про себя: — Нужно только все хорошенько обдумать... — Взгляд ее упал на телефон.— Не позвонить ли Джурабаеву? Нет, подожду до завтра. Дело терпит. Не бог весть что стряслось».

Домой Айкиз вернулась поздно. Алимджан еще не приехал из города, Умурзак-ата спал. Он дышал во сне тяжело, прерывисто. Айкиз тихо подошла к кровати. С нежностью, с тревогой всмотрелась в его лицо. Оно чуть осунулось, под глазами вспухли лиловые мешки. Старику последнее время нездоровилось, и сегодня Айкиз не пустила его в поле. Днем между делами она заглянула домой, накормила отца обедом, заставила выпить лекарство. Умурзак-ата, не любивший лечиться, на этот раз подчинился дочери: ему хотелось поскорее стать на ноги. Врача вызвать он не позволил. Рано заводить знакомство с докторами, ему ведь еще не сто лет!..

Стараясь не потревожить сон отца, Айкиз проскользнула в свою комнату. Она не заметила, что Умурзак-ата, едва она отвернулась, приоткрыл глаза, поднял голову и посмотрел вслед дочери тоже нежным и тревожным взглядом. Он уже успел прочитать сегодняшнюю газету...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ТРУД — НАШЕ ОРУЖИЕ

Айкиз спала крепко, проснулась поздно. Солнце уже провело своей желтой указкой по стенам, расцветило их веселыми зайчиками... Она прошла в комнату отца, но Умурзака-ата там не было. Постель его была аккуратно скатана. Айкиз встревожилась: неужели он ушел на работу? Ведь ему нельзя выходить из дому! Он должен лежать, ему нужен покой, отдых.

Айкиз закусила губу и выбежала в сад, словно могла задержать, остановить неугомонного старика. Отец стоял, склонившись над ручьем, и умывался. Халата на нем не было, ворот белой длинной рубахи открывал шею с морщинистой сухой кожей. Движения Умурзака-ата были медленными, он с трудом нагибался над арыком, зачерпывал ладонями воду, медленно выпрямлялся и — тоже медленно — растирал лицо, шею, грудь. Заслышав позади себя шаги, он обернулся и ласково поздоровался с дочерью:

— С добрым утром, Айкиз! Я рад, что душа у тебя спокойна: так крепко спят только с чистой совестью.

Отец, как всегда, говорил немного нараспев, чуть велеречиво, но сердце подсказало Айкиз: он обо всем уже знает!

— Отец! Почему вы не в постели?

Вытирая шею и лицо полотенцем и, как показалось Айкиз, стараясь это делать с нарочитой бодрой непринужденностью, Умурзак-ата улыбнулся.

— Я уже стар, доченька! Если бы аллах отпустил мне побольше дней, я, пожалуй, мог бы пустить иные из них на ветер... Но путь мой короток, и остаток дороги хочется пройти гордым шагом, а не ползком. Только молодежь не дорожит временем. Пойдем попьем чаю. Я уже вскипятил чайник.

— А потом ляжете?

Старик пристально посмотрел на дочь и покачал головой:

— Нет, дочка, не время сейчас разлеживаться.

— Но вы больны. Видите, у вас руки дрожат.

— Это не от болезни. Сказать по чести, неспокойно у меня на душе, дочка... Боюсь за тебя.

— За меня нечего бояться.

Но старик, не слушая ее, продолжал:

— Я ведь все знаю, Айкиз. Соседи вчера показали мне газету, ее привез из района Керим. Я положил ее под подушку и не спал всю ночь. Она жгла мне сердце!

— Эта статья не должна вас волновать, отец. Вам нельзя волноваться.

Умурзак-ата, уже подходивший к айвану, остановился:

— Только горы в любую погоду могут оставаться спокойными. У них каменные сердца, дочка. А наши сердца, как цветы,— трепещут под первым ветром. Недаром же говорит пословица: человек тверже камня, нежнее розы.

Айкиз удивляло спокойствие отца. В душе он, видно, возмущался, страдал, но не давал воли ни горю, ни гневу. Он словно хотел передать Айкиз мудрое свое спокойствие. Взгляд его, по-прежнему ласковый, ободряющий, как бы говорил: «Крепись, дочка, надо достойно, с гордо поднятой головой пройти через испытание, посланное нам судьбой. Крепись, я верю в тебя».

Она снова попросила отца лечь в постель, но он, казалось, не слышал ее слов. Молча принес чайник, разлил чай в пиалы. Неторопливо отпивая терпкую, душистую, горячую влагу, он задумался. На лицо набежала тень, но он тут же согнал ее и все так же спокойно, ласково заговорил с дочерью:

— Слова клеветы, дочка,— это отравленные стрелы. Они могут больно ранить. И я боюсь за тебя... Ты думаешь, верно, что давно выросла из детского платья, что ты сильная, умная, зоркая. И люди стараются убедить тебя в этом. Не верь им, дочка! Для меня ты как была, так и осталась маленькой озорницей Айкиз. Маленькой и слабой. И я должен защитить тебя от отравленных стрел.

У Айкиз защемило сердце от благодарной нежности, от жалости к отцу, старому, хворому, но, как в молодости, отважному и воинственному, от ощущения собственного бессилия. Она чувствовала, что, как ни старайся, а отец не останется дома, не откажется от своего, еще неясного для Айкиз решения...

— Отец! — с мольбой сказала Айкиз.— Я сама сумею защититься. В статье говорится только обо мне, я сама дам отпор!

— Камень, брошенный в тебя,— это камень, брошенный в меня,— возразил, поднимаясь, Умурзак-ата.— А злые люди замахнулись не только на тебя! Они подняли руку на всех нас. На нашу мечту, на наше счастье. Я защищу от них наше счастье и доброе имя моей дочери. Я сказал — ты слышала. Принеси мне кетмень, Айкиз.

Айкиз радовалась непримиримости отца, его пренебрежению к клевете. Он словно угадал ее мысли. Но она не могла допустить, чтобы он из-за нее жертвовал покоем и здоровьем.

— Подождите, отец! Что вы можете сделать один, да еще в таком состоянии?

— И одинокий ручей приносит пользу — ведь в конце пути его вода смешивается с водами реки. А я, дочка, не один. У меня звено. И Алимджан, когда уезжал, просил меня приглядеть, как справляется с делом его помощник. На моем участке много людей и много работы. Хлопок уже цветет, Айкиз.

— Ничего страшного не случится, если вы еще денек побудете дома. Вам нужен покой!

Умурзак-ата нахмурился:

— Дома мне не будет покоя. Когда у человека задета честь, он берется за оружие. У нас одно оружие — наш труд, наше усердие. Клеветники говорят: Айкиз накликала на хлопковые поля песчаную бурю. А мы докажем, что народ сильнее бури. Клеветники говорят: хлопок погибнет. А мы уже спасли хлопок, и я выращу на своем участке такой урожай, какого не видывали в Алтынсае! Они говорят: у вас не хватит сил, чтобы поднять целину и выходить хлопок на старых полях. Сказать по чести, дочка, этого и нельзя было бы сделать, если бы в Алтынсае жили лодыри да трусы. Но алтынсайцы умеют видеть, что для них хорошо и что худо... Дай кетмень, Айкиз, мне пора в поле.

Последние слова он произнес так, будто приказывал дочери: «Дай винтовку, я пойду воевать». Голос его звучал уже не ласково, а властно и твердо. Айкиз не посмела его ослушаться. Скрепя сердце, браня себя за малодушие, за то, что не сумела удержать старика дома, она принесла кетмень, тельпак из белого войлока, поправила на старике выцветший бельбог и, проводив его за калитку, долго смотрела вслед... Он шел по дороге размашистой, упрямой походкой. Кет-

мень подрагивал у него на плече. «Забегу в сельсовет, а потом в поле, к отцу,— решила Айкиз.— Одна не смогла его уломать — другие помогут. Алимджана опять нет! Когда нужно, его, как нарочно, не бывает рядом...»

К концу пути Умурзак-ата притомился, замедлил шаг. Когда он добрался до поля, работа была уже в разгаре. Вдоль грядок с бодрым рокотом двигались маленькие трехколесные «Универсалы»: одни волокли за собой культиваторы, другие — окучники. Дехкане занимались подвозкой удобрений, пускали воду в нарезанные тракторами борозды, рыхлили кетменями землю, окучивали хлопчатник.

Хлопок цвел... Поле было пестрым, розово-белым, и порозовевших цветов стало больше, чем два дня назад. Белые оставались только у верхушек кустов. Опавших мало,— значит, мало будет пустоцвета. Хлопок цвел дружно, словно и не проносилась над этими полями песчаная буря. «Разве трудились бы так люди,— подумал Умурзак-ата,— если бы сомневались в своей правоте? И в правоте дочки! Нет, народ всегда прав». Дехкане из звена Умурзака-ата повернули к нему головы. Поздоровавшись с ними, старик махнул им рукой: продолжайте, мол, работать, я от вас не отстану... Он не стал задерживаться около работающих людей, таких дорогих ему, словно родных. Ведь, чего доброго, они примутся уговаривать его лечь в постель. А какой он больной? Правда, левое плечо ноет, и голова кружится, и трудно дышать... Это, верно, оттого, что он вчера целый день провалялся в постели. Отдых расслабляет, а работа лечит. Умурзак-ата в годы гражданской войны был солдатом. Он помнит, как тяжело, совершив многокилометровый марш, подниматься после короткого привала с земли, снова трогаться в путь. Лучше шагать без передышки, вперед и вперед, к дальней, но непременной победе!..

Солнце висело над горизонтом. Умурзак-ата, вступив в междурядья своего участка, широко, равномерно взмахивая кетменем, двинулся навстречу солнцу. Земля мягко приникала к стеблям хлопчатника, листья чуть колыхались, как под дуновением ветерка, из-под листьев задорно, приветливо поглядывали на старика белые, розовые цветы. Порой Умурзак-ата задерживался, разбивал кетменем почву вокруг упрямого сор-

няка — гумая, выбирал руками из земли длинные белые корни и шел дальше.

Идти становилось трудней. Рубашка взмокла, а старика почему-то знобило, ноги казались ватными, и все сильней ныло левое плечо. Солнце стояло уже высоко, жара стала тяжелой, оглушающей. Земля прогрелась, и под ударами кетменя взлетала пыль.

Скоро старик почувствовал себя обессилевшим. Он остановился. Посмотрел в сторону неутомимых тракторов, с горечью подумал: «Когда же мы и кетмень заменим машиной? От омача[1] вон давно избавились, молодежь даже не знает, что это такое. А кетмень... Привык я к тебе, дружок, а рад-радешенек был бы с тобой распроститься. Всю руку отмахал!»

Неожиданно над самым его ухом раздался знакомый хриплый голос:

— Салам алейкум, ата!..

Умурзак-ата вздрогнул, обернулся и увидел Гафура. Несмотря на жару, Гафур был одет в ватник, тот самый, в котором приходил когда-то к Муратали. Глаза хитро, торжествующе прищурены, под носом двумя пиявками чернели небольшие усы, а под усами змеилась улыбка, в которой были и приветливость и тщательно скрываемое злорадство. Гафур приложил руку к груди и повторил:

— Салам алейкум, дорогой родственник!

— Алейкум ассалам,— ворчливо откликнулся Умурзак-ата.

— Я слышал, вам нездоровилось?

— А ты, наверно, очень желал бы этого?

— Ай-ай,— с мягкой укоризной сказал Гафур,— зачем обижаете родича? Вы уже старый человек, не годится вам идти по стопам дочери.

— В твоем звене уже обеденный перерыв? — насмешливо осведомился Умурзак-ата.

— Всех дел не переделаешь! Я ведь по милости вашей дочки в тюрьме сидел. Здоровье подорвал... Чуть поработаешь — поясницу ломит.— Он, охая, потер поясницу, а Умурзак-ата потянулся было к плечу, но тут же опустил ладонь на ручку кетменя: не хотел показывать Гафуру, что ему нездоровится. Гафур торопливо проговорил: — Но я работаю. Изо всех сил! А сей-

---

[1] Омач — соха с чугунным наконечником.

час гляжу: мой старый друг Умурзак-ата кетменем машет. Дай, думаю, пойду справлюсь о его здоровье.— Он вгляделся в лицо Умурзака-ата и с лицемерным сочувствием зацокал языком: — Ай, ай! Плохо, очень плохо выглядите. Как это дочь отпустила вас из дому?

— Дочь мне не нянька.

— Да, да, не нянька... А старому, как малому, как раз нянька нужна. Смирная, послушная дочь ему нужна, чтоб заботилась о нем, а не порочила его доброе имя.

— Иди работать, Гафур,— тихо попросил Умурзак-ата,— не серди меня.

Спокойствие, которое он сумел сохранить в разговоре с дочерью, готово было вот-вот изменить ему. Рука его судорожно вцепилась в кетмень, перед глазами запрыгали, сливаясь в радужные круги, черные, красные мошки... Гафур, казалось, не замечал, что творится со стариком. Он достал из-за пазухи старую, словно изжеванную газету, побывавшую, видно, во многих руках, и протянул ее Умурзаку-ата.

— Не читали еще?

Умурзак-ата не пошевельнулся. Гафур, понимающе кивнув, спрятал газету опять под ватник.

— Ага! Значит, читали. Вот ведь как получается: было время, дочь ваша не постыдилась упрятать за решетку родного дядю, а теперь сама выставлена на позор. Аллах справедлив!

— Позор тому, кто писал это! — не сдержавшись, выкрикнул старик.— Вспомни-ка поговорку: камень кидают только в дерево, отягощенное плодами. Дочь моя не дает покоя лодырям, тормошит ленивых да пугливых, потому на нее и наговаривают. Сказать по чести, если уж эта кляуза по душе лентяям и ворам, значит, нет в ней ни слова правды!

— Это кто же лентяй и вор?

— Тебе лучше знать.

Гафур скорбно сжал губы и вздохнул:

— Бог вас простит, ата. А я на вас не сержусь. Вы меня обижаете, а я не сержусь. Я добра вам желаю. Завалит вашу крышу снегом — сам приду его счищать. Хочу дать вам совет: уймите дочь, не то доконает она вас своими фокусами.— Он снова с притворным участием оглядел Умурзака-ата и покачал головой.— Вот ведь как вас всех скрутило! Айкиз и Алимджан вы-

сохли, как голодные шелковичные черви. И поделом им, это им наказание за все их грехи. А вас мне жалко, ата. Поглядите, на вас же лица нет!

Умурзак-ата чуть приподнял над землей кетмень, словно хотел замахнуться на Гафура, и, шагнув к нему, крикнул слабеющим голосом:

— Прочь отсюда, шакал! Не будет тебе в нашем колхозе поживы. Ни тебе, ни твоей стае! Шакалы боятся огня. А огонь наших сердец... огонь наших сердец — чистый и яркий...

Гафур уже не слышал этих слов. Довольный, что отвел душу, он поспешил к своему участку. С его лица не сходила мстительная, торжествующая усмешка.

Когда Гафур ушел, Умурзак-ата попытался снова приняться за работу, но по всему телу внезапно разлилась пугающая слабость. Тяжело дыша, он оперся ладонями о кетмень, глубоко и жадно втянул ртом сухой горячий воздух и вдруг начал медленно оседать на землю, пока не повалился лицом вверх между рядами выхоженного им хлопчатника. Кетмень тоже упал, глухо ударившись об откинутую в сторону руку. Рука вздрогнула, потянулась к вороту и бессильно опустилась на грудь. Когда к Умурзаку-ата подбежали дехкане, старик был уже мертв. Он лежал, обхватив левой рукой кетмень. Недвижные глаза смотрели на солнце, словно застывшее над цветущим хлопковым полем.

● ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ЖИТЬ ЕМУ ВЕЧНО

Весь Алтынсай провожал Умурзака-ата в последний путь. Пришли дехкане из соседних, из горных кишлаков. Старого хлопкороба знали многие...

День был знойный, тихий, недвижный. Все вокруг словно замерло в скорбном безмолвии. Торжественно-холодно сверкали вершины дальних гор. Над горизонтом заснеженными холмами толпились белые облака. Листва на деревьях казалась окаменевшей. Даже пыль не вилась над дорогой, по которой направлялось к кладбищу многолюдное молчаливое шествие.

Путь до кладбища был долгий, но гроб от самого дома несли на руках. Уставших сменяли те, кто шел за гробом.

Первыми шли Айкиз и Алимджан. Алимджан понимал, что если бы он и не уехал в город, то все равно не мог бы предотвратить случившееся. И все же в глубине сознания шевелилась саднящая мысль: его не было с Айкиз в тяжкую для нее минуту... Вот уж правду говорят: пришла беда — отворяй ворота. Сколько бед неожиданно обрушилось на Айкиз! Песчаная буря, подлая статья в газете, смерть отца... А Алимджана не было рядом с женой. Дела, хлопоты, заботы оттеснили его от Айкиз, закружили, затолкали. Даже прочитав статью Юсуфия, он не смог выбраться из этой толчеи на помощь жене. Рядом с ней он оказался только сейчас, когда поздно уже что-нибудь изменить, поправить. С виноватым состраданием Алимджан взглянул на Айкиз. Лицо у нее бледное, глаза ввалились, она смотрела вперед, на гроб, невидящим, безучастным взором. Казалось, она ни о чем в эту минуту не думала, ничего не чувствовала, ничего не в силах была выразить — ни жестом, ни глазами. Только слезы катились по ее бледным щекам. Походка у Айкиз была напряженной, неестественно прямой и в то же время какой-то хрупкой. Алимджан взял ее за локоть, но Айкиз бессознательным движением высвободила руку и чуть подалась в сторону, сама, видимо, не понимая, что она делает и зачем...

На похороны Умурзака-ата приехали с Поволжья фронтовой побратим Алимджана Григорий Петров и его жена Валя.

Впервые они побывали в Алтынсае в день свадьбы Алимджана и Айкиз. После этого и молодые не раз наведывались в Поволжье, и Григорий с Валей каждый год посещали Алтынсай, гостили в доме своих узбекских друзей. Что такое истинно узбекское радушие, они узнали прежде всего благодаря Умурзаку-ата, который заботился о них, как о собственных детях. Григорий и Валя всей душой привязались к старику, доброму, открытому, щедрому и на шутки, поговорки, и на толковые советы, и на мудрые наставления.

Получив от Алимджана телеграмму о смерти Умурзака-ата, они, не мешкая, собрались в дорогу — чтобы отдать последний долг покойному. Обоих огорчало, что этим же вечером им надо было уезжать обратно, и они не могли остаться с Айкиз, утешить ее в горе. Правда,

они понимали,— сейчас ничто не в силах унять ее боль. Валя плакала от жалости к Айкиз...

Среди провожающих за гробом шли и Джурабаев и Султанов. Умурзак-ата был одним из самых уважаемых людей в районе, и, участвуя в церемонии похорон, Султанов словно бы подчеркивал свой «демократизм», свою особую роль как лица, ответственного за все мало-мальски значительные события, происходящие на подведомственной ему территории. Он явился на похороны с таким же сознанием необходимости и важности своего «руководящего» присутствия, с каким поднялся бы, к примеру, на трибуну первомайского митинга. Иногда он подставлял под гроб свое плечо, и вид у него был сосредоточенный, как у человека, который хочет показать, что он занят государственно важным, заметным для всех делом, и одновременно напыщенный, самодовольный: так обычно выглядел Султанов, восседая за столом президиума.

Лицо Аликула, старавшегося держаться поближе к Султанову, выражало искреннее горе. Он сам был уже немолод и воспринял смерть своего сверстника как напоминание о «безглазой», что в недалеком будущем постучится и в его дверь. Старикам особенно больно видеть, как уходят из жизни их ровесники. Скорбь их — горькая, мудрая. Эта скорбь делала маленького, щуплого Аликула словно бы серьезней, солидней. Он задумчиво поглаживал поредевшую бородку. В его глазах, обычно хитро прищуренных, светилась печаль.

Кадыров, наоборот, утратил свою солидность. Он шел неуклюжий, грузный, обмякший, то и дело вытирая огромным платком бритую голову. Он любил Умурзака-ата, хотя тот в последнее время донимал его своим упрямством, и сейчас испытывал то же, что и все друзья покойного.

Рядом с Кадыровым и Аликулом вышагивал Гафур. Чувствуя на себе чей-то взгляд, он вздыхал особо старательно, начинал в горестном недоумении покачивать головой: «Ай-ай, как же такое могло случиться? Бедный Умурзак-ата! Видел бы ты, сколько горя доставила мне твоя смерть...»

А Джурабаев думал об одном: «Какого человека мы потеряли! Какого чудесного старика мы потеряли!» И вспоминались ему годы, когда в Алтынсае создан был колхоз и Умурзак-ата, бедняк из бедняков, первым

подал заявление. Вспоминались трудные времена, когда в Алтынсае туго было с водой, а Умурзак-ата умудрялся-таки на своем участке выращивать добрый хлопок. Вспоминались споры со стариком. Ему порой нелегко было отказаться от привычных представлений, от работы по старинке, но с каким молодым жаром он трудился, сердцем, разумом приняв новое! Дура смерть, когда же ты перестанешь своевольничать, вырывать из наших рядов лучших, достойнейших? Ведь какого человека потерял нынче Алтынсай!

Кладбище располагалось меж кишлаком и горами, в стороне от дороги, соединяющей горные кишлаки с Алтынсаем. Тут было пустынно, голо. Разбросанные в беспорядке глиняные холмики с надгробиями из грубого камня, реже — из белого мрамора, обнесены невысоким глиняно-каменным дувалом; кое-где, тоже похожие на могильные холмы, клубятся низкие, чахлые кусты... Роешь могилу — лопата со звоном ударяется о затвердевшую, прокаленную солнцем, отутюженную ветрами землю.

Тут и похоронили Умурзака-ата. Джурабаев срывающимся от волнения голосом произнес короткую надгробную речь. Гроб опустили в могилу. Выросший над могилой глиняный холмик обложили венками, присланными и привезенными из города, закидали ворохом белых, алых, синих живых цветов. Исполнив этот простой обряд, все разошлись с кладбища. Но, простившись с Умурзаком-ата, люди не забыли о нем. Он начал новую жизнь, он жил теперь в их сердцах терпеливым учителем, мудрым советчиком, добрым, требовательным другом.

Пройдут дни, пройдут месяцы, и Погодин, настаивая на своевременном проведении осенней вспашки, сошлется на одну из любимых поговорок старого Умурзака-ата: «Сто весенних вспашек не заменят одну осеннюю».

Пройдут месяцы, пройдет год, и старый хлопкороб, обучая молодого, скажет:

— Ну как ты рыхлишь землю? Посмотри, как это делал Умурзак-ата! И заруби себе на носу: хлопчатник — культура капризная, нежная, прихотливая. За ним уход да уход нужен, как за малым ребенком. Пропустишь один полив, не проведешь окучку и культивацию, не сделаешь землю мягкой как бархат — и цветы

осыплются, хлопковый куст не даст хлопка. «Подведешь хлопок — он тебя подведет» — так говорил Умурзак-ата.

Пройдут годы, и Халим-бобо, оглядывая белопенное море новых хлопковых полей, расскажет Айкиз о последней своей встрече с Умурзаком-ата.

— Как он обрадовался, дочка, увидав в моем саду первый целинный хлопок! «Права моя Айкиз! — сказал он, повеселев.— Мы еще увидим в этой степи белое хлопковое половодье! А внуки наши шагнут в пустыню. Надо только, старый, набраться терпения. Запасешься терпением — дождешься, когда зеленые плоды станут сладкой халвой». А сам он был нетерпелив, дочка, и зорок, как степной орел. Молодая была у него душа... — И, уже тише, добавил: — А как он мечтал о внуке, дочка!

Таким, как Умурзак-ата, и после смерти суждена долгая жизнь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

НОЧЬ СМЕНЯЕТСЯ УТРОМ

Все эти дни Айкиз жила как в тумане... Все время она была чем-то занята, выбирала вместе с соседками, во что одеть покойного, готовила плов для гостей, разговаривала с подругами, Михри и Лолой, следовавшими за ней по пятам и безуспешно пытавшимися отвлечь ее от черных мыслей, ходила на кладбище выбирать место для могилы... Много горьких, неизбежных хлопот влечет за собой смерть близкого! Но если бы у Айкиз спросили, что она делала, о чем думала все это время, она не смогла бы ответить. Горе словно сковало мысли ее и чувства, эти несколько дней выпали из ее жизни и памяти.

Вернувшись с кладбища, она села на курпачу, разостланную у окна, и, задумавшись о чем-то, долго-долго, не отрываясь, смотрела на яблони в саду, на тополя и тал, окружавшие хауз, на цветы, украшавшие грядки и клумбы... Тополя сажал отец. За яблонями ухаживал отец. И эти розы, крупные, пышные, тоже выращены отцом. Отца не стало, но он был во всем, на что смотрела Айкиз. Как наяву, увидела она его таким, каким видела в последний раз: стоит, склонив-

шись над арыком, и движения у него медленные-медленные... Отца нет, а арык все звенит, звенит, словно зовет хозяина вернуться, склониться над чистой водой...

Двор был полон народу, оттуда доносился приглушенный гомон. Люди приходили и уходили. Из комнат слышался шорох осторожных шагов. Но Айкиз ничего не замечала, и гости — друзья, родня, соседи,— словно сговорившись, старались не нарушать ее одиночества.

Вечером к ней подошел Алимджан.

— Ложись спать, Айкиз.

Айкиз вздрогнула, растерянно-недоумевающе взглянула на мужа:

— Что?

— Ты устала, Айкиз, поспи немного...

— Ладно,— сказала Айкиз и, помедлив, добавила: — Я не хочу спать...

Алимджан сел рядом, обнял ее, с осторожной лаской притянул к себе:

— Не мучай себя, Айкиз...

Айкиз сняла с плеч его руки, тихо попросила:

— Не надо. Не надо, милый...

— Отдохни, Айкиз.

- Не надо... Не то я расплачусь...

Алимджан поднялся и отступил к двери. На улице смеркалось, тихий сумрак серым пеплом висел в воздухе, в комнате было темно, и от двери Алимджану был виден только горестный профиль жены. Вот сидит она одна, отгородившись незримой стеной от людей и от него, Алимджана, думает о чем-то своем, и он бессилен помочь ей, потому что ей все сейчас чуждо... В целом мире только она со своим горем. Алимджану до слез было жаль ее. Но он не знал, как ее утешить. Он вышел к гостям, которые, по обычаю, оставались здесь на всю ночь. Они сидели в саду на просторной супе, неторопливо попивали чай, негромко, печально переговаривались. У всех на устах было имя Умурзака-ата.

Жену Алимджан решил больше не беспокоить. Пусть побудет одна. Она сильная, она справится с горем. Сам он долго не ложился спать, но усталость взяла свое, и, разместив гостей, Алимджан свалился в постель, приготовленную на полу, и забылся в душном, тяжелом сне...

Ранним утром он поспешил в комнату, где вчера оставил жену, но Айкиз не было. На столе лежала фотография в деревянной рамке, запечатлевшая Умурзака-ата в дни прошлогоднего курултая. Старик был снят во весь рост, на голове красовалась новая чустская тюбетейка, под халатом из черного ластика виден был темный костюм — премия за трудовую доблесть, на только что купленных ичигах блестели только что купленные калоши. Ичиги и калоши подарила отцу Айкиз. На черном фоне халата особенно отчетливо выделялась белоснежная борода Умурзака-ата; лицо его, веселое, улыбающееся, словно светилось, а глаза — мудрые, молодые, добрые. Айкиз, видно, ночью сняла эту фотографию со стены, поплакала над ней и забыла повесить обратно...

Алимджан, повесив фотографию на место, выглянул в окно. Где же Айкиз? Неужели уже ушла на работу? Он прошел в кухню, потрогал самовар. Самовар холодный... Ушла, даже не выпив чаю! И вчера она тоже целый день ничего не пила и не ела. С огорченной укоризной покачав головой, Алимджан отправился в сельсовет.

Айкиз не спала всю ночь. Когда за окнами мутно-розово забрезжил рассвет, она встала с курпачи, огляделась, словно не узнавая своей комнаты, и, стараясь не разбудить ни гостей, ни Алимджана, вышла из дому. Она была благодарна гостям за то, что они не тревожили ее ни вечером, ни ночью. Но сейчас ей хотелось побыть совсем-совсем одной.

И после трудной, бессонной ночи Айкиз пошла к заветному роднику Ширинбулаку.

Кишлак еще безмолвствовал, погруженный в спокойную дрему. В летнюю пору на заре в кишлаке всегда стояла тишина; большинство дехкан дневало и ночевало на полевых станах, а оставшиеся дома еще спали. Но Айкиз сегодняшняя предрассветная тишина показалась особенно многозначительной, непривычно глубокой... «Мертвая тишина... — подумала она, зябко поежившись.— Все вокруг словно вымерло».

Но вокруг была жизнь. Сама Айкиз тоже постепенно пробуждалась к жизни. До ее слуха донесся мягкий говор листвы, журчанье воды в арыках, прорытых по

обе стороны улицы. Все четче обрисовывались очертания гор, домов, деревьев.

Она шла мимо добротных кирпичных строений, выросших в Алтынсае за последние годы, мимо низких старых лачуг, сложенных из глиняных катышей и окруженных пахсами — глинобитными стенами, через которые перевешивались виноградные лозы. Шла мимо садов, нашептывавших ей свои таинственные сказки... Видела, как кишлак встречается с зарей.

Чудесны зори в Алтынсае! Днем некуда деться от зноя, по вечерам камни, песок, глина дышат печным жаром, накопленным за день, а на заре ничто не напоминает о зное. С гор легкими прозрачными потоками стекает свежий утренний ветерок, лаская мирный, спящий кишлак, от трав и цветов веет росной прохладой. Хорошо на заре в Алтынсае!..

У Айкиз порозовело лицо.

Она уже приближалась к дороге, огибавшей кишлак и пересекавшей ту, что вела с гор к пустыне. Вдруг из крайнего дома вышел Гафур. Ему, видно, тоже не спалось в эту ночь. Завидев племянницу, он поспешил ей навстречу. Лиса вышла заметать следы...

— Салам алейкум, племянница! Куда это ты в такую рань?

Айкиз остановилась, окинула Гафура досадливым взглядом. Вот уж не вовремя попался он на ее пути! Она искала одиночества, думала спрятаться даже от друзей, и тем тягостней была для нее эта неожиданная встреча с Гафуром. Правда, она ничего не знала о последней беседе Гафура с Умурзаком-ата. Она и не догадывалась, что была такая беседа, но именно сейчас, после смерти отца, Гафур, которого она всегда недолюбливала, стал ей особенно неприятен. Что-то настораживающее было и в его лице, к которому никак не шла маска печали и сочувствия, и в голосе, необычно умильном, вкрадчиво-ласковом...

— Ты что ж это, племянница, и поздороваться со мной не хочешь? Все сердишься за тот разговор? Ай-яй, да мало ли что бывает между родичами! Ну, поцапались — и забудем об этом. Не стоит вспоминать о прошлогоднем снеге. У тебя горе, а твое горе — это и мое горе.

Айкиз слушала Гафура рассеянно, лицо ее выража-

ло нетерпение. Что ему нужно? Обычно Гафур был груб и немногословен. Сейчас он лебезил перед Айкиз, и это усиливало ощущение, что в чем-то он повинен перед ней и теперь тщится загладить свою вину. Может, и он приложил грязную руку к этой злополучной статье?

Гафур продолжал изливаться:

— Тяжкую утрату понесли мы, племянница. Забудем же о былых распрях. Ведь у нас общее несчастье... И нет у тебя теперь родственника ближе, чем я. Поверь, я готов до конца жизни быть твоим заступником, верным твоим слугой...

— Я не хан, мне не нужны слуги.

— Ай-яй, не надо быть такой злой! Я к тебе всей душой, а ты...

На лбу Айкиз собрались морщины, она пристально взглянула на Гафура, задумчиво молвила:

— Хотела бы я заглянуть в вашу душу, дорогой дядюшка... Посмотреть, что там на самом-то деле...

— Не обижай меня, племянница. Душа моя полна мира и скорби. Я одного хотел бы: заменить тебе отца...

Такого кощунства Айкиз не в силах была стерпеть. Лицо ее потемнело, мрачный огонь блеснул в глазах.

Гафур, поняв, что перестарался, вдруг съежился, прянул в сторону, словно опасаясь, что его могут ударить. Черные хитрые глазки забегали, как у мыши, застигнутой далеко от норы... Своими сладкоречивыми излияниями Гафур не добивался для себя какой-либо корысти, на разговор с Айкиз его толкнула нечистая совесть, но совесть эта гнездилась в мстительной мелкой душонке: Гафуру хотелось не столько обелить себя перед племянницей, сколько обмануть ее, обвести вокруг пальца. Он наслаждался своей способностью лицемерить, но он был плохой актер и переиграл, лишь заронив в сердце Айкиз лишнее подозрение. Увидев, как он отшатнулся от нее, Айкиз усмехнулась. Не сказав ни слова, отвернувшись от самозванного «отца», медленно пошла дальше по дороге. Вскоре она забыла о Гафуре. А он стоял у обочины, провожая племянницу взглядом, полным открытой ненависти. В его глазах и следа не осталось от напускной печали и скорби.

Дойдя до Ширинбулака, Айкиз села на один из неровных выступов камня и, словно припоминая что-то, провела ладонью по горячему лбу... Зачем она прибрела сюда? Или ей невмоготу стало дома и хотелось рассеяться, глотнуть свежего утреннего воздуха?.. Она чувствовала себя бесконечно усталой. Она устала от горя, от людей, от их немого сочувствия, от кощунственной суеты последних дней. А здесь, у родника, всегда спокойно. Это покой живой, естественный, согревающий душу, навевающий светлые воспоминания... Айкиз вспомнилась юность... В те дни так же немолчно и успокаивающе журчала вода родника, шелестели листья деревьев, обступивших камень, шуршала галька на дне ручья. Казалось, звуки эти проникли в сегодняшний день из дальнего, чудесного прошлого. Но вот слуха Айкиз коснулся еще один звук, нежный и мелодичный, будто это цветы зазвенели под порывом ветра. Это вдалеке, вдоль гор, медленно двигался верблюжий караван, и в такт неторопливому шагу звенел-звенел, покачиваясь на шее последнего верблюда, одинокий колоколец. Погонщики пели, и в их песне слышалась тихая печаль. Звон колокольца и песня затихли, растаяли в утреннем воздухе, а из кишлака донеслись новые звуки, ясные и разрозненные,— звуки пробуждения. Хлопнула дверь в чьем-то доме, проскрипели колеса арбы, залаяла собака; надрывно, ошалело, словно желая разбудить весь мир, прокричал петух, спустя минуту с меньшим задором откликнулся другой.

Кишлак просыпался.

И если бы жив был Умурзак-ата, он проснулся бы одним из первых. Проснувшись, постоял бы над спящей дочерью и, не тревожа ее сна, отправился бы к арыку умываться. А потом они, и Алимджан вместе с ними, пили бы чай и разговаривали, как всегда, не о прошедшем, а о грядущем дне.

Отец!.. Как много с тобой связано, как ощутима была для всех жаркая щедрость твоего сердца!..

Умурзак-ата не любил говорить о себе. А Джурабаев однажды рассказал Айкиз, как в трудные годы, когда колхоз не успел еще окрепнуть, встать на ноги, и враги, пользуясь этим, пытались задушить его, устраивая поджоги, пряча драгоценное зерно, распространяя злостные слухи, как в эти годы Умурзак-ата и Кадыров, сплотив вокруг себя бедноту, подняли ее на

борьбу с кучкой жестоких и умных негодяев. Враг, сознавая, видно, свою обреченность, шел на все. Это была злобная решимость затравленной волчьей стаи. В подметных записках Умурзаку-ата грозили жестокой расправой. Пытались также улестить его, подкупить, переманить на свою сторону. Но Умурзак-ата держался твердо, мужественно, грудью защищал родной колхоз от вражьих козней, и колхоз выстоял, а его врагов постигла заслуженная кара.

Мужество, смелость, стойкость выковал Умурзак-ата в своих сыновьях Тимуре и Алишере. И они не подвели отца, храбро бились с фашистами на войне и пали в кровавом бою смертью героев — гордые соколы, милые, милые братья! Айкиз до боли отчетливо помнит день, когда чуть охрипший от радостного волнения голос диктора возвестил победу. Все жители кишлака вышли тогда из домов. Пестрый, шумный, ликующий поток разлился по улицам Алтынсая. Одни успели принарядиться по-праздничному, другие вышли в чем были, но у всех был праздничный вид, всех украшали радостные, открытые улыбки, возбужденно блестевшие глаза. Во дворах резали баранов, устанавливали над огнем огромные котлы, растапливали сало для плова. Всюду гудели, дымили сверкающие на солнце самовары. Песни широкими волнами катились из конца в конец кишлака. Люди поздравляли, обнимали, целовали друг друга. Лишь те, у кого семьи в войну поредели чуть не наполовину, сидели дома, прятали от людей свое горе, чтобы не замутить ясного праздника. Айкиз тоже сидела дома. Она и радовалась счастью Отчизны, и не могла удержаться от слез...

Отец в День Победы был в горах, но, видно, почувствовало его сердце, какой великий праздник наступил для народа. К вечеру неожиданно для Айкиз он вернулся. Увидев плачущую дочь, нахмурился, постоял с минуту на пороге в тяжком раздумье, подошел к Айкиз и требовательно, с укоризной сказал:

— Нельзя так, дочь, нельзя. Переоденься, пойдем к людям. В такой день надо быть вместе со всеми. Мы разделим общую радость, а люди поймут наше горе... У народа все общее: радость, успех, беда.

За руку он вывел ее на улицу. Их захватил праздничный водоворот, на душе стало легче, к скорби при-

мешалось чистое чувство гордости за братьев, память о которых свято чтили в Алтынсае.

«А как утешал ты меня, отец, когда ушла от нас мать, свет нашего семейного очага!.. Себя же ты утешал неустанной работой в поле, любовью людей, любовью к людям! Люби труд, дочка, учил ты меня, труд делает человека сильным, мудрым. Рыба живет в воде — человек в труде. Люби правду, правда приближает нас к цели. Люби свой народ, всегда будь с людьми, пусть станут они твоей заботой и опорой. Так говорил ты мне, отец, и сам всегда был с людьми. Ты помогал им, а они тебе. Ты был правдив и честен и трудился — всю жизнь трудился — радостно и самозабвенно. Это никогда и никем не забудется. Никем и никогда!»

Айкиз подняла голову, взгляд ее упал на цветы, на травы, привольно разросшиеся вокруг озерца и по берегам ручья. Чем ближе к роднику, тем гуще была зелень, сочнее стебли, крупнее соцветия. Сколько поколений цветов вспоил, вырастил родник! В мае здесь всю землю покрывали желтые и алые тюльпаны, в июне теснились у воды стройные бархатно-лиловые фиалки. Цветы жадно пили влагу и солнечный свет, радовали людей дикой, нетронутой своей красотой и увядали, а родник, маленький и сильный, журчал, журчал, с неизбывным, скромным упорством пробиваясь из-под камня на волю — творить жизнь. Долго ему еще журчать, а когда он иссякнет, люди все равно добром будут вспоминать его, и останется за этим уголком на веки вечные прежнее его имя: Сладкий родник...

«Память народа крепка и благодарна. И ты, отец, будешь вечно жить в народной памяти, и дочь твоя никогда-никогда тебя не забудет, постарается быть достойной твоей наследницей, всю твою жизнь перескажет твоему внуку, который так тебя и не увидит...»

Айкиз вдруг зарделась, смутившись этой мысли о будущем своем сыне. Самой себе боялась она признаться, что в ней уже теплилась слабым, разгорающимся огоньком жизнь еще одного наследника Умурзака-ата. В последнее время у нее часто кружилась голова, к горлу подкатывала легкая дурнота... И сейчас Айкиз пришлось схватиться рукой за камень, что-

бы не упасть. Но она даже обрадовалась своей внезапной слабости: это ее ребенок давал знать о себе. «Отец, бедный отец, ты совсем немного не дожил до того дня, когда исполнилась бы заветная твоя мечта!»

Как мечтал Умурзак-ата о внуке! Как донимал он молодоженов ласковыми, грубоватыми своими шутками! Перед тем как Айкиз и Алимджан поженились, он поехал в город и привез оттуда целую гору игрушек — «чтоб не забывали молодые... хе-хе... о святом своем долге». Он спрятал игрушки в сундук и, когда бывал в веселом настроении, подмигивая Алимджану, говорил со вздохом:

— Ох-ох, придется мне, видно, нести сундук на базар. Посмотри, зятек, тяжел он?

Нет, пригодятся теперь его игрушки, только не он подарит их внуку... Айкиз припомнились последние слова Умурзака-ата: «Наши сердца как цветы: трепещут под первым ветром...» «Вот и отцвело твое сердце, отец... Подул холодный ветер и погасил еще один костер. Как же надо беречь людские сердца от холодных ветров!»

Вдруг Айкиз вспомнила о своем первом и о своем недавнем разговоре с Гафуром, о статье в газете, вспомнила, хотя, казалось, прежде и не заметила этого, как подставлял плечо под гроб с телом отца напыщенный, равнодушный ко всему Султанов. Почему пришло ей это на память, почему воспоминания об отце связались так неожиданно и случайно с этими досадными, неприятными воспоминаниями? И случайно ли?

Спокойней, Айкиз! Пусть мысль твоя обретет привычную трезвую ясность! Ведь это очень важно — понять, как все случилось, с чего началось то, что закончилось так трагически...

Ты не можешь простить себе, что в тот роковой день отпустила отца в поле. В горе люди, потерявшие близких, всегда в чем-то винят себя, растравляя ноющие раны. И ты все повторяешь про себя: «Я не уберегла отца! Не уберегла...» Но подумай, могла ли ты удержать отца дома, в постели? Можно ли удержать человека, страстно желающего доказать свою правоту? Ты бы лучше разобралась, Айкиз, почему, из-за чего, из-за кого пришлось Умурзаку-ата доказывать то, что было так ясно и ему, и тебе, и многим алтынсайцам.

Был план освоения целины. Были у этого плана противники. Была песчаная буря. И появилась статья в газете. И все это можно было свести к одному: была борьба.

А ты знаешь, что такое борьба, Айкиз? Это ведь не только стычка различных идей, различных точек зрения. В борьбу неодолимо вовлекаются человеческие судьбы, и линия фронта проходит через наши сердца. Сражаются армии, сражаются противоборствующие идейные лагери, сражаются несогласные одна с другой группы, а гибнут, страдают, мужают и торжествуют люди, у каждого из которых лишь одно, и не железное, а живое сердце, болью откликающееся на все, что происходит вокруг. Так бывает при любой борьбе, какой бы безобидной ни казалась она на первый взгляд.

Ты сражалась за целину, а в это время у тебя дома случилась горькая, непоправимая беда. Есть ли связь между этими, такими разными, событиями? Есть, Айкиз! И недаром ты вспомнила о Гафуре, Юсуфии, Султанове, который, возможно, стоит за спинами твоих явных противников.

Ты сжала кулаки, уперлась ими в нагревшийся камень и вдруг с холодной ненавистью произнесла: «Убийцы!..» И сама испугалась этой мысли, закрыла глаза ладонью, словно прогоняя страшное наваждение...

Не слишком ли далеко зашла ты, Айкиз, в своих раздумьях? Невольной причиной гибели старого хлопкороба были и те, о ком ты сейчас думала, но, если бы они оказались при твоем разговоре с отцом, если бы знали о его намерениях и о его болезни, они сами помогли бы тебе сохранить отцу жизнь и здоровье... Все это сложно, Айкиз! Помни одно: твой отец пал, как воин в бою.

Верная его памяти, ты продолжишь сражение. У тебя теперь ожесточены разум и сердце. Ты будешь биться еще яростней, расчетливей, чтобы избежать новых жертв, скорей достичь победы, которая принесет дехканам счастье. Ты будешь биться, не жалея сил. Но одной тебе не справиться, Айкиз. Ты знаешь это. Зачем же ты убежала, спряталась от людей, без которых ты как капля дождя в пустыне? Они, может быть, уже ищут тебя, ждут твоего совета, сами собираются что-нибудь делать! Алтынсайцы не из тех, кто

любит сидеть сложа руки. Ты хотела успокоиться? Но нужен ли тебе покой? Тебе сейчас нужно окрепнуть духом, а это приходит только в труде, в борьбе, на людях. «Всегда будь с людьми, дочка,— говорил тебе отец.— Они — забота твоя и опора...» Спеши к ним, Айкиз! Твое горе — это и их горе, их победа и радость будут твоей победой и радостью.

Айкиз поднялась с камня. Да, она должна быть с дехканами, с Погодиным, Керимом, Михри, Бекбутой, Смирновым, старым Халим-бобо. Но сначала она зайдет к Джурабаеву. Напрасно не позвонила она ему в тот вечер, когда прочла статью. Ей ведь есть о чем поговорить с Джурабаевым. Она потребует от него решительных действий, а он подскажет ей, как лучше поступить, предостережет от возможных ошибок, скажет, верны ли выводы, к которым она пришла.

Айкиз освежила лицо водой из родника и зашагала прочь. Долго слышала она за собой самозабвенную песнь ручья, песнь о вечном, неиссякаемом торжестве жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СЛОВО ЗА ДЕХКАНАМИ

В это же утро старый Халим-бобо, поднявшись спозаранок, поспешил в сад, заложенный возле нового поселка. Смерть давнего друга, Умурзака-ата, отвлекла садовода от забот о саде. Надлежало наверстать упущенное.

Халим-бобо шел по пустынной улице нового кишлака, уже ожидавшего новоселов. На улицах, перед кирпичными зданиями клуба и сельсовета, нежно зеленели первые деревья. Их вырастил и пересадил сам Халим-бобо. Как рачительный хозяин, он старался украсить новый поселок зеленью, чтобы порадовать будущих хозяев кишлака. И сад он им подарит такой, что никому не захочется расстаться со своим новым жильем.

Сад оправился от бури. На яблонях, грушах, урюковых и персиковых деревьях распушилась зелень, деревья быстро шли в рост. Напоминанием о буре остались лишь мелкие дырочки на «старых» листьях, изрешеченных, словно дробью, колючим песком.

Деревца еще не обзавелись раскидистыми ветвями,

стволы были еще тонки, и Халим-бобо, используя каждый свободный, незатененный клочок земли, посадил в саду дыни, арбузы, лук, помидоры, пахучие травы. В одном из уголков сада, на маленьком, не больше гектара, участке, рос у него хлопок: Халим-бобо высеял его здесь, дабы доказать маловерам, что и на степной целине при хорошем уходе хлопок будет чувствовать себя не хуже, чем на старых полях. Хотя хлопок этот посеяли поздно, хотя и навалилась на него песчаная буря, но уже зарозовели на кустах первые цветы. Не так давно, когда в саду в последний раз в жизни был Умурзак-ата, Халим-бобо показал ему зацветающий хлопок. Умурзак-ата торжествующе воскликнул:

— Вот видишь!

Халим-бобо тогда не удержался от улыбки. Умурзак-ата говорил с ним так, будто это он, Халим-бобо, сомневался, что на целине может расти добрый хлопок.

Он предложил Умурзаку-ата вместе ухаживать за хлопком на этом участке. С каким удовольствием принял старик это предложение!

— Приходит в дом молодой,— вспомнил он народную пословицу,— берется за работу, а старик — за еду. Не знаю, как ты, дорогой, а я стариком себя не считаю: работе радуюсь больше, чем самому жирному плову.

Он тут же пустил воду из арыка в междурядья и долго не уходил из сада. Его лицо выражало горделивую радость и раздумье...

Не наведается больше Умурзак-ата в этот сад, не придется ему убирать первый целинный хлопок...

А на кустах уже появились белые цветы. «Надо показать хлопок дехканам,— подумал Халим-бобо.— У них спокойней станет на душе». Он решил навестить бригады Бекбуты и Керима, но больше всего ему хотелось похвалиться «своим» хлопком перед Мурадали: после покойного Умурзака-ата он был самым искусным хлопкоробом и самым близким другом Халим-бобо.

Лола еще не приходила; она или была вместе с Айкиз, или возилась в эмтээсовском саду, над которым взяла добровольное шефство. Старик решил не ждать ее, выкопал один из самых крупных кустов

хлопчатника, спрятал его под широкую полу белого халата и зашагал к старым полям...

Туда же этим утром держал путь и Погодин. Он часто сам объезжал полеводческие бригады, выяснял у бригадиров, чем может помочь им МТС, советовался с ними, как лучше и в какое время удобней провести обработку участков тракторами, окучниками, культиваторами.

По дороге на полевой стан Погодин встретил Суванкула. Тракторист, улучив часок, свободный от работы, шел к своему другу Бекбуте посмотреть, как трудится его бригада. Друзья, правда, виделись накануне, на похоронах Умурзака-ата, но там было не до разговоров и тем более не до шуток, а им не терпелось побалагурить, сойтись в дружеском поединке, где оружием служила острая, как клинок, аския.

Погодин остановил свой мотоцикл:

— Садись, Суванкул. Подвезу.

Суванкул окинул мотоцикл критическим взглядом и, вздохнув, пробасил:

— Пожалей свою машину, директор!

— Ничего, ради такого героя я готов рискнуть даже мотоциклом!

— Тогда пожалей меня!

— Ты-то чем рискуешь?

Лицо тракториста расплылось в широкой довольной улыбке. Радуясь поводу пошутить, он пояснил:

— Ведь мне придется нести на себе твою машину, если я попробую на нее сесть!

Погодин, сделав вид, что перепугался, торопливо завел мотоцикл и, махнув Суванкулу рукой, крикнул:

— Не буду испытывать судьбу, еду один. Догоняй.

Мотоцикл быстрей джейрана помчался вперед, а Суванкул широким шагом двинулся следом...

Так получилось, что в то утро, когда Айкиз наедине со своим горем и своими думами сидела у родника, на полевом стане, общем для трех бригад — Мураттали, Бекбуты и Керима,— собрались многие из ее друзей.

Первыми явились сюда Мураттали и Михри. Старик считал, что бригадиру и звеньевой стыдно приходить в поле, когда все остальные дехкане уже в сборе. «Не бригада должна меня встречать, а я — бригаду»,— часто говорил он дочери. Ночевали они не дома, а в Ал-

тынсае, но Муратали по давней привычке чуть свет уже был на ногах. Они пришли на полевой стан даже раньше обычного.

Полевой стан, недавно обновленный, казался островком в море дружно цветущего хлопка. Ближе к краю обширной, с притоптанной травой площадки высилось простое, но красивое в своей простоте строение под легкой шиферной крышей. В одной из его половин, закрытой, размещались обычно дети, которых матери брали с собой на работу. Другая половина напоминала по виду просторную, открытую с трех сторон террасу. Здесь всегда было свежо, уютно, на столах лежали газеты, журналы, книги, от столба к столбу тянулся яркий кумач лозунгов. Позади строения прятался хауз, окруженный ивами, молодыми, но уже дающими тень. Неподалеку лоснился под утренним солнцем ровный, асфальтированный прямоугольник хирмана, где во время сбора складывали хлопок. Перед строением разноцветными огнями горели цветы. Рядом с цветником находилась доска, на которую кнопками прикрепляли свежие номера газет. Сейчас там висела уже успевшая пожелтеть от солнца газета со статьей Уткыра. Михри удалось посмотреть ее только мельком, до конца статью она так и не прочитала, а разговоров вокруг статьи за эти дни не было: о другом думали, о другом говорили алтынсайцы. Теперь же Михри, поджидая колхозников из своего звена, подошла к газете и внимательно прочитала статью. Чем дальше она читала, тем строже, суровей сдвигались ее брови. Наконец широкие их концы слились на переносице в пушистое темное пятнышко.

Муратали, сидя на скамейке, точил кетмень. Дочитав статью, Михри резко повернулась к отцу и, еле сдерживая слезы и возмущение, тихо сказала:

— Отец! И не стыдно вам?..

Муратали положил брусок на скамейку и непонимающе уставился на дочь:

— Ты о чем? Мне, слава аллаху, нечего стыдиться.

Он все еще не опомнился от событий последних дней. Вид его был печален, сосредоточен, задумчив... Он ответил спокойно, без обычной своей ершистости. Но Михри это спокойствие показалось вызывающим...

— Как, отец? В вас и теперь не заговорила совесть? Как же это вы одним говорите одно, другим — другое?

Вы же всегда хвалили Айкиз за то, что она надумала поднять целину! Вы же...

— Постой, дочка! Я ведь и не отказываюсь от своих слов.

Михри приложила пальцы к губам и с каким-то испугом посмотрела на отца. В глазах у нее блестели слезы, слезы обиды, боли, недоумения. Она любила отца за прямоту, за непоколебимую честность, а он, оказывается, способен на лицемерие. Он кинул камень в Айкиз, а теперь прячет руки за спину. Чуть не рыдая, Михри воскликнула:

— Значит, вы не побрезговали заведомой клеветой, чтобы досадить Айкиз, отомстить ей — уж не знаю за что!

Мураталн наконец не вытерпел, раздраженно стукнул кетменем о землю:

— Что ты плетешь! Какая змея тебя ужалила?

— Ложь и клевета страшней змеиного яда! — Михри показала рукой на газету.— Что вы наговорили Уткыру, отец?

Муратали еще не читал газеты со статьей «Псидонима». Он пожал плечами и, успокоившись, ответил:

— Я сказал ему, что ноги моей не будет в новом кишлаке. И тебе говорю: старый халат, пусть с сотней заплат, милей нового...

— Айкиз не заставляла вас переселяться!

— Верно,— миролюбиво согласился старик.— Не заставляла. И не может заставить. Так я и сказал Уткыру.

— Так и сказали? А это что? Тут черным по белому написано,— и Михри вслух прочла: — «Действия Умурзаковой, продиктованные ее административным рвением, осуждают лучшие хлопкоробы Алтынсая. Один из прославленных бригадиров, Муратали, жаловался, что Умурзакова превышает свои права. «Умурзакова гонит нас с земли предков», «Буря чуть не погубила хлопок»,— эти высказывания скупого на слова бригадира звучат как суровый приговор всей деятельности Умурзаковой, не считающейся с интересами дехкан».

Муратали не верил своим ушам. Он подошел к дочери и сам прочел статью. На стане уже начали собираться дехкане. Пришли Керим, Погодин, Бекбута, Халим-бобо, Суванкул... Когда Муратали оторвался от

газеты, он увидел устремленные на него глаза односельчан, строгие, недоумевающие. Михри тоже оглянулась и, опустив голову, прошептала:

— Стыдно перед людьми, отец...

Мураталн растерялся. В первые минуты он не нашелся даже, что возразить. Тем, кто читал статью, бригадир и впрямь мог показаться соучастником, единомышленником недругов Айкиз. Уткыр приводил его слова, и слова эти — или почти такие же, как эти,— действительно были им сказаны. И все-таки то, что написал о нем газетчик, было неправдой — неправдой от начала до конца! Муратали хотел объяснить дехканам, как все было на самом деле, но подумал: «Если дочь мне не верит, поверят ли остальные?» Он обвел собравшихся просящим о доверии взглядом и, заметив в толпе Керима, почему-то решил обратиться к нему.

— Ты читал эту статью, Керим?

Юноша молча кивнул.

— И ты веришь тому, что там сказано обо мне?

— Нет, Муратали-амаки,— твердо произнес Керим.— Я не верю ни одному слову Уткыра.

Муратали облегченно вздохнул и продолжал:

— Ты же знаешь, старый Муратали никогда не кривил душой. Я могу накричать, поспорить, а лгать я не умею, Керим. Ложь — страшнее змеиного яда. Так сказала моя дочь, а слова эти я вложил в ее сердце. Помнишь, Керим, ты пришел ко мне с умным советом, а я прогнал тебя прочь? Так вот, я все-таки сделал, как ты говорил, и не стыжусь в этом признаться. Я всем готов повторять: «Керим — хороший хлопкороб, не грех иной раз послушаться его совета!»

Муратали сейчас не был похож на себя, он не требовал, не ворчал сварливо и несговорчиво, а оправдывался... Он дорожил своим честным именем, ему хотелось убедить всех, что он ничем не запятнал это имя.

— И слышишь, Керим? Слышите, люди добрые? Клянусь своей честью, клянусь честью своих предков, этот длинноногий Уткыр возвел на меня напраслину!

Но Муратали не дали договорить. Из толпы откуда ни возьмись вывернулся Гафур и, встав перед своим бригадиром, неодобрительно покачал головой и произнес елейным, уличающим голосом:

— Ай-яй, дорогой Мураталн... Что же это ты валишь с больной головы на здоровую? Я тебе друг, я очень уважаю тебя, но...— Он повернулся к дехканам и ударил себя кулаком в грудь.— Но правда для меня дороже дружбы! Я и под мечом говорил бы только правду! Я видел — и все видели,— как наш уважаемый бригадир беседовал с уважаемым Юсуфием...

— Он приходил ко мне. Верно. Но...

— Ага! — торжествующе воскликнул Гафур.— Вы беседовали! И если ты наговорил ему бог весть что, так зачем же от этого отрекаться? Ты уж держись своих слов, расскажи нам, за что ты оклеветал мою несчастную племянницу.

— Ты же не слышал, о чем мы говорили, Гафур,— как-то беспомощно произнес Мураталн.— У меня и в мыслях не было того, что приписал мне этот нечестивец...

Гафур язвительно ухмыльнулся:

— Никто и вправду не слыхал, о чем вы толковали. И никому не дано узнать, что у тебя были за мысли. Может, праведные, а может, и нечестивые. Ты не обижайся на меня, дорогой, за правду, но как ты докажешь...

Однако Гафуру не удалось закончить свою обличительную речь. Вперед выступил Погодин. Он дружелюбно улыбнулся Муратали и сказал, адресуясь не столько к Гафуру, сколько к дехканам:

— А Муратали-амаки не надо ничего доказывать. Мы верим ему. Я было подумал сначала, что Муратали-амаки попался на удочку Юсуфия, но если он говорит, что Юсуфий вывернул его слова наизнанку, значит, так оно и было. Я убежден, что этот борзописец, не сумев заручиться поддержкой дехкан, постарался выдать желаемое за действительное.

— Эй, эй, директор! — крикнул Гафур.— Легче на поворотах! Не клевещи на партийную печать!

— Мы уважаем партийную печать,— возразил Погодин,— это наш голос, голос народа. Вот потому-то наш прямой долг — срывать маски с клеветников и газетных лихачей, пробравшихся в редакции и позорящих звание советского журналиста!

— А, директор, ты говоришь так потому, что Юсуфий погладил кой-кого против шерсти.

— Юсуфии выступил по вопросу, в котором и не пытался разобраться. Кто-то, видно, насовал ему за пазуху пустых орехов! В его беседе с Умурзаковой чувствовалась явная предубежденность. Со мной он и вовсе не захотел разговаривать. Он поет с чужого голоса, друзья. Вместо того чтобы поддержать вас в вашем смелом начинании, он бросил камень на дорогу, по которой вы идете к счастливой, зажиточной жизни.

— Верно, Иван Борисыч! — откликнулся из толпы Бекбута.— Уткыр метил в Айкиз, а попал в нас!

— Еще неизвестно, в кого он метил!

— Айкиз вместе с нами всегда для общего дела старалась!

— Она нам добра желает!

— Уткыр писал с закрытыми глазами!

— Не дадим в обиду Айкиз!

— У него очки темные, мешают видеть!

На скамейку вспрыгнул Керим, заговорил, стараясь перекричать расшумевшихся дехкан:

— Да что вы заладили: «Уткыр, Уткыр!» А не приложил ли к этой статье руку наш уважаемый раис? Он вцепился нам в халаты и хочет оттащить нас от целины! Он показывает всем бурю, о которой мы уже и думать забыли, через увеличительное стекло: глядите, мол, какая страшная, дехкане перед ней — букашки!

— Он нас не только бурей стращает!

— Он-то, наверно, и толкнул под локоть этого Уткыра!

— Раису самому страшно, вот он и нас пугает!

— Разве мы слабей и трусливей ферганцев и мирзачульцев?

— Эй, Бекбута! — прогремел раскатистый бас Суванкула.— Ты был в Фергане, видел, какие там кипят бои, вот и провел бы политбеседу с Кадыровым.

— Бекбута, расскажи, что ты там видел.

— Я рассказывал. Там тоже наступают на пустыню. А в пустыне соли — как в шурпе у плохой хозяйки! Ферганцев это не пугает! Я видел хлопок в пустыне. Видел новые кишлаки. Видел сады — там, где недавно рос только камыш, в котором бродили кабаны.

— Уж кабанов-то, верно, распугал наш храбрый Бекбута! — сказал Суванкул, и все расхохотались.

— А помните,— снова вступил в разговор Керим,— помните, что говорил нам Джурабаев об освое-

нии Голодной степи?.. На штурм Мурзачуля двинулись герои-дехкане из Ташкента, из Кашкадарьи и Сурхандарьи, из Ферганы и Самарканда! Им тоже пришлось не сладко. А теперь недавние пустыни превратились в хлопковые поля, в цветущие сады, и живут новоселы так, что позавидуешь! И верно тут кто-то сказал: что же, мы хуже других, что ли?

— Михри! — одернул дочь Мураталн.— Что ты на него так уставилась? Срам!

А со всех сторон уже неслись взволнованные выкрики:

— Это только Кадыров считает, что мы хуже!

— Уткыр и Кадыров забыли, видно, о подвигах наших соседей...

— Дырявая у них память!

Погодин поднял руку, призывая дехкан к тишине:

— Спокойней, спокойней, друзья! Мы так размитинговались, что нас, наверное, в горах слышно. Значит, вы думаете, что у Кадырова плохая память? А по-моему, дело посерьезней. Еще в прошлые годы я предлагал ему подумать о механизации большей части полевых работ. Кадыров тогда возражал: у нас, мол, земли с ладонь, зачем нам механизация, зачем бить из пушек по воробьям? Обойдемся и кетменем, это штука надежная, проверенная. Кетмень кормил наших дедов и прадедов, кетмень помогал им выращивать первосортный хлопок. Об этом, как видите, Кадыров помнит! Теперь же, когда говоришь с ним об освоении новых земель, он начинает плакаться: сил у нас мало, рабочих рук не хватает. В каждом из этих случаев возражения раиса как будто и резонны. Если мало земли, то и впрямь не к чему расходовать на нее технику. Слабоват колхоз — так ему, конечно, не до целины! А сшибите-ка лбами эти высказывания Кадырова — и вы убедитесь, что он сам себе противоречит! Земли мало? Так осваивай новые! Рабочих рук не хватает? Так добавь к их силе стальную мускулатуру техники! Если поднатужимся, друзья, и поднимем в этом году целину, в будущем я двину на ваши поля всю эмтээсовскую технику. Тогда вы увидите, как мудро и предусмотрительно мы поступили, подготовив под хлопок новые земли! Мы соберем невиданные урожаи. А кетмень, за который так держится раис, сдадим за ненадобностью в музей.

— Туда ему и дорога!

— Скорей бы, директор!

— Пускай раис приходит в музей любоваться кетменем!

— У него-то небось не болят плечи после работы...

— А мы изберем другого раиса, тогда и Кадыров хлебнет лиха.

— Верно! Засиделся он в председателях.

Погодин замахал руками, успокаивая дехкан, и с улыбкой предупредил:

— Не горячитесь, друзья. Такие дела с маху не решаются. Вы это обсудите между собой, обдумайте, закиньте аркан подальше!..

Но Погодина, на правах старшего, перебил молчавший до сих пор Халим-бобо:

— Чего же тут думать, сынок? Дехкане смотрят в одну сторону, а председатель — в другую. Мы однажды хотели с ним распроститься, да нас уговорили повременить. Сам раис тогда бил себя в грудь, клялся горой стоять за новое! Помнишь это собрание? Нынче новое опять подпирает, а раис, забыв о своих клятвах, снова пятится от него, как рак... Я старик, я многое видел в жизни, я дал бы нашему раису три совета. Я бы сказал ему: сидя на верблюде, гляди вперед, а не назад. Не отбивайся от народа, без него ты как рыба без воды. Одна лошадь пыли не поднимет, а поднимет, так похвалы не дождется. И еще бы я ему сказал: пока не поздно, уступи свое место другому, а себе попроси работу по силам.

— Верно, Халим-бобо!

— Спасибо за мудрые слова!

Погодина радовала горячность дехкан, радовала готовность защитить от клеветы тех, кого они считают правыми. Радовала уверенность в своих силах — уверенность хозяев, подлинных хозяев колхоза. Погодин не предполагал, что они так ожесточены против Кадырова. Об этом следует сообщить Джурабаеву. А сейчас надо подсказать дехканам, как отвести угрозу, нависшую над планом освоения целины. Он подождал, пока уляжется шум, и спокойно посоветовал:

— Как поступить с председателем, вы потом решите. Давайте подумаем, как добиться, чтобы этот вот выстрел,— он кивнул на газету,— оказался холостым.

— Напишем опровержение!

— Пусть наш парторг пойдет к Джурабаеву и скажет ему, что думает народ об этой статье.

— Где Алимджан?

— Он у себя в бригаде.

— Идемте к Алимджану!

— Так все сразу и пойдем? — засмеялся Погодин.— А может, поручим это двум-трем дехканам, а остальные примутся за работу? Вон где солнце-то!

Мураталн посмотрел на небо, озабоченно сдвинул брови и шагнул к дехканам из своей бригады:

— Директор дело говорит. Пора за работу.

— А кто пойдет к Алимджану?

— Бекбута.

— Керим!

— Иван Борисыч!

— Халим-бобо!

— Муратали-амаки!

— Нет, я не пойду,— возразил Муратали,— у меня и в поле дел хватит. Пусть идет Бекбута, он партийный. Я присмотрю за его участком. Пусть Иван Борисыч идет. И Халим-бобо.— Он обернулся к садоводу и строго молвил: — Ты про все расскажи Алимджану. Потребуй, чтобы они с Джурабаевым пристыдили Псидонима Уткыра. И пускай Уткыр напишет это самое... как оно зовется... провражение.

— Опровержение, Муратали-амаки,— поправил его Погодин.

— Я и сказал: опровражение.

Халим-бобо лукаво усмехнулся и зачем-то потрогал халат на груди.

— А оно уже есть, дорогие.— Он достал из-за пазухи куст хлопка и, как знамя, поднял его над головой.— Вот оно — опровержение! Это, дети мои, целинный хлопок.

Радость и восхищение загорелись в глазах Погодина.

— Вот мы и отдадим его Алимджану, а он Джурабаеву. Это лучшее из всех опровержений! А разве это,— он показал на хлопковые поля, где кусты были уже по колено, а от цветов рябило в глазах,— разве эти поля не опровержение?

Бекбута подмигнул дехканам, потряс в воздухе кулаком и воскликнул:

— Богатырская сила наших дехкан — тоже опровержение!

Дехкане начали расходиться по своим участкам. Погодин отвел в сторону Муратали, а потом Керима и о чем-то посовещался с ними. Бекбута, распределив работу среди дехкан из своей бригады, поискал Суванкула, нагрянувшего к нему «в гости» в такое неурочное время.

Тракторист, чуть нагнув крутые плечи, уперев в бока огромные кулачищи, стоял у доски с газетой и читал статью. Читал он ее впервые. До этого только слышал о ней краем уха и потому, шумя, протестуя и негодуя вместе со всеми, чувствовал себя неловко: что ж это он шумит и возмущается статьей, которую в глаза не видел? В разгар общего разговора о статье, о целине, о Кадырове он, нахмурившись, подошел к газете. За что ни брался Суванкул, все он делал увлеченно и в то же время не спеша, сосредоточенно. Статью он тоже читал вдумчиво, забыв обо всем, шевеля губами, как школьник, заучивающий наизусть трудное стихотворение. Он настолько забылся, что не заметил даже, как закончился стихийно возникший митинг.

Бекбута подкрался к Суванкулу и хлопнул его по плечу ладонью. Тракторист вздрогнул от неожиданности и оглянулся растерянно и оторопело...

— Ай, какой ты стал нервный, Суванкул,— сочувственно произнес Бекбута,— какой пугливый! До тебя и дотронуться нельзя. За что только тебя называют богатырем? Сердце у тебя прыгает, как у зайца, загнанного охотником...

Дехкане, оказавшиеся поблизости, встретили шутку Бекбуты одобрительным смехом. Смех этот подстегнул Суванкула, тракторист посоветовал:

— Не выкраивай мне рубаху по своей мерке, Бекбута. Не тебя ли я испугался? Да ты сам из тех героев, у которых, стоит вспорхнуть воробью, выскакивает на губах лихорадка.

— Какой храбрец! — с ироническим изумлением воскликнул Бекбута.— А положишь ему руку на плечо, так он дрожит всем телом.

Но и Суванкул не полез за словом в карман:

— Я думал, что это муха села. Хотел ее согнать.

Смотрю, а это болтун Бекбута, который работает больше языком, чем руками!

Бекбута самодовольно надулся:

— Э, друг, вы там, на целине, потому и спите так спокойно, что я тут тружусь, как вол! Пока я жив — можешь опираться на меня, как на гору.

— Спасибо, Бекбута. Ведь на гору способен опереться только великан.

— До великана тебе далеко, дорогой друг,— вздохнул Бекбута, смерив тракториста скептическим взглядом.— Ты больше похож на медлительный верблюжий караван: путь, какой ты проделаешь за месяц, я успеваю пройти за день.

— И, как пулемет, выпаливаешь за день столько слов, сколько другому хватило бы на месяц!

— Верно, дорогой. Я успешно справляюсь и с этой нагрузкой. Не то что ты: пока выжмешь из тебя четыре слова, лето уже сменяется осенью.

У друзей хватило бы пороха на долгий словесный поединок. Это были люди веселой богатырской силы. Они могли шутить даже в самые горькие или серьезные минуты. Погодин позвал Бекбуту:

— Закругляйся, бригадир! Идем к Алимджану.

— Ты не обождешь меня? — спросил Бекбута Сування.— Я скоро.

— Нет, дорогой, пора работать. Я не такой лодырь, как ты.

Довольный, что последнее слово опять осталось за ним, Суванкул повернулся к Бекбуте спиной и отправился восвояси, а Бекбута, Халим-бобо и Погодин по тропинке, пересекающей хлопковые поля, двинулись на участок к Алимджану.

Они рассказали ему о стихийном митинге алтынсайцев, передали их просьбу: известить обо всем Джурабаева, настоять на разборе этой истории со статьей и на привлечении клеветников к партийной ответственности.

Алимджан задумался. Он стоял перед Погодиным, покусывая губы, брови его, сросшиеся на переносице, нависли над глазами сплошным черным карнизом.

— Что тут думать, Алимджан! Пока осторожный рассчитывает, решительный свершает задуманное. Бери свой мотоцикл и дуй в район.

— Понимаешь, Иван Борисыч...

— Нет, не понимаю.

— Видишь ли, в чем дело... Я ведь, в сущности, должен защищать Айкиз?

— В статье говорится именно о ней, и именно за нее хотят вступиться дехкане. А ты как партийный руководитель обязан потребовать от их имени, чтобы все, что насочинял Юсуфий об Айкиз, было всенародно признано клеветой.

Алимджан мялся.

— Так-то оно так... Но для дехкан Айкиз председатель сельсовета, а мне она — жена.

— Жена-то, сынок, родней всех на свете,— заметил Халим-бобо.— Жена тебе самый близкий друг. А за друга ты должен в огонь и в воду...

— А потом тот же Юсуфий напишет, что партийный секретарь колхоза «Кызыл юлдуз» выступил в роли адвоката собственной жены!

— Пусть напишет! — разозлился Погодин.— На каждый чих не наздравствуешься. Народ поверит тебе, а не ему. Статья-то клеветническая?

— Что ты на меня кричишь? Ну, клеветническая. Так не в этом же дело.

— Только в этом! А все остальные соображения — побоку. Защищая Айкиз, ты выступишь не как адвокат, а как друг и как принципиальный коммунист, которого должна возмущать любая клевета, кого бы она ни касалась.

— Меня и так уже обвинили в семейственности.

— Кто обвинил-то? Партия? Товарищи? Клеветник же и обвинил, а ты перепугался. Выходит, если на меня кто поклеп возведет, ты тоже от меня шарахнешься? Мол, Погодин мне друг, как бы не сказали, что я защищаю его из дружеских чувств. А дружеские чувства — великое дело! И если друг твой неправ, ты из дружеских чувств обязан осадить его. А если прав, дерись за него, как лев! Так я говорю, Халим-бобо?

— Твоя правда, сынок. Жизнь наша вся на дружбе замешена. Есть, дорогие, старая восточная притча. Спросили одного мудреца: «Что дороже золота?» — «Дружба»,— сказал мудрец. «А что крепче железа?»— «Дружба»,— снова сказал мудрец. «А что сильнее бури?» И мудрец воскликнул: «Дружба сильнее бури». Так за кого же еще и драться, как не за друзей?

— И еще учти, Алимджан,— вставил Погодин,—

статья бьет не только по Айкиз. Смотри на это дело шире!

Алимджану ничего не оставалось, как согласиться. Он и сам начинал понимать, что его щепетильность может быть истолкована как трусость — трусость равнодушного. А он не был ни равнодушным, ни трусливым.

Когда они возвращались на полевой стан, где Погодин оставил свой мотоцикл, Иван Борисович тронул Алимджана за локоть:

— Отстанем немного, ты мне нужен на два слова.

— Опять будешь распекать? — засмеялся Алимджан.— Я все, все понял, Иван Борисыч!

— Все ли, Алимджан? Ты прости, что я вмешиваюсь в твои семейные дела. Но мне кажется — обижаешь ты жену...

— Чем же это?

— Своим невниманием. Мне Лола рассказывала: когда Айкиз подолгу не видит тебя, ходит — словно в воду опущенная. А не видит она тебя порой целыми сутками. Где она сейчас?

— Она всю ночь не спала, просидела у окна... Утром я зашел к ней, а ее уже нет... И в сельсовете тоже нет..

— Эх, ты! Сам-то небось спал, как сурок?

— Я на ногах еле держался. Сам понимаешь: такой был день...

— А я бы не смог уснуть,— задумчиво и как-то мечтательно проговорил Погодин,— и подолгу не видеться с Лолой тоже не смог бы. И нигде не задерживался бы, если бы договорился с ней о встрече. Вот женимся — только о ней, кажется, буду думать...

— А работа?

— И работать станет легче!

— Смотрю я, Иван Борисыч, крепко же ты влюблен в Лолу! Повезло сестренке.

— А ты уже не любишь Айкиз?

— Что ты, Иван Борисыч! — Алимджан покраснел и, доверительно взяв Погодина под руку, признался: — До сих пор влюблен! Как мальчишка...

— Только стесняешься проявлять свои чувства? Боишься уронить мужское достоинство?

— Да нет...— Алимджан крепко потер ладонью затылок.— Дел до черта! Как уйдешь в них, обо всем забываешь.

— Так... Не дружат, значит, у тебя личное и общественное. А когда ты в докладах призываешь к слиянию сих начал, наверное, соловьем разливаешься? Говорить-то ты умеешь красно, складно.

— Погоди, Иван Борисыч! Вот ты, положим, обещал Лоле встретиться с ней в два часа ноль-ноль минут. А у тебя — дела. Что же, ты бросишь все и побежишь к своей невесте?

— Нет. Постараюсь управиться со всем побыстрее и не побегу, а полечу! Ведь у Айкиз, Алимджан, дел не меньше, чем у тебя. Но у нее почему-то остается время и на встречи с тобой и на тоску, когда тебя нет...

Алимджан молчал. А когда они пришли на полевой стан, он бросился к мотоциклу, торопливо завел его и помчался в район к Джурабаеву.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

НА СЕРДЦЕ СВЕТЛЕЕТ

Быстрый Байчибар — огонь и ветер! — одолел путь до района часа за полтора. Айкиз прибыла в райком как раз вовремя: Джурабаев уже был на месте и еще не успел никуда уехать.

В приемной Айкиз столкнулась с Султановым. Он вышел от Джурабаева с толстым роскошным портфелем под мышкой, хмурый, озабоченный. Но едва он заметил Айкиз, на его лице, словно он нажал какую-то кнопку, вспыхнула начальственно-благожелательная улыбка:

— А, Умурзакова! Салам алейкум!

Айкиз молча кивнула и хотела уже было пройти в кабинет Джурабаева, но Султанов задержал ее:

— Куда торопишься? Джурабаев от тебя не уйдет, он, как говорится, всегда на посту. А мне надо с тобой потолковать.

— А мне надо потолковать с Джурабаевым.

— Ай, колючка ты, Умурзакова! Впрочем, грех на тебя обижаться, у тебя неприятности, а они ожесточают сердце...

— Неприятности? — тихо, с затаенной враждебностью переспросила Айкиз, которой казались кощунственными и улыбка Султанова и его равнодушно-бойкие слова.

— Ну прости, не так выразился. Я глубоко сочувствую твоему горю. Все скорбят вместе с тобой. Ты видела: на похоронах твоего отца было все руководство района!..

Айкиз взглянула на Султанова так гневно, что тот отступил, улыбка его на мгновение сделалась оторопелой, растерянной... Но он тут же взял себя в руки, лицо его приняло официально строгое выражение, и, уже не улыбаясь, Султанов сухо сказал:

— Вот что. Как председатель райисполкома, я имею право требовать отчета у своих подчиненных. Мне надо поговорить с тобой. Я не уверен, что ты, как председатель сельсовета, правильно понимаешь свои функции. Пресса уже сигнализировала об этом. После Джурабаева зайдешь ко мне. Я буду в райисполкоме.

Еще крепче прижав к себе портфель, он резко толкнул дверь в коридор. Айкиз, стиснув зубы от негодования, прошла к Джурабаеву. Джурабаев встал из-за стола, поздоровался, заботливо усадил Айкиз в кресло напротив своего стула и, заметно волнуясь, ероша короткие волосы, проговорил:

— Это хорошо... Хорошо, что ты пришла. Я знаю, как тебе тяжело, Айкиз. Но я был убежден, что ты придешь. Нам о многом надо поговорить и подумать. Верно?

— Да...

— Хорошо, что ты нашла в себе силы прийти в райком! — повторил Джурабаев.— Ты хочешь знать мое мнение о статье Юсуфия?

— Мне совет ваш нужен. Только не думайте, что я пришла за заступничеством!

Джурабаев усмехнулся:

— Заступничество! Глупое слово, Айкиз. Когда в дни войны враг пытался прорвать линию фронта на каком-нибудь одном участке, мы все вместе отражали его напор. И это не называлось заступничеством. Это называлось чувством локтя, взаимной выручкой. Хочу заранее ввести тебя в курс дела: статью мы в райкоме уже обсудили, поддержка тебе будет оказана. Я говорил с редактором, на днях они дадут мою статью, которая, надеюсь, окажется убедительным противовесом грязной кляузе Юсуфия.— Джурабаев снова поднялся и, расхаживая по кабинету, в каком-то сердитом недоумении произнес: — Черт их знает, как они решились

действовать через голову редактора? Как отважились выступить с материалом, в котором есть выводы и, по сути дела, нет фактов! На что они надеялись? Кому хотели пустить пыль в глаза?

— Я тоже этого не понимаю. Не понимаю, что делает их такими резкими и решительными.

— Решительными или наглыми?

— Нет, решительными. Наглость — это другое... У них же есть уверенность в своих силах.

— Или ощущение своего бессилия? Мне думается, этот последний их шаг — от бессилия, от отчаяния. Быку, говорят, перед убоем и топор не страшен. Все другие средства испробованы и не дали пока нужного результата. А отступать нельзя. Поздно уж отступать. Вот они и ухватились за эту статью, как утопающий за змею...

Джурабаев не мог долго оставаться в одной позе, в одном положении. Жесты его были щедрыми, резкими, красноречивыми, черные горящие глаза придавали лицу энергичное выражение, а подвижные морщинки вокруг глаз то темнели, то лучились добротой, то снова выражали строгость, серьезность или вдумчивость.

— Ты посмотри, на кого ссылается Юсуфий,— продолжал Джурабаев.— Кто этот Молла-Сулейман? Не тот ли любитель пиров, который в трудную минуту бросил свою бригаду и ушел на поминки?

— Тот самый. Колхозники давно требуют снять его с бригадирства, но Кадыров и слышать об этом не желает.

— Это и понятно: для колхозников он бездельник, а для Кадырова, видимо, союзник. А союзников у него не так-то уж много, надо их беречь, надо им потрафлять. А что представляет собой Назакатхон? Мне правленцы жаловались, что секретарша она никудышняя. Кто рекомендовал ее на работу?

Айкиз покраснела.

— Я сама рекомендовала ее Кадырову.

— Ну вот! Нашла кого рекомендовать!

— Она расплакалась у меня в кабинете...

— И разжалобила тебя? Ай, Айкиз! Основанием для рекомендации должны все-таки служить не слезы, а деловые качества человека. Ты до этого хорошо знала Назакатхон?

— Она, по-моему, неплохая девушка. Веселая, добродушная, общительная. Не понимаю, что побудило ее написать письмо в редакцию.

— Что или кто? Ты пробовала в этом разобраться? Эти твои «не понимаю» меня не устраивают, Айкиз! Назакатхон, кажется, дочь Аликула, председателя совета урожайности. Что ты о нем можешь сказать? Прошлое у него, я слышал, с пятном?

— Не судить же о людях по их прошлому.

— А я этого и не говорю.

— Аликул работник опытный и добросовестный. Он у нас на хорошем счету.

— А не слишком ли ты доверчива, Айкиз?

— Н-не знаю...

— Кстати, почему ты не пришла ко мне сразу после разговора с Юсуфием? Ведь он же говорил с тобой?

— Говорил. Но я не поняла, куда он клонит. Правда, тон у него был, как у следователя, которому все уже ясно.

— И это тебя не насторожило? — Джурабаев покачал головой.— Как ты еще неопытна, Айкиз! Ты ведь и сама во многом виновата. Об одном не предупредила, на другое не обратила внимания, в третьем проявила излишнюю доверчивость...

Айкиз испытывала странное ощущение. Джурабаев, в сущности, распекал ее — мягко, но достаточно требовательно и даже придирчиво, не обращая внимания на ее подавленность. Он упрекал, винил, выговаривал, и — удивительное дело! — чем больше распекал ее Джурабаев, тем большее она чувствовала облегчение. Слова его, в которых не было снисхождения к ее горю, пробуждали в ней силу, бодрость, спокойствие. Она распрямила спину, выше подняла голову, а в глазах ее светилась живая заинтересованность.

— Значит, вы думаете, что Назакатхон действовала по чьему-то наущению?

— Определенно! Я убежден, что и Юсуфий подставное лицо.

— Кто же тогда писал статью?

— То есть чья рука водила пером Юсуфия? А кому, по-твоему, выгодна эта статья? Кому не по душе наша «затея» с освоением целины? Султанову, Кадырову и их подпевалам. Они и организовали статью, в этом я ни на минуту не сомневаюсь!

— Султанов был у вас сегодня?

— Был. И пытался отстаивать некоторые положения статьи. Он считает, что ты превышаешь полномочия, которые дает тебе твоя должность. Сельсовет, мол, не министерство, не райком, не правление колхоза, у сельсоветчиков свои заботы, свои «специфические» функции, и не их дело заниматься экономическими, производственными вопросами. Он так и сказал: «Умурзакова сует нос не в свое дело, и молодец Юсуфий, что вовремя ее одернул».

— Вот как! Значит, я должна только разбирать жалобы и прошения да заботиться о благоустройстве кишлаков?

— Ты?.. В том-то и дело, что не только ты. Стараясь искусственно ограничить твои права и задачи, Султанов думает прежде всего о себе. Он и с райисполкома хотел бы сложить часть забот и обязанностей. Больше почета, меньше ответственности — вот его идеал! Но народ, выбирая лучших людей в сельсоветы, в райсоветы, не только оказывает им уважение и доверие, он делает их своими слугами. А служить народу — это значит всем интересоваться, все предпринимать, чтобы людям жилось краше и лучше! Только так можно оправдать доверие народа.

— Султанов велел мне зачем-то зайти к нему.

— Сходи. Он, пожалуй, тоже пожелает как-то откликнуться на им же организованную статью. Возможно, сообщит в редакцию, что им «приняты меры». Это придало бы статье некоторую солидность. А «принять меры» — это значит сделать тебе соответствующее внушение. Что ж, поговори с ним. Держись смело и уверенно. И обязательно дай мне знать, что он там замышляет. Черт побери, с такими людьми всегда так: закатываешь рукава для честной, открытой, принципиальной борьбы, а тебя втягивают в интриги...

Джурабаев пристроился на подоконнике, достал папиросу, закурил. Дым сизой струйкой потянулся на улицу. Перед самым окном покачивалась тяжелая яблоневая ветка. Яблоки еще не созрели, но были уже размером не меньше чем с яйцо. Джурабаев высунулся, сорвал яблоко, надкусил, поморщился:

— Кислятина! Тебя не буду угощать, пощажу.

Айкиз задумалась и даже не слышала шутки Джурабаева.

— Я вот в чем никак не разберусь...— медленно произнесла она.— Что заставляет их так упорно сопротивляться нашим планам? Искренни они или кривят душой?

— Видишь ли...— Джурабаев спрыгнул с подоконника, пододвинул стул и сел рядом с Айкиз.— В какой-то мере они искренни. Они искренне хотят жить без лишних хлопот.

Айкиз с сомнением покачала головой:

— Так все просто?

— Нет, все, конечно, гораздо сложнее! Они ловко маскируют причины своего сопротивления. Они и себя обманывают, прикрываясь вескими на первый взгляд аргументами. Преувеличивают трудности, возникающие при каждом начинании. Этими объективными трудностями запугивают и других и себя. Но если все упростить, привести к общему знаменателю, то две основные противоборствующие позиции можно будет определить так: жизнь для народа — и жизнь для себя.

— Кадыров ведь много сделал для колхоза. И сейчас старается вывести его на первое место.

— Во-первых, напрасно ты апеллируешь к прежним заслугам Кадырова. Ты видишь в нем одного из основателей колхоза, самоотверженного, бескорыстного борца за народное счастье. Я тоже давно знаю Кадырова. Он был умелым руководителем. Был! Но сейчас-то он уже другой. Он зазнался. Он мнит себя не слугой народа, а этаким благодетелем. Он уже требует плату за свои старания: славу, почет, определенные привилегии. Как говорится, оторвался от масс, больше считается со своим мнением, чем с мнением колхозников. К нему теперь не подступись: он — «хозяин» колхоза! И ему нравится быть хозяином! Он начинает жить для себя, работать не на благо народа, а в угоду своему тщеславию и властолюбию, которое подогревают в нем мелкие людишки, льстецы, подхалимы или дарящие его своей благосклонной дружбой «высокие покровители» вроде Султанова.— Джурабаев замолк, видимо, подыскивая нужные слова для характеристики Кадырова. — Да, он работает, не сидит сложа руки, в этом ты права. Но жить для себя — это не значит предаваться сладкой лени. В последние годы трудится он вполсилы. Цели у него ограниченные. Благодетели любят оказывать благодеяния такие, чтобы не очень себя об-

ременять: и за то, мол, скажите спасибо. Главное для Кадырова — формальное выполнение плана: и совесть спокойна, и от критики застрахован. Он может даже перевыполнить план, чтобы заслужить почет от дехкан, похвалу от районного и областного начальства! Но план-то он вымаливает для себя заниженный, перевыполняет его всего на несколько процентов. Большего ему и не нужно. Не колхозу не нужно, а именно ему, Кадырову.

Мне как-то рассказывали об одном силаче, спортсмене-тяжелоатлете,— усмехнулся секретарь райкома.— Хитрющий был товарищ! Каждый год он устанавливал новый рекорд и превышал прежний, принадлежавший ему же. И упивался овациями, портретами в газетах, денежными вознаграждениями. У него достало бы сил выжать сразу десять килограммов сверх прежнего рекорда, а он выжимал в год по килограмму. Расходовал силы осторожно, расчетливо, соблюдая свою корысть. Так было и спокойней и доходней. Вот этого тяжелоатлета напоминает мне Кадыров. Казалось бы, есть за что его похвалить: вчера его колхоз дал хлопка больше, чем позавчера, а сегодня больше, чем вчера. Под мудрым руководством своего раиса колхоз идет вперед. Хвала и честь раису! Но что за шаги у колхоза? Не широкие и смелые, а мелкие, осторожные. По принципу: тише едешь — дальше будешь.

Айкиз в знак согласия кивнула головой. Джурабаев заметил это и с твердой убежденностью продолжал:

— От борьбы за новое Кадыров отгородился успокоительной отговоркой: «Раньше было хуже». А дехкане считают, что и сейчас они живут не так, как могли бы! Они не хотят оглядываться назад, их взоры, сердца, мысли устремлены в будущее! Да, несколько лет назад в Алтынсае совсем не было хлопка. Да, жизнь была не такой зажиточной, как теперь. И это великолепно, что колхоз изо дня в день наращивает богатство! Но наращивает понемногу, медленно, хотя, высвободив из-под спуда скрытые резервы, он в силах был бы собирать урожаи не на три-четыре процента, а в три-четыре раза больше прежних! Освоение целины плюс широкое использование техники плюс правильная организация труда — все это дало бы нам возможность сделать большой бросок вперед, намного приблизить то будущее, о котором мы пока говорим как о «далеком», но которому не всегда же быть будущим! А Ка-

дыров уговаривает людей устроить привал. Вот и посуди, о ком он больше думает: о народе или о себе?

— Но, может, он боится риска? У него, видно, нет той уверенности в успехе, которая есть у нас.

— Он не риска боится, он боится, что ему в случае неудачи шлепнут выговор, а то и вообще лишат председательского места, председательских привилегий. Он осторожен из побочных соображений. Если бы он думал о пользе дела, он пошел бы и на риск! Вот ты — ты ведь не боишься, что провал нашей «затеи», как называет ее Кадыров, может навлечь неприятности лично на тебя?

— Если нужно будет, я готова принять на себя любые удары. Только я верю в удачу. Ведь освоением алтынсайских земель мы отвечаем на призыв партии и правительства. Нас поддержат в Ташкенте, обязательно поддержат!

— И я в это верю. Твердо верю, хотя и сознаю, что порой нам может быть очень туго. Жизнь вокруг нас бушует светлым, искрящимся потоком, но и на чистой волне еще вскипает иногда мутная пена. Ведь сознание иных людей еще не освободилось от накипи прошлого. Нам придется бороться и за них и против них, тратя на это немало сил, даже неся потери... Но у нас есть нержавеющее, разящее наповал оружие — ясность цели, сознание собственной правоты. У нас мудрый, испытанный, видящий далеко вперед полководец — партия. Мы частица непобедимой армии — народа. Уж он-то знает, кто ему друг, а кто враг, что для него хорошо, а что плохо. Я разговаривал недавно с колхозниками из «Кызыл юлдуз»... Да ведь ты была при этом разговоре! И знаешь, очень мне понравилось настроение алтынсайцев, их энтузиазм, боевитость. Как трезвы их суждения, оценка происходящего! Из таких разговоров извлекаешь для себя много, неоценимо много полезного.

— Отец всю жизнь учил меня: всегда будь с людьми. Отец... Как я теперь без него?

— Только не плачь, Айкиз. Не надо плакать.— Джурабаев, как ребенка, погладил ее по голове.— Всегда думай, всегда помни об отце! Но не падай духом. Будь достойна своего отца, Айкиз!

— Я... я никак не могу поверить, что его нет... Даже домой страшно возвращаться!

— Ты не одна, Айкиз. С тобой друзья.

Айкиз ушла от Джурабаева, приободренная его простыми, задушевными словами. Ей казалось, что перед ней старший брат. «Помни, Айкиз,— говорил он,— партия подняла народ на великое дело — расширение земель под хлопок. А любое великое дело побеждает в борьбе. И грязная статейка Юсуфия лишь подтверждает извечную истину: старое, отживающее всеми силами мешает становлению нового в жизни». Эти слова Джурабаева, его дружеская откровенность помогли ей поиному взглянуть на людей и события. Мысли обрели четкость, целеустремленность. Ей уже не терпелось попасть в Алтынсай, приняться за дела, которые она запустила, пройтись по полям, побывать на целине, в новом поселке. Вот только голова опять кружилась, как на рассвете, когда она сидела у родника...

Айкиз вышла на крыльцо и встретилась... с Алимджаном! Он только что спрыгнул с мотоцикла и, увидев жену, радостно и удивленно воскликнул:

— Айкиз!

Айкиз медленно спустилась к нему по каменным ступеням.

— Ты зачем сюда, Алимджан?

— А я так искал тебя, Айкиз! Мы все там из-за тебя переволновались. Ты от Джурабаева? А я к нему. Понимаешь, наши дехкане устроили сегодня коллективное обсуждение статьи Юсуфия и послали меня к Джурабаеву: скажи, мол, что мы не дадим в обиду нашу Айкиз!

Алимджан говорил возбужденно и сбивчиво, с необычной для него горячностью, а смотрел виновато, ласково...

— Ты сегодня не ходи к Джурабаеву.

— Обязательно пойду! Мне поручили добиться, чтобы райком принял меры и клеветникам дали по рукам!

— Алимджан, друг ты мой верный...— тихо, благодарно сказала Айкиз.— Любимый мой... Ты не беспокойся, Джурабаев сам сделает все, что нужно. А я... а мне...— Она вдруг пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за плечо Алимджана.

— Что с тобой, Айкиз?

— Ничего... Это пройдет. Просто я устала... и потом...— Она глубоко вздохнула и, доверчиво прильнув

к мужу, зашептала ему то, что порывалась рассказать уже несколько дней.

Лицо Алимджана расплылось в глупой, счастливой улыбке:

— Айкиз! Это правда?

— Тише, Алимджан... Не надо больше об этом...

— Так едем, Айкиз. Я лишь на минутку заскочу к Джурабаеву. Просто скажу, что приеду завтра... Ведь о поручении нельзя забывать даже в такой счастливый час. Ты позволишь, любимая, на минутку отлучиться?

— Ты всегда у меня такой, Алимджан, мой единственный,— улыбнулась Айкиз.— Иди, у меня тут тоже дела. Султанов просил зайти.

— Никаких Султановых! Посмотри, какая ты бледная. Тебе надо отдохнуть, отлежаться. Хочешь, я на руках отнесу тебя в Алтынсай?

Айкиз слабо улыбнулась:

— Нет, лучше поедем... Иди, я жду тебя...

Вскоре Алимджан уже сбегал с крыльца:

— Садись на мотоцикл и держись за меня крепко-крепко. Джурабаев такой замечательный человек, такой...

И, не досказав, какой замечательный человек секретарь райкома, Алимджан бережно усадил жену на сиденье, уселся впереди сам, и мотоцикл помчал их в родной Алтынсай.

— А как же Байчибар? — вдруг воскликнула Айкиз, когда они уже выезжали на дорогу.

— Давай вернемся и оставим его у кого-нибудь в поселке,— предложил Алимджан,— завтра я ведь буду здесь и заберу...

В этот раз мотоцикл изменил своему горячему, вихревому нраву: послушный заботливым рукам Алимджана, он двигался медленно, осторожно объезжал выбоины,— казалось, он плыл по дороге...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

КАДЫРОВ СКЛАДЫВАЕТ ОРУЖИЕ

Кадыров вернулся из района злой и угрюмый. Словно раненый медведь, забился он в беседку, высившуюся посреди двора возле арыка, и крикнул жене, чтобы принесла закуски и водки. Это убежище, где любил отдыхать и пиршествовать Кадыров, не было беседкой в

полном смысле этого слова: просто с двух сторон супы в землю были вкопаны высокие колья, на них положены рейки, и этот деревянный остов оплетали виноградные лозы, образуя над супой открытый с двух сторон зеленый шатер.

Далеко было Кадырову до Султанова! И двор у него меньше, и дом попроще, и дворовые постройки бедней, бесхитростней. Правда, после войны раис перестроил свою усадьбу: сломал старое жилище, на его месте возвел новый четырехкомнатный дом из жженого кирпича под шиферной крышей. Подновил подсобные помещения, дувал сделал повыше, соорудил беседку. Пока во всем Алтынсае не было дома и двора лучше, чем у Кадырова. И все-таки до Султанова Кадырову было далеко...

И жена у Султанова моложе и приглядней. Адолят тоже еще не старуха, ей лет тридцать пять, не больше, но лицо у нее увядшее, желтое, как солома, сама сутулится, семенит по-старушечьи. Не поймешь, отчего так рано состарилась: ест вдоволь, одевается не хуже других, целыми днями дома, на работу муж ее не пускает. Живи да радуйся! Хлопот, верно, и дома хватает, он ей поблажек не дает, но жену затем и берут, чтобы она вела хозяйство, заботилась о муже да рожала ему наследников. Адолят зато не чета прочим женщинам Алтынсая—она жена раиса! Ей бы гордиться этим, цвести пышной розой, а она сохнет, дурнеет, всегда покорная, унылая. И пугливая,— словно ее вот-вот ударят. И целыми днями молчит. Рядом с Назакатхон она подобна обломанной шелковице, растущей возле стройного тополя.

Когда Адолят принесла в беседку бутылку водки и ужин, Кадыров даже не взглянул на нее, не сказал ей ни слова. Он наполнил стакан, выпил, крякнул, отправил в рот сочный огурец. По жилам разлилась блаженная теплота, на душе стало легче. Но злоба не утихала. Она сделалась даже непримиримей, воинственней. Кадыров сам себе казался богатырем, храбро отбивающим наскоки завистников и хулителей.

В район он ездил по вызову Джурабаева. И Джурабаев завел разговор опять об этой проклятой джугаре!

Раис согласился посеять на вспаханных целинных землях джугару, только бы отвязаться от приставаний Алимджана. Первомайцы ухаживали за посевами, вы-

копали заблаговременно силосные ямы, а Кадыров и в ус не дул. И Джурабаев устроил ему сегодня головомойку. Он не читал Кадырову нотаций, он только задавал вопросы, но в вопросах этих звучали и недовольство и суровый упрек. Каково состояние поздних культур, высеянных на целине? Кто за ними приглядывает? Подготовлены ли силосные ямы для хранения кормов?

Кадыров в ответ бормотал что-то невразумительное и лишь теперь, наедине с собой, обрел обычную боевую самонадеянность.

«Далась же вам эта джугара, товарищ Джурабаев, будто нет у меня, кроме нее, других забот! Что верно, то верно, на эти поля я не заглядываю. А что мне там делать? Государство ждет от нас хлопок, о хлопке я и пекусь. Пусть Умурзакова, если ей нравится, днюет и ночует на целине. А мне эта целина — как кость в горле! Не хочу я, товарищ секретарь райкома, чтобы меня, как Умурзакову, пропесочивали в газетах, нет, не желаю! Вы все на первомайцев киваете... А мне они не указ, я еще ни к кому не ходил на выучку. Я и других могу поучить! Вам мой завфермой не нравится? Для кого-то он, может, и плох, а я на него не в обиде. Дай бог всякому иметь под рукой такого исполнительного помощника! Это верно, о силосных ямах он не позаботился. Он в этом ни черта не смыслит. А зачем нам силосные ямы? Рузы-палван приучил колхозных коров к соломе, и ничего: жуют, не жалуются. Всем бы вот так: довольствоваться тем, что есть. А вы хотите запрячь меня сразу в три арбы! И придираетесь на каждом собрании: Кадыров такой, Кадыров этакий... Приелась всем ваша критика, как льняное масло. Не заставите вы меня в одно и то же время петь, и плясать, и на дутаре играть! Ешь плов — так не жуй пальцы!»

Размышления Кадырова прервал скрип калитки. Он выглянул из беседки и увидел Гафура. Гафур тоже был под хмельком. Ступив под зеленый навес, он вытащил из кармана бутылку и с размаху поставил ее перед Кадыровым:

— Выпьем, раис! Душа горит. Хочу с тобой выпить!

— Разошелся! — сердито осадил его Кадыров и отодвинул бутылку.— С какой это радости?

У Гафура сузились глаза, он злобно прошипел:

— С какой радости, говоришь? Погоди, я и тебя обрадую...

Кадыров хмуро посмотрел на гостя, на лбу у него вспучилась грозная складка:

— Говори, что стряслось?

— А ты не слышал?

— Не тяни душу,— Кадыров стукнул кулаком по супе.— Ну!

— Устроили сегодня базар твои колхозники. Грозятся дать тебе отставку!

Кадыров насупился, шея у него побагровела, покрылась потом, глаза налились яростью.

— Что плетешь!..

Гафур рассказал об утреннем «митинге» дехкан, а Кадыров угрожающе протянул:

— Вот ка-ак! Зна-аю, кто мутит народ! Только мы еще поглядим, чей будет верх! И уж тогда всем... всем от меня не поздоровится! — Он удрученно помотал головой.— И Муратали туда же, старый шакал! — И, вдруг потемнев лицом, крикнул: — Бездельники! Лодыри! Надо об урожае думать, а они болтовней занимаются!

— Больше всех шумели Бекбута и Керим,— услужливо подсказал Гафур и, с удовольствием выслушав новую порцию угроз и брани, добавил: — А Погодин на этом базаре был вроде как за председателя.

— И Погодину не поздоровится! Дадут им по рукам в обкоме — не удержаться ему в МТС!

— А если не дадут? — ехидно спросил Гафур.

У Кадырова сникли плечи, он мрачно буркнул:

— Тогда уж нам... Тогда нам несдобровать! На этот раз мне пощады не будет. А ну налей-ка водки! Адолят! Адолят, куда ты там провалилась? Живо еще закуски!

Адолят подала им лепешки, салат из огурцов, помидоров и лука, кавардак — жаркое из бараньего мяса, сюзьму.

— Угощайся, Гафур,— хмуро предложил Кадыров.— Закуска как раз под водку, а водка — под настроение...

Некоторое время пили молча. Совсем захмелев, Кадыров стал жаловаться:

— Вот она, Гафур, людская-то благодарность. Спихнуть меня хотят, а? Наслушались сказок Умурзаковой, неугоден им теперь Кадыров!

— Такой у нас народ, раис! — вздохнул Гафур.— Кто больше наобещает, за тем и идут...

— Верно. Верно, Гафур! Задурила она им головы!.. А я разве не мог насулить им горы золота и молочные реки? Мог бы, Гафур, да совесть не позволяет! Я не фантазер, а практик. Практик! У меня тр-резвый взгляд на вещи! — Он пьяно икнул.— А они меня... они меня — на свалку!

— Ай, не расстраивайся, раис! С тобой друзья, они тебя не покинут.

— В-верно, Гафур! Я вас тоже не дам в обиду. Х-ха!.. Рузы-палван им пришелся не ко двору! А мне он друг. И Аликул друг! И ты, Гафур, друг! Дай я тебя обниму, Гафур!

На дворе стемнело. Зажгли электрическую лампочку, свисавшую над супой. Неяркий свет матово заиграл на кистях винограда, уже набухающего прозрачными соками. Тихо шуршали листья над головой. Тихо журчал ручей, словно увещевая полуночников. Но долго еще звучали в беседке пьяные голоса, и в одном слышалась то бурная злоба, то жалость к себе, а в другом — вкрадчивая лесть и злорадство.

Глубокой ночью Кадыров, пошатываясь, проводил гостя до калитки и, не заходя в дом, побрел к кровати, стоявшей на берегу арыка. Он упал на нее, не раздеваясь, но хотя и чувствовал хмельную усталость, уснуть не мог. В затуманенном сознании вспыхивали и гасли обрывочные мысли. Одна вспыхивала чаще и жгла больнее остальных.

Почему отвернулись от тебя дехкане, Кадыров? Что же, они, как мухи на мед, падки только на сладкие обещания? А может, глаза у них зорче твоих, и мысль просторней, и крепче вера в то, что задуманное сбудется? Эй, раис, опомнись, не отбивайся от тех, кто вместе с тобой строил колхоз!

Но поздно отступать!.. Покается он перед дехканами, а ему скажут: «Что же это ты явился на готовенькое? Целину мы вспахали, хлопок вырастили, ты нам вставлял палки в колеса, а теперь торопишься к дележу праздничного пирога, который сам же и мешал печь?» Так или иначе, а сковырнут его с председательского кресла. Поздно, раис! Поздно, поздно.

Утром Кадыров проснулся разбитый, ослабевший, как после приступа малярии. Голова трещала, будто ее сжимали железными обручами. Ни о чем не хотелось думать, ничего не хотелось делать. Он, кряхтя,

слез с кровати, поплескал в лицо водой из арыка и, выпрямившись, крикнул:

— Адолят!

Адолят не отзывалась.

— Адолят!

Жена наконец показалась в дверях. Кадыров уставился на нее очумелым взглядом. На ней было простенькое, поношенное платье, выцветший темный жакет, голова повязана белым платком. На плече покоился кетмень.

— Это еще что за фокусы! Принеси-ка мне водки опохмелиться.

Адолят молча удалилась и вскоре вышла из дома со стаканом водки в руках. Кадыров осушил его залпом, вытер губы и, кивнув на кетмень, спросил тоном, не предвещавшим ничего доброго:

— Куда это ты?

— В поле...

— В по-оле? — Кадыров захохотал.— Вон ты какая стала сознательная? А у мужа спросилась?

— Стыдно сидеть дома...— потупив взор, ответила Адолят.— Все работают, а я...

— А твое место дома! Положи кетмень, откуда взяла!

Адолят подняла голову:

— Если вы меня не отпустите... я в сельсовет пойду!

Кадыров сжал кулаки, лицо побагровело, на лбу собрались крупные складки:

— Вон кто сбивает тебя с пути! Опять Умурзакова! Ну, погоди! — Он потряс кулаком перед носом жены.— Ты у меня забудешь дорогу и в сельсовет и в поле.

Адолят отшатнулась, крикнула дрожащим голосом:

— Вы... вы мне не грозите! Вы председатель колхоза, коммунист! Стыдно вам!

Кадыров устало опустился на кровать, сжал руками голову... Вот до чего дошло — собственная жена взбунтовалась!

— Принеси водки! — приказал он.

— Пусть Назакатхон поит вас водкой, а мне пора в поле!

Адолят круто повернулась и, страшась оглянуться, направилась к задней калитке, выходящей прямо в поле. Кадыров не остановил ее. Он был слишком потрясен всем, что случилось за эти два дня.

Адолят шла торопливо, кетмень дрожал на ее плече. Она боялась мужа. Кадыров редко бил ее, но и ласки она от него не видела. В его повелительном голосе всегда звучали пренебрежение, равнодушная уверенность в том, что каждое его слово — закон для Адолят. Жить было обидно, тяжко! До замужества Адолят была жизнерадостной девушкой, ловкой в труде, веселой на досуге, а попав в дом к Кадырову, зачахла, как цветок без воды. Душой она давно противилась своей сытой, с виду даже благополучной, но тупой жизни, от которой никому не было пользы. А тут еще Назакатхон... Не раз Адолят пыталась усовестить мужа, слишком часто встречавшегося с молоденькой, ветреной секретаршей, но он отмахивался: «Выдумываешь, жена!» Какие же выдумки, когда, пригласив однажды в гости Султанова, Аликула и Назакатхон, муж на глазах у Адолят обхаживал эту бесстыдницу, а она жеманилась и хихикала... Нет, не сладка была жизнь у Адолят. От людей ей приходилось держаться в сторонке. Вынужденная отчужденность от общих дел, от общего труда больше всего томила Адолят. Вчера возле калитки она повстречалась со старым Халим-бобо. Он жил неподалеку, но она давно не бывала у него дома, и старик, попрекнув ее этим, радушно пригласил в гости:

— Заходи, соседка! Угощу дынями с целинной земли!

— Как-нибудь зайду,— уклончиво ответила Адолят.

Халим-бобо покачал головой:

— Нехорошо прятаться от людей, Адолят. Без людей — как без солнца. Ты еще молода, а гляди, какой стала. А почему? Потому что все одна да одна.

— Скучно, тоскливо мне, Халим-бобо!— неожиданно призналась Адолят.

— Скука — дочь безделья.

— У меня хозяйство на руках...

— Ты лишь для мужа стараешься, а постарайся для всего колхоза — и пройдет твоя тоска! Я вон уж стар, да не сижу дома. Молодею в труде, соседка! Взяла бы и ты кетмень — да к людям, в поле!

Слова Халим-бобо запали глубоко в душу Адолят. Когда вечером к ним пришел Гафур, Адолят призадумалась: почему это прежде у них было полно гостей,

колхозники запросто заглядывали к своему раису, а теперь из уважаемых людей наведываются только Султанов и Аликул? И ей приходится прислуживать голодному волку Гафуру да толстому Рузы-палвану, а с остальными дехканами встречаться лишь на улице, стараясь поскорей пройти мимо. Нет, довольно ей жить с опущенной головой.

Так случилось, что тихая, безропотная Адолят, которая только плакала, когда ее бранил муж, и утешала себя хлопотами по дому, вдруг решилась надерзить Кадырову и впервые за всю свою замужнюю жизнь поступила по-своему. Айкиз тут была ни при чем. Но Кадыров, оставшись один, мрачно размышляя о случившемся, винил во всем Айкиз, эту непоседу, взбаламутившую весь колхоз. Дорого бы он дал, чтобы она оступилась! Однако он уже чувствовал, что не на нее, а на него надвигается беда. Статья Юсуфия — ничто в сравнении со вчерашним митингом дехкан и сегодняшним бунтом Адолят! Прислушаются к голосу дехкан в обкоме, поддержат Умурзакову — и пожалуйте, почтенный раис, к ответу!

Кадыров прошел в дом, отыскал водку и опять, как вчера вечером, забрался в беседку...

С этого дня он перестал выходить на работу, сказавшись больным. Его позвали на заседание сельсовета, где обсуждался ход освоения целины, он не пошел. С женой Кадыров не разговаривал, с утра напивался. Аликул посоветовал ему держаться гордо, работать, как прежде: надо, мол, как ни в чем не бывало расхаживать среди волков, а не лезть самому к ним в зубы. Аликулу он мрачно ответил:

— Наслушался я ваших утешений! У меня нынче одна утешительница. Вот!— и постучал ногтем по бутылке...

● ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

НА ОХОТЕ

Через несколько дней, вечером, Кадырову позвонил Султанов. Голос был веселый, беззаботный.

— Не вовремя ты заболел, раис! Ну-ну, не морочь мне голову, знаю я, что у тебя за хворь! Рано повесил нос, дорогой. Завтра утречком я к тебе нагряну. Нет,

нет, не по делу. Не одними делами жив человек. Возьмем ружьишки и махнем в степь! Как там джейраны, не все еще перебиты? Остались на мою долю? Вот и отлично. Поохотимся, дорогой раис. Это оч-чень поднимает настроение. Жди меня утром.

Кадырову не впервой было сопровождать председателя райисполкома на охоту. Они ездили вместе бить куропаток, рыбачить. После разговора с Султановым он вызвал Рузы-палвана и послал его в степь, к Шур-Кулю — Соленому озеру, подготовить все для предстоящей охоты.

Султанов наведывался в колхозы реже Джурабаева, и каждый наезд воспринимался и им самим и другими как целое событие...

Если в Алтынсай приезжал Джурабаев, дехкане замечали его тогда, когда он был уже среди них. Приезжал он обычно неожиданно, выходил из машины там, где что-либо привлекло его внимание, осматривал поля, разговаривал с колхозниками. Если ему нужно было повидаться с Кадыровым, Алимджаном или Айкиз, он не спешил в сельсовет и колхозное правление, но всегда получалось так, что он непременно встречался с тем, с кем хотел встретиться: в поле или в клубе, на целине или в МТС. Встречи эти со стороны выглядели нечаянными; казалось, он вообще приезжал в колхоз без какой-либо определенной цели. Однако цель у него всегда была, и все эти «случайные» беседы и встречи помогали Джурабаеву осуществить то, что заранее было задумано.

Случалось, что Кадыров или Алимджан, узнав о его приезде, сами принимались его разыскивать, и тогда он недовольно хмурился и просил:

— Вы занимайтесь своими делами, мне проводники не нужны.

Больше всего он опасался, что руководители колхоза начнут, как говорится, показывать ему «товар лицом» или, взяв на себя роль навязчивых спутников, помешают вызнать, чем живут простые дехкане.

В отличие от Джурабаева, Султанов обставлял свои поездки в колхозы если не пышно, то, во всяком случае, солидно. Он заблаговременно предупреждал о приезде. Попав в колхоз, делал только то и обращал внимание только на то, что составляло конкретную цель этого приезда. Нужно было проверить работу

сельсовета — он заходил только в сельсовет. Нужен ему был Кадыров — он виделся с одним Кадыровым, не растрачиваясь «на мелочи», отмахиваясь от всего «постороннего», что порой само лезло на глаза. Бывая от случая к случаю в колхозах, колхозную жизнь он так и не успел узнать.

На этот раз у него были запланированы только охота и разговор с Кадыровым. Встретив по пути направлявшихся в поле дехкан, он и не подумал остановить машину, переброситься с колхозниками хоть словечком. Райисполкомовский газик пропылил, нигде не задерживаясь, прямо к дому председателя колхоза. Прихватив Кадырова, Султанов велел шоферу ехать по направлению к Кызылкумам.

Чуть в стороне от этой дороги располагался новый кишлак. Султанов небрежно поинтересовался:

— Построен новый поселок?..

— Умурзакова, говорят, уже торопит с переселением.

Султанов засмеялся:

— Торопиться надо, когда джейран от тебя улепетывает! Умурзакова еще сломает себе шею!

Кадыров молчал. Султанов, сидевший рядом с шофером, за всю дорогу не проронившим ни слова, обернулся. Зубы его сверкнули в ободряющей, белоснежной улыбке:

— Ты, я вижу, совсем раскис! Выше голову, дорогой! Битва еще не проиграна. Много народу собирается переселяться?

— Дураков на наш век хватит.

— А как этот... кажется, Мураталн? Юсуфий писал о нем в своей статье.

— Муратали тверд, как скала.

— И молодчина! Что у него, змея, что ли, завелась в доме, чтобы рваться в степь? Поверь, дорогой, те, кто сгоряча переселится, все равно потом разбегутся по старым кишлакам. Я знаю наш народ, его не так-то легко оторвать от привычного уклада жизни! И если такие, как Муратали, не покинут свои дома, если хоть один дехканин сбежит из нового поселка, это даст нам в руки сильный козырь!

Газик, подскакивая и поднимая пыль, мчался по неровной степной дороге. Затвердевшая глина кое-где растрескалась, кое-где собралась в морщины. По обе

стороны раскинулись темной недвижной зыбью вспаханные целинные земли. Но Султанов, увлеченный собственным красноречием, ничего не хотел замечать.

— Мы должны бороться до конца, дорогой раис!— продолжал он.— Отступать-то нам, собственно, некуда, позади — пропасть. Чуть попятимся — и полетим вверх тормашками! Тебе председательское кресло не надоело? Мне мое пока нет. Если я соглашусь его сменить, так только... ха-ха... на более мягкое! Расти надо, председатель,— это закон нашей жизни! А поднимем мы руки, сдадимся, проголосуем за план Умурзаковой — и дадут нам, уважаемый раис, по шапке. Опоздали мы с белым-то флагом, нужно было выкидывать его весной. Признание ошибок нам уже не поможет. Осознал, дорогой, сложившуюся ситуацию?

Слова Султанова отвечали недавним мыслям самого Кадырова, он слушал внимательно, кивал головой в знак согласия, но пасмурное выражение не сходило с его лица. Положив под язык щепотку насвая, он пожевал его и плюнул на дорогу.

— Да не сиди ты туча тучей!— укоризненно сказал Султанов.— У нас нет оснований впадать в панику. Имеются, слава богу, кой-какие зацепки, и надо их использовать на все сто! Ты не читал, Джурабаев тиснул в нашей газете статью, сводящую на нет выступление Юсуфия?

— Вот видишь!

— Что «видишь»? Не руками надо разводить, а действовать! Он сунул статью в районную газету, а я дам в областную. Они кричат о переселении, а мы раздуем историю с Мураталии. Они хвастают тем, что целина поднята, а мы будем доказывать, что хлопок на ней не вырастет: помешают бури, суховеи. Да и ты не допустишь, чтобы колхоз твой стал как кунжут после обмолота. Нечего тебе разбрасываться рабочей силой, не давай людей на целину — и точка.

— Им не дашь!— проворчал Кадыров.— Правление-то пляшет под их дудку.

— А ты давно на побегушках у своего правления? Не обижайся, дорогой раис, но ты размазня. Заставь правление уважать тебя, считаться с твоим мнением! Ты хозяин колхоза. Ты сам волен решать, как распределить рабочую силу и устраивать ли этой осенью, в

ущерб работе, комедию с великим переселением народов. Это твое дело, а не Умурзаковой!

— Тут не знаешь, откуда взойдет луна. Вон и дехкане шумят... Слыхал небось об их «митинге»?

Султанов пренебрежительно поморщился.

— Пошумят — перестанут. Отпустил ты вожжи — вот они и дерут глотки.— И вдруг, встрепенувшись, воскликнул:— А мы и это обернем себе на пользу! Мол, Погодин и Умурзакова натравливают дехкан на руководство колхоза, играют на отсталых настроениях масс! Эти «покорители пустыни» хотят поставить обком перед совершившимся фактом: претворят они свой план в жизнь — и обкому ничего не останется, как поставить на нем свою визу. Потому-то они так торопятся. Но ведь и мы не будем дремать. И к нам в обкоме прислушаются!

Газик, замедлив ход, выехал на дорогу, пролегавшую по пустыне. От малейшего дуновения ветерка на дорогу натекал песок. Там, где пролетал ветер, оставались песчаные полосы, затруднявшие движение. Солнце уже припекало. Железные дверцы газика нагрелись. Султанов пододвинулся поближе к шоферу. Перевесившись через спинку сиденья, он доверительно сообщил Кадырову:

— Так и быть, открою тебе одну тайну. Ты ведь знаешь, Абдуллаев держит нашу сторону, это мой хороший друг. Так вот, он скоро вступит в борьбу. Мы опираемся на гору, раис! Абдуллаев все сделает, чтобы сорвалась это затея с целиной. Авось и сорвется. И тогда нашим героям придется ответить за свои противозаконные действия. Сами-то они хоть и машут кулаками, а тоже чувствуют себя неуверенно. Я недавно пригласил к себе Умурзакову, думал сделать ей внушение... Она, видно, поняла это, струсила, не явилась.

Кадыров заметно повеселел. И впрямь, с чего это он ударился в панику? Вон Султанов только посмеивается над его страхами. А Султанов — птица важная, ему известно побольше, чем Кадырову! За Султанова и надо держаться!

Они доехали до Шур-Куля. Машина остановилась. К прибывшим, переваливаясь, как утка, подбежал Рузы-палван. Он находился здесь со вчерашнего вечера, навез всякой снеди для завтрака и обеда, закопал в песок глиняные кувшины с водой. Лицо его, всегда лос-

нившееся от жира, как щедро промасленная лепешка, сейчас от радости лоснилось вдвое, сияло, словно луна; заплывшие глаза источали сладчайший восторг и преданность.

Султанов первым выбрался из машины, сощурился от яркого солнечного света. Потянулся, разминая замлевшие плечи и спину.

— Хорошо здесь, раис!— крикнул он Кадырову.— Хорошо! А будешь хвататься за все сразу — завязнешь в делах, жизни не увидишь.

Султанов вырядился сегодня так, как, по его мнению, должны одеваться охотники: старые сапоги, темные брюки военного покроя, охотничья куртка, надвинутая на лоб кепка. Двустволку за ним нес шофер...

Приехавшие направились к разостланному на траве большому красному ковру. Посредине его белела скатерть, а по бокам, ожидая гостей, приманчиво красовались цветастые одеяла и мягкие подушки. Чуть поодаль вился дымок от костра, обтекая казан, в котором варился суп.

Султанов умылся. Рузы-палван поливал ему на руки из кувшина.

— Славное ты выбрал место!— похвалил его Султанов.— И погодку организовал недурную, ха-ха!..

Здесь и правда было по-своему хорошо... Рядом, в редких зарослях камыша, сверкало под солнцем озеро. Сверкало так ослепительно, что трудно было различить его цвет. А вокруг, куда ни кинешь взгляд,— пески, сухая трава. Среди песчаного моря вздымались тут и там верблюжьими горбами волнистые барханы, кустился саксаул, скупо зеленели низкие, почти безлистые туранги — деревья, годные лишь на дрова, рос колючий янтак. И все это залито золотой солнечной лавой.

Пейзаж пустыни хоть однообразен, но привлекателен своим диким, необжитым простором. Пустыня — это простор и солнце.

Перед охотой Султанов и Кадыров плотно, с аппетитом позавтракали. Рузы-палван угостил их холодной тушеной бараниной, жирным шашлыком и хасип-шурпой, супом с колбасой из тонких бараньих кишок, начиненных мясом и рисом.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Султанов, поглаживая живот.— Подкрепились — и все заботы по-

боку! Хорошо! — Он обернулся к Рузы-палвану.— На обед, надеюсь, у нас будет мясо джейрана?

— Хотите все-таки рискнуть, товарищ Султанов?

— А зачем же мы сюда приехали? Настреляем джейранов и закатим настоящий пир! Ты что, не веришь, что охота будет удачной?

— Верю, верю,— поспешил успокоить его Рузы-палван.— С пустыми руками мы не вернемся. Только, может, вы сперва отдохнете?

Но Султанова уже обуял охотничий азарт:

— Отдохнуть успеем. Где мое ружье? Берегитесь, джейраны!

От еды, обильно политой коньяком, он отяжелел и до машины дошел, опираясь на Кадырова и Рузы-палвана.

Не успели они отъехать на километр, как вдали показались движущиеся точки. Это были джейраны. Их не видел только Султанов, у которого все расплывалось перед глазами.

Газик через пески устремился наперерез стаду. Джейраны свернули вправо. Они бежали быстро, высоко вскидывая длинные ноги, часто меняя направление. Газик тоже вилял, подпрыгивая, его заносило на поворотах, и охотников бросало из стороны в сторону. Но вот они приблизились к стаду на расстояние выстрела, и Рузы-палван возбужденно закричал:

— Стреляйте! Товариш Султанов! Стреляйте! Вот же они!

— Берегитесь, джейраны! — снова воинственно воскликнул Султанов, выставил наружу дуло двустволки, сделал подряд два выстрела, опять прицелился, опять выстрелил, но джейраны как ни в чем не бывало продолжали свой бег. Теперь они бежали спокойней, словно зная, что глаз у охотника неверный, а ружье дрожит как в лихорадке, и вскоре исчезли, будто растворились в расплавленном воздухе пустыни. Проблуждав среди песков еще часа два, охотники наткнулись на джейрана с детенышем. Снова загрохотали выстрелы, а джейраны, словно дразня преследователей, попрыгали перед машиной и скрылись в глубоком сае — русле пересохшей реки.

Усталый, раздраженный, Султанов приказал шоферу остановиться, вылез из машины и, метнув на спутников яростный взгляд, будто они были виноваты

в неудачной охоте, молча растянулся на траве, надвинул на лицо кепку и тут же уснул, огласив пустыню тяжелым храпом.

Кадыров и Рузы-палван сами были огорчены, что не смогли угодить высокому гостю. Посовещавшись, они решили, что Кадыров останется возле спящего Султанова, а Рузы-палван, как более опытный охотник, отправится заглаживать общую их «вину».

— Без добычи не возвращайся,— мрачно пригрозил Кадыров.— Голову сниму!

Исполнительный Рузы-палван не подвел своего председателя. Через каких-нибудь полчаса он уже выволакивал из машины тяжелые туши трех взрослых джейранов. По серым с желтинкой шкурам еще пробегала дрожь, глаз у одного из убитых джейранов был приоткрыт, в нем застыл печальный испуг...

Обрадованный Кадыров разбудил Султанова. Тот протер глаза и с удивлением воззрился на богатую добычу.

Показывая на самого большого джейрана, Рузы-палван подобострастно сказал:

— С удачей вас, товарищ Султанов. Этого джейрана убили вы, я его только подобрал. А остальных подстрелил я.

Султанов почувствовал угрызение совести.

— Ты, верно, ошибся. Мои пули как будто не достигли цели.— Он вопросительно посмотрел на Кадырова.— Так ведь, раис?

— Это ты ошибаешься, товарищ Султанов! — возразил Кадыров, понимая, что от него ждут такого возражения.— Мы в пылу погони и не заметили, что тебе удалось-таки прикончить одного джейрана. А когда ты уснул, Рузы-палван поехал еще пострелять и нашел этого вот молодца. Кто же мог его убить, как не ты?

Султанов поднялся, подошел к джейрану и не без самодовольства потрепал его по гладкой шерсти.

— А хорош! — И с гордой усмешкой бросил Рузы-палвану: — Не чета твоим!

Султанов был доволен. Кадыров и Рузы-палван тоже были довольны. Обед удался на славу.

Кадыров к вечеру устал, но настроение у него было отличное. Джейрана он ни одного не убил, но не жалел, что поехал с Султановым на охоту: после этой поездки он снова воспрянул духом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

ОТЕЦ И ДОЧЬ

В кабинете Кадырова на столе всегда красовался пузатый графин с холодной водой. За день Кадыров опустошал несколько таких графинов, особенно если этому дню предшествовало буйное разгулье. Свежую воду наливала в графин Назакатхон, являвшаяся к Кадырову по первому его зову, а порой и без зова. Она же по утрам поила председателя крепким кок-чаем. Прислуживать Кадырову ей нравилось больше, чем возиться с бумагами. Когда она входила к нему в кабинет, на лице ее неизменно играла улыбка, благодарная, многообещающая. Правда, если Кадыров с косолапой нежностью обнимал ее за плечи или неуклюже-ласково гладил по голове, ей хотелось отстраниться, оттолкнуть его тяжелую, потную руку, но она не отстранялась, а даже подавалась ему навстречу. И не только потому, что отец советовал ей быть с Кадыровым податливой и уступчивой. Она сама не могла обойтись без чьего-либо поклонения, а Кадыров из всех ее здешних почитателей казался самым достойным: как-никак хозяин колхоза, прямой ее начальник, а ласка и похвалы начальства особенно лестны и приятны. Назакатхон старалась во всем угождать Кадырову, охотно отзывалась на его отнюдь не отеческую ласку, искусно подлаживалась к его настроению. Когда он был хмур, развлекала его ловким, бойким разговором. Когда он на что-нибудь удрученно сетовал, притворялась огорченной, сочувствующей, делала вид, что еле удерживает слезы. Когда же он посвящал ее в свои замыслы, изумленно охала. Однако внимание Кадырова доставляло ей не только бескорыстное удовлетворение. Пользуясь его расположением, она добивалась для себя всяческих поблажек и выгод. Рассказывая ему о кишлачных новостях, событиях — чаще всего это были сплетни и досужие вымыслы — она преподносила все так, как было на руку ей и Аликулу.

На следующее же утро после охоты, ближе к полудню, Кадыров пожаловал наконец в правление. Назакатхон встретила его радостным восклицанием:

— С выздоровлением вас, раис-амаки! — И с жеманной томностью пожаловалась: — Без вас здесь было так скучно!

Кадыров зачем-то потер поясницу, поморщился, словно от боли, и с упреком произнес:

— Нет тебе веры, красавица. Не могла найти время навестить больного!

— Стыдно было...— тихо сказала Назакатхон и застенчиво добавила: — Боялась я... Вашей жены боялась.

— Что ее бояться! Она не волк — не съест. Пришла бы с отцом, он-то меня не забывал.

— Сильно вам нездоровилось, раис-амаки? — сочувственно осведомилась Назакатхон.

— Врагу такого не пожелаю! — сказал Кадыров и, словно желая убедить секретаршу, что недомогание еще не прошло, опять схватился за бок. Покряхтывая, он протиснулся к своему месту за столом.

Через несколько минут Назакатхон унесла опустевший графин и вернулась с полным. Кадыров подставил стакан. Назакатхон налила ему воды, которую он тут же с жадностью выпил. Стакана хватало ему на пару глотков.

— Может, вы чаю хотите, раис-амаки?

— Чаю? Давай чаю! Дала бы море — я бы сейчас выпил и море!

— У вас, верно, жар... — пожалела его Назакатхон.— Вам не надо было вставать с постели.

— Нет, милая девушка, некогда болеть! Колхоз-то без Кадырова трещит по всем швам!

Кадыров говорил, а сам не отрывал глаз от лица Назакатхон. На нежно-бархатистых, как персики, щеках розовел румянец, длинные ресницы были полуопущены; в их тени, как омуты, чернели глаза. А губы были зовущие, яркие, влажные...

Дав Кадырову вдоволь собой налюбоваться, Назакатхон ушла и вскоре принесла чай в красивой пиале, разрисованной цветами джиды, и блюдце с конфетами. Принимая из ее рук пиалу, Кадыров успел пожать пухлые пальцы девушки. Назакатхон скромно потупила взор и, как всегда делала, когда хотела изобразить смиренное смущение, прикусила нижнюю губу.

— Спасибо, дочка,— поблагодарил ее Кадыров.— Видишь, раис не ошибается в людях. Когда я брал тебя на работу, я знал, что лучшей секретарши мне не найти. Твой отец может радоваться, что у него такая дочь.

— Мой отец так же предан вам, как и я...

— Знаю! Твой отец — мой лучший друг. Выдвигая его председателем совета урожайности, я верил, что найду в нем надежную опору. Так и вышло!

Кадыров пересел на диван, стоявший у стены, потянул Назакатхон за руку и усадил рядом с собой.

— Расскажи, как тут вам без меня жилось. Тебя никто не обижал?

Назакатхон на всякий случай достала носовой платок, лицо ее приняло покорно-несчастное выражение.

— Как вы заболели, раис-амаки, так все ко мне начали придираться: то не так, это не так. Житья не стало. Ведь, кроме вас, некому защитить бедную девушку.

— Говори, кто твои обидчики?

— Без вас я как травинка в степи,— продолжала причитать Назакатхон.— Позавчера ворвались ко мне Михри и Керим. Их теперь водой не разольешь: куда одна, туда и другой. Ворвались и потребовали списки членов всех бригад: «Нам, говорят, надо знать, где сколько комсомольцев». А я все эти дни была такая рассеянная, раис-амаки...—Она многозначительно взглянула на Кадырова.— У меня все из рук валилось. Рылась я, рылась в бумагах, а этих проклятых списков так и не нашла. Сама не знаю, куда они подевались. А Михри разозлилась и говорит: «Тебе не у телефона сидеть, а взять бы кетмень да в поле. У меня, когда я тут работала, все было в полном порядке!» — Назакатхон надула губки.— Она думает, раз она звеньевая, так ей можно и нос задирать! Я бы тоже рада в поле, только не для этого я училась!

— Куда тебе в поле, дочка! — прочувствованно сказал Кадыров.— С твоей кожей... С твоими руками... С твоим голосом... Когда ты поешь, у меня сердце тает, как масло в котле. Твои песни прекрасны, как ты сама.

Он протянул было руку, чтобы обнять Назакатхон, но, глянув в окно, выходившее на улицу, отодвинулся от соблазнительницы и, кашлянув, суше и строже произнес:

— Михри нечем хвастаться. Когда она у меня работала, за ней нужен был глаз да глаз. Дерзка она. И упряма.

— На меня и Керим накинулся! — перебила Кадырова Назакатхон.— «У нашей Назакатхон,— сказал он,— нет времени выполнять свои прямые обязанности.

Ей надо кляузы в газеты строчить». А ведь это вы велели мне написать письмо в газету, правда?

— Гхм... Им-то ты этого не брякнула?

— Вот еще! — фыркнула Назакатхон.— Стану я перед ними отчитываться! На месте Михри я бы помалкивала. На нее и так все пальцами показывают! Стыда у нее нет, виснет при всем народе на шее у своего Керима. Я сама видела, как они любезничали...

— Сама видела? — оживился Кадыров.— А ну расскажи, расскажи.

И Назакатхон рассказала...

Накануне вечером в летнем алтынсайском кинотеатре показывали новый фильм. Кинотеатр расположен рядом с клубом, окружен высоким дувалом из сырцового побеленного кирпича. Дувал, впрочем, нисколько не мешал сорванцам-мальчишкам бесплатно и по нескольку раз за вечер смотреть кинокартины: они забирались на деревья, удобно устраивались на ветках и сучьях и глаз не отрывали от экрана. В эти минуты даже тихий шелест листьев, щекотавших их шеи, был шумней их дыхания.

В кино алтынсайцы ходили, как в гости,— целыми семьями, разряженные, с торжественными лицами. Старики шли с внуками, мужья с женами, девушки с дружками и подружками. И только Назакатхон была в тот вечер одна. В Алтынсае ее все знали, даже любили за веселый нрав, но жила она от всех словно бы на отшибе. Когда отец был занят, ей приходилось ходить в кино одной. Она брела через просторную, чисто подметенную площадь, отвечала на приветствия, перешучивалась со знакомыми, губы ее привычно улыбались, а сердце скучало. У самого входа в кинотеатр она встретила Михри и Керима.

Те ее не заметили: так увлеклись своей беспечной болтовней. Как и все алтынсайцы, они принарядились по-праздничному: на Кериме — легкий кремовый костюм, рубашка из белого шелка, франтовской галстук, на Михри — модные туфли-лодочки, белое шелковое платье, узорчатая тюбетейка, похожая расцветкой на пеструю клумбу. Лица их раскраснелись, глаза сияли, как звезды! Назакатхон, отвернувшись, проскользнула мимо и поспешила занять свое место. Но и во время сеанса она продолжала наблюдать за влюбленными. Они примостились на задних рядах. Назакатхон то и

дело на них оглядывалась, сама не понимая, почему так волнуется, видя их счастливые лица. Было прохладно. Керим и Михри сидели, тесно прижавшись друг к другу. Поглощенный происходившим на экране, Керим крепко сжимал упершуюся в скамейку руку Михри. Они, казалось, забыли друг о друге, но смотрели на экран одним взглядом, чувствовали одно и то же, думали об одном и том же... В сердце Назакатхон шевельнулась тревожная зависть. Вот бы и ей так — сидеть рядом с любимым, ощущая тепло его рук, слушая близкое дыхание... И чтоб он был так же молод, как Керим, так же красив и так же любил ее, как Керим любит Михри.

Назакатхон ушла, не досмотрев фильма, и теперь, рассказывая обо всем Кадырову, приправляла свое повествование такими подробностями, которые могла подсказать ей только зависть. Кадыров укоризненно мотал бритой головой, покряхтывал, причмокивал и старался сообразить, какое бы практическое применение найти этим фактам.

— Как это вы держали такую секретаршу! — с упреком и недоумением сказала Назакатхон.— Спору нет, Михри красивая...

Кадыров сощурился:

— В Алтынсае я знаю лишь одну красавицу.

— Ой, что вы, раис-амаки! — возразила Назакатхон.— Какая уж я красавица. Вот Михри — та как цветок.

— Ядовитый цветок!

Назакатхон довольно улыбнулась. Теперь, хваля Михри и Керима, она только подливала масла в огонь.

— Керим тоже хоть увлекающийся, но симпатичный.

— Увлекающийся? — вскипел Кадыров.— Ха! Комсомольский вожак на виду у всего кишлака милуется с бесстыжей девчонкой, тоже комсомолкой! Это похуже легкомыслия. Какой пример подают они молодежи!

Считая, что разговор перешел на деловую почву, Кадыров поднялся и прошествовал к столу.

— Мне давно известно о похождениях этих алтынсайских Лейли и Меджнуна! — Он тяжело опустился на стул.— Твой правдивый рассказ подтверждает, что они совсем потеряли стыд. Они могут навлечь позор на весь кишлак! Куда смотрит этот старый крикун Мурат-

али, который так любит драть горло...— Он хмуро побарабанил толстыми пальцами по столу и закончил: — ...когда не надо.

— А вон и сам Мураталн! — воскликнула Назакатхон, показывая на окно.— Вон идет по улице!

— Легок на помине! — проворчал Кадыров.— Ты вот что... Позови-ка его ко мне. И побудь пока у себя. Мне надо с ним поговорить.

Назакатхон вышла. Вскоре перед столом Кадырова выросла поджарая фигура Муратали. Бригадир возвращался с поля. Его старый халат, бельбог, сапоги — все было серым от пыли.

Кадыров через силу приветливо ему улыбнулся, широким гостеприимным жестом пригласил сесть, посетовал, что Муратали ни разу не зашел к нему за время болезни.

Муратали оправдывался:

— Сам знаешь, раис, пора сейчас горячая, ни минуты нет свободной.

Кадыров осведомился, далеко ли направлялся Муратали.

Старик объяснил:

— В магазин, говорят, привезли сапоги. Я и надумал купить, старые-то тесноваты...

Закончив расспросы, Кадыров решился наконец заговорить о том, ради чего позвал бригадира. Но речь свою он повел издалека, зная, как своеволен, как вспыльчив старый Муратали: скажешь ему неосторожное слово — так он из упрямства может затеять горячий спор.

— Ты знаешь, дорогой, как я тебя уважаю,— начал Кадыров, разыгрывая грубоватую дружескую откровенность.— Не один пуд соли мы с тобой съели. Ты меня всегда поддерживал... гхм... я — тебя.

Муратали выжидающе молчал. Кадыров в разговоре с Назакатхон напрасно назвал его крикуном: старик, пока его не задевали, был немногословен.

— И дочь твоя мне как родная,— продолжал Кадыров.— Помнишь, у нее еще молоко на губах не обсохло, а я взял ее в секретарши. Три года она была у меня под крылом, каждая колючка, вонзившаяся ей в ногу, причиняла мне не меньше боли, чем ей самой. Я учил и воспитывал Михри. Я доверял ей! Я, как

отец, переживал за нее. Так что я тоже в ответе за твою дочь.

Тонкие губы Мураталн были сжаты, и лишь глаза, колюче сверкавшие из-под седых кустистых бровей, выдавали его настороженную заинтересованность.

— Славная девушка твоя дочь. Потому и друзей у нее — хоть пруд пруди. Все тянутся к ней, как к солнцу! — Кадыров понял, что зарапортовался, остановился с разгона и сказал уже деловитым тоном: — М-да... Только этому солнцу я посоветовал бы быть поразборчивей. Ты знаешь, с кем якшается твоя дочь?

— Керим хороший парень,— строптиво молвил Мураталн.

— Да ты что, ослеп?! — разозлился Кадыров.— Весь кишлак смеется над нашими Лейли и Меджнуном! Только и слышишь ото всех: Михри виснет на шее у Керима, Керим, как тень, повсюду тянется за Михри! Везде вместе: в клубе, в кино, на танцах.

— Парням и девушкам не заказано ходить в кино,— упорствовал Мураталн, хотя сам был готов излить на дочь и Керима потоки ярости.— Теперь не старые времена.

— Нынче, значит, дозволено заниматься любовными шашнями? — усмехнулся Кадыров.— Нет, дорогой, луну подолом не закроешь. Михри и Керим забыли приличия. Ты думаешь, они ходят в кино смотреть фильмы? Да им там просто удобней обниматься!

— Кто это видел?

— Весь кишлак говорит об этом! А без ветра, сам знаешь, листья не колышутся. Вот притащит Михри в твой дом внука — посмотрим, как ты тогда запоешь.

Мураталн встал, оперся дрожащими руками о стол.

— Не возводи на мою дочь напраслину, раис! Михри не опозорит своего отца. И Керим...

— Керим!..— Кадыров откинулся на стуле, тучное его тело сотряс хохот.— Да для этого сопляка нет ничего святого. Он и меня... гм... Он поносит тебя на всех перекрестках. Ты, я слышал, стал ему подпевать, а вот он тебя не жалеет! Это он уговаривает Михри бросить родное гнездо и поселиться в новом кишлаке! Это он, Керим, раззвонил по всему кишлаку, что отец у Михри — темный, отсталый и, как скупой над золотом, трясется над костьми своих предков. Ты их защищаешь, а они смеются над тобой, старым дурнем!

— Бог покарает тебя, раис, если ты говоришь неправду.

— Не мастер я на выдумки,— строго сказал Кадыров.— Я тебе и твоей дочери добра желаю. С Михри спрос невелик, она еще несмышленая девчонка. Для нее же будет лучше, если она станет держаться подальше от Керима. Тогда и сплетники прикусят языки. Так-то вот, дорогой.

Муратали ничего не сказал Кадырову, только клокастые его брови встопорщились, как иглы у ежа. Выйдя из правления, он направился не к магазину, а в поле. Кадыров, проследив за ним взглядом и убедившись, что ему удалось-таки допечь старика, что Михри теперь не поздоровится, вдруг помрачнел, сжал кулаками виски и неожиданно для себя с тяжелой, равнодушной брезгливостью подумал: «Докатился ты, раис. Докатился». Кадыров сам не понимал, что с ним происходит. Казалось бы, он отвел душу, убил одним выстрелом трех зайцев, насолив сразу и Михри, и Муратали, и Кериму. Ему бы потирать руки от удовольствия: поделом, мол, вам, горлопаны! А он не чувствовал удовлетворения, на душе было тягостно и горько.

В это время взбешенный Муратали шагал по дороге, ведущей к полевому стану. В глазах было темно от ярости. Он ни о чем не думал, не хотел думать. Он лишь повторял про себя слова Кадырова, ядовитыми жалами впивавшиеся ему в сердце.

В бригаде был обеденный перерыв. За длинным столом, вынесенным на открытый воздух, сидели колхозники, перед ними дымились миски с шурпой. Иные из дехкан, укрывшись в тени, подкреплялись закуской, захваченной из дому. Михри под навесом перелистывала журналы. Завидев Муратали, она поспешила ему навстречу:

— Отец! А я вас жду. Купили сапоги?

— Не до сапог было,— отрывисто бросил Муратали.

— Вы... вы еще не обедали?

— Мне не до обеда! Пойдем куда-нибудь, у меня к тебе дело.

Михри растерянно и недоуменно пожала плечами и пошла вслед за отцом. Он повел ее подальше от дехкан, за ивы, обступившие хауз.

Остановившись, Мураталы резко повернулся к дочери. Михри увидела его глаза, в которых пылал гнев, его белые трясущиеся губы и поняла — сейчас произойдет бурное объяснение. Но вместо того чтобы спокойно выслушать Мураталы, который был вне себя от гнева, она, еще не зная, за что гневался на нее отец, приготовилась к отпору. Михри была упряма не меньше, чем старый Мураталы!

Сверля дочь горящими глазами, Мураталы спросил свистящим шепотом:

— Долго это будет продолжаться, бесстыдница?

— О чем вы говорите, отец?

— Не притворяйся! Сколько раз я тебе твердил: не путайся с Керимом, не приведет это к добру! А об тебя слова — как горох об стену! Ты все норовишь сделать по-своему! Вот и дождалась... И я дождался на старости лет!

— Объясните, отец, в чем дело.

— Не притворяйся, ты знаешь, о чем моя речь! Вы стали посмешищем всего кишлака! Сплетни облепили вас, как болотная грязь! Теперь вовек ее не отмыть! Знаешь, как кличут вас в кишлаке? Лейли и Меджнун!

— А чем вам не по душе Лейли и Меджнун, отец?

Хладнокровие дочери, в котором были и насмешка и строптивость, еще больше разозлило Мураталы:

— Мне не по душе твои шашни! Я не хочу, чтобы ты покрыла позором мою седину!

Михри стояла перед отцом бледная, решительная. В ее хрупкой фигурке, стройной и ладной, чувствовалось напряжение, как у туго натянутой струны. На переносице темнело упрямое пушистое пятнышко. Михри любила отца, была послушной дочерью, но он сам учил ее ненавидеть клевету, несправедливость и ложь. Ей больше невмоготу было терпеть его вздорные, несправедливые упреки.

— Отец! — звенящим голосом сказала Михри.— Я ведь никогда не скрывала от вас, что дружу с Керимом.

— Дружишь!..— недобро усмехнулся Мураталы.— Ты смеешь называть это дружбой! В старые времена, я помню, это называлось по-иному...

Михри гордо вскинула голову, взглянула отцу в глаза:

— Хорошо, отец. Пусть будет так. Мы с Керимом

любим друг друга. Я люблю его, ради этой любви готова срыть высокие горы, переплыть бурные реки. Лейли и Меджнун любили друг друга меньше, чем мы!

Муратали опешил от такого признания, брови его вздрогнули, но он быстро оправился от растерянности и, словно уличая дочь в чем-то непристойном, с сарказмом воскликнул:

— Вот она, нынешняя-то молодежь! Она уже не боится выставлять свою любовь напоказ! Как у тебя язык повернулся сказать такое?

— Нам нечего стыдиться, отец. Наша любовь чиста, как снег на горных вершинах. Керим женится на мне...

— Не бывать этой свадьбе! — крикнул Муратали.— Твой Керим — пустой болтун. Непочтительный, дерзкий мальчишка. Я сам выберу тебе мужа.

— Я выйду замуж только за Керима.

— А я говорю: будет по-моему! Ты молода и глупа, ты не разбираешься в людях!

Михри уже нечего было терять. Она перешла в наступление и, чувствуя в груди колючий холодок страха, выкрикнула:

— А вы! А вы, отец!.. У вас-то какие друзья! Уж не выдадите ли вы меня замуж за Гафура?

— Захочу — пойдешь за Гафура. Чем он тебе не приглянулся?

— Гафур — спекулянт. Он отлынивает от работы, целыми днями торчит на базарах.

— Не тебе судить старших.

— Гафур и Рузы-палван на одном базаре покупают коров, а на другом перепродают их втридорога,— не унималась Михри.— Гафуру некогда ухаживать за хлопком. А вы ему потакаете. Вы — бригадир, а смотрите на это сквозь пальцы!

— Как ты разговариваешь с отцом, дерзкая! Замолчи, не то я...

— Нет, вы не ударите меня, отец. Вас ослепил несправедливый гнев, но вы меня не ударите. Вы за всю жизнь ни разу не тронули меня. И я буду говорить! Гафура надо гнать из нашей бригады! Он же и вас предал, отец. Он один продолжает твердить, будто вы оговорили Айкиз!

— А я уважаю его за это! У него открытая душа, он не стесняется говорить в лицо все, что думает!

Михри пристально посмотрела на отца, плечи у нее устало сникли, на глазах показались слезы — слезы бессильного сострадания. Спор с дочерью утомил и Мураталн, но голос его, когда он заговорил снова, был тверд и холоден, как сталь клинка.

— Вот мое последнее слово, Михри. Выбирай: или я, или Керим.

Михри грустно покачала головой:

— Говорят, любовь как костер. Но костер можно затоптать, а любовь — нет. Я не могу без Керима.

— Тогда уходи к нему!

— Я не могу без вас, отец...

— А я вижу, Керим тебе дороже отца! Ты забыла, неблагодарная, сколько сделал для тебя старый, глупый Муратали!.. Ступай к своему Кериму!

— Отец!

— Ступай! Ты уж, верно, подобрала себе дом в новом кишлаке?

— Мы будем жить в нем вместе, отец!

— Старый Муратали не переступит порога этого дома! Живи там одна! И чтоб ноги твоей не было в Катартале!

— Отец!

— И не реви. У тебя нет больше отца.— Муратали долгим взглядом посмотрел на Михри и дрогнувшим голосом закончил: — А у меня... у меня с этого дня нет дочери!

Стараясь шагать тверже, увереннеи, он направился в поле, к своему участку. Он не оглянулся, даже когда Михри, плача, окликнула его...

Весь день они не перемолвились ни словом, Муратали остался ночевать на стане, Михри ушла к Айкиз.

Когда-то, когда они еще учились в школе, Михри называли тенью Айкиз. У Михри не было тайн от своей старшей подруги. Со всеми своими радостями и бедами, большими и крохотными, она шла к Айкиз, а та делила с ней радость, умным, ласковым словом развевала тоску и тревоги подруги.

Михри рассказала ей о своем столкновении с отцом; Айкиз задумалась. За эти дни она стала серьезней, сдержанней, меж бровями появилась глубокая, резкая морщина — след недавнего горя. Когда Айкиз задумывалась, морщина становилась особенно заметной.

— Ты не погорячилась, сестренка? — спросила она, испытующе заглянув подруге в глаза.— Ведь он же отец тебе. А отец...

Не находя слов, Айкиз рассеянным движением потерла переносицу, словно хотела избавиться от непривычной морщинки, а Михри всхлипнула и тихо сказала:

— Я... я готова даже просить у него прощения. Сама не знаю, за что... Да ведь ты же знаешь отца! Он и разговаривать со мной не желает!

— Ты тоже упряма, как шайтан! — улыбнулась Айкиз.— Ну что тебе стоило уступить отцу?

— И никогда не встречаться с Керимом?

— Ну вот! Теперь тебе и ягненок кажется ростом с верблюда! Безвыходных положений нет, Михри. Я знаю твоего отца. Я уверена: пройдет время, он поостынет и все поймет. А мы постараемся помочь ему в этом. Ты будешь и с отцом и с Керимом.

— Правда, Айкиз-апа?

— Конечно, правда! — рассмеялась Айкиз.— Все уладится, увидишь! И честное слово, если ты выйдешь замуж за Керима, я буду рада за вас обоих. Керим славный. И ему так нужна дружба. Ведь он рос без отца, Михри...

Глаза Айкиз влажно заблестели, и теперь уже Михри принялась утешать подругу.

— Ты пока живи у меня, сестренка,— сказала Айкиз, когда они вдоволь наплакались.— Я рада тебе... Когда дома нет Алимджана, порой бывает так одиноко, тоскливо... А потом ты перейдешь в новый дом в новом поселке. И Мураталди будет там жить. Он ведь с нами, Михри. Твой отец будет с нами!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

АБДУЛЛАЕВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Секретарь обкома Абдуллаев, опора и надежда Султанова, был не в духе. Заложив руки за спину, он нервно расхаживал по кабинету, от стола к окну и обратно. Он напряженно раздумывал, как с честью выйти из того трудного положения, в котором нежданно-негаданно очутился.

Мягкий ковер заглушал шаги. За распахнутым окном трепетала листва высокого, раскидистого дерева, густой, пышной кроной своей заслонившего все окно и закрывавшего вид на улицу.

Кабинет Абдуллаева был обставлен со вкусом, на широкую ногу; вся мебель — из полированного ореха... Помятая, вся в жестких складках газета, скромно лежавшая на столе у блестящих телефонов рядом с громоздким чернильным прибором из белого мрамора, выглядела в этом просторном, роскошном, солидном кабинете какой-то особенно неказистой, прозаичной, будничной. Но именно эта газета ввергла Абдуллаева в дурное настроение.

Газета напомнила ему, что пора недвусмысленно и окончательно выразить свое отношение к плану освоения целины, разработанному в Алтынсае и одобренному райкомом партии. План давно утвержден райкомом, целина уже осваивалась, а обком еще не сказал решающего слова, и виноват в этом был Абдуллаев, ведавший вопросами сельского хозяйства. Первый секретарь, с самого начала заинтересовавшийся почином алтынсайцев, требовал, чтобы Абдуллаев поскорее представил ему свои соображения. Но Абдуллаев не говорил ни «да», ни «нет», хотя до сегодняшнего дня склонялся к отрицательному ответу.

Абдуллаев принадлежал к числу тех все реже встречающихся партийных работников, которые любят отождествлять себя с партией, любят выступать от имени партии, а живут всю жизнь по подсказкам.

Небольшую ответственность Абдуллаев еще мог на себя взять, он, например, без колебаний рекомендовал Султанова на пост председателя райисполкома. Но более крупные и сложные вопросы предпочитал решать лишь в строгом соответствии с конкретными указаниями «сверху». Проводить линию партии значило для него выполнять распоряжения вышестоящих инстанций, и только. Он мыслил волю партии не как сконцентрированную волю советского народа, а как некую отвлеченную силу, стоящую над всем, что не было облечено властью. Он не мог и не хотел понять, что партия не только направляет, но и прислушивается, не только учит, но и учится, не только решает и указывает, но и горячо подхватывает все ценные народные начинания. Инициатива снизу путала карты Абдуллаеву, нарушая

ясные и спокойные принципы, которых придерживался он в своей работе. По существу, он был не проводником воли партии, а словно бы трансмиссией, передающей решения высших партийных органов низшим. Обратного хода эта трансмиссия не имела.

План алтынсайцев вызвал у Абдуллаева серьезные сомнения уже потому, что выдвинули его «снизу». Точных указаний на этот счет «сверху» не было. Не было единогласия и среди районного руководства. Вопрос был спорный, и, по мнению Абдуллаева, обкому следовало от него просто-напросто отмахнуться, дабы не наживать лишних хлопот и неприятностей.

Вот если бы этот план был спущен хотя бы из Ташкента... Но Ташкент не предлагал Абдуллаеву в циркулярном порядке заниматься освоением алтынсайской целины. А посему благоразумнее будет положить предложение алтынсайцев под сукно, похоронить его как несбыточную фантазию. Абдуллаев, конечно, понимал, что свою позицию следует обосновать. Но это уже чистая формальность. Пока труженики Алтынсая, засучив рукава, вспахивали новые земли, единоборствовали с бурей, в обкоме, по настоянию Абдуллаева, создавались и заседали комиссии. Эксперты составляли длинные, противоречившие одна другой докладные записки. Благородное начинание алтынсайцев погружалось в бездонные бумажные омуты...

Но алтынсайцы не опускали рук. Свою правоту они старались доказать делом. Юсуфий одернул их, однако в ответ на его выступление в той же газете появилась статья Джурабаева, и, что уж там говорить, статья толковая, дельная. На защиту «целинного» плана поднялись простые дехкане.

Первый секретарь обкома, знавший обо всем этом, все настойчивей торопил Абдуллаева.

Однажды он вызвал его к себе и, предложив сесть, сказал резко и, как показалось Абдуллаеву, раздраженно:

— Предложение алтынсайцев давно следовало вынести на обсуждение бюро обкома. В чем причина затяжки?

Абдуллаев пожал плечами:

— Надо тщательно во всем разобраться. Авторы этого предложения как будто выдвинули веские дово-

ды. Но не менее серьезны соображения и председателя райисполкома товарища Султанова...

— Что же это за соображения?

— Он совершенно справедливо полагает, что мы еще не все выжали из наличных земель. В первую очередь надо увеличивать густоту стояния растений, повышая таким образом урожайность хлопчатника.

— Верно. Это важнейший фактор, но не единственный!.. Резко поднять производство хлопка мы сможем лишь в том случае, если будем еще и расширять посевные площади. Расширять за счет освоения целины.

— Но это мнение не только Султанова!..

— А вы полагайтесь не на чужие мнения, а на живой опыт, на практику. Так-то оно надежней.

Абдуллаев передернулся и проговорил:

— Вот я и хочу разобраться. Освоение целины — мероприятие рискованное. Товарищ Султанов утверждает, что авторами «целинного» плана не учтена специфика местных условий. Не исключено, что он прав. К тому же... Ведь никаких директив мы пока не имеем!..

— Голову на плечах надо иметь! — сердито бросил первый секретарь.— Разбирайтесь, да поживее. А то на словах вы за подъем хлопководства, а сами чините помехи этому подъему, маринуете важные вопросы. Какие вам еще нужны директивы? Разве вам не известно, что партия дает полный простор народной инициативе, творчеству масс?.. В ближайшие дни представьте ваши окончательные выводы.

Решительный тон первого секретаря обкома не сулил ничего доброго. Он уже давно внимательно, настороженно присматривался к Абдуллаеву и вот потребовал, чтобы тот ясно и недвусмысленно определил свою позицию. Возможно, по этой позиции Абдуллаева первый секретарь будет судить о его деловых качествах. В сложный переплет он попал.

А тут еще появилась эта статья в республиканской газете...

Все складывалось так, что тянуть дальше было нельзя, Абдуллаеву оставалось либо одобрить план алтынсайцев, либо, ссылаясь на мнение Султанова и туман-

ные формулировки комиссий и экспертов, перечеркнуть его.

Одобрить?.. Но рука Абдуллаева не поднималась расписаться под планом, попавшим в обком не из Ташкента, а из какого-то Алтынсая.

Перечеркнуть?.. Но дело зашло слишком далеко. Признав этот план нереальным и не соответствующим интересам государства, пришлось бы привлечь к суровой партийной ответственности его авторов и исполнителей. Подобные действия обкома получили бы широкую огласку. Наказанные наверняка обратились бы в высшие инстанции. В этом случае, чтобы доказать правильность своих действий, Абдуллаеву понадобились бы более обстоятельные и солидные возражения против «целинного» плана, чем те, какие были в его распоряжении сейчас. А тут еще эта газета...

Абдуллаев сел за стол, взял газету, внимательней перечитал встревожившую его статью.

Статья, казалось бы, никак не касалась самого Абдуллаева. В ней доставалось, и крепко доставалось, секретарю парторганизации одного крупного совхоза за то, что он вкупе с директором пытался заморозить новаторскую инициативу простых рабочих. Абдуллаев знал этого секретаря и до этого дня считал его неуязвимым. И вот — нате же! — добрались и до него! Выходит, никто теперь не застрахован от жесткой партийной критики! Трудные, тревожные времена настали для Абдуллаева. «Вот уж правда,— подумал он с досадой,— не знаешь, откуда взойдет луна».

Разные люди по-разному воспринимают критические газетные выступления, имеющие прямое или косвенное отношение к их собственной деятельности. Одни небрежно усмехаются: «Это не про меня писано, у меня и обязанности иные и должность крупней». Другие, поумнее, принимают упреки, содержащиеся в статье или фельетоне, в свой адрес, но полагают, что фельетонов должен бояться лишь тот, чья фамилия там названа, а лично для них опасность миновала: одного барана дважды не режут, снаряды в одну воронку два раза не попадают. Третьи же, то ли потому, что они проницательней, то ли потому, что трусливей, видят в таких материалах конкретную для себя угрозу. «Сегодня газета посвятила свое выступление моему знакомо-

му, а завтра, не ровен час, влетит мне. Нынче нелегко увильнуть от критики...»

Так думал и Абдуллаев. Он не решался поддержать алтынсайцев. Но еще больше боялся он, что в газете, подвергавшей резкой критике совхозного партийного «вельможу», как назван он был в статье, в недалеком будущем могут за подобные же действия дать нахлобучку Абдуллаеву, и ему придется отвечать не за то, что он одобрил план алтынсайцев, а за то, что вовремя его не одобрил!

Абдуллаев боялся разноса, и только разноса. Но, настраивая себя на доброжелательное отношение к «целинному» плану, внутренне готовясь к тому, чтобы на бюро обкома рекомендовать его к утверждению, от страха теряя привычную осторожность, он силился согласовать свои предстоящие действия с обычными своими принципами. Ведь статья в газете была хотя и не вполне, но все же указанием «сверху»,— «сверху» требовали, чтобы партийные руководители поддерживали инициативу «снизу». Нужно было выполнять это требование.

Смущало Абдуллаева одно обстоятельство. Как быть с самым ярым противником освоения целины Султановым? Ведь Абдуллаев обещал председателю райисполкома свою поддержку, и, если убрать плечо, на которое тот опирался, это будет предательством. Но хуже всего, что, потеряв опору, брошенный на произвол судьбы, Султанов мог потянуть за собой и Абдуллаева, своего друга и покровителя. С другой стороны, выгораживать Султанова, успевшего уже наломать дров, было рискованно. «Ладно,— успокоил себя Абдуллаев,— после что-нибудь придумаю. Как-нибудь выручу незадачливого друга!»

И усмехнулся со снисходительным сожалением.

● ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

КАДЫРОВ ОСТАЕТСЯ ОДИН

После того как обком поддержал план освоения целины, забот у Айкиз прибавилось, но, как и прежде, охотней и чаще всего наведывалась она в новый кишлак. Ей не терпелось увидеть его ожившим, повеселевшим от людской разноголосицы, от хозяйской хлопот-

ливости новоселов. Что же это за гнездо, если в нем нет птиц.

Уста Хазраткул, как и обещал, сдал поселок колхозу намного раньше срока. Дело теперь было за Смирновым. Праздник переселения Айкиз намеревалась устроить лишь после того, как вступит в строй большой канал и в поселок придет вода.

В один из августовских дней она отправилась к Смирнову узнать, много ли осталось работы на канале. Смирнов протер привычным движением очки, надел их, подвел Айкиз к окну и показал рукой на открывавшийся перед ними строительный пейзаж.

— Смотри сама, Айкиз! — И сварливо добавил, как будто Айкиз в чем-то обвиняла его: — Не бездельничаем, не сидим сложа руки...

Работы на водохранилище близились к завершению. Там, где канал выходил из искусственного озера, высилась железобетонная плотина. Над самым каналом, уже достаточно глубоким, клонились стальные шеи экскаваторов, скреперы и бульдозеры усердно разравнивали дно. Всюду — люди, машины, горы земли и щебня. Но воды из смирновского кабинета не было видно, и не потому, что ее загораживала выросшая круговая дамба. За последние месяцы озеро обмелело. Его воду выпили хлопковые поля. Смирнову, день за днем наблюдавшему, как убывает вода в озере, эти поля казались живыми. Чудилось, прильнули они к воде жаркими, жаждущими губами, как стадо на водопое, и пьют, пьют, не могут утолить жажды! Вечно недовольный сделанным, Смирнов старался придумать, как бы увеличить годовой запас воды в озере и так организовать ее распределение, чтобы не пропадала даром ни одна драгоценная капля!

— Неплохи у вас дела, Иван Никитич,— одобрительно сказала Айкиз, оглядев водохранилище.

Инженер усмехнулся, горошинка-родинка на его подбородке чуть подпрыгнула.

— Какое там неплохи! Сроки жмут, Айкиз.

— Вы же укладываетесь в сроки, Иван Никитич.

— А я не о тех сроках, какие в плане. Мы для себя иные сроки установили. Они-то и поджимают!

Айкиз рассмеялась:

— Вот и у меня беда со сроками! Когда же, Иван Никитич, зазвенит вода в новом канале?

— Скоро, Айкиз, скоро! Да вы приступайте пока к переселению, а немного погодя мы дадим воду. Денек-другой могут новоселы потерпеть?

— Ни одного дня! Мы обещали, что они будут жить в благоустроенном кишлаке, и обязаны выполнить свое обещание. Поднажмите, Иван Никитич.

— Вот жизнь! — вздохнул Смирнов.— От самого себя нет покоя, так еще ты наседаешь. Ладно, Айкиз, поднажмем.

Разговор их был прерван неожиданным появлением Джурабаева. Секретарь райкома накануне вернулся из Ташкента, куда его вызывали вместе с Абдуллаевым. Глаза у него улыбались, радостно-возбужденные, даже лукавые. Он поздоровался с Айкиз и Смирновым и загадочно проговорил:

— Ну, друзья, я к вам с таким подарком, о каком вы, верно, и не мечтали!

— Не томите! — сказала Айкиз.— Рассказывайте!

Джурабаев порывисто шагнул к окну, встал к нему спиной и, выкинув вперед руки, словно желая обнять друзей, торжествующе воскликнул:

— С победой вас, дорогие товарищи! С огромной победой! В Ташкенте рассмотрели наш план и не только одобрили его, но сделали далеко идущие выводы. «План ваш,— сказали мне там,— это камешек, который должен родить лавину!» И еще сказали: «Республика накануне больших событий, ваша инициатива — это приток могучей реки!» Понимаете, товарищи? В общем, освоению целины под хлопок предложено придать еще больший размах. Нам обещали оказать серьезную помощь. Я обратно как на крыльях летел, спешил вас всех обрадовать.

— Лучшего подарка и правда не придумаешь,— согласился Смирнов.— Но иного мы и не ждали...

— Что ж, что не ждали! — перебила его Айкиз.— Радость наша от этого не меньше! Я чувствую, как и у меня растут крылья.

— Верно, Умурзакова,— поддержал ее Джурабаев.— Но вот о чем помните: нам еще предстоят серьезные испытания. Султанов и Кадыров пугали нас трудностями, и в одном они были правы: дорога перед нами не гладкая, не наезженная. Кстати, я давно не был на ваших полях — как там идет работа?

— Урожая ждем богатого,— сказала Айкиз.

— А как Кадыров? Не лезет больше в драку?

— Кадыров?..— Айкиз на минуту задумалась.— Кадыров притих, от него пока ни вреда, ни пользы...

— Значит, уже вред!

Джурабаев присел на угол стола, крепко потер ладонью щеку, огорченно проговорил:

— Проморгали мы с Кадыровым! Да, да, проморгали! Верно молвит пословица: век живи, век учись. Я бы только добавил: учись у народа! Ведь видел же я, как переменился Кадыров. Понимал, что не справиться ему с новыми задачами, вставшими перед колхозом. А все нянчился с ним, либеральничал, жалел его, ждал, когда он осознает свои ошибки. А простые дехкане не меньше меня уважают раиса, но не хотят потакать его зазнайству. Они поставили вопрос жестко и круто: не надо нам такого председателя, и точка. И они правы. Кадырова давно пора заменить хозяином дальновидным, мыслящим экономически грамотно, современно!

Надо же было случиться так, что как раз в это время в коридоре конторы очутился сам Кадыров, шедший к Смирнову, чтобы выпросить своему колхозу побольше воды для очередного полива. Дверь в кабинет инженера оставалась открытой. Кадыров услышал последние слова Джурабаева. Услышал — и, стараясь ступать тише, попятился назад, к выходу. Опасливо озираясь, он выскочил на улицу, тяжело подбежал к своему коню. Нога его долго не попадала в стремя. Наконец ему удалось взобраться на иноходца, и Кадыров помчался в район.

Когда секретарь обкома, эта «гора», на которую предполагал опереться Султанов, вместо того чтобы в решающий момент выступить против плана освоения пустынных земель в Алтынсае, вдруг объявил себя сторонником этого плана, Кадыров понял, что на посту председателя колхоза ему уже не удержаться. Понял, но не хотел в это верить. Он заправлял колхозными делами, хлопотал, распоряжался, торопил бригадиров, но выполнял эти свои обязанности вяло, без охоты, без удовольствия. Все его мысли, все чаяния и желания слились в одну мысль, непрестанно сверлившую мозг, мешавшую сосредоточиться на повседневных заботах: а вдруг простят, помилуют, не тронут? Ведь у него опыт... И в районе и в области должны учесть его прежние заслуги. Только бы оставили его председате-

лем, а он уж показал бы, на что способен Кадыров! Он в лепешку расшибется, а сделает все, что от него потребуют! Он не то что эту проклятую целину — всю пустыню засеет хлопком! Только бы не снимали...

Кадыров надеялся на чудо, но чуда не произошло. Случайно подслушанный им разговор в кабинете Смирнова окончательно отрезвил его. «Спета твоя песенка, раис,— сказал он себе с горьким отчаянием.— Бывший раис!..»

В кромешной тьме, обступившей Кадырова, слабым светом светился лишь один маячок. И Кадыров, не задумываясь, ринулся в райисполком, к Султанову. Он не был уверен, что Султанов может его спасти, но председателю райисполкома наверняка известно больше, чем Кадырову. Султанов умеет глядеть вперед, он всегда вливал в своего друга силу и бодрость! Кадыров спешил к нему за поддержкой, за советом, за утешением. Он шел на дно и рад был ухватиться хоть за соломинку.

Пока он добрался до района, его носовой платок, которым он то и дело вытирал лицо, шею, затылок, так вымок, словно Кадыров выполоскал его в речке.

Но вот и знакомое здание райисполкома. Широкая аллея, обсаженная зонтами-деревьями. Аккуратные скамейки для заждавшихся, приученных к терпению посетителей. Приемная, где грозным стражем султановского покоя восседала пышнотелая секретарша. Заветная дверь, обшитая щегольской черной кожей...

Секретарша сухо кивнула Кадырову и зачем-то спросила:

— Вы к кому, товарищ Кадыров?

— Султанов у себя?

Секретарша выплыла из-за своего столика и прочно утвердилась между Кадыровым и дверью, к которой он хотел шагнуть.

— Товарищ Султанов у себя, но никого не принимает. У него совещание.

Кадыров побагровел, провел мокрым платком по вспотевшей шее.

— Мне-то он, думаю, уделит пару минут.

— Товарищ Султанов ни для кого не делает исключения.

— А вы все-таки доложите ему обо мне. Меня он должен принять.

Секретарша пожала плечами и скрылась за дверью. Выйдя через минуту, она с укором сказала:

— Я же вам говорила! Товарищ Султанов очень сожалеет, но у него важное совещание. Если хотите, посидите пока в саду... Но вряд ли он скоро освободится.

— Та-ак...— понимающе протянул Кадыров. Он постоял еще немного, потом круто повернулся и ушел, яростно хлопнув дверью. Все было ясней ясного. Никакого совещания Султанов не проводил — уж Кадырову-то знакомы были эти штучки! Он просто не пожелал видеть Кадырова. Он больше не нуждался в своем друге... Да, товарищ Султанов умел глядеть вперед!

Когда Кадыров вернулся в Алтынсай, солнце клонилось к горизонту. Возле колхозного правления никого не было. Кадыров, обрадовавшись этому, направился в свой кабинет. По дороге он заглянул в комнату, где обычно сидела секретарша. Назакатхон еще не ушла, но была не одна: она разговаривала с отцом.

— Аликул! Когда кончишь разговор, зайди ко мне,— на ходу бросил Кадыров.

Сев за свой стол, он потянулся было к графину с водой, но тут же с досадой убрал руку: графин был пуст. Вот уже несколько дней, как Назакатхон не потчевала раиса ни чаем, ни конфетами, ленилась даже наполнить графин свежей водой. Она стала сторониться Кадырова... Кто знает, может быть, в Назакатхон, позавидовавшей однажды чистой, самозабвенной любви Михри и Керима, проснулось чувство брезгливости — и к себе и к тем, кому она без любви беспечно дарила свою благосклонность. Но у Кадырова сложилось иное мнение: «Почуяла, красавица, что не быть мне раисом,— думал он хмуро,— вот и запела другую песню! То ластилась, лебезила перед председателем, а теперь задрала носишко! Так оно и бывает в жизни: теряешь почет и власть — теряешь друзей. Не хватает еще, чтобы от меня отвернулся твой отец! Ну нет, этот не покинет меня в тяжелую минуту, одной мы веревкой связаны!»

Аликул, войдя в кабинет, поклонился председателю и присел на диван с постным, смиренным выражением лица.

— Слыхал? — обратился к нему Кадыров.— Плохи наши дела. Умурзакова добилась-таки своего! Просчитались мы, видно. Крепко просчитались.

— Это ты, ты просчитался, раис,— спокойно возразил Аликул.— Прошу тебя, не сваливай с больной головы на здоровую.

— Погоди, погоди...— нахмурился Кадыров.— Что ты мелешь?

— Худо тебе придется, раис. Ой, худо! — Аликул даже зажмурился от огорчения.— И зачем ты лез на рожон, да еще других мутил?

— Погоди! — Кадыров стукнул кулаком по столу.— Я-то знаю, что меня ждет. Так ведь и тебе не ходить больше в председателях совета урожайности. Вот и давай подумаем...

— А что мне думать, раис? Мне эта должность нелегко досталась. Ой, нелегко! Сколько лет я трудился в поте лица своего, чтобы заслужить уважение народа! Дехкане выбрали меня председателем совета урожайности. Это хорошая должность, раис. Зачем же мне от нее отказываться?

Кадыров тупо уставился на Аликула, еще не понимая смысла его слов. Аликул скромно сидел на диване, перебирая тонкими пальцами тощую козлиную бородку. В прищуренных глазах таилась хитрая лисья усмешка.

Заметив наконец эту усмешку, Кадыров раздраженно сказал:

— Ты что овечкой прикидываешься? Давай говорить откровенно, по-мужски. Ты знаешь, что нам грозит?

— Тебе грозит, раис,— опять пропел Аликул,— тебе, а не мне...

— Да у тебя, видно, дырявая память, а? Мы ведь оба были против целины! Оба потакали Молла-Сулейману! Вместе состряпали это проклятое письмо в газету! Оба мы промахнулись, обоим нам и отвечать перед народом!

— Нет, раис, ты отвечай один. А мое дело — сторона.

Кадыров вышел из-за стола, остановился перед Аликулом. Казалось, даже белки глаз у него побагровели, так он рассвирепел. Аликул смотрел на него снизу вверх с издевательской хитрецой и теребил, теребил свою бородку...

— Ты что же это, дорогой друг,— с угрозой произнес Кадыров,— в кусты метишь? Хочешь, чтобы я за всех отдувался? Так не пойдет, дорогой. Я пока еще коммунист. Я себя не пощажу, но и вам всем несдобровать!

— А кто тебе поверит, раис? — спросил Аликул, и голос его звучал слащаво, но зловеще.— Слова твои для дехкан как пустой орех. Нет тебе веры! А меня колхозники уважают...

— Они еще не знают о твоих темных делах!

— И не узнают. Не узнают, раис. Уж не ты ли им об этом поведаешь!

— Я своим дехканам не враг. Я расскажу им всю правду и про себя, и про Султанова, и про тебя, старая лиса!

— А я скажу, что это клевета. Председатель, мол, сам напакостил, а теперь валит все на других. Ведь вот как нескладно получается: ты больше всех разорялся на собраниях, а я молчал, твое имя попало в статью Юсуфия, а мое нет...

— А твои речи на пирушке? Ведь это ты натравливал меня на Айкиз! Или ты забыл об этом?

— А кто их слышал, эти речи? Рузы-палван? Гафур?— Аликул сжал свой сухонький кулачок.— Так они у меня вот где! Мне ведь известно, чем они занимаются на базарах! Меняют породистых коров на захудалых, разбавляют брачком колхозное стадо, а денежки кладут себе в карман или тратят на взятки раису. И раис брал их подарочки. У раиса тоже совесть запачкана. Плохо, плохо будет, если об этом узнают дехкане!

Слова Аликула пронзали Кадырова, как пули. Он впился в старика ненавидящим взглядом, прохрипел, задыхаясь:

— Не боюсь я тебя, старый шакал!

— Боишься, раис,— с каким-то сожалением вздохнул Аликул,— боишься. Да и как тебе не бояться? Ты сам рассуди: покаешься ты перед колхозниками, перед райкомом в своих грехах — не во всех, не во всех, раис! — скажешь, что туман застлал тебе глаза, оттого ты и не разобрался в этом деле с целиной. Ну, побранят тебя, переведут в бригадиры, тем все и кончится. А начнешь топить других — так и другие не будут молчать, и не видать тебе партийного билета как своих

ушей. Поверь мне, раис, в этом случае все остальное покажется тебе сладкой халвой! А мне что? Не пойманный, говорят, не вор. Был, правда, грех, видели дехкане, как я с вами пил. Так ведь если и видели — не осудят! Я человек маленький, чего нельзя коммунисту Кадырову — Аликулу простительно. Я скажу: это ты, раис, втянул меня в свою компанию. Я скажу: ты и дочери моей не давал проходу. Мне ведь такое известно, в чем ты не осмелишься признаться ни на одном собрании!

Кадыров еле сдерживался, слушая Аликула. Сердце переполнилось бессильной яростью. Не помня себя от бешенства, он шагнул к старику, схватил его за ворот, выдавил из себя осипшим шепотом:

— Старый шакал! Змея!.. Ты тоже за все поплатишься!

— Пусти! Опомнись, раис!..— Аликул вырвался из рук Кадырова, бросился к окну и, раскрыв его ударом кулака, крикнул:

— Люди добрые! Слушайте меня!

Кадыров за плечи оттащил Аликула от окна, ладонью зажал ему рот:

— Молчи, шайтан! Молчи!

Аликул высвободился из тяжелых обьятий друга и довольно ухмыльнулся:

— То-то же, раис! Скажи спасибо, что на улице никого не было! — Он выпрямился, в глазах его мелькнуло жесткое, беспощадное выражение.— Слаб ты со мной тягаться, раис. Я-то всегда выйду сухим из воды, а ты сам себя погубишь! Разные у нас с тобой пути, дорогой.

Аликул исчез, и Кадыров остался один.

Он сидел на диване, сгорбившись, стиснув коленями большие, тяжелые руки, которым доводилось когда-то держать и кетмень и винтовку. За окном быстро темнело, в кабинете тоже было темно...

Вот и пришел час расплаты, Кадыров...

А до этого часа был в твоей жизни другой час, когда ты, приняв победы колхоза за свои собственные, стал уважать только себя, верить только себе. Жизнь ушла далеко вперед. Люди мужали, учились, тянулись изо всех сил, чтобы быть вровень со временем. А ты самодовольно стоял в стороне, полагая, что все уже постиг, и, как попугай, твердил одно: «Я практик... У ме-

ня опыт!» Хотя опыт твой старел, как все стареет в жизни. Ты оброс жирком, Кадыров, и сам не заметил, как твоя суровая решительность превратилась во властность, хозяйская расчетливость — в трусливую осторожность, спокойное сознание своей силы — в сытое, тщеславное самодовольство. Ты не хотел этого замечать!

Погляди, Кадыров, кого ты пригрел, с кем советовался все эти годы, кого называл своими друзьями! Только что волчьим оскалом сверкнула тебе в глаза беспощадная усмешка Аликула. А Гафур, Рузы-палван, Молла-Сулейман — разве они лучше, разве не стоят один другого? Ты чванился, хвастал перед самим собой: «Дехкане меня на руках готовы носить!» А кто расточал перед тобой льстивые речи? Воры, отпетые лодыри, клеветники, подхалимы! Ты утешал себя в трудные минуты: мне есть на кого опереться. Но кто поддерживал тебя, пока ты был в чести? Волки и лисы!

Но они-то и были тебе нужны, Кадыров! Сладкими словами, от которых кружилась твоя голова, они баюкали твою совесть. Им не претили твоя самоуспокоенность, самонадеянность, они стремились показать тебя — тебе же — таким, каким ты уже не был, до сказочных размеров раздувая твои истинные и мнимые достоинства. Они помогали тебе жить спокойно, и ты считал себя достойным всяческих похвал, ты даже искренне уверовал в свою правоту, когда пошел против тех, кто боролся за освоение пустынных земель. Неужели ты не видел, что они делают это на благо народа? Видел! Но черная зависть застилала тебе глаза. Ты хотел покоя, вечного почета за свои прошлые заслуги... В твою душу ни разу даже не закралось сомнение: «Как же так — ведь если я прав, почему меня окружают не лучшие люди кишлака, а лишь те, у кого на уме пиры да забавы?..»

Опьяненный тщеславием, ты на все закрыл глаза, чтобы не видеть правды. Теперь ты узнал цену своим друзьям. Они предали тебя, а ты запутался и не можешь даже отомстить им, вывести их на чистую воду. У тебя связаны руки, Кадыров! Иначе и не могло быть! Ведь Аликул сказал правду: в любом случае он сумеет выкрутиться. А откройся ты во всем перед колхозниками, перед партией — тебе, пожалуй, придется распрощаться с партбилетом.

Нет, ты еще не все понял, раис! Вот и сейчас ты думаешь о себе, о том, как спасти свою шкуру! Чтобы сохранить партийный билет, ты готов пожертвовать партийным долгом и честью, ради этого ты пошел уже на молчаливую сделку с Аликулом! Значит, главное для тебя — не служить партии, а только быть в партии? Но так и перестают быть коммунистами, Кадыров!

Нет, ты еще не все понял...

Ты ведь все еще думаешь, что Умурзакова и ее друзья отстаивали свои планы из карьеристских соображений. Ты до сих пор считаешь, что они тебя «подсиживали». Когда ты с горечью заявил Аликулу: «Умурзакова добилась-таки своего!» — ты ведь хотел этим сказать, что она стремилась к каким-то благам лично для себя. Потому, мол, и торжествует!

Ты так и не видишь, раис, большой их правоты. Не видишь хрустальной сердцевинки этой правоты: заботы о народе, веры в народ. Теперь, видя, как мечта их становится явью, ты сожалеешь, что оплошал, промахнулся, что в свое время не поддержал их, не пошел вместе с ними. Но вспомни, что удерживало тебя от этого? Ты боялся поплатиться почетной своей должностью за рискованную попытку, а боялся потому, что не верил в удачу, не верил в своих дехкан, в их коллективную мудрость, в их силу. Нет, не прошла еще твоя слепота, Кадыров!

И если ты не наберешься мужества, не отрешишься от мелких забот о своей особе, не взглянешь правде в глаза, не постараешься понять все-все до конца — ты останешься совсем один.

А это самое страшное в жизни — остаться одному...

● ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ

Алтынсайцы на общем колхозном собрании выбрали председателем правления «Кызыл юлдуз» Алимджана. Кадырову дали звено в одной из новых, целинных бригад. «Можно считать, легко отделался,— с горечью подумал бывший раис,— могло быть хуже. Что ж, поделом тебе... размазня!» Так и не отважившись на полное и чистосердечное раскаяние, Кадыров намеревался

загладить свою вину честным трудом на целине, а кстати показать всем, что есть еще у него порох в пороховницах. Прежние друзья от него отшатнулись, но он был рад этому: отдалившись от них, он уже не чувствовал себя их соучастником.

К концу августа по арыкам новых поселков побежала вода. По всему району началось массовое переселение, которое, по расчетам райкома и сельсоветов, должно было завершиться перед уборкой урожая. В кишлаки, выросшие в пустынной степи, вселялись колхозники Алтынсайского, Яккатутского, Аккумского и Кукташского сельсоветов. Степь оживала. Оживала степь, где раньше встречались лишь редкие землянки чабанов, отчего она казалась еще пустынней, необозримее, неприютней.

Но прав был Джурабаев — дело, начатое инициаторами «Кызыл юлдуз», оказалось прекрасным началом широкого движения за освоение пустынных земель, превращение их в благодатные хлопковые поля.

Многие из колхозов, расположенных по соседству с «Кызыл юлдуз», успели уже вспахать целинные земли, пришедшиеся на их долю. Яккатутцы, посоветовавшись с трактористами, решили дополнительно освоить еще двести гектаров целины. Целинная степь переставала быть целинной. Камешек, кинутый алтынсайцами, рождал лавину.

В Катартале почти все семьи — а их там было не меньше двадцати — покидали старые дома. Новоселы побывали в новом кишлаке, придирчиво осмотрели отведенные им жилища, навели порядок во дворах и на приусадебных участках, посадили плодовые деревья, заготовили топливо на зиму. Кишлак был хорош; он сразу полюбился катартальцам, и они спешили в нем обосноваться.

Наконец наступило утро переселения.

Перед рассветом в Катартал прибыла колонна грузовиков и выстроилась длинным праздничным караваном на единственной улице. Борта машин были украшены кумачом, над кабинами пламенели плакаты, на радиаторах бились по ветру красные флажки. На каждом из грузовиков, на борту или на кабине, крупными буквами было начертано имя главы семьи, для которой предназначалась машина.

В кишлаке царило радостное оживление. В центре его, прямо на улице, разожгли костер, который казался издалека огромной, трепетной махровой розой. Пока катартальцы с веселым энтузиазмом грузили на машины ковры, столы, одеяла, кровати и непременные громоздкие, тяжелые сундуки, набитые одеждой и всякой домашней утварью, у костра не смолкала бодрая музыка. Мерно гремел бубен, гортанно трубили карнаи, звенели струны дутара и тамбура, переливчато пели сурнай и флейта. Музыканты старались, и дехкане, не удержавшись, один за другим пускались в пляс. В этом празднестве участвовали не только катартальцы, сюда пришли гости из Алтынсая — поплясать, повеселиться, порадоваться за друзей, родичей, товарищей по труду. Были тут Бекбута, Суванкул, Керим. Собралось много и других алтынсайцев. Когда начал плясать Керим, к костру сошлись все колхозники, гости и хозяева. Они дружно хлопали в ладоши, подбадривая танцора, и Керим упруго, как пружина, взлетал над землей, лихо перебирал плечами, кружился волчком, стремительно переступая с ноги на ногу. Гибкий, ловкий, он был подвижным, как пламя, и казался невесомым, как пламя!

Разгоряченный, с каплями пота на висках, он остановился против Суванкула, приглашая тракториста поразмяться в танце, а тот потянул за собой Бекбуту. Суванкул не столько плясал, сколько топтался на месте, тяжело поворачиваясь, неуклюже взмахивая богатырскими ручищами. Земля словно гудела у него под ногами. А Бекбута с кокетливой грацией вьюном вился вокруг друга, двигая бровями, умильно улыбаясь, подмигивая. Зрители смеялись, аплодировали, танец имел успех. Керим, полный сил, задора и восторга, приглашал в круг новых и новых танцоров. Пришлось показать свое умение и Смирнову с Погодиным. Погодин был грузноват, но в веселом этом состязании одержал верх над инженером: он так плясал вприсядку, такие выделывал коленца, что все только диву давались.

Утро постепенно вступало в свои права. Оно началось робкой светлой полоской у горизонта, потом зарозовели пышные облака, скопившиеся на востоке. Вскоре весь воздух стал прозрачно-розовым, и уже в утреннем свете, залившем горы, небо и землю, побледнело пламя костра, зато ярче заалел кумач на машинах.

Погрузка была окончена. Перед дехканами с ко-

роткой речью выступила Айкиз, после нее взял слово Уста Хазраткул. Он был в тот день вдвойне именинником: вместе со всеми катартальцами бригадир строителей перебирался в новый кишлак, а кишлак этот был детищем самого Уста Хазраткула. Голову мастера не покрывала обычная соломенная шляпа, он заменил ее новенькой тюбетейкой; по случаю праздника он обзавелся новыми сапогами, брюками-галифе, серым камзулом[1]. Принарядившись, он выглядел не таким длинным и нескладным, как в старой одежде.

— Нынче у нас праздник, друзья мои,— сказал Уста Хазраткул.— Большой праздник! Такие выпадают не каждый год. Новый дом — это новая жизнь, оттого с такой охотой переезжают люди в новые жилища. Поселишься в новом доме,— а он во сто раз краше прежнего,— и своими глазами видишь, всем сердцем чувствуешь: «Да, сегодня я живу лучше, чем вчера! Не зря я, значит, трудился, вознаграждены мои старания». Когда одна семья переселяется, радуются и сами новоселы, и родные их, и друзья. Веселым новосельем отмечают они этот день! А тут весь кишлак снимается с места, новоселье ждет всех катартальцев! Великая это радость, друзья, и спасибо за нее родной партии, всему народу! А я, дорогие, счастлив еще потому, что это ведь моя бригада приготовила вам такой подарок! — Бригадир горделиво разгладил свои пышные, чуть опущенные книзу усы.— Не хвалясь, скажу, молодцы мои работали не покладая рук и одно держали в уме: как бы сладить такие дома, чтобы вы, друзья мои, ни к чему не могли придраться! Мне тоже дали дом в этом кишлаке, и уж поверьте, заживу я в нем на славу, а я-то знаю толк в домах! Лишь слепым упрямцам это переселение не в радость, а в тягость. Есть у нас в кишлаке такие... Они остаются в Катартале, и мне их, ей-богу, жалко! Подождем, может, они еще прозреют. Вас же всех я от души поздравляю с новосельем, желаю вам на новом месте светлой, честной, счастливой жизни...

— По машинам, друзья! — взволнованно воскликнул Алимджан после речи Хазраткула.— Приглашаем вас в ваши новые дома!

Новоселы и гости с шумом разместились в грузови-

---

[1] Камзул — полухалат, полупальто.

ках. Праздничный караван двинулся. Впереди, на газике, ехали Айкиз, Алимджан, Смирнов, Погодин. За ними — грузовик с оркестром. Дальше — машина с семьей и имуществом Уста Хазраткула, которому выпала честь первым из новоселов въехать в новый кишлак и занять новый дом.

Катартал опустел, но ненадолго. По инициативе Алимджана здесь предполагалось создать молочную ферму, за которую он ратовал уже давно, но встречал до последнего времени упорное сопротивление Кадырова, смотревшего и на ферму как на лишнюю обузу.

Катартальцы с музыкой, с песнями проследовали через Алтынсай. Зазеленели с обеих сторон дороги хлопковые поля. Гости распрощались с хозяевами, спрыгнули с машин, заторопились в свои бригады.

Караван с новоселами хорошо был виден с того участка, где работала бригада Муратали. Услышав гром оркестра, ликующие возгласы, старик обернулся к дороге и долго стоял, сурово сомкнув губы, то ли с завистью, то ли с неодобрением глядя на грузовики, сливавшиеся в длинную алую ленту.

Муратали не пошел в Катартал проводить своих земляков в недальний, счастливый путь. Он не хотел ожесточать свое и без того наболевшее сердце. Чуть-чуть завидуя новоселам, он не мог понять, как решились они оставить родной кишлак, где столько лет жили, горюя, радуясь, растя детей, где земля была полита их потом, а могилы близких — жгучими слезами, где с таким тщанием, так бережно и любовно ухаживали они за каждым деревцом, за каждой зеленой травинкой. Глядеть на то, как они уезжают оттуда,— все равно что смотреть, как рубят и увозят деревья, оставляя в земле корни, без которых дереву не жить.

Так думал старый Муратали. А еще с нежностью и тревогой думал он о своем урюковом дереве. Каким-то оно стало за это время? Зреют ли его плоды? Не ленится ли сосед, взявшийся присматривать за урюком, поливать прихотливое дерево?

Муратали давно не был в Катартале. Настала страдная пора, а в такие дни он всегда ночевал на полевом стане. По чести сказать, хотя сам Муратали не хотел в этом сознаться, его не тянуло домой. Тоскливо было

изо дня в день отмерять в одиночестве длинный путь от Катартала до Алтынсая и обратно. Дома стало пусто и неуютно, когда ушла Михри...

Мураталı любил дочь больше всего на свете. Ей не было и двенадцати лет, когда она потеряла мать. С тех пор Муратали неусыпно заботился о дочери, наставлял ее, воспитывал, радовался ее успехам, гордился ее прямотой, честностью, трудолюбием, а когда она прихварывала, на руках относил ее в Алтынсай. Он часто повторял, что Михри для него — все...

И вот уже несколько дней, как он встречается с ней только на работе, дает ей как бригадир нужные указания и тут же отворачивается, отвечая упрямым молчанием на все ее слова, просьбы и слезы. Михри искала примирения, она все делала, чтобы смягчить отца, но Муратали оставался непреклонным. Все видели, как тяжело переживает он ссору с Михри. За эти дни он стал еще суровей, неразговорчивей. Но как ни тяжело ему было, на уступки он не шел и строго-настрого запретил всем произносить при нем имя дочери. Он не мог простить Михри ни позорной любви к Кериму, любви, не получившей отцовского благословения, ни того, что она вопреки его воле согласилась переселиться в новый кишлак.

Сейчас она, верно, сидит на одном из грузовиков, возле вещей, которые забрала из дому, а рядом развалился Керим. Они весело, беспечно смеются, и нет им никакого дела до старого Муратали, «темного, глупого старика», как, по словам Гафура, назвал его этот невоздержанный на язык мальчишка.

Он и не догадывался, старый упрямец, что Михри, уже получив дом в новом кишлаке, о переселении еще не помышляла. Айкиз посоветовала подруге:

— Подожди пока уезжать из дому. Не серди отца. Пусть сама жизнь его образумит.

— А что скажут дехкане, Айкиз-апа? — возразила Михри.— Я, комсомолка, призывала всех переселяться, а сама остаюсь в старом доме!

— Не бойся, дехкане тебя поймут. Потерпи немного. Одной тебе нельзя переселяться. Нехорошо это...

И Михри согласилась с Айкиз — ведь и она любила отца больше всего на свете...

● ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПРОЗРЕНИЕ МУРАТАЛИ

На другой день Муратали занемог. Пришлось лечь в районную больницу. Он уже давно страдал болезнью печени, но на этот раз приступ оказался особенно острым.

Бригадиром вместо себя Муратали оставил Гафура — назло дочери, назло Айкиз, приютившей строптивицу, назло самому себе! Старик недолюбливал Гафура, но из упрямства убеждал себя, что Гафур — человек надежный. Он, правда, любил гонять лодыря, да это, верно, оттого, что черная работа не по нем, а когда ему придется отвечать за всю бригаду, он подтянется, не захочет уронить свое достоинство. Алимджан в тот день был в районе, а председатель совета урожайности Аликул с легким сердцем одобрил решение Муратали: Гафур мог ему пригодиться. Пусть покомандует бригадой, понаслаждается властью — власть всем по сердцу...

В больнице Муратали пробыл около двух недель. Михри несколько раз пыталась пройти к нему, но он не велел ее пускать. Наведывался в больницу и Керим, но и ему не удалось проникнуть к больному. Муратали никого не хотел видеть. Врачам и сестрам, которым раздражительный старик доставлял немало хлопот, ничего не оставалось, как пуститься на хитрость: они брали от Михри и Керима передачи, но не говорили, кто их принес.

Почувствовав себя лучше, Муратали попросил немедленно выписать его. Не без скандала добился своего. Когда он вышел на улицу, у него с непривычки закружилась голова. Он превозмог слабость и твердым шагом направился к шоссе, где сел на попутную машину. Однако до Алтынсая он не доехал, а сошел неподалеку от своего участка. Все дни, пока он лежал в больнице, его грызла одна забота, одна тревога: не подвел ли его Гафур? В эту пору хлопок нуждался в тщательном окучивании, в своевременном поливе. Муратали хотелось поскорей увидеть свой хлопчатник.

Время близилось к вечеру. В поле никого не было. Миновав земли соседних бригад, Муратали добрался

до своего поля. Сердце у него упало. Некоторые участки поля были запущенными, хлопок в этих местах густо зарос сорняком, в иных междурядьях на сухой, плохо обработанной земле валялись опавшие цветы и бутоны. Случилось самое страшное: хлопок, не получивший достаточно воды и заботливого ухода, начал сбрасывать цветы! Еще день-другой — и все цветы осыплются. Зеленые, похожие на орехи коробочки, уже появившиеся в нижней части кустов, останутся, а новых не будет!

Так Гафур отплатил старому Муратали за все добро! Гафур и думать не думал о хлопке, о чести бригады, не следил, как работают дехкане, и те из них, кто всегда отличался нерадивостью, в эти дни совсем не брались за кетмень. Ведь хлопок красноречивей всяких слов рассказывал бригадиру о том, кто как трудился...

Это шайтан подтолкнул его поставить вместо себя бригадиром Гафура! Подлый, бессовестный человек, он опозорил старого Муратали! На других участках хлопок как хлопок, а у Муратали часть урожая пропала. Как могли сохраниться цветы, если земля тверда как камень? Как расти хлопку, если его лишили света, тепла, влаги и воздуха? Подлый, бесчестный Гафур!

У Муратали слезы подступили к горлу. В отчаянии он смотрел на участок, где рядом с заботливо окученными кустами пригорюнились забытые, непоенные, и в душе закипала злость и на себя и на Гафура. Обманщик, лодырь и пьяница — вот кто такой Гафур! Он сам как сорная трава, заглушившая хлопок, как вот та повилика, обвившая куст хлопчатника! Нежно обняв этот куст, прильнув к нему с дружеской доверчивостью, она душит хлопок! У повилики нет корней, она питается соками растений, которым дарит свою коварную дружбу. Растение высыхает, гибнет, а повилика торжествующе тянется к солнцу. Так и ты, Гафур, кормишься чужой бедой! Старый Муратали доверил тебе бригаду, положился на тебя как на друга, а ты, почуяв свободу, бросил все и помчался на базар. Уж, наверно, все было именно так! Недаром же Михри назвала тебя спекулянтом. За хорошую цену ты готов продать свою совесть, дружбу, чужое доверие! Тебе, как повилике, вольготно лишь тогда, когда плохо другим. Где ни ступит твоя нога, там осыпаются цветы и лезет из земли сорняк!

Но погоди!.. Не бесконечно твое благоденствие! От повилики можно избавиться. В том месте, где она разрослась, дехкане поливают землю керосином, поджигают его, и повилика обращается в пепел! А вместе с ней сгорает все, что росло по соседству... Тебя настигнет кара народа, Гафур, а Муратали уже наказан, жестоко наказан за упрямство, за то, что не научился отличать врагов от друзей. Дорого платит он за свою слепоту: загубленный тобой хлопок уже не спасти...

Муратали глубоко вздохнул, повернулся и побрел к полевому стану, чтобы взять кетмень и отвести душу в работе. Но на стане он неожиданно встретил Айкиз.

— Поправились, Муратали-амаки?! — воскликнула она с искренним дружелюбием.— Я от души рада за вас.

— Радоваться-то нечему,— растерянно сказал бригадир.— Беда у меня, дочка...

Лицо Айкиз стало серьезным. Она участливо кивнула:

— Знаю, Муратали-амаки. Я сегодня прошлась по всем участкам, была и на вашем.— И спросила с мягким упреком: — Как же это вы, ни с кем не посоветовавшись, поставили бригадиром Гафура?

— Я сказал Аликулу.

— И Аликул согласился с вашим решением? Непонятно. Всем же известно, что за птица Гафур!

— Ой, дочка... Я-то вот поверил этому нечестивцу.

— Так ли, Муратали-амаки? — В голосе Айкиз слышалось сомнение.— Вы не знали, что представляет собой мой дядюшка?

Муратали поднял на нее глаза, в которых были сейчас только печаль и усталость, и тяжело вздохнул:

— Знал, дочка. Я сам во всем виноват.

— Да вы не огорчайтесь, Муратали-амаки! — ласково сказала Айкиз.— Хлопок еще можно спасти.

— Ты добрая, Айкиз. Но боюсь, что спасти его трудно.

— А мы постараемся. Придумаем что-нибудь!

— Поздно думать, дочка! — Муратали обреченно махнул рукой.— Бригаде понадобится не меньше недели, чтобы выходить хлопок. У нас ведь немало и других забот. А за неделю чахлые кусты сбросят все цветы и бутоны.

Айкиз задумалась, и снова ее лицо осветилось ободряющей улыбкой.

— Никогда не надо терять надежду, бригадир. Увидите, все будет хорошо. Идите домой и отдохните. Вы давно из больницы?

— Днем выписался.

— Ну вот! Не бережете вы свое здоровье.

— До здоровья ли тут, дочка? Ступай, а я немного поработаю.

— Ведь уже темнеет, Мураталн-амаки. Какая теперь работа глядя-то на ночь! Пойдемте, я провожу вас до Алтынсая, а там — садитесь на Байчибара и поезжайте к себе в Катартал. Или вы хотите ночевать в Алтынсае?

— Нет, я домой... Соскучился по Катарталу.

Когда они вышли на дорогу, Айкиз поинтересовалась:

— Вы так и не надумали переселяться, Муратали-амаки? Ваши все уже справили новоселье. И очень довольны.

У Муратали не было сил ни спорить, ни возмущаться, он только проворчал:

— Мне за другими не угнаться! Ты слышала, что говорят про меня прыткие на язык комсомольцы? Муратали — темный, глупый, никуда не годный старик!

— Полно вам, Муратали-амаки! Никто так о вас не говорит.

У Муратали задрожали губы:

— А ваш хваленый Керим? Мало ему, что он отнял у меня дочку, он еще обливает старого человека грязью! И ты хороша, Айкиз! Вместо того чтобы усовестить их, ты дала Михри приют...

— Михри — моя подруга, я не могла отказать ей в убежище. Но вы... Кто-то оклеветал перед вами Керима! Поверьте, Муратали-амаки, мало кто относится к вам с таким уважением, как Керим. Спросите у дехкан, он всегда говорит о вас с сыновней почтительностью. Кто же вздумал чернить его?

Муратали молчал.

— Нет, ни от кого я не слышала о вас худого слова,— продолжала Айкиз.— Хотя, скажу вам честно, нас очень огорчило, что вы не хотите переселяться. Нам больно было за вас, Муратали-амаки! Вы же всегда были с народом и вдруг оказались в стороне от общего

дела. Все покинули Катартал, вы один упрямитесь. Подумайте, Мураталиамаки, может ли быть, чтобы все заблуждались, а вы один были правы? Вы не обижайтесь, но, если человек остается один, значит, он неправ! И вам, я уверена, в тягость ваше одиночество. В одиночестве человек и сам несчастлив, и других не может осчастливить. В одиночестве даже гора разрушается под дождем и ветром! Вы сами, чуть отошли от людей, уже попались в сети к злоязычному сплетнику! Дереву и то трудно одному...— Айкиз замолкла, вспомнив о чем-то, и после недолгого раздумья опечаленно сказала: — Вы еще не знаете, Муратали-амаки... Урюк-то ваш погиб.

Муратали не поверил Айкиз, но ее слова заставили его поторопиться. С благодарностью он принял от нее Байчибара и вскоре был уже в Катартале. Привязав коня к калитке, старик кинулся к урюку. Над землей сгустились вечерние сумерки. Но темнота не мешала разглядеть, что урюк засох. На ветках, не опав, засохли листья... Он с горькой нежностью погладил нижнюю ветку. Листья рассыпались под его ладонью. Кора оказалась жесткой, шероховатой. Айкиз сказала правду.

Ослабевший после болезни, изнуренный событиями прошедшего дня, старик еле доплелся до постели. Не зажигая огня, не раздеваясь, он лег, но спал дурно, беспокойно. Всю ночь его мучали кошмары.

Утро принесло ему и горе и утешение

Когда в комнату просочился бледный рассвет, Муратали поднялся и увидел, что в доме ничего не тронуто. Все вещи оказались на месте, кровать дочери аккуратно застелена, словно Михри никуда не уходила. Выходит, зря он на нее сердился. Она все еще живет у Айкиз, а не в новом поселке. Она еще не оставила мысли вернуться к отцу.

Выйдя во двор, Муратали чуть не заплакал от жалости, увидав, каким стало родное его сердцу дерево. Его, наверно, еще весной побило морозом, а Муратали не заметил этого. У дерева хватило сил выпустить листья, расцвести в последний раз, а в июле оно зачахло, высохло. Как бы ни поливал его Муратали, как бы за ним ни ухаживал, оно уже было обречено. Но в последнее время старик редко бывал в Катартале и мало ухаживал за своим деревом.

Внизу, в колхозном саду, урюковые деревья вы-

стояли, не потеряли ни одного листочка, завязали плоды. Их было много, они прикрывали друг друга от резкого, ледяного ветра, делились друг с другом теплом, помогали друг другу. Мороз оказался не страшен для них, дружных и сильных, им не страшны были никакие напасти. А его дерево, одинокое и беззащитное, стоит с голыми ветвями, почернелое, словно обуглившееся, покрытое сухими, свернувшимися в трубочку листьями... Верно сказала Айкиз: дереву и то трудно одному.

С тяжелым сердцем вышел Мураталн на работу. А когда пришел к себе на участок, не сразу понял, что там происходит. Поняв же, не поверил глазам. Не снилось ли ему это?

В поле была не только его бригада, но и бригады Бекбуты и Керима. Муратали никогда не видел, чтобы на одном участке трудилось столько народу. Дехкане выпалывали сорняки, рыхлили землю, в междурядьях весело журчала вода. Вдали, ближе к каналу, усердствовали «Универсалы», проводя культивацию. Тракторы мог прислать только Погодин,— значит, и он не остался безучастным к чужой беде. Вот они, настоящие его друзья, которые в трудную минуту, не раздумывая, поспешили ему на помощь! Муратали был ошеломлен, даже не знал, за что ему приняться. Он сгреб в охапку вырванные из земли сорняки, отнес их к дороге. Вернувшись, хотел окучивать куст хлопчатника, но кетмень выскользнул из его рук. Старик разогнул спину, растерянно огляделся. Его уже заметили, дехкане смотрели на него с добрыми, чуть лукавыми улыбками. Неподалеку от Муратали прополку вела Айкиз — она в это утро тоже взялась за кетмень, и Муратали, обходя кусты, направился к своей спасительнице. Он не сомневался: это она вывела народ в поле, ведь обещала же она ему что-нибудь «придумать». По щекам старика катились слезы. Он крепко обнял Айкиз и не нашелся даже что сказать.

— О чем плачете, Муратали-амаки? — молвила Айкиз и сама вдруг почувствовала, как у нее защипало глаза.— Ведь все теперь хорошо.

— Спасибо тебе, дочка,— сказал Муратали.— До конца жизни я этого не забуду...

— За что спасибо? Это все Керим, Бекбута. Я вчера сказала о вашей беде Алимджану, а он, оказывается,

обо всем уже позаботился. Он еще вчера совещался с бригадирами, и Бекбута с Керимом обещали ему, управившись у себя, поработать и на вашем участке. Сами видите, Муратали-амаки, они выполнили свое обещание! Бекбута так и сказал Алимджану: снег, заваливший дом соседа,— это снег и на моей крыше.

— Отцы ваши могли бы гордиться вами! — растроганно произнес Муратали.— Дай бог и тебе с Алимджаном таких же разумных и добрых детей!

Айкиз слегка покраснела и, чтобы скрыть смущение, посоветовала:

— Вы бы пошли к своей дочери, Муратали-амаки. Вон она, видите? И Керим там же. Не сердитесь на них. Они оба молоды, и мысли у них как горячие иноходцы: скачут порой, не разбирая дороги!

— Я не держу на них зла в сердце. Молодость как бутон цветка: бутон живет, чтоб распуститься, молодость — для счастья и любви.

Дождавшись, когда Керим и Михри оказались рядом, Муратали пошел к ним. Они переглянулись, прервали работу и, выпрямившись, ждали старика. Оба стояли, потупив глаза, смущенные и взволнованные.

Подойдя к ним, Муратали поцеловал в лоб дочку, поздоровался с Керимом.

— Спасибо, сынок...

Впервые старый Муратали назвал Керима сыном. Он в эту минуту чувствовал себя так, словно перевалил через высокую гору.

— Спала с моих глаз повязка, дорогие,— тихо сказал он.— Теперь я знаю, кто мне друг, кто враг...

Старик оглянулся, ища глазами виновника свалившейся на него беды — Гафура. Но Гафура не было.

Не явился он в бригаду ни на другой, ни на третий день. Прослышав о выздоровлении Муратали, он исчез, как нашкодивший кот. Гафур страшился гнева своего бригадира, знал, что не будет ему поблажек и от нового председателя. Тот уже выгнал с фермы Рузыпалвана, а Молла-Сулеймана — из бригадиров. Гафур собрался навсегда покинуть кишлак. Он ненавидел всех — племянницу, Алимджана, Муратали, всех дехкан, весь Алтынсай, всю эту новую жизнь, в которой ему было так тревожно и неуютно.

Перед уходом он решил отомстить хоть кому-ни-

будь из своих недругов. Месть его была грязной и мелкой, под стать пакостной и мелкой душонке Гафура.

Подлый свой замысел он осуществил на исходе ночи, когда все спали. Только Мураталм, ночевавший, как обычно, на полевом стане, поднялся рано-рано, перед самой зарей, и пошел на канал умыться.

Старик уже наклонился над водой, как вдруг невдалеке раздался глухой цокот копыт. Муратали оглянулся. Было темно, но сумрак уже начал редеть, и зоркие глаза старого бригадира приметили силуэт всадника, едва различимый на фоне предрассветного неба. Всадник скакал вдоль берега канала, по тропинке, ведущей в степь. Он изо всех сил подгонял коня. Куда же это он спешил в такой неурочный час?..

— Эй!.. Кто такой?..— крикнул Муратали, и голос его прозвучал в устоявшейся тишине сильно и звонко.

Услышав оклик, всадник резко повернул коня и стал удаляться от канала. Это насторожило Муратали, и он, не мешкая, спустился с берега. Поблизости паслась лошадь, принадлежавшая его бригаде. Старик освободил ее от пут и уже через миг, прихватив с собой веревку, мчался вслед за подозрительным незнакомцем. Лошадь, выбранная им, долгое время ходила в упряжи, но не утратила былой резвости, она бежала легко, а конь незнакомца, видно, артачился; и расстояние между ним и Муратали неуклонно сокращалось. Неожиданно всадник, которого преследовал старик, опять изменил направление: он пустил коня через поле к целинной степи. Муратали бросился наперерез и вскоре приблизился к нему настолько, что мог разглядеть седока. Велики же были его удивление и ярость, когда он узнал в беглеце... Гафура, а в коне, на котором тот сидел, Байчибара.

Так вот оно что!.. Этот мерзавец под покровом ночи увел у Айкиз ее любимого скакуна, надумав, видно, удрать из колхоза и заодно напакостить племяннице. Судя по всему, он держал путь в Кызылкумы, стремясь поскорей скрыться от людских глаз.

— Стой! Стой, шайтан!..— снова крикнул Муратали. Гафур, не останавливаясь, обернулся, вынул из-за голенища нож и погрозил им старику.

Ночная мгла быстро таяла, Муратали легче стало следить за каждым движением беглеца. Гафур нещадно колотил по запавшим бокам Байчибара новыми са-

пожищами, и конь с громким протестующим ржаньем летел вперед, как стрела, выпущенная из лука. Но и лошадь Мураталн не отставала от Байчибара. Она неслась, плотно прижав уши, и старик лишь изредка подхлестывал ее веревкой, из которой на ходу успел сладить аркан.

Однако воспользоваться арканом ему не пришлось. Путь Гафуру преградил арык, идущий от старых земель к целинным. Гафур, понукая коня, хватил его кулаком по шее; Байчибар взвился на дыбы и, сбросив седока, перемахнул через арык. Очутившись на другом берегу, он замер как вкопанный, пошевелил ушами, словно прислушиваясь к чему-то, а потом тряхнул гривой и устало побрел к кишлаку...

Поднявшись и разлепив глаза, забитые пылью, Гафур увидел рядом с собой Мураталн, уже спрыгнувшего с лошади. Преступник изготовился было бежать, но старик цепко ухватил его за рукав.

— Ты что же это затеял, негодяй?..

Гафур, будто только сейчас узнав старика, с наглой развязностью воскликнул:

— Это ты, бригадир?.. Слава аллаху!.. А я уж думал, какой бандит за мной гонится.

— Сам ты бандит! Был вором, вором и остался. Я твою черную душу насквозь вижу. Идем в сельсовет, злодей, там ты получишь по заслугам!..

Гафур дернулся, стараясь вырваться из рук бригадира, но у Муратали была железная хватка. Наглая

ухмылка сползла с лица Гафура, глаза воровато забегали. Льстиво, просительно он уговаривал:

— Не кричи, дружок! Зачем кричать? Мы с тобой старые приятели...

— Такой друг, как ты, опасней врага!

— Ай-яй, зачем так говоришь? Твои враги в Алтынсае. Враги твои те, кто задумал лишить тебя дома и дочери. А я всегда желал тебе добра...

— От твоей доброты зачах наш хлопок!

— Хлопок-то не твой, а колхозный. А тебе я всегда был другом. Я один понимал, как дорог твоему сердцу Катартал. Вспомни-ка, кто защищал тебя, кто помогал тебе добрым советом, когда стали к тебе приставать с этим переселением.

— Спасибо за советы, Гафур,— с усмешкой сказал бригадир,— спасибо! Они пошли мне на пользу. Уж если ты против какого дела,— значит, дело это хорошее, стоящее... Вот я и решил переселиться.

— Ай-яй!.. И ты заплясал под их дудку?

— А ты думал, я вечно буду слушать таких, как ты? Слепец лишь однажды теряет посох! Глаза мои раскрылись, я уже не спутаю черное с белым!

— Сколько лет ты знаешь меня, Муратали...

— Я знаю, что ты вор, торгаш, разбойник с большой дороги!

— Ну, погоди...— прошептал Гафур.— Погоди, бригадир!

Весь этот разговор Гафур затеял, чтобы выиграть время, усыпить внимание Муратали. Выбрав удобный момент, он подставил старику подножку, толкнул его в грудь, и Муратали упал на землю. Гафур опустился над ним, прижал коленом его руку и торжествующе прорычал:

— Что? Отчего же ты не ведешь меня в сельсовет?

— На помощь! — крикнул Муратали.— На помощь!..

— Тише ты, старый пес! — Гафур достал нож.— Заткни свою поганую глотку!..

— На по-омощь!..

К арыку с полевого стана уже бежали дехкане, которых давно разбудил шум погони. Топот все приближался. Гафур оглянулся. Муратали, воспользовавшись его минутной растерянностью, выбил нож из его руки. Гафур, выругавшись, вскочил на ноги, сильным пин-

ком толкнул старика в воду и, перейдя арык вброд, кинулся бежать в степь...

Очнувшись, Мураталы увидел склонившиеся над ним лица дехкан из его бригады. Он был весь мокрый, тело бил озноб, болели рука, плечо, затылок, но он пересилил боль и с трудом приподнял голову.

— Это Гафур... Это он меня... Надо его задержать, он украл коня.— Старик протянул в темноту трясущуюся руку.— Он побежал туда, в степь...

Михри, плача, вытирала кровь с отцовского лица, а дехкане бросились ловить преступника. Их опередил Суванкул, который в это время в степи заправлял трактор горючим. Услышав крики о помощи, он настиг Гафура, сгреб его в охапку и поволок к тому месту, где лежал Мураталы. Гафур бился в могучих руках тракториста, как заяц.

Кинув своего пленника на траву, Суванкул не удержался и в сердцах крепко пнул его. Гафур очутился перед Мураталы, которого подняли, поддерживая под руки. Злодея тоже подняли. Он встал, поникший, опустив голову, колени его мелко дрожали... Мураталы взглянул на него в упор, плюнул и, отвернувшись, тихо вздохнул:

— Не человек это... Сорная трава, повилика. Выпалывать ее надо, выжигать, чтоб и духу от нее не осталось...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пролетели дни, прошли недели, наступила осень — пора уборки хлопка, пора волнения, которое охватывает всю республику. Кем бы ни был человек, живущий в Узбекистане, где бы он ни работал, в эти дни он думает о том, сколько колхозами собрано хлопка, много ли не хватает до тех трех миллионов тонн, которые обещаны государству. В эти дни все следят за боевой сводкой, которую публикуют газеты. В ней отмечается, как проходит сбор хлопка в каждой из областей. Ученые и писатели у радиоприемников внимательно выслушивают сводку, рабочие на заводах, толпясь в перерывах у газетных витрин, горячо спорят, какая из областей окажется в этом году впереди. Студенты, спеша

на лекции, задерживаются у репродукторов и с искренней, пылкой заинтересованностью обсуждают ход хлопкоуборочных работ. Даже приезжих захватывает общее волнение, и, покупая газету, они ищут глазами все ту же сводку.

В эти дни хлопок — главная тема разговоров, главная причина беспокойств и радостей, главная задача, главное занятие.

Старик-хлопкороб на плакатах, которые можно встретить в кишлаке и в городе, в сельсовете и на полевом стане, в столовой и в школе, смотрит в упор на дехканина, студента, рабочего и спрашивает с испытующей, суровой требовательностью: «Что ты сделал, чтобы собрать обещанные три миллиона?» Но еще настойчивей звучит в душе каждого голос совести: достойный ли вклад внес ты в общее дело?

И когда хлопкоробы видят плоды своего труда, сердца их наполняются счастливой гордостью.

Осень!.. Счастливая, тревожная, трудовая пора!..

В один из таких осенних ласково-теплых дней Айкиз и Джурабаев, встретившись в конторе Смирнова, пошли пешком по полям взглянуть, как спорится дело у колхозников «Кызыл юлдуза», каковы у них успехи какие трудности им мешают.

Тропинкой, бегущей вдоль широкого старого канала, где вода, как это всегда бывает по осени, стала совсем прозрачной, они дошли до тракторного стана и там разыскали Погодина. Погодин в эти дни был хмур, придирчив, старался взвалить на себя побольше работы, и все понимали, что делает он это, чтобы отвлечься от грустных мыслей о невесте, о Лоле, которая опять уехала в город продолжать учение.

Обращаясь к Джурабаеву, Погодин ворчливо спросил:

— О чем думают у вас в районе? Почему до сих пор нет дороги на целину?

— Всему свое время.

— Вот-вот! Есть у меня такие трактористы: выйдет из строя какая-нибудь деталь, а им и горя мало — после, мол, исправим! А из-за этого пустяка в разгар работы трактор останавливается — и на ремонт требуется уже не полчаса, а неделя! Вы ведь знаете, товарищ Джурабаев, отложишь дело — так его снегом занесет, плесенью затянет.

Айкиз засмеялась: Погодин опять щегольнул узбекской пословицей, а Джурабаев, с недоумением посмотрев на нее, добродушно проговорил:

— Ты, Иван Борисыч, ринулся в атаку, не разобрав еще, есть ли перед тобой противник. К зиме дорога будет, твердо тебе это обещаю!

— Вы не обижайтесь на нашего директора,— сказала Айкиз Джурабаеву, и в глазах у нее запрыгали лукавые огоньки.— У него в силу некоторых причин дурное настроение...

— Настроение у меня обычное.

— Так ли, Иван Борисыч? А мне кажется, после моих слов твое сердце забилось чаще.

— Мотор у меня всегда работает ровно,— неуклюже пошутил Погодин, но таиться от Айкиз ему не хотелось, и он откровенно сказал: — Только теперь вот забарахлил. И какой черт выдумал эти разлуки!

— Не кручинься, Иван Борисыч, тем радостней будет встреча! Я это по себе знаю.

Погодин ушел к своим трактористам. Джурабаев и Айкиз направились к хлопковым полям.

— Слыхал я, Айкиз, что тебя прочат в председатели райисполкома,— сказал Джурабаев.— Не хотел говорить тебе об этом раньше времени, да разве утерпишь!

— Почему же именно меня? — с испугом воскликнула Айкиз.— Не справлюсь я, товарищ Джурабаев. Опыт у меня очень мал.

— Справишься! Тут главное — сердце, а не опыт. Сердце, чувствующее нужды народа! А опыт накопишь на работе. Сначала работа, потом опыт — так ведь бывает в жизни, а не наоборот?

— А как решили с Султановым?

Джурабаев нахмурился:

— Султанова пытаются вывести из-под удара. Абдуллаев настаивает, чтобы его послали на учебу. У нас ведь как порой получается: провалит человек работу, а его как товарища номенклатурного отправляют учиться. А потом дают должность поважней прежней, и он проваливает дело уже более крупное и ответственное. Есть люди, которые считают, что не человек красит номенклатуру, а номенклатура человека!

— Султанов будет только рад такому исходу дела! — с гневной иронией сказала Айкиз.— В этом слу-

чае ему не придется заново завоевывать утраченное доверие. На новом месте его снабдят готовым авторитетом, и он опять возомнит о себе бог знает что.

— Был я в обкоме,— досадливо морща лоб, произнес Джурабаев.— Говорил об этом с Абдуллаевым. Султанов, говорю, не оправдал доверия своих избирателей, пусть он и ответит перед ними за свои ошибки. Но Абдуллаев упрямится: «Нет, на это мы не можем пойти. Это был бы подрыв авторитета».— «Да Султанов же, говорю, сам подорвал свой авторитет».— «А я, товарищ Джурабаев, имею в виду авторитет не Султанова, а советской власти».— «При чем здесь советская власть? Не она ошиблась, а только Султанов!» — «Но ведь рекомендовал его обком? Обком. Следовательно, резкое осуждение Султанова было бы дискредитацией действий обкома. Единственный выход — подвергнуть Султанова дружеской партийной критике, разъяснить ему его ошибки и отправить на учебу. Не будем выносить сор из избы, товарищ Джурабаев!» Хороша логика? Нет, с этим мириться никак нельзя. Я просто вскипел, когда услышал это от Абдуллаева.

— Как же это так? Абдуллаев навязал нам Султанова, а теперь не желает признать свою ошибку?

— А как же! Ведь это тоже был бы «подрыв авторитета»! Эти деятели никак не хотят понять, что Султанов еще не советская власть, а Абдуллаев, конечно, не партия.

— Они забывают о том, что партия наша сильна как раз тем, что умеет смотреть правде в глаза!

— Так, Айкиз... Так! Партия никогда не скрывала правду от народа!

У Айкиз упрямо и решительно сдвинулись брови, еще резче выступила складка над переносицей:

— Я так думаю, товарищ Джурабаев, не удастся Султанову спрятаться! Его надо послать на низовую работу, чтобы он на глазах у народа искупил свою вину перед ним. Так мы и поставим вопрос перед райкомом. Перед вами, товарищ Джурабаев!

— Ты права, Айкиз! Я так и думал, что ты будешь до конца непримиримой! Тогда не останется на нашем большом поле ни одного сорняка. Кстати, Абдуллаев мне заявил: «Дался, говорит, тебе этот Султанов. Ведь тебе-то он больше не будет мешать. Мы уберем его из твоего района». Утешил, называется! Из твоего рай-

она,— передразнил Джурабаев.— И тут меня взорвало. Крепко мы поругались с Абдуллаевым, ох как крепко! Был я после этого у первого секретаря обкома, все ему высказал. Погорячился немного, видно, нервы сдали...

Айкиз удивленно посмотрела на вечно спокойного и рассудительного Джурабаева. Он перехватил ее взгляд и рассмеялся.

— Не веришь? Вот, мол, разоткровенничался секретарь. Да, Айкиз, разоткровенничался. Ведь и секретарь райкома человек, а не машина...

Они поднялись на холм, с которого когда-то обозревал свои владения Кадыров.

Справа, словно застывшая черная лава, лежала распаханная целинная степь. Она тянулась далеко-далеко. Где-то, у дальней ее кромки, трудолюбивыми муравьями ползали тракторы, поднимая новые и новые гектары. Созданные за это лето степные поселки в лучах осеннего солнца, еще яркого и жгучего, выглядели празднично нарядными.

Слева в осеннем убранстве красовался Алтынсай. Деревья пылали буйными красками увядания. Листва стройноствольных тополей обрела оранжево-красный оттенок. Куполообразные, словно обстриженные, кроны деревьев «сада»,— как рыжий лисий мех. Урюковые сады отливали золотом, купы карагачей напоминали своей окраской огненно-алый закат. Алтынсай утопал в многоцветной кипени рыжих, желтых, золотых, алых листьев, которые ослепительно вспыхнули перед тем, как сгореть. Взгляд Айкиз остановился на кирпичном здании сельсовета. Над сельсоветом вился красный флажок.

Прямо перед холмом, на котором стояли Айкиз и Джурабаев, расстилались хлопковые поля. Листья хлопка, убитые вечерними заморозками, уже опали. Поля были сплошь белыми. Хлопок, пенясь, выступал из раскрывшихся коробочек, где покоился недавно нежными лимонными дольками. В этом белопенном море медленно плыли хлопкоуборочные машины. Там, где не было машин, виднелись согнутые спины дехкан, собиравших хлопок в фартуки. В эти дни все, кто мог, вышли в поле: старики и молодые, хлопкоробы и бухгалтеры, мирабы и строители.

Поле пестрело различными одеждами, и по ним легко было угадать, кто склонился над хлопковым кустом: горожанин ли, колхозник ли, сельсоветский ли служащий.

Уборка шла уже второй месяц, коробочки раскрывались одна за другой. На участках, где урожай, казалось, был уже весь собран, через несколько дней опять становилось белым-бело.

На дорогах в эти дни было шумно и людно. От хирманов, где сушился хлопок, тянулись арбы, доверху нагруженные тугими мешками. К хлопкопунктам мчались грузовики. По дорогам сновали газики и мотоциклы. Медленно шествовали верблюды с тюками хлопка по бокам. Садоводы везли к полевым станам дыни, арбузы, яблоки. Над землей звучали песни арбакешей, слышался скрип колес, перезвон колокольцев...

Рожденные дружным, умным трудом, на хлопкопунктах росли горы хлопка.

Айкиз с холма хорошо были видны эти громадные, в пятьсот — шестьсот тонн каждый, хлопковые бунты, высокие, как Коктау, белые, как его заснеженные вершины.

Айкиз стояла зачарованная. Теплый ветерок шевелил складки ее простенького ситцевого платья, легкую косынку, не прикрывавшую кос, лепестки цветка, который она приколола к белой жакетке.

Из этого восторженного оцепенения ее вывел Алимджан. Он подошел, обменялся рукопожатием с Джурабаевым и с беспокойством, с упреком, ласково посмотрел на жену: ему казалось, что Айкиз не бережет себя, мало отдыхает, переутомляется...

— Как дела, раис? — спросил Джурабаев.— Чем нас порадуешь?

— Уборка идет к концу, товарищ Джурабаев. Обязательство выполним!

— Молодцы! Зря, выходит, каркали Султанов и компания: за двумя, мол, зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Народ — охотник умелый и сильный!

— Мы могли бы собрать и лучший урожай...— сказала Айкиз.

— Точно, товарищ Джурабаев! — подтвердил Алимджан.— Если бы нам не вставляли палки в колеса, хлоп-

ка мы вырастили бы больше. Пропало много хлопка на участке Молла-Сулеймана, сбросили часть цветов кусты и на участке Муратали. Не бури нам помешали, не нехватка рабочих рук, не трудности, помешали те, кто пугал нас этими трудностями.

— Помешали, создав трудности искусственные! — подхватил Джурабаев.— Сначала спорили с нами, спорили по принципиальным вопросам, а потом принялись умышленно чинить препятствия. И в этом есть своя логика. Если рутинер, консерватор восстает против нового, он вынужден действовать с помощью интриг. Что еще может он противопоставить законам нашей действительности? Кто борется за новое, тот заботится об общем благе! Кому новое не по нутру, кто видит в нем угрозу своему спокойствию, тот думает только о себе, о том, как бы сберечь свои привелегии. Когда такой любитель спокойной жизни вступает в борьбу против смелого плана, он не задумывается — а не помешает ли он людям в их борьбе за счастье? Он не разбирается в средствах, готов спекулировать даже на народной беде, она ему выгодна. Если бы буря погубила весь хлопок, противники нашего плана возликовали бы: «Ага, мол, голубчики, дождались! Так вам и надо». Вот к чему можно скатиться, позабыв хоть на минуту о цели нашего дела, забыв, ради кого, ради чего мы живем, работаем, боремся, позабыв о народе, о его благе! У Муратали, вы говорите, тоже пропал хлопок?

— У него небольшие потери,— сказала Айкиз,— но сама эта история какая-то странная... Помните, вы спрашивали меня об Аликуле?

— Что-то не припомню... Но при чем он тут?

— Муратали, в пику своим мнимым недругам, назначил бригадиром Гафура — этот Гафур сейчас снова в тюрьме. Аликул, по словам Муратали, одобрил его назначение. А когда я спросила об этом самого Аликула, он от всего отказался, заявив, что Муратали ни о чем ему не докладывал.

— Действительно странно. Ты сама-то что об этом думаешь?

— Я верю Муратали. Нрав у него тяжелый, но это человек честный и добросовестный. Не мог он очернить Аликула.

— Значит, Аликул хитрит?

— Н-не знаю... Я к нему последнее время приглядываюсь.

— Смотри, от излишней доверчивости не шарахнись к излишней подозрительности. Может быть, он ошибся в Гафуре и не решается признаться в ошибке. Это, конечно, никак его не оправдывает: ведь и этой ошибкой колхозу нанесен ущерб. Любой огрех, любой промах в работе ведет к ощутимым материальным потерям. Если в колхозе плохие хозяева, то колхозник недополучает за свой труд, государство терпит убытки. Растяпа доверил дело лодырю или жулику — опять-таки страдает народ, государство. Директор завода, заботясь лишь о выполнении плана, положил под сукно рационализаторское предложение — и тем украл у государства дополнительный доход. Болтун оторвал людей от дела пустопорожней речью,— значит, украл у них время, помешал созданию реальных благ. Упущенные, вовремя не использованные возможности — это тоже транжирство. Если ты сегодня мог сделать что-то полезное и не сделал,— значит, колхозник купит себе мотоцикл не завтра, а позже, зарплата у рабочего не возрастет. Мы говорим: человек плохо работает... Но ведь тем самым он, может, сам того не желая, по сути дела, обворовывает народ! Вот если бы каждый над этим задумался... Впрочем, я и сам, кажется, отнимаю у вас драгоценное время. Ты сейчас куда, Алимджан?

— Хочу проверить работу хлопкоуборочных машин. Колхозники к ним еще не привыкли. Надо убедить их в преимуществе техники! Сердцу больно, когда видишь согнувшихся над хлопком дехкан...

— Понимаю тебя, Алимджан. Мне теперь и во сне снятся машины. Ведь на новых землях нам нужно много хороших машин. У тебя нет срочных дел, Айкиз? Не посмотрим ли новый кишлак?

— Чтобы похвалиться своим кишлаком, она все на свете готова бросить,— засмеялся Алимджан.— Я буду обедать на полевом стане, Айкиз. Приходи туда... Приводи с собой товарища Джурабаева, пообедаем вместе.

— Придем, Алимджан.

Алимджан сбежал с холма и, задерживаясь то возле одного, то возле другого колхозника, ушел к участку, на котором работала хлопкоуборочная машина. Джурабаев и Айкиз отправились в новый поселок.

Секретарь райкома шел по широкой, прямой, обсаженной деревьями улице. С любопытством оглядывал новые дома, прочные, уютные, на каменных фундаментах, под светлыми шиферными крышами. Стены были побелены, около каждого дома стоял столб — поселок был уже электрифицирован.

— Зайдем к кому-нибудь?

— Все на работе, товарищ Джурабаев.

— А кто это возится в саду?

— Это Мураталии. Он упрямился дольше всех, а теперь, как только выпадет свободная минута, спешит домой, благо дом теперь близко. Занимается благоустройством. Зайдемте к нему.

Мураталии был не один. Он сегодня позвал к себе Халим-бобо. Садовод, невысокий, узкоплечий, в новых сапогах, в белом неподпоясанном халате, ставил саженцы в ямы, еще вчера вырытые Мураталии, а хозяин что-то мыл, склонившись над арыком.

— Хормангляр! [1] — сказал Джурабаев.

— Хормангляр! — сказала Айкиз.

Старики вытерли полами халатов руки, подошли к пришедшим, почтительно поздоровались.

— Как живется на новом месте, Мураталии-амаки? — спросила Айкиз.

— Спасибо, дочка. Видишь, сколько у меня теперь урюковых деревьев. Земля тут хорошая, воды много. «Сто лет цвести твоему урюку»,— говорил мне отец. А я и сам, дочка, хочу прожить до ста лет... Хочу коммунизм увидеть!

— Увидите, Мураталии-амаки!

— Увижу,— согласился Мураталии.— Коли так шагать, как в этом году, увижу! Жаль, отец твой не дожил до светлых дней...

Взгляд Айкиз затуманился. Джурабаев спросил Мураталии:

— Что это вы там мыли, бригадир?

— Бог мой, да это же сандал! — удивленно воскликнула Айкиз.— Зачем вы притащили его в новый дом, Мураталии-амаки? У вас же есть печка.

На берегу арыка действительно лежал сандал, пыльный, закопченный, немало, видно, лет послужив-

---

[1] Хормангляр — не уставайте. Традиционное приветствие, обращенное к работающим.

ший хозяину. Мураталли оглянулся на него и упрямо сказал:

— Молода ты учить меня, дочка. Печка печкой, а без сандала старикам никак нельзя.

Айкиз стало и смешно и грустно...

Еще недавно сияли перед ней степные просторы, которые не охватишь взглядом. Когда смотрела она в необозримую даль, ей казалось, что она смотрит в будущее. Мураталли прав: они сделали в этом году широкий, могучий шаг в будущее, к коммунизму! И этот же Мураталли решил прихватить с собой в светлый завтрашний день память седой старины, сандал!

Целина поднята, но борьба не окончена, Айкиз!.. Тебе и твоим друзьям предстоит еще перепахать, очистить от сорной травы души иных твоих земляков. Много впереди новых трудных дел! Но тебе ли, Айкиз, бояться трудностей? У тебя тысячи, сотни тысяч верных помощников. Ты сознаешь это и потому так бодра, так уверена в успехе. В грядущих днях и в далекой дали времен видятся тебе новые замыслы и свершения, борьба и победы...

Хормангляр, дорогие друзья!

1953—1958.

● СОДЕРЖАНИЕ

Шараф Рашидович РАШИДОВ

ПОБЕДИТЕЛИ.
СИЛЬНЕЕ БУРИ

Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1975, 640 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **А. Березина**

Корректор **В. Прошина**

●

Сдано в набор 3/IV-75 г. Подписано в печать 31/VII-75 г. А 09367.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага печ. № 1. Печ. л. 20,0. Усл. печ. л. 33,60.
Уч.-изд. 33,95. Заказ 1231. Тираж 200.000 экз.

Цена 1 руб. 31 коп.

●

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1975 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Й. Авижюс — Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского.

А. Адамович. В. Богомолов. В. Быков. Б. Васильев. Ю. Герш. А. Кулаковский. Б. Рахманин — Повести о войне.

Ю. Балтушис — Проданные годы. Роман. Книга вторая. Перевод с литовского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга первая.

В. Кожевников — Особое подразделение. Повести и рассказы.

В. Козаченко — «Молния». Повести. Перевод с украинского.

Я. Кросс — Окна в плитняковой стене. Повести. Перевод с эстонского.

П. Куусберг — Одна ночь. Шоссе свободы. Романы. Рассказы. Перевод с эстонского.

В. Лам — Кукла и комедиант. Роман. Повести. Перевод с латышского.

К. Лордкипанидзе — Клинок без ржавчины. Повести и рассказы. Перевод с грузинского.

А. Нурпеисов — Крушение. Роман. Книга третья трилогии «Кровь и пот». Перевод с казахского.

Ш. Рашидов — Победители. Сильнее бури. Романы. Перевод с узбекского.

А. Чаковский — Блокада. Роман. Книги 1—5. В трех томах.

ШАРАФ РАШИДОВ
ПОБЕДИТЕЛИ
СИЛЬНЕЕ БУРИ